ЗЕМЛЯ ГРАНАТОВОГО ДЕРЕВА

СОВРЕМЕННЫЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ПОВЕСТИ

ЗЕМЛЯ ГРАНАТОВОГО ДЕРЕВА

СОВРЕМЕННЫЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ПОВЕСТИ

Перевод с азербайджанского

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1980

С(Аз)2
З-53

Составитель
А. МУСТАФА-ЗАДЕ

Вступительная статья
С. АСАДУЛЛАЕВА

Оформление художника
Ю. БОЯРСКОГО

З $\frac{70303-302}{028(01)-80}$ 117-80

ЧЕЛОВЕК И ЖИЗНЬ

Нет ничего удивительного в том, что азербайджанская художественная проза, отстававшая в своем развитии от могучей многовековой поэзии, в советские годы вышла на общесоюзную и мировую арену. Однако отставала — еще не значит отсутствовала. Утвердившееся в свое время традиционное представление об отсутствии в дореволюционной азербайджанской литературе жанров прозы в наши дни, когда история национальной литературы основательно изучена и систематизирована, оказалось несостоятельным. Истоки азербайджанской прозы можно отыскать в народном творчестве, в фольклоре. Широкую известность на всем Ближнем Востоке получили выдающиеся памятники азербайджанского народного эпоса «Китаби-Деде-Коркуд» (XI в.) и «Кер-оглы» (XVI в.).

Ранние образцы азербайджанской письменной прозы связаны с именами Хагани и особенно Физули, создавшего ряд замечательных прозаических произведений — «Шикайетнаме», «Саххат и Мерез», «Ринду-Захид». Большое влияние на развитие и становление национальной художественной прозы оказали многовековые традиции эпической поэзии Низами, Физули и других корифеев азербайджанской поэзии.

Интенсивное развитие азербайджанской прозы, начавшееся во второй половине XIX столетия, в значительной степени было связано с вхождением Азербайджана в состав России. Знакомство с передовыми людьми русского общества, глубокое изучение могучей русской культуры оказали благотворное влияние на формирование художнических и мировоззренческих взглядов основополож-

ника реализма в азербайджанской литературе М. Ф. Ахундова, с которого, собственно, начинается история национальной прозы как полноправного рода словесного искусства, освобожденного от догматических канонов классической поэзии. Высокие художественные требования, предъявляемые Ахундовым к содержанию произведений, вытекали из его убежденности, что проза призвана отражать картины народной жизни, поднимать большие и серьезные общественно-политические проблемы, нести в себе высокую гражданскую и социальную идеи. Эту программу писатель претворил в жизнь в своих реалистических комедиях и особенно в повести «Обманутые звезды».

Реализм последователей Ахундова конца прошлого и начала нашего века приобретает более критическую направленность, глубже вторгается в повседневную жизнь простого трудового народа. Здесь он черпает темы и проблемы, требующие своего разрешения, на фактах живой жизни раскрывает социальные язвы феодально-байского общества, ведет атаку на носителей зла, на угнетателей трудящихся классов. Безысходную трагедию забитого и придавленного крестьянина, доведенного беком-самодуром до дикого отчаяния, показал Дж. Мамедкулизаде в повести «События в селении Данабаш», трагедию двух влюбленных — азербайджанца и армянки в косной среде «национальной несовместимости» раскрыл Н. Нариманов в «маленьком романе» «Бахадур и Сона», о трагической судьбе маленькой девочки, пожертвовавшей собственной жизнью во имя спасения жизни другого человека, говорится в повести С. С. Ахундова «Чернушка». Губительное и разрушающее влияние власти «желтого дьявола», социальная и нравственная деградация имущих классов под напором возрастающего рабочего движения стало содержанием повестей М. С. Ордубади «Несчастный миллионер» и И. Мусабекова «В царстве нефти и миллионов».

Завоевания дореволюционной азербайджанской реалистической прозы безусловно подготовили почву для развития эпических жанров в советское время. Азербайджанская советская проза началась в 20-х годах с небольших рассказов и очерков, то есть с жанров, которым присуща оперативность и незамедлительная реакция на текущие события. Грандиозные коренные социальные и экономические преобразования в стране, глубокое осмысление недавних революционных событий вызвали к жизни в 30-х годах большие эпические полотна — романы, содержанием которых стал новый человек в его многообразных связях с обществом, жизнью и революционной борьбой трудового народа. При наличии центрального героя, единого сквозного сюжетного действия в романе освещались также характеры и судьбы многих других героев, включен-

ных в общенародную революционную борьбу, в процессы строительства новой жизни. Роман давал широкую эпическую картину жизни, движения народных масс.

В становлении и развитии азербайджанского советского романа, несомненно, велика роль русского советского романа 20—30-х годов, посвященного теме революции, гражданской войны, социальных преобразований.

В последующие годы в связи с дальнейшим, более активным вторжением писателя в современность, более обостренным вниманием к личности и духовному миру человека, обогащением художественного арсенала социалистического реализма, наряду с романом все большую и большую популярность приобретает повесть, «пик» которой приходится на последние два десятилетия. Творцами ее стали в основном писатели среднего и младшего поколения, в центре внимания которых становится конкретная личность, человек как «центр мироздания» во всех параметрах его жизни — общественной, духовной, семейно-интимной...

Идет, таким образом, важный процесс накопления огромного человеческого материала, подготовки нового этапа в развитии эпического повествования, когда, на наш взгляд, начнется высший художественный синтез накопленного оперативной повестью материала для новых эпических романов на новом витке развития романа-эпопеи.

Характеризуя жанрово-эстетические особенности повести, Белинский писал: «Повесть — распавшаяся на части, на тысячи частей, роман: глава, вырванная из романа. Мы люди деловые, мы беспрестанно суетимся, хлопочем, мы дорожим временем, нам некогда читать больших и длинных книг — словом, нам нужна повесть... Есть события, есть случаи, которых, так сказать, не хватало бы на драму, не стало бы на роман, но которые глубоки, которые в едином мгновении сосредоточивают столько жизни, сколько не изжить ее и века: повесть ловит их и заключает в свои тесные рамки. Ее форма может вместить в себе, что хотите... Краткая и быстрая, легкая и глубокая вместе, она перелетает с предмета на предмет, дробит жизнь на мелочи и вырывает листки из великой книги этой жизни. Соедините эти листки под один переплет, и какая обширная книга, какой огромный роман, какая многосложная поэма составилась бы из них... Как бы хорошо шло к этой книге заглавие: «Человек и жизнь» [1].

Такой книгой и является настоящий сборник, где вырванные листки — повести из великой книги жизни, соединенные под об-

---

[1] В. Г. Белинский. Собр. соч. в 3-х томах, т. I. М., ГИХЛ, 1948, с. 112, 113.

щей обложкой, составляют «огромный роман», «многосложную поэму» современной азербайджанской действительности.

У каждого из авторов, представленного в сборнике, свой неповторимый почерк, своя оригинальная манера письма. Разные сферы жизни и непохожие характеры исследованы ими, выведены образы людей разных возрастов и профессий, различных убеждений и нравственного потенциала. Хронологическая шкала их создания охватывает период почти в двадцать лет — с 1961 года по наши дни. Таким образом, в сборнике прослеживаются пути становления повести в азербайджанской литературе, а сквозь призму этого жанра читатель знакомится с важнейшими процессами и проблемами современной азербайджанской прозы в целом.

«Жадная» до жизни повесть в наше время приобретает большую эстетическую и познавательную активность. Динамика современной жизни, пристальное внимание к духовному миру и личности нашего современника обусловили расцвет повести и выдвинули его на авансцену литературы. Лучшие образы этого жанра в значительной степени определяют лицо не только азербайджанской, но и многих современных советских национальных литератур. Как авторы ярких социально-психологических повестей широкую популярность приобрели в наше время талантливые писатели Ч. Айтматов, И. Друцэ, В. Астафьев, В. Распутин, В. Быков, Г. Матевосян, В. Белов и многие другие.

Каждая из повестей настоящего сборника, имея собственную тему и предмет рассмотрения, решает вполне определенную, конкретную проблему. Объединяет же их общая для них нравственно-философская проблематика, художественный реалистический психологизм в раскрытии характеров, в становлении личности нашего современника, взятого главным образом в сфере его духовной жизнедеятельности. Их можно было бы свободно группировать по жанрово-тематическим параметрам. Так, например, повести Максуда Ибрагимбекова «За все хорошее — смерть», Рустама Ибрагимбекова «Забытый август», Акрама Айлисли «Сказка о гранатовом дереве» поднимают тему: дети и война. Хотя война и была далеко от Азербайджана, но она все же со многих сторон и больно коснулась его. Влияние условий сурового военного времени на жизнь, психологию и становление характера детей, их сопричастность и отношение к трагическим событиям тех лет — такова в общем плане тема этих произведений. Во всех трех перечисленных повестях рассказ ведется от лица подростка, очевидца и участника описываемых событий, его глазами воспринимаются и оцениваются факты и явления окружающей жизни, поведение и взаимоотношения людей.

«За все хорошее — смерть» — остро драматическая повесть,

одно из ярких произведений лауреата Государственной премии республики М. Ибрагимбекова. Четверо ребят оказываются наглухо заваленными в каменной пещере, оказавшейся укрепленной немецкой крепостью времен войны. Ребята обнаружили целую систему укреплений, бронетранспортер, набитый ящиками с награбленными деньгами, золотом и драгоценностями, скелеты в истлевших немецких мундирах и «Немецко-русский разговорник» — энциклопедию оккупантов, где самым часто встречающимся словом оказалось «Tod», что означает смерть. Смерть, за все смерть — «за то, что слушал советское радио», «за отказ ехать в Германию», «за укрывательство коммуниста, военного... за связь с партизанами», словом, за все хорошее полагалась смерть, вот он — смертельный оскал фашизма, воочию представший перед ребятами через тридцать лет после окончания войны. В открытии ребятами этой ужасающей правды и заключается идея повести, авторский замысел, свободный от каких-либо назидательных внушений и дидактики.

В повести есть и другой аспект — как бы во внутренней полемике сталкиваются две силы — грубая физическая и интеллектуальная, нравственная. Первая представлена Сабиром, командиром ребят в пещере, вторая — Таиром, самым маленьким из них. Но именно высокие моральные принципы Таира спасли ребят от смертельного отравления консервами тридцатилетней давности. И не случайно, что именно ему в конце повести удалось включить экстренное взрывное устройство и вывести ребят из пещеры. И понятно, почему после всех происшедших событий все ребята именно его назвали своим командиром.

Противопоставление ума, доброты и нравственной силы грубой физической — главная мысль и повести Р. Ибрагимбекова «Забытый август», повествующая о формировании характера подростков, о первой юношеской любви, о мальчишеской дружбе и о тех «взрослых» мальчиках, которые используют дружбу в корыстных целях.

Повесть написана в форме дневника. Это хроника нескольких дней августа 1945 года из жизни группы ребят, «орудующих» на городском пустыре в то время, когда «уже давно отменили затемнение в городе, но ни в одном окне не было света». Писатель показывает сложный процесс формирования психологии ребят, критерий их оценки добра и зла. Важную роль здесь играет их отношение к войне, которая фигурирует в повести в качестве фона, «засценного действия». Когда группа Пахана избивала ребят-«железнодорожников», то один из них сказал, что они «хуже фашистов». В глазах Элика Пахан, поднявший руку на Костю — сына полка, «превратился... в фашиста, который бьет нашего бойца».

И Кама из повести «За все хорошее — смерть» тоже назвала фашистом Сабира, избивавшего Таира за то, что он выбросил консервные банки в глубокую яму.

Действие повести лауреата премии Ленинского комсомола Акрама Айлисли «Сказка о гранатовом дереве» происходит в деревне. Герой повести мальчик Садык живет радостями и горестями односельчан, тяжело переживает чужое горе и неудачи. Повесть рассказывает о деревне в первое послевоенное лето, когда Садык стал учеником пятого класса. Но для Садыка война еще не окончилась. «Мне кажется, что война еще продолжается, кончаться она будет постепенно и постепенно все вернутся домой. Прежде всего вернется мой отец. Потом, конечно, дядя Муртуз: какой же без него конец войны?.. Но даже если придут отец и дядя Муртуз — это еще не все. Для того, чтобы с войной было покончено, должен вернуться Азеров отец: нужно, чтобы на айване клуба собирался по вечерам народ, чтобы Азеров отец ходил по айвану, красивый, в белой отутюженной сорочке, и показывал, как надо играть на таре».

А пока отец, дядя Муртуз, Азеров отец и многие другие не вернулись, значит, война еще продолжается в жизни и сознании Садыка. Поэтому сказка о гранатовом дереве, которую он сочиняет, пока еще не имеет конца.

Автор, а вслед за ним и читатель верит, что наступит для Садыка время, когда его сказка станет былью и его гранатовое дерево — символ счастья — зацветет яркими красными цветками.

Повесть И. Гусейнова «Телеграмма» построена на остроконфликтном сюжете, глубоко психологична. Автор знакомит читателя с семьей старого лесника Сабита Маилова, со сложными и запутанными взаимоотношениями членов этой семьи. Но перед нами не семейная хроника, а произведение большого социального звучания, поднимающее важную нравственно-философскую проблему: человек и природа, точнее — проблему охраны лесного богатства, в прямой зависимости от которой решаются также семейно-бытовые, родственные, любовные взаимоотношения. Перед нами новый вариант конфликта отцов и детей, обусловленного и порожденного более глубоким нравственно-философским конфликтом корыстолюбивых стремлений небольшой группы расхитителей с интересами народа и государства.

Повесть молодого талантливого писателя Ф. Керим-заде «Снежный перевал» возвращает нас к годам коллективизации, рассказывает историю ликвидации кулацкого мятежа во главе с Кербалаи Исмаилом, укрывшимся в снежных горах. Врагам Советской власти и колхозного строя противопоставлены образы мужественных и самоотверженных коммунистов — секретаря партийного комите-

та Шабан-заде, старого большевика, участника революции и гражданской войны Аббаскули бека Шадлинского, председателя колхоза Халила.

К несомненным удачам Керим-заде следует отнести то, что ему удалось создать колоритные, реалистические характеры как представителей вражеского лагеря (Кербалай Исмаил), так и лагеря большевиков (Шадлинский, Шабан-заде, Халил).

Сложный и противоречивый процесс духовного формирования и становления личности нашего современника — главный аспект художественного познания действительности в повести «Мужчина в доме» даровитого прозаика Иси Мелик-заде, автора ряда интересных повестей и рассказов. Писатель с большой теплотой рассказывает о своем молодом герое Гачае Бабирове, оказавшемся в необычной для него жизненной ситуации — после службы в армии — должность милиционера, мужчина — хозяин дома, неудачная любовь... Все это требует от духовно еще не сложившегося, неопытного молодого человека умения ориентироваться в сложном лабиринте людских взаимоотношений, сочетать государственный долг с порывами сердца, заботиться о семье, решить вопрос о замужестве сестры, разобраться в собственных запутанных интимных отношениях с Антигой...

Формирование личности молодого человека, поиски своего пути и места в жизни, духовные искания, столкновения и конфликты с окружающими, срывы и ошибки, взлеты и падения — все, что лежит в фокусе художественного осмысления и исследования личности, характерного для современной азербайджанской повести в целом, освещается в повести Мелик-заде на семейно-бытовом материале, в обыденной повседневности в масштабе райцентра.

Та же проблема на более широком жизненном плацдарме взята в повестях «Серебристый фургон» Эльчина, «Юбилей Данте» Анара, «Не назвался» Ч. Гусейнова. В разных тематических аспектах и стилевых ключах освещены в них определенные грани жизни современного большого города.

В центре повести Анара «Юбилей Данте» — образ актера драматического театра Фейзуллы Кябирлинского. Посредственный актер, не отмеченный печатью таланта, Кябирлинский за сорок лет работы в театре так и не утвердился в искусстве, не завоевал никакого авторитета. Он становится объектом непрекращающихся насмешек окружающих его людей, коллеги постоянно, порою зло, подшучивают над ним. Но в том-то и проявляется мастерство автора, что ему удается высветить потаенные глубины человеческой души, привлечь внимание к незаметному человеку в неудачно сложившихся для него жизненных обстоятельствах. Отноше-

ние к герою в повести далеко не однозначно. С присущей ему страстностью Анар поднимает в своем произведении проблемы гуманного отношения к личности. Да, Кябирлинский бесталанный актер, но по его собственному признанию: «...у меня нет никакой другой профессии. Была бы — ушел. Работал бы сапожником, или лудильщиком, или парикмахером. Но что мне теперь делать? Говорят, кто в шестьдесят учится играть на сазе, заиграет лишь в могиле. Плохой ли, хороший ли, но я актер...» То обстоятельство, что он занимается явно не своим делом, не может не вызывать чувства раздражения у его молодых, образованных, более талантливых коллег. Но человек при всех обстоятельствах остается человеком, и он вправе на тактичное, уважительное отношение к себе уже потому, что он человек. Поэтому авторские, а вслед за ним и читательские симпатии на стороне Кябирлинского. Он вызывает у читателя не только жалость и сочувствие. Кябирлинский симпатичен тем, что несмотря ни на что ему удается сохранить свое человеческое достоинство, внутреннюю чистоту, свою веру в людей, которым он щедро раскрывает кладовые своей души. А ведь это не менее значительно, чем обладание артистическим талантом.

Полет молодой романтической души, взлет мысли, когда среди ежедневных будничных дел человек задумывается над главным для себя вопросом — «для кого и для чего жить»,— вот что удалось показать Эльчину в повести «Серебристый фургон». Всего одну лунную ночь в селении Загульба, на берегу моря, среди сказочно-фантастических скал, золотистого песка длится встреча героев повести. За эту ночь они успели познакомиться, полюбить друг друга и расстаться, быть может, навсегда. Но этого оказывается достаточным, чтобы автор успел поведать читателям о социальной и духовной биографии героев, об их жизненном пути, во всей красоте раскрыть души и сердца Месмеханум и Мамедаги.

Не без волнения читатель узнает, что Месмеханум умеет не только продавать в ларьке помидоры и огурцы, но способна останавливать ветер, она дружит с деревьями, она беседует с морем, у нее на небе — своя звезда, которая говорит ей: «Месмеханум, в эту ночь на тебя упала тень царственной птицы, пролетевшей над твоей головой».

Благодаря Месмеханум — этой прекрасной «колдунье» и чародейке, Мамедага тоже нашел свою звезду на небе и на земле.

Герой повести Чингиза Гусейнова «Не назвался» — молодой сотрудник одного из проектных институтов — едет в Москву для утверждения нового проекта. Но это лишь стержень сюжета, развитие которого — встречи и взаимоотношения героя с разными, порою случайными людьми в Москве и Баку. Из этих встреч ге-

рой извлекает для себя главный урок: не суетись, человек, не старайся показаться деловым, ибо беготня, показуха — всего лишь имитация деятельности, еще не настоящая деятельность, не подлинная жизнь, а человек должен знать, чего он добивается в этой жизни, какую ставит перед собой цель. Вот основная мысль, положенная в основу произведения. Рассуждая о жизни, о любви и смерти, он задумывается над многими вопросами, мучительно ищет ответы на них, порой плутает в сложном лабиринте сомнений, сбивается с дороги, но каждый раз находит свой путь в жизни.

Автор повести, широко используя приемы художественной условности, эпиграфы, взятые из народных сказаний, обращения к читателю серьезному, читателю сердитому и читателю сердобольному (в отличие от проницательного читателя у Н. Г. Чернышевского), вызволяет себе право на раскованный стиль повествования.

Даже из этого беглого анализа повестей видно, как они многообразны по своей проблематике и тематике, какие разнообразные характеры и судьбы выведены в них. В совокупности они составляют живую картину, художественную летопись определенных сторон и граней современной жизни азербайджанского народа. Именно эта общность, стремление глубже познать характер, психологию, богатый духовный мир современника объединяет эти повести под одним переплетом, формирует, говоря словами В. Г. Белинского, «обширную книгу», «многосложную поэму», имя которой — «Человек и жизнь».

Они свидетельствуют также о возросшем мастерстве азербайджанских прозаиков, о художественной полифоничности, обогащении арсенала изобразительных средств, многообразии писательских манер и стилевых течений в литературе социалистического реализма. В жанре повести происходит испытание пера на эпическую зрелость таланта молодых писателей.

Современная азербайджанская повесть актуальна по тематике и проблематике. Она философична и интеллектуальна, лирична и романтична, легка и прозрачна, обращена главным образом к сфере внутреннего мира человека. Через духовные и нравственные искания она подводит своего героя к центральным проблемам нашей эпохи — к социальным проблемам о смысле жизни, о назначении человека на земле, о счастье, гуманизме и добре.

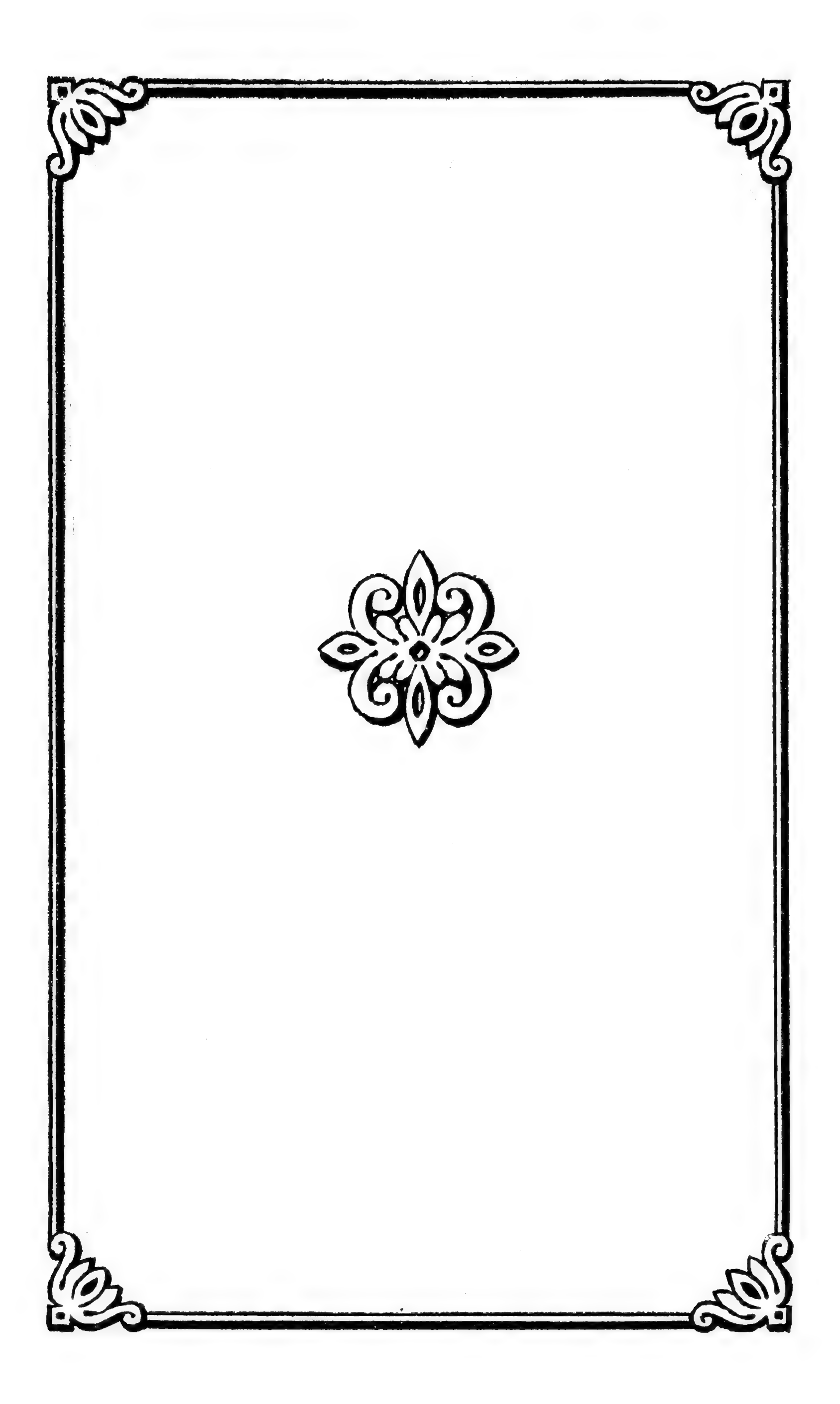
Существенно обогатилась и возросла поэтика повести — мастерство художественной композиции и сюжетостроения. Умело сочетая и синтезируя приемы конкретно исторического изображения и художественные условности, ретроспективное изображение истории жизни и души героев, сны, притчи и рассказы очевидцев, авто-

ры расширяют изобразительные возможности жанра повести, сопрягают личное и общественное, настоящее и прошлое, раскрывают преемственность судеб и поколений.

Высокий гуманизм, оптимистическая, жизнеутверждающая идея, торжество благородных, положительных сил над силами зла, коммунистических нравственных принципов над антиподами социалистического общества — таков идейно-художественный пафос произведений, составляющих содержание данной книги — малой антологии современной азербайджанской повести.

Сейфулла Асадуллаев

ПОВЕСТИ



ИСА ГУСЕЙНОВ

(Род. в 1928 г.)

ТЕЛЕГРАММА

САБИТ МАИЛОВ И ЕГО СЫНОВЬЯ

Это событие, как и всякое другое, имеет свою предысторию и последствия.

В сорок втором году в этом лесу был организован вооруженный отряд самообороны — истребительный батальон. Как и другим мужчинам, вручили турецкую пятизарядку и Сабиту Маилову. А вечером, когда винтовку принесли домой, стряслось несчастье.

Зелимхана и сейчас — только вспомнит об этом — бьет дрожь: карабин в его неумелых детских руках случайно выстрелил, и шальная пуля пробила головку трехлетнего малыша — сына старшего брата. Сабит Маилов хватил тогда прикладом о пень, переломив винтовку надвое, а Зелимхана чуть не затоптал ногами: «Он умер, и тебе не жить!» Мальчик убежал из дому, двое суток скрывался в лесу. На третий день его отыскал старший брат, Карахан. Издали завидев его, Зелимхан скатился со стога, где спал ночью, и кинулся было в чащу, но Карахан догнал его и — что бы вы думали? — прижал мальчика к груди: «Братишка мой, родной мой... почему твои глаза стали такими большими?» Тогда, по словам родственников, у младшего брата помутился рассудок.

Затем Зелимхан помнит только, как мрачнел, завидев его, отец, сидевший в углу своей комнаты и перебиравший четки. И еще помнит, как Карахан все голубил его да приговаривал: «Мой маленький-удаленький братишка...»

С тех пор минуло девятнадцать лет, а голос старшего

брата и сегодня звучит в памяти. Прежде комок подкатывал к горлу от благодарности к брату, а теперь и сами слова, и тон, в котором они произносились, вызывают у Зелимхана лишь горечь.

Нет, Карахан уже не тот. Зелимхан убежден в этом. Если бы брат остался прежним, ласковым, чутким, разве позволил бы он такую жестокость? Попал в беду, нуждаешься в помощи брата — бери трубку, звони, выложи все! Или он настолько потерял голову, что, ни минуты не размышляя, побежал на почту, взял бланк для телеграммы и настрочил: «Отец при смерти, приезжай немедленно!» И не подумал о том, как это известие потрясет брата, как мучителен будет для него семичасовой путь из Баку в деревню. Эх, Карахан, Карахан...

С виду вроде бы никакой перемены в нем и не заметишь.

Зелимхан — единственный пассажир такси — еще издали разглядел брата в толпе людей, стоявших на тротуаре у ворот райкома. Карахан выделялся черными хромовыми сапогами и той манерой держаться, которая бывает у старых кавалеристов.

Карахан знал, что Зелимхан, не дожидаясь ночного поезда, примчится на такси. Едва машина затормозила, старший брат бросился навстречу — только хромовые сапоги да пряжка широкого ремня, которым была туго перехвачена темно-зеленая рубашка, блеснули в косых лучах вечернего солнца, пронизавших сухую, стоявшую в тихом воздухе пыль.

— Да буду я жертвой дорог, которые привели тебя, брат! Бессовестный, хоть бы краешком глаза взглянул в нашу сторону. На целый год забыл отчий дом! — возбужденно говорил Карахан, обнимая брата.— Прости меня за телеграмму, отец жив-здоров, пусть не застилают слезы твоих глаз, да буду я их жертвой! Жив-здоров, клянусь душой! — продолжал он.— Я сюда шел, а он расхаживал перед нашим домом, руки за спину заложил и четки перебирает. Тебя ждет! И сюда прийти меня надоумил: пойди, говорит, такси с асфальта не съезжают, а если и попробуют, то наша лесная дорога все равно не для их колес. С нашим стариком все в порядке, ни волоска из бороды не упало! Не веришь — можешь сосчитать! Не забыл, как в детстве взбирался отцу на грудь и считал волосы в бороде? А?.. Вот видишь, выходит, не огорчил я тебя телеграммой-то, а обрадовал!

Карахан все говорил и говорил, полуобрадованно, полутревожно, неумело скрывая волнение, то и дело оглядываясь на людей, которые стояли на тротуаре и с любопытством смотрели на них. Нервно, нетерпеливо он нашарил в карманах деньги, все так же суетясь, рассчитался с шофером, взял брата под руку и отвел его в сторону, к «виллису», оставшемуся в лесхозе со времен войны.

Пока Зелимхан, измученный семичасовым ожиданием великой беды, пытался освободиться от гнетущего состояния, они въехали в лес.

По обеим сторонам сплошным ковром лежали желтые листья. Огнем полыхали вековые дубы, карагачи, терновник, а больше всех — кусты шиповника, мелькавшие среди деревьев. Зелимхан смотрел прямо перед собой и курил. Значит, отец жив-здоров! «Ходит перед домом, перебирает четки...» Как гора с плеч! Тогда зачем эта телеграмма?

Карахан, усадив брата рядом с шофером, примолк. Шепотом сказал, что дела его плохи, очень плохи, нужна его — Зелимхана — помощь.

И тут Зелимхан уже не мог сдержать то, что так долго копил в душе. Нужна помощь, так позвонил бы! Чего же старика заживо хоронить?..

Старший подался вперед и снова быстро и коротко шепнул: поговорим обо всем дома. Пока он может сообщить только, что с тех пор, как Зелимхан отвернулся от Зумруд, от них отвернулся ее отец — дядя Азиз. Хотя и здоровается со своим двоюродным братом — старым Сабитом, но с племянником, с Караханом, не в ладах.

Только и всего? А при чем здесь он — Зелимхан? Постой, постой! Может, Карахан хочет воскресить прошлое, попытаться связать оборванные нити между Зелимханом и Зумруд? Зумруд... Самая прекрасная мечта юности, а теперь чужой, до неузнаваемости чужой человек! В каждом письме Карахан старался уверить его, что он, Зелимхан, неправ в своем решении забыть Зумруд. И вот снова за старое. И все из-за того, что дядя Азиз — первый секретарь райкома Азиз Маилов — с ним «не в ладах». Противно. Будто дядя Азиз изменит свое отношение к старшему племяннику, если младший женится на его дочке!..

Кто знает, сколько раз оборачивался Зелимхан к брату, чтобы понять причины его тщетно скрываемого беспокойства. Наконец тревога Зелимхана, слывшего са-

мым сдержанным среди друзей, прорвалась наружу. Не доезжая до Беюк-тала, где жили лесхозовцы и куда шла машина, Зелимхан с неожиданной для самого себя резкостью велел шоферу затормозить:

— Отсюда пойдем пешком!

— Ну что ж, пошли,— сразу согласился Карахан.— Хоть лес сейчас и не так красив, все же есть на что полюбоваться. Вот пройдем сто шагов, начнутся акации. После твоего отъезда пересадил саженцы. Поливали вовремя. Сам специально следил. Трехлетние выглядят, как пятилетние!..

Зелимхан чувствовал, что брат выдавливает из себя эти слова, чтоб не касаться того, что беспокоило его. Да и машина еще не отъехала, шофер мог услышать, о чем говорят братья, так неожиданно покинувшие «виллис» для какого-то своего, важного разговора. Но как только машина отошла, Карахан обнял брата за плечи и с еще более просительной, чем раньше, нежностью сказал:

— Да буду я жертвой твоего чуткого сердца! А мое разрывается, дорогой. Напрасно не поговорил с тобой еще там, в райцентре. Дома соберутся объездчики, начнут гонять чаи, и тогда жди до полуночи, пока уйдут. А моя душа изболелась. Горе, вот оно где сидит у меня! — Карахан ткнул пальцем в кадык, едва выступавший на сильной красивой шее.— Душит! — сказал он упавшим голосом, и палец его задрожал.

Хотя и было ему далеко за сорок, но казалось странным, что у этого черноволосого лесовода, статного и крепкого, как чинара, трясутся руки.

В эту минуту младший брат забыл о телеграмме.

— Так что же случилось у тебя? — спросил он.

— Арестуют меня, брат... наверняка арестуют! — сокрушенно произнес Карахан.

Зелимхан невольно остановился. Он знал, как плохо идут дела брата. Всякий раз, узнавая о нем что-то новое, младший брат испытывал тревогу. А от такого признания Карахана сердце сжалось.

— За что арестуют? — стараясь скрыть волнение, спросил Зелимхан.

Карахан шумно вздохнул:

— Не к лицу тебе наивный вопрос, родной мой. Ангелов на земле нет. Арестовать при желании можно каждого, брат. Ты спроси, когда арестуют и сколько дадут, а я отвечу: арестуют немедленно, а дадут лет, наверное,

пять-шесть, не меньше. Дочки мои останутся без отцовской ласки. И ты только-только устроился в Баку, а придется тебе отказаться от будущего, вернуться сюда и сидеть с моими сиротами! Полдюжина скоро!

Зелимхан полез в карман летнего пальто. Вместе с пачкой сигарет рука нащупала твердую бумагу телеграммы, и он опять с упреком взглянул на брата.

— Что ты все пугаешь меня, Карахан?

Карахан шел по темно-красным, почти бордовым листьям.

— Зачем мне попусту брата пугать? Да буду жертвой за тебя. Сейчас я выложу все! — И снова торопливо и нервно заговорил он: — В последнее время я стал страх каким пустомелей... Потому что от беды моей нет избавления! Наш разлюбезный дядя за глотку меня взял, губит на глазах у всех. Да, да, губит, брат! Не смотри на меня так, я не преувеличиваю. Губит он меня, это точно! Ты знаешь, за последние годы по причинам, зависящим и не зависящим от меня, я работал неважно. Люди в лесу стали какими-то безответственными. Сам видишь, поредел лес, повырубили! За это пусть снимают меня с работы, пусть накажут по партийной линии за халатность, за мягкотелость. Я буду самым низким человеком, если выскажу недовольство! Я все перенесу, и без всяких наказаний меня мучает совесть, моя собственная совесть, понимаешь? Веришь? Но суд для меня — это смерть, брат!.. Люди, сами люди зверски обращаются с лесом. А я один, выходит, виноват? «Иди сдавай дела. Дело твое подсудное». Вот что говорит наш уважаемый дядя Азиз! Вот какая у меня беда! Говорю ему: ами-джан, дорогой, ведь я в этот лес жизнь вложил, сам, засучив рукава, с бригадой всего из двадцати восьми человек за два года высадил лес на двухстах гектарах. Хоть это, говорю, прими во внимание. А он ни в какую: «Иди сдавай дела, и точка!» Вот таким оказался наш дядя, дорогой наш родственник, врагом обернулся!..

Карахан еще говорил долго, быстро, без передышки, размахивая руками, обходя брата то справа, то слева, то держа под локоть, то вдруг хватая его запястье.

Солнце медленно, как бы нехотя ушло за горизонт. Верхушки деревьев еще светились золотом в закатных лучах солнца. А внизу все разом посерело — и деревья, и темно-красные листья под ногами Карахана, на которые, почти не мигая, смотрел Зелимхан.

Вдруг он среди темно-серых красок разглядел расцветшие фиалки. Фиалки в ноябрьском лесу! Тому, кто впервые попадал в эти места, они показались бы чудом. Но Зелимхан знал, что туман, который ночами поднимается с окрестных кара-су, ползет по земле и стелется между деревьями, смягчает лесной воздух порой до того, что он кажется весенним; приходи сюда хоть в самом конце осени — и отыщешь фиалку, первый дар весны.

В университете, особенно в первый и второй год ученья, Зелимхан сильно тосковал по лесам и часто, выбрав подходящий день, уезжал из Баку. Как удивительно пахли осенние фиалки! Возьми их самыми кончиками пальцев — прямо в душу заструится свежая прохлада озябших, но полных живыми соками стебельков. В Баку Зелимхан показывал фиалки товарищам со скрытой гордостью: «Чудо родной земли».

Но сейчас фиалки не вызывали у него светлых чувств. Поймав себя на этом, он вяло подумал, что устал. Рассеянность, невнимание к исповеди старшего брата, попавшего в беду, мысли, устремлявшиеся то за ушедшим солнцем, то за фиалками,— все это, конечно, нехороший признак.

Неужели ему безразлична судьба брата? Или он все еще не может избавиться от тяжелого чувства, которое вызвала телеграмма? Нет, ни то, ни другое. Слишком теперь понятно, к чему клонит брат, чем он кончит, чего потребует.

— Жена и дети совсем извелись,— говорил Карахан.— Да ладно, жена и дочери... Я взвалил на плечи бедного нашего отца горе величиной с гору! И это в его-то годы! Без моего ведома он пошел просить за меня: «Азиз, родной, нельзя так мучить человека. У Карахана шесть дочерей. Ради детей дай ему срок, чтобы он все исправил». А тот в ответ: «Хватит!.. И недели не дам!..»

Зелимхан, потеряв терпение, снова остановился.

— Почему ты не скажешь сразу, что все дело в Зумруд? — с досадой спросил он.

Под ногами Карахана смолкло шуршание листьев. Деревья вокруг, окутанные вечерней сумеречной дымкой, казалось, замерли.

— В Зумруд или нет? Скажи...

— Именно в ней, мой дорогой! Ведь я уже говорил тебе!

— Итак, дядя Азиз переменился к тебе из-за нашей ссоры с Зумруд?

— По-другому не могу объяснить, брат.

— Значит, дядя Азиз настолько мелкий человек, что...

— Нет, нет!.. этого не скажу! — перебил Карахан.— Что бы там со мной ни было, но ведь и он отец. Когда, бог даст, ты станешь отцом, поймешь, что такое родное дитя. Нашему старику Азиз-ами прямо сказал: это, дескать, твой меньшой сделал мою дочь несчастной.

— Азиз-ами о многом не знает,— сдавленно произнес Зелимхан.— Но ты-то знаешь!..

— Знаю, знаю, что ты имеешь в виду! — снова перебил Карахан.— Я тебе не раз писал о моей вине перед тобой, родной мой, да и сейчас каюсь от чистого сердца. Зумруд выросла среди моих детей, на моем попечении, и если кое-какие ее замашки тебе не по душе пришлись, значит, вина прежде всего моя, моего воспитания. Но ведь она еще молоденькая, Зелимхан! Не так уж мы испортили ее натуру, как тебе кажется. Знаю, конечно, знаю: сейчас у вас с ней, как это говорят в ваших интеллигентских кругах, натянутые отношения. Но уверяю тебя: во многом виноват ты сам. Слишком суров ты с ней, брат. Целый моральный кодекс предъявляешь бедной девушке. От веселой шалуньи ничего не осталось, в лист осенний превратилась... А ты сам? По твоим глазам вижу, ведь тоскуешь по ней! Признайся! Многие думают про нас, лесников, будто мы далеки от цивилизации. Но тебе-то известно, что мы знаем толк не только в деревьях, травах да цветах, но и в человеческом сердце. А уж сердце родного брата... Ты ее любишь, Зелимхан, крепко любишь... только... повторяю, ты слишком строг. И к нам тоже строг. Я же чувствую, не нравится тебе, как мы живем. А что плохого мы сделали? Давай поговорим начистоту...

— Я не женюсь на Зумруд!

Эти слова были сказаны так неожиданно, так твердо и резко, что Карахан растерянно смолк.

— Не женюсь,— повторил Зелимхан.— Об этом не может быть и речи. Свои неурядицы ты не связывай с ней, Карахан. Давай подумаем, как тебе помочь.

Сигарета обожгла концы пальцев, Зелимхан придавил ее на дубовом пне. Взглянул на сухие листья вокруг, тщательно загасил окурок.

— Ты молод еще...— У Карахана голос стал глуше, будто он испугался открывшихся перед ними огней.— Нет

ничего хуже, когда родственник, друг становится врагом. Перед нашим домом стоят объездчики, тебя дожидаются. У твоих ног барана зарежут — курбан в твою честь. Сколько родни набежит! Но будут ли они меня защищать? Не знаю. Времена другие пошли — и люди тоже. Пока ты при деле — все уважают. Чуть что — отворачиваются. Это страшно, брат... Три года — с мая сорок второго по май сорок пятого — днем и ночью под пулями был и я, как подобает Маилову, страху не знал. А теперь, честно скажу, душа в пятки ушла. Больше я тебе ни слова... Взвесь, прикинь, подумай — вон какие глаза у тебя задумчивые, уже три сигареты выкурил... И с отцом посоветуйся. Не думай, никто тебя принуждать не станет. Но и ты должен войти в наше положение... Ну пойдем! Прибавь шагу, а то дома заждались.

На братьев надвигалась темная стена деревьев. На их фоне домишки лесхозовцев под плоскими крышами, освещаемые огнем очагов под навесами, казались еще ниже. Финский домик белел среди них шиферной крышей. Эта картина, знакомая с тех пор, как он, Зелимхан, появился на свет, жила в его памяти во всех мельчайших подробностях. Только вспомнишь эту поляну размером с площадку для молотьбы, но почему-то называвшуюся Беюк-тала (Большая поляна), этот крошечный уголок, затерявшийся в лесах,далекий от больших городов и поселков, вспомнишь — и сладко, тоскливо защемит сердце.

Зелимхан недавно получил в Баку новую квартиру. Отличную, со всеми удобствами, на Наримановском проспекте. Но в последнее время кто-то будто тормошил и будил его по ночам. Зелимхан привставал на своей удобной постели и видел шифер, белеющий в лунном свете, мирно горящие очаги, тени мужчин-лесхозовцев, собирающихся потолковать о делах, огненные точки папирос и трубок в ночной темноте. Стряхнув сон и придя в себя, Зелимхан качал головой: «Э, дорогой товарищ! С детством никак не распростишься!» Но картина тревожила снова и снова, и Зелимхан, подтрунивая над собой, ловил себя на том, что не только не может, но и не хочет расставаться с детством. Было в Беюк-тала что-то такое, от чего не отделаешься, а если отделаешься, то лишь беду наживешь. В иные бессонные ночи Зелимхан будто предчувствовал надвигающееся несчастье. Откуда оно бралось, это предчувствие? Может, из-за ссоры с Зумруд и всего, что с ней связано? Или он уже тогда угадывал, какой

водоворот событий забурлит в Беюк-тала после его приезда? Трудно сказать.

Его и сейчас охватило волнение при виде этой родной, близкой сердцу картины, но к волнению примешивалось что-то еще, какое-то иное чувство, осмыслить которое он не мог.

Когда братья стали подходить, люди возле дома зашевелились.

Кто-то волок навстречу круторогого барана. Согнул ему шею и поверг на землю перед Зелимханом. Тщедушный человек в тяжелой серой шинели (мешок мешком, полы — до земли) действовал с удивительным проворством. Зелимхан не услышал ответа на свое «здравствуй» — человек в шинели напрягся, придавил коленом шею поваленного барана... Сверкнуло лезвие кинжала с белой костяной рукояткой, брызнула и потекла кровь, дымясь, собираясь в лужу; в сумерках, чуть рассеиваемых дрожащим светом костров, лужа казалась черной.

И уже потом, как велит обычай, земляки Зелимхана обступили его, пожимали руку и с чинной серьезностью повторяли:

— Поздравляю с приездом. Добро пожаловать.

Зелимхан здоровался и никак не мог оторвать взгляда от темной лужи крови, от барана, над которым молча, не поднимая головы, все колдовал человек-мешок.

Это был Керим Маилов, Зелимхан его узнал.

Кто помешает встрече сына с отцом? Люди отступили. Не успел Зелимхан переступить порог, как племянницы, толпившиеся у дверей, повисли на нем. Шесть пар теплых ласковых ладоней, споря между собой и мешая друг другу, обхватили его лицо, шесть взволнованных голосов оглушили:

— Да перейдут твои недуги ко мне! Да умру я за тебя! Да буду я принесена тебе в жертву!..

Неизвестно, сколько длилось бы это «чмок-чмок», если бы Карахан сурово не одернул дочерей:

— Ну довольно! Хватит! Ступайте матери помогите!

Девочки вмиг притихли и выпорхнули во двор. Зелимхан не успел разглядеть, как переменилась каждая из них за прошедший год.

Он любил племянниц и не мог забыть свою великую вину перед этой семьей, которая до сих пор отдавалась в

нем болью. Он знал, какая тревога охватывала всех здесь каждый раз, когда приходило время звать к Сарие повитуху. Только старшая дочь, восемнадцатилетняя Марьям, молчаливая и сдержанная, не изменяла себе, а остальных словно лихорадка била. Став на колени перед окном, они горячим шепотом молились, обратив лица к темному ночному небу: «Даруй нам брата, только брата, только брата!» А потом, когда повитуха показывала им барахтающуюся в ее руках и кричащую девочку, сестры затевали настоящий траурный плач, рвали на себе волосы, жалобно причитали: «Ох, мы несчастные, ох, горемычки», они, девочки, посылали на младенца проклятия, услышанные от бабушек: «Чтоб мечты твои не сбылись, чтоб глаза твои ослепли...»

Это было страшно. Зелимхан лишь однажды был свидетелем такого плача, но знал, что он повторяется каждый раз, когда бедняжка Сария приносит в семью девочку. Безучастный внешне, Зелимхан негодовал, ему хотелось бросить резкий упрек в лицо Карахану. Но, вспоминая беду, случившуюся в сорок втором году, злосчастную винтовку и шальную пулю, Зелимхан уходил подавленный, не в силах что-либо изменить.

Каждый раз при встрече с племянницами он испытывал радостное волнение, прилив нежности и болезненный укол в сердце. Может, Карахан догадался о том, что творится у него на душе, потому и поспешил прогнать дочерей?

Зелимхан с признательностью посмотрел на брата: нет, чуткости тот не лишился.

— Ну вот,— сказал Зелимхан,— вызвал меня срочно, я и приехал к племянницам с пустыми руками.— Потом посмотрел на дверь, ведущую в соседнюю комнату.— А где же отец?

Карахан, продев руки под ремень, молча расхаживал по комнате. Дома он снова заметно притих.

— Отец?.. Отец у себя, там дожидается, паду за тебя жертвой! — И торопливо махнул рукой на закрытую дверь.— Велел, чтобы ты к нему один зашел. Снимай пальто, кепку, давай сюда.

— Сария-баджи?

— Придет, придет, увидитесь. Ты же знаешь ее характер, будь он неладен, стесняется, видно.

Зелимхан посмотрел пристально в лицо брату.

— В положении опять, да?..

— Ждем... Седьмую дочь...

— Опять тяжело переносит?

— Легко ли, тяжело — разве она признается? День-деньской на ногах, все ходит, ходит по двору, гулять, говорит, полезно. Вот я и думаю: боится... Кто знает, посмотрим... Дай бог...

«Дай бог...» — эти слова прозвучали в устах Карахана по-особому. И настроение Зелимхана снова переменилось. Словно в комнату ворвался из лесу холод осенних листьев и унес прочь девичью теплоту, согревавшую воздух этого дома.

— Иди, брат! — Карахан снова показал на дверь отцовской комнаты и, устало ссутулившись, отошел в угол.

Прежде чем войти к отцу, Зелимхан на минуту заколебался: «Почему разговор с отцом должен быть с глазу на глаз? Что нам таить от Карахана?» Однако размышлять было некогда, и он легонько толкнул дверь. Мягко, чуть ли не на носках, дошел до ковра, постеленного на довольно замызганном полу посреди просторной комнаты. Остановился; взглянул на отца, невольно улыбнулся.

На ковре лежал богатырь. Массивная голова покоилась на белой подушке, которую подпирали мягкие валики — мутаки, обтянутые густо-красным бархатом с бахромой. По широченной отцовской груди струилась светлая ухоженная борода, от привычного поглаживания ставшая похожей на пушистую чесаную шерсть.

Лампа-десятилинейка из дальнего угла комнаты лила спокойный и уютный свет.

За приоткрытой заслонкой печки меж тлевших углей вспыхивали крохотные язычки пламени, и отблеск их играл на бритой голове старика.

Зелимхан присел на краешек ковра, взглянул на закрытые глаза, будто утонувшие в тени густых белых бровей, и тихо произнес:

— Баба́.

С тех пор как Зелимхан научился говорить, он звал отца только так и даже удивлялся, почему другие дети обращаются к своим отцам по-другому. Ему почему-то казалось, что слово «ата» звучит слишком громко, а «дэдэ» как-то чувствительно, не по-мужски. «Баба́». Только так! И в меру просто, и в меру ласково, и в то ж время достаточно сдержанно.

— Бабá, слышишь? — еще раз окликнул Зелимхан.

Брови старика зашевелились, медленно сошлись к переносице, потом опять разошлись. Зелимхан смотрел на знакомые, родные морщины высокого лба, на коричневую родинку, пристроившуюся к правой ноздре, на властный изгиб крупных и жестких губ.

Опершись рукой о ковер, Зелимхан встал и тихо, с прежней осторожностью отошел. Огляделся.

У стены стоял новый шкаф. На стеклянных дверцах нарисованы две куропатки. Справа от шкафа на стенном ковре приколоты фотографии членов семьи, далеких и близких родственников. Взгляд Зелимхана остановился на одной из них. Зумруд. Странное дело: словно высокая, непреодолимая преграда выросла между Зелимханом и Зумруд; по одну сторону осталась вот эта девушка, с протянутыми к нему руками, а по другую он. Все обеспокоены, встревожены — брат, отец, даже посторонние люди, встретившие его во дворе взглядами, полными ожидания. А Зелимхан... все раздумывает.

Он вздохнул. Повернулся и встретился с широко раскрытыми, немигающими, сердитыми глазами. Старик, значит, и не спал вовсе. Неужели за целый год его гнев не остыл хоть немного?

Взгляд отца устремился в большое, с человеческий рост, зеркало. В зеркале отражался высокий стройный юноша с нежным овалом лица. На юноше черный костюм и белоснежная рубашка. Лицо белое, а волосы отливают чернотой. Большие, спокойные глаза. Небольшой, как у отца, нос и такие же, как у Сабита, мясистые губы.

В многочисленном семействе Маиловых нет человека, который не любил бы этого юношу. А Маилов-старший сейчас словно не только не любит, но и знать его не хочет. Он хмурится, сердясь на ту дерзость, непринужденность, с которой кто-то расхаживает по этой комнате, куда, кроме дорогих гостей и его самого, Сабита Маилова, никто не ступает ногой. Может, старик спросонья и впрямь не узнает сына?

— Бабá, здравствуй!

Старик оторвал взгляд от зеркала, отвернулся.

Зелимхан подошел к ковру, присел на корточки, положил ладонь на скрещенные на поясе шершавые отцовские руки.

— Почему ты не смотришь на меня?

Старик неторопливым, но сильным движением отстра-

нил руку сына, с неожиданной легкостью поднялся во весь свой могучий рост и только тогда взглянул на Зелимхана. Но тотчас снова отвернулся.

— Ну, приехал, значит?..

— Как видишь, приехал.

— Я привел твою невесту в свой дом.

Что?!.. Зелимхан в первое мгновение даже не понял, о чем говорит отец. А когда осознал смысл его властных слов, усмехнулся про себя: «Вот как? Это вместо «Здравствуй, сын»? И слова, и поза, и мнимый сон отца — все показалось несерьезным, нелепым, смешным.

— Как это «привел», отец? Не поговорив со мной, не спросив? Может ли так быть?

— Хочешь, оставайся, стань мужем, не хочешь — вот дверь, а за ней дорога,— повторил старик, мотнув бородой,— невеста у моего очага. Здесь, в моем доме, завели речь о тебе и о ней, здесь ей и жить и умереть!

Вот оно что. За него все решили, дело сделано, и спорить бессмысленно. Карахан, значит, умолчал о том, что Зумруд здесь. Почему? Побоялся, не хотел раньше времени вспугнуть брата! А может, отец и Карахан все заранее продумали и действуют в полном согласии? Дали лживую телеграмму, позвали Зумруд... Выходит, Карахан скрывал главное? Эх, а он-то уважал брата за искренность, за чуткость...

Осторожно выбирая слова, Зелимхан заговорил:

— Отец, мне кажется, в нашу семью пробирается большая беда. Если брат делает подвох брату, если отец не считается с сыном, разве это не беда? На своем веку ты повидал немало всего, ты опытен, зачем же затеял недостойное дело?

Старик ухватился за последнее слово.

— Недостойное? — Гнев наконец выплеснулся.— Твой отец знает, что к чему в жизни, очень хорошо знает, какое дело затеял.— Горячее дыхание Сабита обжигало сына.— А ты что делаешь? Хочешь бросить дитя Азиза Маилова под ноги людям, как цветок, нанюхался — и бросай, да? — Сабит поднял руку, чуть не достав до потолка, и погрозил пальцем: — Пока в этом доме останется хоть тень старого Сабита, не бывать по-твоему!

Зелимхан, опустив голову, смотрел на серую бахрому ковра. Надо было разобраться в том, что происходит. Если угроза, нависшая над братом, так велика, как говорил Карахан, почему же отец ничего не говорит о ней? И не-

ужели они и впрямь думают, что женитьба Зелимхана спасет брата?.. Уму непостижимо. В каком веке они живут? А может, всю эту кашу заварили для того только, чтобы добиться своего и заставить его жениться? Если это так, то... остается одно: снять с вешалки пальто, кепку и уйти прочь. Порвать с отчим домом, отвернуться от родного отца, от брата, от всех? Возможно ли это? Правильно ли?.. «Невеста...» Где она теперь, что она-то думает? Сидит сейчас где-то на женской половине дома и ждет своего будущего мужа? Нет, нельзя в это поверить. Зумруд, та самая Зумруд, которая с малых лет ни перед кем не склоняла головы, сидит в празднично убранной комнате невесты и, смиренная, кроткая, ожидает решения своей судьбы? Но, может быть, и ее завлекли сюда обманом? Заманили, чтобы, вытянув у него согласие, тут же сообщить ничего не подозревающей девушке радостную весть?..

Зелимхан взглянул на отца.

И слова, и гневные жесты старика, способные хоть кого заставить дрогнуть, напомнили Зелимхану то, что случилось год назад. Значит, все повторяется. Тогда он ушел из дому. Почему же медлит теперь? Так же больно и тяжело ему было год назад, когда стало ясно, что отец ни выслушать его не захочет, ни посчитаться с ним.

Теперь Зелимхан с внутренней радостью ощутил, что у него есть силы остаться хладнокровным. Нет, он не даст волю своей оскорбленной гордости. Старик зашел чересчур далеко. Новая сцена в старой надоевшей пьесе, где слова и позы действующих лиц достаточно уже приелись. Только он-то по-новому сыграет свою роль.

Зелимхан не уйдет. Во всяком случае, не сразу.

— Может быть, сядем, отец?

Глаза старика расширились от удивления. На лице его мелькнуло выражение наивного непонимания, никак не вяжущееся ни с гневом, ни со всей его могучей фигурой.

— Как это так — сядем?.. Что это еще значит?

— Ты так сердит, что даже обычные слова кажутся тебе странными. Я устал с дороги. Проголодался к тому же. Мало того что лживая телеграмма измучила меня, так еще и ты? Встретил, называется...

— Гм... уж не знаю, кто кого мучает.— Сабит Маилов умолк в замешательстве. Но он был умным человеком. Почувствовал, что сын может обезоружить его своей вы-

держкой. И решил принять бой. Повернувшись, он окинул сына подозрительным взглядом.— Ну, чего ты хочешь или просто зубы заговариваешь?

— Я хочу только одного: сесть рядом и поговорить по душам, начистоту, как сын с отцом,— произнес Зелимхан дрогнувшим голосом.— Год назад ты не хотел выслушать меня и я ушел. И теперь снова встречаешь меня в штыки. А почему бы тебе хоть раз не спросить, почему я отвернулся от невесты, с которой обручен пять лет? Внучки твои написали мне, что каждый вечер ты заставляешь их читать мою книжку, хоть одну страницу,— без этого не ложишься спать. Получил я это письмо, и слезы навернулись на глаза. Представил себе: вот ты лежишь здесь. Марьям читает вслух, а ты слушаешь. Я же знаю, что у тебя на душе, какая она добрая, человечная, настоящая отцовская. А сейчас тебя не узнаю. Что случится, если ты выслушаешь меня. Я не книга, я живой человек. Пишу, пишу, строчу статьи, учу других уму-разуму, а вот свою судьбу, видишь, не умею устроить. Трудно мне, отец.

Сабит слушал, опустив голову, а когда поднял ее, Зелимхану показалось, что глаза его смягчились. Отец отвел взгляд и стал смотреть в окно на окутанную мглой поляну. Хотел скрыть слезы? Но голос прозвучал жестко:

— Складно говоришь! Умеешь...

Сын вздохнул.

— Я никогда в жизни не говорил с тобой так откровенно, как сейчас. Но теперь я должен выложить все. Ведь это вопрос всей моей жизни!

Отец вынул из кармана четки. В сердце Зелимхана вспыхнула искорка надежды: раз появились четки, значит, выдержка победила гнев.

Но Зелимхан снова ошибся.

— «Вопрос всей моей жизни», «вопрос всей моей жизни!»... Твоей! — повторял старик, вновь распаляясь.— Дать тебе волю, так ты весь свой век проживешь холостяком и на тот свет холостяком отправишься. Не разбираюсь я во всяких ваших штуках, не знаю, что вы там на Луну и к звездам закинули. Раньше мы такие штуки творением дьявола называли. Не разбираюсь, нет. Но вас, нынешних, знаю как облупленных! Распустилась молодежь, ни к черту не годитесь! Все вы враги семейной жизни. Среди работниц одной нашей оранжереи целая дюжина жен-горемык, сам считал. Где их мужья? Можешь ли ты мне сказать, «живой человек»? Коль ты живой, так не пекись

о себе только, заметь и их слезы. Молчишь? Для того мы посылаем вас в город учиться, делаем из вас ученых, книгописцев, чтобы вы, не успев еще написать столько слов, сколько их есть в одной молитве Корана, не вылупившись еще из яйца, уже стали брезговать скорлупой? Чтоб вы оставляли в слезах наших дочерей, красивых как русалки, да гонялись за накрашенными городскими вертихвостками? Что ты из меня жилы тянешь? Или хочешь оставить здесь эту девчонку в невестах, а сам будешь до седых волос ветрогоном в городе? «Поговорить по душам» ему захотелось. Тебе ли говорить?

Упрямство, властность, убежденность убили в Зелимхане всякую надежду на спокойный разговор — разговор людей, понимающих друг друга. Ну что ж, Зелимхан посмотрел на знакомое до мельчайших черточек родное лицо. Медленно зашагал к двери. Значит, опять уходить. Уходить, не найдя слов, которые могли бы заставить старика заколебаться, отступить. В тот первый раз он ушел словно парализованный душевной болью. Теперь не было этой подавленности. Мысль рождалась ясная, четкая: «С тобой говорить невозможно. Тебя не переубедить. Ты скала, гранит! Кто поверит, что человек, в котором все такое родное, даже движение губ, даже трясущаяся борода... кто поверит, что такая глубокая пропасть между нами. Но это так!»

— Прощай, отец.— Зелимхан подошел к двери...

И в эту минуту случилось то, чего так опасался Сабит Маилов и чего никак не ожидал его сын. Дверь распахнулась. На пороге появилась бледная хрупкая девушка с черными горящими глазами. Бросив негодующий взгляд на Зелимхана, она резкими шагами подошла к старику и стала прямо перед ним. Видно было, как старалась она взять себя в руки, не выказать своего волнения, слабости. Но ей это плохо удавалось. Немозмутимость и спокойствие, которые она старалась придать лицу, никак не вязались ни с бледностью, покрывавшей его, ни с влажными ресницами, ни с судорожно прижатыми к красной шелковой кофте тонкими руками. Она заставила себя разжать губы и — удивительное дело! — заговорила спокойно, с гордым достоинством:

— Бабá... прости меня. Но я не вещь, брошенная на улице!

Голос ее оборвался. Однако она уже сказала то, что хотела. Еще с той минуты, как Зелимхан вошел сюда, она

тихонько приоткрыла створку окна со двора и, не замечая промозглой вечерней сырости, слушала спор отца с сыном и обдумывала слова, которые бросит в лицо этому зазнавшемуся разодетому горожанину, слова, полные презрения и протеста. И хотя она не произнесла и малой доли того, что придумала, ее поняли. Еще слово-другое, и девушка могла разрыдаться. Но она не хотела плакать ни перед стариком, защищавшим ее права, ни перед отвернувшимся от нее Зелимханом. Руки ее медленно разжались. С вытянутой ладони, на которой — Зелимхан успел заметить это — остался врезавшийся в кожу круглый след, со стуком упало на пол обручальное кольцо, покатилось и спряталось в бахрому ковра.

Зумруд ушла так же неожиданно и быстро, как пришла. Словно ветер пронесся мимо Зелимхана.

На другой половине дома беспокойно ждали конца разговора отца с сыном. Карахан, Сария, дочери, Керим Маилов... Что произошло в комнате старика? Почему такой растерянный, отчаянный вид был у Зумруд, выбежавшей оттуда?.. Минуты шли, но никто не решался нарушить тишину...

На крыльце послышались торопливые шаги. Шедший, кажется, споткнулся, упал, потом поднялся и побежал по ступенькам. Это была старшая дочь Карахана, Марьям. Ее косы расплелись, упали на широкие полные плечи и спину. Серая ситцевая кофта расстегнулась, но она не замечала этого. Марьям была в смятении, спокойная, немногословная Марьям, которая день-деньской проводила в нескончаемых хлопотах по дому, трудилась с матерью рука об руку во дворе и в комнатах, никогда и никуда не спешила.

— Что у тебя за вид? — спросил Карахан.— Что случилось?

Марьям перевела дыхание, заговорила неожиданно спокойным, усталым голосом:

— Зумруд убежала.

— Куда?

— Вон туда, в лес... Мы хотели ее задержать, но она вырвалась и...

Марьям медленно, тяжело подняла руку и отерла со лба пот. Хрупкая и слабенькая Зумруд смогла вырваться из таких сильных рук? Как же она тогда бежала!

Карахан растерялся. Сария-баджи, поднеся угол келагая к глазам, заплакала, девочки тоже.

— Верните девушку! — прогремел из соседней комнаты голос Сабита Маилова.

В семье Маиловых, среди многочисленных дальних и близких родственников, поднялся невиданный переполох. Все бросились в лес. Все вышли искать Зумруд, единственную дочь самого уважаемого человека в районе, Азиза Маилова, невесту Зелимхана Маилова.

Только наутро, когда взошедшее солнце высушило росу на Беюк-тала, перед финским домиком из «виллиса» выпрыгнул Карахан.

— Уехала в город, в дом отца,— тихо сообщил он.

От кавалерийской выправки Карахана не осталось и следа. Ни на кого не глядя, он молча отошел от отца. Но Сабит Маилов смотрел не на старшего сына.

Во весь голос заговорил старик, обращаясь к Зелимхану:

— Уходи! У меня нет сына по имени Зелимхан. Зелимхан умер. Ты его тень.— Потом повернулся к старшему: — Не вздумай удерживать! Слышишь?! — И, выпрямившись, словно даже горделиво приосанившись, не оборачиваясь, поднялся по лестнице в свою комнату и закрыл за собой дубовую красную дверь.

Зелимхан поднял воротник пальто, промокшего от сырости в лесу, надвинул на лоб кепку и направился к акациям, за которыми начиналась дорога из Беюк-тала в райцентр. Карахан сделал несколько неуверенных шагов вслед брату. Остановился. Вспомнил наказ отца? Нет. Он и не слышал его. Теперь, после всего случившегося, удерживать брата бессмысленно.

А Зелимхан шагал и шагал между акаций, и странная надежда теплилась в груди — вот сейчас брат догонит его: «Вернись, голубчик, вернись, не уходи так! Что было — то прошло, пожалей моих детей, да буду я за тебя жертвой!» «Да, да,— думал он.— Карахан непременно догонит». Но позади не слышалось ни звука. У опушки, там, где грунтовая дорога смыкалась с большаком, Зелимхан наконец оглянулся.

В прозрачном, холодном осеннем воздухе дорога просматривалась сквозь оголенный лес далеко-далеко. Отвесно поднимались белые столбы дыма в Беюк-тала. Они под-

нимались порознь, высоко-высоко, пока не исчезали в бездне неба.

В Беюк-тала все от мала до велика встают с птицами. Очаги растапливаются, когда на дворе еще темно; потом люди расходятся по делам и огонь в очагах гаснет. Сегодня порядок нарушился. Дети опоздали в школу; старшие не оседлали лошадей; расстроенные домочадцы уселись у очагов и молча уставились на огонь. А кто виноват в этом? Он, Зелимхан? Нет же, нет. Но тогда откуда взялось в нем это чувство, нет, совершенно определенное сознание своей вины?..

Зелимхан приложил руку ко лбу, в глазах вдруг потемнело. Еле держась на ногах, он подумал о том, как это странно, что он так хладнокровно воспринял отцовский приговор, а вот сейчас, здесь... Да что это с ним?.. Кружится голова... Вот только здесь, только сейчас он осознал все, что стряслось.

Зелимхан и не вспомнил, что со вчерашнего дня, с момента получения телеграммы, он не сомкнул глаз и не выпил даже глотка воды.

Больше он ни о чем не успел подумать.

Когда Зелимхан открыл глаза, ему показалось, что с момента, когда он остановился и оглянулся назад, прошел час — самое меньшее. Заснул он, что ли? Но солнце не переместилось. И столбы дыма там, за деревьями, поднимались по-прежнему. Кругом ни души. А сам он сидит на распутье, как бездомный бродяга.

Беда стряслась! Беда. Отец отрекся от него, выгнал за дверь. Скорей небо упадет на землю, чем Сабит Маилов откажется от своих слов. Беда была в том, что согнулся Карахан, окончательно потерял надежду на спасение. Но главное, раздор в семье Маиловых, в семье, перед которой до сих пор все благоговели. В семье Маиловых тревога и печаль. Кормильца-поильца семьи подстерегала опасность. Зелимхан теперь верил в это, чувствовал необходимость куда-то идти, хлопотать за брата, растерянного, мечущегося в поисках выхода. Конечно, когда он, Зелимхан, ждал, что брат задержит его, вот-вот догонит, причиной тому была именно эта тревога за Карахана.

Только ли? Настойчиво, напряженно пытался Зелимхан сосредоточиться на мысли, рассеивавшейся, как лебединый пух. После долгих усилий, придя в себя окончательно, понял еще одно: он ждал Карахана и потому, что в ушах не переставал звучать слабый, дрожащий и в то же

время исполненный гордости голос: «Я не вещь, брошенная на улице!» Стремительное исчезновение Зумруд обвиняло Зелимхана. Да, да, он чувствовал теперь себя виноватым и перед ней. В чем? Неясно. Но вина была, и это казалось не только удивительным — невероятным.

Здесь рассказчик, очевидец событий, должен вернуться назад, к началу истории, сообщить некоторые подробности.

Подробность первая

ЗУМРУД

Пять лет назад, когда Зелимхан учился в десятом классе вечерней школы, он был совершенно равнодушен к Зумруд. Даже недолюбливал ее. И у него имелись на то основания. Эту маленькую хрупкую девочку, которая половину года жила в городе с отцом, а другую в лесу у Маиловых, дочери Карахана прозвали «кошкой двухдомной». Она и впрямь была ловкой, как кошка. День-деньской лазила по деревьям, по крышам. С крыш исчезали гуруты. Чьих рук дело? Зумруд! В подойнике с молока сняты сливки. Кто слизал? Конечно, Зумруд!.. Однажды зимой утром Зелимхан не нашел своих башмаков. Сердитый, по колено в снегу, он отправился ловить Зумруд. Но не успел и рта раскрыть, как девочка с неожиданной для нее покорностью сняла башмаки и аккуратно поставила у его ног. И жалобно спросила:

— А как же мне теперь возвращаться? Босиком?

Он молча сунул мокрые ноги в расшнурованные башмаки и, отдышавшись, небрежно бросил:

— Как я пришел, так и ты вернешься.

Но он был мягкосердечен. Может быть, даже слишком. Не сделав и пяти шагов, возвратился к девочке и, присев на корточки, посадил ее к себе на спину.

— Прости, братец, что столько хлопот тебе доставила,— журчала Зумруд.

Но как только они подошли к дому, девочка с кошачьей ловкостью спрыгнула на снег и, звонко хохоча, убежала босиком. Никакого мороза она не боялась. Просто игру такую затеяла, чтобы на нем прокатиться!

И все это повторилось не раз. Почему именно его она

выбирала для своих затей? Когда Зелимхана спрашивали, он отмахивался: «Откуда мне знать?»

Весной вместо башмаков исчезали штаны. Где они? Ведь висели здесь, на спинке кровати. Ну ясно, их надела Зумруд. Взобралась теперь на тутовое дерево, растущее у кара-су, и лакомится ягодами, известное дело. Брюки, как назло, одни. Нельзя же выходить на люди в одних трусах?.. Зелимхан закутывался в шаль старшей племянницы и отправлялся к ручью. Подойдя к дереву, он начинал:

— Вот времена пошли какие, Зумруд-ханум. Девушки носят теперь брюки, а парни ходят в юбках.

— А где же твоя юбка?

— А это что, по-твоему?

— Шаль Марьям. Разве я поверю, что такой красавец наденет юбку?

— Красота тут ни при чем,— смущенно бормотал Зелимхан.— Отдай брюки. Вот еще забота — свои же брюки выклянчивать.

— А что, у тебя есть и другие заботы?

— Представь себе, есть. Снимай-ка живее!

— Не понимаю, какие могут быть заботы у тебя. Ведь дядя лелеет тебя, как бекского сына. Целый день только и делаешь, что сидишь с книгами да тетрадками.

— А это разве не дело? Не заговаривай зубы, давай брюки.

Она раскачивалась на ветке, дразня его, потом нарочито медленно перебиралась повыше и садилась на развилке ветвей, закинув ногу на ногу.

— Знал бы ты, как приятно здесь сидеть... Слушай-ка, а юбку приятно носить?

— Отдай, говорю, брюки!

— Ой-ой-ой! Никогда еще не видела тебя сердитым. Ну рассердись, пожалуйста, а я погляжу, как это у тебя выходит.

— Ты что, с ума меня хочешь свести?

— И это вся твоя злость? — хохотала она, показывая белую полоску зубов между тонкими, почерневшими от тутовых ягод губами.— Брюки верну, но при одном условии.

— Опять хочешь прокатиться верхом? Ну, если так, давай, дело привычное.

— Нет. Я с зимы выросла. Боюсь, тебе тяжело будет.

Терпение Зелимхана лопалось. Смущенно, осторожно перебирая ногами, он карабкался в «юбке» на дерево.

А Зумруд, видя, что дело осложняется, делалась тихой и послушной.

Любила она поозорничать.

Но вот однажды...

В один из ясных лунных вечеров Зелимхан возвращался из школы домой. Сария с дочерьми еще днем затеяли на берегу кара-су большую стирку, и Зелимхан из школы направился туда же. Ему нравилось, присев на пенек или просто на землю, долго смотреть на тяжелый ленивый туман, дремавший в лощинах вокруг кара-су.

В этих местах родилась сказка. По ночам из кара-су выходят нагие сестры пери, садятся на берегу и расчесывают свои длинные волосы. Они должны успеть справиться с ними до восхода луны. Однажды самая младшая из сестер задержалась на берегу. И когда взошла луна, к кара-су пришли люди и ее, пери, коснулся человеческий взгляд. Хотела младшая пери втайне от сестер смыть со своего тела след человеческого взгляда, но он не смывался, и старшие пери отвергли младшую сестру, объявив ее нечистой. С тех пор бедняжка пери беззвучно плачет и, окутавшись в туман кара-су, ходит по лесу. Она умоляет людей снять с нее клеймо человеческого взгляда, но они не видят на ее теле никакого клейма и все в один голос называют ее сумасшедшей...

Зелимхан услышал эту сказку из уст Карахана в том же недоброй памяти сорок втором году. После смерти матери, когда маленький Зелимхан стал плохо спать по ночам, Карахан брал малыша на руки, ходил с ним по лесу, окутанному теплым туманом, и рассказывал своему «маленькому-удаленькому братцу» разные приключения сумасшедшей пери. Он уверял его, что пери обязательно встретится с человеком, который снимет с нее клеймо, и что этим человеком будет его «маленький-удаленький братец». Потом, школьником, Зелимхан почти каждый вечер ходил к берегам кара-су и, замирая в предвкушении неведомого счастья, слушал таинственные шорохи леса, вглядывался в переменчивую пелену тумана. Уже тогда он понимал, что нет, не появится из тумана пери. Ни сегодня, ни завтра, никогда не появится. Но сердце сладко сжималось от тоски и ожидания. Чтобы подавить эту ноющую тоску, он с усилием отрывал взгляд от тумана и отправлялся бродить по извилистым тропинкам, между черных стволов деревьев, всматриваясь в спокойно-могучие, вскинутые, казалось, до самых звезд ветви платанов...

Как-то, погладив Зелимхана по голове, Карахан сказал торжественно, словно пророк: «Если из тебя в конце концов не выйдет какой-нибудь бумагомарака, то, значит, я ничего не смыслю в жизни и людях. Пока нога твоего брата продета в стремя, пока я держусь крепко в седле — гуляй». Эти слова поощрили Зелимхана к лесным прогулкам.

Но в тот вечер не всегдашняя тяга к созерцанию влекла Зелимхана на свет костра, горевшего в тумане у воды.

Два дня назад жены лесхозовцев взбивали во дворе шерсть для постели. Зумруд сидела в сторонке, против обыкновения притихшая, кроткая, и смотрела то на Зелимхана, то на прутья, которые со свистом рассекали воздух. Глухой стук обрушивавшихся на шерсть прутьев, сосредоточенность женщин, их вид — они закрыли от пыли нос и рот платками — все это, казалось, наводило на Зумруд тоску.

Не успел Зелимхан удивиться ее смирению, как Зумруд вскочила, игриво стрельнула глазами на тяжелые, трясущиеся в ритм ударов груди краснощекой молодой жены почтенного Керим-киши, потом перевела взгляд на него, Зелимхана, и — неожиданный, непонятный жест! — схватив два комка шерсти, впихнула их себе под ситцевое платье, туда, где обозначились маленькие груди. Округлила, подравняла и уставилась на него черными блестящими глазами. «Смотри, смотри!» — говорили эти глаза. Женщины прервали работу, зашумели:

— Ах, чтоб тебе!

— Смотри-ка, негодница, что вытворяет!

— Бесстыдница, счастья ей не видать...

Мужчины, парни, прохлаждавшиеся в тени, дружно захохотали. А Зелимхан, тихоня Зелимхан, не сказавший никому ни разу грубого слова, не помня себя подскочил к Зумруд и дал ей пощечину. Успел почувствовать только, как заныла ладонь, и увидеть, как секунду назад искривившиеся смехом глаза девочки стали вдруг огромными от боли и растерянными. И клубки шерсти, которые часто-часто опускались и подымались под цветным ситцем... Зумруд выхватила их из-за пазухи, бросила на землю и кинулась прочь, скрылась между деревьями, только длинные косы мелькнули...

Карахан, как коршун, налетел на брата:

— Почему ударил девушку?

— А зачем она так сделала...— смущенно пробормотал Зелимхан.

Карахан с минуту смотрел на брата, потом, запрокинув голову, захохотал.

— Эх ты, святоша! Ни за что ни про что девочку обидел! А сам ты не делаешь себе усы из кукурузных колосков? — И вдруг посуровел: — Дочь дяди Азиза в этом доме стоит дороже всех вас. Еще раз обидишь, надеру уши так, что они вытянутся на целый вершок. Ясно?

Два дня не мог Зелимхан забыть изумленно расширившиеся глаза Зумруд. Два дня боль в запястье напоминала о его дурацкой вспышке.

И вот теперь он шел к мирно дымившему костру, к котлу с кипящей водой для стирки, шел, готовый просить прощения у Зумруд. А если он сам не решится начать разговор, то надо это сделать с помощью Сарии-баджи. Он шел сквозь густой туман, вспоминая, конечно, сказку о сумасшедшей пери, и вдруг замер, вперив взгляд на берег. Что это такое? Что за фигура — белая, зыбкая, мерцающая? Зелимхан почувствовал, как дрожь пробежала по телу. «Пери, пери! Сумасшедшая пери!» — хотелось крикнуть ему. Но не крикнул, не смог; хотел позвать Сарию-баджи, она с девочками была шагах в десяти, но тоже не смог. Медленными, тяжелыми ударами билось сердце.

Вот она, та самая сумасшедшая пери, в той самой одежде, в какой ее представляли себе: в длинной белой рубашке, простоволосая, окутанная туманом. Он уже различал, как колышутся полы ее одежды и развеваются густые волосы. Он закрыл глаза. Открыл. Снова закрыл. Снова открыл. А сумасшедшая пери не исчезала. Освещенная лунным светом, словно плывя в тумане, она шла медленно, пока наконец не скрылась на другом берегу в кустах ольшаника...

Громкий смех племянниц вывел его из оцепенения. Хохотала и Зумруд, успевшая прибежать к костру и сбросить белую длинную рубашку, надетую поверх ситцевого платья. Резким движением головы она откинула назад распущенные косы и стала перед Зелимханом, как человек, нисколько не сомневающийся в своей победе. Осмотрела его торжествующим, смеющимся взглядом: «Ну, что скажешь теперь?»

— Квиты, ладно? — искренне сказал Зелимхан, не ожидавший такого примирения и обрадовавшись ему.

В ту минуту в его душу впервые закралось подозрение. Не ее ли он ждал все эти утомительные месяцы, сидя на берегу кара-су? Она почувствовала его ожидание? Неужели все эти проделки Зумруд неспроста?.. Он еще ничего не понимал, мальчик, только ставший юношей. Но тогда он впервые обратил внимание на смуглые исцарапанные ноги Зумруд и на ее округлые, уже недетские плечи, обтянутые ситцевым платьем, на ее тонкую нежную шею и на блестящие глаза, которые смотрели простодушно и лукаво. Девчонка, совсем еще девчонка. Та же самая, что еще совсем недавно пинала ногами под одеялом его племянниц, а потом, ища защиты, забиралась к нему в постель. Непоседа, которая только и знала, что бегать да прыгать без устали. И уже — не просто девчонка. В этих черных глазах было не одно озорство: такая же, как у него, затаенная тоска и томление. И Зелимхан почувствовал в душе ответный трепет.

Так вспыхнула первая искорка первой любви. Вспыхнув, она сразу превратилась в пламя. Зелимхан упрятал ее в сердце и увез с собой в Баку. Целый месяц, пока сдавал экзамены, ощущал теплоту, исходившую от той искорки.

Сдал последний экзамен. До начала занятий оставались считанные дни. Карахан в письме настоятельно советовал брату не приезжать: дни стоят жаркие, дорога изнурит его, а он теперь должен беречь себя, теперь он студент, зачем приезжать, деньги ему отправят по почте, Керим-киши, мол, съездит, отправит.

Но, получив деньги, Зелимхан сразу побежал на вокзал.

Всех в семье удивил легкомысленный поступок «умного, выдержанного братца», прикатившего в Беюк-тала на каких-нибудь два дня. Сабит Маилов рассердился на сына. Карахан братски пожурил. Сария и даже племянницы, повисшие у него на шее, будто разлука длилась долгие годы, только и спрашивали: «Что случилось? Зачем приехал?»

Лишь один человек ничего не спросил. Сказал только: «С приездом тебя!» Вместе с племянницами этот человек поцеловал его, но поцелуй ее отличался от всех других. А когда Зелимхан отошел в сторонку, человек сказал ему ласковым лукавым взглядом: «И хорошо сделал, что приехал!»

Сабит Маилов торжественно пригласил сыновей к себе

в комнату, опустился на ковровую подушечку, скрестил ноги, вынул четки и потребовал от младшего нечто вроде отчета — об экзаменах, учителях, условиях в общежитии, о друзьях, с которыми сын будет делить хлеб-соль. Зелимхан отвечал обстоятельно, но словно не слыша самого себя: на его щеке все еще сохранялось прикосновение губ, в ушах все еще дрожал задыхающийся шепот: «С приездом тебя!» Тяготясь степенной беседой с отцом, юноша терпеливо дожидался ее конца. Может быть, впервые в жизни был так нетерпелив медлительный, уравновешенный Зелимхан, над которым родные посмеивались за эту не соответствующую его возрасту солидность. Когда отец, проведя рукой по бороде, разрешил ему наконец идти, у сына словно тяжесть с плеч свалилась.

Во дворе, как обычно, Марьям с матерью хлопотали у очага, Зумруд в новом длинном, из темно-красного кашемира, платье дразнила Чапыга — маленькую, нервную охотничью собаку Карахана. Наклоняясь к собачьей морде, словно целуя ее, Зумруд заливисто хохотала и исподволь поглядывала на Зелимхана.

Племянницы, обступив Зелимхана, наперебой то шепотом, то громко выкладывали новости. Оказывается, за минувший месяц в семье произошли значительные события. Дважды в дом Маиловых приходили сваты. «Кого сватать?» — «Как кого? Зумруд!» Только раз, в детстве, когда случилась беда с сынишкой Карахана, у Зелимхана вот так же сжалось сердце. Зумруд потеряна для него! Но тут же подумал: нет, нет, ведь девочки говорят, что сваты ушли ни с чем. Оказывается, Керим-ами возил Зумруд в город, там заказал и сшил для нее четыре дорогих платья, а потом стал намекать отцу, что, дескать, задумал женить на девушке своего старшего шурина, Бабиша. Конечно, отец не согласился. Подумай сам, разве этот тщедушный Бабиш, у которого с начала зимы до прихода весны капает из носа, этот враль Бабиш, твердящий, что будто белого медведя видал в лесу, пара нашей Зумруд? Ладно, а что же сказала она, Зумруд?

— Зумруд?.. Кот мечтал о мягком сене, пес помог: загнал туда. Зумруд давно хотела отрезать косы. Узнав, что Керим-ами пришел ее сватать, взяла ножницы, и — рраз! — кос как не бывало. Прибежала к Керим-ами и спрашивает: эй, мол, дядя-мешок, возьмет твой Бабиш в жены стриженую девушку?

Племянницы разом засмеялись. Сария-баджи неодобрительно покачала головой. Марьям, сделав нарочито строгое лицо, повторила ее движение. Зумруд, улыбнувшись, посмотрела на Зелимхана все тем же блестящим, лукавым взглядом.

Зелимхан и раньше заметил в ее облике какую-то перемену, но только теперь понял, в чем дело: ну да, у нее нет кос. Жаль! Правда, короткая прическа с завитками волос около ушей и на шее придала Зумруд какую-то взрослую красоту. Но и тугие толстые косы очень ей шли.

Девочки снова начали болтать. Зелимхан слышал имена Марьям и заместителя Карахана — Давуда, но мысли его целиком были заняты Зумруд. Остриглась!.. Это хоть и вызвало в нем сожаление, в то же время чем-то обрадовало... Зумруд вместе со всеми смеялась над дядей-мешком. Такое хлесткое прозвище могло сорваться только с ее бойкого языка; душа юноши радовалась, переполненная какими-то прекрасными чувствами, которые он сам не вполне ясно еще осознавал... Из сбивчивых рассказов племянниц он, слушая, что называется, вполуха, узнал, что получили отказ и сваты Давуда. Отец сказал: мол, Давуд в их лесах человек новый, пусть поработает, узнаем его поближе, что он за человек, а там видно будет. По шутливым намекам можно было понять, что у самой Марьям душа вроде бы и лежит к Давуду и если дед даст согласие, то в лесу скоро будет полный «трам-тарарам»...

Зелимхан обрадовался и этой новости. Марьям хлопотала по хозяйству, училась в вечерней школе, успевала работать в питомнике и получать зарплату. Замужество избавило бы ее от непомерных забот.

Но все эти мысли жили в Зелимхане как бы поверх других, более важных, более глубоких...

Новая прическа, решительный ответ дяде-мешку... Зумруд действительно стала взрослой, она может постоять за себя. За это надо похвалить ее. Конечно, не только похвалы она ждет, но и совсем других слов... Он думал о том, как скажет ей эти «другие слова», когда представится случай. В воображении ласкал мягкие, черные волосы, касался щекой ее щеки — и «другие слова» струились, как тихо журчащая родниковая вода: «Моя пери, моя Зумруд, смелая, умная, взрослая Зумруд...»

Вечером Сария со старшей дочерью вынесли из

дома — как это всегда делалось здесь летом — коврики, матрацы, подушки и стали стелить постели. Устроили рядышком четыре белевших в темноте полога. Отец по старой привычке пошел искупаться в ледяной воде кара-су. Потом вернулся в «командирской шинели» на плечах и ушел к себе. После того как померк свет лампы в его комнате, улеглись и остальные: Карахан и Сария с краю, под соседним пологом — дочери, а «дорогая крошка дорогого дяди Азиза» — в своей особой постели.

Зелимхану не спалось. Закурив сигарету, он отправился побродить.

Приземистые мазанки, финский домик, пологи, белевшие над постелями, лошади на поляне, спящие стоя, голова к голове, деревья — все погрузилось в сон. В неподвижном душном воздухе тонко пели комары да порой лошадь хлестала себя хвостом. Было так тихо, что, затягиваясь, Зелимхан слышал потрескивание разгорающейся сигареты.

Он не помнил, как вернулся в Беюк-тала.

За лесом, казалось, кто-то зажег огромный костер. Полная красноватая луна всплыла над деревьями и застыла, отразившись в большом стекле окна отцовской комнаты. Эти две луны вырвали из темноты марлевый полог, придав ему особую таинственность. Зелимхану чудилось, что он различает сквозь него глаза черноволосой пери — огромные глаза, глядящие на него.

Луна поднялась выше и скрылась в облаках. Окно отца стало темным, черноволосая пери исчезла, но глаза ее все стояли перед его взором.

Стараясь не шуметь, он подкрался к пологу. Опустился на колени на влажную траву.

— Зумруд... Пери...— легкий полог шевельнулся от его дыхания.

— Да буду я жертвой за тебя...— послышалось в ответ.

— Зумруд, дай мне руку.

Маленькая смуглая рука протянулась из-под полога. Зелимхан прислонился к ней горящей щекой, потом губами. Казалось, что удары его сердца разносятся по поляне и сейчас разбудят всех. Зумруд убрала руку, словно подумала о том же. Зелимхан осмотрелся.

Поодаль, в середине поляны, как бы прислушиваясь к таинственному шепоту, застыли лошади. Все спит. Зелимхан снова наклонился к пологу.

— Зумруд... Сумасшедшая пери...
— Да буду я жертвой за тебя, гагаш...
— Не говори так.
— Нет, буду, потому что я хочу стать жертвой за тебя, гагаш.
— Не называй меня «гагаш».
— Почему же?
— «Гагаш» означает «брат».
— Ты мне и брат, и отец, и мать... С тех пор как научилась говорить, я называю тебя «гагаш». Так и буду до конца дней своих.
— И после нашей свадьбы?
— Даже когда старухой стану.
— Тогда это будет уже совсем неуместно.
— Почему же?
— Не знаю...
— Не знаешь, так не говори... Не находишь о чем говорить?
— Не нахожу, пери... Зумруд...
— Что?
— Пусти меня туда, к себе...
— Что ты говоришь, гагаш?
— ...сесть рядом... Просто сесть рядом...
Он приподнял было полог, но вдруг совсем близко услышал шорох, метнулся к своей постели, упал на нее и накрылся с головой одеялом.

В тот вечер на поляне в Беюк-тала бодрствовали не только Зелимхан и Зумруд...
Сария, приподняв полог, со спокойной усмешкой наблюдала эту сцену. Она разбудила мужа и рассказала ему о Зелимхане и Зумруд. Тот утром рассказал отцу. Сабит Маилов счел, что эта игра в кошки-мышки не должна затягиваться. Надо всему придать законный характер. Пригласив Азиза Маилова в Беюк-тала и созвав домочадцев, он посадил Зелимхана напротив себя и в торжественной тишине предложил обручить молодых.
Никто не возражал.
Четыре месяца спустя, когда Зелимхан приехал домой на зимние каникулы, торжественно справили обручение.

А теперь нужно узнать еще одну подробность, тоже очень существенную для нашего рассказа.

Подробность вторая

АКАЦИЯ ЗЕЛИМХАНА

В Беюк-тала в трех шагах от крыльца финского дома росла молодая акация, посаженная Зелимханом. В первую половину дня она нежилась под обильным солнцем, во вторую — пряталась в густой тени. Это вам не те акации, посадку которых «организовал» Карахан.

Еще в середине апреля, когда на мглисто-туманных вершинах гор, длинной цепью высившихся на горизонте по западную сторону леса, виднелся снег, когда на акациях вдоль дорог и полей едва только начинали распускаться листья, дерево, росшее над постоянно дымящимся очагом маиловского двора, уже цвело ослепительно и пышно. Его пьянящий аромат заглушал запахи разопревшего после весенних дождей кизяка; белые лепестки, словно густой снег покрывшие ярко-зеленые остроугольные листья, множество цветов — все манило в этот уголок двора своим благоуханием, более сильным, чем у хваленых духов, которые дочери Карахана покупали в магазине.

И когда глаза, которые устали за зиму от однообразной картины занесенных снегом лощин и полян — снег в лесу держался крепко, лишь следы зверей и птиц пятнали его, глаза, которым наскучило видеть гниющие от сырости прошлогодние листья, голые ветви и сухие переплетения кустов,— когда глаза вдруг замечали по-девичьи свежую и нарядно одетую одинокую акацию, они волей-неволей улыбались. И ноздри подрагивали от возбуждения, и грудь вздымалась, и сердце охватывала нежность.

Дочери Карахана рано утром распахивали окна, и вместе с первыми лучами солнца в комнату тянулись пышные, в капельках росы ветви. Девочки плели венки и украшали ими портрет молодого человека с задумчивыми глазами, вставленный в позолоченную раму,— этот портрет висел в комнате деда. В те дни только и было разговоров что о «дереве гагаша».

— Э, Марьям, дочка, холодно в доме, почему не затопили печку?

— Сейчас же весна, дедушка. Не видишь, как расцвело дерево гагаша? — Не улыбаясь, Марьям смотрела

на деда большими глазами, непривычно полнящимися радостью, и тепло струилось в душу старого Сабита.

— Да, весна уже, доченька, весна,— соглашался Сабит.— Расстели-ка палас прямо там, под деревом, положи мутаки, сяду, погрею свои кости... Старость не радость, девочка...

Сабит садился и, облокотившись на мутаки, принимался перебирать четки. Лесхозовцы, еще в зимней теплой одежде, подходили к старику. Здоровались с особым почтением, садились, поджав под себя ноги, словно возле блюда с пловом. Марьям приносила на раскрашенном подносе чай.

И стар и млад собирались в уютном уголке под цветущей акацией.

Один Карахан в первые весенние дни все время был на ногах. Ни свет ни заря выезжал он на старом «виллисе» из Беюк-тала. Спорил с председателями колхозов, требующими площадей в лесу для посевов, бранился с владельцами коров и коз, зарившихся на лес (кругом в безводных степях не было хорошего корма), но, возвращаясь домой и присоединившись к чаепитию под цветущей акацией, забывал обо всех невзгодах.

Вот где текла размеренная, если сказать в духе влюбленного в Беюк-тала Зелимхана, эпическая жизнь, чуждая всякой торопливости и нервозности! Время от времени объездчики по двое, по трое скакали куда-то, но, вернувшись, снова усаживались вокруг старого Сабита, и граница между завтраком и обедом, между обедом и ужином стиралась. Ничто не нарушало плавного течения этой жизни. Цветущая акация сияла под солнцем, как корона Беюк-тала.

По утрам акация стояла строго и прямо, с замершими листьями, как бы отчужденно. Казалось, она удивлялась тому, что люди все еще тепло одеты, что они ленятся избавить себя от запаха навоза, от сажи и копоти своих землянок, в то время как солнце так чисто, прекрасно и земля так благоуханна... А к полудню, когда разгоралось застолье у старого, ушедшего на покой лесника, акация, разморенная жарким солнцем, сама нарушала строгий порядок своих ветвей и листьев, опускала их над сидящими, как крылья, словно в душе ее пробуждалась участливая близость к ним.

Но что поделать: жизнь весны коротка!

Лепестки опадали, густо, как снежинки, усыпая зеленую поляну, аромат становился слабее, и люди менялись: не смотрели уже так восхищенно и ласково, а, садясь по утрам на коней, без жалости срезали ветви акации на плетки.

Карахан качал головой. «Эй, послушай, ведь жалко, ведь и дерево жить хочет!» — увещевал он. А Зелимхан, приезжавший летом в Беюк-тала, приходил в неожиданную для него ярость: «И как только руки поднимаются! Совести у вас нет! Вот напишу о вас, опозорю».

Но он снова уезжал в город, и снова все повторялось. Опять резали кнутовища, проверяли на акации остроту топоров и пил, отобранных у лесорубов-браконьеров и сваленных у крыльца. Можно, конечно, дойти до большого пня, но лень сделать несколько шагов. И топор ранит ствол акации, и чем сильнее, тем больше радуются люди: «Знатный топор, знатный...»

Акация сносила эту жестокость людей и терпеливо набиралась сил, чтобы снова служить им.

Прошлым летом, закончив университет, Зелимхан приехал в Беюк-тала...

Племянницы набились в «виллис», чтобы поехать в райцентр за продуктами и потом попотчевать гагаша вкусными угощеньями. Не прошло и часу, как они вернулись и, чуть ли не сбивая друг дружку с ног, ворвались во двор: «Вышла газета гагаша!» Газетные листы полетели прямо на накрытый стол. Статья Зелимхана — шутка сказать! Это всегда вызывало большую радость и оживление в семье. Даже Сария, спокойно сидевшая за дымящимся самоваром и, как обычно, с неослабным вниманием следившая за тем, как ест муж, пришла в движение, потянула Марьям за платье и зашептала: «А ну, покажи!» Карахан бросил полную ложку обратно в миску и схватил газету: «Где? Где?» Только Сабит Маилов сохранил свой невозмутимый вид и довольствовался тем, что краешком глаза косился на газету в руках Карахана. Не спеша опорожнил тарелку, погладил усы, бороду, шумно поднялся и, велев невестке принести ему чаю, пошел к себе в комнату. Там сел на ковер, облокотившись на подушку, и лишь после этого позвал старшую внучку: «Ну-ка, Марьям, голубка, принеси газетку да почитай, что там наболтал ваш гагаш».

Хотя в «Акации», как называлась статья, Зелимхан не упоминал ни Беюк-тала, ни имен живущих там людей,

в доме Маиловых каждый понял, о ком «наболтал» гагаш. Карахан засуетился, заговорил, запинаясь на каждом слове,— то ли оттого, что расчувствовался под воздействием «сложного слога брата», как он сам объяснил свое волнение, то ли потому, что догадался: жестокость, о которой писал Зелимхан, это камень и в его огород. «Да буду принесен я в жертву такому перу! Да буду я принесен в жертву за ту руку, которая держит такое перо».

С пачкой газет под мышкой он спустился во двор. Остановился у крайней землянки и начал ораторствовать:

— Пусть все услышат и узнают, я говорю не ради красного словца, это слова сердца: очень хорошо сделал гагаш! Вы как меня слушали? В одно ухо влетало, в другое вылетало, да? Теперь поглядим, что вы ответите ему! — Карахан потряс газетой над головой.

Из приоткрывшейся двери землянки показалась и тотчас словно в испуге исчезла бритая голова Керима-киши. А под навесом, насупившись и опустив головы, сидели трое его шуринов.

Постепенно к акации стал собираться народ. И дети пришли, и даже женщины. Тот, кто вышел бы из дому полчаса спустя, стал бы очевидцем необычайной сцены: ребятишки читали вслух почти хором «Акацию», а старшие очень серьезно слушали чтение, временами покачивая головами.

Ай-ай-ай, оказывается, Зелимхан «пропесочил своих родных». Ого, он «вывел на чистую воду Керима-киши и его шуринов!», «Бросьте, если он пишет об акации, то это не значит, что речь идет вот об этой акации!», «Настоящие преступники не те, кто срезал пять-шесть сучьев акации, а те, кто, сговорившись, днем и ночью вырубают лес!», «Ну, дорогой мой... Эта «Акация» написана для догадливых людей!»

Зелимхан не ожидал, совершенно не ожидал, что его статья станет событием в Беюк-тала. В его глазах, как только он узнал о случившемся, ясно можно было прочитать беспокойство. Земляки, с любопытством наблюдавшие за ним, полагали, что это беспокойство объясняется смущением, а может, даже раскаянием в том, что он «пропесочил», «вывел на чистую воду» своих родных.

Как же не раскаиваться! Зелимхан, по мнению лесхозовцев, должен питать к родным особое уважение. Ведь

когда после страшного случая с сынишкой Карахана Зелимхан «помешался», Керим дал обет: зарезать семь баранов, если Зелимхан выздоровеет. Каждый год весной Керим приводил к финскому дому круторогого барана и шурины становились рядом с Керимом — чинные и торжественные. Зелимхана раздражала и чем-то пугала эта торжественность.

Необычным и странным казался ему и вид шуринов: старший был долговяз, средний — невысок и толст, а младший — с ноготок и хил, как сам Керим-киши. Поговаривали, что их отец был порядочный хитрец и бабник. Ежегодно менял жен. И неизвестно даже, кто из братьев от какой матери и кому доводится родной, а кому неродной сестрой девушка, которую выдали замуж за Керима-киши.

Казалось, имена шуринов всеми вовсе позабыты; звали их Старший, Средний, Меньшой. Они не проявляли ни малейшей озабоченности своим прошлым и судьбой своих матерей, о которых давным-давно не было ни слуху ни духу. Скорее всего братья, позабыв обо всем, довольствовались тем, что породнились с такой известной семьей, как Маиловы, и Керим взял их под свое покровительство.

Еще бы! Когда-то они босыми ногами месили глину на старом кирпичном заводе, а теперь, гляди, объездчиками стали. Руки-ноги в чистоте, на ногах хромовые сапоги, через плечо сумка, знай покручивай ус да разъезжай на гнедых.

Приезжает гагаш — и вот они стоят в ряд, почему-то угрюмые и торжественные, ждут, пока Керим-киши кончит резать своим кинжалом с белой костяной рукояткой мясо на «курбанные доли» для двенадцати дворов двенадцати семей Беюк-тала.

Семь раз в течение семи лет они соблюдали этот ритуал в честь Зелимхана. И многим людям, жившим в глухом лесном уголке, это казалось естественным: родственники, как же иначе?

А Зелимхан был охвачен беспокойством, и все полагали, что это раскаяние, сожаление о статье, где он «пропесочил родню». Так ли это было?

Подробность третья

ПРИЧИНА БЕСПОКОЙСТВА

Приехав в тот раз в Беюк-тала, Зелимхан узнал о родственнике, давшем обет зарезать в его честь семь баранов, и о трех шуринах кое-что новое, такое, о чем ни словом не обмолвились ни Карахан, ни племянницы, ни лесхозовцы, хотя разговоры о статье гагаша шли бурные и, казалось, легко было проговориться.

Юноша встретился со старыми школьными наставниками. Учителя, имевшие обыкновение собираться по вечерам у школы недалеко от здания лесхоза, чтобы переброситься новостями и обсудить их, ничего не утаили от Зелимхана. Никто не ожидал, что печаль, которую эти люди давно носили в душе, так остро ранит Зелимхана. Ни Карахан, ни лесхозовцы — никто не знал, что в те минуты, когда они, заглядывая гагашу в глаза, читали там сожаление и раскаяние, Зелимхан обдумывал дело, совершенно необычное для них и — как они себе представляли — для него самого, дело, которое вызвало в их лесу большой переполох...

Но не будем забегать вперед. Постараемся вести рассказ последовательно.

Итак, все началось с беседы Зелимхана с учителями. Ученика, не забывавшего в каждый свой приезд навестить своих старых учителей, встретили на этот раз сдержанно. Печальные глаза словно говорили: «Как быстро летят годы!» В жестах можно было заметить усталость.

Учитель-историк, «однорукий директор», как называли его лесхозовцы, полез вдруг в карман своего потертого серого пиджака, вынул тростниковую свирель, сыграл что-то и, улыбнувшись, посмотрел на Зелимхана:

— Помнишь?

— Разве можно забыть, Абдуррахман-муэллим?

Однажды историк, войдя в класс, поразил учеников: достал свирель и начал играть. Ребята просто опешили. А учитель рассмеялся и сказал: «У Александра есть рога, есть рога!» Знаете, откуда это? А ну, кто догадается, о ком я буду рассказывать сегодня?»

«Об Александре Македонском!» — хором ответили все, вспомнив притчу из «Сокровищницы тайн» Низами.

Александр умерщвлял всех цирюльников, которые брили ему голову, чтобы они не выдали его тайну. Но один

из них выпросил себе пощаду, пообещав Александру молчать. И кто знает, может, он бы и смолчал, если бы со временем у цирюльника не стал набухать живот. По совету врача он ушел в степь и, прошептав тайну в темный заброшенный колодец, освободился от недуга и успокоился. А из колодца вырос камыш. Проходил мимо чабан, срезал камышину и сделал себе из нее свирель. И когда он начал играть, свирель запела: «У Александра есть рога, есть рога!» Так раскрылась тайна Александра Македонского.

Но вовсе не об Алкесандре Македонском рассказал Абдуррахман-муэллим ребятам. Свирель подарил ему известный в этих краях старик, смолоду прозванный Джумри Тронутый. Неустанно ходит он по району, раздает учителям свирели, сделанные им самим, и просит сыграть.

«Я спросил у Джумри, что это значит, почему я должен играть на свирели? И получил ответ: «На всей земле люди должны играть на свирели». Давайте попробуем распутать, ребята, что хотел сказать седовласый Джумри»,— так говорил тогда Абдуррахман-муэллим и, отложив урок по древней истории, начал по одному расспрашивать ребят: кому какая музыка нравится и что говорят им услышанные звуки?..

Странный был тот урок Абдуррахман-муэллима. «В каждой музыке — особая тайна. Важно, чтобы человек сумел услышать ее»,— изрек он тогда. Потом несколько дней ребята ходили как помешанные: прислушивались к каждому звуку в лесу, стараясь угадать неведомую тайну. Да, странный был урок.

Но сейчас, спустя много лет, снова увидев свирель в руке учителя, Зелимхан испытывал чувство, похожее на то, какое испытывает взрослый человек, увидев свою колыбель. Что-то далекое, но навсегда оставшееся близким и дорогим прихлынуло к сердцу, влажным туманом обволокло глаза... На этот раз Абдуррахман-муэллим не задал ему никакого вопроса, не завел разговор о тайнах в музыке. А учителя ни с того ни с сего вдруг заговорили об Азизе Маилове.

Зелимхан знал, что днем эти люди очищали от сорняков участок, выделенный Караханом для школы, ухаживали за кукурузой, поливали огород. Им бы лечь в постель отдыхать, а они нет, пришли снова к этому длинному дощатому строению, расселись на грубо сбитых табуретках под старым дубом и завели свои бесконечные беседы.

Пачка «Беломора», положенная на стол Абдуррахман-муэллимом, опустошилась. Под дубом сгущались тени. В темноте посверкивали огоньки папирос. Выяснились вещи, которые нужно довести до сведения лично Азиза Маилова. И говорилось все это — Зелимхан понимал — для него. Но почему не самому Азизу Маилову?

Учителя угадали мысли Зелимхана и сказали, что они ничего не скрывают от самого Азиза, но что поделаешь, если их слова пока не оказали никакого воздействия на секретаря райкома? Так пусть послушает старых учителей человек, близкий Маилову. Азиз для них тоже не чужой человек. Вернувшись после войны из армии вместе с этим самым одноруким директором, он ушел на партийную работу, а до этого сам был учителем. В нашем районе, где Азиз родился и работал много лет, почти все обращаются к нему не «товарищ Маилов», а «Азиз-муэллим», и не только потому, что секретарь райкома искренен и прост.

— Он учитель и есть,— объясняют люди.— Потому и говорят ему — муэллим. Образованный человек, терпеливый. Интеллигент. Вперед смотрит. С народом ладит.

Еще бы не терпеливый! Раз пять-шесть в году Азиз Маилов наведывался в леса. Хапуг, преступников, ну, скажем, тех же объездчиков, которые втихую засевали глухие полянки или продавали налево лес, секретарь райкома не отдавал под суд, а требовал возмещения ущерба. Виновным, конечно, приходилось еще выслушивать суровые речи о необходимости соблюдать социалистическую законность. Кое-кто из районных работников объяснял эту мягкость тем, что Азиз прилагает все усилия для ликвидации последствий периода культа личности. Учителя думали иначе: добр он, Азиз, очень добр.

— Азиз-муэллим и при культе работал так же.

— Кто из секретарей райкомов тех времен остался на своих местах? А вот он работает. Не так уж далеко ему до шестидесяти, а работает.

— У него с самого начала курс был верный.

Учителя с похвалой отзывались об Азизе: секретарь живет скромно, непритязательно. А Абдуррахман-муэллим добавлял дрогнувшим голосом:

— Но вот, поди же, не везет ему. Почему хорошие люди так невезучи?!

Он не разъяснял смысла своих слов, но Зелимхан понимал, о чем речь. Все в районе от мала до велика знали, что секретарь был женат дважды и дважды женитьба не

приносила ему счастья. Первая жена, мать Зумруд, умерла при родах. Вторая... Когда Зелимхан думал о ней, сердце сжималось от душевной боли. После пяти лет совместной жизни она вдруг заявила мужу: «Я ухожу от тебя, ты дерево без плодов, а я хочу иметь ребенка! Хочу в смертный час видеть у изголовья свое дитя! Из твоей попрыгуньи Зумруд не получится для меня любящей дочери».

И это говорила женщина, которая так радовалась, когда ее, вдову, сосватал за Азиза старый Сабит. Ведь и сама немолода, ей только и нужны мир да покой. И вот поди ж ты: порвала с мужем, неожиданно, безжалостно. И опять тень дяди Азиза осталась одинокой, и снова бобыль бобылем зажил он в каменном доме, стены которого белели меж густых ветвей в старом саду на окраине районного центра...

Зелимхан представлял себе, какая глубокая, оглушающая тишина стоит в этом доме, куда, усталый, возвращается после трудного дня Азиз Маилов, возвращается, чтобы долгими зимними вечерами ходить из комнаты в комнату... Подбросит поленьев в печь, сядет на диван и все читает, читает. А весной целые дни проводит на полях, и как же, видно, не хочется ему возвращаться домой!

Раньше в этом доме жил — бывают же совпадения — тоже бобыль, пожилой, грузный, густобровый человек. Кто не помнит до сих пор того секретаря райкома, его властный и суровый нрав? Фамилия у него была Амирли [1], и она подходила ему. Каждый год по его указанию эмтээсовские тракторы шли в лес; изводилась гордость этих лесов — царственные платаны, древние дубы, вещающие о давно минувшем. На слезные мольбы Сабита Маилова Амирли коротко отрубал: «Мне нужны не гнилые деревья, а посевная площадь, хлопок!»

Все боялись Амирли. Но настало время, когда старый лесник Сабит Маилов тоже поднялся на трибуну: «И лесу нужен не палач, а настоящий руководитель!..» Тогда, в пятьдесят третьем году, Зелимхану было шестнадцать лет. Историю Амирли он хорошо знал, и тем больше оснований было у него соглашаться с учителями: да, дядя Азиз и Амирли — это в корне разные люди. И отношение к людям у них в корне разное.

До дяди Азиза здесь два года секретарствовал хороший, умный человек. Гошгар... Гошгар Садыг-заде.

---

[1] Амир — приказ.

При упоминании о нем старые учителя заулыбались, завздыхали, отдаваясь приятным воспоминаниям.

— Жаль, рано перевели его в другое место. Не успел пообжиться, пообвыкнуть, как снова выдвинули. В гору, конечно, пошел, только у нас ведь тоже немало дел надо сделать.

— Хорошо, что вместо Гошгара пришел не новый Амирли, а Азиз-муэллим. Но...

В этом «но» и заключалось главное, что предназначалось для ушей и сердца Зелимхана. «Но» было в том, что добрый секретарь райкома ограничивался полумерами. Он часто приходил к лесхозовцам, беседовал, вразумлял объездчиков. «Мы должны исправить допущенные в свое время ошибки, залечить старые раны»,— увещевал Азиз. А по мнению учителей, увещеванием тут не поможешь, не с детьми дело имеешь. Те, кто привык в старые времена опустошать леса, посмеивались и продолжали запускать руки в его богатства. Не успевал секретарь отъехать от лесничества, как Керим-киши, тряся хилыми плечами под мешковатой шинелью, фыркал: «Эх, хорошо, что у нашего уважаемого Азиза-муэллима рука ласковая. Опять отделались товарищеским судом».— «А что? Этот новый суд по мне!» — присоединялся старший шурин. Средний и Меньшой считают до трех и хором восклицают: «Да здравствует Азиз-муэллим со своим товарищеским судом!»

Тяжело бьется сердце Зелимхана. Однорукий директор, словно внимая этим ударам, некоторое время молча смотрит на юношу и вдруг резко меняется: стучит кулаком по столу, так, что из горящей папиросы, зажатой между пальцами, разлетаются искорки.

— Обнаглели твои родственники! Озверели! Ни во что не ставят человека, издеваются! — Абдуррахман-муэллим распалился, и голос его громко звучит в тишине.— Но не только над Азизом издеваются эти жулики! Хихикают: одно, мол, блаженство жить при добром секретаре райкома. Пусть себе Азиз-муэллим читает мораль, зовет в свой коммунизм, наше дело поддакивать, а потом — ступай точи топоры!.. Прежде хоть нас, старых учителей, побаивались, а теперь и нас ни во что не ставят. Шурины Керима открыто говорят: «Мы вас уже не боимся. Пишите себе жалобы хоть на самый верх, оттуда все равно направляют к Азизу-муэллиму, а он... он нас перевоспитывает». Вот до чего дошло! Хватаю их за грудки, ору: мол, не понимаете ничего, невежды, хапуги! Султан Амир-

ли нагонял на всех страх, вы дрожмя дрожали, делишки свои обделывали скрытно. А теперь? Вам дали возможность стать людьми, жить достойно, а вы — за старое, только нахальнее стали!.. Старший смотрит на Среднего, Средний — на Меньшого, потом все впиваются в Керима. А каков Керим, сами знаете. Ежится, поджимает хвост: «Верно изволили заметить, уважаемый Абдуррахман-муэллим, верно, дорогой...» А уйду с глаз долой, так знаю, загогочут! Вот я ночами, как дурень, и не сплю, гляжу на себя в зеркало и сам с собой разговариваю: «Нет, не о браконьерстве ты вопишь, Абдуррахман! Как случилось, что эти люди перестали быть людьми, Абдуррахман?..» А ответа не найду, брат!..

Зелимхан никогда не видел таким своего учителя. Исчез ласково улыбающийся, мягкий и несколько загадочный Абдуррахман-муэллим, любитель игры на свирели Тронутого Джумри. Сидел разгневанный человек со вздувшимися жилами на длинной худой шее.

Учителя молчали. И это молчание действовало столь же сильно, как и гнев Абдуррахмана. Зелимхан, никогда не куривший при учителях, не заметил, как достал сигарету и чиркнул спичкой.

Тут неожиданно раздался иронический голос:

— Чему ж ты удивляешься, Абдуррахман-муэллим? Сам историк, история — мать наук, а не можешь найти ответа на столь простой вопрос?

Словно с корнем вырвало какое-то дерево,— из темноты шагнул вперед, шурша плащом, высокий человек. Острым лучом фонарика пошарил кругом. Луч, наткнувшийся на ствол дуба и отраженный им, на миг сделал различимыми черты человека: густая копна волос, о каких говорят «не по зубам гребешку», большой лоб, насмешливо сощуренные, поблескивающие, как влажный уголь, глаза, пышные усы с проседью, нос острым крючком.

Давуд. Черный Давуд, по которому вздыхает Марьям. Зелимхан знал, что они тайком встречаются в лесу. Зумруд рассказывала, что однажды дед поколотил внучку, узнав об этом, а ее милого обругал, пригрозил, что никогда не выдаст за него Марьям. Почему? Тогда никто — ни Зумруд, ни другие — не смогли толком объяснить это Зелимхану. Сама Марьям после настойчивых расспросов сказала только, что дедушке Давуд не по душе пришелся. А в чем же дело? Может, отцу не нравится его грубость? Давуд и в самом деле грубоват. Но Марьям любит

его. И не боится, что эта любовь бросит тень на такую семью, как Маиловы, не боится гнева старого Сабита. Почему же отец так жесток с ней?

Зелимхан подумал, что тут кроется нечто более серьезное, чем просто «не по душе пришелся».

Давуд на миг замолчал: остановил взгляд на Зелимхане, одном из Маиловых, которых недолюбливал. С переменившимся, уже не ироничным, а злым выражением глаз Давуд посмотрел на юношу. Но тут же большие, чуть прищуренные глаза снова засмеялись, снова зарокотал густой голос:

— Салям-алейкум, учителя! Послушайте, почему вы сидите, как летучие мыши, в темноте? Или боитесь, как бы на огонек не пришли люди и не разузнали бы о вашем заговоре против лесхоза? — Давуд громко захохотал. Снял с плеча и со стуком приставил к дереву двустволку, поздоровался со всеми за руку. Зелимхану протянул кончики пальцев и тут же выдернул их.— Молодой человек, будь вежлив, уступи место гостю! — Давуд сжал плечи худенького, застенчивого, почти безусого учителя математики, сидевшего возле Абдуррахман-муэллима, а когда тот поднялся, тут же усадил его обратно.— Шучу, шучу, сиди, учитель, не трудись. Признаться, я даже обиделся малость: гость на пороге, а тут товарищ моложе меня, наверное, на целых пять лет, сидит, не шелохнется, нет, чтобы хоть ради приличия встать и пригласить сесть.

Сконфуженный математик снова хотел встать, Давуд удержал его рукой.

— Сиди уж. Я на минутку... Иду, слышу: разговор. Встал в сторонке, дай, думаю, умные речи послушаю!.. За последнее время я в нашем лесу прислушиваюсь не только к стуку топоров да к звуку пилы, но и к людскому голосу... Можно кое-как стерпеть звон топоров, когда чертовы браконьеры деревья валят, можно, Абдуррахман-муэллим. Но молчать, когда слышишь рядом неверные слова, нельзя. Не взыщите. Не знаю, как вы, но я, если не отвечу, пройду мимо, не смогу успокоиться. Вот потому и завернул сюда, хочу сказать два слова.

— Пожалуйста, пожалуйста! — в один голос заговорили все, кроме молодого математика и Зелимхана. Давуд же повернулся к Абдуррахману:

— Я не согласен с твоими мыслями, муэллим.

— «Не согласен»! — проворчал Абдуррахман-муэл-

лим.— Значит, тоже взял сторону этого дяди-мешка, его шуринов-прохвостов и их соучастников?..

— Э, муэллим, запасись терпением,— перебил Давуд.— Будь на то моя воля, я без суда и следствия, клянусь жизнью Черного Давуда, взял бы того Керима Маилова, завернул в его же шинель, камень потяжелее привязал и в кара-су вниз головой! Пикнуть бы не успел! Из-за этого «мешка» я в такую темень в лес тащусь, понятно?.. Вы, наверное, знаете моего брата, Искандера-киши. Он председателем колхоза в Кемерли. Ну конечно, знаете! Каждый день о нем очерки пишут. Неделю назад пришел он к нам: мол, плохи дела, помогите, нужно засеять на новых участках дополнительно кукурузу на силос, дайте гектаров пять-шесть из ваших лесных земель. Карахан поддался было, но кое-кто из объездчиков взбунтовался, и я их поддержал. Искандер ушел ни с чем. А сегодня вечером объездчики сообщают: наш приятель Керим собрал с бригадиров Искандера по сто рублей с носа и те на лесном участке в местечке Улгунлуг за ночь тракторами и бульдозерами уничтожили деревья и вместе с корнями — в воду! Ну, я ему за это дам взбучку!.. Да, так вот, Абдуррахман-муэллим, о сути дела. Хочу сказать тебе: зря говоришь, что не можешь найти ответа. По-моему, все здесь сидящие и ты сам отлично понимаете что к чему. Всех этих людей испортил наш милый, любезный Азиз-муэллим. Погоди, прошу тебя, потерпи еще минуту! Я тоже ведь думал об этом. И сейчас вот, проходя мимо, думал о том же и в душе кипел. Как услышал ваш разговор, решил: в самый раз получилось, пойду-ка и скажу уважаемому Абдуррахман-муэллиму напрямик, что его любимый Азиз-муэллим миндальничает. Политику партии шиворот-навыворот понимает. Не возражайте, поберегите свой запал до конца месяца, до партийной конференции. Этот дядя-мешок вконец меня извел. Гуманизм гуманизмом, а либерализм либерализмом. Нельзя быть жалостливым к этому «мешку», к этому вредному насекомому. Мой мудрейший учитель, ты, как педагог, такие вещи должен понимать лучше меня. Жесткость здесь нужна, жесткость! А то однажды проснемся мы и увидим, что в этих лесах вместо людей бродят «мешки», мудрейший мой!.. Я кончил. Как было сказано выше, могу выслушать звон топора, но ошибочную речь — нет. Такая натура у меня, уж не обессудь... Прошу извинить за вторжение. Продолжайте ваше заседание, а я пошел. До свидания.

— Постой!..

— Еще раз до свидания, уважаемые! — Давуд взял ружье, перекинул через плечо и, освещая себе дорогу острым лучом фонаря, зашагал в гущу леса.

Абдуррахман-муэллим вскочил с места и крикнул вслед:

— Круто берешь!.. Пойми, Азиз Маилов хочет даже из насекомого сделать человека!..

Давуд не ответил. Луч фонаря, бродивший меж деревьев, исчез.

Абдуррахман-муэллим снова закуривает. Папиросные огоньки прочерчивают во тьме причудливые линии, а темные фигуры замерли, будто тяжесть услышанного сковала людей,— только рука шевельнется, чтобы стряхнуть пепел.

Зелимхан встает. Азиз-ами, превратившийся в мишень для насмешек из-за того, что сердце его открыто чувству жалости и доверия... Керим-ами, каждый год приносивший в честь гагаша жертву перед финским домиком, внешне такой кроткий, забитый, слабый человек в серой потрепанной шинели, а на самом деле — настоящий черт, хитрый и злой. Впервые Зелимхану раскрыли глаза на то, как этот черт действует.

Юноша представил себе картину: согнувшись, входит в комнату Сабита Маилова этот смиренный черт в шинели мешком и начинает канючить:

— Сабит, голубчик, прошу тебя, вели Карахану, чтоб не обижал меня. У него шесть дочерей, а у меня восемь, целый воз. Даже собака собаке на ногу не наступает. А Карахан обижает меня, Сабит. Объездчики меня уважать перестали...

Канючит, канючит, а потом бесшумными шагами проходит в другую комнату, к Зумруд, лезет за пазуху шинели:

— Дорогое дитя дорогого родственника, свет души моей, да перейдут на меня твои недуги!

И на плечах девушки появляется тонкая ткань, на голове — шаль с бахромой, в ушах позванивают серьги... А что же Зумруд? Вертится перед большим зеркалом в комнате деда, смотрит на Зелимхана блестящими от радости глазами: «Ну как, идет мне?»

Понимает ли она, что это за подарки?

Спросить, спросить ее сейчас же!..

Когда Зелимхан расстался с учителями, была глубокая ночь. До утра он не сомкнул глаз, все расхаживал, дымя

сигаретой, от раскрытой двери одной комнаты до другой. Несколько раз порывался зайти к Зумруд и не решался. Когда забрезжил рассвет, спустился во двор и оседлал давно уже отвыкшего от седла отцовского гнедого.

Всех родных Зелимхан приучил к тому, что порой не спит ночью, курит, тихо расхаживает по дому, а на рассвете, когда в небе еще не погасли звезды и птицы не проснулись, отправляется в лес. Его поведение никогда не удивляло, наоборот, восхищало: «Гагаш размышляет, гагаш пишет книгу». Наверно, и в эту ночь тот, кто не спал, следил за гагашем с радостью и гордостью. И если были такие глаза, то лишь одно могло тревожить их: то, что он время от времени подходил к кровати Зумруд. Но, как говорится, бог свидетель, в его помыслах не было ничего дурного.

Зелимхан думал и думал, весь внутренне напряженный и собранный. Воображение его рисовало картины — одну за другой, острые, реальные, безжалостные.

...Кинжал с костяной рукояткой, выхваченный из-под мешковатой шинели, рассекает горло барана, багровая кровь бьет струей, дымится, течет, разливается лужей. В укромном уголке посмеиваются шурины: «Да здравствует Азиз-муэллим с его товарищеским судом!»

...Во мраке леса идет куда-то Давуд с фонариком в руке, идет, напрягая зрение, словно ищет что-то.

...Учителя обступают секретаря райкома, говорят ему долго-долго, без передышки, конца нет их словам, а дядя Азиз слушает их с непостижимым спокойствием: «Потерпите, учителя, потерпите. Человека нельзя перевоспитать сразу».

Нет, его, Зелимхана, чаша терпения переполнилась!

Скакун, почувствовав ноги седока, впившиеся в бока, пошел красивой, плавной рысью к лесу. Там, хотя уже и светало, стояла мгла.

Зелимхан видел перед собой только острые, торчащие уши коня да парок от его дыхания. Ветер то усиливался, то ослабевал, и когда усиливался, юноше казалось, что он летит на коне над темной бездонной пропастью. Любой другой сбился бы с пути в этой темноте. Но Зелимхан, родившийся и выросший здесь, чувствовал каждый куст в этом лесу, все множество его дорог и тропинок. Да и скакун знал, куда скачет. Еще полчаса, и узкая дорога среди непроходимых кустарников свернет направо, пойдет молодой дубовой рощей. Дорогу проложили ровно десять лет

назад, когда повсюду только и разговоров было о сталинском плане преобразования природы. Тогда здесь не было ни управления лесхоза, ни строений по берегу «озера пери». Лесники и объездчики, возглавляемые отцом, были подведомственны в то время соседнему району. На верху бланков, на которых Зелимхан рисовал цветы и деревья, было отпечатано — «Беюк-талинское лесничество». Рабочая бригада, созданная тогда, провела дорогу и в пятнадцати километрах от Беюк-тала на площади в пятьдесят гектаров посадила квадратно-гнездовым способом дубы. Сажать лес в лесу — Зелимхану это казалось странным. Любимые отцом величавые платаны, гиганты дубы, разлапистые вязы, цветущий и плодоносящий терновник выросли сами по себе. Но шли годы, и лес, посаженный людьми, тоже рос. И Зелимхану он стал нравиться больше, чем тот, что вырастила сама природа.

В эту дубовую рощу он наведывался всякий раз, приезжая к родным, и с болью видел, как она редеет.

Об этой роще он написал и в своей «Акации»!

Статья вылилась сама собой. Когда он вспоминал об акации, посаженной у дома, перед его взглядом вставала дубовая роща. «Очень прошу, напечатайте. Это очень нужно, товарищи!» Сотрудники газеты были удивлены: голос Зелимхана дрожал от волнения. Всегда скромный, ненавязливый автор настойчиво просил. «Речь идет о судьбе азербайджанских лесов, товарищи!»

Но ни тогда в редакции, ни теперь, мчась чуть свет на коне, охваченный небывалой тревогой, Зелимхан не думал, что речь шла не только о лесе, но и о его личной судьбе.

Когда дорога уткнулась в кустарники, Зелимхан, вздрогнув, осадил гнедого и приподнялся в седле.

Прежде, подъезжая к роще, он слышал эхо, отраженное деревьями, фырканье лошади, цоканье копыт, чувствовал влажное, теплое дыхание листвы. А теперь... Какое там эхо, какое дыхание! В лицо дохнул холодный ветер пустыни. Ни одного здорового дерева, все порублено, оголенная земля словно закоченела. Дернув за уздцы коня, Зелимхан протер повлажневшие от ветра глаза, оглянулся. Хоть бы не приходил сюда, не видел бы!

Что стало с этим лесом, куда еще год назад забегали маралы и джейраны? Где величавые платаны? Не слышно их шепота. Где белые тополя? Те горделивые, высокие, до неба, тополя, которые держали на своих огромных ладонях в поднебесье гнезда белокрылых тяжелых птиц — прише-

лиц из дальних стран? Где ярко-зеленый хмель, который доверчиво обвивал ветви и стволы тополей, поднимаясь ввысь, к солнцу? Куда ни бросишь взгляд — пни, пни, пни!.. Вот он, хмель, ползет по земле. Он остался без опоры, без поддержки, он до времени начал чахнуть.

Керим-ами, чертов «мешок», пусть отсохнут твои руки! Я вижу, как ты торопливо суешь пачки денег в засаленные карманы, а выйдя из прокопченного своего домишки: зачем, мол, нам, бедным, хоромы? — сжимаешься в мешковатой шинели, слезливо канючишь: «Сабит, скажи Карахану, чтобы не трогал меня, детей у меня ведь целый воз...» Нет, дядя Азиз не воспитает тебя. Скорее к Азизу-ами! Нет, сперва в Беюк-тала! К отцу, покровительствующему «бедному родственнику», у которого целый воз детей и черт-те сколько наворованного добра, скорее к Карахану, помалкивающему о нещадной вырубке леса...

Нет, нет, раньше всех — к Зумруд!..

Высохла утренняя роса, и вместе с ней высохли дрожавшие на ресницах Зелимхана слезы. Мелькнула догадка: не для того ли столько лет приносились в жертву бараны, не для того ли столь часто клялись ему в любви и уважении: «все отдам, лишь бы к гагашу вернулся рассудок», чтобы сегодня гагаш смирился, не бунтовал? Зелимхана охватил страх при этой мысли,— кто же они тогда, как же назвать их, этих «дорогих родственников»? Сжатой в руке плеткой он сделал судорожное движение, и конь испугался, сорвался с места. Считанные секунды, и они в дубовой роще, бывшей дубовой роще! Конь, словно почуяв перемену в настроении седока, вдруг резко остановился. Зелимхан, подавленный, опустошенный, осмотрелся.

Пни... пни... Молодые кусты боязливо поднимались там и сям, теснились вокруг пней, словно, глядя на печальную участь своих предшественников, заглядывали и в свое будущее. У пней росли грибы. Кое-где редкие хилые деревца... Юноша закрыл глаза, и перед ним выросли ряды стройных, широколиственных дубов. Когда-то в листве этих дубов ночевали крупные светлокрылые голуби. Они были игривы и взбалмошны. Громко шумя крыльями, летали над густой травой, взмывали в поднебесье, к самому солнцу, камнем низвергались на землю и снова взмывали. Вечером, присмирев и притихнув, слетались на ветви дубов, засыпали, пряча голову под крыло. Зелимхан с двустволкой в руке подкрадывался к дубам и видел птиц, залитых сиянием луны... Он никогда не стрелял в голубей.

Где они теперь, эти голуби?..
Как это в песне, старой песне поется?..

Мы в небе парили гордо.
Охотник убил нас подло.
Как доски крылья. Мертвы мы.
Пусть кровь его хлынет из горла!

Зелимхан возвращался другой дорогой. Временами он вздрагивал, поднимал отяжелевшую голову. Акации обступали дорогу, стояли тесно, стеной. Чуть ли не через каждые десять — пятнадцать сантиметров посадили их лесхозовцы Карахана. Зачем? Чтобы защитить лес, травянистые поляны или... чтобы скрыть от назойливых взоров это царство пней?

Когда Зелимхан сел в Беюк-тала за стол, накрытый Сарией-баджи, он чувствовал себя совершенно разбитым. «Отвык от езды верхом»,— коротко объяснил он своим. И впрямь, ныли мышцы, одолевала усталость. Зелимхан не порадовался, когда кинули прямо на скатерть кипу газет: «Новая статья гагаша», не слышал Сарию, со сдержанным волнением спросившую: «Где, где?» Статья, написанная им с бьющимся сердцем, дрожащей от волнения рукой, теперь казалась совершенно ненужной — всего лишь глас вопиющего в пустыне.

Карахан не выдержал:

— Брат, да буду я за тебя жертвой, быть сдержанным и скромным — хорошее дело, но не в такой же степени! Хоть посмотри, так ли напечатали, не выбросили ли чего, не исказили?

Зелимхан не ответил. Медленно взял газету, бросил взгляд на вторую полосу: там, он знал, должна быть карикатура на браконьеров с топорами и пилами в руках. Почему-то вспомнил, как высказался против фотографий и карикатур в молодежной газете. «Это создает пестроту, крикливость,— говорил он,— мешает сосредоточить внимание на главном». Сейчас он подумал, что, пожалуй, этот рисунок полезнее, чем вся его статья.

Он снова будто впал в забытье. Ему хотелось встать, уйти в соседнюю комнату, лечь и уснуть, чтобы забыть страшные впечатления минувшей ночи.

Карахан торопливо собрал газеты, бог весть в который раз произнес: «Да буду я принесен в жертву за твое перо!» — и выскочил во двор. «Ну что ж, пойти за ним?» Снова тревога охватила его. Раз «Акация» вызвала такой

шум, значит, и у лесхозовцев наболело на душе. Значит, не только учителя, но и эти внешне спокойные люди все понимают...

Стоя на крыльце, Зелимхан смотрел то на брата, то на бритую голову человека, сидевшего на пороге.

— Я говорю не ради красного словца. Пусть знают все, что я говорю не ради красного словца! — Карахан был в гневе.— Ты мой мучитель, ты и твои бессовестные шурины, которые сидят скромно потупившись сейчас в этом доме: они, мол, ни при чем. Если б и не было в газете статьи брата, все равно ты меня довел, я и так сказал бы тебе о твоем разбое! Потому что... Потому что ты перешел всякие границы! Мой заместитель, объездчики — все, все напирают на меня, клянут тебя и твои дела! Потому и я больше... Я говорю не ради красного словца, слышишь, Керим-ами? Повторяю, чтоб вдолбить тебе в голову... Браконьеры с топорами — твои дружки! Ты каждый день составляешь на них акт, а как карман наполнится, так ты эти акты в клочья! Я знаю...

Карахан говорил, говорил. Путано, бессвязно. А кто его слушал? Зелимхан не мог оторвать взгляда от бритой головы. Это была голова не человека, а какого-то хитрого насекомого, спрятавшегося в свой панцирь — шинель. Мелкое, микроскопическое насекомое; ни его, ни зла, причиняемого им, не могли ясно разглядеть люди, приезжавшие с инспекцией из центра, из района, даже Азиз-муэллим не мог разглядеть. Утром это насекомое пряталось в своей норе, ночью ползло к лесу и тихо, незаметно сводило его на нет.

Голова словно росла по мере того, как Зелимхан глядел на нее. Это насекомое гложет не только платаны и тополя, оно изнутри точит Сабита Маилова, стараясь свалить его. Кто знает, может, уже и свалило, может, старик уже повергнут, только внешне все такой же величественный, а на самом деле беспомощный против Керима. Может, разбит уже и Карахан, его брат, повторяющий, как заигранная пластинка, одно и то же: «Я говорю не ради красного словца!» А ради чего ты говоришь и сколько еще будешь говорить?

Неужели рушится и семья, крепкая семья Маиловых, и на месте ее останутся одни пни? Так ли? Может, все это плод его разгоряченного воображения? Зумруд! Яркие ткани, свисающие с ее плеч до засаленного пола финского домика.

Эти ткани, превратившись в багровое пламя, окутали Зумруд. Охваченная огнем, она протянула к Зелимхану руки, закричала: «Где ты, милый, не видишь, я горю? Вот уже сколько лет я горю здесь, в этом доме!..»

И тут же Зумруд, взывающая о помощи, исчезла и появилась другая Зумруд — та, что крутится на высоких каблуках перед зеркалом в комнате деда, смотрит, сияя: «Ну как, идет мне? Почему молчишь? Сам ничего не покупаешь невесте и злишься, когда другие дарят? Смотри, я рассержусь... Сейчас же скажи «мубарек»!

В замешательстве Зелимхан стал отыскивать глазами Зумруд. Ни возле землянок, ни у финского дома девушки не было.

Она сидела в доме, в одной из комнат, и, не обращая внимания на суматоху во дворе, щекотала трехлетнюю дочурку Карахана. Та заливалась смехом. И Зумруд беспечно смеялась.

Зелимхан вошел в комнату и взял девушку за руку.

— Куда? Куда ты меня ведешь?

— Есть дело. Пойдем,— и повел ее в комнату отца.

Подробность четвертая и последняя

РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕВОГИ

Еще не переступив порога отцовских покоев, он подумал, что не надо горячиться. Не давать волю злости — Зумруд должна все-таки понять. Не торопиться, быть спокойным. Но странное дело, за несколько минут он все выложил Зумруд.

Удивляясь самому себе и досадуя на то, что говорит совсем не так, как хотел, Зелимхан сухо и коротко объявил, что Керим-ами — плохой человек, нечистый на руку, хапуга и жулик, что все его подарки «дорогое, единственное дитя дорогого Азиза» должна тотчас вернуть.

Тут Зелимхан запнулся. И все? И больше ему нечего сказать? Нет, он должен рассказать ей подробно о том, какие чувства испытывал каждый раз, когда видел у нее новые подарки, и о чем говорил с учителями, особенно о споре Абдуррахмана-муэллима с Давудом, и о жизни Азиза-ами, которую он так ясно и живо представил себе тогда, сидя с учителями, и, конечно, о варварстве, которое увидел в бывшей роще,— об этом царстве пней. Обо всем он должен рассказать ей, обо всем — своей невесте, любимой,

подруге. Почему же он вдруг замолчал, словно что-то перехватило горло?.. Он невольно полез в карман за сигаретой, взглянул на Зумруд и с болью в сердце понял, что ему не выразить своей душевной бури. И не потому, что не сумеет найти нужных слов, а потому, что боится — боится непонимания, той пропасти, которая вмиг разверзнется между ними, если она не поймет его. Взгляд Зумруд и впрямь выражал недоумение. И смотрела она не на него, а куда-то мимо. Ему почудилось, что, если он посмотрит в том же направлении, он увидит нечто неприятное, может быть, даже гадкое. Зелимхан обернулся, и... в глазах его потемнело.

Керим-ами!

Он сидел в соседней комнате между Караханом и отцом. Когда только он успел вползти в дом? Может быть, он видел, как Зелимхан ищет Зумруд, следил за ним и, почуяв неладное, привел сюда Карахана и отца?

Сабит Маилов сидел за столом у окна, одной рукой перебирал четки, другой теребил бороду. Карахан устроился напротив, скрестив ноги в блестящих сапогах. Между ними Керим, смиренный, согбенный, жалкий в своей мешковатой шинели.

Пока Зелимхан искал Зумруд во дворе, они зашли в дом не для того, чтобы помешать ему. Они уединились для беседы с глазу на глаз, без свидетелей. Густые брови отца были насуплены так, что почти скрывали глаза. И лицо потемнело, словно к горлу подступило удушье. Из-за слов Зелимхана? Нет, нет. Скорей всего причина в беседе, которую они вели меж собой. Да и почему отец должен гневаться на его слова, если даже и слышал их?

Зелимхан любил отца, его богатырскую стать, его всепонимающе властные глаза. Он любил отца и гордился им. Неужели в нем, в этом старом лесничем, которого доводила до слез жестокость Амирли и который бунтовал против гибели величавых платанов, белых тополей, потому что любил их как собственных детей,— неужели в этом человеке родственные чувства пересилят любовь к родной земле, рассудок и совесть и он будет слепо выгораживать негодяя?

Ошеломленный увиденным, пораженный открывшейся ему близостью этих трех людей, трех родственников, он решил идти до конца. Затянулся сигаретой и сказал девушке:

— Ты поняла, о чем я говорю тебе, Зумруд? Мы с тобой не можем быть с теми, кто наживается, продавая душу и совесть. Что бы он тебе ни подарил — в этом году, в прошлом, в позапрошлом,— принеси, свали все в кучу здесь на ковер, пусть возьмет обратно и убирается.

Он опустил голову, чтобы не видеть ее лица, не прочитать на нем полного непонимания, а может, и чего-то другого. Худшего, чем просто непонимание. Он видел только ковер и на нем модные желтые туфельки с красным кантом. С неясным чувством он ждал их движения. Туфли, словно колеблясь, шагнули вперед. Понятно. Потом повернулись так, что стало ясно: Зумруд снова смотрит туда, где сидят дед и дядя. Да, она хочет узнать их отношение к этому делу.

И это тоже понятно. Зумруд впервые оказалась перед таким трудным выбором.

В воображении Зелимхана возникло мгновенно так много картин! Чудесных, полных покоя и радости... Вот он гуляет по берегу кара-су, сидит в тени деревьев, читая Пришвина... А ночью в комнате отца при свете лампы записывает впечатления, разговоры, мысли, пришедшие в голову, пытается выразить словом оттенки травы, цветов, росы. Их красота жила в нем с детства. Волшебник Пришвин заставлял природу говорить, он учил Зелимхана слышать ее и видеть, понимать и любить. Он пробудил в нем желание рассказать людям о том, что его так волновало, приобщить их к своему счастью. Пришвин настаивал, наказывал: «Ты ведь сам видел все эти оттенки и краски. Почему тебе не написать об этом?» И он писал.

Отец по обыкновению ложился спать рано. Ему стлали на ковре. Даже спящий, он внушал почтение. В соседней комнате тихо ступала Сария-баджи, племянница говорила вполголоса: отец спит, гагаш сел за стол — даже птица не должна пролететь поблизости. Но была такая птица, которая не признавала никаких запретов. Ее не смущал ни величественный вид Сабита Маилова, ни девочки, которые, поглядев ей вслед, мчались к Сарии и тревожно шептали: «Опять к гагашу пошла, не даст ему писать книгу!» Молча входила, молча садилась сбоку стола и, подперев щеки, молча смотрела на Зелимхана черными блестящими глазами. Волей-неволей он откладывал ручку. Она улыбалась, и Зелимхан улыбался. Зумруд кивала на белобородого старика, кончиком пальца касалась губ, спрашивала:

— Если разбужу, побьет?

— Не побьет,— качал головой Зелимхан.— Отец тебя очень любит.
— А ты?
— Мы все тебя любим.
— Я спрашиваю не обо всех. Скажи, ты меня любишь?
— Не приставай. Не видишь, пишу. К чему этот разговор в середине ночи?
— К тому, чтобы ты не изводил себя.
С загадочным выражением лица она вскакивала и убегала в соседнюю комнату. И тут начиналась забавная игра: Зелимхан не слышал ни скрипа отворяемой и вновь закрываемой двери, ни шагов, когда к нему подкрадывалась, а потом отбегала Зумруд. Иногда, оторвавшись от работы, он находил рядом с собой на столе то конфету в цветной обертке, то букетик цветов с капельками росы, застывшими на лепестках.
Чапыг, обычно дремавший на веранде, каким-то чудом оказывался у него под ногами — вылезал из-под стола и чинно-благородно клал лапы ему на колени. «Удивительно творческая обстановка!» Зелимхан откладывал ручку, осторожно крался мимо отца, приоткрывал дверь, зная, что в темноте, забившись в угол, прыскает в кулак птица, которая в ночную пору не боится срывать цветы в Беюк-тала, тащит конфеты из шкафа Сарии-баджи и без спроса пускает Чапыга с веранды в комнату.
— Светает уже. Спи. Слышишь, пери? Спи!
Из темноты трепетно теплое дыхание доносило к нему слова:
— Ложись ты, и я тогда буду спать.
— Ладно. Ладно. Я ложусь.
— И я. Спокойной ночи.
— Приятных сновидений, сумасшедшая пери.
— Не обманывай, ложись!
— Не обману.
— Приятных снов.
— И тебе.
— Я хочу, чтобы тебе снились хорошие сны.
— Уже заказал.
— И чтоб меня увидел во сне!
— Слушаюсь, моя пери, уже заказал.
Зелимхан ложился в постель и отдавался течению сладостных мечтаний, пока над лесом не светлел горизонт. Может, и наступит такой день, когда из него получится новый Пришвин, тогда он вернется в Беюк-тала и всю

жизнь проживет здесь, на лоне природы, вместе с Зумруд, будет писать, воспевать красоту родных мест...

Зелимхан поднял голову.

Девушка смотрела на Сабита и Керима. Потом перевела взгляд на Сарию и Марьям, появившихся в проеме двери, и наконец шагнула к железному сундуку, стоявшему у стены. На сундуке висел тяжелый черный замок, который всегда мозолил глаза Зелимхану. Замок, который он так ненавидел.

Отец молчал, еще больше нахмурив брови. Карахан вскочил и застыл на месте. Керим совсем сник в своей шинели.

Зумруд нагнулась и протянула руку к замку. Карахан шагнул вперед. Отец сунул четки в карман.

— Гагаш.— Карахан сделал еще шаг. Заговорил срывающимся голосом: — Да буду я за тебя жертвой, брат, нехорошо это... Керим-ами очень виноват. Ты сам видел, как я его честил. Перед народом, брат. Но вот так... Это очень нехорошо, зря ты все это затеял, голубчик...

Зелимхан был нем и неподвижен.

— Да буду я принесен в жертву за тебя, слышишь?..

Но Зелимхан не слышал. Он молчал. «Ты же говорил не просто так, не ради красного словца? Почему же и здесь заступаешься за Керима-ами?.. Или твое вечное «да буду жертвой за тебя...» тоже ложь?»

Нет, когда-то эти слова Карахана звучали искренне, это были сердечные слова любящего брата. А теперь... Он произносит их по привычке, без всякого повода и без особого смысла. «Ах, Карахан, когда же, когда ты так изменился? Может, ты и раньше был таким, просто я не мог тебя раскусить?..»

Зумруд, всегда такая острая на язык, молча выхватила из сундука разноцветные отрезы тканей и швырнула их на ковер. Зелимхан ждал, когда она посмотрит на Керима и скажет: «Забирай свое барахло!» Тогда уже будет не важно, заберет Керим-ами свои вещи или нет. Важно, чтобы она сказала именно эти слова, и тогда Зелимхан возьмет ее, свою пери, и уведет в лес, к кара-су, прижмет к груди: «Любимая, родная... клеймо снято, моя родная пери!»

— И серьги сними,— произнес он громко, уверенный, что его послушают.— У тебя ничего не должно оставаться из его вещей...

И, не договорив, замер. Зумруд, закусив нижнюю губу, яростно рванула круглые золотые серьги. Мочки ушей окрасились кровью. Другая, строптивая, совершенно чужая, стояла перед ним Зумруд, и с ее губ ему в лицо летели чужие, холодные, злые слова:

— Разве я одна такая? А другие?! Откуда взялось то, во что наряжаются Сария-баджи, твои племянницы — не видишь, не знаешь?!

Потрясенный Зелимхан обернулся к дверям:

— Сария-баджи... О чем она говорит?! Неужели этот червь Керим сожрал всю семью?!

Сария покраснела, надвинула по самые брови келагай и молча ушла. Вслед за ней Зумруд, оттолкнув Марьям, выскочила из комнаты. Зелимхан вздрогнул. Словно что-то оторвалось у него от сердца. Родное, необходимое. «Разве я одна такая? А другие?!» — все еще кричал ему в лицо незнакомый человек.

Сабит Маилов медленно шел к сыну. Он был страшен. Странное движение отца, которым он выхватил вновь из кармана четки и бросил их на пол, надвигаясь на сына, огромная нога, с хрустом наступившая на дорогие четки,— все это заставило Зелимхана позабыть о Зумруд.

Его обдало горячее дыхание отца. Еще один чужой, незнакомый Зелимхану человек открыл рот и затряс бородой:

— Этот Керим, тот самый, который таскал тебе в город в хурджине гостинцы, в поте лица добывал их для тебя, молил аллаха, чтобы сберег тебя от напастей, тебя, сына Сабита, раз уж аллах не даровал сына ему самому! Так ты платишь ему? За добро — злом?

— Голубчик, родной, я же добра тебе желаю, я же твой родственник, не губи меня, не разрушай мой дом, не гаси мой очаг! — путаясь в полах шинели, встал и забормотал Керим.

— Гагаш, верни ее, верни сейчас же Зумруд! Верни ее,— заскулил Карахан.

Зелимхан не мог слушать все эти мольбы, заклинания и проклятия. Медленно повернувшись, он направился к двери.

Но ушел не сразу. Сделал еще одну попытку поговорить с Зумруд. Он нашел ее в окружении девушек. При виде его она вскочила так порывисто, что шаль с шелковой бахромой упала с плеч. Зумруд на лету подхватила ее и бросилась в другую комнату. С силой хлопнула дверь.

Щелкнул замок. Зелимхан постучался. Никакого ответа. Обошел дом, постучал в окошко. Молчание.

Еще не осознав до конца случившееся, Зелимхан ушел. Долго бродил по лесу, успокаиваясь. Решил как можно хладнокровнее поговорить с отцом.

Этот разговор и разговор, происшедший год спустя, уже знакомы читателю. А раз так, значит, здесь и конец всем необходимым подробностям, а вместе с ними и нашему повествованию. Теперь вернемся на развилку дорог, к Зелимхану, ушедшему из родительского дома второй раз.

Да, Зелимхан чувствовал себя виноватым перед Зумруд. Он не увидел вовремя причин, сделавших ее чужой ему, и потому не смог спасти ее. А теперь... Неужели поздно?.. Была ведь и другая Зумруд. Бледная, страдающая и гордо заявившая: «Я не вещь, которую выбросили на улицу».

Поздно? Неужели его пери так и останется с клеймом на теле?

Но тогда что же остановило его здесь, на развилке дорог? Если в сердце погасла последняя искра надежды, зачем же он пишет на листке блокнота:

«Всем, всем, всем! Телеграмма из лесов».

Перо остановилось.

С чего начать? Какими словами высказать свою тревогу, всю глубину своей боли? Чтобы слова жгли... И чтоб дошли до каждого — и до старого лесничего, и до Зумруд, и до секретаря райкома, чтобы все, обязательно все откликнулись на них сердцем!

Дрожала рука, кровь стучала в висках. Зелимхана охватило возбуждение, какого он не испытывал после «Акации». Начать здесь же, не откладывая, сейчас...

Но перо не двигалось. Перед глазами встала поникшая фигура брата, вспомнилась седая отцовская борода, слезы на глазах Сарии-баджи, умоляющие взгляды племянниц.

Зелимхан не знал, сколько времени просидел он у развилки дорог, уставившись в белый чистый лист. Наконец вздохнул, сунул блокнот и авторучку в карман пальто. Надо идти!

Ах, как он устал! Голод и бессонница давали о себе

знать. Он вошел в лес. Спотыкаясь, побрел среди деревьев, иногда останавливался, прислонясь к стволам, машинально закуривал.

Знакомая тропа меж редких высоких дубов вывела его в Беюк-тала. Тихо, как здесь было тихо! Перед землянками столпились люди. Молча, испуганно смотрели на него. Ни на кого не обращая внимания, Зелимхан поднялся на крыльцо, вошел в дом. И здесь тишина. Только откуда-то издалека до него донесся взволнованный приглушенный шепот: «Гагаш, гагаш идет». Потом, словно в полусне, увидел перед собою руку со стаканом воды.

Он осушил стакан, протянул обратно, прошептал:

— Спасибо, Марьям.

Полез в карман за сигаретой, закурил; не сняв ни пальто, ни кепки, подошел к красной дубовой двери и толкнул ее.

На крашеном полу — большой пестрый ковер, мутаки с бахромой, белая подушка... Все по-прежнему, все на своих местах. Отсвет пламени, вырывающийся из-за приоткрытой печной дверцы, играет на крупной бритой голове. Все как вчера.

Зелимхан присел на краешек ковра.

Поза старика была напряженной. В ритм тяжелому дыханию подымались и опускались плечи, руки цепко впились в подушку. Поверженный воин. Но и такой он оставался сильным.

Зелимхан пальцами коснулся отцовской спины:

— Бабá...

Тот вздрогнул, но головы не поднял. И ответил не сразу — сдавленным, хриплым голосом:

— А, вернулся!..

— Как видишь...

— Чтоб руки хной покрасить [1], так, что ли? — Старик резко поднялся и уселся на ковре, устремив на сына изменившийся до неузнаваемости взгляд покрасневших глаз.— Что ж, ступай к Сарии, попроси хну, справляй торжество. Пусть брат твой сдает дела... Запишись в комиссию, поставь свою подпись рядом с Давудом, кровным врагом своим, иди докладывай в милицию, прокурору, чтобы арестовали брата, чтоб всех Маиловых в пух и прах, в тюрьму, за решетку! Чего же ты ждешь, иди!..

---

[1] В старину в особо торжественных случаях руки красили хной.

Зелимхан смотрел на подушку. Белая наволочка потемнела. Он вдруг ясно представил себе, что переживал гордый старик, тот самый, что сейчас снова кричал на него. До этой минуты ему казалось: казни перед отцом обоих сыновей, он и тогда не уронит слезы.

Подавленный увиденным, сын протянул руку и перевернул подушку. Старик заметил его движение. Нахмурившись, отвел глаза. Может быть, он сам не заметил своих слез.

— Я второй раз вижу, как ты плачешь, ба́ба! Первый раз, помнишь, когда Султан Амирли бросил тракторы МТС на леса? Тогдашние слезы возвысили тебя в моих глазах. А теперь, теперь отчего ты плакал?

Отец обернулся, встал и, подойдя к сыну вплотную, закричал, тряся головой:

— Оттого, что вырастил такого сына! Как смел ты сюда вернуться, подлец?!

Зелимхан тоже поднялся:

— Не ругайся, ба́ба! Нехорошо!

— Что?! Как это «нехорошо»? О чем ты болтаешь, чертов сын? Разве мне сейчас до приличий?!

— Я хочу, чтобы ты всегда был добрым и сильным.

— Так верни мое доброе имя.

— Ты должен еще раз пролить слезы, чтобы обрести его.— Теперь и Зелимхан повысил голос.— Твою силу похитили! Тебя, твою душу обокрали! Родственнички, что день-деньской торчат здесь и кланяются тебе в ноги, превратили могучее дерево в корягу. Твой милый родственник, твой Керим...

— Не смей произносить имени Керима!

— Его имя узнает весь Азербайджан, отец! Во всеуслышание скажу!..— Зелимхан почувствовал, что те слова, которые он силился найти там, у развилки дорог, сейчас нахлынут на него.— Не перебивай! — закричал он и даже притопнул ногой, тут же подумав, что и он, Зелимхан, тоже Маилов, также не терпит возражений.

Старик, подняв брови, с изумлением уставился на сына. Зелимхан смял готовые сорваться с языка резкости. Выдержка. Не уступать, но и не давать волю раздражению. Надо еще раз попытаться довести до разума старика то, что мучает его. Обычным мягким голосом Зелимхан заговорил:

— Выслушай меня, подумай над тем, что я скажу. Пусть ты на людях и отрекся от меня, все равно в моих

жилах продолжает течь твоя кровь. Будь я чужим, я бы не вернулся. Никогда. Поверь, я знаю, что такое родство. Но сам подумай, до чего дошло, если я готов сию же минуту сесть за стол и выложить все о родственниках... Вы телеграммой вызвали меня, чтоб я помог брату. А я хочу телеграммой звать на помощь весь Азербайджан. Беда велика, отец! — Зелимхан перевел дух, впервые в присутствии отца закурил.— Да что тебя утомлять, о многом я напишу. А главное, откровенно скажу, что нынче в том лесу одни пни...

Губы старика подрагивали. Но он смотрел не на сына, а в сторону дверей. Зелимхан подумал, что сейчас повторится старая история... отец с шумом распахнет дверь и недрогнувшей рукой укажет на порог. Но дверь не загремела. Она давно была открыта, и Карахан молча стоял на пороге.

Лицо его посерело до землистого оттенка. Он стоял, привалившись к косяку, закрыв глаза.

Зелимхан еще раз взглянул на отца, потом на брата и подумал, что он приехал сюда не напрасно.

ЧИНГИЗ ГУСЕЙНОВ

(Род. в 1929 г.)

НЕ НАЗВАЛСЯ

(Сугубо доверительное обращение Автора к Уважаемому Читателю историй, рассказанных земляком.

К Читателю Серьезному, в связи с неизбывной страстью Автора к условности, неостановимой тягой к «траги» и «коми»,— просьба.

К Читателю Сердитому — слезная мольба.

К Читателю Сердобольному, в связи с абсолютно строгими намерениями Автора,— предупреждение.

Мой герой, с которым приключились рассказанные им истории, не назвал себя. Не потому, что не хотел,— какая разница: Ахмедом бы он назвался или Самедом, Исой или Мусой, Али или Вали?.. Не назвал потому, что не успел. Спешил. И то надо сделать, и это. И все — срочно. Крутит его жизнь, будто он — волчок. Катит его рок, будто он колесо какое. Носит его судьба, как горный поток щепку. Он встретится на поминках с гипнотизером и его женой (ах, какой невоздержанный!.. Он, видите ли, поклонник красоты!), потом на чужой свадьбе погуляет (ах, какой чуткий — другу помог заполучить восточное трио к западному квартету!), будут сюрпризы (ах, какой он везучий!), возвращения в прошлое, к которому он, увы, равнодушен.

И всегда некогда. Некогда назвать себя, некогда передохнуть, некогда, наконец, положить перед собой папаху и голову почесать, подумать хотя бы о горном потоке.

Если полоса неудач — отыскиваются виновные, к примеру, гипнотизер, если захлестывают удачи, то, естествен-

но, благодаря собственным заслугам, личной стратегии и тактике.

Если туман — рассеется, если тучи — пронесутся, если что не так — потерпите до финала, когда я посажу моего героя в хвостовой отсек самолета, где не откинуться, ибо, как вы знаете, если летали, спинки кресел здесь укреплены намертво, встречу его на родной бакинской земле с теплым ветром, прогретым солнцем и пахнущим нефтью.

Я закрою занавес и выйду к вам, если даже не заслышу аплодисментов, и, клянусь аллахом и его двенадцатью апостолами-имамами, отвечу на любой ваш вопрос.

А в том, что «аллах» и «апостолы-имамы» набраны не с большой буквы, виноваты не машинистки, не редакторы, не наборщики, а я, грешный...)

1

> Ах, что за девушка!..
> Брови изогнуты, как лук, глаза черные, как ночь, носик, словно орешек индийский, кожа бела, как самаркандская бумага, груди круглые, как дыньки, так и выкатиться хотят из рубашки, кто взглянет — голову потеряет.
>
> *Из народного сказания*

С высоты он крошечная точка, а может, совсем не виден, смотря какая высота.

А вблизи внушительный и таинственный, жуть берет от широкой черной полосы по бортам.

Рядом, на заднее сиденье, опустился молодой мужчина моего возраста, но в отличие от меня, усатого,— с густой черной бородой... Мои б усы к его бороде... Кажется, из родственников покойницы.

Усаживаясь, пристально и с неведомым значением посмотрел на меня.

Автобус медленно и долго полз по узким, извилистым переулкам старой Москвы, потом повернул на широкий и прямой, как стрела, проспект и прибавил скорость.

— Торопится как! — шепнул сосед.

Борода, коснувшаяся моего уха, была мягкой, как шелк. Я вздрогнул и согласно кивнул головой. Немного помолчав, бородач заговорил о крематории:

— Сжигание трупа и современно и культурно, простое захоронение, если хотите, признак отсталости. Умирающих много, а земли мало. Даже в крематории нет мест...

Он привел примеры из древности, рассказал, что еще задолго до нашей эры высококультурные греки сжигали умерших, поговорил об эпохе Гомера, о народных традициях захоронения в Индии, вспомнил о старых кладбищах Парижа и о перенесении костей покойников в парижские катакомбы, о ключах от ниш с прахом близких, которые испанцы носят на груди вместе с крестом.

— Вы историк? — почти с уверенностью спросил я.

Чуть отодвинувшись, он уставился на меня своими черными, будто маслины, глазами и, помедлив, сказал:

— Нет, я не историк.— И умолк. Почти обиделся, как мне показалось. Но ни он не проронил ни слова, ни я.

Из высокой трубы крематория валил густой серый дым.

Время здесь заранее распределено, на каждого отпущено пятнадцать минут.

Подошла наша очередь.

Дополнительно зажегся яркий свет.

Мы подняли гроб на специальный постамент.

Заиграла записанная на пленку траурная музыка.

— Бах,— шепнул бородач.

Гроб медленно опускался в подземелье, а за ним автоматически закрывались железные двери постамента, пока вовсе не сомкнулись.

Похороны кончились, смолкла печальная мелодия, погас дополнительный свет.

Наступила очередь следующего.

Выходя, я невольно задержался,— с затянутого траурной лентой портрета на меня смотрело знакомое еще с детства лицо некогда большого человека. А с портрета он и теперь смотрит с уверенностью и силой.

На улице бородач крепко схватил меня за локоть и, показав на дым, сказал: «Вот и все!»

Чувствовалось облегчение, и автобус мчался беззаботно, точно полупустой.

Снова рядом оказался родственник с глазами-маслинами, ставший таким симпатичным, да, жаль, не оставлявший тему крематория.

— Раньше,— говорил он,— родственникам разрешали следить за кремацией, чтобы удостоверились и сомнений чтоб никаких не было. Труп, попадая в печь, вскакивал,

будто живой, потому что от жара резко сокращаются спинные мышцы...

— Вы...— прервал я его, думая спросить, не из судебной ли он экспертизы, но нашел слово поспокойней: — Не юрист ли вы?

Как и в прошлый раз, он пристально взглянул на меня и, не торопясь, ответил:

— Нет, я не юрист. И даже не из судебной экспертизы!..— Помедлил немного и продолжил, явно недовольный тем, что его прервали: — Теперь, как вы могли заметить, все делается за железной непрозрачной дверью. Потому что нет смысла.

Он умолк, думая, что я спрошу, почему смысла нет, и, не дождавшись моего вопроса, добавил:

— В течение года родственники могут получить пепел. Хочешь — насыпь в золотой кубок и храни дома, а хочешь — развей в поле, высыпь в реку, смотря какое завещание. Можно и похоронить в специальной стене в крематории и в семейной нише повесить фотографию.

Я подумал о тех, кто работает внизу, и мой сосед тут же сказал:

— Однажды я проник в подвальный этаж крематория. Хотите, расскажу, что я там увидел? — Он победно улыбнулся.

— И все-таки кто вы по профессии?! — с нетерпением спросил я.

Собеседник мой долго сверлил меня взглядом и затем с расстановкой произнес:

— Гипнотизер.

Поспешно, сам не знаю почему, я выпалил:

— Гипноз на меня абсолютно не действует!

— Глаза у вас черные,— шепнул он,— из вас мог бы получиться неплохой гипнотизер. Никогда не поздно этим заняться.

— Прекрасная профессия,— польстил я ему.

— Нужная людям.

Не успел я спросить: «В каком смысле?» — как он опередил меня:

— В смысле лечения гипнозом.

Я взглянул в окно и, не скрою, обрадовался, что за поворотом — наш дом.

Помянуть усопшую пришло много народу. Каждый с трудом втискивался на свое место за столом, уставленным закусками и бутылками. Уж сам не знаю, как случилось,

но рядом со мной оказалась жена гипнотизера. Мы познакомились с нею перед выносом гроба. Она оставалась дома, чтобы помочь накрывать на стол.

Было тесно. Жена гипнотизера сидела так близко от меня, что я не мог даже пошевелиться. К тому же прибывали новые гости, и приходилось снова тесниться. Тело ее словно прилипло к моему. Она казалась порой величественно спокойной или игривой и кокетливой. И то, и другое было приятно, будоражило воображение, вызывало любопытство.

Гипнотизер, сидевший напротив нас, окидывал всех внимательным взором и поглаживал рукой свою шелковистую бороду. Иногда его взгляд останавливался на нас, мне делалось слегка не по себе, а жена, занятая только собой, чувствовала себя независимо. И это действовало на меня успокаивающе. Я старался не терять рассудка, тем более что надо мной жужжали мысли гипнотизера: «На поминках флирт неприличен».

Премудрое дело — поминки. Нужно и покойника помянуть, и близких не ранить лишними воспоминаниями. Но и безучастным не следует оставаться. Мне хотелось задобрить гипнотизера, чтобы отогнать рой витавших над моей головой колючих фраз, полных недоверия к такому неплохому симпатичному порядочному человеку, как я.

И вдруг гипнотизер достал из бокового кармана записную книжку, открыл, полистал ее и на моем родном языке просто и внятно прочел:

— Сен хошума гелирсен.— Ты мне нравишься.

Я даже поперхнулся от неожиданности. От услышанной родной речи грудь залило жаром.

— У вас настоящее бакинское произношение!

— А мы любим азербайджанцев,— сказала гипнотизерова жена и, еще ближе придвинувшись ко мне, заученно произнесла: — Мен сени севирем.— Ее «я тебя люблю» прозвучало без чувства, она сказала как школьница, вызубрившая урок, и произношение было много хуже.

Гипнотизер был удовлетворен тем, что поразил меня, и, пока он прятал свою записную книжку, я спросил у его жены,— так бы поступил всякий на моем месте:

— Кто вас научил?

Оттопырила выразительную нижнюю губу, она чуть припухлая, глаза смеются, в них столько слов, а сама молчит.

— Он молодой? — Я никого кругом не вижу, будто одни мы сидим.

— Вы меня ревнуете? — улыбается.

Я налил себе рюмку водки.

И она тихо, чтоб слышал только я, шепчет:

— Ревнуйте! — Протягивает мне рюмку.— И мне налейте!

Я наполнил.

— За нашу дружбу,— произнесла она и потянулась к моей рюмке, но вовремя спохватилась и отдернула руку, плеснув немного водки на скатерть, и, глядя на меня, выпила. Выпил и я, не сводя с нее глаз.

— Я рада, что познакомилась с вами,— шепнула она мне.— А вы?

— Очень! — прямой вопрос требовал и прямого ответа. И я действительно был рад. Что-то происходило во мне, я жил в предчувствии чего-то ранее неизведанного, ликовал, был готов к подвигам ради своей соседки, очень красивой, просто чудо!

Женщину украшает мужское поклонение, а тут двое неотступно следили за ней — он, ее законный, и я. Одному было все известно, другого влекла новизна. Наши мысли-взгляды скрестились. Гипнотизер, казалось, внутренне усмехается надо мной, еле сдерживается, чтоб не расхохотаться. Мне даже послышалось: «А вот и не выйдешь из гипноза!» Я удивленно взглянул на бородача, чувствую, что губы мои кривит жалкая улыбка, и вновь мне почудилось: «А вот и поддашься!»

2

> Искусный волшебник был, все колдовские чары знал — как отвратить, как заворожить, как иссушить...
>
> *Из народного сказания*

Гости постепенно расходились, буднично вспоминая о завтрашних понедельничных делах. Оставались лишь близкие. Я не хотел уходить и продолжал сидеть — по-соседски.

На смену закускам пришел чай. Жена гипнотизера обыкновенные чашки ставила на стол так грациозно, хоть стой и любуйся!..

А потом она снова сидела со мной. Возможно, гипнотизер сам стремился испытать судьбу. Преследуемый его взглядом, я положил руку на спинку стула моей соседки. Нестерпимо захотелось шепнуть ей нечто теплое и ласковое, кажется, я даже что-то сказал, забыв обо всем на свете и унесенный потоком чувств, но тут слуха моего коснулись слова и будто кто-то помимо моей воли резко повернул мою голову в сторону говорившего: «Караульный переулок...»

— Как вы сказали? — почти испуганно спросил я.

— Мы жили в Караульном переулке,— ответила дочь умершей, обращаясь при этом не ко мне, а к гипнотизеру, будто не я, а он задал вопрос.

— Так это же рядом с нашим старым домом,— сказал я.— Там еще на углу керосиновая лавка.

— Да? — тут она повернулась ко мне, будто впервые меня видела. Глаза у нее были усталые, но спокойные, в них отражался свет изумрудных серег; ее мать болела давно и неизлечимо, как я помню, уже год была прикована к постели, мучилась сама, мучала окружающих, и ее уход из жизни воспринимался дочерью как нечто неотвратимое; а что до моей соседки, внучки покойницы...

— Вы жили на Старой Почтовой?

— Сейчас она по-другому называется,— ответил не я, а гипнотизер, и никто, даже я сам, этому не удивился.

— С покойной мамой я и мой брат, отец вашей милой соседки,— она кивнула в сторону жены гипнотизера,— жили там, в Караульном переулке. Но это было очень давно, задолго до того, как вы появились на свет.

— Это естественно, но вы могли знать моих родителей, во всяком случае, мать.

— Возможно, возможно... Я хорошо помню красавицу тюрчанку.

— Так уже не говорят, это устарело,— пояснил гипнотизер.

— А я привыкла по-старому, мне так легче.

— Но гость может обидеться.

А у меня иные мысли:

— Может быть, вы говорите о моей маме? И она была в молодости очень красивой.

— Каждому человеку его мать кажется красавицей,— вставил снова гипнотизер или кто-то другой, я не уловил.

А хозяйка тем временем продолжала:

— Мой брат был влюблен в эту красивую тюрчанку, он часами простаивал на углу в надежде увидеть ее, буквально бредил ею.

— А я-то думаю, откуда у меня такая особенная симпатия к южанам!

— Южане понятие растяжимое! — заметил я.

— Ну... к азербайджанцам! — уточнила она, к моему удовольствию.— От отца, оказывается, в генах перешло!..— Жена гипнотизера одарила меня таким нежным взглядом, что мне даже неудобно стало: муж ведь смотрит!

— Тебе не только это передалось,— мрачно проговорил гипнотизер. Взгляд ее определенно был перехвачен, не иначе.

— Ты прав, не только это. Как и он, я решительна в любви: кого полюблю — осчастливлю, а кто меня полюбит — счастье познает! — При этом она — казалось бы, уж больше некуда — еще ближе придвинулась ко мне, задев грудью мое плечо. Жаркая волна прошла по сердцу, но гипнотизер взглянул на меня и словно пальцем погасил горящую свечу — я очнулся.

— Интересно,— произнес я некстати и непонятно к чему: я не слушал, о ком шла речь за столом, мне достаточно было того, что происходило в моей душе, но последующие слова хозяйки дома окончательно меня разбудили:

— Ты погубишь себя, забудь ее, муж узнает — беды не оберешься!..

Нет, не ко мне относились эти предупреждения: так, оказывается, отговаривали безумца, влюбленного в тюрчанку-азербайджанку, отца моей соседки.

— На Алексея наши уговоры не имели воздействия. Он был как в угаре, полоумный какой-то.

Что же, наши состояния совпадали, и потому я слушал не без интереса.

— Он во что бы то ни стало хотел познакомиться с тюрчанкой. Но это же сущее сумасбродство, говорили мы ему. Куда там! Лишь одно у него на уме было — познакомиться! Однажды под видом монтера Алексей пришел к ним в дом и стал искать якобы неисправность в проводке. Тогда от сильных северных ветров... Как-то называется у них этот ветер...

— Хазри,— выпалил гипнотизер.

— Да,— задумчиво произнесла хозяйка,— провода часто рвались.

— Как рвутся и теперь,— добавил бородач, держа меня в поле своего внимания. Он был прав: действительно рвутся, особенно в нашем старом дворе.— Будто это и не провода, а тонкие струны саза.

И на меня смотрит.

Поначалу слушала внимательно и жена гипнотизера, но потом, я это почувствовал, интерес ее стал гаснуть.

— Прошел с мотком проволоки и плоскогубцами в руках почти по всему дому и только тут увидел девушку. «Свет горит?» — спросил он ее. Тюрчанка плохо знала русский язык, но понять брата было нетрудно, и она кивнула головой: «Яныр, яныр». Горит, значит. Толстая коса упала ей на грудь, а шелковый платок сполз на плечи.

Хозяйка будто устремилась увлечь не только меня, но и свою племянницу. И заставила-таки мою соседку задать вопрос, в котором все же было больше нетерпения и раздражения, чем интереса:

— Ты так рассказываешь, будто сама присутствовала при этом!

Гипнотизер почему-то улыбнулся, а тетя, недоуменно посмотрев на племянницу, ничего ей не ответила и пошла по тропе дальше:

— Когда брат впервые увидел ее на улице, он удивился, что тюрчанка ходит без чадры. И теперь решил похвалить ее: «Ходишь без чадры, это хорошо!» — сказал он ей, а она жестами и мимикой показала, что бросила чадру и топтала ее ногами. В это время на балконе показался муж тюрчанки. Он что-то спросил у нее, а потом зло обратился к брату: «Что нужно?!» — «Не тебя нужно!» — ответил Алексей и пошел к лестнице.

— И это все? — недовольно спросила моя соседка.— А я-то думала...— Не докончив, она встала, чтобы выйти, но вдруг, ойкнув, села и, положив свою руку на мою, проговорила: — Загадывайте желание — вы сидите между тезками!

Я, честно говоря, не запомнил имя другой своей соседки, когда нас знакомили.

— Вы сидите между двумя Линами, очаровательными женщинами со столь редкими именами, что вам, конечно, очень трудно запомнить...— Гипнотизер многозначительно улыбнулся.

«Ну что же, пусть дальше читает мои мысли»,— подумал я. О том, каковы мои желания, было проще простого догадаться.

— Загадывайте, обязательно исполнится! — прошептала моя Лина.— Но только желание должно быть сильным, и никому ни слова! — Незаметно опершись на мое плечо, она поднялась и танцующей походкой направилась к двери. Мои мысли потекли вслед за нею, но тут до слуха моего, как из далекого мира, донеслось:

— Подождите, еще не то будет!

Я обернулся к гипнотизеру. И теткины слова догнали Лину у двери:

— Ну и драка была между братом и мужем тюрчанки!

Лина остановилась.

— Не стой там,— сказала ей тетя, — сядь и слушай!

Лина присела у порога, не сводя с меня глаз.

— Не успел твой отец,— это она Лине сказала,— выйти на улицу, как услышал за спиной быстрые шаги, обернулся, а за ним муж тюрчанки несется вверх по переулку, а в руке блестит что-то.

— Нож? — поспешно спросила Лина.

— А ты что думала? Самый настоящий кинжал! При восточном муже с его женой сладкие речи заведешь — добра не жди! У мужа кинжал, а у «монтера» что? Хорошо еще, не растерялся, швырнул в усача моток проволоки и крепче сжал в руке плоскогубцы. Это было в трех — пяти шагах от нашего дома, я стояла в воротах, затаив дыхание от страха, и ждала, что будет. Вдруг муж тюрчанки возьми да резко брось нож в акацию, что росла на нашей улице. Нож с глухим стуком вонзился в ствол; как сейчас помню дрожащую рукоятку... Пришлось бросить плоскогубцы и брату. Соперники кинулись один на другого, я бросилась было к ним, но брат оттолкнул меня. Пыхтя от злости, схватились они, но ни один не мог одолеть другого, только слышно было, как трещит на брате шелковая косоворотка с моей вышивкой.

— Что же дальше? — спросила Лина неожиданно умолкнувшую тетю.

— А ничего! Попыхтели, покряхтели и разошлись!

Лина была явно разочарована.

— Поножовщины тебе захотелось, крови? — Это гипнотизер ее подзадоривал.

— Осталась бы тогда без отца,— добавила тетя,— а я — без брата... О чем это я — тебя и вовсе бы не было тогда.

— А вдруг бы он в схватке тюрчанкой завладел?

— И тогда бы не вы появились на свет, а другая,— сказал я,— а нам бы всем этого очень не хотелось!

— И мне.— Голос ее затих, и, помолчи мгновение тетя, я перетянул бы Лину на свою сторону, она снова сидела бы рядом со мной.

— После той стычки Алексей ни разу не взглянул в сторону тюрчанки.

— Испугался?

— Как бы не так! Отец твой сказал, и тебе бы хорошо запомнить это, да и не только тебе: «Не к лицу мужчине, говорит, заигрывать с чужой женой!»

«Уж не меня ли она имеет в виду?!» Посмотрел на гипнотизера. «Ага, намекает!..» Но как примитивно! А я ведь могу обидеться. Лина уловила это, поймала взгляд и незаметно подморгнула: мол, нас это не касается, это все о прошлом. Она высоко подняла свои белые, крепкие руки, чтоб поправить волосы, и так нежно при этом смотрела на меня, что я готов был унестись с нею хоть на край света. Я даже почувствовал на горячей шее холод ее упругих рук.

Но разговор принял неожиданное направление.

— Да, этого никто не ожидал! Оказалось, что вовсе не муж и жена они, а брат и сестра!

— Везение какое! — обрадовалась Лина.— Вот это да!..

И ушла, отдалилась Лина на время от меня. Мои мысли унеслись в далекие родные края за судьбой моей землячки, чтобы возвратиться снова к Лине, а Лину захватила история странной любви отца. Переменилась тема разговора, но страсти продолжали кружить над нами, потому что был я со своими неодолимыми желаниями, был гипнотизер с неистощимым запасом помех, была его жена, и на ней скрещивались наши взгляды; нити, которыми он пытался меня опутать, рвались, и неясно было, уж во всяком случае мне, случайному гостю этих поминок,— то ли плакать, то ли радоваться, то ли глазом одним смеяться, а другим не сдерживать слез, чтоб текли и текли... Ведь вот какие настроения — не отвратишь, не предугадаешь.

Премудрое дело — поминки!

И та, чье горе было сильнее всего, сама нашла успокаивающий бальзам для своих ран — воспоминания далекой юности, где себя жалеешь больше и забываешь о настоящем.

3

Беспробудно проплакала она три дня и три ночи. От горьких слез вся подушка истлела...

Из народного сказания

— Брат в счастливом волнении сообщил мне: «Оля, она — его сестра, понимаешь, сестра!» Радость его сердила меня. «Ну что с того?» — сказала я ему. Еле избежал опасности, а тут радуется. К тому же подруга моя давно любит его, тает, как свеча, а он... И я решила противостоять этой безумной страсти. «Будет по-моему»,— подумала я. Как-то отправились мы втроем, я с подругой и Алексей, купаться в море. А надо вам сказать, что раньше от центра старого бакинского бульвара в море на деревянных сваях уходила эстакада, и в конце ее была купальня.

— Не сваи, Ольга Васильевна, были деревянные, а сама купальня. И настил под водой был деревянный.— Но гипнотизера никто не слушал, и она пропустила мимо ушей его уточнение.

— Для купания были отведены специальные места, имелись и душевые с морской водой, чтобы можно было после купания смыть с себя мазутные пятна. Так и лип к телу мазут, никак не отмывался. Но все равно бакинцы любили там купаться. По пути мы зашли на базар, купили хлеб, помидоры... Крупные такие, красные, сладкие с кислинкой... и по сей день больше всего люблю бакинские помидоры. Когда ешь их после купания, они кажутся чуть солоноватыми от морской соли на губах...

Помню, весь день мы провели вместе,— продолжала она.— В то время для мужчин и женщин в море были отгорожены изолированные участки для купания, и только смельчаки заплывали в открытое море. Я посоветовала брату и подруге последовать их примеру, а сама оставалась в купальне. Долго они не выходили из воды, заплыли очень далеко, я даже беспокоиться начала. По-моему, в тот день подруга моя привлекла внимание брата, во всяком случае, день этот не мог пройти бесследно, так мне казалось, когда мы возвращались. Подруга моя так и льнула к брату, и он смотрел на нее как-то по-новому. В то лето...

События стали отдаляться от меня. Я взглянул на Лину. У нее явно пропадал интерес к тому, что рассказывалось. Она возвращалась ко мне, и я уже не знал, о каком лете идет речь,— я был в своем лете, я был вместе с Линой, и я видел себя с нею на берегу моря, и мы купались... Но события неожиданно развернулись так, что снова приковали наше внимание.

— В то лето, как и в прежние годы, мы отдыхали на Северном Кавказе. Мы с мамой выехали раньше, чтобы снять комнату, Алексей должен был приехать позже. Получили от него телеграмму, и я пошла его встречать. Подходит поезд, и кто, вы думаете, выходит? Моя подруга! Увидев меня, она бросилась ко мне на шею и со слезами стала говорить: «Как я несчастна, если бы ты знала!..» Я ничего не понимаю, стою у вагона и вижу Алексея, но он кладет у ног чемодан, не обращая на меня внимания, поворачивается ко мне спиной и подает руку выходящей из вагона незнакомой женщине, помогая ей сойти. Я внимательно смотрю на женщину и крайне изумляюсь: боже, это же тюрчанка! Наша соседка! «Как? — удивляюсь я.— Тут что-то не то!»

Ну да, именно она! — Пережитая заново встреча эта кажется ей удивительной, и она улыбается.— Я, естественно, ничего понять не могу. Если брат приехал с нею, то при чем тут моя подруга? Я к ней — с вопросом, а она только шепчет: «Потом, потом!» Мы пошли к дому — я и моя подруга немного впереди, а брат с тюрчанкой позади... Алексей тащил огромный деревянный чемодан своей попутчицы, а я — чемодан подруги. Я, конечно, пытаюсь выяснить, что все это значит, а у нее лишь одно на языке: потом да потом. У калитки Алексей бросает на траву свою ношу и, не говоря нам ни слова, берет свою попутчицу за руку и как ни в чем не бывало они уходят в лес тут же за дорогой.

И только дома подруга рассказала. Алексей пригласил ее поехать вместе с ним, родители ей разрешили, а в вагоне он увидел тюрчанку, которая ехала в Москву на Совещание женщин Востока, и с той минуты забыл о существовании моей подруги.

— Не может этого быть! — Я даже встал.— Мыслимое ли дело, чтобы наша девушка, да так запросто, да еще тогда!.. Нет, здесь что-то не так!

— Это же любовь, неужели вам не ясно? — прервала меня Лина.— Взрыв! Огонь! Пламя! — Она подошла ко

мне, усадила, сама села рядом, тесно придвинувшись ко мне, и обратилась к тете: — Интересно, были они близки?

А меня от близости Лины куда-то унесло, захлестнуло горячей волной, но гипнотизер бросил спасательный круг и вытащил меня из воды:

— А вот и узнаешь, насколько были близки!

— Но возможно ли?..— робко возразил я.

— И очень даже возможно! Хотите,— сказал он мне,— я познакомлю вас потом кое с кем!

Я удивленно посмотрел на гипнотизера.

— Тогда слушайте продолжение! — приказал он.

— Покойная мама возмутилась: «Я этого не допущу! Что все это значит? Как можно так терять голову? Немедленно позовите его! Позор!..»

Мы с подругой помчались в лес.

Они сидели на опушке, так что искать их долго не пришлось. Мы притаились. Что будет дальше? Они увлеченно о чем-то говорили. О чем? Он не знает тюркского, она почти не знает русского. Мы ждали хотя бы поцелуев. Ничего! Все это было так не похоже на Алексея! Настоящая платоническая любовь!

— Ну, это другое дело,— сказал я.

— Подруга моя хоть и успокоилась немного, но больше ни одного дня не осталась у нас и в ту же ночь вернулась в Баку.

— А по-моему, они все остались ночевать! — прервала тетю Лина.

— Разве?

— Да, мама мне рассказывала эту историю.

Речь шла, оказывается, о матери Лины!..

— Память у меня стала совсем никудышная!.. Мама...— Тетя потерла лоб.— Да, покойная мама решила никого не отпускать, мы оставили у нас и твою маму, и Ламию.

— Ламию?! — Моему удивлению не было предела.

— Что с вами, молодой человек?

— Вы же говорили, что не знаете ее имени!

— Я? Не может этого быть! Разве я могу забыть такое имя?

— Вы же говорили...

— Бывает такое,— сказал гипнотизер.— Забыла, а теперь вдруг вспомнила.— Он улыбался, явно довольный моим замешательством.

— Да, девушку звали Ламией. Почему это вас так взволновало?

— Это имя нашей соседки, она была подругой моей матери.

Гипнотизер не без злорадства заметил:

— «Как тесен мир», сказал поэт...— А в глазах его я прочел: «Еще не то услышишь!» И добавил: — Я же говорил вам, что могу кое с кем вас познакомить.

— С кем? — спрашиваю.— С Ламией?

«Ну вот я и поймал тебя! — подумал я.— Ламии ведь давно нет в живых».

— Разумеется, не с нею. Почему вы задаете мне такой вопрос? Вы же взрослый человек! Разве Ламия жива? Я сказал в переносном смысле.

— А именно?

— Ну, скажем, с ее братом!

«Быстро же соображает, черт! — подумал я.— Раз мне известно о Ламии, значит, если мыслить логически...»

Но не успел я додумать, как гипнотизер торжественно произнес:

— Дурсун!

Я обомлел.

Но хозяйка вовсе не удивилась, а лишь горестно вздохнула, словно давно забытое всколыхнулось с этим внезапно произнесенным здесь именем. Она повторила как бы про себя: «Дурсун!!!»

— Да, все заночевали у нас, а наутро проводили тюрчанку в Москву и мы остались — Алексей, подруга моя, мама и я. А потом все улеглось. И уже осенью того года Алексей и твоя мать поженились.

— А как же Ламия?

— Никак. Уехала. И больше они не встретились.

— Но вы же говорили, что ваш брат любил ее!

— Вскорости родилась моя племянница-красавица, отец в ней души не чаял.

— Такой вариант меня не устраивает! — возмутилась Лина, встав рядом со мной. Будто ее кровно обидели или оскорбили.— И хотя вместо меня могла появиться на свет другая, но как можно допустить, чтобы так банально закончилась история любви моего отца?! Я не верю!

Мы с Линой стояли рядом, единые в своем протесте. Гипнотизер был явно сбит с толку, никак не ожидал, что жена будет заодно со мной.

Лина крепко сжимала мой локоть. Нас надо было разлучить во что бы то ни стало. Но это было почти невозможно.

— Любовь имеет продолжение! — сказал гипнотизер.

— Нет! Любовь брата вспыхнула и сгорела, как спичка! — возразила тетя.— Рассказ мой окончен. И об этом хватит.

— А кровь мне подсказывает иное.— Лина повернула лицо ко мне, прикрыла глаза ресницами, которые чуть-чуть вздрагивали, и, понизив голос, медленно заговорила: — Я чувствую, что по жилам моим течет отцовская кровь, как от нее разливается тепло по всему телу... А может, и не отцовская любовь говорит во мне, а это шумят голоса моих далеких предков... Что передалось мне от них? Вот он, полудикий мой предок... Раз я существую, один конец ниточки у меня, а другой тянется и теряется там, у него, одетого в шкуру мамонта, и в руке у него каменная булава, он охраняет свой очаг, свою подругу... Может быть, и мне присуща эта страсть...

— Наверняка ты видишь, как он сражается с мамонтом? — перебил ее муж.

Она открыла глаза.

— Нет, чего не вижу, того не вижу. А только с предком своим я разговаривала. И он сказал мне: «Слушай, что кровь подсказывает, не ошибешься!..» И еще он сказал: «Замечтаешься днем — закрой глаза и говори мне, а замечтаешься ночью — говори звездам!»

Лина как-то странно посмотрела на меня и вышла, накинув на плечи платок. Я слышал, как она открыла дверь на балкон. Мне показалось, что она шепнула мне: «И ты выходи!» Но, когда шепнула, я не уловил, просто в голове звучал ее голос.

Гипнотизер заметил, что я собираюсь выйти, и, пытаясь задержать меня, воскликнул:

— И раньше была любовь!

Но остановить меня было невозможно.

— Не было ничего! — столь же решительно отрезала хозяйка. В ее голосе было раздражение. Но не против же меня! Или Лины. Тетя просто устала — дни такие мучительно долгие, то ли сон, то ли явь, что пережито сегодня.

4

Да повешу я на грудь твой
крест, моя христианочка!..

Из народного сказания

Оригинально расположены балконы в этом доме; не один над другим, а в шахматном порядке. Над головой — небо...

Ярко горели звезды. Странно — Лины на балконе не было. Хотел вернуться и разыскать ее, но вдруг услышал шепот. Как бы ни было темно, на маленьком балконе я не мог не увидеть ее. Но здесь ее не было. Я опять услышал шепот. Но ведь и ослышаться я не мог — это был ее голос. Что за наваждение? Словно с неба, со звезд доносился этот шепот. Я огляделся, и — о ужас! — Лина смотрела на меня с балкона верхнего этажа! Ну и отчаянная! Она поднялась с теткиного на чужой балкон по соединявшей их узкой декоративной лестнице.

— Лезь! — шепнула она мне.

И сказала так повелительно, что я подавил в себе страх и взялся рукой за тоненькие холодные перила. Лестница ходуном заходила под тяжестью моего тела, чуть не оторвалась от стены. Как только я влез, она схватила меня и, притянув к себе, шепнула: «Не бойся! Нас никто не видит... Это балкон Лины, соседки. Она у нас!»

Я вспомнил о тезках и загаданном желании. Голос ее ласкал мое ухо. Она еще что-то говорила, но я не слышал, только яркие звезды горели над нами...

А потом сквозь щелочку я увидел, как гипнотизер вышел на балкон.

Он оглянулся по сторонам, но, не увидев нас, удивленно сжал губы,— я заметил это по бородке: она ножичком вытянулась вперед.

Гипнотизер вернулся, но тотчас вышел и взволнованно посмотрел вниз. Я еле удержал смех: уж не думает ли, что мы выпрыгнули? Но не успел я заглушить мысль, как он быстро поднял голову и стал всматриваться в наш балкон. Глядел, глядел, почесывая бороду, но так и не смог поймать ускользающую мысль. И мы молчали, прижавшись друг к другу. Словно одна душа и одна плоть. Благовоспитанность явно подчинялась дикой страсти. Ему и в голову не приходило, что мы — этажом выше. Он беспомощно развел руками и ушел в комнату. Мы услышали его недоумен-

ный голос — он спрашивал о нас. Спустя минуту гипнотизер снова появился на балконе, но, так и не поняв, где мы, вернулся и закрыл балконную дверь изнутри.

И как только щелкнул шпингалет, мы очнулись.

Звезды казались погасшими.

Как быть? Мы стали искать выход. Трезвые, мудрые.

Над нашими головами зажегся свет. Это вернулась домой Лина. Но свет, к счастью, погас. А вдруг бы она открыла дверь на балкон? Ну и что? Разве и пошутить нельзя? А что, если постучаться к ней и попросить открыть дверь, впустить к себе? Мол, решили разыграть. Но Лина не согласилась: неудобно перед соседями — такие шутки на поминках. Сказала и поцеловала меня. Еще и еще. Стало жарко. И звезды снова загорелись, такие яркие...

А потом вдруг Лина сказала: «Сойдем!»

Она была проворна, как кошка. Спускаться было намного труднее, чем подниматься. А что оставалось делать? Не ночевать же на чужом балконе? Холодея от ужаса и проклиная звезды, я стал спускаться. Невольно вспомнил слова гипнотизера, сказанные будто месяц назад: «Вот и все!»

Мы стояли рядом, опершись на перила, и глядели вниз.

«Сейчас он выйдет,— сказала мне Лина,— ты молчи! Ни слова!»

И действительно — дверь на балкон с шумом распахнулась.

— Вы?!

Взгляд гипнотизера выражал полную растерянность.

— Мы.

— Но вас не было на балконе! И дверь была заперта.

— Действительно. Зачем ты ее запер?

— Но здесь никого не было!

— А где ж, по-твоему, мы были?

— Об этом я и хочу вас спросить!

— Ты же выходил на балкон и видел нас.

— Я выходил, но вас-то здесь не было!

— Туман в глазах!

— Не было! Никого здесь не было!

— Значит, мы можем быть невидимками.

— Сейчас не до шуток!

— У нас есть крылья — мы ненадолго улетали и снова прилетели.

— Говори правду!

— Мы, как летучие мышки, повисли вниз головой.

— Ложь!

— А не кажется ли тебе, что ты на минутку ослеп?

На балкон вышла тетя.

— А говорил, их нет на балконе.

— Ничего не понимаю...— В его притихшем голосе я уловил недоверие к самому себе. Борода гипнотизера вздрогнула.

Лина, поеживаясь, закуталась в шаль.

— Озябла я...

Лина, а за нею мы все вернулись в комнату.

Взгляд мой упал на краешек неба. Звезды горели ярко и близко, как на юге.

Поминки подошли к концу. Все разошлись, Лина прошла на кухню следом за тетей — надо было перемыть гору посуды. Собрался и я идти в свою комнату в этом же подъезде,— я снимал ее, когда приезжал в командировки.

Как ни пытался гипнотизер взглянуть в мои глаза, я удачно отводил их. А ему надо было непременно узнать нечто важное для себя. Не могли же в самом деле мы испариться? Но я был далек от его притягательной силы самое меньшее на один этаж — несколько шатких ступенек. Я ни о чем не думал, чтобы не дать гипнотизеру уловить ничего из того, что было, и того, что будет. А будет свидание. Непременно. Завтра. И звезды ярко гореть будут.

Гипнотизеру казалось, что меня можно задержать старым разговором. И потому, как только я собрался уходить, он целиком захватил в кулак свою бороду, вот-вот оторвет, и, на миг перехватив мой взгляд, закинул удочку:

— Трагичной была смерть Ламии!

Но меня отдаляла целая вечность от недавно услышанной истории: были подъем и спуск по декоративной лесенке, готовой оторваться от стенки; не столько легкий подъем, когда ждала Лина и я даже не заметил, как взлетел, сколько жуткий спуск с трезвыми чувствами, когда предстояла иная встреча.

Слова застряли — «смерть Ламии», и я сначала даже не понял, о ком идет речь. И смертей — реальной и в страхе моем — было предостаточно, чтобы увлечь меня рассказом о новой.

В памяти стали смутно оживать рассказы моей матери о Ламии, но от усталости голова не могла ничего удержать, я зевнул, и это было непростительной ошибкой,— легко

прочесть мысли человека, когда он зевает. Я заторопился к двери, но гипнотизер бросил вдогонку:

— Очень трагичная история!

Меня неодолимо клонило ко сну. Я устал. И никаких историй мне не надо. Я повернулся и в упор посмотрел на гипнотизера:

— Очень приятно было...— Но он не дал мне договорить: «С вами познакомиться» — и неучтиво перебил:

— От красавицы Ламии остался лишь пепел!

Уж не пугает ли он меня? Я вспомнил разговоры о крематории, и озноб пробежал по спине. Я почувствовал, что, если задержусь хоть на миг, во мне проснется малярия, не покидающая меня с детства и дающая иногда о себе знать. Такая нежданная гостья, что меня всего трясет. Начинаясь в пятках, озноб волнами катится через тело и выходит из макушки, чтобы снова начать бег от пятки. Лихорадит, пока не надоест. То никак не согреешься под грудой одеял, а то — хоть голым лежи — жарко!

Озноб меня напугал, и я решительно направился к двери.

— Но выяснять будете вы сами!

Я задержал шаг и недоуменно повел плечами:

— О чем?

— О трагичной смерти!

Не слечь бы в командировке!

Видя мое замешательство, но не улавливая его малярийную причину, гипнотизер добавил:

— Как вернетесь к себе домой, разузнаете!

Хочет отдалить меня от Лины!..

— Это очень важно для вас!

Я быстро вышел. Будто кто-то толкал меня в спину.

Поздно ночью раздался долгий телефонный звонок. Я вскочил и, полусонный, подбежал к телефону. Было похоже на междугородный. Я кричал в трубку, кажется, и в Баку кричали, но ни я их не слышал, ни они меня. Телефонистка сказала: «Линия испорчена», и нас разъединили. Перед глазами, между закрытыми веками и зрачками, танцевали радужные нолики, округлялись, как на рекламе, ширились и лопались, снова ширились, чтобы затем стать точкой, исчезнуть и вновь возникнуть.

Кто же звонил так поздно? Телефона своего я никому не сообщал — ни матери, ни брату, ни на работе. Просто

не пришлось. А может, говорил и запамятовал? Нет, никто не знает. Нашел я эту комнату еще в зимний свой приезд, но жил тогда здесь два-три дня и даже номера телефона толком не запомнил.

Значит, срочное дело, раз в такой поздний час позвонили. Но кто? Беспокойство разрасталось кругами, а потом неуклюжие фигуры стали громоздиться в сонном мозгу.

Вспомнился страх, испытанный при спуске с балкона. А вдруг бы сорвался? Ступеньки были почти игрушечные. Если бы рухнули... С седьмого этажа!.. «Жертва любви Нектов». Или «Некто-заде». Не зря ведь гипнотизер говорил, что Ламия стала жертвой любви. Простое совпадение!.. Все чудесно: завтра закончу дела в пять и мы снова пошепчемся при звездах.

И не обязательно на чужом балконе.

Важно только, чтоб звезды ярко горели.

Но кто звонил?

5

Я с края по обочине пойду,
а широкая дорога пусть вам останется...

Из народного сказания

Высокие дубовые двери метро были сняты, и ничто не мешало потоку людей беспрепятственно вливаться в подземный дворец. Но в этот ранний час, к тому же в понедельник, никому не до красот поистине уникальной станции.

Некогда.

Будто внутри расположился мощный всасыватель, и лавина заполняет бездонную пустоту.

Взгляды серьезны, а шаги решительны. Все спешат на работу, и время точно распределено по минутам — учтен и пеший ход, и пересадка, и никто не в состоянии нарушить выверенный практикой график.

Мне как будто спешить не к чему, я командировочный, но всеобщий ритм захватил и меня и поток несет мое тело, как щепку. В руке — тяжелый портфель, во взгляде — решимость. Втиснулся с трудом в вагон, и спина припечаталась к плотно закрытым дверям. Чую лопатками их жест-

кость. Портфель тянет руку вниз, будто все повисли на мне. Кто-то, чувствую, ударился о бок моего портфеля и недовольно смотрит на меня.

Выбрался-таки, вспотевший, на улицу! Рука свободная спешит помочь руке уставшей, и, пока добираюсь до министерства, устают обе.

Первый поклон — секретарше. Брюнетке с черными, как у негритянки, вьющимися волосами. Всегда встречает меня приветливо, хотя знаю, что строга. И не всякого впустит к шефу, бережет его покой и время. А у заместителя министра всегда толкутся в приемной люди: только начни принимать, и времени решать дела не останется, утечет, как вода между пальцев.

Прошел за письменный стол, открыл портфель и у самых ее ног, так, чтобы никто не глазел из посторонних, вынул и положил сувенир и на ухо, как старой знакомой, шепнул: «Пламенный привет!» Она раскраснелась: «Ой, ну что вы беспокоитесь!.. Спасибо».

Приезжать из солнечного края без сувениров — по меньшей мере бескультурье. Это — дань уважения, и ничего более. Причем не от одного меня, есть и другие дары, например, от нашего шефа. Поболтав минуту-другую о том о сем, вошел к заместителю. Человек он знающий, опытный, не раз выручал нас. Его ученики занимали ответственные должности. К примеру, наш директор. Передал горячие приветы и добрые пожелания от бакинцев и прежде всего от вечно признательного ему ученика, и перешел к делу. Но не успел и рта раскрыть, как Пал Палыч тут же уловил суть моей просьбы, взял наши официальные прошения, наложил резолюции, вызвал секретаршу и поручил подготовить письма в адрес проектного института и опытного завода, и я не смел больше отнимать у него время. Быстро, по-деловому, без волокиты. Это и есть стиль.

Секретарша, она же и помощница,— прелесть. И текст составит, и подскажет, к кому идти.

А дело наше было запутанное. Заблудились, как говорится, в трех соснах. И виновных нет. Было бы несправедливо кого-либо обвинять: ни завод, ни институт, ни тем более министерство.

Одним словом, выразил признательность и направился к машинистке. Не первый раз мне печатала. И даже в обеденный перерыв. Моим бумагам на сей раз повезло. Снова к заму. Подписал, в канцелярии приложили печать, отметили исходящий номер, и — на улицу.

Портфель полегчал, но не очень. Не люблю таскать грузы. Конечно, грех было называть грузом целебный ароматный напиток, не просто расширяющий сосуды, но придающий самой жизни новые краски, если уметь, конечно, им пользоваться.

Из министерства поехал в проектный институт. С ними еще год назад мы заключили договор, перевели кучу денег, чтобы они помогли нам заменить старую поточную линию на более совершенную и перспективную.

Идея была отличная, проект составлен и одобрен, в планах нового года мы заявили продукцию на основе уже усовершенствованной системы, но дело не двигалось и к работе еще не приступали. А все потому, что чертежи были всего-навсего в одном-единственном экземпляре, а нам нужно было четыре.

Руководитель лаборатории проектного института встретил меня, мало сказать — тепло или горячо: по-братски. Обнялись и расцеловались, а узнав, зачем я приехал, сразу сник. Махнул рукой, сидит кислый, настроение неважнецкое.

А что поделаешь? Стали внедрять систему на опытном заводе, всплыли десятки недостатков, комиссия составила акт, работы приостановлены, сейчас устраняют неполадки, в чертежи вносятся изменения. В конце года можно будет приехать и забрать сколько угодно экземпляров чертежей. Конечно, можно было бы снять копии со старого экземпляра, который у нас есть, но чертежей не один и не два листа — четыре толстых тома, каждый в десять фунтов!

Часть оборудования нами была закуплена, для приобретения остальной было дано распоряжение — письмо Пал Палыча у меня в кармане! Я сказал об этом руководителю лаборатории, а он ответил: «Прекрасно. Оборудование вам понадобится в конце года».

Но мы же демонтировали старую линию, чтобы начать сборку новой!

Работа не доведена до конца!

Нельзя ли, дорогой Костя, недочеты исправить собственными силами?

Руководитель развел руками и вздохнул. Рад, мол, помочь, да не могу: у комиссии есть акт, пока к работе приступать нельзя.

Единственное, что он смог сделать для меня, и то по дружбе,— так это ознакомить с актом на ста страницах.

Недостатки были указаны крупные, однако мы смогли бы своими силами и своим провинциальным умишком устранить их в процессе сборки новой линии.

Ведь в экспериментальных условиях новая система прошла испытание, получила высокую оценку!

А теперь жди до конца года. А у нас времени нет, ибо план нового года утвержден и мы — как удержишься? — растрезвонили о новой крупной реорганизации... Заметки, интервью... «Как сообщил нам директор Нияз Ниязбекович Ниязов...» Вырезай — и в рамку! Вся задержка за дополнительными старыми чертежами. Выручай, Костя!

А что Костя может сделать? Он мне друг, брат, но акт есть акт!

Из института направился на завод. Портфель заметно похудел.

Мне дали твердое слово, что оборудование пошлют на этой неделе. И на том спасибо. Я пообедал в заводской столовой: люблю сосиски, хотя их теперь мало кто любит, в целлофане.

Надо было позвонить на наш завод, посоветоваться, как быть. Если бы удалось выписать существенные недостатки, указанные в акте, да заполучить новые экземпляры, мы пошли бы на риск, продолжили бы работу. Ведь идея осталась в силе!..

В третьем часу, прежде чем звонить по автомату, зашел в кондитерский магазин. И как раз торговали индийским и цейлонским чаем. Опустевший портфель снова разбух.

И с автоматом мне повезло. Почти никого. Позвонил в Баку, директора на месте не оказалось, говорил с заместителем Мир-Мехти, неизвестно за что прозванным Святым. Но ничего путного из его советов мне уразуметь не удалось. Святой твердил лишь одно: возвращайся, посоветуемся, найдем нужным — снова пошлем... Глазок автомата показывал ноль, я не опустил следующую пятнадцатикопеечную, и разговор наш прервался. Возвращаться не хотелось. Бестолковый телефонный разговор заметно испортил мне настроение. Я вышел из кабины и вдруг вспомнил о вчерашнем телефонном звонке. Кто же это мог быть? Дурные предчувствия стали одолевать, волнение перешло в беспокойство. Кто-то словно подсказал: «Позвони матери!» Я наполнил ладонь пятнадцатикопеечными монетами, пришлось стать в очередь — народ набежал. Медленно тянулось время. А я разволновался не на шутку. Я думал о матери. Когда я уезжал, она жаловалась на сердце... Вооб-

ражение рисовало мрачные картины, бог знает что мне мерещилось!.. Подошла моя очередь.

В трубке я почему-то услышал голос брата, а не матери. В груди похолодело. «Почему он у нас, а не у себя дома?!»

«Асаф? Ты?! А где мама?»

«Мама...— и умолк.— А что случилось?»

«Где мама?» — крикнул я в трубку.

«Почему кричишь, что случилось?»

«Беспокоюсь!»

«Слава богу! — взорвался брат.— Ты человек или кто? Вчера весь день о тебе говорили. То и дело мама о тебе спрашивала...»

«А что с мамой?»

«Ничего... Почему ты не звонил?»

«Вот и звоню».

«Не мог сразу позвонить?»

«Но что случилось, Асаф?»

«Ничего... Мама весь день тебя вспоминала, даже велела, чтобы я узнал номер твоего телефона. Я обзвонил всех...»

«И узнал?»

«А как же? Узнаешь!..»

«Кто сказал?»

«Мать же беспокоится!»

«Но что случилось?»

«А что еще должно случиться?» — он умолк.

«Алло! Алло! Асаф! Почему ты молчишь? — Подряд я пустил в автомат три монеты.— Алло!»

«Не кричи, я слышу тебя».

«Ты не договорил. Что же все-таки случилось?»

«Я же тебе говорю, ничего! Ты не беспокойся, заканчивай свои дела и возвращайся... Ей-богу, ничего не случилось»,— старался он меня успокоить.

А я все больше волновался, чувствуя, что брат от меня что-то скрывает. Но что?

«Скажешь ты, наконец?»

«Вчера мама все о тебе говорила».

«А скоро она придет?» — спросил я, чтобы услышать нечто конкретное.

«Не знаю...— сказал он уклончиво.— По-моему, придет поздно.— Он явно уходил от прямого ответа.— Больше не звони. Я скажу, что мы с тобой поговорили...»

Ничего себе — успокоил, называется!

«Может, завтра мне выехать?»

«Как хочешь...»

«Ты что-то скрываешь, а у меня сердце разрывается от беспокойства!»

«Я же тебе говорю, что ничего не случилось, ничего!»

В общем, говорили долго, но ничего толком я не узнал. Наверняка что-то случилось. Тянул, уклонялся. И почему она должна поздно приходить домой? Где ей задерживаться? Почему мне больше не звонить? Ничего не понимаю! Дверь кабины отворилась.

— Товарищ, ну сколько можно попусту разговаривать? Имейте совесть! — На меня сердито смотрел старик. С седой бородкой. Молодому бы я ответил, а что со старого человека возьмешь? Я вышел и, поставив свой портфель на стул, вытер пот со лба.

Голова разболелась. Нет, определенно что-то случилось, скрывают от меня. И сомнений быть не может!

Был пятый час.

6

Как осилите вы те высокие горы?
Те высокие, остроконечные горы?
Те высокие, снежноголовые горы?

Из народного сказания

Очнулся я у кассы Аэрофлота, и народу — никого. Я машинально спросил, есть ли билеты.

— На завтра?

— Нет, на сегодня.

Не знаю, как эти слова вырвались у меня, но я сказал так решительно, что кассирша не смогла отказать мне, все же нашла один билет. На вечерний рейс.

Было без пяти пять.

Я взял такси, заехал домой, быстро собрал вещи и на этой же машине поехал на аэродром. Меня словно торопили.

И лишь в самолете я вспомнил о свидании. Не суждено, значит.

Закрыв глаза, я впал в забытье. Гул моторов клонил ко сну. Вдруг я вздрогнул: ключи! У меня в кармане остались ключи от квартиры! И расплатиться забыл. Надо дать телеграмму. Заплачу в следующий свой приезд. И команди-

ровочное удостоверение пошлю по почте, чтоб отметили и прислали.

Впереди плакал ребенок, и матери никак не удавалось его успокоить. Она вся извелась, волосы прилипли к ее потному лбу, щеки пылали. С чего бы ему плакать? Уж не заключен ли какой смысл в его слезах? Вот и сосед мой, здоровенный верзила, обросший жесткой щетиной,— чуть что, качнет или тряхнет, душа в пятки и с губ срывается молитва: «О аллах, сохрани нас, рабов верных! Да ослепнет тот, кто не верует в твою мощь!»

Бесили меня его глупые причитания. Сидит, крепко прижав к груди черный плоский чемоданчик, расстаться с ним боится. Уж не набит ли деньгами? Приехал, распродал свои цветы, набил чемоданчик и трясется над ним... И я набит мрачными предчувствиями, и мне не легче. Время от времени сосед причитает: «О аллах!..» Уж не знак ли чего?

Когда самолет пошел на посадку и зажглось табло, в глазах соседа забегал испуг. «Не бойся,— я ему,— аллах милостив!» А он смотрит на меня недоуменно, смысл моих слов до него не доходит, и от щетины лицо его кажется неумытым, покрытым засохшей глиной.

Чем ближе к цели, тем, странно, спокойнее становилось на душе. А когда увидел огни города, и вовсе успокоился, уверенный в том, что ничего с моими не случилось, что мать жива и здорова и что зря я поторопился. Надо же было так глупо сорваться!.. Не обижайся, милая, загорятся над нами яркие звезды!.. А каков гипнотизер! Далеко меня забросил, и не дотянешься!..

Была полночь, когда я постучался в окно. Вскоре в комнате зажегся свет, и немного погодя отворилась дверь. Я вздрогнул — у порога стоял Асаф.

— А говорил, что приедешь завтра...— он зевнул.

— Где мама?

Я был так взволнован, что брат удивленно заморгал глазами, а потом вдруг понял мое состояние и заспешил улыбнуться:

— Все в порядке, успокойся, она у Дурсун-киши.

— У Дурсун-киши?! И так поздно? — Я оторопел.

— Что ты от каждого слова вздрагиваешь?

Пройдя в комнату, Асаф лег на диван и натянул на голову одеяло.

— Ты же видишь, что я взволнован! — Я поставил портфель на пол и сел на краешек дивана.

— Завтра свадьба Ламии.

Как ужаленный, я подскочил:

— Ламии?! — Я впился глазами в брата, Асаф аж привстал на диване.

— Что ты кричишь? Спятил, что ли? Ламию не знаешь? Свадьба внучки Дурсун-киши, маму пригласили, чтоб помогла испечь сладости и сварить плов.

Внутри заклокотало от смеха. Такой хохот разобрал, что еле остановился. Брат подозрительно смотрел на меня.

«А я-то думал!.. Ну и память!» Я и забыл, что внучку Дурсун-киши зовут Ламией, в честь сестры деда. А мать, уходя к ним, велела брату ночевать у нас, она не любила, когда дом пустовал.

Смех сменился гневом:

— Какой же ты бессердечный, Асаф! Ты не мог мне сказать об этом, когда я сегодня звонил тебе?

— А с чего ты таким неженкой стал? Что ни скажу тебе — все не так! То кричишь, то хохочешь! Нервы тебе подлечить надо, видно, работаешь много.— Асаф натянул на голову одеяло и повернулся к стене.

«Да, ты прав,— подумал я.— Но если бы ты знал, до чего странно устроен мир! Прошлой ночью я тоже гулял то ли на свадьбе, то ли на поминках. И звезды ярко горели, и о Дурсуне говорили, и Ламию вспоминали...» Брат спал, а я сидел на краешке дивана, приходил в себя, успокаивался.

...Утром я сел в свой недавно купленный красный «Запорожец», отвез Асафа на работу, а сам поехал прямо на завод.

На заводе сначала вроде остались довольны моей командировкой. Директор наш, Нияз-муэллим, даже растрогался, когда я рассказал о встрече с его учителем. «Пал Палыч — исключительный человек! Второго такого не было и нет на свете!» — сказал он. Но последующие мои известия попортили ему настроение: «Напрасно ты вернулся. Ведь мы дали слово. Мы не можем приостанавливать работу. Мы вложили в это дело уйму денег, это же народные деньги, пойми! Что это вдруг ни с того ни с сего так много недостатков обнаружено в системе, которая прошла испытание. Хоть бы акт привез!.. Нет, не вовремя ты вернулся. И кто тебе подал такую глупейшую мысль?!»

Я молчал — Святой сидел тут же, рядом. При этих словах он взглянул на меня, тут же опустил глаза и ничего не

сказал. Дверь отворилась: секретарша Шахназ-ханум принесла чай в маленьком грушевидном стаканчике. Нияз-муэллим попросил, чтобы она принесла еще два: мне и Святому — Мир-Мехти. Посмотрев на часы, он сказал нам: «С двенадцати до двух у меня лекция, потом совещание в министерстве. В пять соберемся и еще раз посоветуемся».

Чай остался недопитым, мы вышли.

В пять Нияз-муэллим — на самом деле, по документам, его зовут Князем (с чего папаша так назвал своего сына, и не дознаешься теперь!..) — не явился, позвонил и сообщил, чтоб не ждали: совещание продолжалось.

Историю о Князе-Ниязе рассказала мне мама. Отец его был дружен с моим дедом, они жили на одной улице. После того как я рассказал о его имени сослуживцам, мы все стали называть шефа Князем: «Князь велел», «Князь сегодня добрый», «С чего это Князь заважничал?», «Ай да Князь!» — и так далее.

Я выскочил из здания заводоуправления, словно за мной гнались. Забыв, что обещал беречь «Запорожец», в считанные минуты доехал домой. Открыл дверь и бросился к стенному шкафу. В старых домах такие шкафы занимают целую стену и поднимаются на четырехметровую высоту, под самый потолок. В шкафу мать хранила тюфяки, ковры, стеганые одеяла, огромные подушки, шерсть для новых одеял, паласы. Чего там только не было!.. В детстве мы с Асафом прятались за тюфяками.

Взобрался я на верхнюю полку не без причины — мне казалось, что именно здесь находится материнский «архив». А тут вошла мама, и так невысокая, а сверху и вовсе маленькая, откинула голову, ситцевая косынка сползла, узелок на шее как заячьи уши.

— Где ты, сынок? — спрашивает, а сама видит, где я.— Что ты там делаешь? — то ли удивляется, то ли недовольна.

— Здравствуй, во-первых.

А ей не терпится узнать, с чего это меня потянуло на верхнюю полку.

«Ага, думаю, что-то здесь припрятано! И потому мать волнуется!..»

— Ты знаешь, сколько здесь пыли,— говорю ей, а она и без меня это знает.

— Что я могу поделать,— жалуется.— Высоко, руки не доходят. Но уж раз ты залез туда,— предлагает мне,—

я тебе подам ведро и тряпку и устроишь у себя дома субботник.

Мог ли я возразить? К тому же я уже был весь в пыли и пот лился с меня ручьем.

Появилось ведро, тряпка, я вытер верхнюю полку, перешел на среднюю и тут-то натолкнулся на сверток, который искал: «Архив!»

— Держи! — крикнул я маме и кинул ей сверток.

— Ай-ай! Где ты нашел эти фотографии?! Дай-ка очки надену.

Она рассматривала фотографии, разложенные на столе.

— Для чего они тебе понадобились?

А я и сам не знаю. Честно говоря, влез в шкаф, будто кто-то меня подтолкнул. Это я сейчас причину ищу. Во всяком случае, когда спешил домой, и в мыслях не было уборкой заниматься. А тут вдруг столько фотографий малознакомых мне родичей. Рассматривать их — только время терять.

— Хочу над ними поколдовать или самому околдоваться.

— А, поняла...— сказала мама, хотя я сам не понял, что сорвалось с языка. Вдруг мама изумилась: — Ааа... Ведь это же Ламия!

Я возвращался в прошлое, во времена, когда меня еще не было на свете, без особой охоты. Я взял у мамы фотографию. Мне улыбалась Ламия. Улыбалась слегка удивленно, а может быть, в ее глазах я прочел упрек — ей не понравился мой взгляд, что ли?

— Это она фотографировалась в Москве... Несчастная Ламия! Ее поездка в Москву...— и запнулась.

— А что с ней случилось в пути?

— В пути? А что должно было случиться?

— Откуда я знаю? Ты же говоришь: «Ее поездка...» А что дальше?

— Нет, ничего в пути не было. Беда приключилась позже.

Словно сожалея о сказанном, она отвернулась и стала торопливо перемешивать фотографии на столе, будто ища что-то.

— Ты не договорила.

— О чем?

— Ты же сказала: беда.

Она уклонилась и, как будто разговаривая сама с собой, прошептала:

— Тут должна быть еще одна фотография, куда же она делась?

— Алексея?

— Алексея? Кто тебе назвал это имя?

— Ты сама,— соврал я.

— Я?!

— А кто же?

— Я никогда не произносила этого имени!

— Если бы ты не сказала, откуда бы я узнал?

Мама внимательно посмотрела на меня, а потом с тем же недоумением перевела взгляд на фотографию Ламии. Уж не глаза ли Ламии подсказали мне это имя?

— Да, тебя поистине заколдовали... И не поймешь: то ли шутишь, то ли всерьез говоришь.

— Расскажи об их любви!

— О какой любви? — возмутилась она.— В своем ли ты уме?

— Если я опять скажу, что ты сама только что говорила об этом, снова не поверишь.

Мама поправила на глазах очки и приблизила лицо к моему.

Я не выдержал ее взгляда и расхохотался, а она покачала головой, затем спокойно, как бы выбирая слова, произнесла:

— Никакой любви между ними не было. Были знакомы — и больше ничего. Но и это не одобрялось в те времена. Но Ламия все делала, словно кому-то назло, из чувства протеста.

Умолкнув, она некоторое время изучала меня и с той же невозмутимостью, спокойно спросила:

— Почему это тебя интересует?

— А тебе жалко рассказать историю Ламии?

— Ну что ж, раз ты просишь, я могу рассказать.

И она начала шествовать по дорогам прошлого, временами с опаской поглядывая на меня, такого странного сегодня, и, боясь, как бы чего я не выкинул, рассказывала бесстрастно. Говорила она о том, что родители Ламии батумские азербайджанцы, и, когда начались революционные события, отец-коммерсант сбежал в Турцию, а Дурсун еще в годы войны покинул подростком дом, скитался по Кавказу и поселился в Баку, по соседству; рассказывала, как Ламия искала брата, вспомнила о женском движении, то да се, в общем, говорила о многом, но ничего о том, что меня волновало и интересовало.

И кто меня за язык тянул? Она рассказывает, а я о другом думаю. Думаю, что зря сорвался и прилетел. Что там меня ждут и волнуются. Что не состоялось свидание. И что завтра упреки Князя придется выслушивать. Глупо все вышло, что и говорить!..

Ну и мама у меня! Она так плавно расписывала прошлые события, будто на одном из Князевых собраний выступала. Мать уловила мой отсутствующий взгляд:

— Сам просил рассказать, а совсем меня не слушаешь.

— Напраслину возводишь на любимого сына, уважаемая Салтанат-ханум! Я не пропустил ни одного твоего слова и могу все пересказать. Только ты не увлекайся деталями, давай ближе к цели!

Но мать опять за свое — о борьбе Ламии за женские права, о насмешках и издевательствах тупых и отсталых мужчин, о хождениях Ламии по дворам, работе на фабрике и в пригородных деревнях, о мужьях и братьях, подолгу простаивавших перед женским клубом имени Али Байрамова и выслеживавших своих жен и сестер. И когда она начала рассказывать об убийствах женщин, осмелившихся снять чадру, я почувствовал, что она приближается к цели, но мама вдруг опять увлеклась, утратила нить и заплутала на дорогах истории.

— Погоди! — перебил я ее.— При чем тут пасха или новруз-байрам? Какое мне дело до крашеных яиц или пахлавы?

А мать, оказывается, стояла у самой цели.

— Как это при чем? — возмутилась она.— Только праздники нас и отличали! А во всем мы были как одна семья! Они нам по-соседски — крашеные яйца, а мы им — пахлаву. Вот и вся разница!

— Ну а дальше что? Рассказывай, что потом было!

— Это была страшная ночь. Сразу же после новруз-байрама. И сейчас, как вспомню, сердце болит. Сказали, что девушка одна себя сожгла. Мы выскочили на улицу. Наверху, в Караульном переулке, перед керосиновой лавкой ярко пылал факел. Облила себя керосином и подожгла. Спасти не удалось. Сгорела дотла, стала пеплом.

Мать умолкла.

— Это была она?

— Сначала не опознали. Как узнаешь? Лишь утром стало известно, что это была Ламия.

— Но почему такая нелепая гибель?

— Осталось тайной, сама ли себя подожгла или сожгли. Правда, у нее было много завистников и негодующих против смелой девушки было немало. Но кончить жизнь именно так у нее не было причины.

— А может, это вовсе не Ламия была?

Мать удивленно посмотрела на меня.

— Ведь ты говоришь, что не узнали, кто себя сжег, захоронили лишь пепел,— добавил я.

— Если бы так!.. Люди видели. Захоронишь пепел, расцветет цветок, заиграет волшебник на дудочке, и цветок снова превратится в красивую девушку.

— А Алексей?

— Сказку о пепле Алексей и рассказал на кладбище, когда хоронили пепел.

Не о том узнать хотелось, а о чем — и сам не знаю. Получилось не по мне. Еще спросить? Может, о свадьбе Ламии?.. Но мать лучше не беспокоить. Особенно теперь.

— Салтанат-ханум!..— окликнули мать.

«Вот и хорошо»,— подумал я.

Мать ушла, так и не убрав фотографии со стола. Я выскочил на балкон, чтоб не оставаться одному в комнате. И не встречаться с Ламией. Вовсе не улыбалась она. Тем более мне.

7

Череп, молвив свое последнее слово, покатился — скатился в заброшенную могилу...

Из народного сказания

Глаза раскраснелись. Лицо покрыла щетина, словно прилипшая грязь. От жара его глаз загорелся мотор. Я обернулся в ужасе, чтобы схватить его за глотку, и увидел, что его нет рядом со мной. Быстро взглянул на мотор — он не горел, а гудел спокойно и монотонно, ровно и исправно.

А потом я вышел на улицу и увидел, что Ламия, сжав кулаки, идет прямо на бородатого мужчину, который пятится назад. Лица его я не вижу, но чувствую и знаю, что у него глаза красные от гнева. Чернеющая щетина — слов-

но засохшая грязь. Ламия обрушивает на этого мужчину тяжелые слова, я это чувствую, но не слышу, будто уши заложило, а мужчина не осмеливается ей возразить. Вдруг в его руке за спиной я увидел нож. Лезвие блеснуло. Я понял его коварный замысел: пятясь назад, заманить Ламию в подвал, а там... И пятился он очень умело, будто всю жизнь, с рождения, только так и ходил по земле. Мужчина достиг керосиновой лавки, лишь коснулся сутулой спиной ее низкой двери, и вдруг оттуда хлынул густой маслянистый поток нефти. Исчезла Ламия, исчез и тот мужчина.

А нефть низвергается вниз, заливает мостовую, лижет липким языком булыжник, достигает наших железных ворот, и никак не остановить поток. «Если вдруг высечется искра,— в страхе подумал я,— воспламенится нефтяная река, загорится улица, вспыхнут дома...»

Надо кричать.

Но я боюсь, что стоит раскрыть рот, как от крика родится искра, и потому я молчу. Уже нефть подступает к ногам, подошвы моих легких ботинок липнут к земле, клейкая нефть мешает бежать. С трудом отрываю ноги и вижу, что нефть стекает в наш двор, заливает подвалы. Я кое-как выбираюсь из этого жуткого нефтяного потопа и бегу в сторону моря.

Добегаю до берега и только тут оглядываюсь назад и вижу, что в небе отражается огонь, горящий на земле. Пылает наша улица! И мама там! Она готовится к свадьбе Ламии! Можно убежать только по крышам! Но сможет ли мать прыгнуть на крышу соседнего дома? И вдруг вижу, что вдоль берега бежит в мою сторону пылающий факел. Это Ламия. Она горит, но огонь не задевает ее лица, оно как на фотографии.

«Что ж ты стоишь? — кричит она.— Туши меня! Разве ты не видишь, что я горю?»

Я бросаюсь к ней, пытаюсь руками сбить пламя, оно жжет руки. «Но тут же море»,— радуюсь я и хватаю ее холодные почему-то пальцы и тяну к морю, чтоб облить водой, утопить огонь, но тотчас отскакиваю: море у берега сплошь в мазуте!.. Я боюсь, что от ее огня загорится и море. Отскакивая неуклюже вместе с горящей, но все еще живой Ламией, задеваю ногой камень, падаю больно на спину и вздрагиваю.

Мама забыла задвинуть шторку на окне. В голову вонзился, как тонкий меч, жаркий солнечный луч.

8

Я в черное оденусь, а розовое пусть будет вашим.

Из народного сказания

Красный «Запорожец» был спрятан в тени большой акации. Я положил ладонь на капот и ощутил холод металла. На капоте остался след, похожий на лист то ли инжирового дерева, то ли чинары.

Князь удивился:

— Как? Ты еще здесь?

— А где же мне быть?

— Разве я не поручил тебе немедленно привезти акт? Ведь работа горит!.. Что случилось? Что за неуместная улыбка?

— Я тоже горю, Нияз-муэллим.

— Меньше бы пил...— Но тотчас пошел на попятную.— Я шучу, конечно, знаю, ты не из пьющих. Правда, наставлять тебя на путь истинный завещал мне еще твой дед...

Опять начнет свое: «Большие цели... Сияющие дали... Счастье творить... Союз практики и науки...» И я знаю, да что толку? И время, как резвый конь, мчится.

Князь и не собирался поучать. Напротив, он меня несказанно обрадовал. Я готов был плясать от счастья! Вчера я отправил в Москву командировочное удостоверение, чтоб на заводе отметили и прислали, но кто мог предвидеть, что я сам окажусь там раньше своего письма?!

Князь сказал, что издать новый приказ не может, потому что нельзя: контроль по головке не погладит.

— Пиши заявление, выдам тебе из директорского фонда сотню, и скачи во весь опор!

Князь большой знаток фольклора. О быстроте он сказал иначе:

— Намыль бороду здесь, а брей там.

Мол, чтоб и засохнуть борода не успела. И сам радуется:

— Каков ваш директор? Поговорок у меня — как нефти в наших недрах.

На сей раз я сдержал улыбку. Чтоб снова не дразнить.

— Это,— он показал на канистру,— от наших шамхорских шефов, десять лет выдержки. Повезешь, может пригодиться. Но долго держать нельзя, съедает пластмассу.

А это,— протянул мне плоскую коробку,— мой сувенир, передашь учителю.

— Но я уже был у него.

— Еще раз пойдешь. Не бойся, кинжал твой не иступится. И чтоб без акта не приезжал!

Мать развела руками:

— Ну и дела!..

— Не веришь,— сказал я,— сама позвони Князю.

А она вздыхает:

— Удивляюсь я вам. Кто б хоть сказал ему: «Князь, деньги-то народные!»

— Подумаешь, не обеднеем.

Я знаю, что у нее на уме: женитьба любимого сына, меня то есть. Она всегда против моих поездок. Чтоб я рядом был. Будто украдут меня в чужом городе. И потому успокаиваю:

— Вот закончу срочные дела, тогда и о свадьбе подумаем,— и тянусь рукой к портфелю и канистре. Но не тут-то было! Черт меня дернул о свадьбе заговорить!..

— Как? Ты уезжаешь? Сегодня?! — Мать слово говорит, а Асаф вторит ей, поддакивает.— А свадьба внучки Дурсун-киши? Поедешь завтра! Дело подождет! Если б не приезжал из Москвы, была бы уважительная причина — человек в командировке! Но раз приехал и все знают, надо идти. Не пойдешь — на всю жизнь обидишь Дурсуна-киши. Новая командировка? Но кто ей поверит?

Жених к тому же был старым другом Асафа — вместе служили в армии, вместе институт кончали. Только я хотел возразить, проявить твердую волю и решимость — шутка ли, приказ самого Князя! — как неожиданно заявился и сам жених. Чуть не плачет.

— Что с тобой, Полад? — спрашивает Асаф.

А он:

— Спасибо,— говорит,— за эстрадный квартет, да только мать невесты, моя будущая теща, заупрямилась, и ни в какую! «Свою единственную дочь, говорит, разрешу брать в дом жениха только под звуки восточных инструментов!» А где я возьму народных музыкантов за два часа до свадьбы?!

И чуть ли не в ноги Асафу бросается:

— Выручай!

Асаф молчит, голову чешет. А Полад:

— Я все обдумал,— говорит,— музыканты нам нужны максимум на полчаса! Эстрадный квартет посидит у нас, а мы с восточными музыкантами придем в дом невесты и исполним волю ее матери — встретим Ламию народной мелодией и с почестями доставим к нам домой.

Да, тяжелая задача. Но друг в беде, и ему надо помочь. Сам не знаю, как не дал я рта раскрыть брату, опередил его:

— Нужны музыканты — найдем!

В этот предвечерний час музыкантов в городе можно найти в двух местах — рядом с филармонией и в сквере у вокзала. Я спросил, на каких условиях договариваться. Вместо жениха ответил Асаф:

— Что спрашиваешь? Чем дешевле, тем лучше.

— Тогда надо искать в привокзальном сквере — к филармонии ходят с толстым кошельком.

— Что ты медлишь, покажи, на что способен!

Полад подкрепил просьбу брата таким жалостливым взглядом, что я немедля выскочил на улицу. И стал я жертвой своего длинного языка.

Вместо того чтобы немедленно лететь в Москву, куда, сами понимаете, я рвался, я направился к вокзальной площади. Вечерело. Глянул в одну сторону, в другую и у края тротуара заприметил бородача,— мне на них определенно везло.

Еще час назад воображение рисовало захватывающие дух картины при ярких звездах, а теперь приходилось затевать торг. И снова с бородачом.

Он, а рядом — двое. Решительно направился к ним. И с ходу выпалил первые попавшиеся слова:

— Что-то я не вижу ваших инструментов.

— Наши инструменты дома,— ответил за всех бородач. То ли пароль, то ли шутка — поди разбери!

— В каком смысле?

— В прямом.

— Восточное трио?

— Самое что ни на есть! Классика!

— А именно?

— С кларнетом.

— Это мне подходит.

Все трое встали.

— Будете работать полчаса.

Не успев встать, музыканты сели.

— Не подойдет. Ты не наш клиент.

Спокойствие стало покидать меня. Но не сдаваться же!

— Посажу вас в такси, повезу в дом невесты, встретим ее восточной музыкой, проводим в дом жениха, всего два квартала, и вы свободны!

Задумались.

— И весь вечер — в вашем распоряжении. Тридцать рублей за полчаса.

— Нет, не подойдет.

— Назовите свою цену.

— Еще столько же.

— Имейте совесть! Если б была моя собственная свадьба, клянусь честью и торговаться не стал бы! Но и это не мало.

— Мы тебя слушали внимательно, и наш ответ ты слушал — не сторгуемся.

— Сегодня свадьба нашего близкого друга. Мы сложились с братом и хотим преподнести жениху музыкальный подарок. Были бы лишние деньги, разве стал бы я просить? Мы студенты...

Кларнетист через силу зевнул. Отваливай, мол, что зря время теряешь?

— Могу десятку из своего кармана прибавить. Насчет брата не знаю...— Сделал паузу, но ни один мускул на лице бородача не дрогнул.— Пойду из автомата позвоню.

Бородач пожал плечами. Мол, мы тебя не задерживаем, иди куда хочешь.

Я оставил их. Пусть без меня подумают. На мое счастье брат оказался дома:

— О чем ты говоришь? Почти за такую же сумму я договорился с эстрадным квартетом.— Брат, конечно, прихвастнул.— Среди них известный певец, до утра играть и петь будут, а ты...

Делать нечего, вернулся.

— Не согласен брат.

Кларнетист даже не посмотрел на меня. Решил сделать вид, что пойду искать других, позовут — вернусь, не позовут — сделаю круг, а там видно будет.

Не позвали.

Я завершил круг, чтобы снова начать нудную торговлю, как заговорил толстячок, сидевший рядом с кларнетистом:

— А шабаш будет?

— Как у всех, так и у нас! — Я почувствовал, что соглашаются или близки к этому, и осмелел, хотя понятия не

имел, будут ли танцующим жертвовать деньги, которые, как правило, идут музыкантам, это их приработок, или не будут.

Но мы уже ловили машину, чтоб музыканты могли заехать за своими инструментами, а в машине все тот же толстячок ругал последними словами тех, кто пытается отменить такой народный обычай, проверенный веками, как шабаш на свадьбе, и я поддакивал ему, говорил о верности традициям, о щедрости угощений... Но угощения трио не прельщали: голодных, мол, нет!

Звуки кларнета, зурны и барабана взорвали воздух, аж стекла в доме зазвенели. Улицу заполнило праздничное оживление, прохожие застыли, соседи высунулись из окон, вышли на балконы, народ плотно забился в ворота. Двигалось только шествие, сопровождавшее невесту.

Трио было что надо: бородач-кларнетист задевал такие струны в душе, что хотелось пуститься в пляс. Глаза его из-под пляшущих бровей следили за кларнетом, который описывал круги в такт музыке. Все выдавало в нем истинного музыканта. Толстячок слился со своим барабаном в нечто округло-внушительное, зурна будоражила, оглушала публику. В толчее жених успел-таки выразить мне благодарность кивком головы.

Свадебная процессия двинулась к дому жениха. Машина с привязанной впереди куклой еле ползла, и неизвестно, почему молодых посадили в машину — идти было всего две минуты. Из парикмахерской на углу выскочили брадобреи в белых халатах, какой-то человек с намыленным лицом — всем хотелось приобщиться к свадьбе, согреться чужим счастьем.

Вошли во двор, посадили музыкантов; жених с невестой, плавно танцуя, сделали два круга по асфальту. Двор был полон гостей с жениховской стороны. Какая-то женщина прямо над моим ухом сказала:

— А я была в красной фате на своей свадьбе.

— Я тоже,— ответила ей другая и добавила: — Но теперь в моде белая.

«Начались сплетни!» — подумал я.

Жених усадил невесту и, в нарушение всяких обычаев, подошел к нам. Асаф упрекал приглашенного певца:

— А где твой квартет?

— Скоро придут. Электроорганист уже здесь.

— Свадьба в разгаре, может быть, начнешь пока с одним органистом?

— Он только в ансамбле играет.

С другого конца двора бородач-кларнетист делал мне знаки, показывая на часы. Время нашего уговора истекло. Они играли больше получаса. Все надежды Асаф и жених возлагали на меня: они просили задержать трио.

— Урежьте деньги с квартета и прибавьте трио, тогда будут играть,— сказал я, глядя на певца.

Тот промолчал, а мой брат и жених согласно закивали.

Я подошел к кларнетисту:

— Жених просит, чтобы вы еще немного задержались. Ваше трио по душе и гостям невесты, и гостям жениха.

— Это мы и без вас видим. Говори конкретную сумму.

— Останетесь довольны.

— А где обещанный шабаш? — встрял в разговор барабанщик.

Я произнес несколько путаных фраз, переходя на многозначительный шепот, раза два употребил слово «шабаш» и кое-как уломал их.

Брат уже звал меня...

Все эти переговоры так заморочили мою голову, что я забыл и о себе, и о своих делах. Я с трудом пробирался среди танцующих. Удары барабана выталкивали людей в круг. Подойдя к брату, я увидел, что сидящий рядом за столом певец раскрывает рот только для того, чтоб набить его шашлыком, а у меня во рту еще кусочка хлеба не было. К тому же певец многозначительно переглядывался с электроорганистом и морщился от звуков зурны. Будто свадьба игралась специально для него или он был по крайней мере любимым братом жениха.

— Дорогой мой,— возмутился я,— так же нельзя! Где провалились твои музыканты?

Асаф поддержал меня:

— Может быть, все-таки споешь?

Певец указал рукой на электроорганиста: мол, что с него возьмешь?

Но когда он той же рукой потянулся за новой палочкой люля-кебаба, я не стерпел:

— Ты что, похудеть боишься? Прочисть горло, спой!

— Скоро придут мои гитаристы.

— А восточные песни совсем разучился петь? — Я закивал в сторону трио.

Он оторопел:

— Мне?! С зурной?!

— Какая разница? Лишь бы голос был хороший.

Певец изобразил крайнее изумление и на моих глазах начал бледнеть. «Неужели я его так напугал? — подумал я.— Еще, чего доброго, в обморок упадет!..» Тут он учащенно задышал, лицо его стала заливать краска; казалось, вся кровь устремилась к голове, вот-вот лопнут вены на виске. «Час от часу не легче!.. Лучше помалкивать, неприятностей не оберешься, еще хватит инсульт...» Но тут он совершенно неожиданно для меня сказал:

— Ну что ж, раз вы ставите такие условия, спою с вашим трио! Налейте водку, я убью в себе скуку! — и с презрением посмотрел на зурнача.

Брат быстро наполнил стопку. Певец залпом выпил и пошел к музыкантам.

Первый номер явно не удался — кларнетист не улавливал его эстрадного ритма. Но потом пошло лучше. Музыканты играли танцевальные мелодии, подыгрывали эстрадному певцу. Барабанщик, вертя своими большими глазами, поглядывал то на кларнетиста, то на певца, то на меня. При этом он иногда потирал большим и указательным пальцем, но его знак понимал только я — он все же надеялся на обещанный мне шабаш. Я отводил взгляд.

Меня подозвал Дурсун-киши:

— Я благодарен тебе, ты сегодня как волчок крутишься!

Нашел с чем сравнить. Я было обиделся — ведь для его же внучки стараюсь!.. А он, не уловив моего состояния, добавил:

— Как покрутишь, так и крутится...

Кого крутят, кто крутит? При чем тут волчок?..

А вот спросить бы его, знает ли он Ольгу Васильевну!

Дурсун-киши удивленно уставится на меня... «Ну, Олю!» — добавлю я. Вспомнит обо всем и языка лишится старик. «То-то!..»

Но мне некогда — у ворот появились гитаристы и ударник и мое трио тут же перестало играть. Назревал новый разговор, и он требовал моего присутствия.

Квартет занял свое место во дворе, электроорганист и гитара-бас протянули в окно удлиненный шнур с тройником, и зазвучали эстрадные ритмы.

Предводительствуемые бородачом, мы с братом вышли в тупичок. Заспешил к нам и жених.

— Рассчитаемся!

В тоне кларнетиста звучала угроза.

— Посидите еще, поиграйте, куда вы так рано?

Жениху полагалось быть гостеприимным.

— Или мой кларнет, или его сундук! — Кларнетист имел в виду электроорганолу.

— Ей-богу, напрасно уходите. Свадьба только разгорается, будет и шабаш...

Кларнетист грубо оборвал меня:

— Эти сказки мы уже слышали, вранье все!

— Дорогой, нельзя ли повежливей? — не стерпел я, но жених слегка отстранил меня рукой и полез в карман. Сверх условленной суммы он отдал кларнетисту еще десятку.

— Как? И это все?.. Ай, народ, ай, мусульмане, ай, жених! Это же грабеж!

— Тихо, чего ты расшумелся?! — Я грудью пошел на него, но жених спиной загородил меня и, не говоря ни слова, вытащил бумажник и припечатал ладонь кларнетиста еще одной десяткой.

Высокие трели певца заполнили тупичок. И тут случилось то, чего я никак не ожидал: кларнетист спрятал деньги и с болью, будто ему нанесли смертельную обиду, выпалил:

— Раз так, мы остаемся! Назло ему! — Он показал на меня.— Назло квартету! — Он указал в сторону двора.— Никому не дадим играть! Где сидели, там и сядем! Мой кларнет еще не умер, чтобы какой-то...— Он еще говорил, но голос его пропал в гуле во всю мощь звучавших инструментов. Только борода тряслась, выдавая рассерженность, и в глазах сверкало возмущение.

Я мог вообразить что угодно, но только не это: трио само, добровольно, без дополнительной платы согласилось играть на свадьбе! Мы вернулись, народ зааплодировал — то ли трио, то ли певцу, взявшему высокую ноту.

И началось такое, чего не видывала ни одна свадьба,— восточные инструменты перемешались с западными, гитара-бас стала конкурировать с зурной.

Дурсун-киши вышел на середину двора и, торжественно вздернув руку, приготовился к танцу с матерью жениха. Умолкли на миг и трио, и квартет.

— Играйте восточный танец! — сказал дед невесты и вытащил из кармана трешку. Оказывается, он слышал, как мы пререкались с барабанщиком насчет шабаша. Толстяк,

увидев в его руке деньги, ударил невпопад в барабан, зурнач дунул изо всех щек в свою зурну, и лишь благоразумный кларнет, нащупав верную ноту, повел за собой трио,— полилась плавная мелодия танца. К трио незаметно подключился и квартет, в такт захлопали ладоши, Дурсун-киши и будущая свекровь его внучки Алтун-ханум пошли по танцевальному кругу. К ним потянулись деньги, и меж пальцев рук танцующих заторчали, мешая друг другу, но мирно уживаясь, на радость музыкантам, бумажки — зеленые, синие и даже одна красная. Почти каждый внес свою долю, хотя, как я слышал, Ламия возражала против шабаша.

Танец кончился, Дурсун-киши протянул деньги барабанщику, а Алтун-ханум отдала свой сбор певцу, руководителю с квартетом. Шабаш больше не повторился, но он примирил трио с квартетом.

Вот это свадьба! То попадаешь в Европу, то оказываешься в Азии, то будоражит Запад, то погружает в сонную негу Восток. Равной этой свадьбе не было и вряд ли когда-нибудь будет. Могло показаться, что именно так и задумано ее музыкальное сопровождение. Гнев кларнетиста одарил гуляющих на свадьбе неожиданной радостью. То врозь играли, то вместе. Но чаще восточное трио вело за собой эстрадный квартет. Что до меня, лучшей музыки, чем звуки электроорганолы, не слышал. Божественный инструмент! Ах, какие звуки! Будто из глубин вселенной, с неизвестной планеты. И как играл, бестия! Знал я его, электроорганиста. Звали его Ягненком — за курчавые волосы. Прежде он шлялся по улицам без определенных занятий, часто подолгу торчал на углу, вежливый такой, с каждым норовил поздороваться; постоит поболтает, потом куда-то исчез, все о нем забыли, и вот тебе, человеком стал, на редком инструменте играет!..

Вдруг я ощутил на себе чей-то пристальный взгляд. Резко повернулся и гляжу — на меня Ламия смотрит. И так она похожа на ту Ламию, другую, что сон вспомнился. Мурашки по спине пробежали. Глупые мысли! Снова с опаской поднял глаза, но Ламия уже отвела свой взгляд и о чем-то увлеченно шепталась с Поладом.

Свадьба разгорелась вовсю, я свой долг выполнил, и меня нестерпимо потянуло в Москву, захотелось немедленно увидеть Лину, услышать ее шепот. Глянул на часы — три часа ночи. Можно еще успеть на первый рейс. Но если

только немедленно встану. Через силу поднялся, преодолевая чье-то сопротивление, незаметно прокрался к выходу и — прямо домой, за вещами.

Я летел.

9

...Да прильну я к тебе, да обовьюсь вокруг тебя!.. Губы застонут, плечи заплачут, руки взлетят...

Из народного сказания

Когда я вышел из лифта, глазам не поверил, протер их: у моей двери стояла Лина и звонила в пустую квартиру. Увидев меня, она ладонью закрыла мои уста и шепнула затем: «Молчи!»

Открыл дверь, впустил Лину и в ту же минуту позвонил хозяину, чтоб узнать о его дальнейших планах на квартиру. Он, оказывается, и не подозревал о моем неожиданном отъезде, и я не стал ни о чем рассказывать.

Радуясь встрече, я подхватил Лину, такую легкую, и закружил ее. Стены поплыли перед глазами.

Я горел, как во сне, таком далеком и нереальном...

— Куда ты сбежал?

— Улетел в Баку.

— Что за ерунда?

— Почему?

— Может, звонили, поэтому?

— А ты откуда знаешь?

— Как же мне не знать? Ведь я сама звонила тебе!

— Ты?!

— Ночью вдруг проснулась и так захотелось тебя услышать, что на цыпочках подошла к телефону и набрала номер. Как услышала твой голос, поверила, что ты — есть и балкон не приснился, и так хорошо мне стало... Но тут проснулся муж и я повесила трубку.

— Но я слышал, как в трубке говорили.

— Что?

— Сказали: «Линия испорчена».

— Ну да, я повесила трубку, а мужу сказала, что звонил междугородный, а линия почему-то испорчена.

— Сначала сказала, а потом повесила.

— Нет, я положила трубку, а сказала потом.

— Но я собственными ушами слышал: «Линия испорчена». И так забеспокоился, что позвонил домой в Баку.

— И улетел в Баку? А я тут переживаю...

Я и не предполагал, что ее чувства ко мне так глубоки. Какова она и каков я!.. И снова волчком завертелась земля и кровь потекла густая, как нефть. И тяжелая-тяжелая...

— Если мы расстанемся, что ты сделаешь? — вдруг спросила она.

— Почему мы должны расставаться?

— А если?

— Что, по-твоему, я должен сделать?

— Ну...— задумалась.

Вижу, слово ищет, и я ей на помощь:

— Хочешь спросить, сожгу ли я себя?

— Ну, допустим! Сожжешь ли?

Сам же подсказал, самому же и смешно.

— Ай да Лина!..— Смеюсь, обнял ее за плечо, притягиваю к себе, чтобы поймать губы, но она вдруг вывернулась. Я даже обиделся.

— И не заплачу! — сказал я.

— Найдешь другую? — В голосе Лины прозвучал упрек.

«Не будь дураком! — сказал я себе.— За что ты ее обижаешь? Она пришла, ничего ей от тебя не нужно, щедра, красива, вся создана для любви, для ласки, и ты к ней тянешься... Зазнаешься! Грубишь! Имеешь наглость еще обижаться!»

— Извини меня, милая!.. Разве мы можем расстаться? Ведь мы созданы друг для друга! Знаешь...— Я поискал веское слово и неожиданно нашел его: — Знаешь, иногда я становлюсь февралем! — Находка обрадовала меня.

— Что это такое? — Обида стала таять, в глазах загорелся интерес.

— То есть недостает,— покрутил у своего виска,— кое-каких дней...

Рассмеялась, и обиды как не бывало.

— А ты думаешь, меня влечет к тебе только страсть?

— Что же еще?

— У меня есть своя идея.

— Идея? Но к чему она тебе? Ты такая красивая...

— Постой расточать похвалу. И послушай: я хочу тебя узнать. Но только я подступаюсь к тебе, как ты вмиг рассыпаешься. Как...— она поискала слово и нашла: — Как просо! Да, именно просо!

С волчком сравнивали, с лодкой без парусов тоже,— это мать говорила, еще с чем-то, а вот с просом — впервые. Ну что ж, стерпим во имя любви.

— Хочешь постичь мою тайну?

— Можно сказать и так. Вот, к примеру, мой гипнотизер. Тайна его — в его глазах. Была у меня некогда первая любовь. Тайна его была в голосе. Самые простые и обыденные слова он произносил так вкрадчиво, что они звучали многозначительно, как открытие.— Умолкла. Но ненадолго: — Сказать о тебе?

— Говори.

— У тебя тайн нет. Вернее, собственной тайны нет. Твоя тайна у чужих.

Разговор был похож на игру в поддавки: кто скорее останется ни с чем.

— То есть?

— А кому ты отдан — у того и тайна твоя.

Что-то игра наша затягивается.

— Я без остатков отдан тебе.

— Тогда ищи свою тайну во мне! Если я скажу сама, то ты уйдешь вместе с нею, а этого я не хочу. А вообще-то,— добавила она после паузы,— я растворила твою тайну, как сахар в воде!

— Потому-то ты и сладка! — «Пусть,— подумал,— банально, но зато удар завершающий!» — Вот тебе последняя моя шашка!

— Ооо!.. Скромностью ты не отличаешься!

— От первой любви ты обрела таинственность, от мужа — волшебство, а от меня... Ну, об этом я только что сказал.

Нет, определенно я ей нравлюсь. Лина провела рукой по моей голове, и пальцы ее застревали в волосах — жестких, густых. И самому порой трудно расчесать...

Не обязательно, чтоб шел дым, когда горишь. И вовсе неплохо гореть, когда возродился из пепла. Если, конечно, есть чему гореть у тебя...

— А сейчас,— сказала она,— я осторожно выйду и спущусь вниз. Мой муж скоро придет к тете. Вчера он внимательно посмотрел на меня и спросил: «Что-то не видно нашего гостя?» А я не знала, куда ты исчез, и мне в его словах услышалось: «Ну как, хорошо я упрятал его?» Обязательно спускайся вниз, чтоб он тебя увидел!

И ушла.

Свадьба, ночной полет, диалоги с Линой, круженье волчком, как сказал Дурсун-киши... Все слилось, смешалось, пошло на меня стеной. Опрокинул стакан за здоровье шамхорских шефов и повалился на постель, скошенный под самый корень.

Разбудил меня телефонный звонок. Взял трубку, но на том конце провода повесили. Линины штучки мне уже были известны. «Спускайся, мол, гипнотизер уже пришел». Потянулся разок-другой, сделал стойку, встряхнулся. Нет, не про нашего брата сказано: «Богатыри — не вы!..» Чем я не богатырь?

Гипнотизер многозначительно хихикнул:

— Добро пожаловать! Давненько не встречались мы с вами! Или заплутались пути-дороги?

— Далеко вы меня забросили, еле вырвался, сбежал.

— Неужели? Как это у вас говорится: «В доме жениха свадьба, а в доме невесты и знать не знают об этом».

Как мне не изумиться? Снова случайное совпадение?!

Гипнотизер не дал мне опомниться:

— И что вы увидели в своей далекой дали? Узнали о Дурсуне, о Ламии?

Я почувствовал, что бледнею. А он вдруг взял да и расхохотался. Победный такой хохот. Захотелось остро кольнуть его, но он уловил мое желание и опередил меня:

— И что сказала Ламия?!

— То есть как Ламия?!

— А вот так! Сами ведь говорите, что я забросил вас далеко. А что для вас дальше Баку?

— Я выразился иносказательно.

— Разумеется, никуда я вас не забросил. Но не хотите же вы сказать, что не видели Ламию?

Поди возрази!.. Пожал плечами, не смея рта раскрыть и собираясь с мыслями, которые никак не собирались.

А он улыбается, но и мне молчать никак нельзя:

— Видел я ее,— говорю.

— И я о том же.
— Горела, а спасти ее не мог.
— Водой нефть не погасишь!
Это был почти нокаут.
— Шучу, конечно,— сжалился он,— откуда могли вы увидеть ее? Она мертва, а вы живой, она молодая, а вы уже стареете. Ха-ха-ха...
— Почему старею? Я, слава богу, еще в силе!
— Но старше Ламии лет на десять!
О какой Ламии говорит он? Тотчас сообразил: и о той, и об этой! Они почти ровесницы, а я и вправду старше, не на десять, конечно, гипнотизер загнул, а лет на восемь... Нет, пока он меня не доконал, надо нанести ответные удары. Пусть попыхтит!
— А где же наша Лина-ханум? — В голосе моем слышались кое-какие богатырские нотки.— Или вы и ее забросили далеко, в одни со мной края?
Не моргнув, встретил впрямую его встревоженный взгляд — два огромных черных зрачка. «Читай,— сказал про себя,— читай вдоволь, до конца!..» Побелел как полотно, поймав мой взгляд в свои гипнозовы сети,— оказывается, и вправду читал меня, как открытую книгу. Но постепенно мне становилось не по себе. Я почувствовал себя как муха, попавшая в паутину.
Помню, в детстве: поймаешь муху, бросишь к пауку, и он моментально выскакивает из засады, набрасывается на жертву, начинает пеленать ее, как куколку. Пеленает, пеленает, а потом встанет поудобней и впивается... Жуткая картина... Зрачки мои были как мухи, и он пеленал их, пеленал, а у самого губы шепчут что-то таинственное. Вдруг нити разрываются — мухи улетели. И спасла меня Лина — она прошла между мной и своим мужем и порвала паутину. Как щит встала — спиной к мужу, лицом ко мне.
— Где вы запропастились? — спросила она меня.
— А разве мы не виделись? — сказал я.
В ее глазах застыл ужас.
— А разве,— я успокоил ее,— мы не встретились далеко-далеко, куда нас закинул ваш муж? Он как раз только что говорил об этом!
Тотчас уловила — недаром жена такого мужа.
— Ты всегда некстати! — Вмешательство Лины разозлило гипнотизера.— Ведь предупреждал тебя, когда входишь и видишь, я занят, работаю,— не мешай!

— Здесь не работа, и гость наш не подопытный пациент! Хочешь продемонстрировать мастерство, пригласи к себе на работу!

— А что, могу и пригласить! — Понял, что предложение жены в его пользу: и умение покажет, и узнает кое-что, и хоть на день нас разлучит.— Хоть завтра утром! — добавил он.

— Нет, утром у меня дела.

— Можно днем.

— И днем я занят.

Чтоб закрыть и вечер, предложил:

— Хочу вечером пригласить вас быть моими гостями!

— Нет уж,— ответила Лина,— сначала придете к нам домой!

Ну и смелая! Страха никакого не ведает!

Но я действительно хотел пригласить их в гости.

— Есть тут один большой человек, от которого мои дела зависят. Я хотел с вашей помощью уговорить его.

— Завершить дела, чтоб поскорее вернуться в Баку? Да?

— Что с женщины возьмешь? Одно слово — женщина: что на душе — тотчас выболтает!

— Не для возвращения хочу завершить дела, а чтоб руки развязать. Погуляем потом, отдохнем, сколько можно траур носить?

Хотя траур давно перерос в свадьбу... Не у всех, конечно,— я имел в виду бакинцев.

— А гипноз? — спросил муж Лины.

— А гипноз отложим на послезавтра.

Согласились. Заключили договор. Тайные намерения остались у каждого в душе. Линин муж, видно, подумал, что, ускорив мои дела, ударом гипноза вышибает меня, как мяч, за пределы поля, и я опять окажусь в Баку.

Лина подумала, что они помогут мне и она продолжит постигать мою тайну.

А я подумал, что воспользуюсь первой частью намерений гипнотизера и перехитрю его во второй, то есть завершу дела, а что касается мяча, то посмотрим в субботу первую игру «Нефтчи» в Москве и тогда увидим, чья возьмет. И Линины мысли мне по душе: опять будут светить звезды и опять я буду богатырем...

Вошла тетя:

— Здравствуйте, богатырь! — И к гипнотизеру: — И сегодня приснилась!

— Кто? — спросил я.

— Ваша землячка... С того дня каждую ночь снится.

— С точки зрения науки, здесь ничего удивительного нет.— Это гипнотизер сказал.

— Но сегодня ночью картина обновилась. Я увидела нашего гостя.— Это обо мне.

— На сей раз не за Ламией следила, а за вами.

— И что я делал?

— Молились.

— Молился? Но я ведь неверующий!

— Не знаю... Но хорошо помню — вы совершали намаз. Стояли на коленях, припадали лбом к земле и поднимали руки к небу.

— Может быть, зарядку делал, а вы решили, что это намаз?

— Кто знает, может, и вправду зарядку делали, об этом я не подумала.

Лина укрепила ее в этом убеждении:

— Конечно же зарядку! Ты же сама как вошла, так и сказала: «Здравствуйте, богатырь!»

— Разве?

И это было вполне объяснимо с научной точки зрения. Я так во всеуслышание и сказал, чтоб знали:

— Ну, конечно!

Как сладко у нее это «че» получается.

Вышел их проводить. Слева я, справа гипнотизер, между нами Лина.

А московский летний вечер — единственный в своем роде. Легкий ветерок приносит свежесть и прохладу, нигде не чувствуешь себя так хорошо, как здесь.

У метро простились. До завтрашнего вечера.

— Может, у тети заночуем? — спросила Лина.

— Нет! — отрезал гипнотизер. А мужчина зря слово на ветер не бросает. Если даже и нет ветра, а просто ветерок. Скажет — отрежет. Вернее, пригвоздит.

Заведующий лабораторией был настолько удручен неведомыми мне неприятностями, что не сразу узнал меня: он долго невидяще смотрел на меня, а я не сводил глаз с его пунцовых щек.

Костя принадлежит к разряду людей, подверженных

быстрой смене настроений. Не так скажешь, не так посмотришь — и человек начинает меняться на глазах. Багровеет лицо, вот-вот сорвется с обиженно поджатых уст резкое, ранящее слово. Переждешь, смолчишь, и вдруг — поди объясни! — происходит чудо, человек преображается, слегка розовые щеки — просто признак здоровяка-жизнелюба.

Нет, нельзя было даже заикаться с просьбой насчет акта — тут уж категорически откажет, а потом не отступится от своих слов. Я сделал вид, что не замечаю его удрученности, стер с лица удивление и как ни в чем не бывало сказал, что у меня к нему абсолютно никаких дел, зашел проститься, возвращаюсь в Баку. Слова мои, как легкие волны, задели чуть-чуть, но тут же скатились со скальной непробиваемости Костиного лица.

Нет, его и так не возьмешь: надо найти такое слово, чтоб сразу завладеть вниманием, перейти в наступление, а потом, когда он вернется к своему прежнему доброму состоянию, упросить: авось согласится.

— Есть для тебя сюрприз, Костя! — сказал я.

— Что за сюрприз? — В голосе его я еще улавливал гнев.

— И не один, а сразу два сюрприза!

По правде говоря, я еще сам не знал, о каких сюрпризах толкую. Но чутьем улавливал, что это и есть то неожиданное слово, которое приведет Костю сначала в замешательство, а потом, чуть смело поднажмешь,— и в нужное мне состояние.

Глаза его начали оттаивать.

— Не понимаю, о чем вы?

— А вот поймете! Сегодня вечером вы мой гость! Так сказать, вечерние сюрпризы!..

— Но лаборатория...

Я не дал ему договорить:

— Дорогой мой Костя, нельзя же так! Ей-богу, во многих городах я бывал, многих руководителей видел, но такого, как ты, который бы сгорал на работе, еще не встречал! Сколько можно? — Я был настолько искренен и вкладывал в свою тираду столько горячей верности, что Костя молча внимал мне и ему нравился мой взрыв негодования.— Ты же губишь себя!

Я обращался к нему то на «ты», то на «вы», и это была придуманная мной за годы работы тактическая уловка, своего рода маленькая находка, которой я дорожил: гово-

ря ему «ты», я ставил себя в один ряд с ним, говоря «вы», подчеркивал его старшинство,— мол, я, конечно, понимаю, что мы равны, но все же вы — выше, это объективная реальность, и я выражаю вам свое уважение.

Костя колебался. «Надо пригласить и его жену!» — подумал я и чуть было не разрушил всю затею.

— Разумеется, я и супругу приглашаю...— Но тут же умолк, заметив, что при упоминании жены лицо Кости исказила гримаса: оказывается, из-за семейного скандала и испорчено у него настроение... Нужен был резкий переход.

— Ровно в пять вечера я подъеду сюда на машине, будь готов, Костя! — И, не дав ему ни опомниться, ни возразить, вышел.

Не мы одни жаждали заполучить копии чертежей — в сходном с нами положении находилось еще восемь заводов. И все теребили, все просили. Комплекты чертежей есть, но они придавлены актом. Что же, постараемся вернуться не только с копией акта, но хотя бы еще с одним комплектом чертежей,— очень хотелось заслужить благодарность нашего Князя. Хоть и зануда, а все-таки широкой натуры человек.

Сел в такси, заехал на минутку к Пал Палычу, оттуда на Горького в магазин полуфабрикатов, где мне обещали оставить цыплят,— попросим Лину приготовить табака, наверняка она знает, как с парной птицей управиться.

Ровно в пять помчал машину домой — а в ней Костя. По дороге задумался об обещанных сюрпризах, тем более что Костя, садясь в машину, проговорил невзначай: «Ну что ж, поглядим на твои сюрпризы!..»

«А что,— подумал я,— разве знакомство с гипнотизером не сюрприз? А канистра с дегустационным вином, которого нигде не сыщешь? Если хотите знать, то главный сюрприз — это сама Лина, хотя Косте достаточно и первых двух сюрпризов».

Я направил дела так искусно, что и сам себе удивлялся. И самое забавное состояло в том, что и гипнотизер, и его жена, и я — каждый по-своему подвергал Костю психологической обработке во имя моих интересов. А причины ревностной службы моих друзей известны... Такое единство противоположных тактик, убежден, и Князю не приснилось бы. Я мог преспокойно отойти и даже оставить

гостей, настолько четко работал механизм воздействия на Костю. Все темы были забиты, за исключением одной — автоматической системы. О чертежах гипнотизер говорил с такой убежденностью и страстью, словно всю жизнь носил в душе одну-единственную думу: заполучить их. Лина даже терпела ухаживания захмелевшего Кости, чтобы не воздвигать новых препятствий на пути к моей цели. Могло показаться со стороны, что самый крупный эксперт по автоматической системе — это наша Лина, а о гипнотизере и говорить не приходится — светило, да и только! Что Костя? По-моему, и аллах с русским царем вкупе не устояли бы против такого союза колдовства и красоты. О неодолимой силе подобного единения, помнится, даже в Коране или какой другой священной книге написано.

Жена говорила, а муж с помощью колдовских волн всаживал слова Лины в самую душу Кости. Будто я воочию видел этот процесс: вылетают слова-гвоздики и прочно вбиваются острыми наконечниками в бедную голову Кости: попробуй устоять!

Сразу охмелев после первой рюмки — такова особенность моего организма,— со следующих рюмок я стал постепенно трезветь, пока мои мысли не прояснились, очистились, как журчащий родник, и я, глянув на тройку, понял: Князь будет радоваться тому, каких полководцев он взрастил.

Я вышел проводить гостей, остановил такси, сунул шоферу в верхний кармашек пиджака пятерку и наказал развезти моих друзей.

Еще до начала пиршества, когда головы были трезвы, мы с Линой за жаркой цыплят договорились о встрече завтра днем. Чтобы не терять время и успеть завершить дела к приходу ко мне Лины, я к открытию института был уже у его ворот. Командировочное удостоверение пришло, я его заверил, получил экземпляр чертежей и набил портфель тяжелыми томами, понес акт в машбюро и разделил на несколько частей, чтоб быстро успели напечатать, и уже через час с небольшим акт был готов. Довольный удачным течением дел и в предчувствии встречи с Линой, я горячо поблагодарил Костю, расцеловался с ним и только хотел проститься и уйти, как он необычно как-то посмотрел на меня, и в его взгляде я уловил нечто знакомое: уж не внушил ли ему что-нибудь гипнотизер?!

— Друг,— сказал Костя,— а я тебя никуда не отпущу! — и улыбается.

Неужели гипнотизер догадался? Но как? Я недоуменно заморгал.

— Вчера ты мне приготовил сюрприз, сегодня увидишь мой! Долг, известно, красен платежом.

— Костя, душа моя, какой долг? Какой сюрприз?

— А вот и увидишь!

— Но у меня срочные дела!

— Никаких срочных дел у тебя быть не может — я их все уладил!

— Но ты ведь на работе.

— Это тоже работа! — И он в точности вернул мне мои же собственные слова, которыми я еще вчера так удачно склонил Костю. А он к тому же добавляет: — Такое случается раз в год! Считай, что тебе крупно повезло. Одним словом — сюрприз!

Мы вышли, взяли машину, я предложил заехать ко мне: портфель надо было оставить, не тащить же его, такой тяжелый, с собой.

Когда отъезжали от нашего дома, я увидел, как в мой подъезд вошла Лина. Хорошо, что она нас не увидела!.. Ничего, навестит тетю, помянут бабушку, а мы встретимся перед гипнозом. Как можно отказать Косте, когда он обещает сюрприз?

10

Уж не в тягость ли твоим плечам бедовая твоя голова? Готовься!..

Из народного сказания

Доехали до старого, с железной крышей дома на окраине города и остановились. Костя не дал мне расплатиться, сказал, что сегодня расходы берет на себя.

Около нас затормозила новая темно-вишневая «Волга», из нее вышел со вкусом одетый высокий грузный мужчина. Во взгляде его — уверенность и достоинство; казалось, он приехал на симпозиум выступить с докладом. Не очень гармонировал с его внушительным видом старый, с двумя замками портфель,— за таких важных лиц портфель носят другие... Вежливо уступая друг другу дорогу, мы вошли в покривившиеся старые двери деревянного дома.

Уму непостижимо, как ухитрялись эти двери держаться на петлях... Спустившись по невидимым ступенькам, мы оказались в сыром полутемном коридоре, пройдя который, поднялись по лестнице и вошли, видимо, в какое-то учреждение. Своими расспросами я не хотел докучать Косте,— даже в машине счел неуместным поинтересоваться: скажет — хорошо, не скажет — ему виднее. А здесь, в присутствии незнакомого солидного мужчины, и подавно неудобно. Словом, закрыв эту дверь, прошли в другую и вдруг оказались в ослепительно освещенной просторной комнате. Мне даже не приснился бы такой зал: облицованные дорогим деревом стены, паркет блестит, как стекло. Хороша развалюха!

Костя искоса посмотрел на меня, словно изучая мое состояние: «Ну как? Нравится?» Я скрыл удивление: такие люди вели здесь себя как завсегдатаи, запросто, и неуместно было в их присутствии изливать свои телячьи восторги. Как все, так и я.

Костя положил свою сумку на стул и снял пиджак. Я в точности повторял его движения, чтобы ничем не выделяться. Мы протянули пиджаки пожилому гардеробщику, и он аккуратно повесил их на вешалки; Костя дал ему какую-то бумагу: то ли деньги, то ли записку — не углядел.

Посреди комнаты стоял массивный стол на толстых резных ножках; на полсотню гостей; ни в какую дверь он не пролез бы, видимо, был сколочен тут же; вокруг стола стояли широкие полированные скамейки; в углу, на маленьком столике, накрытом белой скатертью,— высокий блестящий самовар, а рядом — холодильник. Костя открыл сумку, вытащил бутылку водки, две бутылки пива и кое-какую закуску и упрятал в холодильник. Похоже на столовую, нечто вроде наших получастных кухонь-ресторанчиков, где готовят хаш — густой горячий бульон из бараньих голов и ножек с чесноком, поедаемый ранним утром любителями крепко выпить и основательно, на целый день, подкрепиться.

«Наверное, здесь собирается мужская компания,— решил я,— и пиджаки снимают оттого, что в комнате жарко». Вошло еще несколько человек из разряда солидных и уважаемых. Яркий свет, отражаясь в больших зеркалах, раздвигал комнату вширь, четко вырисовывал серьезные лица людей, готовящихся к какому-то важному событию. В сумке у Кости оставалось что-то еще.

— Пойдем,— сказал он мне.

Снова хотел было у него спросить, где мы, но промолчал и на сей раз: поддался течению, пусть себе уносит!.. Вошли в одну дверь зала и вышли из другой, оказавшись в помещении, которое трудно вообразить наяву: уж не во сне ли я вижу это чудо.

В еще большем зале, чем тот, откуда мы пришли,— огромный бассейн, полный до краев прозрачной воды!.. Стены и дно выложены голубым кафелем, отчего вода отливала голубизной, точь-в-точь как голубые воды высокогорного озера Гёйгёль; а по стелющемуся над бассейном пару чувствовалось, что вода теплая; вдоль одной из стен стояли мягкие, отнюдь не «спортивные» кресла, и мы заняли два из них.

— Раздевайся,— сказал мне Костя.

— Но у меня нет плавок!

— А зачем они тебе? — удивился он.

— Разве мы не будем купаться в бассейне?

Он расхохотался:

— Да кто тебя пустит, грязного, в бассейн? Сейчас мы с тобой как следует попаримся в парной, потом вымоемся, а там поглядим, что дальше делать!.. Раздевайся!

Не спеша, молча, каждый раздевался в своем кресле, будто исполнял магический ритуал. И Костя, и я, и другие. Остались в чем мать родила.

— Иди за мной,— тихо сказал Костя.

Голые тела шагали к двери.

Отряд голых...

Но кто они? Неужели это те, которые вошли сюда с нами?! Будто это другие люди — до того все стали неузнаваемы. И все на один манер, полное равенство. Солидность и степенность сошла со всех с одеждой и очками; ни тебе величавости осанки, ни довольства; тонкие хрупкие ноги, осторожно ступая, стыдливо несли толстые белые тела. Вошли один за другим в низкую дверь, держа в руках мыло и мочалку.

Да это же настоящая баня! Да еще какая — люкс! Хочешь принять душ — к услугам твоим отдельные кабины... А шайки! Ах, какие шайки — желтые, белые тазики; вода кажется особенной, мягкой — держишь в руках эмалированный таз, а вода дрожит и отражает выложенные зеленой плиткой стены.

Шум воды и нагота развязали языки — все заговорили, загалдели, загудели. Слова слились в монотонный банный

гул, отражаемый от влажных стен и проглатываемый нашим слухом.

Ну что ж, начал мыться. Тонкие ноги передвигались от кранов к мраморным скамьям осторожно, чтоб не уронить грузные, тяжелые тела. Кто-то протянул мне мочалку и попросил, чтоб я ему потер спину; я взял густо намыленную мочалку, и передо мной возникла чуть ли не полутонная туша белуги с очень нежной кожей,— я тер это бело-розовое тело неистово, пока оно не стало кроваво-красным, точно сгорело под солнцем Апшерона в августовский зной. В ответ он предложил свои услуги — потереть мою спину, я сначала отказывался, неудобно как-то, а потом согласился: хорошо тер он мне спину, ничего не скажешь.

Оказывается, это было только прелюдией к купанию,— настоящая баня была за дверью, и все, быстро смыв с себя мыло, спешили туда — в парную.

Парная что надо: ступенчатый полок из толстых брусьев, стены из дубовых бревен, ласкающий глаз, ровный, доска к доске, потолок. Каждый, кто входил в парную, брал в руки березовый веник, поднимался по знакомым ступенькам и начинал лупить себя веником с головы до ног. В углу лежали огромные раскаленные камни, словно только что исторгнутые вулканом. Кто-то вылил на них ведро воды: показалось, что они живые, так зашевелились и зашипели камни, и такой поднялся пар, что чуть с ног меня не сбило горячей волной. Костя залез на самую верхнюю ступеньку, я же остался на нижней, но вскоре горячий воздух обжег дыхание, я не вытерпел, быстро сошел со ступеньки и, весь потный, задыхаясь, выскочил из парной. Через минуты две следом вышел Костя и, встав неподалеку, окатил водой из таза свое пышущее жаром тело, охая, бросил на меня жалостливый взгляд, будто я был разнесчастным человеком, обиженным судьбой и не понимающим истинную прелесть жизни.

Все покинули парную, и ставшие еще обширнее красные тела сразу заполнили баню: от горячих тел воздух накалился, и я быстро сунулся под душ, закрыв глаза и подставив лицо навстречу ласковым прохладным струям. Стоял я под душем долго, и вдруг Костя схватил меня горячей рукой, тянет снова в парную. Я вначале упирался, но как гость вынужден был уступить, хотя, как и в первый раз, не поднялся выше первой ступеньки. Все пошли в парную по второму кругу. Пар плотно окутал тела. Были видны только головы немногих, сидевших на нижних сту-

пенях. А когда люди задвигались, показалось, что головы плывут в пару без тел... «Нет, не могу!» Я снова не вытерпел и вышел. Следом — Костя. Он прошел дальше, к бассейну, я — за ним. И с ходу Костя — бултых, окунулся в голубые воды Гейгёля. Я тоже прыгнул, и мы поплыли к другому берегу.

Вытираясь, Костя моргнул мне: «Помирился я со своей ханум, и о тебе она позаботилась!» — и протянул мне полотенце.

Завернулись в широкие махровые полотенца — вот что, оказывается, оставалось в сумке — и прошли в комнату, где стоял на резных ножках массивный стол.

Встретивший нас пожилой мужчина заранее выложил на тарелки закуску и расставил бутылки, которые все, кроме меня, принесли с собой. Сели, опрокинули по рюмке, затем из фужеров выпили пива. Произнесли тост в честь бани,— видимо, такой здесь был ритуал. Поели, задымили папиросами-сигаретами. Второй тост был за здоровье всех, кто пришел; и это тоже считалось, как я понял, традиционным.

И опять — в баню, в парную. Там все тотчас отрезвели, парная вышибла весь хмель, и мы, точно возрожденные, голодные, снова сели за стол. Очередной тост — за молодость желаний и умений! А последний произнес Костя:

— За здоровье нашего банного вождя, настоящего мага, чародея и колдуна! — И, взглянув почему-то на меня, продолжал: — Войдя сюда утомленными стариками, мы уходим молодыми, и это говорит о могуществе нашего волшебника, да будет он жить век!.. За вас, Арвид Леонардович!

Я понял его брошенный в мою сторону взгляд: это в ответ на мой сюрприз — мол, ты мне показал гипнотизера, а я тебе — чародея!

Закипел самовар, налили чай.

«Нет,— подумал я,— непременно расскажу Князю. Нам бы тоже отгрохать такую баню!.. А что? Собрать деньги и построить баню на кооперативных началах для кое-кого из наших, включая, конечно, и меня самого — за идею».

Когда оделись и вышли, я, к своему удивлению, никого не узнавал. Это были совершенно незнакомые, чужие люди. В их внешности и движениях чувствовалась решимость, шагали они твердо и уверенно. Еще несколько минут назад мы были как одна душа, но кто же из них хотя

бы тот, кому я тер спину?! Скрылись белужьи тела, такие нежные и робкие, спрятались хрупкие, тонкие ноги.

Только сейчас я заприметил каменное здание, примыкающее к старому деревянному дому-развалюхе. Из его трубы слабой струйкой выходил и, подхваченный ветерком, срезался белый дым.

«Вот и все!» — сказал Костя, широко и открыто мне улыбаясь.

Мы обнялись, как братья, и расцеловались.

Хоть голова была тяжелой и в ней шумело, я чувствовал себя легким, как птица,— взмахну крыльями-руками и полечу!

Не помню, как я добрался домой и завалился спать, даже не раздеваясь.

Проснулся будто от толчка. Слова-то какие сказал мне на прощание Костя: «Погубишь дело — отвратишь от идеи!» Это он об автоматической системе.

А я ему в ответ: «Запишу,— сказал,— тебя в учителя свои и стану называть отныне «Костя-муэллим»!..»

А про себя думаю: «Мало было у меня учителей, из дальних краев еще один выискался!..»

Князь любит говорить:

«Ашуг без учеников — не ашуг». Это он о себе.

И еще любит говорить:

«Ашуг без учителей — тоже не ашуг». А это уже обо мне.

А если я желаю быть ашугом одной возлюбленной и вкушать яркие звезды на черной скатерти неба, тогда так, Нияз-муэллим? А что скажете вы, Костя-муэллим?

Князь и Костя переглянулись и удивленно развели руками: мол, что с него возьмешь? Скажет же иногда такое, что и не сразу поймешь.

11

> Страсть испепелила душу, вспыхнуло вдохновенье, и он, взяв саз...
>
> *Из народного сказания*

Как и условились с гипнотизером, ранним утром я направился в клинику, где он работал. День выдался ясный, было безоблачно и на душе.

У входа в клинику меня окликнули, гляжу — Лина.

— Обманщик!..

Но глаза улыбались, и об обиде не могло быть и речи.

— Понимаешь...

Но она не дала договорить, тем более что я не успел придумать оправдания: все же она права, я вчера ее подвел, хотя и не виноват: не мог же отказать Косте?!

— Оправдаешься потом! Я отпросилась на два часа, и часы эти — наши с тобой!

— Но твой ведь ждет, неудобно.

— Тогда пойди и скажи, что занят, придешь через два часа! Я буду ждать тебя у сквера.

И ушла.

Гипнотизер встретил меня перед корпусом, красивый, как молодой бог. Белый халат шел к его черной библейской бороде, густые сросшиеся брови и угольно-черные волосы четко обозначали высокий светлый лоб. А глаза!.. О них я уже говорил, могу сказать иначе: глубокие, как океан, и загадочные, как ночь. Пусть банально, но это так. Лина рассказывала, что в нем смешалось несколько кровей — немецкая, шведская, польская. И даже турецкая. И от каждой — по полтора-два процента.

Он уловил мое замешательство.

— Кажется, дела заставляют вас изрядно попотеть?

— Да... С вашего разрешения, на два часа... Машинистки еще не успели...— Что со мной? Уж не лишаюсь ли я дара речи под его пристальным взглядом? Еще чего не хватало! Несколько раз, заметая следы, упорно повторял свою мысль о машинистках, которые «еще не успели».

— Ничего, все образуется, пока они будут печатать, мы закончим.— И, взяв меня под локоть, чуть ли не втолкнул в корпус и, не успел я опомниться, накинул на плечи халат; опутывая неведомыми волнами, повел прямо в свой кабинет.

И в это же самое время зазвонил телефон.

Это была Лина, я узнал ее голос.

— Пришел? — спросила она.

— Да.— Он посмотрел на меня.— Сидит передо мной, и я сейчас начну.

Душа ушла в пятки. «Сейчас начнет!»

В трубке защебетал голос Лины:

— Не забудь пригласить его вечером к нам! Увлечешься гипнозом и забудешь! Скажи ему сейчас и напиши наш адрес!

— Хорошо.

— Пиши, я жду!

По-моему, последнее слово предназначалось больше мне: она ждала.

Гипнотизер написал свой адрес и передал мне.

— Ваша просьба, мадам, выполнена.— И повесил трубку.

Переждав минуту, куда-то позвонил. Долго держал трубку, не касаясь ее ухом и как бы приглашая послушать и меня. Никто не отвечал. Уж не на работу ли Лины?

Как только повесил трубку, телефон зазвонил. Мужской бас заполнил кабинет:

— К вам невозможно дозвониться, срочно к главврачу.

— Подождите меня минутку,— сказал он мне,— я сейчас.

И вышел. Выходя, кинул на меня подозрительный взгляд и закрыл дверь; я услышал поворот ключа в замке, толкнул дверь — она была действительно заперта! «Капкан»,— подумал я, и мне стало не по себе. Снова раздался звонок, я тут же поднял трубку.

— Ушел? — Голос показался знакомым.

— Да,— машинально ответил я и в тот же миг понял, что это Лина.

— Выходи, я жду тебя!

— Но он запер дверь снаружи!

— На шкафу есть ключ, бери и открывай!

Провел рукой по шкафу — вот он, ключ. Быстро открыл дверь, положил ключ на место, осторожно выглянул — никого! Выскочил в коридор и бегом — к выходу... Так, помнится, удирал из школы. Не успел разбежаться, пришлось резко затормозить — я не поверил глазам! У входа в корпус, потирая руки и довольно улыбаясь, стоял, поджидая меня, гипнотизер.

— А я вот заждался вас... Что так замешкались?

Крепко сжал мой локоть и, как провинившегося ученика, повел прежней дорогой к себе в кабинет. Да, будто учитель застукал озорника. Во мне заговорило давнее, уснувшее, пришла на помощь школьная уловка, и я притворился, что ничего особенного не произошло.

— Вы ушли, и я решил, что задержитесь, вышел прогуляться.

Он замедлил шаг и с укором покачал головой. «А дверь?» — будто послышалось мне.

— И дверь открыта.

Как ему возразить мне? Ведь неудобно сказать, что он запер меня?

Он сел в кресло и молча уставился на меня.

— Когда вы покажете свое искусство? — Я обретал прежнюю форму, от замешательства не оставалось и следа. Гипнотизер ответил не сразу:

— Сейчас позвонят, я жду.

И в самом деле позвонили. Лицо гипнотизера просветлело. Но странно: подняв трубку, он не отозвался. Молчала и трубка.

— Может, я плохо слышу? — сказал он мне.— Пожалуйста, послушайте и вы.— Трубка оказалась между нами, повиснув над столом.

— Нет, и я не слышу,— ответил я, и в ту же минуту я почувствовал, как на том конце провода со злостью швырнули трубку. Что бы это означало? Если бы гипнотизер не расхохотался, я бы так и не сообразил, в чем дело. Ну и мастер!..

— Что же, вы блестяще продемонстрировали свое умение!

— Разве? — Он хихикнул.— А гипноз?

— Чего не видел, о том сказать не могу.— «Не очень уж гордись победой, друг! Это всего лишь временный успех!» Я хотел вложить в свою фразу именно этот смысл, и он дошел до собеседника. Лицо его стало суровым, и он напряженно сосредоточился на чем-то своем, неведомом мне.

— Пойдемте!

В душе зашевелился страх: на кой черт я согласился, чтоб меня гипнотизировали? Мало у меня забот, что ли? Но отступать уже было некуда.

— Внутрь я вас пустить не смогу, можете смотреть через это окошко в двери.

И только тут я понял: вовсе не меня он собирался подвергать воздействию гипноза, а лишь хотел показать мне свою работу. Что ж, смотреть — дело нехитрое.

В кроватях лежали дети. Гипнотизер, встав посреди зала, обратил к ним сосредоточенное лицо. Я видел его странно блестевшие глаза и по движениям выразительных губ догадывался, что он что-то внушает детям.

И дети стали засыпать. Но гипнотизер продолжал свой гипноз, что-то внушал и внушал спящим детям, и вот один из них, большеголовый и рыжеволосый, поднялся и полусонный подошел к стенке, опустил штаны и сел на стульчик, а потом встал и вернулся к кровати, лег и уснул.

И так по очереди каждый вставал и проделывал то, что и рыжеволосый.

Что сие означало, я понять не мог.

— И все? — спросил я его, когда он вышел. Он не ответил, не слыша, казалось, моих слов, и, сосредоточенный, с заметной бледностью на лице, повел меня к другой двери.

И я снова стал смотреть. На сей раз картина была иная: на невысоких табуретках сидели малыши, у некоторых были забинтованы руки, у других — ноги. На детских лицах застыли боль и страх. Будто только что из операционной. Я посмотрел на гипнотизера. В глазах его была решимость, борода то выдавалась вперед, то опускалась, губы четко повторяли рисунок фразы, весь облик повелевал и приказывал. И признаки боли постепенно стирались с детских лиц, исчезал страх, и вдруг забинтованные руки и ноги начинали шевелиться. Сначала в движениях детей чувствовалась неуверенность и скованность, затем ноги и руки, будто здоровые, стали сгибаться и разгибаться уверенно, без видимых усилий. Дети делали гимнастику, они улыбались и радовались, позабыв о боли.

Вот это дело — обезболивающий гипноз!

Гипноз, заставляющий забывать страдания и муки.

Когда он вышел, я его не узнал — лицо было усталым и потухшим, а губы — обескровленными и засохшими. Еле волоча ноги, он побрел в свой кабинет, а я — за ним.

— Что ж,— вздохнул он, садясь в кресло,— сегодняшними сеансами я доволен.

Я поднялся, чтоб уйти.

— Минутку! — попросил он меня задержаться.— Один звонок, и вы свободны!

Набрал номер и, услышав голос, повесил трубку. Вне сомнений, он звонил Лине.

— Нет, сегодня определенно мне везет. Вы не находите?

«Издевается!..— подумал я.— Ну и пусть радуется! А мы подождем до вечера».

12

> Из густой черной косы она отделила лишь три волоска, вместо саза прижала их меж упругих грудей и заиграла, глядя вслед улетающим журавлям, запела...
>
> *Из народного сказания*

Еле дождался вечера — не терпелось увидеть Лину. Вышел, остановил такси, достал из кармана бумажку, чтобы сказать шоферу, куда везти, и ахнул: бумажка была чистая! Я — в тот карман, в этот — тщетно! Адреса как не бывало... К тому же шофер включил счетчик, торопил.

— Забыл адрес, я сейчас!..

Я в подъезд. Поднялся домой, пересчитал карманы — никаких следов! Спустился к тете Лины, позвонил в дверь — никого! Хоть реви, хоть на стенку лезь: когда наступает полоса невезения, сливай воду, как говорит мой брат Асаф. Вернулся к таксисту, заплатил полтинник и поднялся на свой этаж. И телефона не знал, чтоб позвонить!

Ждут меня к семи, а уже половина восьмого.

Присел и уставился на телефон — авось зазвонит. И что вы думаете? Такой оглушительный раздался звонок, что я вскочил.

«Вы еще дома?!»

«Понимаешь, вашего адреса у меня не оказалось».

«Но вам ведь написали?»

«В том-то и дело, что написал он, положил мне в карман, но, понимаешь ли, бумажка чистая!»

«Ах!..— взорвалась она и крикнула на мужа: — Вместо адреса ты положил ему в карман чистую бумажку!»

«То есть как это чистую бумажку?! — в свою очередь возмутился муж, и я услышал в трубке его голос, обращенный ко мне: — Поищите как следует!»

«Ей-богу, чистая!»

«А я говорю вам, поищите как следует!»

Тон был столь повелительный, что я положил трубку рядом с телефоном и снова полез в карман. Вот она, бумажка; хорошо, что не выкинул, будет вещественное доказательство моей невиновности!.. Развернул, и — что за чертовщина? — на бумажке четко был написан их адрес!

Трубка на тумбочке кричала:

«Ну как? Нашли?»

Я вынужден был признать свою оплошность.

«То-то! В другой раз будьте повнимательней!»

Но трубка была уже в руке Лины:

«Немедленно приезжайте!»

Не успел положить трубку, как телефон снова зазвонил. Это была опять Лина:

«Прочитайте-ка адрес!»

Прочел. Все правильно.

Снова взял канистру, в которой горючего оставалось еще на целую компанию, и выскочил на улицу ловить такси.

По дороге купил букет роз у земляка,— спасибо им, круглый год снабжают цветами столицу,— и доехал наконец до желанного дома.

Номер, подъезд, этаж... Позвонил. За дверью были слышны веселые голоса, компания была в самом разгаре. Уж не день ли рождения Лины? Или... еще продолжаются поминки? Но сколько можно поминать? В любом случае я был неплохо вооружен: в одной руке канистра, в другой — розы.

Открыла дверь полная розовощекая девушка и, взяв из моих рук цветы, впустила в прихожую.

— А это канистра с вином! — сказал я, отдавая ее в чьи-то руки.

— Проходите, проходите!..— пригласили меня, и я прошел в большую комнату, полную гостей.

Из кухни доносились оживленные голоса, и я уловил Линин смех. Гости повставали, пропуская меня к голове стола, где мне было оставлено место. Следом за мной над головами поплыла канистра. Переходя из рук в руки, она вызывала восторги и шутки.

— С таким горючим,— сказал кто-то,— любой мотор заработает!

Что правда, то правда.

Я оказался в микрокомпании, и соседи взяли меня под свое попечительство — налили водку, наполнили тарелку закуской. Слева от меня сидела белолицая красивая девушка с густой русой косой на спине, справа — мужчина с седыми усами и высокой седой шевелюрой. Народ был почти незнакомый, за исключением одного грузного мужчины с одутловатым лицом и пунцово-красными щеками, которого я встречал на поминках. Встретившись с ним взглядами, мы с некоторой грустинкой кивнули друг другу как старые

знакомые. В его глазах я прочел то ли извинение, то ли оправдание: «Ничего, мол, не поделаешь. То на поминках мы, то на свадьбах!..»

«Что-то Лина задерживается на кухне,— подумал я.— И встречать меня не вышла!» Не видно было и гипнотизера. Наверное, помогает Лине... Соседка слева со смешинкой в глазах взглядом кольнула меня, и тут в голове, как молния, блеснула-осветилась мысль: уж не сыграл ли гипнотизер со мной злую шутку?! Не спрятался ли он с Линой, чтоб проучить меня? Ему ведь ничего не стоило настроить ее против меня? Он мог ей сказать: «Вот видишь, какой он? Наглый лгун он — вот кто! — И передразнить: — «Чистая бумажка!..» Какой поклеп! Просто не хотел приезжать!»

И у Лины достаточно оснований для обиды. И потом: охота гипнотизеру срамиться перед столькими людьми! Определенно упрятал он Лину, как пить дать!.. «Поглядим, что будет дальше»,— подумал я, постепенно осваиваясь и входя в ритм веселья. Молния вспыхнула и погасла, и туман окутал меня. Девушка чуточку была похожа на Лину. Уж не двоюродная ли сестра? Но тогда почему ее не было на поминках? Дело не в этом: меня чем дальше, тем больше потрясала хитрость гипнотизера,— ведь надо же, посадил меня именно рядом с молодой красивой девушкой, чтобы отвлечь, отдалить от Лины! Но меня не проведешь, я буду предельно вежлив, и только!

После нескольких беспорядочных тостов — компания никем не управлялась — я бросил клич:

— Выпьем за любовь, ибо все мы — дети любви.

Дружно зазвенели бокалы. Мужчина с седыми усами нахвалиться не мог «горючим», и я решил спросить у него о Лине. Хитро сощурив правый глаз, он промолчал и тут же, будто укоряя меня, спросил, почему я опоздал? Я сослался на такси, а он укоризненно покачал головой:

— Вам, молодым изобретателям, все некогда, все спешите, и без такси вы вовсе пропали бы! — И предложил: — Давайте выпьем за успех ваших начинаний!

«Значит, знает!» — подумал я и в свою очередь сказал:

— Если бы не помощь хозяина дома и его супруги...

Сосед недослышал меня, подхватил мою мысль и, встав, обратился ко всем сидящим:

— Наш уважаемый гость предлагает выпить за здоровье хозяев, дай бог им здоровья, да будет всегда полон

друзьями их дом, и, естественно, чтоб и мы среди них восседали, ели, пили!

Я прервал его:

— И с тем непременным условием, чтобы сами хозяева были всегда вместе со своими гостями!

— Отличное добавление, к месту сказанное! — поддержал сосед и потянулся ко мне дрожащей рукой: — Будьте здоровы!

Отсутствие Лины беспокоило меня. Решил спросить свою соседку:

— Почему Лина не с нами?

Она улыбнулась многозначительно:

— А вы растягиваете одну рюмку на целых два тоста! Так не годится!

Я выпил.

— А все же где Лина?

— Думайте о присутствующих! Или с нами вам неинтересно?

Ничего себе фразочка! Приглашают, а сами уходят. Ей, видите ли, хочется, чтоб я не думал о Лине! Каков гипнотизер-то!

Во время танцев я снова спросил у соседки о Лине:

— Пили, ели, танцуем, а хозяйки все нет и нет.

— А вам с нами скучно? Какая вам разница — она или я, ее двоюродная сестра?

Это был открытый вызов! Такого коварства и вероломства я от гипнотизера не ожидал: подсунул мне своего человека, и как ловко она одурманивает меня! Я не сдержался:

— Это козни гипнотизера!

Она перестала танцевать и вмиг стала тяжелой, удивленно вскинула свои тонкие брови, но тут же снова, легкая как пушинка, закружилась сама и закружила меня, партнера.

— Все вы одинаковые, стараетесь околдовать нас! Но я не из податливых!

Хочет, бедняжка, возбудить во мне интерес, но меня не проведешь, эти тактические уловки гипнотизера я уже раскусил.

И я пошел в открытое наступление:

— Он просто спрятал ее от меня!

— А меня выдвинул вперед, да?

Ну вот, и сама призналась во всем! Зло взяло на Лину — пригласила и исчезла с мужем!

Напарница у меня была чуткая, догадалась о моей обиде.

— Вы так много думаете о моей сестре... А не боитесь ее мужа?

— Немножко побаиваюсь. Когда остаюсь с ним наедине. Гипнотизер все же. — Танцевать и говорить было трудно, но прерывать танцы, когда играет музыка, тоже не хотелось.— А при вашей сестре не боюсь. При ней его гипноз не действует. Во всяком случае, до вчерашнего дня. Но сегодня он победил. Иначе я танцевал бы сейчас с нею.

Грубо прозвучали мои слова, хотя я этого не хотел. Девушка обиделась и отяжелела в танце. Но обида длилась недолго, с новой волной танца тотчас растаяла, испарилась; это, конечно, от широты натуры, я убежден.

И уже улыбка заиграла на ее губах:

— Вы точно сказали о его гипнозе. И я догадывалась. Особенно, когда остаешься наедине, будто хочет влезть в душу.

Танец кончился, и я хотел проводить ее к открытому широкому окну, чтобы кое-что разузнать, но в сутолоке она улизнула от меня. Стал искать глазами знакомого мужчину с малиновыми щеками, с которым мы были на поминках, но наперерез мне вышел и преградил дорогу худющий высокий юноша лет семнадцати. С застенчивой улыбкой, излучавшей свет, он пригнулся ко мне.

— Простите,— сказал он,— я случайно услышал, как вы говорили о гипнозе.

— Ну да. А что?

— Я тоже очень интересуюсь проблемами гипноза.

Еще бы! На то ты и родственник гипнотизера, чтоб гипнозом увлекаться!..

— В каком аспекте? — спросил я.— Тоже лечебном?

— Нет,— ответил он,— в мифологическом.

Это было ново.

— Знаете,— продолжал он, преодолевая робость,— трудно найти человека, который бы не подвергался воздействию гипноза, вернее, его богов. И в этом смысле мы все ходим под гипнозом.

Не по годам философствует юнец!.. С головой парень.

— Интересно,— подбодрил я его.

И он стал развивать свою идею:

— Боги эти — близнецы-братья, и оба — дети ночи. Вначале на нас воздействует один, а затем мы переходим под покровительство другого.

По выражению моего лица он уловил, что я ничего не понял.

— По мифологии,— пояснил он,— один из братьев-близнецов каждую ночь сыплет из рога на землю сон, и мы засыпаем, а другой брат, бог смерти, погружает умерших в сон вечный.

— Хорошо и доходчиво ты рассказываешь, спасибо! А может, ты мне и растолкуешь, почему я не вижу твоего родственника гипнотизера?!

Юноша опешил:

— А у меня нет родственника гипнотизера.

— Я говорю про гипнотизера-врача, хозяина этого дома.

— Хозяин дома — мой отец, а он не врач и не гипнотизер, а физик.

— То есть как?!

Наш разговор привлек внимание гостей, нас внимательно слушали и седоусый мужчина, и тот, с малиновыми щеками, и сестра Лины. Гости как-то странно приутихли, не сводя с меня глаз.

— А разве маму твою...— И осекся: у Лины ведь не было детей!

— Маму мою зовут Светлана Осиповна.

— Не Лина, значит...— сказал я машинально.

— Нет, Лана,— ответила та, которую я считал сестрой.

На лицах застыло недоумение.

— Но постойте! — Я обратился к знакомому мужчине: — Разве мы с вами не были на поминках?

Мужчину чуть удар не хватил.

— Какие поминки? — Он замахал руками.— О господи!..

— Ой-ой! — Я больно стукнул ладонью себя по лбу.— Я перепутал адрес! Меня же в другом месте ждут!..

Сквозь взрыв хохота кто-то возмущенно бросил:

— Дурацкая нумерация! Все путают корпус!

— Да я же...

Но отовсюду доносились дружелюбные возгласы:

— И очень хорошо, что мы познакомились!..

— Вы наш гость, и мы вас никуда не отпустим!

А кто-то настойчиво объяснял другому, и до слуха моего донеслось:

— Он спрашивает о хозяевах, а я не понимаю, что за Лина? Вот так история!..

Меня окружили тесным кольцом, я хотел вырваться, но гости не унимались:

— Раз пришли, оставайтесь до конца!

— Милые, дорогие мои!.. — А все казались мне давнишними знакомыми.— Меня ведь ждут!

— Недаром чуяло ваше сердце, что это — проделки гипнотизера! — Моя соседка потянула меня за рукав пиджака, чтоб я обратил внимание на ее слова.

— Ай как нехорошо получилось! — убивался я.— Нет, я не могу оставаться, мне надо спешить!

С трудом пробился сквозь тесное кольцо, будто вырываясь из крепких объятий, выскочил на площадку этажа и загрохотал по лестнице.

— Гость,— услышал я вслед,— вы не назвали своего имени!

Я выбежал на улицу.

Из открытого окна до меня донесся смех. Я обернулся и замер — окно на всю свою высоту было облеплено и забито круглыми розовыми головами.

— Вернись, гость!..

— Гипнотизер...

Голоса потонули во взрыве хохота, будто волна толкнула меня в спину, и я пустился бежать.

Только у метро я опомнился и пришел в себя. Куда бежишь? Что случилось? Не гонятся же за тобой?! Постой, передохни, успокойся!.. Был двенадцатый час. Доставая платок, чтоб вытереть потный лоб, я нащупал бумажку с адресом. Вернуться, что ли? Но какими глазами я взгляну на Лину? А когда вспомнил заполненное круглыми головами окно, и вовсе пропала охота возвращаться. Я сунул бумажку в боковой карман, и тут рука задела другую бумажку — чистый листок, так нелепо помешавший мне.

Делать нечего, оскандалился я крепко,— сел в метро и поехал домой.

У подъезда столкнулся лицом к лицу с тетей. Увидев меня, Ольга Васильевна вся раскачалась, как маятник.

—Ай-йай-йай!.. Развлекаетесь, а бедная Линочка с мужем места себе не находят, извелись, ожидая вас!.. Приехали сюда, ждали, ждали, только что ушли... Лина очень на вас обижена! И в милицию, и в морг звонили!

Это уж слишком!

— Ай-йай-йай!

Поди докажи ей, что адрес перепутал,— не поверит

ведь! И сам бы не поверил — видишь, что перепутал, выходи, ищи, не маленький!

Я молчал, и молчание мое было не в мою пользу. Ольга Васильевна стояла, заслонив собой вход в подъезд, и с укором качала головой:

— Ай-йай-йай!..

Зло взяло на нее: и без того тошно, ноги от усталости подгибаются, а она стоит, преградив дорогу.

— А вы видите наверху бога? — спросил я.

— Бога? — Ее укор сменился настороженностью.

— Да, бога! И в руке у него большущий рог!

Она отступила чуть назад и в замешательстве, готовая к новым неожиданностям, осторожно спросила:

— А разве у бога есть рога?

— Я говорю — рог! И держит его в руке! А почему бы и не быть рогу?! Бог чуть его пригнул, и каплет из рога на грешную землю сон — кап, кап, кап...

Ольга Васильевна и вовсе отошла в сторону, освободив мне путь.

— И не стыдно вам? Разве можно столько пить? — И снова за свое: — Ай-йай-йай!

Я вышел из себя:

— Это же бог гипноза! Поймите, мифология это!..

13

Пусть скажет саз. Если словом поведаю — язык загорится.

Из народного сказания

. . . .

14

Горел, горел, черным фитильком стал...

Тоже из народного сказания

Вслед за мной из широкого окна катились-скатывались круглые, как колобки, головы...

И я в страхе проснулся. И, проснувшись, не мог больше уснуть. Казалось, вот-вот усну, но сон не шел. И на

живот лягу, и на бок повернусь, и на спине вытянусь — никак не удавалось найти удобное положение. Смех звенел в ушах, сверлил голову. И в сердце была боль...

Гипнотизер жонглировал головами. Сразу пятью. Но одна выскользнула из его рук, покатилась и стукнулась о землю. Я вздрогнул и проснулся. Гулкое биение сердца отдавалось в ушах. Я перевернул подушку, чтобы почувствовать горящей щекой холодный верх наволочки. Будто в голове упрятали мотор. И никак не спастись от шума.

На лбу выступил холодный пот. Я почувствовал, что бледнею. Сердце разрывалось, вот-вот перестанет стучать. Я лег на спину и начал делать глубокие вдохи и выдохи.

Нет, еще одна такая ночь, и я, как говорит Асаф, отброшу копыта. И знать никто не будет!.. Пока хозяин сообразит, придет, и вовсе истлею...

Гипнотизер шевелил губами и говорил непонятные слова. Захотелось схватить его за бороду; я выбросил вперед руку, но он ловко вывернулся. Со второй попытки шелковая борода оказалась у меня в кулаке, и я потащил ее к себе. Гипнотизер резко подался назад, и вдруг голова вместе с бородой оторвалась от тела и осталась в моей руке.

И в третий раз я в ужасе проснулся. Сердце выскакивало из груди.

Бежать!

Надо бежать без оглядки из этого дома!

Я заставил себя встать и скинуть с плеч близнецов-братьев, детей ночи. Уж не собрался ли один из них сдать меня другому на вечное хранение?.. Нет уж, нас голыми руками не возьмешь!.. Страх постепенно угасал, но еще не прошел окончательно.

Я быстро собрал вещи, набил портфель томами, и на миг передо мной предстало довольное лицо Князя, я даже услышал его скупую похвалу.

Князь вернул меня к реальности, а вскоре засветился краешек летнего неба.

Я был готов.

Деньги — под будильник, дверь — на замок, ключ — назад в квартиру через щелочку для газет.

Пути к отступлению были отрезаны.

Такси.

В предрассветный час зеленый глазок горел очень уж ярко.

— Домодедово! Скорей!

— Все куда-то спешат!..— Словоохотливый, по пассажиру истосковался.— А куда, и сами не знают.

Я бросил на шофера удивленный взгляд, а он и не смотрит на меня, ему отвлекаться нельзя.

— Имитация активной деятельности!

Каково, а? «Имитация»! Начитался книжек! Для полного комплекта любителей поучать не хватало как раз таксиста, и он отыскался.

— Жми!

Успеть бы!

Машина стремительно неслась к аэродрому.

Хорошо, когда дорога впереди свободная.

Рассказал земляк по-азербайджански, перевел автор на русский язык.

(Диалог с Серьезным Читателем, два монолога — Сердитого и Сердобольного Читателей и об одном случайном совпадении.

— Волчок... Щепка... Имитация... Хвостовой отсек самолета... И так далее!..

Выстроены в ряд абсолютно серьезно.

И потому молчу.

— Любил ли Алексей Ламию, а Ламия Алексея?

— Еще как!.. Ольга Васильевна это от ревности, а Салтанат-ханум в плену, так сказать...

— ...предрассудков?

Кивнул головой: раз серьезно спрашивают, надо и серьезно отвечать, ничего не поделаешь.

— А самосожжение?

— Вы что?! Никакого самосожжения! Облили, благо рядом керосиновая лавка. Месть! Из тех, о которых Салтанат-ханум рассказывала...

— А он, равнодушный, не хотел слушать! Шутка ли, какая шла борьба...— Снял серьезные очки и стал аккуратно вытирать стекла белоснежным платком.

— Как можно?! Алексей? Ламия? Какая тут любовь?! Это черт знает что! Лину, эту акробатку!.. И Князя-Нияза, и Пал Палыча, и Костю!.. И его самого!.. И что за погремушки из народного сказания?! Вы что?!

— ?

— Глумленье над матерью?! Над чужим горем?! На поминках — флирт?.. Да я акробатку эту!..

— !

— Он добрый, он неплохой, неужели не видно, никому никакого вреда, никому не откажет, болеет за работу, а как беспокоится о матери, прилетел, не пожалел ни времени, ни себя, ну... оступился, запутался, но люди-то вокруг какие, и Дурсун, и мать, и брат, помогут,— камень обтесается, не то что живая плоть.

Начинать сначала? Тем более что занавес, который я крепко держал руками за спиной, разрывался,— всем не терпелось заново сыграть свои роли.

Поток есть поток, а щепка есть щепка.

Потоп? Или я ослышался?

При чем тут потоп?!

Между прочим, совпадения заглавных букв читателей чисто случайное,— на азербайджанском языке они тоже начинаются на одну букву, вернее, дифтонг «дж»: «джидди» — «серьезный», «джинни» — «сердитый», «джаняндыран» — «сердобольный».)

ИСИ МЕЛИК-ЗАДЕ

(Род. в 1934 г.)

МУЖЧИНА В ДОМЕ

Извел его этот гвоздь — сверлит и сверлит пятку. Он шел, припадая на левую ногу, правой едва ступал. Гачаю даже казалось, что он слышит, как этот проклятый гвоздище пропарывает ему кожу. Будь его воля, уселся бы прямо тут, у дороги, стащил бы эти чертовы сапоги — еще ведь и велики на целый номер — и зашвырнул бы их куда подальше!.. Хорошо, хоть Сахибов не видит, уж наверняка отчитал бы: «Разве это милиционер?! Сгорбился, скрючился — где твоя выправка?!» Гачай распрямил спину и настороженно глянул по сторонам: никого. И звуков никаких, одни кузнечики; томительно-монотонно стрекочут они, спрятавшись в колючей изгороди. Тихо, все вокруг словно вымерло, лишь раскаленная завеса марева, колеблясь, поднимается с земли...

И вдруг — на секунду Гачай даже забыл про пятку — вода! Ему представилась вода — холодная, только что из колодца. Сестра стоит на веранде, ждет его. Медный кувшин с длинным носиком уже полон, на гвозде — чистое махровое полотенце. Как только он покажется в воротах, Акча возьмет кувшин в руки и с кувшином в руках будет ждать, пока он подойдет. А когда он, умывшись, станет вытирать лицо, сестра скажет: «Чай я заварила — будешь пить? Или, может, воды холодной, кувшин давно в колодец опущен». Он взглянет на ее руки, огрубевшие от бесконечных домашних дел — хлопочет с утра до вечера,— заглянет в большие, карие, чуть-чуть грустноватые глаза и мысленно повторит то, что всякий раз приходит ему на ум, когда он глядит на сестру: «Честное слово, Акча, таких, как ты, больше нет. Дай бог тебе счастья, сестра!»

Гачай зашагал быстрее, боль притупилась, пятка уже не мучила его, а вот дышать было нечем. Стоило только приоткрыть рот, сухой, раскаленный воздух мгновенно опалял глотку. Подумать только — всего лишь год назад он тосковал по этому щедрому, жаркому, беспощадно палящему солнцу. По колено проваливаясь в снег, он дул на окоченевшие пальцы и мечтал хоть немножко помлеть на солнцепеке...

Машина гуднула совсем близко. Вздрогнув от неожиданного звука, Гачай вскинул голову и едва успел отскочить в сторону. Он сразу узнал и зеленую «Волгу», и кудрявого парня в черных очках; руль он держал небрежно, одной рукой. Круглое, губастое, насмешливое лицо мелькнуло за ветровым стеклом и исчезло. Все исчезло, скрылось в пыли. Густые бледно-желтые волны с головой накрыли Гачая. Он затаил дыхание, зажмурился, но и зажмуренными глазами видел черные квадратные очки и толстые кривящиеся губы...

Машина давно укатила, и пыль давно улеглась, а Гачай все стоял, не двигаясь, во рту полно было пыли.

— Ладно, Панах, я тебе и это припомню! — Гачай сплюнул, отряхнул пыль с рубахи и пошел дальше. Эх, догнать бы его! Схватить подлеца за шкирку... Выдать ему по первое число, а потом сказать: «Иди! И запомни: плевать мне, что твой отец — директор торга! Ясно?»

И очки с него сорвать. Обязательно сорвать очки. Сломать их к чертовой матери! Потому что, если б не эти огромные черные очки, Панах, может, и не так бы задавался. Гачай вздохнул. Нельзя. Не придется ему рассчитаться с Панахом. И очки ломать не придется — нету у него такого права. Ведь не докажешь, что этот папин сынок нарочно его окатил пылью. А хоть и докажешь — к ответственности за это не привлекают. Запросто отговорится: «Дорога пыльная — по воздуху, что ли, летать?» И все сразу навалятся на Гачая. И Сахибов будет недоволен: «Забыл, что я тебе говорил, когда принимал на службу? Милиционер — это прежде всего выдержка. Милиционер охраняет покой и безопасность граждан. А главное — милиционер превыше всего должен ценить честь мундира. Говорил я это?»

А разве он возражает? Он все до последнего слова помнит. Не такой Сахибов мужик, чтоб его слова мимо ушей пропускать. Начальник районного отделения — он на этом деле собаку съел.

Гачай свернул в переулок. Сейчас затявкает. Каждый раз, когда он проходит здесь, за кирпичной стеной звякает цепь и собака принимается лаять. Потом раздается сердитый окрик, и над стеной появляется голова Антиги. Секунду Антига молча глядит ему в глаза, улыбается и исчезает. Мгновение длится ее улыбка, но от этой мгновенной улыбки у него весь день радостно на душе. Сколько раз он видел во сне Антигу, и всегда сон начинается одинаково: за стеной брякает цепь и пес взрывается лаем...

Гачай привычно глянул вверх, на стену, но почему-то увидел вдруг толстые, красные, приоткрытые в усмешке губы. Гачай удивленно поднял брови, дивясь неожиданной разгадке. Вот, значит, дело-то в чем. Вот почему Панах все время к нему цепляется... И пылью нарочно окатил. Ясно... А чего ж это пес не лает? Не учуял? Гачай затопал сильнее, сразу заныла пятка.

— Проклятый гвоздище! — пробормотал он.

За стеной звякнула цепь. Пес несколько раз лениво брехнул. «Лает! — удовлетворенно подумал Гачай.— В такую жару и то лает! По шагам узнает». «Молчать! — послышался за стеной женский голос.— На место!» Наверху, там, где из кладки выпало несколько кирпичей, показались две белые руки. Тонкие пальцы обхватили верхний кирпич, напряглись...

Гачай остановился. Сердце замерло, сладостная истома прошла по всему телу... Снова взгляды их встретились. Антига улыбнулась и исчезла. А улыбка ее осталась с ним...

Свернув в свой тупичок, Гачай сразу направился к колодцу. Опустился на колено и, ухватив тонкую скользкую веревку, стал вытягивать опущенный в колодец кувшин. Казалось, сто лет пройдет, пока вытянет он этот кувшин!

Вытянул. Поставил его — влажный, в холодных каплях — на колено. Вытащил тряпочную затычку. Обхватил кувшин обеими руками и пересохшим ртом припал к горлышку. Пил, пил, пока хватило дыхания. Потом тыльной стороной ладони вытер подбородок, шею и, обернувшись, взглянул на веранду. Сестры не было, хотя кувшин с длинным носиком и махровое полотенце были на месте.

Отец полулежал на топчане под шелковицей, опершись локтем на продолговатую подушку — мутаку. Гачай подо-

шел к топчану и, положив на колени фуражку, присел в ногах у отца. Тот встрепенулся.

— Пришел, сынок? — сказал отец и поднял к нему мутные, затянутые пленкой глаза.

Микаил много лет не различал даже света, но сына он узнавал безошибочно. Иногда Гачаю начинало казаться, что отец все-таки видит — если ему что-нибудь было нужно, он шел точно туда, где лежала вещь. Будто сам, своими руками разложил по двору все, что ему может понадобиться.

Гачай поглядел на сваленный под деревом камыш, на новую, только что сплетенную корзину и снова, в который раз, подивился отцовскому упорству. Сидит целый день, скрестив ноги, и плетет, плетет... Кому сейчас нужны камышовые корзины? Весь дом завален корзинами, весь двор — на крыше корзины, на деревьях корзины... Корзины дарили, раздавали соседям, но их становилось все больше и больше, и невозможно было ни избавиться от них, ни хотя бы сложить в одно место.

Отец открыл табакерку и стал не спеша закручивать цигарку. Гачай посмотрел на его белесые глаза, устремленные куда-то в пустоту; даже зрачков нельзя было различить под пленкой... Отец зажал цигарку зубами. Достал спички. Указательным пальцем чуть передвинул цигарку. Зажег. Дым облизал его пожелтевшие усы, пополз по щекам... Какая-то странная, едва уловимая улыбка бродила по заросшему щетиной лицу. Когда отец затягивался, его синеватые губы чуть заметно подрагивали. Он радовался, будто какой-то проблеск мелькнул наконец в окружавшей его непроглядной тьме...

Отец откинулся на мутаку и, приподняв голову, улыбнулся. Гачай смотрел на его неровные почерневшие зубы и никак не мог сообразить, в чем дело — откуда эта скользящая робкая улыбка.

Гачай положил фуражку на топчан и встал. Поднялся на веранду, стащил сапог с больной ноги. Крови не было, чернела засохшая ранка.

— Умывайся, сынок!

Он и не заметил, как подошла мать с кувшином в руках. Набрал в пригоршню воды, плеснул в лицо. Потом вымыл руки, шею. Снял с гвоздя полотенце.

— А где Акча? Чего-то не видно ее...

Мать вроде бы слегка смутилась. Взглянула на закрытую дверь.

— Где Акча? — повторил Гачай.— Не заболела?

Мать молчала, словно хотела испытать его терпение. Поймала его встревоженный взгляд, улыбнулась. Гачай разозлился: чему она ухмыляется?..

— Акча дома,— вполголоса сказала мать, кивнув на закрытую дверь.

— А чего она там? Почему не выходит?

— Отец ничего тебе не сказал?

— Ничего.

— Сваты приходили.

Он повесил полотенце на гвоздь. Взглянул на мать.

— Какие сваты? От кого?

— От Джахида.

Гачай удивленно вскинул брови. Джахид? Джахид... Это кто ж такой? Вроде и нет никого подходящего с таким именем... Пожал плечами.

— Ты что, Джахида не знаешь? — Мать говорила тихонько, боясь, что услышит Акча.— Певец Джахид, у Бике живет. Он нездешний, месяца два как приехал.

Странная, смешанная с беспокойством радость вдруг охватила Гачая — блаженная истома, похожая на ту, что испытывал он всякий раз перед домом Антиги. Он не знал, как ему подобает вести себя сейчас, что нужно сказать матери. Прислонился к столбу, подпиравшему крышу веранды, и взглянул на отца, по-прежнему полулежавшего на топчане. То-то он разулыбался — хитрец!..

Значит, Акча выходит замуж. И больше не будет поджидать его в полдень на веранде. Не нальет воды в этот медный кувшин и не опустит в колодец другой, фаянсовый, наполненный питьевой водой. Ну что ж, пусть уходит. Может, хоть тогда порозовеют у нее щеки, растает печаль, застывшая в глубине глаз...

Сын задумался, и мать не стала ни говорить ничего, ни спрашивать. Накрыла скатертью стол, принесла обед. Гачай пододвинул табуретку, сел. Взял ложку и без особой охоты начал хлебать довгу. Никак он не мог разобраться в своих ощущениях, путаных, противоречивых, беспокойных. Вроде сестре повезло — совсем уж отчаялась выйти замуж — Акча ведь на шесть лет его старше,— и вот наконец сваты. Он знал, что сестра сидит за стеной совсем рядом, а выйти стыдится. Боязно, вдруг не сумеет скрыть свою радость... А может, Акча и не очень-то рада? С чего ей так стремиться за Джахида? Гачаю хотелось расспросить об этом сестру, потолковать с ней, и в то же время

он чувствовал, что и сам боится встретиться с ней взглядом. Вроде неловко, совестно...

Гачай отыскал молоток, взял с пола сапог и стал забивать гвоздь.

Тревожные, путаные мысли не оставляли Гачая, до самой милиции все думал об этом. Как мать отнеслась к сватовству? Отец-то вроде доволен... Джахид... Что он за человек? В район приехал недавно, живет по соседству, у Бике, дружит с ее сыном, музыкантом. Вместе ходят по свадьбам: Джахид поет, Сулейман играет. Говорят, голос у Джахида хороший... Он немолод, постарше Акчи, во всяком случае на вид.

Подойдя к высокому каменному забору, окружавшему здание милиции, Гачай придирчиво оглядел себя, поправил фуражку, приосанился и толкнул тяжелую красновато-коричневую дверь. Майор Сахибов сидел во дворе на скамейке. На той же скамейке, чуть поодаль, сидел старшина Джанали и что-то рассказывал майору. Гачай подошел ближе и по уставу приветствовал начальника. Тот перекинул из руки в руку маленькие черные четки, скользнул взглядом по запыленным сапогам Гачая...

— Явился, Кёроглы? — сказал он и обернулся к Джанали.— Ну и что ж дальше?

— А дальше, товарищ начальник, Израиль открыл огонь, Египет ответил...

— Не Египет, а арабы.

— Правильно, товарищ начальник, арабы. С обеих сторон есть убитые и раненые.

Сахибов глядел на четки, не переставая перебирать их.

— Ну а еще чего вычитал?

— Вьетнамцы самолет американский сбили. Вот мужественный народ — такой силищи не побоялись!

Гачай отошел в сторонку. Ему уже было известно, как дальше пойдет разговор. Изложив важнейшие газетные новости, Джанали скажет: «Что касается нашей страны, товарищ начальник, положение отличное. Планы выполняются и перевыполняются».

Майор помолчит, не отрывая глаз от четок, потом озабоченно покачает серебристой головой: «Не получается у меня газеты читать... Такая напряженная работа...» — махнет рукой и со вздохом поднимется со скамейки.

С тех пор как начальником отделения назначили Сахибова, у Джанали прибавилось забот — каждый день старшина должен был внимательно прочитывать газеты и сообщать начальнику последние новости. Джанали нравилась новая его обязанность, и, если б ему разрешили, он с удовольствием сделал бы чтение газет главным своим занятием.

Гачай внимательно поглядел на Джанали: двигая острым подбородком, тот старательно пересказывал прочитанное. На муравья похож этот Джанали: худой, маленький, черный... Вечно он занят, вечно торопится, всегда у него дел по горло. То окапывает деревья возле милиции, то вставляет стекло, то укладывает в стену выпавшие кирпичи. В милиции он с незапамятных пор. Давно, когда Гачай еще был маленький, Джанали состоял конюхом при милиции. Кони у него были хороши: ухоженные, сытые — повозку издали узнавали.

Джанали сменил форму, на боку у него появился наган, но сам он не менялся нисколько, он всегда был такой же: тщедушный, маленький, сухонький. И раньше на запавших его щеках росли эти редкие мягкие волоски, и раньше голова у него была такая же плешивая и он так же старательно нахлобучивал на нее фуражку. Изменилось только одно — Джанали теперь управляет не лошадьми, ему выдали мотоцикл с коляской.

Сахибов сунул четки в карман, встал и взглянул на Гачая.

— Ну, Кёроглы, как дела? — Начальник улыбнулся. Гачай вытянул руки по швам, щелкнул каблуками.

— Все в порядке, товарищ майор!

— Жена недавно звонила. Загляни, чего ей там надо... твоей сестрице Саяд...

Гачай обрадовался: вот, Сахибов опять обращается к нему с просьбой, а чужого не больно-то попросишь. Милиционеры так и снуют, а майор если что нужно, только к нему. Приятно.

Гачай шел быстро. Сапоги, великоватые, «на вырост», громко топали по раскаленному асфальту. Ему доставляло удовольствие хоть что-нибудь сделать для Сахибова. Конечно, майора все любят, все уважают, но что до Гачая, так, прикажи ему Сахибов умереть, ни минуты бы не задумался: так бы вот прямо и потопал, как сейчас. Хороший человек Сахибов, святой человек! Он не просто начальник, он, можно сказать, отец родной сотрудникам. Ну

в самом деле — стал бы другой подчиненного сынком называть!

Возле большого дома Сахибова свалена была в тени целая груда пней. А, теперь ясно — дрова. В прошлую пятницу он уже рубил здесь такие пни...

Гачай снял фуражку, стащил с себя форменную, зеленую рубаху, повесил на сук. Поплевал на руки, взял топор. Ногой повернул пень, пристроил поудобней. Занес топор над головой и со всей силы — бух!

— Пришел? — послышался с веранды женский голос.— Поднимись-ка сначала к нам, чайку выпей...

— Спасибо, я пил.

Гачай поглядел на стоявшую в дверях рослую полную женщину и застенчиво улыбнулся. Жена Сахибова была уже немолода, с заметной проседью, и он вполне мог бы назвать ее «тетя Саяд». Но Сахибов там, в отделении, почему-то сказал «сестрица Саяд»... Сестрица так сестрица... Женщина ушла в комнату; полы широкого, одноцветного, старившего ее халата развевались на ходу.

Гачай снова взялся за топор. С первым пнем, небольшим и плоским, он расправился быстро.

Из окна доносились звуки пианино. Играла дочка Сахибова. В прошлый раз, когда он колол дрова, она тоже играла на пианино. Девушка училась в Баку в институте иностранных языков, сейчас приехала на каникулы.

Гачай положил топор на плечо и прислушался; сердце млело от нежных томительных звуков, волнами лившихся из окна. «Вот бы Антига умела так играть!..»

Ладно, если стоять да музыку слушать, тут и до вечера не управишься. Гачай снова принялся за пни. Странно звучали удары топора, смешиваясь с ласковыми звуками пианино. Пот тек у Гачая по шее, ручейком лился меж лопатками, а он все колол. В прошлую пятницу Сахибов даже удивился, сколько он пней разделал: «Да ты настоящий Кёроглы!» И руку положил на плечо. С тех пор только так и зовет. Когда майор в первый раз назвал его Кёроглы, Гачай даже вздрогнул — ему почему-то взбрело в голову, что это Сахибов про отца. Но такая широкая, такая ясная улыбка разлита была по лицу майора, что он сразу успокоился — у начальника и в мыслях нет обидеть его. Кёроглы! А неплохо звучит — пускай бы все так называли. Тут только одна неясность: мог ли Кёроглы колоть топором дрова? Тогда ведь небось и топоров-то не было...

Гачай уже кончал есть, когда мать подсела к столу. Он так и не решился завести разговор про сестру — духу не хватало. Все надеялся, что мать начнет, а она помалкивает. Вот и сейчас: сидит, бахрому перебирает. Рано или поздно она, конечно, заговорит. Не может не заговорить — просто момента подходящего ждет. Значит, надо создать этот подходящий момент.

Он встал, прошел в угол к раскладушке, лег. Заложил руки за голову и задумался... За стеной в одиночестве сидит Акча. Свет не горит в ее выходящих на веранду окнах; темно и на веранде, и во дворе. Для отца, который дремлет сейчас на своем топчане под шелковицей, темнота не имеет значения. Скорей всего он даже и не спит. Лежит и размышляет о своей засидевшейся в девках дочери...

Мать прибрала со стола, пододвинула к раскладушке скрипучую рассохшуюся табуретку, села. Гачай хотел было подняться, но она тихонько положила ему на грудь маленькую холодную руку.

— Лежи, сынок, лежи. Ты устал...

— Извини, мама.— Гачай снова опустил голову на подушку.

Мать взглянула на темное окно, задернутое снизу занавеской, вздохнула.

— Ты днем так ничего и не сказал, сынок...

— А что я могу сказать? Вы родители, вам решать...

— Нет, сынок, ты хозяин. Ты мужчина в доме.

Гачай вздрогнул. Мужчина? Он всегда считал себя мальчишкой: двадцать два года всего. Борода еще толком не растет. Усики только зимой пробились, шелковистые, реденькие, когда-то станут они настоящими усами, жесткими и густыми?

Интересно... Значит, он действительно вырос, он мужчина, хозяин дома? Как быстро... Всего месяц назад, когда он еще не знал, чем заняться, хозяином дома был отец. Теперь все определилось, он при деле, и тяжкая ноша ответственности за семью легла на его плечи.

— Как вы с отцом решили? — спросил Гачай, дивясь, что не может подавить дрожь в голосе.— Согласны?

— Согласны,— не раздумывая, ответила мать.

Гачай почувствовал раздражение. «Торопятся! За кого ни отдать — лишь бы с рук сбыть. Ведь понятия не имеют, кто он, этот Джахид».

— Бике очень его расхваливает,— сказала мать, види-

мо угадав его мысли.— И скромен, говорит, и вежлив. И одинок — нет никого. Он, правда, был женат, но жена умерла...

— Значит, за вдовца отдаем?

— Ну а что же делать-то, сынок?

Гачай понимал, что крылось за этим жалобным, пожалуй, даже раздраженным вопросом. В их огромном районе жениха для Акчи не нашлось, никто на нее не позарился. Гачая это не переставало удивлять: что, у парней глаз нет?

— Джахид не хочет тянуть со свадьбой...— Мать говорила тихо, опустив глаза, положив руки на колени.— Как осень наступит, сразу чтоб свадьба. А до осени-то много ль осталось? Месяц какой-нибудь...— Мать вздохнула.— Бике говорит, Акчу надо выдать как положено. Приданое надо дать... приличное, чтоб сразу жить по-человечески. Жених сейчас не при деньгах, Бике ему пока комнату отдает. Потом дом будет строить. Я думаю, она права, приданое нужно. Мебель надо купить. Импортную...

— Почему обязательно импортную?

— Бике говорит — импортную... Мода сейчас такая. А раз мода — что ж мы, хуже других? Одна ведь она у нас, единственная... Ее, бедняжку, и так судьба обошла. У других в ее годы трое, а то и четверо бегают...— Мать снова вздохнула.— Сундук у меня полон, все для дочки припасла. А вот мебель...

Мать ждала долго, но Гачай все молчал. И тогда она сказала главное, ради чего завела весь этот разговор.

— Ты уж подумай, сынок, обмозгуй, как с мебелью устроить... Надо достать...

— Ладно, мама, достанем.

И так он это сказал, словно мебель у него давно приготовлена, поедет завтра и заберет.

Весь день Гачай ходил сам не свой. Черт дернул его пообещать! Где он возьмет эту мебель? Купить? А на что? На какие шиши? Месяц как на работу поступил, за душой ни копейки. Мать тоже хороша — неужели не понимает? Мебель — это не кило орехов — пошел на базар да купил!

Вообще-то, конечно, все образуется — достанет он эти деньги. Из-под земли добудет. На худой конец занять можно. Будут откладывать отцовскую пенсию, из его зарплаты немножко, подкопят и вернут долг. Что же теперь делать — ради сестры и не на такое пойдешь.

Ближе к полудню, отпросившись у Сахибова, Гачай решил сходить на склад. Ему не раз говорили, что Таптык — заведующий складом райторга — хороший мужик, всегда готов помочь.

— Я к вам с просьбой, дядя Таптык.

Крепко сжимая в руках связку ключей, Таптык смотрел на Гачая большими круглыми глазами.

— Рад служить.

— Есть у вас импортная мебель? — Гачай глядел на широкую грудь стоявшего перед ним человека и дивился, как его короткие маленькие ножки носят такое большое, грузное тело.

Таптык заложил руки за спину и звякнул ключами.

— И чего все на импортной помешались?! Наша нисколько не хуже, клянусь хлебом! Магазин ломится, а никто не берет.

— Дядя Таптык, мне нужна импортная мебель. Очень нужна. Именно импортная.

Завскладом вздохнул. Двумя пальцами оттянул ворот мокрой, прилипшей к животу рубахи, похожей на женскую кофту, и, надув толстые щеки, дунул себе на грудь.

— На складе ничего подходящего, клянусь хлебом! Импортную полгода не получали. Но скоро должна поступить. Болгарская.

— Можете продать мне один гарнитур?

— Это уж как директор. Импортную мебель Бахыш сам распределяет... Разрешит, я — что, я — пожалуйста. Сходи к нему, сынок, он тебе не откажет. А Бахыш разрешит — все, можешь считать, твоя мебель.

Когда Гачай вошел к Бахышу, в кабинете было несколько посетителей — человек пять. И хотя все они стояли, директор, не переставая подписывать лежавшие перед ним бумаги, сразу кивнул Гачаю на стул. Ручка у Бахыша была четырехцветная, размашистая подпись занимала чуть не полстраницы.

Гачай оглядел широкую светлую комнату — у Бахыша он был впервые. Справа от большого полированного стола — высокий железный сейф. Рядом — тумбочка, на ней лежит соломенная шляпа. Гачай давно приметил, что директор райторга всегда одет с иголочки. Брюки отглажены, галстуки каждый день разные. И обязательно шляпа. Гачай скользнул взглядом по тронутому оспой лицу Бахыша. Темная родинка на конце хрящеватого директорского носа, казалось, вкраплена была тушью. Гачай перевел взгляд

на синеватые отвислые губы, и мороз продрал его по коже: губы Панаха!

Это он, Панах. Навалился на полированный стол и, оттопырив толстые губищи, четырехцветным карандашом ставит размашистые подписи. Очков только нет... Оглушительно гуднув, зеленая «Волга» пронеслась мимо, и все исчезло в беловатом облаке пыли... Обитая кожей дверь, полированный стол, сейф, тумбочка, люди, стоящие у стола... В сплошной непроглядной белизне темнели лишь длинные пальцы Бахыша, сжимающие четырехцветную ручку.

Гачай посмотрел на темную родинку, венчавшую нос директора, и вытер лоб. Посетителей в кабинете уже не было. Больше всего Гачаю хотелось встать и уйти, но он всеми силами старался подавить в себе это желание. И подавил, с корнем вырвал его из сердца и зашвырнул подальше, за белую завесу пыли, только что сплошной пеленой застилавшую ему глаза... Улыбка на лице Бахыша придала Гачаю смелости, он стал излагать свою просьбу, не очень-то даже запинаясь.

Директор торга не дал ему закончить.

— О чем может быть речь?! Сделаем. Конечно, сделаем! А ты что, жениться надумал?

— Да нет... Я пока... Собираюсь, конечно...

— Правильно. Так и нужно — заранее. Ну а как отец? Давно я о нем ничего не слышал. Как он, здоров? Я ведь его должник. По гроб жизни обязан... Ты передай отцу: Бахыш его доброты не забыл. Да... Вот так...— Директор торга постучал пальцами по столу, и Гачай понял, что разговор окончен.

От Бахыша он вышел такой довольный, словно все было уже решено, все сделано, все трудности остались там, за обитой коричневым дерматином дверью. О деньгах, которые еще надо доставать, совсем не хотелось думать. На сердце было легко. Вроде и небо стало совсем другого цвета. Много все-таки на свете хороших людей: Сахибов, Бахыш, Таптык... Джанали тоже очень симпатичный. А что плешивый — это ерунда.

В общем, Гачай ног под собой не чуял. Шел и думал о том, как обрадует отца с матерью. Сестра тоже будет рада. Она бы небось даже обняла его, если б не стеснялась. Гачай уже начинал свыкаться с мыслью, что он человек основательный — хозяин дома. А что? Так оно и есть. Если б иначе было, Бахыш с ним и разговаривать бы не стал. Да

и Таптык сразу прогнал бы. А они оба слушали его, улыбались ему, обещали. Может, это из-за его формы? А, пускай! Форма — она тоже чего-нибудь стоит!

Что это Бахыш под конец сказал: обязан, мол, по гроб жизни?.. Чего такого мог сделать для него отец? Чуть не первый человек в районе, вся торговля у него в руках, и по гроб жизни обязан слепому Микаилу? Может, Бахыш путает его с кем-нибудь, ведь он же сказал, что давно не видел отца? А вообще-то, хоть раз Бахыш к ним заходил? Вроде нет... Может, раньше, когда отец еще видел?..

Так размышляя, Гачай дошел до базара. В самом его начале, там, где выстроились в ряд мастерские и магазинчики, стояла зеленая «Волга». Заднее стекло задернуто было занавеской. Гачаю не нужно было и на номер смотреть, машину он узнал сразу.

Из пошивочного ателье со свертком в руках вышел улыбающийся Панах. Очки были на нем. Маленький веснушчатый портной проводил его до машины. Панах сел и захлопнул дверцу. Машина медленно тронулась.

Настроение было испорчено. Безотчетная радость, минуту назад переполнявшая сердце Гачая, бесследно исчезла. Место ее занял вопрос: «А на какие шиши куплю я эту чертову мебель?»

Гачай понимал, что, если б не зеленая «Волга», проклятый вопрос, может, и не полез бы ему в голову. Черт бы подрал этого Панаха с его «Волгой» и с его очками! На каждом шагу в глаза лезет! На каждом углу торчит! Не сидится балбесу дома. Ведь в Баку уехал, в институт поступил. Так нет же, выгнали, говорят, с преподавателем подрался. С третьего курса выгнали. На два года старше Гачая, а в армии не служил. И работать нигде не собирается, только и знает на машине гонять. Врезать бы ему как следует! Гачаю почему-то казалось, что, если б он хорошенько врезал Панаху, все сразу встало бы на свое место. Ощущение это становилось все сильнее, злоба душила Гачая. Он и сам не мог понять, с чего его так разобрало — знал одно: Панах во всем виноват.

Мотоцикл с коляской проскочил мост и, оглушительно тарахтя, помчался прямо на Гачая. Напряженные нервы не выдержали — Гачай вскинул вверх руку.

— Стой!

Мотоциклист затормозил как раз против него. Это был мужчина средних лет с сединой на висках.

— Здравствуй! — сказал он. Заглушил мотор и, щуря глаза от солнца, улыбнулся Гачаю.

— Чего ты разгрохотался? Носишься как угорелый на своей тарахтелке!

— Не говори так, сынок. Тарахтелка знаешь как выручает!

Мотоциклиста звали «Тощий Гейдар»; на удивление худой, он вполне оправдывал это прозвище. Гейдар всю жизнь проработал на почте. Куда только не гонял он на своем мотоцикле: сегодня в Баку, завтра в Шэки. По пятницам Тощий Гейдар всегда ездил в Шушу на Исибулак. Он и охотник был неплохой, и рыбу любил ловить.

Гачай подошел к коляске, приподнял брезентовый кожух.

— Это что у тебя? — спросил он, показывая на большую кожаную сумку.

— Рыба.

— Где ловил?

— В Белом озере. Дать парочку?

— Продавать будешь?

— Какая там продажа, бог с тобой! Ребятишкам везу.

— А известно тебе, что в Белом озере ловить запрещено?

Гейдар улыбнулся:

— Рыбу? С чего это? Она ж ничья. Никто ее не кормит, не поит...

Скорей всего именно эти его слова и заставили Гачая нахмуриться. А тут еще он вспомнил, что за время работы в милиции не привел ни одного нарушителя.

— Давай в отделение!

Гейдар не понял.

— Слушай, какое отделение? При чем тут отделение?

— При том. В Белом озере ловля рыбы запрещена!

Гейдар внимательно поглядел на Гачая: парень не шутил.

— Чего я такого сделал, сынок? — Гейдар больше не улыбался.— Рыбу ловить запретили! Это ж придумать надо! — Он выразительно покрутил пальцем у виска.

Теперь Гачай по-настоящему разозлился: грабит народное достояние, а сам дурачком прикидывается! Не выйдет у тебя номер: закон есть закон!

Он сел на заднее сиденье.

— Давай в милицию!

Гейдар через плечо покосился на него.

— В милицию так в милицию — подумаешь! Нашел чем пугать! Честных людей хватаете!

— А ну езжай!

Гейдар плюнул и взялся за руль. Мотоцикл так рванул с места, что Гачай чуть не брякнулся на мостовую. Хорошо, успел схватиться за Гейдара...

Остановились у милиции, Гачай вытащил из коляски сумку с рыбой. На скамейке сидели милиционеры.

— Видали — разбойника поймал! — выкрикнул Гейдар, обращаясь к ним за сочувствием.

— А ты не шуми,— успокоил его Джанали.— Разберемся. Посмотрим, чего ты натворил...

Гейдара привели в одну из пустых комнат.

— Это что ж выходит? — возмущенно сказал он и пнул ногой брошенную на пол сумку.— Из-за такой ерунды в милицию таскать?

— Не шуми, не шуми, здесь не базар,— наставительно сказал Джанали.— Садись.— Он указал Гейдару на стул.— Садись и отвечай на вопросы, которые...

— Я не вор — на вопросы отвечать!

Джанали подошел поближе и, сделав серьезное лицо, сказал строго:

— Ну ладно... Сейчас я тебя допрошу.— Не отрывая глаз от Гейдара, он стал деловито закатывать правый рукав рубахи.

Гейдар остолбенело глядел на него. Краска сползла с его лица, кадык так и ходил под темной сухой кожей.

— Слушай, ты все-таки думай, что делаешь...— Дрожащей от негодования рукой Гейдар тронул подбородок и попытался улыбнуться. Улыбки не получилось, лишь дрогнула кожа на щеках.

Джанали деловито закатывал рукава, широко расставив ноги. Гейдар не отрываясь смотрел на него; видно было, что и страшно ему, и стыдно...

«А вдруг ударит?» — мелькнула в голове у Гачая. Он обеспокоенно взглянул на старшину... В маленьких глазках Джанали сквозила улыбочка. Гачай осторожно взял его за руку.

Дверь отворилась. И сразу как гора с плеч — на пороге стоял Сахибов.

— Что случилось? — невозмутимым голосом спросил начальник отделения.

— Задержали, товарищ начальник! — отрапортовал Джанали.— С рыбой!

— Пройдемте в кабинет,— сказал Сахибов.

Прошли в кабинет начальника. Сахибов выслушал рапорт, кивнул: «Можешь идти». Гачай вышел в коридор.

В коридоре ждал Джанали, Гачай схватил старшину за руку.

— Слушай, ты что, бить его хотел?

Джанали взглянул на Гачая. Хитрющая улыбка притаилась в щелках его глаз.

— Да я в жизни никого не ударил,— сказал он, с трудом выпрастывая руку.— Просто так — попугать... Если б не начальник, он бы у меня покрутился...— Джанали засмеялся и пошел к выходу.

Гачай поглядел ему вслед. Шея у старшины была красная, как после ожога.

Через несколько минут Гейдар вышел из кабинета. Он был бледнее прежнего. Скользнул взглядом по пустым, без знаков различия, погонам Гачая и презрительно отвернулся.

Вызвав Гачая, Сахибов предложил ему сесть. Потом собрал лежавшие на столе папки, сложил в стопку, отодвинул... Достал из кармана четки. И задумался, перебирая черные бусины.

— Бдительность — дело хорошее,— сказал он, глядя в одну точку.— Но раздувать копеечное дело... В преступление его превращать... Так не годится, сынок. Тощий Гейдар виноват, совершил нарушение. Но вина небольшая, вполне можно простить. А раз можно, то почему же не простить?..

Майор умолк. Гачай не отвечал, потому что ничего не понял. Он думал сейчас о том, что вот Сахибов — начальник, любое дело может решать по своему усмотрению, а он объясняет, советуется... Не зря, видно, Джанали говорит, что Сахибов им всем — отец родной.

Майор положил четки на стол. Осторожно, словно боялся поцарапать, мизинцем почесал мясистый подбородок.

— Ну, положим, составим мы акт... Арестуем Гейдара. А какая от этого польза обществу? Таких, как Гейдар, воспитывать надо. Мы оштрафовали его, сделали ему внушение, он понял. Ты вот что запомни, сынок: наша задача не в том, чтоб побольше в тюрьму насажать. Мы прежде всего воспитатели. Ясно?

— Ясно, товарищ майор.

— И потом... есть такое понятие — человечность... Помогать нужно друг другу. Сбился человек с пути — на-

правь его на правильный путь. Объясни, укажи ошибку. Устрашать, сроки большие давать — это не лучший метод. Ясно?

— Ясно, товарищ майор! — Гачай слегка приподнялся на стуле и снова сел.

— Ты, сынок, вот что имей в виду. Если речь идет о настоящем, опасном преступлении, если затрагиваются интересы государства, тогда мы должны быть беспощадны!

Майор расстегнул верхние пуговицы рубашки. Гачай поднялся, встал по стойке «смирно».

— Разрешите идти, товарищ начальник?

— Иди.

Гачай вышел во двор, сел на лавку. Подумал. Вообще-то майор, наверное, прав, а все-таки наказывать за это надо. Сколько в Мильской степи джейранов было? Всех перевели. Теперь за рыбу взялись. Не будет в Белом озере рыбы, с кого тогда спрашивать?

Гачай сидел на топчане напротив отца и пил чай. Лунный свет, скользя меж ветвями шекловицы, освещал стоящие на маленьком столике чайник и сахарницу.

Отец послюнил палец, придавил им цигарку. Окурок зашипел и погас.

— Так, говоришь, обещал Бахыш?

— Твердо обещал. «Я,— говорит,— твоему отцу по гроб жизни обязан». Чего ты ему такого сделал?

Отец облокотился на подушку и поднял вверх лицо.

— Не помню уж... ничего особенного вроде не делал. Хлеба давал раза два... Еще когда война была. Я тогда в пекарне работал. Бахыш уже большой был, лет шестнадцати, а у него еще братишка младший... Мать умерла. Отец на фронте погиб, в сорок третьем... Как-то пришел ко мне, брат, говорит, голодный, хлеба просит. Глянул я на парнишку: обувки считай что нет,— а снег лежал по колено,— штаны все в заплатках. И вижу: стыдно ему просить — сил нет... Дал я парню немножко хлеба. У меня, бывало, оставалось... Не то чтоб оставалось, а бракованный хлеб случался: горелый или непропеченный... Бахыш раза два приходил. Потом перестал, видно, совестно стало... А братишка его так до весны и не дожил...— Микаил вздохнул, почесал заросшую щетиной щеку.

Гачай напряженно всматривался в его лицо; в застыв-

6*

ших, устремленных в небо глазах не было никакого выражения. Глаза — зеркало души, а в отцовских глазах не прочтешь, что у него на сердце. Может, потому так тяжело говорить с ним один на один.

— Работали день и ночь,— задумчиво продолжал старик,— а все равно не справлялись. Бывало, закатаю штаны и давай ногами тесто месить... А что делать? Помощников нет, а хлеб людям нужен. Выхода другого не было.

Отец часто рассказывал про это, и каждый раз, слушая его, Гачай думал, что великий грех — месить тесто ногами. И что, наверное, отец оттого и ослеп. И дети у него поумирали — из шестерых только двое осталось...

Когда Гачай уже устраивался на своей раскладушке, подошла мать. Молча раскрыла ладонь — в кулаке у нее зажаты были две монетки величиной с двугривенный; монетки ярко блестели в лунном свете.

— Возьми, сынок. Это золотые десятки. Отец берег их про черный день, а теперь пусть на свадьбу пойдут. Достанешь денег, доложишь... На, возьми!

— Ну, куда ты мне их? В кармане ведь не буду носить. Пусть пока у тебя.

Гачай откинул одеяло, лег.

Из соседнего дома доносились звуки кяманчи. Гачай прислушался — как он играет, этот Сулейман! И такой музыкант спивается. Сколько раз его Бике с улицы приволакивала. Надо же — прямо рыдает кяманча... Джахид, наверное, рядом сидит. Слушает...

Во дворе звякнули тарелки, Гачай приподнял голову — возле колодца Акча мыла посуду. Движения у нее были медленные, ленивые. Ни к чему ей сейчас эти тарелки. Помыслы ее там, в соседнем доме, откуда слышатся звуки кяманчи...

Все вокруг залито было белым лунным светом, но лицо сестры Гачай разглядеть не мог. А так хотелось заглянуть в карие ее глаза. Отчего-то вдруг стало очень грустно — подкрадывалась тоска. Не будет сестры, и темней, холодней станет в доме, поникнут, сгорбятся старики... Ладно, ничего не поделаешь. У сестры должен быть свой дом, своя семья. Все правильно.

Гачай повернулся лицом к стене и, как это случалось каждый вечер, сразу же стал думать об Антиге. Мысли об Антиге всегда начинались с одного места, с одной точки — с моста над ущельем.

Возле моста подстерег он тогда Антигу. Вытащил из кармана заранее написанное письмо, протянул ей.

— Антига, я завтра ухожу в армию.

Девушка молчала, глядя на свой портфель.

— Будешь меня ждать? — с дрожью в голосе спросил он.

Девушка кивнула. Гачай протянул ей письмо.

— Возьми прочти!

— Зачем мне письмо? Я же сказала: буду ждать.

Письмо уехало вместе с ним. Долго таскал он его в кармане гимнастерки. Потом письмо порвалось на сгибах, истерлось, рассыпалось на кусочки...

А когда прошло еще несколько месяцев, сестра сообщила ему плохую новость. Она писала, что Панах, сын Бахыша, увез Антигу. Выкрал ее сразу, как кончила десятилетку. Гачай долго ходил сам не свой. Все старался забыть Антигу, не думать, не вспоминать о ней. Когда месяца через три Акча сообщила, что Панах вернул девушку матери, эта новость уже не произвела на него особого впечатления.

Как-то вскоре после его возвращения у них в доме зашел разговор об Антиге, и Гачай узнал, что Панах даже не расписался с девушкой — родители наотрез отказались принять такую невестку. Мать его, Джавахир, во всем винила мать Антиги: с утра до ночи торчит в своем буфете, дочь целый день без присмотра. А если девушка предоставлена сама себе, ее и умыкнуть, и бросить — все с рук сойдет.

Когда после долгой разлуки Гачай снова увидел Антигу, он даже не понял толком, что́ теперь чувствует к ней. Почему-то ему сразу вспомнились губы Панаха: мясистые, красные, влажные. «Знал ведь, что я решил на ней жениться. И все-таки полез, подлюга! Чтоб он в пропасть свалился со своей «Волгой»!»

Гачай повернулся на другой бок. Акчи у колодца уже не было. Возле стены, похожая на скирду, белела груда корзин.

Кяманча Сулеймана звучала нежно, вкрадчиво, на самых высоких нотах...

Гачай закрыл глаза. Засыпал и думал, как было бы здорово: проснуться, и — чудо! — прямо ему на грудь падает пачка денег. Или по лотерее выиграть... Ведь достается кому-то счастливый билет, выигрывают люди...

Отец сидел под шелковицей и плел корзины. Почув-

ствовав, что Гачай направился к воротам, быстро поднялся.

— Сынок, отведи-ка меня к Бахышу!

Гачай обернулся к отцу, окинул взглядом длинную, чуть не до колен, ветхую выцветшую рубашку, тяжелые, грубые руки.

— Зачем! Не стоит тебе ходить. Я сам с ним договорюсь.

— А чего?.. Я бы его попросил...

— Не надо.— Гачай покачал головой.— Он и так все сделает.

— Ну, тогда захвати ему парочку корзин! — Волоча босые ноги, отец направился к сложенной у стены груде. Потоптался вокруг нее, на ощупь выбирая корзины.— На вот, отдай ему. Скажи, отец прислал. В хозяйстве пригодятся. Для фруктов, для овощей... И привет от меня передай, кланяется, мол...

Покусывая губы, Гачай молча смотрел на отца. «Чудак! Нужны Бахышу твои корзины!..» Но промолчал — нельзя обижать старика. Взял в руки по корзине, пошел. У ворот обернулся, отец стоял, прислонясь спиной к шершавому стволу шелковицы, и улыбался.

Ну как он сунется к Бахышу с корзинами? Разве это подарок для такого начальника? Куда хочешь, туда и девай теперь эти корзины! И, как назло, Сулейман с Джахидом навстречу! Гачай хотел было свернуть за угол, да уж очень любопытно было посмотреть на будущего зятя. Крепко сжимая корзины, Гачай исподлобья взглянул на Джахида. Тот тоже искоса глянул на него. В зубах у Джахида зажата была небольшая трубка. Гачаю это не понравилось. «Все они такие — артисты: форсить любят. Помрет он без своей трубки!»

Джахид был высок ростом, немолод — на висках уже сквозила седина. Вытащив изо рта трубку, он сказал что-то Сулейману и улыбнулся. Сверкнули два ряда золотых зубов. Гачаю и это не понравилось: наверняка ничего смешного нет, просто золото свое решил показать.

Кивком ответив на приветствие соседа, Гачай прошел мимо. Сделал несколько шагов, хотел обернуться, взглянуть. Не решился: «А вдруг и они обернутся?»

Остановился на мосту; неширокая мутная речка пересекала райцентр как раз посередине. Поглядел по сторонам — никого. Быстро швырнул корзины в реку и с независимым видом прислонился к перилам.

Он долго глядел, как маленькими корабликами ныряют и кружатся в мутной воде корзины. Наконец они скрылись из виду. Гачай облегченно вздохнул.

Чайхана расположилась в городском саду, с края, у самой дороги. С утра до вечера за столиками под акациями чаевничали любители. Приходили и просто так: посидеть, потолковать, провести время. Сейчас в чайхане тоже было полно народу. И почему-то сидевшие за столиками все разом обернулись и взглянули на Гачая. Почему, он понял лишь тогда, когда за одним из столиков увидел Тощего Гейдара. Тот что-то рассказывал, энергично размахивая руками.

«Меня честит... Ничего... Не нарушай, никто тебя не тронет». Гачай понимал, что он прав, но сознание собственной правоты все же не дало достаточной силы, чтоб выдержать недоброжелательные взгляды; пришлось свернуть в сторону.

В небольшом, недавно побеленном домике помещалась сберкасса. Справа от ярко-синей двери висел плакат, изрядно заляпанный известью; только внизу можно было разобрать большие красные буквы: «За тридцать копеек...» Гачай много раз видел этот плакат: и машину, и мотоцикл, и пианино... Раньше все это его не интересовало, а сейчас вдруг мелькнула мысль: «А что, если попробовать? Чем черт не шутит...» Гачай вошел в сберкассу. За деревянной перегородкой сидел пожилой худощавый кассир, белки глаз у него были желтые. Гачай попросил лотерейные билеты. Кассир выложил перед ним целую стопку: новенькие, хрустящие...

— Выбирай!

Гачай выбрал три: один снизу, другой сверху, третий — из середки.

— Зря ты Гейдара в отделение таскал,— тонким голосом сказал кассир.

— Он сам виноват,— сказал Гачай, подавая кассиру рубль.

— Стыдно это — людям пакостить,— сказал кассир и протянул Гачаю гривенник.

Гривенник Гачай не взял. Пошел к выходу, громко топая сапогами,— хотелось хоть чем-то досадить кассиру.

«Пакостить!.. Интересно, кому это я пакостил? Я выполняю свои обязанности. Нарушил — значит, виноват».

Гачай взял один из билетов, прочел, что на нем написано. Тираж в декабре, а свадьба через два месяца. Зачем же тогда ему билеты? Впрочем, оно и в декабре неплохо — долг отдать можно будет. Вот только у кого деньги взять? Где такой человек, чтоб ждал, пока он выиграет?..

Сахибов прохаживался по коридору, похоже, поджидал Гачая, потому что, как только тот вошел, майор сказал, указывая на закрытую дверь:

— Стой тут. Никого к этому спекулянту не впускай. Вернусь, сам буду допрашивать.

Начальник сел в машину и уехал.

Изнутри кто-то громко постучал в дверь. Гачай, не обращая внимания на стук, не спеша прошелся по коридору. Человек за дверью начал стучать сильнее. Он барабанил изо всех сил, и Гачаю уже казалось, что дубасят не по двери, а по его собственной макушке. Он слегка приоткрыл дверь, толстый человек со следами ожогов на лице высунулся из-за двери и поверх головы Гачая оглядел коридор.

— Ушел майор? — шепотом спросил он.

— Ушел.

— А что с моим товаром?

— Не знаю я твоего товара! — Гачай хотел закрыть дверь, но толстый придерживал ее.

— Слушай, он что, дело мне шьет? Срок дать хочет?! А чего я такого сделал?! Я ж для людей! В магазинах же ни черта нет стоящего, намучаешься, пока достанешь! Ведь не контрабандой торгую, нашим товаром! Слушай, сынок, открой!

Джанали показался на пороге.

— Вот, ей-богу! Никакого сладу с этим Муслимом!.. Опять влип, дурила! Чего он орет, дай гляну!

Гачай плотно закрыл дверь.

— Нельзя!

Старшина прищурил маленькие глазки.

— Мне нельзя?!

— Никому! Приказ майора.— Широко расставив ноги, Гачай загородил собой дверь.

Джанали покраснел и, словно впервые увидев Гачая, с ног до головы оглядел его, невысокого, широкогрудого... А Гачай стоял, опустив голову, и думал о том, что Джанали все-таки удивительно похож на муравья. Он вообще-то любил муравьев, вернее, ему нравилось наблюдать, как они работают, как тащат груз, во много раз превосхо-

дящий их собственный вес. Самые крупные из них муравьи — «всадники». Гачай подумал, что Джанали рожден был простым муравьем, потом подрос и стал муравьем-«всадником», а потом еще подрос и превратился в человека, в старшину милиции Джанали.

Джанали бросил взгляд на милиционеров, издали наблюдавших за их стычкой, и, пытаясь скрыть смущение, улыбнулся через силу.

— Тебя что ж, в армии так учили?

— Учили! — Гачай прислонился плечом к косяку.— Учили без рассуждений выполнять приказ старшего по званию!

Джанали с неподдельным удивлением поглядел на Гачая. И понял, что тот не шутит.

Бике заявлялась к ним каждый вечер. Каждый вечер о чем-то шепталась с матерью. Уходя, уже во дворе, Бике каждый раз громко, чтоб все слышали, провозглашала: «Мало времени-то осталось. Осень-то, она вот-вот... Уж вы побеспокойтесь».

Из всего, что она каждый вечер говорила, в сознании Гачая застревало только одно: «Времени мало... Времени мало... Времени мало...» Один раз ему даже приснилась осень. Осень явилась ему в человеческом образе: растрепанные волосы, бледное лицо, торопливые, лихорадочные движения... «Что ж ты, браток? Не готов еще? Как же так?»

Иногда Гачаю приходило в голову пойти к Джахиду и потолковать с ним по душам, как мужчина с мужчиной. Спросить человека, Акча ему нужна или приданое? Конечно, он скажет — Акча. Да хоть и скажет, мать ни за что не согласится выдать единственную свою дочь без импортной мебели. «Обычай есть обычай,— скажет она.— Слава богу, Акча не сирота, мы с отцом еще живы. Да и брат у нее не ребенок». Это, конечно, так, правильно, и все-таки иногда Гачая вдруг разбирала злость: «Чего ее угораздило ни с того ни с сего замуж? Почему сваты явились именно теперь? Ждали, пока брат станет на ноги?..»

На работе Гачай только с Джанали был более или менее близок, и потому после долгих размышлений пришел к выводу, что просить деньги надо у него. Правда, Джанали малость обижен, не пустил он его тогда к задержанному. Да ведь правильно не пустил: спекулянт, преступник,

три года получил за спекуляцию. Джанали наверняка давно уж простил его, он человек незлопамятный. Пойти к нему: «Дай, дядя Джанали, денег взаймы». А вдруг ответит, нет денег? Тогда сказать ему: «Какой же ты муравей, если без запасов живешь? Мотылек ты, мол, стрекоза, а не муравей...»

Гачай старался теперь поменьше бывать дома — вдруг мать начнет спрашивать про гарнитур. Правда, у него есть отговорка — мебель еще не поступила. Вчера встретил Таптыка, говорит, ждут, скоро поступит: «Будет тебе гарнитур, клянусь хлебом! Бахыш мне уже дал указание». Хорошо хоть, мебель задерживается, забыл кто-то отгрузить в их район. А что, если б ее совсем не привезли! Не станет же Джахид из-за мебели свадьбу откладывать.

Гачай наспех выпил стакан чаю и вышел во двор. Отец сидел у стены на маленьком ветхом своем тюфячке, в ватнике, со всех сторон заваленный тростником. Отец вставал рано, очень рано и сразу, даже не позавтракав, принимался за работу. Наверно, ему казалось, что мир рухнет, если он примется за корзины на пять минут позднее. Все ждет: откроется калитка, кто-то войдет во двор и попросит корзину. И скажет: «Пропали бы мы без тебя, дядя Микаил, дай бог тебе здоровья!» Но никто не открывал калитку, никто не спрашивал корзин... Скоро похолодает, и отец перенесет свой тюфячок на веранду. И тростник туда же перетащит. А когда выпадет снег, он постелет тюфячок у самой печки. И плести станет только маленькие корзины — они не так мешают. А если жена начнет ворчать на него, он улыбнется, покачает головой и скажет пословицу: «Береги солому, придет и ее черед». Тогда, отправив корзины Бахышу, он не преминул повторить эту пословицу. «Ну что я тебе твердил? — сказал он жене.— Пришло время, понадобились». Когда Гачай вечером пришел с работы, отец сразу спросил:

— Ну как, сынок, отдал корзины?

— Отдал.

— А что он сказал?

— Сказал, напрасно, мол, беспокоился. А еще сказал, что корзины первый сорт; в жизни не видел таких крепких, прочных...

— Это он правильно. Те две корзины я из прошлогоднего камыша сплел, плотные получились, как ящики,— хоть воду наливай.

Гачай стоял посреди двора, смотрел на громоздящиеся

у стены корзины, думал о том, что их вполне хватило бы для пшеницы с трех токов, и ему вдруг пришло в голову, что если бы все сплетенные отцом камышинки выложить в одну линию, она дотянулась бы до края света.

Он был уже далеко от калитки, а все прислушивался — как бы мать не окликнула... Но больше, чем матери, он боялся Бике. Вдруг эта женщина, каждый вечер напоминающая им, как мало осталось до свадьбы, выйдет наконец из себя и скажет ему напрямик: «Мужчина называется! Простого дела сделать не умеешь!» Ну этого, пожалуй, она не скажет, но что-нибудь в этом роде. Вообще-то, Бике может и не такое отмочить, в ругани она мужику не уступит.

Собака почему-то не лаяла и цепь не гремела. Гачай замедлил шаг, оглянулся по сторонам и затопал сильнее. Пес коротко гавкнул, и тотчас над стеной взметнулись две белые руки, хватаясь за кирпич, напряглись пальцы. Потом из-за стены показалась голова Антиги, и Гачаю подумалось вдруг, что это не живая Антига — ее изваяние. Там, за стеной, кто-то всегда поджидает его, и стоит ему поравняться с тем местом, где из кладки выпали кирпичи, этот кто-то поднимает изваяние над стеной.

Сегодня Антига больше, чем всегда, похожа была на изваяние, она не улыбалась. Навалившись грудью на стену, девушка пристально глядела на Гачая. И взгляд ее испугал Гачая: в нем были отчаяние и решимость. И она не торопилась исчезать. Гачай сам не заметил, как остановился. Стоял и пристально глядел на Антигу. Она была совсем другая, нисколько не похожая ни на худенькую смуглую девчушку, которая всего несколько лет назад прыгала и скакала, закинув за спину косы, ни на девушку, которая смущенно сказала ему тогда, не отрывая глаз от портфеля: «Зачем мне письмо? Я же сказала: буду ждать». Антига налилась, пополнела, чуть наметился второй подбородок, кожа на лице стала белей, прозрачней, и грудь выступала заметнее. Глаза тоже другие — грустные, ласковые и немножко усталые.

Гачай улыбнулся. Девушка, словно только и дожидалась этой улыбки, сразу бросила ему какую-то скомканную бумажку и исчезла. Гачай быстро наклонился, поднял — записка. Здесь ее читать не осмелился, решил — возле моста, пошел быстро, быстро, но все равно — терпения

не хватило, и, свернув за угол, он тут же достал из кармана бумажку. Мелкие, словно опирающиеся друг на друга буквы: «Пусть проклят будет тот мерзавец! Я ждала тебя, только тебя. И сейчас жду... С тобой хоть на край света».

Ни «здравствуй», ни «до свидания» — всего несколько слов. И прощения не просит: виновата, мол, перед тобой... Хочет, чтоб он поверил, что Панах силой ее увез. Нет уж, дураков нет. Кто это в наше время крадет девушек? А милиция, а закон? Брось эти штучки, Антига, так не бывает, сама ты с ним ушла, по доброй воле. И сразу вспомнилось письмо, которое так и не передал он Антиге два года назад. Вспомнилось, как таскал его в кармане гимнастерки, как каждый день доставал, читал, опять убирал в карман, пока не истерлось. И только когда буквы нельзя уже было разобрать, он наконец порвал свое письмо. Порвал его на мелкие клочочки, и холодный северный ветер развеял, унес слова любви, которые она так и не прочитала. А потом и мечты его развеялись да и сама любовь... Ну это уж после письма сестры...

Расстроился Гачай, припомнив все это. Горькие воспоминания были мучительны, доставляли боль, как незатянувшаяся рана. Только сейчас он впервые ощутил, что оскорблен, обижен Антигой, а ведь не было тогда в его сердце ни горечи, ни обиды. Злости и то не было, а уж так хотелось разозлиться. Потом все прошло: «Не любила она меня никогда. Потому и письмо не взяла, что не любила...»

И все-таки забыть, совсем забыть Антигу Гачай не смог, чуть заметной, незаживающей язвочкой сидела в сердце тоска, по временам начинала мучить. «На край света она готова! Нет, Антига, нам с тобой не по пути...» Гачай убеждал себя в этом со всей решимостью, но до сердца его решимость не дошла...

Гачай понимал, что нет у него в сердце ни злобы, ни ненависти, одна обида — ребятишки так обижаются на мать, на брата... Любит он ее, нечего себя обманывать. Если бы не любил, стал бы он думать, как ее лишний раз увидеть? Зачем, проходя мимо ее дома, он каждый раз топает, чтоб разбудить пса, а главное — почему, встретившись с Антигой взглядом, он сразу слабеет весь, и идти не может, и ноги у него трясутся?

Запутавшись в этих трудных мыслях, Гачай вдруг услыхал сзади сигнал, вздрогнул, огляделся. Зеленой

«Волги» поблизости не было, но все равно Панах сразу встал перед ним: насмешливая улыбка, влажные толстые губы... Если он приведет в дом Антигу, Панах не усмехаться, хохотать над ним будет, ленивый презрительный взгляд из-под черных очков всю жизнь будет преследовать Гачая: «Объедками моими услаждаешься... Я бросил, ты подобрал...» Ладно, с Панахом он справится. Он швырнет Панаха на землю, убьет, удушит его! А как быть с матерью? При одном упоминании об Антиге у матери кривятся губы. Можно себе представить, что она скажет, если он решит жениться на Антиге! «Жениться на этой шлюхе?! Женись, коли хочешь доконать мать! Женись, но знай: я умру, если она ступит на мой порог! Привести в дом девку, чья мать с утра до ночи толчется среди пьяных мужиков!.. Да если б она была порядочная, неужели Бахыш прогнал бы ее?!»

Гачай окончательно увяз в трудных, противоречивых, никогда раньше не приходивших ему в голову мыслях. Ладно, не стоит пока сушить себе мозги. Сейчас главная забота — Акча. Он должен достать для нее мебель. Выдаст сестру, свалит с плеч этот груз, можно и о себе подумать.

Гачай аккуратно сложил измятую записку Антиги и сунул в нагрудный карман кителя, рядом с новенькими лотерейными билетами. Проходя по мосту, взглянул на речку; вода прибыла и, мутная, илистая, текла теперь намного быстрее. Корзины отцовские скорей всего к берегу прибило, зацепились где-нибудь за кусты... Может, кто и выловил... А если не прибило к берегу? Плывут себе уточками где-нибудь по Куре. Интересно, могут камышовые корзины доплыть до моря?..

Гачай прошел мимо клуба — стена его вся была в подтеках от недавних дождей. За клубом начинался сад. В чайхане, как всегда, было много народу; столы стояли под акациями, их и в ненастную погоду все равно выносили наружу. Так вдруг захотелось посидеть, попить чайку, послушать, о чем толкуют эти всеведающие... Да небось все о нем и толкуют, правильно ли сделал, что Тощего Гейдара задержал. Незачем ему идти в чайхану. Да и расхотелось уже.

Возле столовой, где компании собираются только по вечерам, стояла зеленая «Волга». Панах разговаривал с кем-то, поглаживая рукой дверцу машины. Пуговицы его шерстяной куртки были расстегнуты все до единой, казалось, он демонстрирует проходящим новую полосатую ру-

башку. Как всегда, на носу у Панаха торчали черные очки. Гачай подумал, что глупо это — в дождливую погоду солнечные очки напяливать. Панах скользнул по Гачаю взглядом, что-то сказал стоящему рядом парню, и его мясистые губы дрогнули в улыбке. Гачай знал, что речь идет о нем, проходить мимо не хотелось, да куда денешься — не поворачивать же. Он опустил голову и пошел вперед, мысленно умоляя Панаха не трогать, не задевать его, потому что не выдержит он, измордует папиного сыночка!.. А тогда прощай импортный гарнитур!..

Гачай не отрывал глаз от своих сапог, он ничего не замечал, словно даже и понятия не имел, что этот тунеядец торчит тут со своей «Волгой». И вдруг тот громко захохотал. Приятель его тоже.

«Ничего, ничего, лишь бы помалкивал... Лишь бы не задевал!..» Гачай прошел еще несколько шагов и вдруг услышал нарочито громкое: «Мильтошка! На дороге всегда торчит!..»

Ноги сами собой остановились, сапоги сами собой прочертили на песке круг. Гачай быстро взглянул на Панаха, тот ухмылялся, держась рукой за ворот куртки. И сразу куда-то исчез, а вместо него появилась кожаная, вся в медных кнопках, дверь, длинный полированный стол, сейф, тумбочка, люди, стоящие у стола... Потом Гачай увидел темные пальцы, размашистую — с угла на угол — подпись... и голову Антиги; Антига, не мигая, смотрела на подпись Бахыша. Гачай тоже вгляделся в листок. «Пусть проклят будет тот мерзавец!» — по слогам прочел он мелкие, прислонившиеся друг к другу буквы. И сразу кабинет куда-то поехал, вещи повскакали, поднялись на дыбы...

Прыжок — и Гачай ухватил Панаха за ворот куртки: «Тебе что, милиция не по вкусу?!» Тот по инерции все еще продолжал улыбаться. Гачай изо всей силы тряхнул Панаха — черные очки слетели у него с носа. На секунду Гачаю показалось, что он держит за ворот самого Бахыша, еще бы вот только родинку... Панах стиснул зубы, взмахнул рукой. Удар пришелся Гачаю по плечу, Гачай ухватил Панаха за запястья.

«Мало времени-то осталось...» — услышал он вдруг шепот тети Бике.

«К черту время! И свадьбу к черту! Все к черту!» Гачай так крепко сжал Панаху запястья, словно хотел переломить их. Панах побледнел, лицо пошло пятнами. Он понял, что этот невысокий крепкий паренек опасен сейчас,

как горный поток. Прикусив губу от боли, он молча смотрел на широкую грудь Гачая, на вены, вздувшиеся на крепкой шее.

— Пусти! — сквозь зубы прошипел Панах.— Пусти руки, слышишь!

Гачай заломил ему руки за спину, хотел было дать пинка, но сдержался. «Выдержка — вот главное качество милиционера»,— наставлений Сахибова он не забывал.

— Пошли в отделение!

— Пусти руки!

— Не отпущу. Пойдешь в милицию!

Глаза Гачая горели такой решимостью, что Панах понял: добром не пойдет — Гачай потащит его в отделение.

— Отпусти руку! Сам пойду.

Только сейчас Гачай заметил, что вокруг них толпа. Люди выбегали из чайханы, из парикмахерской, останавливались прохожие...

— Идем! — Гачай выпустил руки Панаха.

Тот исподлобья глянул на него. Поглаживая покрасневшие запястья, набычившись, пошел следом. Поднять очки забыл, они так и остались в пыли.

Толпа окружила беспризорную «Волгу».

Докладывая Сахибову о происшествии, Гачай не мог унять дрожь, даже язык заплетался. Майор терпеливо выслушал его. Убрал в карман четки, помолчал. Потом взглянул на Джанали — старшина торчал в дверях, с нетерпеньем ожидая, чем окончится дело.

И вдруг Сахибов бухнул кулаком по столу.

— Ты почему милицию оскорбляешь?! Кто тебе право дал?!

Гачай вздрогнул от этого крика. Джанали уж чего не перевидал на своем веку — и тот заморгал. Панах стоял посреди кабинета, вытянув руки по швам, и изумленно глядел на майора. Сейчас пухлые его губы были бледны и плотно сжаты.

Начальник метнул на Панаха ненавидящий взгляд и поднялся из-за стола.

— За оскорбление милиционера я тебе такое устрою!.. Имя свое забудешь! Ты на кого надеешься, мерзавец? Думаешь, отец — ответработник, так тебе все позволено?

Панах хотел что-то ответить, но его бледные, без кровинки, губы лишь дрогнули и тотчас сомкнулись

Сахибов обернулся к Гачаю и всегдашним своим голосом сказал негромко:

— Ты, Бабиров, акт должен был составить. Прямо на месте. Свидетелям на подпись дать. Ясно? Такие дела надо оформлять по всей форме.

— А что я такое сделал? — Панах вдруг обрел дар речи.— Он первый полез. Он на меня давно зуб имеет.

В кабинет, запыхавшись, вошел Бахыш. За руку поздоровался с Сахибовым. Потом гневно глянул на сына.

— Мерзавец! Не будь здесь товарища майора, я бы тебе показал!.. Ладно, мы еще потолкуем!..

Панах молчал, не отрывая глаз от мысков своих коричневых туфель. Бахыш взял стул, сел, вытер платком лоб, взглянул на начальника отделения, улыбнулся. Темная родинка на кончике носа дрогнула.

— Как живешь-можешь, товарищ Сахибов? Такая меня злость разобрала, даже о здоровье не спросил. Чуть не лопнул со злости, ей-богу. Не приведи бог парня вырастить!.. Дочка, по крайней мере, дома, на глазах... О! Даже шляпу забыл снять! — Бахыш покачал головой, осторожно двумя пальцами снял велюровую шляпу и положил на колени.

— Бабиров! Выйдите пока,— Сахибов кивнул на дверь.— Оба выйдите. Я вызову.

В коридоре Панах сразу закурил. Несколько раз жадно затянувшись, он наконец начал приходить в себя. Гачай стоял, широко расставив ноги, в открытую дверь смотрел во двор. Джанали вплотную подошел к нему, шепнул на ухо:

— Тебе что, делать нечего? Ни за что ни про что врагов решил наживать? Вот дурачина, бить тебя некому! — И он осторожно опустил малюсенький свой кулачок на широкую спину Гачая.

Тот поглядел на морщинистую шею Джанали, с которой словно сошла кожа, и вспомнил, что собирался сегодня же попросить у него взаймы. Теперь уж, пожалуй, не понадобится...

Начальник вызвал Панаха. Тот бросил на пол окурок, ногой раздавил его и с серьезным, вроде бы даже обиженным выражением лица вошел в кабинет. «Не выкрутиться Панаху. И опять мне глаза колоть будут. Пусть! Должны же люди когда-нибудь понять: закон есть закон. А Панаху этому давно пора за решетку. Еще тогда должны были посадить, когда Антигу вернул, не расписавшись...»

В кабинет вызвали Гачая. Он одернул китель, пригладил волосы, вошел. Бахыш встретил его приветливой улыбкой.

Майор исподлобья посмотрел на Гачая.

— Миритесь! — сказал он.

Гачай ничего не понимал. Его растерянный, полный недоумения взгляд скользнул по лицу начальника и остановился, наткнувшись на густые кустистые брови.

— Мирись, мирись! — повторил Сахибов, видя, что Гачай никак не возьмет в толк, чего от него хотят.— Оба вы вели себя как мальчишки. Скандалить-то не из-за чего. Миритесь, и делу конец! — И майор дружески кивнул Гачаю.

— Ну, чего стоишь? — сердито прикрикнул Бахыш на сына.— Подай ему руку. Ну!

Не глядя на Гачая, Панах взял его правую руку и без всякой охоты потряс ее, большую, тяжелую, лишь час назад тисками сжимавшую ему запястье.

Гачай окончательно растерялся. Ошалело поглядел на Сахибова, потом на Бахыша...

— С тем делом все будет в порядке,— вполголоса сказал Бахыш.— Как товар поступит, Таптык тебе сообщит. Ну, что отец? Здоров он? Привет не забудь передать. Непременно, слышишь?

Бахыш взял сына за руку, и они вышли.

— Я не хотел при них,— сказал Сахибов, как только закрылась дверь,— а ведь твоя вина, Кёроглы. Ты накуролесил-то. Оказывается, девушку не поделили.

— Да что вы, товарищ майор? При чем тут девушка?

— Ну как же? Девушка, которую он тогда увез, она тебе кем доводится?

— Никем... Просто я с ней раньше...

— Ну вот — о том и речь. А личные отношения к работе касательства не имеют. Это называется использовать служебное положение. Вот так. Ладно, на первый раз прощаю. Можешь идти!

...Темные кудлатые облака скользили по небу, то и дело закрывая луну. И тень Гачая, стоявшего посреди двора, то укорачивалась, то удлинялась, то совсем исчезала. В воздухе чувствовалась сырость, собирался дождь...

Топчан под шелковицей был пуст, на него медленно, один за другим, падали с дерева листья... Было так тихо, что, казалось, в эту прохладную сентябрьскую ночь не спят только двое: он да еще Сулейман — из соседнего двора доносились протяжные звуки кяманчи. Потом кто-то начал негромко подпевать, наверное, Джахид...

Так что же все-таки получается! Неужели Сахибов ему не верит? Не верит, не понимает, что все это не случайно, что Панах все время к нему пристает? Да если б дело только в Антиге, он с этим подонком давно бы уже рассчитался. Сразу, как из армии пришел...

Гачай поправил наброшенный на плечи китель, вздохнул, покачал головой. Забыть надо эту историю. Думать только о сестре, о свадьбе. Акча теперь уже не пряталась от него — так, сторонилась немножко. Изменилась она. По нескольку раз в день без всякой, казалось бы, надобности расчесывала свои густые волосы. Вроде еще серьезней стала, сдержанней, молчит все время, а карие глаза сияют, и не может она утаить их радостный блеск...

Гачай присел на влажный топчан. А что все-таки ответить Антиге?

— Не спится, сыночек?

Гачай и не заметил, как подошла мать. Значит, и ей сна нет. А голос какой: печальный, тихий, словно у нее камень на душе — нет, нечего ему даже и мечтать об Антиге. И незачем отвечать на записку — зря только человека обнадеживать.

Мать присела возле Гачая. Помолчала, потом несмело, словно говорила со старшим, спросила:

— Сынок... Насчет Антиги — это как? Сестра твоя правду говорит?

Гачай вздрогнул и удивленно взглянул на мать. Черт бы подрал эту тень — совсем не видно лица! Попробуй пойми, какое у нее сейчас выражение. Он ничего не ответил.

— Я ведь знала... Давно еще... Еще когда ты в армию не уходил. Выходит, она тебе и теперь по душе? Эх, сынок, если б не тот подлец...— Мать помолчала.— Может, ты оттого и сон потерял, а? Ты, сынок, не думай пока про это. Выдадим Акчу, а там что бог даст. Ты о сестре позаботься. У нее ведь никого, кроме тебя...

— Так что ж... С сестрой все в порядке. Скоро получат мебель. С Бахышем я договорился. А деньги... Деньги я достану. Взаймы возьму.

— Возьми, сынок, возьми. Уж как-нибудь расплатимся. А насчет Антиги... Я что ж... Я не против. Девушка как девушка. Вот только мать... Сам смотри, сынок. Раз она тебе по сердцу...

Мать замолчала. Чуть склонив голову к плечу, сидела и слушала негромкую музыку, доносившуюся из соседнего дома...

Комок подкатил у Гачая к горлу. Так хотелось вскочить, обнять, прижать ее к груди — маленькую, сухонькую, тщедушную... Сделать это Гачай не решился. Сейчас он был даже рад, что у шелковицы такая густая, такая плотная тень; не будь этой тени, мать могла бы увидеть его лицо.

Гачай прохаживался по коридору — ждал, когда Джанали выйдет от начальника. Дальше тянуть нельзя — он должен сейчас же поговорить со старшиной насчет денег. Вдруг Таптык объявит сегодня, что мебель поступила, хлопай тогда глазами!..

Бике вконец извела их всех. На дню по три раза приходит. «Времени мало, времени не осталось»,— все уши прожужжала чертова баба!

А Джанали все не выходил. Гачай взглянул на часы. Надо же — полчаса торчит у начальника!

Вконец истомившись, Гачай тихонько подошел к кабинету, заглянул в приоткрытую дверь.

— Ну, Джанали,— услышал он негромкий голос Сахибова.— А теперь давай расскажи, что нового на нашей планете?..

Гачай пошел во двор. «Конь» Джанали стоял перед входом. Гачай теперь тоже умел водить мотоцикл. Джанали, как услышал, что Сахибов обещал дать ему машину, сразу посадил его на мотоцикл и повез за город. Выбрал местечко поровней, чтобы ни ям, ни кочек, и принялся учить. Поучил, поучил, а потом сел в коляску: «Давай теперь сам!»

Поездили полчасика, Джанали вылез, похлопал ученика по плечу. «Ну ты и огонь-парень! Я эту штуковину целый месяц объезжал, а ты враз!»

При виде мотоцикла Гачаю теперь каждый раз хотелось погонять на нем. Он и сейчас с великим удовольствием дал бы кружочков пять по двору, пока там международные проблемы обсуждают, да вспомнил, что ключи у Джанали в кармане. Сел на скамейку у входа. Стал ждать.

Джанали вышел от начальника не очень скоро, огорченный, словно студент, не сдавший экзамен. Сел рядом на скамейку, заложив ногу за ногу. Он вроде бы даже и не видел, не замечал Гачая, уж больно далеко были его мысли.

— Ты чего это расстроился, а? — тихонько спросил Гачай, боясь испугать его громким вопросом.— Чего ты, дядя Джанали?

Джанали перевел на него отсутствующий взгляд. И вздохнул. Так вздохнул, что плечи поднялись до самых ушей, а тонкая морщинистая шея вся ушла в воротник.

— Эх, Кёроглы... Опять войной пахнет, в мире неспокойно... Газеты читаешь? Ну вот. Не сидится мерзавцам, крови хотят! Натравляют народы друг на друга. Спросить бы у них: чего вам неймется, сукины вы дети?!

— Думаешь, будет война?

— Да понимаешь... Боятся они нас, их одно это останавливает. Им только спуску дай, завтра все на распыл пустят!

— Это верно. Все равно не пройдет у них номер. В случае чего мы их быстро приведем в чувство.

— В случае чего... Нет уж, не надо этого случая. Молод ты, войны не видел, вот и говоришь. Ты у отца спроси, какая она, война. Я буду голодный ходить, босой, раздетый, только чтоб войны не было! — Джанали закинул ногу на ногу и положил руку на спинку скамьи.— У меня дочка в Баку учится. Самая младшая. Кончит институт, сразу на пенсию уйду. Отдыхать буду. Во мне та война до сих пор сидит. По всему телу, чуть непогода...

Гачай понял, что пора переводить разговор в другое русло. Не станешь просить взаймы, когда у человека такое настроение. Вот только чем бы его отвлечь?

Джанали вздохнул. Взялся за козырек фуражки, приподнял ее и нахлобучил поглубже. Гачай впервые увидел его голову, лысую, в красных пятнах. Да, не зря Джанали так старательно прячет ее под фуражку.

— Дядя Джанали! Ты под какую музыку плясать любишь: под быструю или медленную?

Гачай и сам не знал, чего ему взбрело в голову спросить такое, а Джанали так даже рот открыл от изумления. Вроде и не совсем понял.

— Ты про что?

Вопрос был дурацкий. Гачай это сам понимал, да куда теперь денешься?..

— Я говорю, какую музыку больше любишь — медленную или...

— А чего это тебе на ум пришло?

— Ну, просто ловкий ты очень, быстрый, пляшешь, наверно, здорово?

— Вообще-то да...— Джанали смущенно потупился; рот его растянулся в довольной улыбке.— Это ты точно, музыка меня иной раз прямо до костей пробирает, хоть быстрая, хоть медленная. А насчет того, чтоб плясать... Не пробовал, вроде неловко при народе. Так, один если... Иной раз начнут по радио танцы играть, погляжу — никого нет — и давай! Получается, хотя, конечно, не очень. То про руки забудешь, то ноги отстают.

Джанали повеселел, оживился, глаза заулыбались. Вполне уже можно было приступить к разговору, вот только с чего начать?..

— Слушай-ка.— Джанали пихнул Гачая локтем в бок.— У меня в коляске арбуз лежит. Тащи-ка его сюда!

Когда Гачай вернулся с огромным полосатым арбузом, Джанали сидел не на скамье у входа, а в сторонке, под акацией; складной нож с длинной ручкой был уже наготове. Гачай сел рядом. «Как только примется за арбуз, сразу и скажу».

Джанали сначала постучал по арбузу, потом поднес его к уху, сжал...

— Красный будет. Как кровь! — Он приставил нож к арбузу.— Старые доктора говорили: кто ест арбузы, никогда почками не мучается. Я знаешь их сколько поел? Каждый день по арбузу с собой беру; пить захотел — разрезал. Потому и понятия не имею, какие такие камни бывают в почках...

Джанали срезал с арбуза макушку, разделил ее на четыре части.

— Давай, Кёроглы, загадывай,— сказал он, глядя на лежавшие на его ладони кусочки арбузной корки.

Гачай загадал: «Если два куска упадут кожурой вниз, а два — вверх, то он даст мне взаймы».

Джанали взмахнул рукой. Все четыре куска упали кожурой вверх.

— А может, еще разок? — Гачай жалобно взглянул на старшину.

— Можно,— согласился Джанали.— До трех раз положено.— И он снова подбросил корки вверх.

— Ну, как теперь?

— Лучше не бывает! — Гачай в восторге хлопнул ладонью о ладонь.

— Ну, значит, порядок.— Джанали принялся разрезать арбуз. Резал и улыбался, довольный радостью Гачая.— Ешь! — сказал он, протягивая парню большой кусок арбуза.

Гачай обеими руками принял кусок, и Джанали вдруг обратил внимание на его пальцы, короткие, сильные, и даже руку отдернул — такими жалкими показались ему собственные пальцы.

Старшина посмотрел на густые брови Гачая, на тупой, немножко толстоватый нос, на скуластое, смуглое его лицо и вздохнул.

— Тебе сколько лет?

Гачай вытер с подбородка арбузный сок.

— Двадцать два.

— Парень видный, ничего не скажешь...— Джанали сплюнул косточку.— Добрый из тебя мужик выйдет. Только вот глаза у тебя какие-то не такие. Не пойму, серые они, что ли?..

— Они не серые,— сказал Гачай.— Они у меня светлокарие. И у сестры такие, и у отца...— Он представил себе отцовские глаза, затянутые мутной беловатой пленкой, хотел было добавить: «...раньше были»,— но вместо этого сказал: — У нас у обоих глаза отцовские.

И тут же подумал, что зря все-таки отец месил тогда тесто ногами. Ведь наверняка знал, что от этого ослепнуть можно...

Джанали разрезал свой ломоть на кусочки, кончиком ножа поддел один из них и положил в рот.

— Да, это арбуз! Мед, самый настоящий мед! Недаром народ валом валит сюда за ними. Знаешь, сколько увозят? Везут и везут и все больше ночами... Неделю назад стою я на посту. На третьем километре, развилке, возле столовой. Вдруг вижу — машины, пять трехтонок, кузова завалены до краев, а документов никаких, представляешь? «Поворачивайте!» — говорю. Ну, они, конечно, чуть не в ноги. Один отвел меня в сторонку и так это шепотком, но настойчиво: «Отпусти,— говорит,— по двести рублей с машины дам». Зло меня взяло: «Ты что,— говорю,— мне, сукин сын, взятку суешь? Да я,— говорю,— тебе как дам в

поддых — костей не соберешь!» А он здоровый, бугай, пальцем меня пришибить может. Но, видно, очень я говорил строго. Они ведь тоже соображают — раз человек на рожон лезет, значит, не зря. Короче, все пять машин привел к магазину. Как миленькие выгрузили все до последнего арбузика...

Гачай все ловил момент заговорить о деньгах, решил — сразу, как только Джанали кончит. А вот после этого его рассказа про арбузы как-то не то чтоб передумал, а мысли куда-то в сторону сбились. Почему-то ему пришло в голову, что хотя Джанали, конечно, привирает — какой дурак станет предлагать по двести рублей за машину,— но, если б он взял по двести рублей, получилась бы тысяча — как раз на гарнитур.

— Дядя Джанали! А что, сейчас тоже возят? Вроде уж собрали все с баштанов?

Джанали кончиком языка поддел прилепившееся к нижней губе арбузное семечко, выплюнул.

— Возят. Арбузы ведь долго лежат, чуть не до весны. Я всегда штук пятнадцать на зиму убираю. В январе дочка на каникулы приедет — поест. А другой раз и в Баку посылаю. Надо ж побаловать, одна девчонка живет... И потом одно дело — на базаре купить, а другое дело — домашний. Так-то она как будто не нуждается,— и стипендию получает, и я каждый месяц тридцатку посылаю. Вроде хватать должно. Как считаешь, хватает?

— Хватит,— сказал Гачай, совершенно не думая о том, хватит ли девушке этих денег.

— Я тоже полагаю — хватит. А хоть и не хватит, больше не могу. Была б возможность, больше бы посылал...

Джанали воткнул нож в оставшуюся половину арбуза и положил руки на колени. И снова задумался о чем-то грустном. И опять сразу съежился, сник. Маленькие его глазки стали совсем крошечными, виднелись лишь черные зрачки.

«Ну вот и проси у него взаймы!.. Никакой он, оказывается, не муравей. Нет у него запасов».

— Замучил меня этот чертов мотоцикл! — негромко сказал Джанали и вздохнул.— Всю душу, все нутро вытряс. Конь — это да! Это другое дело. Живой, все понимает... Иногда вроде бы и один, а с конем все веселей... Поговорить можно, пожаловаться... А мотоцикл что? Ни понятия, ни сочувствия...

Глаза у Джанали были закрыты, тонкие синеватые губы чуть заметно шевелились. Гачай не слышал его, он давно уже ничего не слышал. Перед глазами у него проходили машины. Двадцать... Тридцать... Сорок. Целые вереницы грузовых машин, доверху заваленных арбузами...

Мотоцикл, взятый у Джанали, Гачай остановил на развилке. Отвел на обочину и сел на него боком — обе ноги по одну сторону. Сидел и напряженно всматривался в темноту, туда, куда уходила, терялась во мраке дорога.

Огни в столовой давно уже погасли, она громоздилась у канала — большая, черная... Начали подвывать псы, день и ночь слоняющиеся вокруг столовой. Гачай прислушался к их вою и невольно подумал о той собаке, что каждый день подает голос, когда он проходит мимо.

И опять перед глазами возникло белое изваяние. Антига, улыбаясь, смотрела на него. Потом нахмурилась... «Ты почему не ответил на письмо?» Спросила и, не ожидая ответа, исчезла. А голос ее продолжал звучать в безлюдной бескрайней тишине: «Почему не ответил? Почему не ответил?..» Гачай тронул пальцами карман кителя. Записка Антиги лежала тут, вместе с новенькими лотерейными билетами. «Не обижайся, Антига, я напишу. Я не забыл тебя. Не разлюбил и не разлюблю. Жди, Антига, вот выдам сестру и пришлю сватов. Нурмураду напишу, чтоб приезжал. Мы в армии слово друг другу дали — на свадьбу обязательно позвать...»

Странно, но сейчас Гачай не испытывал к Панаху ни ненависти, ни злобы. Словно вся горечь, так долго копившаяся в нем, бесследно исчезла в тот момент, когда он увидел страх в глазах Панаха, когда тот побледнел и его толстые, влажные, наглые губы вдруг посинели и начали дрожать... Ничего больше не испытывал к нему Гачай, не хотелось ни мстить ему, ни обходить стороной — Панах больше не существовал для него. Пожалуй, ему было даже немножко жаль Панаха...

Вдалеке блеснули два огонька. Мерцая, они медленно приближались, становясь все ярче и ярче, потом вспыхнули ослепительным светом.

Сердце у Гачая забилось. «Как ее остановить? Что сказать? И почему только одна, если везут арбузы?»

Он не встал, он сидел все в той же позе, боком, и левой рукой прикрывал глаза от слепящего света фар. Машина пронеслась мимо; это был «Москвич».

«Слава богу, что легковая, на такой груз не повезут...» Гачай поглядел на красные огоньки удаляющейся машины и, облегченно вздохнув, слез с мотоцикла. Он устал от неудобной позы, ему надоело здесь, хотелось спать... Не очень-то он представлял себе, зачем, собственно, торчит посреди дороги, но какое-то непонятное, томительно-сладостное чувство, названия которому Гачай не знал, удерживало его здесь.

И вдруг где-то очень высоко ударил гром. Громыхнуло так, будто за черными тучами трахнул залп тяжелых орудий. Эхо грома прокатилось по земле и затихло, перекатившись за ту черту, где небо соединяется с твердью.

В такие минуты больше всех волновался отец: «Сынок,— встревоженно говорил он,— сейчас польет, накрой чем-нибудь корзины».

Гачай глянул на шоссе и обмер — прямо против него сверкали две огненные точки. Волк! С испуга он не сразу сообразил, что сверкающие огоньки далеко, очень далеко.

Послышался гул мотора, по натужному глухому гудению Гачай определил, что идет грузовик. «Куда это? С каким грузом?» Он слез с мотоцикла.

Ослепленный фарами, Гачай двигался в потоке света, ничего не видя, кроме мерцающих, горящих точек. Достаточно было поднять руку, и машина остановилась бы. И Гачай уже хотел поднять ее, но почему-то вспомнил Гейдара. Ему вдруг представилось, что это он, Тощий Гейдар, сидит за рулем в кабине. «А, стало быть, и ты не без греха?..» Рука сразу налилась тяжестью. Машина не спеша прокатила мимо.

Домой Гачай не пошел, остался ночевать в дежурке. Дежурил молодой веселый лейтенант, но шутки его както не доходили до Гачая. Он лежал на широкой длинной скамейке, старался заснуть и не мог. Во всем теле была какая-то тяжесть, голова гудела... От деревянной скамейки ломило спину, болели бока, но Гачай не променял бы ее сейчас на свою мягкую и удобную постель. Не нужно ему ни постели, ни ужина, лишь бы не видеть материнских глаз, не читать в них этого постоянного вопроса... Не

может он больше выносить гнетущую тишину, она давит его. Каждый вечер, когда мать молча собирает на стол, ему хочется бежать из дома.

...Наступило утро. Затопали по коридору тяжелые сапоги. Пустые комнаты наполнились шумом и голосами. Гачай сидел на скамье, на которой провел ночь. Глаза щипало, словно в них попал песок. Голова отяжелела, разбухла, и он никак не мог собрать мысли. Милиционеры проходили мимо, здоровались с ним, шутили, и никто ничего не замечал. Никто не замечал, что за одну эту ночь Гачай осунулся, побледнел, что у него красные глаза, набрякшие веки... Никто, кроме Сахибова. Когда Гачай, вскочив с лавки, вытянулся перед начальником, тот глянул на него со всегдашней своей улыбкой и вдруг посерьезнел, улыбка исчезла где-то в морщинках у глаз.

— Ты не заболел, Кёроглы? Не нравится мне что-то твой вид.

— Нет, товарищ майор, здоров!

— А чего невеселый?

Гачай не ответил.

Сахибов внимательно посмотрел на него.

— Зайдем ко мне.

Вошли в кабинет. Сахибов сел за стол, кивнул Гачаю на стул.

— Ну, что невеселый?

Гачай промычал что-то неопределенное.

Начальник заглянул ему в глаза, красные, с опухшими веками.

— Можешь объяснить, что случилось?

— Деньги нужны, товарищ майор! — выпалил вдруг Гачай и, закусив губу, отвернулся. И вдруг ему стало совсем легко. Так легко, словно безмерная тяжесть, так долго давившая его, заключена была в этих вот нескольких словах. И не важно, подставит Сахибов плечи под груз или не подставит, главное — он сказал.

— И сколько тебе нужно?

— Пятьсот рублей,— ответил он, все еще глядя в окно. И тут же подумал: «Почему пятьсот? Разве мебель стоит пятьсот?» Потом вспомнил про два золотых: если их добавить, на мебель хватит, может, даже останется.

Сахибов открыл лежавшую перед ним голубую папку, долго глядел в какую-то бумагу, потом вздохнул, отодвинул папку и расстегнул верхнюю пуговицу кителя. Зачем Гачаю столько денег, он не спросил. Он внимательно посмотрел на его осунувшееся лицо, взял белую телефонную трубку и набрал номер.

— Саяд? Это я. Я сейчас пришлю к тебе Гачая, дай ему пятьсот рублей... Да, пятьсот.— Майор положил трубку.— Иди, жена даст тебе деньги. Иди, иди, не стесняйся. Когда сможешь, тогда и отдашь, я торопить не стану.

Не двигаясь с места, Гачай молча смотрел на Сахибова. Что-то не то... Не может все быть так просто. А не разыгрывает его майор?

Он так и не поблагодарил, стоял, полуоткрыв рот, молчал... Потом поглядел на полные руки Сахибова, перебиравшие на столе бумагу, медленно повернулся и вышел.

...Завернутая в бумагу пачка лежала в правом кармане его суконных галифе, и Гачай на ходу все время ощущал ее тяжесть. Он шел и думал о том, как сейчас войдет в комнату, вытащит из кармана пачку денег, молча положит ее на стол, и вопрос в глазах матери — невыносимый, неизбывный, измучивший его вопрос — наконец исчезнет. И за обедом он уже не будет смотреть в свою тарелку, и кусок не будет застревать у него в глотке...

Гачай поглядел по сторонам, пощупал правый карман, облегченно вздохнул и остановился. Только сейчас он сообразил, что стоит уже у своего тупичка. Прошел мимо дома Антиги и забыл потопать...

Гачай отворил дверь, глянул матери прямо в глаза и сразу полез в карман. Мать почему-то быстро, быстро заморгала и отвернулась. Принялась одергивать покрывало на кровати. Видно было, что она нарочно не поднимает головы, не хочет встречаться с ним взглядом. А потом взяла и ушла в соседнюю комнату, осторожно прикрыв за собой дверь.

Гачай посмотрел на отца. Тот сидел за столом, в руке у него дымилась цигарка.

— Где Акча? — спросил Гачай, и сердце у него замерло.

Отец не ответил.

— Где Акча? — громко повторил Гачай.

— Акча?..— Отец не спеша затянулся, и голубоватый дымок скрыл на мгновение покрытое щетиной лицо.— Нету Акчи. Джахид увез... Считай, вроде бы умыкнул... Для вида, конечно. Без свадьбы чтоб, без приданого.

В углах дрожащих отцовских губ Гачай вдруг приметил улыбку и понял, что отец доволен.

Он отвернулся, сунул руку в карман, смял лежавшие там деньги. Комок подступил к горлу. Гачай глотнул, пытаясь от него избавиться: «Без свадьбы чтоб, без приданого...»

МАКСУД ИБРАГИМБЕКОВ

(Род. в 1935 г.)

ЗА ВСЕ ХОРОШЕЕ — СМЕРТЬ

* * *

Конечно, если бы не этот проклятый рюкзак, жизнь сразу стала бы гораздо приятнее. Да что там приятнее! Жизнь сразу стала бы прекрасной, даже можно сказать, счастливой и увлекательной. Прямо не солнце, а пожар в ясном небе. Хотя, с другой стороны, солнце-то все равно бы осталось. Как будто кто-то наставил на голову, на самую макушку, увеличительное стекло и не убирает и ждет, что из этого получится. Голова так нагрелась, что ни один комар близко не подлетает — наверное, обжечься боится. Вот только интересно, почему это человек так странно устроен, снаружи весь мокрый, уже пот глаза заливает, с кончика носа на землю капает, а язык и зубы совершенно пересохли. До того все пересохло внутри, что даже в горле зачесалось. Если постараться, можно немного слюны набрать, но она на вкус какая-то тягучая и горькая. Пока не сплюнешь, почему-то думаешь, что она зеленого цвета. А тропинке этой конца-края не видно, и все вверх. Ни разу с тех пор, как из лагеря вышли, прямо не пошла, только вверх и с каждым километром все круче и круче — в гору и в гору, и в какую! Малый Кавказский хребет, хорошо еще, что не Большой, тот, наверное, еще хуже. А до перевала километров десять осталось — не меньше. Так и хочется броситься на землю и глаза закрыть, никаких сил идти больше нет, человек ведь не лифт и не фуникулер! И еще ужасно хочется снять с плеч рюкзак и бросить в пропасть слева, и посмотреть, как он там внизу о камни брякнется. Даже трехцветного фонаря не жалко и фото-

аппарата. И зачем только я с ними пошел? Надо было, как все, поехать автобусом. Через два часа уже дома был бы. И еще дома попадет, это уж точно! Мама сразу же скажет, что я ей в последний день перед отъездом в Баку весь отдых испортил. Как только увидит, что меня в автобусе нет и Димка передаст ей, что я просил не волноваться и к вечеру буду, сразу расстроится и скажет, что все нормальные дети автобусом поехали и только я один такой бессердечный, забываю обо всем на свете ради своего удовольствия. Посмотрела бы, какое это удовольствие! Отец, конечно, возразит, что ничего в этом плохого не видит, пусть мальчик привыкает к самостоятельности, или что-нибудь в этом роде, он меня почти всегда в таких случаях защищает, а мама скажет, что она уже по горло сыта самостоятельностью папы и что больше всего ей хочется нормальной, спокойной жизни, как у всех, а не того кошмара, в котором она живет, из-за него она раньше времени постарела и выглядит на двадцать лет старше всех своих подруг. Тут отец засмеется и скажет, что мама говорит чепуху, потому что она красивее не только всех своих подруг, но и всех женщин в Баку и в Азербайджане, а возможно, даже в Советском Союзе. Мама у меня и вправду очень красивая и совсем не старая. А говорит она так потому, что очень хочет, чтобы отец ушел со своей работы. Он морской нефтяник и работает в море на искусственных островах. Построят новый стальной остров, папа его осваивает со своей бригадой, устанавливает агрегат, бурит скважину, а как нефть пойдет, передает остров эксплуатационникам. Он уже целый архипелаг освоил. Я его на карте видел. Папа все обещает взять меня как-нибудь в хорошую погоду с собой и взял бы, но мама не разрешает, говорит, что точно знает — как только отец меня возьмет с собой, сразу же начнет дуть норд, ну а когда начинается сильный норд, то на берег уже не выберешься ни на вертолете, ни на катере. Можно целый месяц там просидеть. А когда нормальная погода, папа через каждые десять дней неделю отдыхает дома. У папы очень большая зарплата, но мама говорит, что ей эти деньги не нужны, лишь бы она знала, что с отцом ничего не случится. Она и вправду из-за этого очень нервничает, а когда папа в море и начинается шторм, всю ночь не спит. А он не хочет уходить с этой работы, во всем почти с мамой соглашается, кроме этого. Сколько она его ни уговаривает, ни в какую не соглашается.

Однажды, когда папа был в море, к нам пришли в гости дядя Васиф и тетя Сона, его жена. Дядя Васиф тоже нефтяник, он кончал вместе с папой институт, только работает на суше, в Сураханах. Он рассказал, что моему папе предложили хорошую работу в городе — стать начальником отдела в Министерстве нефтяной промышленности, но папа отказался. Дядя Васиф рассказывал это, конечно, без всякого злого умысла, он папу очень уважает. Знал бы он, что из этого получится, ни слова не сказал бы, потому что мама, как только услышала, сразу побледнела и замолчала, а до этого была очень веселой. Дядя Васиф и его жена ужасно расстроились. Дядя Васиф стал говорить, что, может быть, ему неправильно все рассказали и скорее всего папе ничего такого не предлагали, но всем стало ясно, что он старается выпутаться. Было видно, что он очень жалел о том, что затеял этот разговор. Но все это были пустяки по сравнению с тем, что началось после приезда папы. Никогда я еще не слышал, чтобы мои родители так ругались. Целый вечер непрерывно ругались. Наверно, на улице было слышно, как они кричали. А потом мама побросала какие-то вещи в чемодан, взяла меня и ушла к бабушке — своей маме. Папа звонил туда, но мама каждый раз, услышав его голос, давала отбой. А сама, как положит трубку, начинала плакать. Целый месяц я папу не видел, очень мне без него скучно было. А потом они помирились. Я думал, мне это во сне приснилось, а потом я узнал, что папа ночью и вправду приходил в дом к бабушке. Очень интересно, как он ее уговорил помириться, потому что он так и не перешел на сушу работать. С тех пор уже полгода прошло, а они еще ни разу не поругались. И здесь, на курорте, тоже. Папа весь отпуск с нами провел здесь. Даже ни разу не сказал, что ему необходимо хоть на два-три дня уехать. Только несколько раз он на полдня в Кисловодск из поселка уезжал, ему надо было в Баку позвонить, почти все время с нами был, а это не каждый год бывает!

Не могу больше! Ноги подгибаются от усталости. Может быть, сказать им, что я совсем уже из сил выбился. Нет, не стоит, конечно! Да и пользы никакой не будет. Обзовут четырехглазым, а то еще и по шее дадут. При Каме. И зачем только я согласился с ними идти? Не хотел ведь. Точно помню — не хотел. Только собирался сказать Алику, что не пойду пешком, совсем уже было хотел отказаться, даже когда Сабир сказал, что я без разрешения

своей мамочки только в школу хожу. И вдруг Камка говорит: «Что вы его уговариваете, по-моему, он и сам хочет пойти с нами». Хочет! Ничего я не хотел. Сам удивился, когда сказал, что пойду.

А они идут как заведенные. Правда, разговаривать перестали, молча идут, только запыхались. Они ведь до самого перевала не остановятся. Кто-то ведь первый должен сказать, что устал. А они умрут, не признаются — и Алик, и Сабир. И все из-за Камки. Каждому дураку ясно, что они в нее влюблены оба. Интересно только, почему это Камка не устает? Вообще она здоровая, Камка, почти одного роста с Аликом и чуть ниже Сабира. И на целую голову выше меня. Ничего удивительного — у нас в классе все выше меня. А все из-за того, что я с шести лет в школу пошел. Даже шесть еще не исполнилось, когда я в первый класс пошел. Сперва не хотели принимать, а потом все-таки взяли в виде исключения, по разрешению роно. Потому что я читал свободно и примеры второго класса по арифметике решал. Это, прежде чем дать разрешение, меня в роно проверяли, и все удивлялись, что я так правильно читаю. Я и сейчас намного быстрее всех в классе читаю. Только я это скрываю, нарочно делаю вид, что читаю в несколько раз медленнее, потому что никто не верит, даже учителя не верят, что я так быстро читаю. А кому охота во врунах ходить? Я взял один раз в школе у Сабира книгу «Одиссея капитана Блада» почитать и вернул на следующий день. Он сперва подумал, что она мне не понравилась, раз я так быстро вернул, а когда я ему сказал, что очень понравилась, он ужасно разозлился и сказал, что если я раздумал читать, то надо так и сказать, а врать, что прочитал такую толстую книгу за один вечер,— просто нахальство. Он меня заставил все содержание пересказать и «Одиссеи» и «Хроники», а когда я кончил, все равно съездил по шее и сказал, что я, наверное, эту книгу прочитал еще раньше, а сейчас над ним просто издеваюсь. Сам он прочитал ее за десять дней. Когда читает он, у него становится очень серьезное лицо и шевелятся губы. Теперь, если я беру у кого-нибудь книгу, то держу ее у себя несколько дней после того, как прочитаю, и только потом возвращаю. Так спокойнее.

Вдруг Кама остановилась, перевела дыхание, а потом спросила:

— Устали?

— Нет.— Это Алик сказал и даже головой помотал.—

Я, например, не устал.— А у самого язык наружу высовывается, до того он не устал.

А Сабир, тот просто удивленное лицо сделал: мол, что за вопрос.

— А ты? — Это она у меня спросила. Смотрит на меня и улыбается.

У меня от этой улыбки почему-то подбородок дрогнул. Какой-то странный подбородок у меня, в самый неподходящий момент вдруг на нем кожа начинает дергаться. Всего один раз, но со стороны все равно, наверное, заметно. Я хотел тоже сказать, что не устал, но Кама успела раньше меня:

— И я устала. Просто с ног валюсь. Дойдем вон до того дерева и там устроим привал. Согласны?

Мы разлеглись на траве в тени дерева, и до того это было приятно, что просто слов никаких нет рассказать. Потом Кама достала из своего рюкзака бутерброды и мы их моментально съели. Каждый по два бутерброда с яичницей. Хотели и остальные съесть, которые в наших рюкзаках, но Сабир сказал, что наедаться перед подъемом — самое последнее дело. Я бы еще таких бутербродов десять съел и то бы не наелся. Но с Сабиром лучше не спорить. Никому не советую. Мы посидели под тем деревом еще полчаса и за это время очень здорово отдохнули. Вся усталость начисто исчезла. Кама сказала, что, как только доберемся до перевала на шоссе, проголосуем какой-нибудь попутной машине и на ней доедем до дома. Мне это предложение очень понравилось, а Сабиру и Алику, помоему, не очень. Но они промолчали, ничего не сказали, только кивнули, сперва Сабир, потом Алик. А я даже кивать не стал, потому что им никому не интересно, что я думаю. Потом они стали о чем-то разговаривать — я сперва слушал, а потом перестал, потому что вспомнил одно стихотворение, я часто вспоминаю и каждый раз, как только вспомню его, по коже начинают бегать мурашки, даже дыхание у меня перехватывает и в животе становится холодно, когда я вспоминаю это стихотворение, особенно когда я один и никто не мешает его повторить про себя. Я рассказал как-то об этом маме, а она мне сказала, это оттого, что я очень впечатлительный и мне рано еще читать такие стихи. Я спросил, почему же рано, но она объяснять мне ничего не стала, сказала рано — и все, и вид у нее был очень недовольный.

— О чем ты думаешь? — спросила Кама.

— Ни о чем не думаю,— сказал я.— Просто задумался.

Она на меня так посмотрела, как будто ей точно известно, о чем я про себя думал, но ничего не сказала. Зато Алик оживился. Я так и почувствовал, что он скажет что-нибудь неприятное:

— Он сейчас от страха и думать ни о чем другом не может, все представляет, что с ним сделают мамочка и папочка, когда он вечером домой придет.

Это он острит так. Никто, конечно, не засмеялся и даже не улыбнулся. Сабир на него посмотрел очень хмуро, и мне показалось, что он его сейчас стукнет. Я всегда точно знаю, когда он собирается подраться, но на этот раз ошибся. Наверное, он из-за Камы раздумал.

— Ладно,— сказала Кама и встала.— Пошли, а то мы до ночи до дома не доберемся.

Мы встали и пошли. Вот что самое удивительное — все шли молча. Обычно они оба, как увидят Камку, так сразу же заводятся, оба наперебой стараются что-нибудь интересное рассказать. Это еще терпеть можно, а вот когда они начинают анекдоты рассказывать или шутить, мне как-то не по себе становится. Не знаешь, что делать,— надо посмеяться, все-таки человек анекдот рассказал, а не смешно. А Кама смеется. Наверное, нравится ей, раз смеется. Я раньше думал, что они анекдоты несмешные рассказывают, а теперь из-за Камки начинаю думать, что у меня с чувством юмора что-то не в порядке.

И Кама шла молча. Обычно она все время: «Ах, маки, ах, эдельвейс»,— а теперь шла какая-то вялая, даже не закричала, когда на тропинку выскочила ящерица. Видно, совершенно бестолковая ящерица, если людям под ноги выскакивает. Потом еще несколько ящериц перебежало тропинку прямо перед нами. Никогда такого не видел. Ошалели они, что ли, от жары!

— Душно! — сказала Кама и облизала губы.

— Это к грозе.— Сабир отбросил сигарету и тоже облизал губы.— Ящерицы беспокоятся, и птицы замолкли. Посмотрите, вечером гроза будет!

Я вдруг почувствовал, какая вокруг тишина. Ну просто ни одного звука не слышно.

— Часа через полтора мы дойдем до перевала,— сказал Сабир.— Я вас самой короткой дорогой повел, она, правда, все время в гору идет, зато короткая.

У Сабира очень хорошая память. Он с первого раза

любую самую запутанную дорогу запоминает. Он и в Баку с закрытыми глазами расскажет, как пройти с какого хочешь места к любому кинотеатру, яхт-клубу или цирку. И зря никогда ничего не говорит. Я его за это уважаю. И не только за это. Жалко только, характер у него очень плохой. Как что — драться сразу лезет. Его у нас в классе все боятся. Алика тоже, но меньше. Алик вон на турнике раза на три больше подтягивается, а Сабир его все равно отлупил, когда они подрались. Весь класс смотрел, как они дрались во дворе хлебозавода.

Алика к нам из 174-й школы перевели — его родителям квартиру дали в нашем районе, рядом со школой. А до него самым сильным в классе Сабир считался. Не знаю, из-за чего у них вышел спор, но договорились встретиться после занятий и драться до тех пор, пока кто-нибудь не скажет «хватит» или до первой крови. Сабир тогда Алику разбил нос. Алик согнулся, к носу прижал платок, а потом говорит Сабиру: «Все равно я с тобой буду еще драться». И вдруг Сабир размахнулся и как изо всех сил ударит Алика по голове! А это ведь не по правилам. Все бросились их разнимать. Они помирились потом, но все равно я знаю, что они друг друга терпеть не могут и когда-нибудь еще подерутся. Они только меня никогда не трогают, иногда только дадут по шее, и все. Потому что они меня презирают. Главным образом за то, что меня освободили от физкультуры. А меня не освобождали, а сказали, чтобы я ходил на физкультуру с четвертым классом, потому что у нас в классе все на два года старше меня. А как же я стал бы ходить с четвертым классом, когда у нас четвертый урок в понедельник алгебра, как раз когда у них физкультура? И еще, конечно, за то, что я ношу очки.

Я знаю, почему за меня Сабир обычно заступается, но все равно приятно. Он со мной за одной партой сидит, и когда контрольная — все равно какая — по алгебре, истории или даже по естествознанию,— я и его вариант делаю. Сперва, правда, свой, а потом его, на оба времени хватает. Это не потому, что я много занимаюсь или старательный, просто контрольные у нас очень легкие, я даже иногда удивляюсь, до чего они легкие.

Раз Сабир сказал, что вечером гроза, наверное, будет. Но с другой стороны, небо такое ясное, куда ни посмотришь, ясное. Я днем никогда не сплю, а тут вдруг спать захотелось ужасно. По-моему, ребятам тоже. И у Камки,

и у Алика с Сабиром очень сонный вид. Хоть бы скорее перевал, сесть бы на машину и через час дома!

Как только подул ветер, сразу прохладно стало. И самое главное, он дул сзади и здорово помогал идти. Как будто кто-то подталкивает легонько в спину. Но это недолго продолжалось, может быть, пять минут или десять, не больше, потом он задул все сильнее и сильнее, уже не подталкивал, а просто бросал нас из стороны в сторону. Никогда в жизни я ничего такого не видел. Как в кино — на экране ночь, и сразу же вслед рассвет, и вот уже день. Только что был день и солнце светило на чистом небе, а тут сразу стало темно. Я посмотрел наверх, даже страшно стало,— небо черное от туч, а они проносятся так низко, что рукой дотянуться можно. Мы остановились, потому что дальше идти было невозможно. Сперва стояли, держась друг за друга, а потом сели на землю и вцепились в кустарник ежевики у тропинки, он хоть и колючий, но корни у него крепкие. Я посмотрел на Каму, а у нее лицо перепуганное ужасно. И я тоже испугался, потому что все думал, что нас может швырнуть в пропасть, ее край был ниже тропинки, метрах в двадцати от нас по склону. А холодно стало так, что зуб на зуб не попадал. Сказали бы мне, что в конце августа может быть так холодно, ни за что бы не поверил. Мы сидели, прижавшись друг к другу, и держались руками за эти колючки, а ветер все старался оттащить нас от них. Вдруг под нами дрогнула земля так, как будто это не гора, а вагон, когда поезд трогается с места. И еще из-под земли при этом послышался гул, негромкий и глухой. А потом пошел снег, мы оглянуться не успели, как все вокруг покрыло снегом. Я совсем замерз, но говорить об этом не стал — на мне, как и на всех, были только шорты и рубашка, а в рюкзаках ничего теплого не было. Я не знаю, сколько времени так прошло,— снег все падал, когда поднялся Сабир. Он не встал на ноги, его сразу бы ветер сдул, он и на четвереньках с трудом держался.

— Я пойду,— сказал.— Надо найти какое-нибудь место, чтобы спрятаться, здесь мы совсем замерзнем, впереди ночь.

— Не надо,— сказал Алик,— не видишь, что делается! Скатишься в пропасть, и делу конец. За нами придут.

— Сейчас сюда никто не сумеет пройти. Вы подождете меня, только никуда не отходите от этого места.— Он

повернулся и, цепляясь за кустарник, полусогнувшись, пошел вперед.

Я очень хотел пойти с ним, ничего в жизни мне так не хотелось, но, когда я на секунду, на одну только секунду, отпустил ветви, за которые держался, мне стало так страшно, что я сразу еще сильнее вцепился в них.

— Сабир! — вдруг закричал изо всех сил Алик.— Сабир!

Но тот его не слышал, хотя отошел от нас всего метров на десять.

— Я иду с тобой. Подожди!

Я знал, что, если бы пошел с ними, они бы простили мне все и никогда бы уже меня не презирали, но я не мог отпустить куст ежевики!

Мы с Камкой прижались друг к другу, мы уже не сидели, а легли на землю, подложив под себя рюкзаки, но все равно было очень холодно, мы совсем закоченели. И вдруг я увидел, что она плачет, сперва я подумал, что это снег растаял у нее на лице, а потом услышал, как она всхлипывает. Мне стало ее очень жалко, но я не знал, как ей помочь.

— Не бойся,— сказал я.— Вот увидишь, все как-нибудь обойдется. Может быть, этот проклятый ветер сейчас прекратится!

— Они, наверное, заблудились.— Теперь она уже плакала в голос.

— Здесь нельзя заблудиться,— сказал я.— Налево гора, на нее, даже если захочешь, не заберешься, а направо пропасть.— Я как вспомнил о пропасти, мне сразу нехорошо стало.

Мы больше не разговаривали. Просто лежали и постепенно замерзали.

Кажется, я задремал, потому что не сразу понял, что происходит, когда Сабир потянул меня за плечо.

— Здесь недалеко,— прокричал он мне на ухо,— расщелина, поместимся все как-нибудь! Идите за мной!

— А где Алик? — спросила Кама.

— Он там стоит, чтобы мы не прошли мимо. Мы на нее случайно наткнулись, она совсем незаметная. Рюкзаки не забудьте. Алика рюкзак я возьму.

Мы шли по скользкому склону, хватаясь за кустарник, когда он попадался, а там, где его не было, просто ползли. Мне казалось, что конца этому не будет, что Сабир забыл, где эта расщелина, и мы так и будем ползти до самого

перевала, когда увидел Алика. Он стоял у отвесной, как стена, треснувшей посередине скалы. Здесь ветер дул не так сильно.

— Пришли,— сказал Сабир.

— А где же расщелина? — спросила Кама.

— Вот же! — Алик показал на узенькую щель в скале.— Лезьте. Хотите, я первый.— Он боком протиснулся в нее.— Идите, она глубокая, всем места хватит.

Что бы мы делали без Сабира? В этой расщелине, хоть она совсем и узкая и нельзя было даже сесть, можно было только стоять боком — спиной упираешься в скалу и носом тоже — было не холодно, даже тепло и самое главное — не дул этот проклятый ветер. А воздух в этой расщелине пах землей, не просто землей, а свежей, сырой землей, так она пахнет, когда начинаешь копать ее, чтобы посадить дерево. Я этот запах очень люблю, я его каждую весну вспоминаю, когда в школьном саду сажают деревья. Странно только, что здесь так пахнет.

— Ты спишь, Кама? — спросил Сабир.

— Нет.

— А чего молчишь?

— Думаю,— сказала Кама.— Почему это мы сидим в темноте, когда у нас есть фонарики?

В темноте гораздо лучше было. Наверх направишь луч или перед собой — ничего хорошего, везде стены с зазубринами и больше ничего. В сторону выхода — снег как бешеный крутится. Направо — чернота непробиваемая, видно, это щель глубоко идет в глубь горы.

— Интересно, что там дальше,— сказал Алик. Зря он так сказал, я сразу это почувствовал.

— Если интересно, пойди посмотри,— сказал Сабир.

— Иду.— Алик пошел правым боком вперед, держа в вытянутой руке фонарь.

— Я тоже иду,— сказал Сабир.— Только не торопись, смотри под ноги, а то вдруг очутишься в яме. Пропусти-ка меня.— Это он мне говорит. Интересно, как это я его пропущу? Был бы он величиной с кролика или курицу, пожалуйста, а он ведь не кролик и не курица. Допустим, он мимо меня как-нибудь протиснется, а дальше же Кама стоит, которая гораздо полнее меня.

— Давайте выйдем все втроем наружу,— сказал Сабир,— а потом я первый зайду и пойду за Аликом. Может быть, эта расщелина дальше расширяется, а то до утра стоять придется.

— Алик же пошел,— напомнил я ему.— Он и скажет, расширяется или нет.

— Лучше заткнись,— сказал Сабир.— Отогрелся, что ли? Раньше тебя что-то совсем слышно не было. А тут вдруг зачирикал.

Вот он же знает, что Кама все это слышит, а ему все равно, или он даже нарочно меня при ней унижает.

— Никуда я отсюда не выйду,— сказала Камка,— у меня, может быть, воспаление легких.

— Я же сказал — на минутку,— буркнул Сабир, с Камой он всегда разговаривал очень вежливо. Он ни с кем больше так не разговаривает. И все время старается сделать ей что-нибудь приятное, каждому дураку ясно, что он в нее влюбился.— Хорошо бы найти местечко пошире, чем это. На ногах мы долго не выдержим.

— Если оно есть, Алик найдет,— объявила Камка.

— Как же, найдет Алик,— еле слышно проворчал Сабир.

Я понял, что Сабир согласится еще десять дней простоять на ногах, лишь бы Алик без него не нашел чего-нибудь хорошего.

Вдруг я почувствовал, как он меня хватает за ноги. Это он, значит, решил, что там, где мои ноги, можно будет протиснуться. Значит, не сгибаясь, он боком наклонился, как оловянный солдатик, и лег на землю.

Протиснулся. Я-то молчу. Пожалуйста, мне не жалко. Мне вот только интересно, будет ли молчать Камка, когда он ее за ноги хватать начнет без предупреждения в темноте. Я, например, после одного случая с девчонками очень осторожно веду себя. Я шел из школы с Марьям, дочерью дяди Васифа, они недалеко от нас живут, и разговаривал. А потом решил показать ей один фокус. Это очень хороший фокус, всем он очень нравится, сперва, конечно, человек слегка пугается, зато потом ему сразу становится приятно. Значит, идем с Марьям и разговариваем о разных вещах. Она на три года старше меня и очень здоровая, потому что круглый год ходит на корт на площади Азнефти заниматься теннисом. Я бы тоже ходил, но меня не приняли из-за близорукости. Плаваньем, говорят, пожалуйста. Дошли до ворот Вовки Гамрекели, а все знают, что в этом дворе живет злющий-презлющий пес, его даже сам Вовка Гамрик боится, хоть всю жизнь в этом доме прожил. Марьям, как мы дошли до этих ворот, сошла с тротуара и пошла по обочине. Я ее

пропустил на полшага вперед и показал ей этот фокус. Он очень простой: надо зарычать и одновременно схватить человека за ногу. Полное впечатление, что тебя собака за ногу ухватила. Я его до Марьям раз десять показывал — и всем нравилось, знал бы я, что из этого в одиннадцатый раз получится, я бы так и остановился на десятом. Я зарычал изо всех сил и цапнул ее самыми кончиками пальцев за ногу, за икру. А она взяла и немедленно описалась средь бела дня, посреди улицы. Вот это был фокус! Хорошо, что Гамрика мать, выходя из дома, нас увидела и отвела ее к себе. А с Марьям мы до сих пор не здороваемся. Я первое время здоровался, а потом перестал, не хочет отвечать — не надо.

Только Сабир мимо моих ног протиснулся, как мы услышали голос Алика, он сперва спросил, слышим ли мы его, мы хором закричали, что хорошо слышим, тогда он закричал в ответ, чтобы мы шли к нему, потому что он нашел очень удобную пещеру. Он еще сказал, чтобы мы шли совершенно спокойно, по дороге никаких ям нет, он все разведал. Впереди Кама шла, за нею Сабир, а в конце я. Мне даже жалко стало, что пещеру нашел не Сабир. Все-таки это не очень справедливо, человек спас всех, можно сказать, от смерти, и после всего этого пещеру находит другой. А все из-за чего? Из-за того, что Сабир, может быть, потому что он вежливый или заботливый, пропустил в расщелину Камку, а с нею заодно и меня, впереди себя.

Алика голос, когда он с нами разговаривал, слышался где-то совсем рядом, а идти до него пришлось довольно-таки долго. Хоть и боком, но шагов двести мы сделали. Алик встречал нас у входа. Когда мы вошли в эту пещеру, я обернулся и посветил фонариком на вход в нашу расщелину: отсюда, из пещеры, она выглядела точь-в-точь как снаружи — узкая-узкая щель с неровными краями. Я никогда раньше не бывал в пещерах, но думаю, что это была очень большая пещера. Даже когда мы разговаривали не очень громко, сразу же в ответ раздавалось эхо. Я давно мечтал побывать в пещере, мне всегда казалось, что это очень интересно. Я то место, где Том Сойер вместе с Бекки Тэчер заблудился в пещере, несколько раз перечитал. И про Сайруса Смита с его спутниками тоже. А теперь я сам попал в пещеру, но оказалось, что это не так уж и интересно. Голо вокруг и темно. Мы все шли вдоль стены, фонарики освещали четырьмя светлыми

кругами вокруг ровный твердый пол. Я направил луч вверх и увидел свисающую с потолка длинную белую сосульку. Почему-то я ей обрадовался.

— Сталактит,— громко сказал я, показывая на потолок.— А может быть, наоборот, сталагмит? Я сколько ни пытался, так и не запомнил, какие из них сталактиты, а какие сталагмиты. Знаю только, что если сверху свисает сталактит, то снизу ему навстречу обязательно растет такой же, только называется сталагмит, или наоборот.

— Обязательно,— сердито сказал Сабир.— А где же тогда второй, который навстречу, если обязательно?

— Не знаю,— сказал я.— Может быть, кто-нибудь разрушил его.

— А разрушенный тогда где?

— А я откуда знаю! Унесли, наверное, с собой.

— Через эту щель, что ли?

— Значит, здесь еще один выход есть.

— Держи карман шире,— фыркнул Сабир.— Ты что, не чувствуешь, как здесь тепло? Был бы выход, сейчас мы дрожали бы от холода. Забыл, что снаружи делается?! А ты откуда про эти знаешь... как его?

— Сталактиты и сталагмиты?

— Про них.

Надо же было мне лезть с этими сосульками! Сабир ведь терпеть не может, когда при Каме выясняется, что он чего-то не знает.

— Да ты тоже знаешь,— сказал я.— Просто забыл, наверное... Помнишь, мы по географии проходили?

— По географии,— хихикнул Алик.— По географии он все знает. Что какого цвета — все может рассказать.

Сабир тоже хмыкнул, он-то ведь точно знал, что Кама не поймет, в чем дело, она же не из нашей школы.

— А мне почему-то показалось, что мы их по химии проходили,— сказал он.— А ты молодец, память у тебя на пустяки хорошая. А ты, Кама, знала про них?

— Ничего я не знаю,— сказала унылым голосом Камка.— Я спать хочу.

— Ты еще немного потерпи,— сказал Сабир.— Мы...— Он так и не договорил, потому что в этот самый момент Кама закричала так, как будто бы ее режут ножом. Она бросилась к нам — ко мне и Алику, мы рядом в это время стояли,— и вцепилась в нас, и сама вся дрожит еще сильнее, чем на тропинке, когда мы замерзали. Я сперва

подумал, что она в темноте напоролась на что-нибудь острое, по-моему, и ребята так подумали. Мы спрашиваем, что случилось, а она уже даже не дрожит, а трясется всем телом, и еще в темноте слышно, как у нее зубы стучат, но молчит. Потом на секунду перестала стучать зубами и говорит таким голосом, как будто ей кто-то горло сжимает.

— Там скелет спрятался! — Пальцем показывает, а сама боится в ту сторону голову повернуть.— На меня смотрел.

Перепугался я страшно. И ведь знаю, что никакие скелеты на человека смотреть не могут, а уж в пещере прятаться и подавно, знаю, что Камке, конечно, привиделось это, а все равно жутко стало — никакими словами не передать. Стою и чувствую, как руки и ноги у меня похолодели. По-моему, Алик тоже испугался, я это почувствовал, когда он заговорил:

— Это тебе показалось. Я тебе точно говорю — показалось.— А у самого голос дрожит.

Один Сабир не испугался. Ни капли не испугался.

— Сейчас посмотрим, какой это там на тебя скелет смотрел.— И повел фонарем в ту сторону, куда Кама показывала.

И тут мы все трое заорали изо всех сил — Кама, я и Алик. Он, правда, потом говорил, что не кричал, но мы все слышали, как он заверещал от страха. Я сам слышал своими ушами, как он сперва закричал, а потом сказал дрожащим голосом: «Мамочка!» Но громче всех, что правда, то правда, заорал я. Сразу, после того как закричал, я хотел куда-нибудь убежать подальше, куда глаза глядят, даже рванулся с места, но сразу же остановился. Вокруг, куда ни глянь, была темнота, и я ее уже боялся самым жутким страхом. А весь этот шум поднялся из-за того, что мы все одновременно увидели скелет, и он тоже смотрел на нас и улыбался.

— Эх вы,— сказал Сабир,— скелета испугались. Идите, идите сюда, не бойтесь. На этом скелете какая-то форма надета.

Мы подошли ближе, хотя и очень не хотелось, и все трое направили свет фонарей на скелет. Он сидел на земле, привалившись спиной к стене. Теперь нам стало ясно, что мы видели только череп скелета, потому что он был одет в остатки какой-то формы вроде комбинезона, но с погонами. Из рукавов высовывались белые кости рук. Мы

посветили по сторонам и увидели, что здесь устроено что-то вроде мастерской. По стенам стеллажи, ящики всякие сложены на полу. И на всех на них какие-то надписи на совершенно непонятном языке. Мы в школе английский проходим, а Камка французский, но никто из нас даже приблизительно не мог понять, что они означают. Попадались отдельные слова: «Maschine» и «Motor», а эти слова на всех языках одинаковые. А потом Алик еще одно знакомое слово увидел, оно было написано на дверце большого шкафа, который висел на стене, в нескольких шагах от скелета. На нем было написано: «Havarieschrank». Алик сказал, что этот шкаф с аварийным оборудованием. Алик такие вещи знает, потому что его отец работает главным инженером в таксомоторном парке. Мы открыли этот шкаф, и никакого аварийного оборудования там не оказалось. Там было несколько отделений и почти все оказались пустыми. Зато в самом нижнем мы нашли картонные коробки со свечами. Все отделение было заполнено этими картонками и на каждой было написано: «100 Kerze». Тут, конечно, сразу стало ясно, что Kerze — это свечи. Они слиплись по нескольку штук вместе, но оказалось, что гореть они от этого хуже не стали. А в другом отделении я увидел банок десять-пятнадцать консервов, на всех на них были наклейки с непонятными надписями, но все равно было ясно, что консервы рыбные, потому что на каждой из них была нарисована какая-то рыба. Консервы были все испорчены, я это сразу понял, когда увидел, как вздулись с обеих сторон крышки банок. Все свечи из одной коробки мы зажгли сразу, и они осветили почти всю пещеру.

Первое, что мы увидели после шкафа,— это еще три скелета. Я только увидел их, сразу же понял, на каком языке здесь все написано. Я уже и так начал догадываться, а когда увидел их, сразу все понял. Они все трое были одеты в другую форму — черного цвета и с буквами на рукаве. И перед каждым из них на полу валялся автомат. Оказывается, мы не заметили, совсем рядом с первым скелетом в комбинезоне тоже валялся автомат. По всему было видно, что они стреляли друг в друга — эсэсовцы и тот, в комбинезоне, и погибли все.

Алик сказал, что, наверное, человек в комбинезоне наш разведчик, иначе с чего бы это он устроил перестрелку с эсэсовцами. Я и сам так подумал еще до того, как Алик это сказал, а с другой стороны, еще подумал, что прове-

рить это будет трудно, ведь прошло лет тридцать, не меньше, с тех пор. Я очень хотел посмотреть, не осталось ли у него в кармане каких-нибудь документов, но подойти к скелету все-таки не решился.

— Жалко, документов у них никаких не осталось, можно было бы узнать, кто они такие,— сказал я громко Каме так, чтобы Сабир услышал.

— А ты что, по-немецки читать умеешь? — спросил он, но к скелету подошел, наклонился над ним и полез в нагрудный карман комбинезона. Там оказалось удостоверение, аккуратно вложенное в целлофановый конвертик. Имя я сразу прочитал: «Курт Штиммер» — и понял, что был он лейтенант, вот только никак не мог понять что такое Panzertruppen. Там и фотография была — на ней был человек с веселым лицом, он смотрел прямо перед собой, и хоть не улыбался, но было видно, что ему очень хочется улыбнуться. Он был снят без головного убора, и на нем был китель с погонами и орденами. А один орден-крест — висел на ленте прямо посередине, чуть ниже подбородка. А над всем этим — и над фотографией, и над надписями — держал в когтях круг со свастикой не то орел, не то коршун. Я рассматривал удостоверение, а Сабир тем временем поднял с земли автомат. Он направил ствол в дальний темный угол пещеры и нажал курок. В автомате что-то еле слышно хрустнуло, но выстрелить он не выстрелил. Ко мне подошли Кама и Алик, и я им показал удостоверение. Мы стояли и о чем-то разговаривали,— так мы и не сумели вспомнить, о чем тогда говорили, потому что нас оглушил звук автоматной очереди. Никогда не думал, что автомат так громко стреляет, даже в ушах зазвенело. Я думал, что мне показалось, но потом оказалось, что так оно и было, пули действительно просвистели совсем рядом, потому что Сабир даже не посмотрел, куда направлено дуло автомата, он его подобрал около одного из эсэсовцев. Он был уверен, что и этот не будет стрелять. Сабир сразу же подбежал к нам и каждого ощупал и все никак не мог поверить, что все в порядке и он никого не ранил. Никогда я Сабира не видел таким расстроенным. А мы даже и не испугались. Мы ведь не знали, что автомат направлен в нашу сторону, а это уже не страшно, когда все благополучно миновало.

— Сейчас мы ляжем спать,— сказал Сабир Каме.— Надо будет найти что-нибудь, чтобы подложить под себя. Хотя бы доски какие-нибудь.

А Кама, между прочим, с тех пор как мы набрели на скелет, больше о сне и не вспоминала.

Мы его не заметили сразу из-за его цвета. Я говорю о бронетранспортере. Он был выкращен в защитный цвет и при свете свечей совершенно сливался со стенами пещеры. И только на боку его была нарисована черная свастика. Мы только потому и увидели его. Мы уже совсем собрались уйти в другой конец пещеры, к нашей расщелине, подальше от всех этих скелетов и автоматов, которые стреляют, когда это совершенно никому не нужно. Кама сказала, что это танк. Может быть, это был не бронетранспортер, а какая-нибудь бронированная амфибия, но, уж конечно, не танк. Мы его обошли кругом и подробно рассмотрели. Он был очень большой, величиной с одноэтажный дом, только без окон, стоял на гусеницах, со всех сторон наглухо закрытый, только в щели впереди и по бокам чуть-чуть высовывались дула пулеметов. Это было очень удивительно, что мы вдруг нашли бронетранспортер, который стоял без всякого присмотра. Я сразу понял, что нам просто ужасно повезло. Я все еще стоял и разглядывал его, а Сабир тем временем нашел и открыл переднюю дверцу. Он с трудом дотянулся до ручки и потянул ее на себя, дверца сразу же открылась. Кама и Алик скорей побежали к нему. А я никак не мог понять, чего это я так уставился на этот бронетранспортер и никак не могу оторваться. Это со мной бывает иногда, когда я увижу что-нибудь странное, но не могу сообразить, в чем эта странность. Чувствую, а понять не могу.

Потом я перестал над этим думать и пошел к ребятам. А они уже забрались внутрь. Я ухватился за нижний край входа и по ступеням поднялся наверх. Там было очень темно и тесно, и Сабир сказал Алику, чтобы он пошел и принес свечи. Алик уже встал, чтобы пойти, а потом вдруг остановился и сказал, чтобы Сабир пошел за ними сам, если ему нужно. Я думал, что начнется драка, но обошлось. Сабир сперва помолчал, а потом сказал сердитым голосом, что он не Алика попросил, а меня. Я сразу же спустился и пошел к этому аварийному шкафу, хотя мне совсем не хотелось идти мимо скелетов.

Мы зажгли свечи и понатыкали их повсюду. Сразу же стало светло. Если не считать пулеметов и того, что впереди вместо стекла было очень узкое оконце, все здесь очень напоминало кабину большого грузового автомобиля, вроде МАЗа. Такие же мягкие сиденья, педали и рычаги

в полу для перевода скоростей. Только вместо целой баранки руля здесь была только половина. Алик сел на сиденье водителя и стал искать ключ зажигания. Он умеет водить машину, его отец научил и даже иногда разрешает садиться за руль, где-нибудь за городом, на пляже и если он сам сидит рядом. Мы все тоже стали искать, и вдруг я увидел на передней панели фотографию. На веранде дома, наверное дачи, стояли мужчина в рубашке с короткими рукавами и женщина в сарафане, а между ними маленькая девочка, и они оба держали ее за руки. Все трое улыбались. Мужчину я сразу узнал, этот был тот же человек, что и на фотографии удостоверения. Ключ зажигания оказался на месте, он был справа под самым рулем. Алик взялся за ключ и, прежде чем повернуть его, сказал, что мотор вряд ли заведется, потому что аккумулятор сел наверняка. Он хорошо разбирается во всех этих делах. Кама сразу же вцепилась мне в плечо, я тоже ждал, что мотор заведется. Все здесь в кабине было на месте, и оттого, что все было на месте и чисто, можно было подумать, что водитель вышел из нее на минуту и даже ключа зажигания не захватил с собой. Алик несколько раз повернул в гнезде ключ, но ничего из этого не вышло, как он и предупредил. А я вдруг понял, что мне показалось странным в этом бронетранспортере. Весь он, и снаружи и внутри, был совершенно чистым, без всякой пыли, словно его час назад всего обтерли тряпкой. Я вспомнил, что нигде в этой пещере не было пыли, ни на шкафах, ни на скелетах, и подумал, что пыли, наверное, здесь нет оттого, что пещера со всех сторон закрыта, а сквозь нашу расщелину ей сюда добраться трудно — слишком эта щель узкая, длинная и извилистая.

Потом нам надоело сидеть в кабине, и мы перешли в заднюю часть. Здесь были установлены скамьи, а по бокам у стен по два пулемета с каждой стороны. А на скамьях и между ними аккуратно были уложены деревянные ящики, в которых обычно перевозят помидоры или арбузы. Всем стало интересно, что в этих ящиках. Алик сказал, что, наверное, боеприпасы. А Сабир тем временем подошел к одному ящику и оторвал верхнюю планку. Под нею оказалась бумага — желтая упаковочная бумага. Он отодрал еще несколько планок, они отрывались очень легко, каждая была прибита с двух концов двумя маленькими гвоздями, и сорвал бумагу. Ящик был плотно набит пачками денег. Я никогда не видел таких денег, хотя они и

были советские. Мы вытащили несколько пачек и при свете свечей рассмотрели — на одних бумажках, красного цвета, было цифрами и словами написано: «Тридцать рублей», а на других — «Сто». Сабир сказал, что это старые деньги, и теперь никакой цены не имеют, и что это очень здорово, что мы нашли эти деньги, потому что теперь нам будет на чем поспать — разложим пачки на землю и ляжем на них, а под голову рюкзаки, все же лучше, чем на голой скале. Мы стали открывать другие ящики и увидели, что не во всех такие деньги, во многих оказались иностранные. На одних было написано по-английски — фунты стерлингов и доллары, а на других, по-видимому по-немецки, мы прочитали: «Рейхсмарка». И на каждой цифра — двадцать, пятьдесят и сто. Все они были разложены отдельно по ящикам — рубли, доллары, фунты стерлингов и рейхсмарки. Сабир сказал, что и эти деньги уже, наверное, устарели. Мы посмотрели на даты и увидели, что на всех бумажках указаны самое позднее 1935 или 1937 год. А попались и такие, на которых стояли 1901 и даже 1899 годы. Мы распотрошили несколько ящиков подряд, а пачки выбрасывали через щели наружу. Уже совсем собирались кончать, пачек набралось достаточно для наших постелей, и вдруг я открыл ящик, в котором были не деньги, а желтые тяжелые плитки, каждая не меньше чем пачки с плавленым сыром или маргарином. И на каждой было поставлено клеймо с какими-то цифрами. Мы сразу поняли, что это золото. Сабир сказал, что это гораздо более ценная находка, чем даже бронетранспортер, и что за эту находку нас всех могут послать в Артек и премировать. Тогда мы осмотрели все ящики — с золотом их было всего три, а в остальных были пачки денег.

Мы устроили себе постели недалеко от бронетранспортера. Уложили их в два слоя на свой рост, а в изголовье положили рюкзаки. Сперва вынули из них всякие твердые вещи — фотоаппараты и коллекции минералов, ну и, разумеется, остатки еды. Спать нам никому не хотелось, хотя Кама посмотрела на свои часы и сказала, что уже половина двенадцатого ночи. Мы еще побродили по пещере и все мечтали о том, что будет, когда все узнают о нашем открытии. Мы ее всю осмотрели — в одном месте, в складе была вырублена дверь, мы зашли, и оказалось, что это туалет, в этом же помещении в цементном желобе текла вода, она вытекала из отверстия в стене, вода была прозрачная и очень холодная. Наверно, это был подземный родник или

ручей, для него кто-то сделал из цемента желоб, врытый в пол; он тянулся метров на пять, а там, где он кончался, вода струей сливалась в широкую яму. Мы посветили в нее фонарем, но дна не увидели.

Мы легли на свои постели, было жестко, но в общем не очень. Сабир взял у Камы часы и положил их рядом с собой, он сказал, что проснется рано утром и разбудит всех. Решили так: если погода будет хорошая, то двое из нас пойдут домой, а остальные будут охранять пещеру. По-моему, всем было интересно, кто останется, но спрашивать об этом почему-то никто не стал. Я подумал, что, наверное, Сабир оставит здесь меня и Алика, а сам с Камой пойдет в поселок. С одной стороны, это было очень хорошо, потому что я боялся сразу увидеть маму, будет лучше, если ей вначале Кама и Сабир обо всем расскажут, а с другой — мне очень хотелось поскорее попасть домой, чтобы она поскорее успокоилась. Так, наверно, не может быть, чтобы чего-то хотелось и не хотелось сразу, а со мной это бывает часто, и ничего приятного тогда я не чувствую.

Все замолчали и, кажется, стали засыпать, и вдруг Кама встает и начинает разбирать свою постель и складывать эти пачки на полу совсем рядом со мной. Все сразу же поднялись на своих местах и сели. А она остановилась и спросила у нас:

— Может быть, кто-нибудь догадается помочь, одной мне целый час придется этим заниматься.

Сабир и Алик сразу же вскочили и тоже стали переносить и укладывать рядом со мной пачки. Но ничего не спрашивают, только удивляются про себя.

Когда все перетащили, Кама улеглась и сказала:

— Я одна ни за что не усну, когда рядом эти страшные скелеты.— И мне говорит: — Ты, пожалуйста, спи на боку лицом ко мне, а одну руку дай мне, может быть, тогда мне не так страшно будет.

Я ей, конечно, руку протянул и лежу. Глаза закрыл, а сам не сплю. Очень мне стало приятно оттого, что Кама пришла и легла рядом со мной и держится за мою руку, чтобы не так сильно бояться. Я даже дыхание затаил, до того мне стало приятно. Я подумал, что Алику и Сабиру, наверное, выбор Камы не очень понравился. И почему это она меня выбрала, а не одного из них? Я стал над этим думать и сразу же пожалел, что начал, потому что, подумав, я понял, что Кама не пошла ни к Сабиру, ни к Алику оттого, что она их стесняется как мальчишек, а ко мне

относится так просто, как, например, я к нашей Пакизе. Брал же я ее к себе в постель, когда мама оставляла меня вечером одного, а сама уходила к соседям. Разумеется, мне одному страшно не было в доме, но все равно с Пакизой было очень хорошо, она как залезет под одеяло, сразу же начинает по-особому мурлыкать, так и кажется, что она не горлом мурлыкает, а сразу всем телом от морды до хвоста.

Потом я стал думать о маме.

Я даже представить не сумел, что она сейчас делает. Хорошо, если папа сумеет ее уговорить подождать до утра, а то ведь она, увидев вечером, что мы не пришли, может ночью поехать в лагерь. Но я все-таки надеялся, что папа ее успокоит. Он на нее вообще успокаивающе действует. Без него иногда трудно бывает. А тут он ей объяснит, и не только ей — все остальные родители тоже, наверное, у нас соберутся,— что с нами ничего страшного случиться не может, в конце концов, четыре человека — это сила и деться никуда не могут, даже заблудиться: в этих горах через каждые десять — пятнадцать километров или селение попадается, или курортный поселок, а всякие туристские лагеря — те вообще в это время года как грибы понатыканы. Мама, конечно, возразит ему, что никакие мы еще не люди, а самые настоящие дети, но папа и на это ей скажет, что в этом возрасте игра уже сделана и человек уже или человек, или никогда им не станет. Тут все родители станут вспоминать свое детство и рассказывать всякие интересные истории. Хорошо, если все будет так. Лишь бы она ночью не надумала поехать в лагерь. Вот тут-то она и перепугается, когда узнает, что мы не вернулись назад после того, как началась метель. Тогда уж даже папе не удастся ее успокоить. Ведь никому в голову не придет, что мы лежим себе спокойно в пещере. Если бы о ней кто-нибудь знал, то, конечно, давно бы отсюда забрали бы и бронетранспортер с золотом и деньгами, и оружие, и немцев бы давно похоронили. Надо будет утром, до того как уйдем отсюда, найти ворота, через которые сюда бронетранспортер въехал. Наверное, немцы их снаружи так замаскировали, что и не поймешь — ворота это или скала. Вот только как же это получилось, что они расщелину не заделали, по которой мы сюда попали, вероятно, они ее и не заметили, все-таки она очень узкая. Интересно: из-за чего они поубивали друг друга? Может быть, эти три эсэсовца узнали, что военный в комбинезоне — наш разведчик и

решили его убить, когда узнали об этом. А может быть, он никакой не разведчик, а такой же фашист и они просто-напросто передрались из-за этих денег и золота, тем более что тогда они не могли знать, что когда-нибудь эти деньги будут недействительны.

Все-таки нам очень повезло — столько лет прошло после войны и никто эту пещеру не находил, а мы нашли. Столько лет убитые немцы здесь пролежали совершенно одни. А теперь в первый раз за тридцать лет сюда пришли живые люди. Даже странно как-то думать об этом. Тридцать лет! Моему папе тогда было меньше лет, чем мне, а они уже убивали здесь друг друга. Интересно: где сейчас дочка военного в комбинезоне? Ей же и в голову прийти не может, что ее отец тридцать лет пролежал мертвым в пещере в Кавказских горах. Где бы она ни была, она не знает, что случилось с ее отцом. А я знаю, разве это не странно? Все-таки очень интересно будет узнать, кто такие эти немцы. Может быть, это какие-нибудь военные преступники, которых давно разыскивают. Это же известное дело, раз эсэсовцы, то они не просто воевали, как все военные, а еще и людей расстреливали и мучили... А вдруг один из них как раз тот, который убил моего дедушку, маминого папу, его же убили где-то в этих краях, на Северном Кавказе. Но этого уж никто никогда не узнает, кто именно убил моего дедушку. Мама все рассказывала, что его убили спустя два месяца после того, как он уехал. Он пошел добровольцем. Она все время об этом рассказывает, говорит, что его бы никогда не призвали, во время войны нефтяников не брали на фронт, а дедушка взял и пошел, хотя его никто не просил. Так мама и выросла без отца. Мама как-то говорила об этом с папой, а я слушал. Мне показалось, что она очень недовольна, что дедушка пошел добровольцем, она сказала так: и кому это нужно, что он погиб? Все его товарищи, и те, которые в это время остались работать на промыслах, и те, что вернулись с фронта, сейчас прекрасно живут, а один дедушкин близкий товарищ даже министр, а он и себя погубил, и бабушкину жизнь поломал. Бабушка с детьми, у мамы еще есть две сестры, после смерти дедушки очень нуждались, у бабушки никакой профессии не было, и ей пришлось работать на кондитерской фабрике сперва сортировщицей, а позже, после войны, когда кондитерская фабрика стала выпускать, кроме монпансье и конфет-подушечек, всякие изделия, бабушка стала мастером, потому что она здорово уме-

ет печь всякие сладости — пахлаву, нугу и многое другое. Мама сказала, что это с его стороны было просто глупо, что дедушка должен был подумать и о семье своей, прежде чем решиться на такой шаг. Маме, когда дедушка пошел на фронт, было всего два года. Когда она стала говорить о семье, я сразу понял, что все это она говорит папе с умыслом, для того, чтобы он ушел со своей работы и перешел на сушу. Мне иногда кажется, что мама так сильно боится за папу и за меня из-за дедушки. Она думает, что и кто-то из нас тоже может погибнуть. Даже когда у нас в семье что-нибудь хорошее случается — день рождения чей-нибудь или же когда мы покупаем что-нибудь серьезное — вроде пианино или цветного телевизора,— мама всегда говорит — конечно, все очень хорошо, но дай бог, чтобы все были живы и здоровы. Это она бабушкины слова повторяет, та всегда это говорит, каждый день, как будто бы молится. А папа маме сказал, что очень жаль, что так получилось, но у дедушки никакого другого выхода не было. Мама удивилась — говорит:

— Я же тебе объясняю, что нефтяников на фронт не брали. Даже когда немцы к Москве подошли, нефтяников не брали, а ты говоришь, что у него другого выхода не было.

Я сразу понял, что папа, когда говорил, что у дедушки не было выхода, имел в виду что-то другое. Я за последнее время иногда стал замечать, что мама не все понимает так, как надо, в разговоре с папой.

— Я не знал твоего отца,— сказал папа,— но я думаю, что он пошел на фронт добровольцем потому, что он сам не мог иначе. Если бы мог, не пошел.

— Так и скажи.— Мама уже рассердилась, и я это видел.— Что и ты, если начнется война, не подумаешь ни обо мне, ни о своем ребенке.

— Войны не будет,— сказал папа и улыбнулся.— Я точно знаю.

— А если?

Мне очень хотелось, чтобы папа ответил ей, что он ни на какую войну не пойдет, особенно добровольцем. Лишь бы они не ругались. Ведь это глупо — заранее ругаться из-за войны, которой, может быть, и действительно никогда не будет. Даже неизвестно, с кем будет война, а они уже сейчас были готовы поругаться. Я так и надеялся, что папа сам поймет это и, если даже про себя решил пойти добровольцем, маме об этом не скажет.

— Ты знаешь,— сказал папа,— если призадуматься, я ведь не очень примерный гражданин. Я ни в общественной жизни никакого участия не принимаю, да и не хочу, хотя своего мнения ни в каких вопросах не скрываю и всегда высказываю. Хожу только на производственные совещания, да и то тогда, когда это связано непосредственно с делами нашего управления. Даже забыл, когда на демонстрации в последний раз был...

А это правда, в праздники, когда я утром иду в школу, чтобы пойти на демонстрацию, папа всегда спит. Он первые два-три дня, как вернется с промысла, всегда спит чуть ли не до двенадцати часов дня.

— Но если когда-нибудь, не дай бог, случится война, в первый день уйду в армию. Потому что я живу на свете всего один раз, за это время человек может исправить любую ошибку, самую серьезную, какую только он может допустить. Только не эту. Вот такую ошибку он никогда не сумеет себе простить. Твоему отцу, конечно, очень не повезло, что он погиб, но зато в другом повезло, он был настоящим человеком. И дети его никогда за него краснеть не будут. А это самое страшное, когда за отца стыдно.

Папа с мамой очень редко серьезно разговаривает, он вообще редко длинно говорит, а тут, нате вам, очень серьезно говорил и даже торжественно, до того торжественно, что у меня от его тона мурашки по коже пошли. Потом, когда мама вышла в другую комнату, он мне подмигнул, но при этом не улыбнулся, как обычно, и мне почему-то показалось, что он все это говорил и от моего имени. Как будто он точно знает, что я с ним полностью согласен, хоть и молчу.

Я даже не заметил, как заснул. А проснулся оттого, что во сне мне показалось, что подо мной раскачивается постель. Наверное, это показалось не только мне, потому что, когда я открыл глаза, я увидел, что и Камка проснулась. Она даже во сне моей руки не выпустила. Она испуганно огляделась вокруг и спросила:

— Ой! Где я? — А потом, видно, вспомнила, потому что успокоилась сама. И больше спрашивать не стала, где это она спит.

— Который час?

Я встал и подошел к Сабиру. Он спал очень крепко, только во сне что-то бормотал. И Алик спал. Было три часа.

— Хоть бы скорее утро наступило,— шепотом сказала Кама, она оглянулась в темноту, видно, вспомнила о скелетах.— Они там? — Как будто за то время, что мы спали, скелеты могли куда-то уйти.

Две свечи рядом с нами почти уже догорели до конца, я зажег от них другие и поставил рядом. Потом я лег и собрался снова уснуть, даже глаза закрыл, но вдруг почувствовал, как мою руку ищет Кама. Она ухватилась за нее обеими руками, притянула к себе и вздохнула при этом. Даже подвинулась ко мне ближе, чтобы было удобнее держать мою руку. И вдруг мне стало так приятно, что я забыл обо всем на свете. Удивительно хорошо мне стало тогда ночью в пещере, когда Кама взяла меня за руку и заснула. Я кожей ладони ощущал ее теплое дыхание. А может быть, она относится ко мне не совсем как к Пакизе, а немножко и как к человеку?

Я уже совсем засыпал, когда сквозь дрему снова услышал гул, который, казалось, доносился глубоко из-под земли.

Утром всех разбудил Сабир. Очень не хотелось вставать, но пришлось. Сабир теребил меня за плечо до тех пор, пока я окончательно не проснулся. Было семь часов. Сабир объявил нам, что из пещеры мы выйдем в восемь ноль-ноль, так и сказал: «В восемь ноль-ноль». За час мы должны были подробно осмотреть пещеру, а потом уйти.

Сабир очень серьезно, как взрослый, спросил у каждого из нас, как мы себя чувствуем, не простудился ли кто-нибудь, а потом сказал: «Уйдем не все — один из нас должен остаться в пещере, это необходимо для того, чтобы в наше отсутствие кто-нибудь сюда не забрался».

Сабир объяснил, что если в наше отсутствие сюда придут, то будет считаться, что пещеру открыли они, а не мы. Нас и слушать тогда никто не захочет. Скажут: ночевали, ну и на здоровье, а вот человек нашел пещеру и сразу же сообщил об этом. И тогда вся слава достанется не нам, а каким-то посторонним людям.

Кама сказала, что вряд ли кто-нибудь сюда забредет, столько лет никто не забредал, а тут сразу, за одни сутки, и мы зашли, и еще кто-то. Так не может быть.

Сабир ей ответил, что, конечно, Кама права, но она забыла о том, что нас, наверное, ищут, а те, кто пойдет искать, непременно пойдут той же тропинкой, что и мы,— все местные жители ее знают. Обычно они по ней редко

ходят, а если и ходят, то к скалам вокруг не присматриваются, а раз пойдут искать нас, то внимательно будут вокруг все высматривать и, возможно, захотят осмотреть эту расщелину, мимо которой в другое время они прошли бы без всякого внимания. Я про себя подумал, что Сабир прав — не стоит рисковать из-за того, что кто-то должен пробыть здесь каких-то лишних полтора-два часа. Кама спросила у него, кто же из нас останется. Я боялся, что Сабир вдруг вздумает оставить меня — мне очень не хотелось этого: во-первых, если мама увидит, что все пришли, а меня нет с ними, то она, прежде чем кто-нибудь успеет раскрыть рот, решит, что со мной случилось что-то самое ужасное — я упал в пропасть или утонул; а во-вторых, честно говоря, очень уж мне не хотелось оставаться с этими скелетами. Одно дело, когда вокруг люди, а другое — когда ты с ними один. Сабир сказал, что он над этим уже подумал и решил, что в пещере останется Алик.

— Подумаешь, решил,— сказал Алик.— А я решил, что ты останешься. Ты почему это за других решаешь?

— Потому что так лучше,— объяснил Сабир.— Сам подумай. Каму здесь мы оставить не можем, она девочка.— Он кивнул на меня.— Он побоится здесь остаться. От страха с ума сойдет.

Мне ужасно захотелось сказать, что в пещере останусь я. Совсем уже было собрался сказать, но Сабир говорил, а когда он разговаривает, лучше его не перебивать. Я решил объявить о том, что остаюсь, как только он кончит.

— Мог бы остаться я, но это будет неправильно, потому что знаю лучше всех дорогу, я по этой тропинке раз шесть ходил: четыре раза в прошлом году и два раза в этом, а ты всего один раз, и то в прошлом году. Другое дело, если ты боишься оставаться, ты скажи об этом прямо, тогда и толковать будет не о чем — будем считать, что это уважительная причина, и останусь я.

Алик проворчал, что он ничего не боится, просто ему хочется, чтобы все было по справедливости. Но уже всем стало ясно, что он согласен остаться.

— Есть еще какие-нибудь предложения? — спросил Сабир и посмотрел по очереди на каждого из нас.

Все промолчали, и я тоже. Подумал, что если я скажу, что хочу остаться, то Сабир поднимет меня на смех. А мне этого не хотелось, особенно при Каме. Он всегда находит для меня всякие ехидные слова, и кто их слышит,

сразу же начинает смеяться — все, кроме меня, разумеется.

— Приступим к осмотру,— сказал Сабир.— Начнем с того конца.

Мы пошли в самый дальний конец, в котором вчера не были. Впереди шли Сабир и Алик с фонарями, а за ними Кама и я со свечами — так приказал Сабир. Вообще, что бы ни говорил Алик, но Сабир молодец, без него мы просто пропали бы. И расщелину он нашел, он же первый встал и пошел, когда нас снегом стало заносить, и здесь, в пещере, он очень правильно себя ведет, даже проснулся ровно в семь, как обещал вечером, хотя его самого никто не будил. Все-таки он удивительный человек, несмотря на свой плохой характер.

Мы еще не дошли до самого конца, даже до половины не дошли пещеры, как сразу нашли столько интересного, что не успевали радоваться и удивляться.

Даже поверить нельзя было, что все это нашли мы. Со мной уже один раз случалось похожее, в этом году 21 марта, в день моего рождения, когда мне в один вечер подарили подзорную трубу, велосипед и электромеханический конструктор. Я давно мечтал о каждой из этих вещей в отдельности и даже надеялся, что они у меня когда-нибудь будут, но никогда не рассчитывал, что мне их все подарят сразу в один день. Я бы ни за что не поверил, если бы мне сказали, что может случиться так, что на день рождения все это мне принесут. А ведь так и случилось — подзорную трубу мне подарили родители, велосипед — бабушка, а конструктор принесли тетя Сона и дядя Васиф.

А сегодня все происходило так же и даже еще интереснее. Все началось с того, что мы нашли в стене черную металлическую дверь. Она была плотно прикрыта, и мы даже испугались, что она заперта. Сабир нажал на ручку и потянул ее к себе, дверь медленно, видно было, что она очень тяжелая, открылась. Мы вошли в нее и оказались в коридоре, куда выходило несколько дверей. Мне вдруг показалось, что мы находимся не в пещере внутри горы, а в коридоре какого-то обычного учреждения. Потому что здесь был нормальный паркетный пол и стены, покрашенные масляной краской. Только двери, все выходящие в этот коридор, были стальные. Я даже попытался включить свет, выключатель щелкнул, но ни одна лампа на потолке и не вздумала зажечься. На одной из дверей была таблица с надписью по-немецки. Мы зашли, это была довольно-

таки просторная комната, вроде кабинета директора нашей школы. Здесь стоял большой письменный стол с тяжелым бронзовым чернильным прибором. На стене над столом висел портрет Гитлера, а на противоположной стороне во всю стену была развешена карта, на которой был весь Северный Кавказ и Закавказье с половиной Каспийского моря и даже кусочек Черного, самый край. Вся она была испещрена красными и синими стрелками, причем самые большие стрелки были с трех сторон — со стороны Турции, с севера через горы и с южной стороны Каспийского моря — нацелены на Баку. Все надписи на карте были сделаны по-немецки. И еще там стоял сейф, но ручка его даже не шелохнулась, хоть мы и изо всех сил попытались ею открыть. Сейф так же как и карта тоже занимал всю стену, боковую, и был не такой, как обычные сейфы, вроде стального шкафа, а наглухо вделанный в стену. А сбоку рядом с ним мы увидели большой рубильник, ручка которого была окрашена в красный цвет. Рубильник находился за стеклянной дверцей, он весь был как бы в стеклянном шкафчике. А над этим шкафчиком крупными черными буквами была сделана надпись на немецком языке. Надпись заканчивалась восклицательным знаком. Последнее слово начиналось с большой буквы. Оно было короткое и сразу же запомнилось: «Tod!» Остальные слова этой надписи начинались с маленькой буквы, кроме первого слова, разумеется. И что самое удивительное, на этом стеклянном шкафчике, который ничего не стоило разбить, висел замок. Шкафчик был заперт!

Сабир сказал, что удивительного ничего нет. Самое обычное дело. Он в кино видел такое. Судя по красной ручке и надписи с восклицательным знаком, этот рубильник установлен для того, чтобы в случае захвата пещеры или отступления можно было немедленно взорвать кабинет с сейфом, в котором, по всей видимости, хранятся всякие ценности и секретные документы. Красный цвет в военном деле всегда означает что-нибудь особенно опасное. А шкафчик заперт для того, чтобы кто-нибудь, прежде чем прочитать надпись, сдуру не включил бы его. Мы тоже, конечно, рубильника этого включать не стали, а стали смотреть, что находится в ящиках письменного стола. Во всех ящиках в основном были разные документы, и все они были на немецком языке.

Мы зашли в другую комнату и остановились на пороге. Она была еще больше, чем кабинет коменданта, и

вся была уставлена оружием. Наверно, здесь помещался тогда арсенал. Рядами стояли в специальных козлах автоматы и винтовки и еще какие-то непонятные, похожие на снаряды или ракеты штуковины с красными головками, от которых отходили сзади длинные ручки. Вдоль стен на полках лежали ящики с патронами, и еще в специальных гнездах мы увидели несколько гранат. Сабир сказал, что они противотанковые. С ним никто спорить не стал, но я подумал, откуда он это знает, противотанковые они или нет, в кино-то не очень разглядишь, обычная эта граната или противотанковая.

Мы уже были в третьей комнате, где в основном только и были что папки с бумагами, когда Сабир сказал, что уже почти девять часов и нам надо немедленно уходить. Мы подошли к тому месту, где ночевали, и стали прощаться с Аликом. Сабир сказал, чтобы с собой ничего, кроме фонариков, не брали — рюкзаки оставили здесь, чтобы легче было идти, да и сквозь расщелину пробираться без них гораздо легче. Он сказал Алику, чтобы тот без нас не дотрагивался ни до одного автомата. Все это он говорил очень серьезным голосом, и самое удивительное — Алик его внимательно слушал, видно, понял, что с Сабиром спорить бесполезно. И еще Сабир сказал, что будет здорово, если в наше отсутствие Алик сумеет найти ворота, через которые сюда попадали люди и машины. Алик и это проглотил. Мы все по очереди пожали ему руку и, оставив его, пошли ко входу в расщелину, но Алик взял фонарик и пошел с нами, сказал, что проводит нас до самого выхода, ему интересно, какая снаружи стоит погода. Я-то сразу понял, что Алику хочется посмотреть на дневной свет, все-таки хоть свечи и светили достаточно ярко, но все равно эта полутьма уже начинала действовать на нервы.

Мы втроем — я, Камка и Сабир — разговаривали, когда шли к расщелине, а Алик молчал. Он шел молча, и я даже подумал, что он все-таки откажется здесь остаться в одиночестве. Я не хочу этим сказать, что он трус,— никакой он не трус. Я его хоть недавно знаю, но все равно чувствую, что он довольно-таки смелый человек. У нас и в классе все об этом знают и поэтому относятся к Алику с большим уважением, не с таким, конечно, как к Сабиру, но очень уважают. Можно сказать, что в этом смысле он на втором месте в классе после Сабира. Он к нам в класс полтора года тому назад пришел. С тех пор он здорово

изменился, совсем другой человек стал. Первое время он вежливым был, очень тихим, и ни с кем не дрался, себя, конечно, в обиду не давал, если к нему кто-нибудь лез, но сам никогда не нарывался, а потом изменился и стал почти как Сабир. Я раньше иногда ходил к нему в гости, а потом перестал, а сейчас мне даже в голову не придет пойти в гости к Алику, как-то очень незаметно это произошло. Но раньше я ходил к нему и даже с удовольствием, а теперь не хочется. Они поселились в доме напротив нашего по Видади, 156, а наш — 149. Пока этот дом строился, а он долго строился, несколько лет, я себе даже представить не мог, что когда-нибудь его наконец построят и что там у меня будут знакомые жить. А теперь я, наоборот, никак не могу представить, что было такое время, когда этого дома не было, и что Алик там не жил. Я к ним в первый раз пришел, когда они там уже месяца три жили. Квартира у них очень хорошая, комнаты все большие, просторные, но чересчур уж мебелью заставленные, повернуться просто негде, а в одной комнате даже два больших шифоньера сразу стояло, это кроме двух широких кроватей, трельяжа и двух тумбочек, у каждой кровати по одной. Я, пока был у них, никак не мог сообразить, что мне там показалось странным,— сперва подумал, что из-за фотографий Алика — в каждой комнате на стене его фотографии с самого раннего детства: Алик в кроватке, в ванночке и даже на горшке, и позднее все — вплоть до самых последних дней. И на каждой фотографии дата и название местности: Баку, Кисловодск, Ленкорань, Москва, Сочи. Если Алик когда-нибудь станет каким-нибудь великим человеком — ему эти фотографии здорово пригодятся... Потом понял, что дело не в фотографиях, что-то другое здесь мне показалось странным. Я все над этим думал, конечно, про себя между делом, сам я в это время разговаривал с Аликом. Он меня со своей бабушкой познакомил, я ужасно удивился, что она такая старая, раза в полтора старее моей. Я потом, когда познакомился с родителями Алика, увидел, что и они гораздо старше моих. Оказывается, Алик у них родился очень поздно, когда они уже и ждать перестали, что у них могут быть дети. Это мне Алик рассказал, но тогда с ним еще можно было нормально разговаривать, не то, что теперь: за все — по шее, а шутит так, что хоть ноги уноси, и сам же в это время смеется дурацким смехом. Бабушка нас угостила чаем с вареньем и пирожками, а потом принесла газету и обли-

гации и попросила нас, чтобы мы проверили, может быть, она что-нибудь выиграла. Старая такая, еле ходит, а все-таки интересуется — выиграли или нет облигации. Мы проверили два раза, чтобы не ошибиться, но ни одна цифра не совпала — ни серии, ни номера. Алик ей так и сказал, а потом такое добавил, что я прямо обалдел; говорит ей серьезным голосом: «Ты, бабушка, на этот раз ничего не выиграла, а наоборот, проиграла». Бабушка ужасно расстроилась и стала говорить, что эти облигации — сплошное разорение, а потом спросила, сколько же она на этот раз проиграла. Алик сказал, что три рубля, и незаметно подмигнул мне. Она пошла, принесла черную шкатулку, там были деньги, и вынула оттуда для Алика три рубля. Алик стал ее утешать и напомнил, что она в прошлом году выиграла сорок рублей, а проиграла с тех пор всего двенадцать. Он сказал мне, что он в каждый тираж зарабатывает таким способом три рубля, он сперва боялся, что об этом узнают родители, но все обошлось — бабушка пожаловалась им на проигрыш, а они ужасно из-за этого развеселились и об этой остроумной проделке Алика теперь рассказывают всем своим знакомым. Мы в тот день эти три рубля очень удачно потратили — пошли на Приморский бульвар, взяли напрокат лодку и долго катались по бухте, почти до самого «Интуриста» доехали и обратно. Лодочник попался очень славный — отпустил нас одних, взяв с нас честное слово, что мы умеем плавать, только в лодку положил два спасательных круга. А вообще ведь и никакой опасности нет, у него под рукой спасательный глиссер, две минуты — и можно оказаться в любом месте бухты. Конечно, нам эти три рубля оказались гораздо нужнее и полезнее, чем бабушке Алика. Ей-то деньги совершенно ни к чему, из дому никуда не выходит и живет на всем готовом, к ним каждый день домработница приходит,— но все равно, когда я ее вспоминал — она вся такая маленькая, сгорбленная, и глаза у нее добрые,— а вспоминал я ее в этот день беспрерывно, мне почему-то становилось грустно, жалел я ее. Наверное, Сабир прав, я, может быть, и вправду не совсем нормальный. А потом я понял, что мне показалось странным в квартире Алика, я еще два раза к ним приходил, прежде чем понял это,— у них не было книжного шкафа. Ни в одной комнате! Не то что шкафа, даже полки с книгами нигде не было, и книг было только что учебники на письменном столе в комнате Алика, и больше ни одной! Вот что, оказывается,

мне показалось странным. Но понял я это, как всегда, не сразу, а гораздо позже, даже когда уже и думать об этом перестал. Когда я сказал об этом Алику, он ужасно удивился и ответил, что ничего в этом странного нет, у них и на прежней квартире книг не было, а любую, какая только ему может понадобиться, он возьмет, если захочет, в библиотеке за углом. Все книги ведь все равно дома собрать нельзя, сколько ни старайся. Когда он мне так ответил, мне сразу стало казаться, что, может быть, и вправду ничего странного нет, если в квартире нет книг, нет — и все, в начале почему-то это показалось странным.

Конечно, Алик молчал не из трусости. Это кому хочешь не по себе станет, если ему скажут, что надо одному остаться в этой темной пещере. Другой бы ни за что не согласился, а Алик согласился. Мы уже почти до самой расщелины дошли, а он так и не раздумал, только молчал, и вид у него был довольно-таки грустный. А что ему еще делать остается — не радоваться же тому, что мы все уйдем, а он останется один с этими скелетами?

Я даже в полной темноте, если бы фонари не светили, даже с зажмуренными глазами почувствовал бы, что мы подошли к расщелине — по запаху. По запаху сырой земли. Не просто сырой — а сырой и свежей, как будто здесь только что начали копать. Нигде в пещере больше так не пахло, кроме этого места. Я сразу понял, что мы дошли до входа в расщелину. Только вот этого большого валуна, по-моему, здесь вчера не было. Огромный такой камень, мне почти до пояса, с неровными краями. Вчера его здесь точно не было. Я это помню потому, что, когда искал вчера для Сабира остаток сталактита, вокруг ни одного камня не видел, все вокруг было ровно.

— А где же расщелина? — Это Сабир спросил впереди, и голос у него в это время был удивленный.

Тут я и думать забыл о камне и побежал вперед. Смотрю, а перед нами только сплошная стена из скалы, как будто здесь никогда никакой расщелины и не было. Приснилось нам, что ли? Ну, тут мы забегали! Бегаем, без толку ищем, а ничего найти не можем. Кажется, мы все очень испугались, у меня даже ноги похолодели и стали легкими-легкими, а это всегда бывает, когда я очень сильно испугаюсь или волнуюсь. Нигде ее не было. Но мы поняли, что она все-таки была вчера здесь, потому что нашли на стене трещину, которая шла от самого пола вверх, еле заметную. В нее даже спичка не пролезла бы. Мы по-

няли, что это следы от нашей расщелины. Сперва я вообще ни о чем думать не мог, до того испугался, а немного погодя вспомнил о том, как гудело ночью под землей. Может быть, мне и не приснилось, что подо мной земля качалась. Наверное, был толчок, от него и закрылась наша расщелина, она ведь совсем узкая была.

Здорово мы растерялись. Кама стоит плачет. Я стою рядом и тоже боюсь слово сказать, знаю, что сразу же расплачусь. И Алик молчит, скорее всего тоже боится расплакаться. Не знаю даже, что бы мы делали дальше, если бы не Сабир. Наверняка он тоже испугался, но, когда он заговорил, никто из нас этого не заметил. Голос у него был такой, как всегда. Он сказал, что теперь нам надо найти отсюда выход. Сабир объяснил нам, что из пещеры обязательно должен быть нормальный выход, потому что каждому дураку ясно, что и бронетранспортер, и люди попадали сюда не через эту временную расщелину, и не только это, ведь вся мебель, которую мы видели, и оружие с самого начала в пещере не были, через какой-то вход их сюда пронесли, а раз так, значит, он есть. Пока он говорил, все успокоились и перестали бояться. Я по себе сужу, совершенно у меня прошел страх, и я стал думать над тем, где этот выход может быть. И Кама перестала плакать, она-то плакала в голос, а теперь замолчала, только еле слышно всхлипывала.

Мы пошли назад, к тому месту, где ночевали. Сабир шел впереди и говорил, что, ему кажется, выход должен быть там, где стоит бронетранспортер. Потом он обернулся к нам и сказал, чтобы мы все, кроме него, погасили фонарики — надо экономить батарейки. Вот никто об этом не подумал, а Сабир один догадался. Я заметил, что и Алик сразу же выключил фонарик, без всяких разговоров, не то что раньше.

А выход из пещеры мы нашли почти сразу. Вернее, не выход, а огромную плиту из металла, которая его закрывала. Она была очень высокая, гораздо выше бронетранспортера и шире его. И везде по краям сливалась со скалой, нигде даже на сантиметр не выступала. Мы поняли, что она из металла, когда постучали по ней камнем,— звук раздался металлический и вместе с тем такой глухой, как будто эта плита была очень большой толщины. Мы даже стали думать, что выход не здесь, но потом увидели, что на полу остались следы от гусениц бронетранспортера и они кончаются у самой плиты. Сабир сказал,

что теперь осталось только найти, где замок, и отыскать ключи к нему. Ключи должны быть где-то в пещере, скорее всего в кармане одного из скелетов. Мы внимательно осмотрели всю плиту, сперва весь ее нижний край, а когда ничего не нашли, сложили рядом с нею пустые ящики и осмотрели всю доверху. Никакого замка мы не нашли, хоть по нескольку раз подробно осмотрели каждый квадратный сантиметр. Замка на ней не было. Тогда Сабир сказал, что надо поискать еще один выход. И мы стали искать. Всю пещеру обошли вдоль стен, снова комнаты осмотрели и коридор, потом еще раз, нигде ничего похожего на ворота или двери не обнаружили. Тогда мы окончательно поняли, что эта плита закрывала единственный выход из пещеры.

Мы очень устали, на часах Камы, когда мы кончили поиски, было два часа. Значит, мы с девяти — пять часов подряд — беспрерывно искали выход из этой проклятой пещеры.

Сабир сказал, что надо устроить перерыв, обсудить, что делать дальше, и отдохнуть. И в это время Камка как закричит! Ужасно радостно она закричала. Мы к ней бросились, она стояла совсем недалеко, спрашиваем, что случилось, а сами знаем, что случилось что-то хорошее, очень уж она радостно закричала, а она нам на стену показывает — там в небольшом углублении была вделана небольшая черная коробка, а на ней две плоские кнопки — красная и синяя. И над верхней, красной, что-то по-немецки написано. Сабир даже раздумывать не стал, сразу же нажал на верхнюю кнопку, но ничего не произошло, тогда на синюю, то же самое. Мы нажимали на эти кнопки до тех пор, пока пальцы у нас не онемели, но ничего из этого не получилось. Я сказал, что, наверное, раньше эти кнопки работали, действовали, потому что было электричество, а сейчас его нет, вот они и не действуют. Сабир разозлился и сказал, чтобы я немедленно заткнулся, все и без меня понятно.

Мы сидели на наших постелях из бумажных денег и думали, что делать дальше. Сабир сказал, что положение очень серьезное, мы должны постараться найти отсюда выход, потому что рассчитывать нам не на кого. Никто к нам сюда на помощь не придет. Еще он сказал, что мы должны выбрать одного из нас главным, вроде командира, и во всем ему подчиняться, потому что ничего хорошего не получится, если каждый будет делать то, что ему взбре-

дет в голову. Тут меня Алик удивил, он сразу же сказал, что главным должен быть Сабир. Сабиру это очень понравилось, по его лицу было видно, но все-таки спросил, есть ли еще какие предложения. Мы сказали, что никаких других предложений нет, но все равно Сабир попросил всех проголосовать. Иначе, мол, он не согласен. Спросил, кто «за» — все, кроме него, подняли руки: кто «против» — тут никто не поднял руки, а потом он спросил, кто воздержался,— и поднял руку сам. После голосования он сказал, что теперь мы все должны ему подчиняться, если хотим, чтобы все было хорошо. Как будто и без голосования не было ясно, что самый главный здесь Сабир.

Он сказал, что мы должны тщательно подсчитать, что у нас осталось из еды. Мы сразу же стали подсчитывать — вытащили все из рюкзаков, сложили в общую кучу три бутерброда с колбасой, полплитки шоколада, один плавленый сырок — вот и вся еда. До этого есть не хотелось, утром мы съели по бутерброду и больше о еде не вспоминали, а тут как увидели, как мало всего у нас осталось, ужасно есть захотелось. Сабир сказал, что мы теперь должны эту еду очень беречь и экономно тратить. Он разделил один бутерброд на четыре малюсенькие части и раздал нам — сказал, это наша порция до завтра, кто когда захочет, может съесть, он еще говорил, а мы уже проглотили, а остальные продукты будут храниться у него, и он сам их будет нам выдавать в определенные часы. Он и спички подсчитал — их оказалось восемь штук в коробке, и сигареты — пять штук, и положил в карман, сказал, что их тоже будет выдавать по одной. Но это он, конечно, больше для порядка сказал, никто из нас, кроме него, не курит. Потом он приказал мне принести из аварийного шкафа консервы, которые мы там нашли. Я принес. Банки все были целые, но крышки у них выпячивались в обе стороны, как будто их изнутри накачали воздухом.

Я принес их и сказал, что есть эти консервы нельзя, раз они так раздулись, значит, окончательно испортились. А от рыбы бывает самое тяжелое отравление, от которого запросто можно умереть. У нас во дворе умер Витя Щеглов, мастер спорта, член сборной Азербайджана по волейболу,— он съел осетрину и на следующий день в страшных мучениях умер, потому что врача вызвали поздно. Его отвезли в больницу и целый день промывали ему желудок, уколы всякие делали, но ничего не помогло — он умер. А если мы здесь отравимся, то нам вообще никто

никакой помощи оказать не сумеет. Все меня внимательно слушали, даже Сабир, и, когда я кончил, он сказал, что никто эти консервы немедленно есть не собирается, а в будущем посмотрим. И тут я сделал ошибку. Не надо было мне об этом говорить — о том, что я прочитал об отравлениях в энциклопедии. А там написано, что раздутые консервы ни в коем случае есть нельзя, это первый признак того, что в них самый страшный яд и что это называется ботулизм. Я слово это точно запомнил. Я как только сказал про ботулизм, увидел, как Сабир страшно рассвирепел; он терпеть не может, когда при нем говорят незнакомые слова.

— Читатель! — А это у него самое плохое ругательство.— Все ты читал! Ничего другого в жизни не умеешь, кроме этого. Все врешь, знаешь, что проверить нельзя, и врешь. Как вошли сюда, начал придумывать.— Это он на сталактиты намекает.— Думать мешаешь. Заткнись, чтобы я тебя больше не слышал!

Я, конечно, замолчал, но про себя решил до этих консервов не дотрагиваться. С голоду умирать буду, а до них не дотронусь. Обидно, что и Кама, и Алик против меня, они оба, презрительно улыбаясь, смотрели на меня, когда Сабир кричал. Хоть я и привык к этому, но все равно всякий раз бывает обидно. Я же для их пользы говорил насчет отравления. Пожалуйста, раз так, ешьте на здоровье, отравляйтесь. Сабир сказал, что мы не должны терять ни минуты времени, а сразу же приступить к осмотру пещеры. Мне он приказал обыскать скелеты и все найденное принести ему. Я понял, что он нарочно это сделал для того, чтобы я отказался и он мог бы меня опять при всех унизить. А я не отказался. Пошел и стал их обыскивать. У всех у них были пистолеты и удостоверения, и у всех трех эсэсовцев в кармане были семейные фотографии с женами и детьми. Я вытащил из карманов какие-то ключи, носовые платки, деньги. А у того, что в комбинезоне, неэсэсовца, я нашел в кармане небольшую книжечку в картонном переплете, я, как раскрыл ее, понял, что это самое интересное из того, что нашел,— оказалось, это разговорник, немецко-русский разговорник. Первые страницы были слипшимися, ничего на них нельзя было разобрать, а остальные, большинство, сохранились нормально, можно было читать. Я стал его просматривать, но меня окликнул Сабир. Они все трое уже были в коридоре. Я отнес ему все, что нашел. Сабир, как увидел ключи — два здоровен-

ных ключа на одном брелоке, обрадовался и сразу выхватил их у меня из рук. И все равно сделал вид, что он недоволен чем-то, и сварливым голосом спросил, все ли я нашел. Он сказал, что эти ключи от сейфа, раз у каждого бородки в обе стороны, то они явно от сейфа. Так и оказалось. Оба ключа подошли, и мы открыли сейф. Весь он был набит бумагами. И все на немецком языке. Очень обидно было. Стоят четыре человека, все грамотные, и ничего поделать не могут, как в кино, как будто на другой планете. Ничего понять нельзя! Потом с верхней полки Сабир взял вчетверо сложенный большой лист. Развернули, смотрим — это чертеж нашей пещеры, мы ее сразу узнали. Все на этом чертеже было указано — и пещера, и коридор с комнатами,— все, и ничего нового. Очень подробный чертеж. Все шкафы, которые мы обнаружили на стенах, кнопки у выхода, этот коридор, комнаты, даже красный рубильник и сейф в комнате комендатуры — все. И выход был отмечен в том месте, где мы его нашли, и даже показано, куда он выходит, похоже, что к какой-то дороге в горе. Надписи же все были совершенно непонятные. Никакой пользы от этого чертежа. Сабир разговорник повертел в руках и вернул мне, чтобы я его хранил, сказал, что он еще понадобится.

Мы до ночи все осматривали, везде облазили, даже портреты на стенах отодвинули, думали, может быть, за ними какой-нибудь тайник запрятан. Поздно ночью кончили. Только из сил выбились окончательно.

Даже Сабир приуныл. Но вел он себя очень правильно. Сказал, что утром непременно придумаем что-нибудь. Потом подумал и еще один бутерброд разделил. Я бы никогда так точно не сумел разделить, как Сабир. Он раздал все эти кусочки и сказал, что сегодня он решил дать нам добавочное питание, потому что мы слишком много поработали и нам надо подкрепиться. Он пожелал всем спокойной ночи. Очень официальным голосом, как и полагается командиру. Все сразу же улеглись спать. Кама сегодня ночью не стала просить, чтобы я ей свою руку протянул, видно, уже перестала бояться скелетов, привыкла, наверное. А может быть, я ей противен стал, после того как Сабир при ней накричал на меня из-за ботулизма. Хотя вряд ли, он же и раньше кричал на меня при ней. Он на меня только во время контрольных не кричит, разговаривать начинает ласково. Таирчиком называет. Каждую минуту шепотом спрашивает, чтобы никто не слы-

шал, когда я кончу свой вариант. А всю последнюю четверть я, чтобы он не мешал мне и зря не волновался, сперва его вариант делал, отдавал ему, а потом за свой принимался. А он меня все равно презирает. Я чувствую — благодарит, а презирает.

Я все этот немецко-русский разговорник перечитывал. Жаль, что нам не словарь попался, а разговорник. Словарь бы нам очень понадобился...

— Ты почему не спишь? — Это Сабир поднялся на своем месте и спросил: видно, и ночью себя ответственным за все считает, как и положено командиру.

Я сказал, что мне спать не хочется, вот я и просматриваю этот разговорник.

— Читатель! — Очень он ехидно это слово говорит. Махнул рукой и снова улегся. А я этот разговорник уже один раз прочитал, а теперь я его читаю просто так, чтобы ни о чем не думать. Потому что, как только перестаю читать, сразу же начинаю думать, что дома делается. Мама же сейчас с ума сходит. Боюсь себе представить, что она делает! И ничего поделать с собой не могу, хоть и читаю, но все равно об этом думаю. По правде говоря, я этот разговорник читаю, потому что просто привык что-нибудь читать все время. Мама это называет квочкой. Иногда она у меня книгу отбирает, за едой, например. Я почти все книги, которые мне понравились, несколько раз перечел... А в этом разговорнике много странного и смешного — сперва немецкий текст в нем идет, а потом русский, а весь он поделен на разделы — «Транспорт», «Развлечения», «Разговор с военнопленными или партизаном», «Предупреждение о наказании представителя местного населения». На все случаи жизни, в общем. «Немецкий офицер приглашает фрейлейн в кафе», а в скобках — «в кино, театр, ресторан». Очень ловко, это, значит, куда он хочет пойти, то слово и подставляет. Или: «Примите от меня маленький подарок», а в скобках: «Духи, конфеты, цветы, ювелирное изделие». Там много всякой всячины было, а самое интересное я прочитал, когда дошел до разделов «Предупреждение о наказании» и «Разговор с военнопленными и партизаном». Сплошные угрозы. За все смертная казнь — или расстрел, или повешение. «За появление на улице позже десяти вечера — расстрел», «За укрывательство в доме коммуниста — в скобках «партизана, военного» — смерть». Почти за все смерть полагалась, оказывается. Даже за невыход на работу. Я теперь

понял, что это слово означает, «Tod», которое я видел в надписи около красного рубильника. По всему было видно, что — смерть, оно встречалось во всех почти предложениях, где речь шла о смертной казни. За любой пустяк полагалась смерть, как будто человеческая жизнь вообще ничего не стоит. Это значит, если у человека испортились часы и он, не зная, что уже поздно, вышел на улицу в половине одиннадцатого, то любой патрульный мог его застрелить. Из того, что я прочитал в этом разговорнике, получалось так. Я еще немного почитал, а потом сам не заметил, как уснул.

А с утра все то же самое. Мы по нескольку раз обошли каждый уголок. Я теперь с закрытыми глазами мог в любой конец пещеры пройти, все мы осмотрели и потрогали руками, нигде выхода не было, кроме этой плиты, а с ней ничего сделать нельзя было. Сабир сказал, что если бы здесь вместо всех этих бесполезных автоматов и пулеметов оказалась бы пушка, то он, не задумываясь, выстрелил бы из нее прямо в эту плиту. Это был совершенно бесполезный разговор, во-первых, потому, что никакой пушки не было, а раз нет, то и толковать не о чем; а во-вторых, Сабир все равно не знает, как с ней обращаться. Целый день — с утра до поздней ночи — мы проходили по этой пещере, мы уже почти не разговаривали, потому что поняли, что дело плохо. Вечером мы съели все, что оставалось — поделили на четыре части плавленый сырок,— и стали думать, что будем делать дальше. Ничего не надумали, и я стал читать разговорник, чтобы хоть чем-то заняться.

Сабиру это ужасно подействовало на нервы, и он приказал мне его закрыть и отложить в сторону. Я сразу же послушался, чтобы еще больше не раздражать его. Он сказал очень торжественным голосом, что мы еще завтра поищем выход, а если не найдем, то завтра же вечером или послезавтра он попытается взорвать эту плиту гранатами. Другого выхода нет. Я подумал, как же он взорвет, если никогда в жизни до этого не видел гранату, нигде, кроме как в кино.

— А ты умеешь с ними обращаться? — спросил Алик.

— Ничего особенного. Надо оттянуть к себе ручки и повернуть перед тем как бросить,— сказал он.— Только я ее бросать не буду, надо будет продолбить под плитой небольшую ямку, я положу туда гранату и отбегу в сто-

рону за бронетранспортер. По-моему, все будет в порядке. Все равно другого выхода нет. Еда кончилась, и придется завтра начать есть консервы.

— А почему завтра? — спросил Алик.— Можно и сегодня.

Только он это сказал, у всех прямо глаза загорелись. Слюну все проглотили. Мы все ужасно проголодались. И до этого есть хотели, а после кусочка сыра вообще озверели. Но Сабир сказал, что до завтра мы консервов трогать не будем, надо и о будущем подумать. Я попытался напомнить им о том, что консервы испорчены, только начал говорить, а они на меня все закричали, сразу втроем.

— Не хочешь — не ешь,— сказала Кама.— Никто тебя не уговаривает. А в наши дела не вмешивайся!

У нее в это время такое нехорошее лицо было, когда она мне это говорила, и голос и лицо. Особенно лицо — чужое и неприятное. Я даже не думал, что у нее может быть такое лицо. Я уже и слушать перестал, что мне говорят Алик и Сабир, так мне обидно стало после того, что я услышал от Камы.

Все легли спать. Я почитал еще немного разговорник, а потом тоже решил заснуть. Лег на бок и закрыл глаза, и в это время Кама мне говорит — она, оказывается, не спала:

— Ты на меня обиделся?

Я помотал головой — мол, нет.

— Обиделся, обиделся, я же вижу!

— Не обиделся.

— Если не обиделся, дай руку, мне с твоей рукой удобнее спать.— Взяла мою руку и замолчала. Смотрю — уже спит. А я никак не мог в ту ночь заснуть. Все думал о том, что утром Сабир раздаст всем эти рыбные консервы. Я-то, конечно, их есть не буду, но ребята все трое съедят же их. И говорить с ними бесполезно. Одни неприятности. Ничего не понимают. Я же помню, что было написано насчет ботулизма, у меня память на все напечатанное очень хорошая, я все стихи с самого первого раза запоминаю, даже плохие. И не только стихи — любую формулу, самую длинную, могу запомнить сразу. Там было написано, что человека, который отравится этими проклятыми консервами с раздутыми крышками, надо немедленно госпитализировать, я это слово тоже запомнил. Иначе смертельный исход. Я же помню, как Витя Щеглов умер — такой здоро-

вый человек, а за одну ночь умер, несмотря на то, что его все-таки доставили в больницу. Мы же все отравимся и умрем, и останемся здесь, как эти скелеты. Почему они не хотят меня послушать? Ведь если бы это сказал Сабир, они послушались бы его! Неужели, для того чтобы тебя слушали, ты должен уметь тридцать раз подтянуться на турнике?!

Я представил себе, как утром Сабир раздаст им содержимое одной банки и они съедят его: каждый свою долю. Съедят, а через час или полтора они, конечно, сразу пожалеют, что меня не послушались, но будет поздно. Все умрут в страшных мучениях: и Камка, и Алик, и Сабир. Меня от этой мысли почему-то даже тошнить стало.

Я осторожно вынул свою руку из ладони Камы, встал и на цыпочках подошел к Сабиру, очень не хотелось идти, но я все-таки пошел. Разбудил его, он открыл глаза и смотрит на меня удивленно. Я ему стал говорить, что если мы утром съедим эти консервы, то все погибнем. Он сперва молча слушал, видно, не понимал, о чем речь, а потом, когда понял, ужасно разозлился:

— Если ты сейчас же не пойдешь и не ляжешь спать, я тебе так дам, что всю жизнь калекой ходить будешь! — Я повернулся сразу и пошел к себе, а он мне вслед говорит: — Я с тобой утром поговорю.— И еще одно слово добавил, если бы он не знал, что Кама спит, он никогда бы его не сказал.

Я пошел и лег на свое место. Полежал немного, а потом, когда мне показалось, что Сабир уснул, я встал, взял консервы, все восемь банок, и, тихонько ступая, пошел с ними в другой конец, туда, где коридор и комендантская. Я сперва хотел их спрятать куда-нибудь подальше, но подумал, что Сабир все равно заставит меня сказать, куда я их спрятал... Я взял и бросил их все по одной банке в глубокую яму, куда сливалась вода из желоба. После каждой банки я прислушивался: хотел услышать, как они ударяются о дно, но так ничего и не услышал, бездонная она, что ли, эта яма?

Утром я раньше всех проснулся. Проснулся и лежу молча. Глаза открывать не хочется. Слышу, Сабир поднялся, сперва Каму разбудил, за ней Алика, а потом надо мной остановился, подергал за плечо: «Вставай, уже утро». Умылись, собрались вместе. Настроение у всех ужасное, по лицам видно, а хуже всех у меня, конечно. Только и думаю, что дальше будет. Сабир говорит:

— Ночью меня этот паникер будит, говорит, боюсь консервы кушать, животик от них заболеть может. Я, говорит, все энциклопедии на свете прочитал... Иди, читака, лучше консервы принеси.

И я пошел. До того места, где они были вчера сложены, шагов пять. Медленно пошел, потом вернулся и говорю:

— Нет консервов.

— А где они?

— Я их выбросил.

Они на меня все трое удивленно посмотрели.

— Куда же ты их выбросил? — Это Сабир спросил. Недоверчиво.

—В яму, куда ручей сливается.— Я сразу почувствовал, что Сабир поверил. И остальные тоже.

— Все банки выбросил?

— Да.

Они все страшно разозлились.

— Подлец,— сказал Алик.— Какое ты имел право? — Он замахнулся, и я даже голову вобрал, думал, он меня ударит, но он не ударил, только плюнул и отошел в сторону. И Кама на меня посмотрела очень возмущенно и презрительно и сказала, что я дурак и эгоист несчастный. Только Сабир ничего не сказал, он стоял молча и смотрел на меня с ненавистью. Он стоял от меня на расстоянии двух шагов, а между нами была моя постель, и вдруг как прыгнет ко мне через нее.

Он меня ударил в лицо, и во рту появился соленый привкус, и в голове зашумело. Очки сразу отлетели в сторону, я пожалел, что не снял их. Наверное, стекла разбились о пол. Я подумал, что он меня еще два или три раза ударит и остановится, но он не останавливался, а бил и бил, и все по лицу. Я стал закрывать лицо руками, а он сразу же изо всех сил ударил меня в живот, тогда я руки убрал, и он снова стал бить по лицу. А потом уже и лицо не мог закрыть, руки стали непослушными, и я их не мог поднять. До сих пор мне непонятно, почему я не упал, качался из стороны в сторону, но не падал. Наверное, Сабир еще больше злился оттого, что я не падаю. Я без очков плохо вижу, а тут как будто глаза какой-то мутной пеленой прикрыло — все как в тумане стало вокруг. Потом у меня все-таки ноги подогнулись, но я не упал совсем, а встал на колени. А Сабир продолжал меня бить. Только я уже боли не чувствовал, а видел его какими-то

вспышками, то вижу, то нет, как будто кто-то играет со светом — включает и выключает, включает и выключает. Я думал, это никогда не кончится, но без всякого страха, мне уже все это стало безразлично, как будто не меня бьют, а кого-то другого. В одну из этих вспышек я увидел, как на Сабира бросилась Кама. Он повернулся к ней и обеими руками изо всех сил толкнул ее в грудь. Она отлетела на несколько шагов и упала на пол. Я увидел, как с криком «Перестань!» на Сабира побежал Алик. В это время Сабир изо всех сил ударил меня ногой в лицо, и я больше ничего не помнил. Когда я падал, я еще, кажется, как следует стукнулся головой о пол.

Оказывается, он и Алика избил, не так сильно, как меня, но тоже избил. Я удивился, что Сабиру удалось так его сильно избить, но Алик объяснил мне, что Сабир дрался нечестно, вцепился в рубашку на груди, притянул к себе и ударил его головой в лицо, а потом дал подножку и уже бил лежачего. И тут на него бросилась с автоматом Кама. Алик говорит, что он жуткого страха натерпелся, думал, Камка хочет его убить. И Сабир перепугался, сразу остановился и стал от нее пятиться, а она протянула ему автомат и кричит: «На, стреляй! Убей нас всех, фашистская морда!»

Это Алик мне рассказал потом, когда я пришел в себя. Кама плакала и прикладывала мне к лицу холодные компрессы. Я в себя пришел, от этого пришел,— почувствовал что-то холодное. Но, несмотря на компрессы, лицо здорово распухло. Алик принес и положил рядом со мной очки. Одно стекло целым осталось, другое разбилось. Все тело у меня болело, особенно лицо. Я даже рта не мог раскрыть, так скулы болели. За что же он меня так? Ну ударил бы раз, два! А так разве можно? Он же намного больше меня и здоровее. Если каждый, кто сильнее, будет бить других, то ничего же из этого путного не получится. Был бы я на полтора года старше, я бы ему тоже показал! Я же не виноват, что меньше всех в классе? Все это знают, и никто ко мне никогда драться не лезет. Сабир сам же много раз говорил, чтобы меня не трогали. Я только один раз подрался с Аликом Цихецким из пятого «А». Он толкнул меня в буфете, а я его. Тогда он мне говорит: «Оставайся после уроков — подеремся». Мы пошли с ним за баскетбольную площадку, там после занятий никого не бывает, положили сумки на землю и начали драться. Я сразу ударил его два раза, а он стоит и хоть бы что.

Я остановился и спрашиваю, чего он ждет. А он очень сердито говорит: «Как же я с тобой буду драться, если на тебе очки?» И лицо у него было очень обиженное, все-таки совершенно зря я его два раза ударил, можно сказать, до того, как началась драка. Я очки снял сразу же и предложил ему, чтобы все было по-честному, чтобы он меня два раза ударил, а потом уже начнем драться по-настоящему. Он отказался и сказал, что не хочет меня бить просто так. Я почувствовал, что ему не хочется уже драться, да и мне совсем расхотелось. Мы молча постояли друг против друга, а потом я спросил, есть ли у него десять копеек, он поискал в кармане — нашел, спрашивает, для чего они мне. А у меня самого было тридцать, я взял эти десять копеек, и мы пошли вдвоем в кино, купили два билета и посмотрели «Джентльмены удачи». Очень хороший фильм. После этого мы с Аликом очень подружились, и я, когда сюда ехал, очень жалел, что его здесь не будет. Родители на лето уехали с ним на Кубань.

Я еще думал об Алике Цихецком, когда у меня вдруг закружилась голова, и меня сразу же вырвало. А потом еще несколько раз. Вместо нормальной рвоты изо рта вода горькая льется. Это потому, что в желудке ведь у меня ничего нет, в последний раз я вчера кусочек сыра съел, вот одна вода и льется. Кама и Алик сразу стали очень заботливыми, сели рядом и все спрашивали, не нужно ли мне чего-нибудь. Честно говоря, очень приятно было, что они обо мне так заботятся.

А Сабир все ходил по пещере и искал выход, но, помоему, он уже понял, что ничего не найдет, и просто делал вид, что ищет. Ни с кем из нас он ни разу не заговорил, не хотел или боялся, что мы ему не ответим.

Кама и Алик просидели возле меня до поздней ночи. Вообще мне показалось, что этот день прошел очень быстро. Только что было утро, и вдруг я смотрю — все укладываются спать. Удивительно быстро прошел этот день.

На следующее утро все проснулись очень поздно. А я так вообще позже всех. Проснулся и ничего не могу сообразить — где я и почему это вокруг меня все они собрались — Кама, Алик и Сабир, и у всех лица какие-то очень испуганные. Ничего не могу понять! Сабир мне говорит, после того как я вспомнил, что я еще в этой проклятой пещере:

— Ты, пожалуйста, извини меня за вчерашнее, я тебя очень прошу, извини!

А Кама ему на это:

— Ни за что он тебя не извинит, посмотри, что ты сделал с человеком, ты просто отвратительный тип!

— Лучше уйди отсюда! — Это Алик ему сказал.— Уйди сейчас же, или я тебя ударю!

А Сабир как будто их не слышит, все твердит одно и то же:

— Извини. Я тебя очень прошу — извини!

Как-то глупо все это выглядело. Для чего ему мои извинения, спрашивается? И вдруг я увидел, что Сабир плачет. Никто еще не видел, чтобы он плакал. Никогда такого не было. А тут сидит и плачет и всхлипывает при этом. Я тоже очень расстроился, даже вспоминать противно, до чего расстроился, говорю, ладно, перестань плакать, только в следующий раз, прежде чем распускать руки, подумай! А что я ему еще могу сказать?

А Алик все свое — уйди, а то хуже будет! И Кама напоследок его отвратительным типом обругала. Он встал и ушел. Когда он уходил, вид у него был очень несчастный. После его ухода Алик и Кама его долго ругали, а у меня уже против него никакой злости не было. Я им этого не сказал, а то бы они, наверное, и на меня разозлились бы, но злость у меня вся прошла, и ничего с собой я поделать не мог!

Мы втроем лежали рядом и молчали, все какие-то вялые стали, наверное, от голода, никто даже головы не поднял, когда подошел Сабир с гранатой в руке и попросил, чтобы мы встали и перешли в комендантскую. Он объяснил нам, что попытается взорвать плиту у входа. Я шел, а меня качало из стороны в сторону, как будто я пьяный. Хорошо, Алик и Кама поддерживали меня. Как только мы зашли в комендантскую, Алик сразу же оставил нас и вернулся к Сабиру. Хоть они и в ссоре, но Алику, кажется, не хотелось, чтобы Сабир один взорвал гранату.

Мы с Камой сидели в комендантской и ждали, что будет дальше.

Здесь было так тихо и спокойно, казалось, что эта комната находится где-нибудь в учреждении и хозяин кабинета войдет с минуты на минуту. Я еще раз посмотрел на надпись рядом с красной ручкой — после того, как я прочел разговорник, я уже знал, что означает слово «Tod» — смерть. Оно очень часто попадалось в разговорнике. Это и еще Erschießen — расстрел. Я его тоже хоро-

що запомнил, потому что эти два слова там попадались почти на каждой странице.

А потом раздался страшный взрыв, дверь в комнату была плотно прикрыта, а после взрыва со страшной силой распахнулась и ударилась об стенку. И свечи все разом потухли.

Алик сказал, что Сабир, после того как оттянул и повернул ручку гранаты, прислонил ее к плите, а сам вместе с Аликом отбежал сразу же и спрятался за бронетранспортером. Только пользы этот взрыв никакой не принес — в нескольких местах он только пол поцарапал и поверхность плиты. Вот и все!

Мы еще долго просидели в комендантской. Все предлагали что-то, но все просто так, впустую, нам уже стало ясно, что дела наши очень плохи. С Сабиром все незаметно стали разговаривать, но он уже не был у нас главным. Нам уже и не нужен был главный, даже если бы у всех с Сабиром были бы прежние отношения.

Мы встали и ушли из кабинета коменданта.

Очень хотелось есть. Никто об этом не говорил, но есть хотелось ужасно. В голову только и лезли что мысли о еде. Ни о чем другом думать нельзя было. Все лежали, каждый на своей постели, и только об этом и думали. Хорошо хоть я этот разговорник нашел, а то вообще с ума сойти можно было. Все лежат молча, и вокруг такая тишина, как будто, кроме нас, никого больше на свете нет из живых людей. И еще скелеты на нервы действуют, я попытался представить себе, что когда-то они были живыми людьми, но у меня ничего не получилось.

Я листал разговорник и удивлялся, до чего же тогда странные времена были. Почти на каждой странице жуткие угрозы. И почти за все одно наказание — смерть! Даже читать странно: «...подвергнуты расстрелу», «...подвергнуты смертной казни». Это, наверное, для разнообразия: в одном месте расстрел, а в другом — смертная казнь. Или Tod, или Erschießen. А может быть, если смертная казнь, то это какой-то другой способ убивать человека, не расстреливать, а вешать или рубить голову. И самое главное — за что?! Если призадуматься, с ума же сойти можно: за укрывательство коммуниста или военного — смерть. То же самое за связь с партизанами. За отказ ехать в Германию. За то, что слушал советское радио. Значит, если человек спрятал в своем доме раненого товарища, то его расстреливали? А что же ему оставалось делать,

если не прятать? Полагалось пойти и выдать, что ли? Неужели люди, которые составляли этот разговорник, не понимали, что нельзя человека за такие вещи убивать? Ведь в нем почти на каждой странице смерть обещали за все хорошее, что мог сделать человек. За все смерть!

Я никак себе не могу представить, что такое смерть. Знать-то знаю, конечно, знаю, что все люди умирают, но никак не могу поверить, что и я когда-нибудь умру. Что все вокруг останется, как было, а меня уже не будет. Начинаю себе все это представлять — получается, пока не дохожу до места, где я должен умереть... Не могу поверить, и все! И еще я никак не могу представить, что когда-то меня не было. Тоже знаю, что было такое время, а представить себе не могу. Странно.

Кама ко мне придвинулась, обхватила мне голову как маленькому и спрашивает:

— Тебе очень больно?

Я ей покачал головой, что нет. Говорить мне все-таки трудно, челюсти болят, когда я открываю рот.

— Мы все здесь умрем,— сказала Кама.— И никто никогда нас не найдет,— сказала, и лицо у нее в это время было очень серьезное, как будто она окончательно поняла, что нас ничто не может спасти.

А потом мы проснулись и никак не могли определить, утро это, или ночь, или даже, может быть, уже день. Потому что Кама забыла завести часы. Но, в общем, нам уже это было безразлично. Мы уже почти и не вставали. Единственно, что хорошо, это то, что уже нам не хотелось есть. Совершенно чувство голода пропало. Мы о еде даже не вспоминали. Только слабые все стали очень.

Больше всех Кама ослабела. Она или спала, или лежала молча с открытыми глазами. Мне ее было очень жалко. Я вот только теперь понял, что ее люблю. Я раньше догадывался об этом, но только здесь окончательно понял это. Я до Камы очень часто влюблялся. Стоило мне в кино пойти или в театр, так я обязательно там в кого-нибудь влюблялся. Правда, ненадолго, чаще всего на несколько дней, а бывало, что и на один день всего. И в книгах я очень часто в кого-нибудь влюблялся. Больше всего мне нравилось любить королеву Марго или госпожу Бонасье. О них очень хорошо мечтать было. Причем когда я мечтаю, я о себе думаю в третьем лице, никогда не мечтаю: «Я пошел и спас ее», а почему-то: «Он пошел и спас». Ничего поделать не могу, мечтаю о себе, но почему-то

только в третьем лице. И влюбляюсь всегда в третьем лице. Это, конечно, курам на смех, но я однажды даже в Медузу Горгону влюбился. Вот честное слово! Влюбился, и все.

А сегодня понял я окончательно, что все это были пустяки по сравнению с моей любовью к Каме. Я даже ей хотел сказать. И сказал бы — мне не было почему-то стыдно ни Алика, ни Сабира. Но вдруг я вспомнил свое любимое стихотворение и решил прочитать его Каме. Она послушала его до конца и ничего не сказала. Я спросил, понравилось ли оно ей, она мне ответила: «Ничего. Ничего,— говорит,— стихи!» Но по мне лучше бы она сказала, что они ей очень не понравились, чем это «ничего». А с другой стороны, ведь совсем необязательно, чтобы это стихотворение нравилось всем! Только я почему-то думал, что Каме оно должно понравиться.

Все-таки Сабир молодец! Он не меньше всех нас ослабел, и все-таки он один старается хоть что-то сделать. Он попросил, чтобы мы все ушли в укрытие, потому что попытается еще раз взорвать эту проклятую плиту. На этот раз взорвет сразу несколько гранат. Мы пошли в кабинет коменданта, и на этот раз дорога показалась нам очень длинной. Когда мы туда добрались, долго не могли отдышаться. Как будто не по ровной дороге шли, а забирались куда-то в крутую гору. Алик и на этот раз хотел пойти с Сабиром, совсем уже собрался, но вдруг улыбнулся очень виноватой улыбкой и сел. Стало понятно, что у него просто нет сил.

Взрыв был точно такой же, как и в прошлый раз. Потом оказалось, что в связке из шести гранат взорвалась лишь одна граната. Остальные, наверное, были испорченные. И опять без всякой пользы. И не только без пользы, а наоборот.

О том, что случилось несчастье, мы догадались не сразу. Сперва мы сидели в комендантской и ждали Сабира, даже не знаю, сколько времени прошло, а его все не было. Кажется, мы все задремали. Потом я удивился, что его все нет, и вышел из комнаты наружу. Кама и Алик за мной пошли. Сабира нигде не было видно. Тогда мы поняли, что с ним что-то случилось.

Он лежал за бронетранспортером и был весь в крови. Я сперва подумал, что он умер, но, когда мы до него дотронулись, он громко застонал. Его ранило осколком гранаты — вырвало кусок мяса из руки, чуть выше локтя.

Кровь из раны прямо хлестала. Алик, как увидел кровь, сразу же зашатался и сел на землю, а Кама стала вся дрожать, и было слышно, как она стучит зубами. Я посмотрел на рану, и мне показалось, что мясо вырвано очень глубоко, чуть ли не до самой кости. Я снял с себя рубашку, разорвал ее на полосы и перетянул руку Сабира выше раны, я где-то читал, что таким способом можно остановить кровь. Я изо всех сил затягивал вокруг руки эту полосу, а кровь не останавливалась, и я догадался, что у меня просто не хватает сил как следует затянуть ее. Хорошо, что Кама мне помогла. И руки у нее продолжали дрожать, и зубы стучали, но она, молодчина, очень здорово помогла мне. Мы остановили кровь и перевязали эту рану. Хотя было ясно, что пользы от такой перевязки с грязной полосой от рубахи мало, а скорее даже больше вреда.

Мы и себе устроили постели рядом с бронетранспортером. Целый час, наверное, переносили сюда пачки денег. Когда кончили, совершенно из сил выбились. Сабир сперва спокойно лежал, а потом начал бредить. Всех нас по именам называл, чаще всего мое имя, маму свою звал. А когда приходил в себя, каждый раз просил пить. Мы по очереди ходили за водой. Я уже не обходил стороной скелеты, а шел мимо них, рядом проходил. Я знаю, что мне тогда это казалось, но каждый раз, когда я шел мимо, мне казалось, что они смотрели на меня и улыбались злобно. Мне они и во сне приснились в ту ночь, как только я лег. И еще разговорник приснился со своими угрозами. Мне все казалось, что я его и во сне читаю и никак не могу остановиться. Я и во сне удивлялся тому, что за все по этому разговорнику полагалась смерть. За все хорошее.

А потом мы стали умирать. Теперь я уже мог представить, что меня не будет. Что все останется на земле как было, а меня не будет. Я даже не знаю, как во мне это изменение произошло, но теперь я точно знаю, что могу умереть. Я лежал и обо всем думал. Думал о вещах, о которых никогда раньше не задумывался. О смерти же я никогда раньше не думал. Да и с чего бы это раньше я стал думать о смерти? Из моих знакомых только один человек умер — Наиля, девочка с нашей улицы. Она под машину попала. На похороны вся наша улица собралась. Всем детям раздали венки, и мы гуськом шли за гробом. На кладбище нам не разрешили поехать. Как только мы дошли до проспекта Нариманова, нам всем велели от-

правляться домой. Наверное, потому, что все вокруг плакали, и взрослые не хотели, чтобы дети видели это. Особенно Наилькина мать убивалась. А отец ее не плакал, он шел первым за гробом, его вели под руку двое наших соседей, и время от времени он спрашивал очень уставшим голосом: «Как же так может быть? Что же это происходит?» Но ему на эти вопросы никто не отвечал. Я тоже про себя подумал: как же так может быть, что Наильки больше не будет? И еще я тогда на похоронах попытался представить, что я тоже умру когда-нибудь, но ничего у меня не получилось. Как будто в голове что-то происходило, вернее, останавливалось, как только я начинал представлять, что я умру и меня не будет. Я даже удивился, что не могу вообразить такую простую вещь. Даже похороны свои представил, как все будут идти и плакать, и все очень хорошо получалось до того места, где надо было вообразить, что меня совсем не будет и я ничего не буду чувствовать — слышать или видеть. Сколько ни старался, ничего из этого не получилось. А теперь я почувствовал, что это может быть. Я специально не думал над этим — просто чувствовал.

Мы все лежали молча, только Сабир стонал. Наяву он тоже молчал, но стоило только заснуть, как он начинал стонать. Рука у него очень сильно распухла, как будто надулась, и была горячая, темно-красного цвета. Рану мы его перевязали, но пользы от этого было мало, она вся почернела, и было ясно, что без лекарств у него обязательно начнется заражение.

Я лежал и думал, как все было бы хорошо, если бы мы не полезли в эту проклятую расщелину. Все мы были бы уже в Баку, в школу ходили бы. Я даже удивился, что с таким удовольствием думаю о школе, о нашем доме. Раньше я даже не чувствовал, как хорошо там. А больше всего я думал о маме с папой, вспоминал разные случаи, не какие-нибудь особенные, а самые простые, как я, например, прихожу из школы, а мама стоит на лестнице и ждет, когда я поднимусь со двора, и улыбается мне, или про то, как вечером я смотрю телевизор, а мама с папой о чем-то разговаривают, даже я не знаю, о чем они разговаривали, но, оказывается, это было очень приятно, что все дома вместе, даже если в это время ничего особенного не происходит. Когда я вспомнил обо всем этом, у меня даже в горле защекотало и я снова стал перечитывать этот разговорник.

Что-то меня в этом разговорнике очень интересовало, а что, я никак понять не мог. Я его весь уже наизусть знал. Я точно мог сказать, за что полагается смертная казнь и даже точнее, за что повешение, а за что расстрел. Я уже заметил, если человек желал в те времена хорошее только себе, скажем, если кто-то скрывал от немцев, что он коммунист или военный или что у него приемник есть дома, то его расстреливали, а если он другому человеку делал добро — прятал у себя раненого или помогал партизанам, то его за это вешали. Очень странно все это было читать, и сколько я ни перечитывал, а привыкнуть не мог, каждый раз становилось от всех этих угроз страшно. И еще из-за этого разговорника я чувствовал, что существует какая-то главная странность, но в чем она заключается — никак понять не мог. Но чувствовал.

Алик встал и пошел за водой. Он двигался очень медленно, как пьяный шатался из стороны в сторону. Он для всех принес воду во фляге. Сперва мы Сабира напоили, а потом Кама сделала несколько глотков. Я тоже выпил воды, и у меня сразу же в животе закололо, но я уже к этому привык: как выпьешь воды, хоть немного, в животе начиналась боль. Мы поэтому старались пить как можно реже, когда совсем уже становилось невтерпеж. Алик сел со мною рядом, лицо у него бледное-бледное, и вдруг у меня спрашивает:

— Неужели мы здесь так и останемся, как эти? — Он кивнул головой на скелеты.

Кама, как услышала это, сразу заплакала. Прислонила свое лицо к моему и плачет, как будто я могу ей чем-то помочь.

А мне уже было ясно, что мы здесь так и останемся навсегда, как эти скелеты. И никто никогда не узнает, что мы здесь, может быть, тысяча лет пройдет, а никто так и не узнает, что мы здесь умерли совершенно зря. И превратимся тоже в скелеты, как они. Только мы ведь сюда попали случайно, а они сами в эту пещеру забрались и сами же друг друга перестреляли, хоть имели возможность выбраться отсюда. Взяли и поубивали друг друга, как скорпионы. А что еще ждать от людей, которые могли составить такой разговорник? Может быть, кто-то из них и придумал, что за все надо убивать. Сперва других, а потом и друг до друга добрались.

Я над всем этим думал и еще над чем-то, со мной иногда бывает, что я еще над чем-то думаю, а над чем, сооб-

разить не могу. Но в тот раз я сразу сообразить не мог, может быть, еще и потому, что Кама, плача, все продолжала меня обнимать. У нее были ужасно испуганные глаза, и я вдруг сказал:

— Ты не бойся, Камочка, мы отсюда все равно выберемся.— Я с одной стороны был доволен, что сказал это, потому что она ужасно обрадовалась, вот честное слово, только что глаза были у нее совсем испуганные, как будто ее должны ударить, а после моих слов я увидел, как весь испуг исчез, а вместо этого в них появилась сразу радость, как будто она улыбаться начала глазами. Она сразу мне поверила и говорит:

— Правда? Ты раньше не говорил, что выберемся! — И смотрит на меня так, как будто и впрямь все зависит только от меня — а с другой стороны, мне стало очень неприятно, что я совершенно зря мог так ее обмануть.

И что самое удивительное — Алик поверил мне. Он тоже обрадовался и спрашивает:

— Ты что-нибудь придумал? — И у него глаза такие же стали, как у Камы. Ничего не оставалось мне делать — я и ему сказал, что кое-что придумал, только еще не до конца.

А потом мы заснули. Последние трое суток, после того, как ранило Сабира, мы очень много спали, просыпались ненадолго, а потом снова засыпали.

Я и во сне этот проклятый разговорник увидел. Засел он у меня в голове, и все тут! И во сне и наяву о нем думал, что-то в нем мне покоя не давало, а что — никак я не мог сообразить. Все время перед глазами вертятся строчки из него. И что самое интересное, не только то, что по-русски написано, но и немецкие, ни одного слова по-немецки не знаю, а слова перед глазами вертятся, особенно Tod и Erschießen. Наверное, потому, что они-то чаще всего в этом разговорнике и попадались. Из текста я давно понял, что они означают — повесить, расстрелять и смерть.

Я еще спал, но сквозь сон услышал крики. Проснулся, смотрю — это Сабир кричит. Он вскочил с места и что-то кричит, а что — разобрать нельзя. Глаза у него были широко раскрыты, но толку от этого никакого не было, он никого из нас не узнавал, а стоял и что-то выкрикивал хриплым голосом. Ни одного слова понять нельзя было. Это он бредил так. Мы его втроем уложили. Он был очень

горячий, даже губы у него почернели и все растрескались. Я ему дал попить, он еще некоторое время что-то бормотал, а потом заснул.

А дальше уже я все помню очень плохо. Даже не знаю, сколько времени прошло. Я очнулся, смотрю — все лежат, а вокруг очень темно, только и свету что от одной дальней свечи, да и та совсем уже догорает, видно, никто из нас давно не просыпался и не поставил новых свеч.

Я встал и пошел за свечами. Это было совсем недалеко от того места, где я лежал, но оказалось, что дойти до них очень трудно. Я по дороге раза три останавливался, не садился, потому что вставать мне каждый раз было очень трудно.

Я зажег свечу, но вместо того, чтобы поставить ее и зажечь еще несколько, я вдруг остановился с нею в руках и стал думать. Я очень долго стоял на одном месте с горящей свечой в руках, потому что думалось мне очень трудно и медленно. Я никак не мог собрать мысли в одно место, особенно одну мысль я никак не мог остановить в своей собственной голове. Было трудно думать еще и потому, что очень мешало мне слово «Tod». Оно все время так и вертелось перед глазами. Я все стоял с этим словом перед глазами, а потом все же пошел.

Только не в ту сторону, где лежали ребята, а совершенно в противоположную. В голове у меня все время звенело, но я все равно продолжал думать, хоть это слово «Tod» по-прежнему продолжало мне здорово мешать.

Наверно, я очень долго шел, потому что, когда я вошел в коридор перед комендантской, я заметил, что свеча в моей руке уже догорела до половины, и я про себя подумал, что ее может не хватить на обратную дорогу, но вспомнил об этом между прочим, потому что изо всех сил в это время думал о другом.

В кабинете коменданта все было по-прежнему, так же, как и в последний раз. Ничего, конечно, не изменилось и не могло измениться, и все же я сюда пришел.

Я внимательно осмотрел еще раз весь кабинет и ничего нового не увидел. Гитлер смотрел на меня со своего портрета точно так же, как и в прошлый раз. У него были очень добрые глаза и усы точно такие, как у нашего соседа дяди Мамеда. У него и нос был такой же длинный. Если бы я не знал, что это Гитлер, мне бы и в голову никогда не пришло, что этот человек командовал всеми этими страшными скелетами — бывшими людьми, которые рас-

стреливали и вешали людей только за то, что они пытались сделать что-то хорошее. Я вообще читал о войне очень много и фильмы всякие повидал, но мне всегда казалось, что все это было давно, не так, конечно, давно, как во времена Александра Невского или Квентина Дорварда, но все равно это происходило в такие давние времена, что я ко всем этим книгам и фильмам относился с интересом, разумеется, но даже подумать не мог, что это так страшно. Я, когда читал или смотрел фильмы, конечно, фашистов ненавидел, но не намного больше, чем тевтонских рыцарей, гвардейцев кардинала, солдат Лжедмитрия или, например, католиков в Варфоломеевскую ночь. Ведь ко мне же все это не имело никакого отношения никогда. А тут я почувствовал, какие это были страшные люди и каким страшным было то время. Мне и лицо Гитлера теперь казалось страшным, ничем оно мне не казалось приятнее, чем черепа тех скелетов. Я все стоял и смотрел на Гитлера и никак не мог отойти. Это потому, что я очень медленно думал. Потом вспомнил, что пришел сюда не за этим, и пошел к противоположной стене.

И здесь все было по-прежнему. Над стеклянным шкафом была та же непонятная надпись с одним лишь понятным теперь словом «Tod». И здесь они угрожали смертью!

Я подошел к письменному столу и взял в руку тяжелую мраморную пепельницу. Она мне показалась очень тяжелой. Конечно, она была гораздо легче на самом деле, но мне она показалась такой же тяжелой, как восьмикилограммовая гантель.

Я ударил этой пепельницей по стеклу, закрывающему рубильник, оно разбилось со звоном на мелкие осколки. Тогда я встал на стул и взялся за красную рукоятку, над которой была эта надпись с предупреждением о смерти.

Теперь я понял, что это не рубильник, потому что никаких электрических гнезд ни сверху, ни снизу не было. Рукоятка была металлическая и, кажется, очень тяжелая. Прежде чем потянуть ее на себя, я подумал, что зря не предупредил ребят, надо было, чтобы и они пришли сюда вместе со мной. Я даже хотел пойти за ними, но раздумал, а потом вообще перестал обо всем думать, потому что рукоятка и не подумала сдвинуться с места, когда я ее потянул на себя, хотя я и тянул изо всех сил. Тогда я ногами оттолкнул от себя стул и повис на рукоятке всем те-

лом. Как только я повис, кисти рук сразу же стали разжиматься, оказалось, что они не выдерживают моего веса. Как я ни пытался их стиснуть, они не слушались и почти уже совсем разжались, и как раз в это время рукоятка сдвинулась с места и пошла вниз. Уже падая на землю, я услышал глухой взрыв, как будто грохот раздался где-то в самой толще скалы.

Я еще некоторое время посидел на полу и потом встал со свечой в руке, вышел в коридор. Идти теперь было еще труднее, и по пути мне пришлось время от времени отдыхать, прислонившись к стене.

Когда я вышел из коридора в пещеру, я вначале даже не понял, что происходит,— в пещере было светло. И свет падал из большого прямоугольника, на месте которого раньше стояла плита.

Будить их пришлось очень долго: и Камку и Алика. Они все не хотели просыпаться. И даже когда проснулись, мне пришлось несколько раз объяснить им, что случилось.

Мы и Сабира подняли. Взяли его под руки и повели. Он хоть и передвигал ногами, но все равно ничего не соображал, потому что был без сознания.

Плита лежала на земле, она упала наружу. Мы вышли из пещеры в ущелье, густо заросшее деревьями и колючим кустарником. Но первое, что я увидел,— это небо, и еще почувствовал запах воздуха и листьев, от которого у меня сразу закружилась голова, да так, что я чуть не упал.

Мы шли, пробираясь сквозь эти заросли, очень долго. Несколько раз падали, очень трудно каждый раз было встать. Особенно Алику, а в последний раз он упал и сказал, что дальше не пойдет. Он сказал это и сразу же уснул. Тогда я решил, что остается единственный выход — мне и Каме пойти дальше, найти людей и послать их на помощь Алику и Сабиру. Но и Кама отказалась идти, сказала, что у нее больше нет сил. Она даже разговаривала со мной с трудом. И тогда я пошел один. Я сказал ей, чтобы она не боялась, я пойду и пришлю людей, но она меня уже не слышала. Я толком не знал, куда иду, но шел.

У меня перед глазами все время были только стволы и ветви деревьев, кроме этого я ничего не видел. А потом я вышел на открытое место. Оказывается, это ущелье выходило на широкое шоссе. Я вышел на него и сел на обо-

чине. Стал ждать какой-нибудь машины. Я ждал и ждал, а шоссе все оставалось пустынным. А потом я вдруг увидел, что здесь стоит сразу несколько машин, а вокруг меня собрались люди и у них у всех очень испуганные и озабоченные лица. Я только помню, что один из них спросил: «Мальчик, что с тобой случилось? Как ты здесь очутился?» И как я ему показал на ущелье и сказал, что там умирают люди, а потом я уже ничего не видел и не слышал.

Очнулся я в большой светлой комнате, и первый человек, которого я там увидел, была моя мама. И папа был там. Только сперва я увидел маму. Она сидела рядом с моей кроватью, только сидела и смотрела на меня, не отводя глаз, и я могу твердо сказать, что никогда в жизни на меня никто так не смотрел. Оказалось, что я в больнице. Мне рассказали это все позже, и первые несколько дней мне не разрешали слова сказать и мне ничего не говорили — что и ребята все в этой же больнице. Сказали, что я пришел в себя позже всех, наверное, потому, что я самый младший и у меня самый слабый организм, слабей, чем у всех остальных. Я в это время ни о чем думать не мог, кроме еды. Есть хотелось так, что я готов был сжевать подушку. Но кроме сока, куска творога и прозрачного бульона первые дни мне ничего не давали, сколько я ни просил. Только на пятый день мне дали крохотный кусочек паштета. Ничего вкуснее я не пробовал.

А через десять дней мы встретились — Алик, Камка и я. Я спросил, где Сабир, и они мне рассказали, что Сабиру было очень плохо и даже думали, что он не выживет. Оказывается, у него началась гангрена и ему даже хотели отрезать раненую руку, только на днях врачи окончательно решили оставить ее. Мы хотели пойти к нему в палату, но нам не разрешили, сказали, что на сегодня нам достаточно — погуляли. Мы были в коридоре всего минут десять-пятнадцать, но я, вернувшись в палату, ног не чуял от усталости. А Кама и Алик чувствовали себя гораздо бодрее.

Когда я проснулся, рядом с моей кроватью сидели два человека — один из них был в форме майора. Оба журналисты. Из военной и городской газет. Они мне сказали, что мы все просто молодцы и все будем награждены. А мне, как самому главному из нас, дадут орден или медаль. Я подумал, что они что-то напутали, и, чтобы потом не было никаких недоразумений, сказал им, что я ника-

кой не главный и никогда им не был. Они переглянулись и вдруг военный такое мне сообщил, что я ужасно удивился. Оказывается, о том, что в пещере я был самым главным, вроде командира, сообщили ребята, все трое в один голос — Алик, Кама и Сабир. Никогда не поверю, что Алик или Сабир могут всерьез подумать, что я — не то что главный, а такой же, как они, они же оба всю жизнь меня презирали. Но самое интересное, что я, хоть и не сразу, кажется, поверил майору, что это не шутка.

Они мне задали несколько вопросов, а потом майор спросил у меня, как мне пришло в голову, если я не знал немецкого языка, включить экстренное взрывное устройство, благодаря которому мы и оказались на свободе. Он перевел мне надпись над стеклянным шкафом — там было написано, что включение экстренного взрывного устройства без письменного приказа коменданта немедленно карается смертью! Оно посредством взрыва надолго выводило из строя автоматический выход из пещеры, и поэтому, наверное, называлось экстренным и находилось под таким строгим запретом. Словом, было рассчитано на самый крайний случай. Я подумал, что наконец этот крайний случай и произошел!

А майор все ждал, что я ему отвечу, и даже приготовился записывать. Я сказал — пришло в голову, и все! А что я ему мог еще сказать? Но майор все не унимался и все пытался узнать, почему это вдруг я включил устройство, которое находилось в другом конце от выхода. Хорошо, что в это время начался обход и в палату вошел главврач. Он попросил их уйти. Они сразу же послушались, очень приветливо попрощались со мной и ушли, сказали, что зайдут еще.

А я после их ухода думал, что рано или поздно на этот вопрос ответить придется. Этот майор, пока своего не добьется, наверное, не успокоится. Он даже, может быть, обиделся на меня за то, что я не ответил сразу. А разве сразу ответишь?! Для этого надо очень долго рассказать об этих скелетах-эсэсовцах, когда-то перестрелявших друг друга, о разговорнике с обещанием смерти за все хорошее, о том, что вначале надо было долго думать о людях, которые делали это хорошее, зная, что их ждет за это смерть, и о многом другом. Я все перебирал в голове, что я должен рассказать в следующий раз майору, чтобы лучше объяснить, как мне пришло в голову, что если фашисты обещают смерть, то это непременно за что-то хорошее...

Я бы еще некоторое время думал об этом, но в это время пришли мама и папа и я стал думать о них.

Я разговаривал с ними и в то же время думал о том, какие это дорогие мне люди.

Они мне рассказали о землетрясении. Оказывается, я не ошибся тогда — толчки были и днем, и ночью. В нашем поселке и в соседнем разрушилось несколько домов, но, к счастью, никто не погиб. Раньше никогда со мною такого не было, чтобы я был с ними вместе и в то же время думал о них.

АКРАМ АЙЛИСЛИ

(Род. в 1937 г.)

СКАЗКА О ГРАНАТОВОМ ДЕРЕВЕ

В первое послевоенное лето, в тот самый день, когда нас отпустили на каникулы и я вприпрыжку мчался домой, счастливый тем, что уже пятиклассник и впереди свобода, соседка тетя Набат остановила меня у ворот и очень строго сказала, что теперь я уже взрослый парень и кончилась моя пора без дела гонять по улицам.

Не снимая с плеча кувшин, в котором несла родниковую воду, тетя Набат прислонила его к стене и начала говорить о колосках, остающихся в полях после уборки, о том, сколько дров пропадает под ореховыми деревьями, а потом кивнула на муравейник, от которого текла к нашей стене нескончаемая живая струйка, и сказала такое!..— Будто под стеной у нас дыра, а в ней муравьиные запасы, каждому на десять зим... И тетя Набат стала вдалбливать мне, что если я буду толковым парнем, то за лето и зерна наберу, и дров натаскаю, а попадет в руки абрикос или алыча, тоже неплохо положить пяточек-другой на крышу — зимой-то как славно пожевать на переменке. Тетя Набат подробно рассказала мне, где надо собирать колоски, в каких садах больше бывает сушняка; я стоял и почтительно слушал, хотя после четырех уроков и длинного-предлинного собрания, посвященного летним каникулам, мне не терпелось забраться в орешник.

Но разговором дело не кончилось. В самый разгар лета, когда все вокруг сгорало и трескалось от жары, тетя Набат вдруг стала пугать меня зимой. «Гоняй, гоняй,— говорила она, завидев меня на улице,— только зима-то ведь ждать не будет!» Тетя Набат все лето не оставляла меня

в покое, и в конце концов я и правда начал бояться, словно не зима должна прийти, а что-то непонятное, жуткое... Пугая меня зимой, тетя Набат всякий раз обращала лицо к горам, и мне казалось, именно там, за дальними горами, прячется то зловещее и неведомое, что неминуемо нагрянет на нас, а пока известно одной лишь тете Набат.

В жару прохладней всего у родника и там всегда собираются ребята. В то послевоенное лето тетя Набат отвадила меня бегать к роднику. Каждый раз, когда я, до отказа набив живот абрикосами, которые необходимо было проглотить, чтобы набрать побольше косточек, являлся туда поиграть с ребятами в ямки, в конце улицы обязательно показывалась чадра тети Набат. Черная, страшная, она медленно приближалась к нам. Поставив на землю ведро, наполненное мелким хворостом, старуха клала на него торбочку с колосками, подходила к источнику и долго-долго плескала себе в лицо водой. Потом она приникала ртом к желобу, и видно было, как по ее глотке толчками проходит вода; вода бежала из уголков рта и, стекая по подбородку, заливала ей платье... Вытерев лицо концом платка, тетя Набат начинала ругать меня. Иногда я успевал улизнуть, и тете Набат оставалось лишь грозить мне вдогонку; случалось, что, напившись воды, она молча прислонялась лицом к дереву и, сворачивая самокрутку, пристально смотрела на меня. Это было хуже любой ругани.

Не знаю почему, но в конце концов тетя Набат оставила меня в покое. Может быть, старушке стало обидно, что я каждый раз убегаю от нее, может, ей довелось увидеть, как сторож лупит ребят, пойманных в колхозном саду, а скорее всего она просто махнула на меня рукой — с чего бы иначе перестала она со мной здороваться...

Якуб, сын тети Набат, вернулся из армии осенью. К нам он явился в первый же вечер. Перебросил через ограду ноги в черных тяжелых сапогах и сразу оказался перед айваном. Выглядело все это так, словно он не с войны пришел, а просто отлучался ненадолго, будто не четыре года, а четыре дня не было его дома. Якуб коротко поздоровался с нами и стал расхаживать по двору, осматривая наше хозяйство. В карманах его солдатских штанов шуршали орехи. Взрослый парень, говорил Якуб, а ветки вовремя не обрезал. И двор не поливал, абрикосовое дерево засохло. И трава погнила. Почему не скосил, когда положено? Пни от шелковиц надо было выкорчевать, саженцы

посадить. Да и двор мог бы перекопать — вон какой здоровенный вымахал...

Тетя молча стояла в стороне, ей очень не нравилось, что Якуб с хозяйским видом прохаживается по нашему двору, не обращая на нее ни малейшего внимания. Якуб подошел к дому, дернул отваливающийся кусок штукатурки, швырнул на землю, пнул ногой расшатанную лестницу — в кармане у него громыхнули орехи. На разбитое окно Якуб почему-то не обратил внимания, хотя из шести стекол в раме сейчас не осталось ни одного. Потом Якуб ушел. Чтобы не ступать на лестницу, он стал пробираться вдоль стены, касаясь ее боком; в карманах его штанов шуршали, перекатывались орехи. Выйдя на улицу, Якуб начал грызть их, а я слушал, как трещит ореховая скорлупа, и почему-то вспоминал слова тети Набат. «Бедная Медина...— говорила старушка, разглядывая синяки на лице моей тети.— А Якуб-то мой до сих пор по тебе сохнет... Обмирает весь, как увидит...»

Не прошло и двух дней, как Якуб привел откуда-то проворного черного ослика. Теперь нечего было и думать, чтобы поиграть с ребятами на улице,— Якуб то и дело сновал по деревне на своем черном осле. То он ехал с мельницы, то на мельницу, то вез сено к колхозному амбару, то дрова на школьный двор, и каждый раз, завидев меня, кричал, что убьет, если еще хоть раз увидит меня, бездельника, на улице.

Якуба я не очень-то боялся, но все-таки убегал, когда он вот так начинал кричать. Во-первых, Якуб взрослый, а взрослых нельзя не слушаться, а во-вторых, мне даже на руку, что он кричит на меня: ругается, значит, родня, чужому-то какое дело. Лучше я буду слушаться Якуба, чем ребята станут думать, что у меня совсем никого нет.

А вообще-то я мог бы, конечно, и сума́ха насушить — есть с фасолью — вон на горе красным-красно от него, и ветки обломать: срежь из фундука палку и сшибай сушняк прямо с земли. Но раз никто не хочет обращать внимания на толстые красные пятерки, которыми из года в год разрисовывают учителя мои тетради, раз все считают, что я пустой, никчемушный парень, что я ничего не могу и не умею, я ничего и не буду делать, не буду, и все.

Возвращаясь из школы, я бросал сумку, доставал ячменную лепешку, припасенную тетей Мединой, и, прячась за соседскими заборами, пробирался к подножию горы. Я поднимался на склон, ложился за обломком ска-

лы, так, чтобы меня не было видно, съедал лепешку и часами валялся на теплом песке, разглядывая нашу деревню.

Отсюда, с горы, она вся была как на ладони: земляные крыши, дворики, небольшие сады за домами; а дальше, по другую сторону деревни, колхоз — сады, пашни, поля... На крышах желтеют фрукты, разложенные для сушки. Вечером женщины поднимутся на крышу и уберут их. В этот час из всех дворов тянутся вверх дымки, вкусные и невкусные; вкусный дым в тех дворах, где ребятам дают с собой в школу фаршированные баклажаны и жареную картошку, завернутую в пшеничный лаваш; в остальных дым невкусный. Крыши, как и дымы, я тоже делю на два сорта: крыши тех, кто вернулся с войны, и тех, кто с войны не вернулся. И когда я начинаю их считать, мне не верится, что война уже кончилась, хотя я собственными глазами читал об этом и видел много разных фотографий.

Мне кажется, что война еще продолжается, кончаться она будет постепенно и постепенно все вернутся домой. Прежде всего вернется мой отец. Потом, конечно, дядя Муртуз: какой же без него конец войны? Ведь вот тут, за этой скалой, нередко стоял он со своим биноклем, разглядывая деревенские крыши. А когда спускался, возле какого-нибудь из домов непременно поднимался скандал. Дело в том, что наш председатель дядя Муртуз на память знал, у кого сколько фруктовых деревьев, и если фруктов сушилось на крыше больше, чем должно быть, значит, они ворованные. Дядя Муртуз очень сердился на тех, кто воровал в колхозе фрукты, кричал и делал какие-то пометки в своей красной записной книжке. Накричавшись, дядя Муртуз отправлялся дальше по делам, а мы гурьбой бежали за ним, разглядывая черный бинокль; на ребят дядя Муртуз не сердился, потому что в нас нет пережитков капитализма и, став колхозниками, мы не будем воровать фрукты.

Когда на Первое мая или на Октябрьские школьники колоннами проходили по деревенским улицам, дядя Муртуз всегда был вместе с ними. Он шагал впереди ребят, а мы, маленькие, бежали рядом с колонной и громко радостно орали. Дядя Муртуз кричал «ура!», и мы кричали «ура!». Так мы доходили до правления колхоза. Дядя Муртуз направлялся к памятнику Ленину, стоявшему возле самого правления, расстегивал пиджак, одну руку

засовывал в карман, другую протягивал к нам — совершенно так же, как Ленин,— и начинал громко говорить речь. Говорил дядя Муртуз долго, а мы хлопали, пока не начинали гореть ладони, и до хрипоты кричали «ура!».

Но даже если придут отец и дядя Муртуз — это еще не все. Для того, чтобы с войной было покончено, должен вернуться Азеров отец, чтобы на айване клуба собирался по вечерам народ, чтобы Азеров отец ходил по айвану, красивый, в белой отутюженной сорочке, и показывал, как надо играть на таре. И чтобы, проходя вечером по улице, он брал на руки маленьких девочек и подкидывал их вверх; с мальчишками Азеров отец играть не любил: меня, например, он никогда не сажал на плечо. Но все равно — раз он не вернулся, я не верю, что война окончилась...

...Отсюда, с горы, хорошо видно большую чинару, раньше здесь было самое многолюдное место и дедушка Аслан каждый вечер заставлял парней таскать из арыка воду и, как следует смочив землю, тщательно подметать под чинарой. Теперь здесь тоже собираются по вечерам старики: сидят, прислонившись к корявому стволу, дремлют, позевывают... Дедушка Аслан всегда садится на одно и то же место и, воткнув в землю посох, задумчиво крутит его — он тоже все еще ждет конца войны. Ждет, когда вернутся «наши ребята» и будет кому подмести под чинарой, а когда они подметут под чинарой, он заставит их подмести и улицу, всю улицу до самой школы. Но наши ребята все не возвращаются, и улицу поливать некому, и, посидев под чинарой, дедушка Аслан уходит, а рядом с тем местом, где он сидел, остаются на земле глубокие круглые дырочки. Проходя мимо, я всякий раз разглядывал эти дырочки, как разглядывают древние письмена. В письменах дедушки Аслана говорилось о том, что война проклятая все пустила прахом, даже дети перестали слушать старших; опостылело это все, сил нет, помирать пора, да смерть не идет; уж вернулись бы скорей наши ребята — распростился бы он спокойно с этим миром... Утром по деревне прогоняли стадо, и коровы затаптывали письмена, где дедушка Аслан писал о войне и о мире, но наступал следующий вечер, и письмена дедушки Аслана опять появлялись под чинарой...

Когда отсюда, с горы, я гляжу на деревню, мне всякий раз вспоминается, как кричала раньше ворона, что живет у нас во дворе в кроне большого ореха. Крик нашей вороны был полон слепящего солнца. Солнце затопляло горы,

широким потоком света захлестывало деревню и, пронизывая лучами листву, сводило ворону с ума. Не в силах сдержать восторга, она исходила криком; ветка под ней тряслась, и ворона, взмывая вверх, с разлету бросалась на провода, тянувшиеся мимо нашего дома... Бабушка сердилась на ворону — ишь разбирает проклятую, не дай бог снег накличет,— я же в исступленном вороньем крике не слышал ничего, кроме неуемной отчаянной радости.

Зимой солнце исчезало на целые недели, возвращалось ночью потихоньку, а утром я просыпался от радостного крика вороны — все вокруг сверкало и переливалось. И хотя такое утро было праздником для всех — и для вороны, и для меня, и для бабушки,— бабушка все равно ворчала: снег накличет, вещунья проклятая. Снег бабушка терпеть не могла — у нее не было башмаков. Башмаков у бабушки никогда не было, на ее маленьких сухих ногах я всегда видел огромные отцовские ботинки. Ритмичный перестук этих ботинок неотступно следовал за бабушкой, спускалась ли она в подвал за дровами, несла ли бадейку с молоком, возвращалась ли из курятника с полным подолом яиц.

Когда солнце пригревало сильнее и земля во дворе темнела, бабушка тащилась туда, волоча свои ботинки, и, с наслаждением вдыхая влажный оттаявший воздух, внимательно разглядывала небо, прикидывая, много ли облаков. Если облаков насчитывалось порядочно, дров в подвале почему-то оказывалось мало, если же облака были редкие, дров у нас сразу прибывало и их можно было не беречь. Но много ли, мало ли, все равно надо спускаться за дровами, и бабушка волочила свои башмаки в подвал — к приходу отца ужин должен быть готов. А пока на чугунной печке, пофыркивая, варился ужин, бабушка рассказывала мне длинные-предлинные сказки. Чаще всего о том, как она ездила в Мекку к могиле пророка, как на бурдюках переправлялись через Аракс и какие там, в Мекке, чудеса. Месяц там в мужском одеянии, а на солнце — одежда девичья, и еще ожерелье из золота, только видеть его дано не каждому, а лишь тем, кто воистину чтит аллаха; она, благодарение творцу, сподобилась, узрела на светиле золотое ожерелье...

В зимнее время отец каждый раз возвращался домой злым и, заслышав громыхание колхозных бидонов, в которых он возил на продажу масло и творог, бабушка тотчас же умолкала. Отец входил в комнату и сразу начинал

на нас сердиться; он сердился, потому что весь день на морозе, весь день хлеб зарабатывает, а мы сидим себе в теплой комнате и поедаем заработанный хлеб. Он стаскивал с ног мокрые носки, швырял их к печке, потом хватал с тахты самую большую подушку, бросал на палас и, облокотившись на нее, принимался пить чай. Бабушка приносила из коридора сапоги, которые он бросал за дверью, и ставила их ближе к огню. Отец пил чай и, протянув ноги к печи, шевелил замлевшими пальцами: большие, плоские, они были сейчас багровыми. И пока с них не сходила краснота, а на лбу у отца не пробивалась испарина, он оставался мрачным; он приходил в себя медленно, как медленно испарялась вода из его шерстяных носков...

Бабушка считала, что все правильно, что отцы — они все такие, потому что трудно хлеб зарабатывают. И правильно, что у нее нет башмаков и не должно быть — она же не зарабатывает хлеба. И все-таки один раз бабушка завела разговор о башмаках. В деревне появился мулла, настоящий городской мулла, и бабушка решила, что хоть один раз должна она побывать в мечети — стыдно ведь перед богом-то. Но когда она заговорила о башмаках и о боге, отец пришел в неистовство и такими словами стал поносить аллаха, что бабушка не знала, куда деваться. Отец кричал, что ни черта он не стоит, этот аллах, что он самая что ни на есть последняя сволочь и что будь он настоящим богом, не было бы ни колхозов, ни этих проклятых бидонов. Всякий раз, когда разговор заходил о боге, отец почему-то начинал кричать про землю, про скотину, и я уже не знал, колхоз ли забрал у нас землю и скот или сам бог. После разговора о башмаках я больше не сомневался, что отец не покупает их бабушке не потому, что она не зарабатывает деньги, а потому, что она любит бога.

Утром, когда я открывал глаза, отцовские сапоги уже не стояли у печки, бидоны, ночевавшие за дверью, тоже исчезали из коридора — отправлялись зарабатывать хлеб. Но каким бы сердитым ни был вечер, утро все равно наступало, и снова бабушка волочила свои ботинки в подвал, в хлев, в курятник...

И удивительные бабушкины сказки, и перестук ее ботинок, и сытое потрескивание чугунки, до отказа набитой сухими смоляными дровами,— все было в крике нашей вороны.

И все-таки вороний крик — это прежде всего лето. Летний вечер... Повсюду на крышах женщины; они собирают

фрукты и что-то громко кричат друг другу звонкими, сочными голосами... Мужчины стоят на айванах, беззлобно покрикивают на жен и степенно переговариваются. В садах уже все поспело, и каждого, кто проходит мимо, приглашают отведать фруктов... С восторженными воплями носятся по улицам мальчишки... И над всеми этими звуками стоит неумолчное воронье карканье...

Теперь в деревне тихо, и когда за рекой, там, где начинаются баштаны, сын баштанщика, взобравшись на зеленую чалу, криком отгоняет птиц, я радостно прислушиваюсь к его голосу. Визгливый мальчишеский крик напоминает мне чем-то те вечерние голоса... И мне нравится, когда женщины окликают друг друга, когда они переговариваются, стоя на крышах... Но это случается редко, женщины теперь больше молчат. Словно им уже не о чем больше судачить: словно кошки уже не душат цыплят, собаки не таскают со двора кожи, а куры не несутся в чужих курятниках...

Под вечер у родника много женщин. И как ни далеко они от меня, Якубову жену, Садиф, я узнаю сразу: она худая-худая, на висках даже кости видны. Я всегда очень жалел Садиф, особенно когда вернулся Якуб и под глазом у нее вздулся огромный синяк. Глаз болел, но Садиф не прятала синяк, не закрывала лицо платком — ей хотелось показать всем, что у нее есть муж. Теперь ведь редко у кого мужья...

Когда солнце уходило от родника, в деревню возвращалось стадо. Правда, его уже нельзя было назвать стадом, так, десять — пятнадцать коров. Коровы разбредались по деревне и, мыча, останавливались у тех ворот, где всегда был вкусный дым. А когда солнце сползало с гор, плешивый Сафар прогонял мимо меня ягнят; он ругал их плохими словами и все время поминал их мать. Плешивый Сафар был самым младшим из подпасков, в школу мы пошли в один год. Правда, Сафар проучился только первый урок. Когда начался второй, его выгнали, потому что он был шелудивым — вся голова в болячках. Я очень завидовал Сафару, я завидовал ему всегда, а теперь, когда он завел себе щенка, зависть моя стала нестерпимой. Щенку недавно отрезали уши, и Сафар хвастался, что отрубит ему хвост. Он говорил об этом спокойно, как о самом обычном деле, а я день и ночь только и думал об этом хвосте: неужели не жалко, неужели и правда отрубит...

Помахивая коротким хвостиком, щенок бежал за Сафа-

ром; они спускались с горы и пропадали из виду, но долго еще было слышно, как Сафар ходит по деревне и у каждых ворот громко кричит, вызывая хозяев. Потом голос его затихал, ягнята умолкали... Склон, на котором я лежал, из розового делался серым, я спускался с горы и задами пробирался к дому. Прячась за деревьями, я крался вдоль стены, отделявшей наш двор от улицы, и, перемахнув через нее, выпрямлялся во весь рост. Я старался как можно сильней громыхать скобой — ведь никто, кроме Сафара, не знает, что я прячусь на горе, и тете это тоже ни к чему знать, пусть думает, что я был на улице. Раз я пришел с улицы, то, как бы поздно я ни заявился, тетя не будет сердиться. Она даже говорит, чтоб я не слушался Якуба: подумаешь, родственник — нашему забору двоюродный плетень! Только я все равно буду его слушаться. Пускай кричит — мне ни жарко ни холодно,— зато эти, с пшеничными лавашами, не посмеют сыпать тете песок в воду. Побоятся, потому что Якуб самый сильный, самый крепкий мужик в нашей деревне, он всех держит в страхе. Если бы Якуб не кричал на меня и не звал подержать осла, ребята и сейчас лезли бы к нам во двор и ради забавы били бы камнями стекла. Нет уж, пускай Якуб никакой нам не родственник, все равно я буду его слушаться.

Как-то раз, возвращаясь из школы, я увидел далеко за горами огромную черную тучу и сразу понял, что это оно, то самое, чем пугала меня тетя Набат. Туча и правда была страшная. Много дней медленно, но неуклонно двигалась она на деревню, наконец однажды ночью подмяла под себя горы, от края до края заполнила небо, и первый раз в жизни не обрадовал меня утром вороний крик: вдруг и в самом деле снег накличет...

Через несколько дней вечером тетя принесла с работы кучу желтых бумажных мешков и заделала ими окно. А еще через несколько дней, выйдя утром на улицу, я увидел, что муравьиная стежка исчезла — муравьи ушли поедать свои запасы.

Началась зима.

Из развалившегося Мукушева дома мы принесли подушки, одеяла, кусок старого паласа, чугунную печку со сломанной ногой и семилинейную лампу. Печку мы поставили посреди комнаты, подложив вместо сломанной ноги кирпич. Одеяла и подушки разложили на старом сундуке;

сундук в углу комнаты я помнил с тех пор, как помню самого себя. Часть земляного пола мы закрыли паласом, и на нем каждый вечер горела семилинейная Мукушева лампа.

Поужинав, я раскладывал возле лампы свои учебники и тетради; чуть поодаль спиной к стене сидела тетя, латая что-нибудь из старья; а я, распластавшись на животе, готовил уроки. Иногда и тетя раскрывала книгу и клала ее себе на колени. Мы тихо читали, и тихо горела лампа.

Нередко к нам заглядывали соседки — в зимнее время приятно поболтать после ужина в теплой комнате. Как только гостьи являлись, мне со своими книгами приходилось отползать в сторону; тетя откладывала книгу, но не закрывала ее, а просто переворачивала раскрытыми страницами вниз, и все время, пока гостьи сидели у нас, тетины мысли оставались там, на раскрытой странице.

Тетя не любила болтать с соседками, разговоров их она тоже не слушала. И все-таки тетя радовалась, когда они приходили. Дело в том, что в ту зиму к нам зачастил Якуб, а если мы с тетей были одни, он и сидел дольше и говорил больше, а для тети это была настоящая мука.

Женщины приходили озябшие, красные с мороза и, войдя в дом, сразу же начинали расхваливать его; дом наш и правда был хорош — крепкий, давнишней постройки,— и топить в нем достаточно было раз в день.

Начав с похвалы дому, гостьи постепенно переводили разговор на другие темы: какой сахар лучше — кусковой или головками, кто сколько в этом году выручил за фрукты и что можно заваривать вместо чая. Тетя Хадиджа рассказывала, что очень хорош розовый лист, особенно если пить с тутовыми ягодами. Говорили еще, что появился какой-то порошок, на вид вроде известки. Жена Кадыра, что работает в земотделе, делает из этого порошка молоко...

Больше всего женщины толковали о пенсиях и, начав этот разговор, дом за домом перебирали всю деревню. Они точно знали, что на верхней улице получающих пенсию больше, чем на нижней, что кое-кто с нижней улицы сумел выправить фальшивые бумаги — ведь за ученых-то сыновей пенсия полагается больше, чем за неученых. Тетя Хадиджа очень расстраивалась, когда говорили о больших пенсиях — ее сын всего год не доучился. А у тети Зивер никого не было на войне, и, когда разговор заходил о пенсиях, у нее сразу портилось настроение.

Женщины старались не говорить о погибших, не упоминать их имена, но разговор этот каждый раз возникал сам собой. Как только речь заходила о тех, кто не вернулся, тетя Хадиджа закрывала глаза и начинала медленно раскачиваться из стороны в сторону, тетя Месме глубоко вздыхала, в груди у нее что-то хрипело, и она долго надсадно кашляла... Тетя Зивер тоже делала печальное лицо, хотя очень печальным оно не получалось, не то что при разговоре о пенсиях.

О моем отце я слышал много — каждый раз, когда к нам приходили соседки. Женщины настойчиво убеждали меня, что отец мой был самым смелым, самым сильным и самым достойным мужчиной в деревне, хотя я в этом нисколько не сомневался. Тетя Месме не уставала повторять, что своими глазами видела, как, схватившись с односельчанами из-за воды, мой отец один измордовал целую ораву. А другой раз он увел у карабахцев шесть великолепных баранов, загнал во двор, когда пастухи гнали отару мимо дома, и все. Целый месяц на нашей улице пахло шашлыком. Когда тетя Месме вспоминает о шашлыке, я вижу, что у нее текут слюнки, хотя, если верить ее словам, шашлыка она не выносит и, если, не дай бог, проглотит кусок, болеть будет целую неделю. Тетя Зивер, которая доводится нам какой-то дальней родственницей, больше всего любит рассказывать о том, насколько благочестив был мой отец — завидев ее однажды у родника, он за сто шагов разглядел, что она без чулок, и тотчас же рассказал об этом мужу. Вечером муж, как положено, проучил ее палкой, а палка у него была тяжелая. Тетя Зивер рассказывает об этом с гордостью и печально качает головой: перевелись, перевелись нынче настоящие мужчины!..

А уж как было бы хорошо, если бы я удался в отца!.. Это, конечно, не легко, что говорить!.. И сад должен быть первым во всей деревне, и в лавке за сахаром я должен быть впереди всех, а если ночью был ветер и в колхозном саду посбивало орехи, я должен первым поспеть туда... А уж про двор и говорить нечего — руками бы должен вырвать, а не допустить, чтоб трава перестояла... Ведь до чего дошло — фрукты собрать ленюсь, под каждым деревом гниют, а это, можно сказать, живые деньги...

Тетя Месме с уверенностью предсказала, что из меня ничего путного не получится: «Цыпленка, его с яйца видно». Зивер не соглашалась с ней и в доказательство приводила другую пословицу про цыпленка: их, мол, по осе-

ни считают. Однако, защищая меня, тетя Зивер с таким отвращением поглядывала на разложенные на паласе тетради, что я ясно видел — не верит она тому, что говорит. Да что тут можно сказать: нисколько я не похож на отца и никогда на него походить не буду...

Конечно, если бы отец вернулся, было бы не так заметно, что я ничего не умею — при таком столпотворении, он, может, и сам не смог бы прорваться в лавку. И потом болтают, ничего, мол, не могу, ничего не умею, а подумали они о тете: пустит она меня воровать орехи и давиться в очереди за сахаром?.. Да она и разговоров этих терпеть не может. Соседки-то не догадываются, как ей противно их слушать; ни словом, ни жестом не выказывает тетя Медина своего неодобрения, но я-то знаю, чего ей стоит сдержаться: губы у нее бледнеют, зрачки становятся огромными.

Еще хуже бывало, когда к нам приходил Якуб, а наведывался он нередко. Как только Якуб появлялся в дверях, тетя молча вставала и, схватив самое большое полено из тех, что он заготовил осенью, корчуя у нас во дворе кусты сумаха, запихивала его в печку. Казалось, она хочет, чтобы все эти дрова сгорели сейчас же, при Якубе, и чтобы он больше не показывался у нас.

Когда Якуб входил во двор, дощатая калитка громыхала, словно по ней били чем-то тяжелым, а железная скоба с силой ударялась о доску. И сейчас же, почти одновременно с этим грохотом, начинали скрипеть ступеньки. Якуб так быстро проходил расстояние от калитки до дома, что я только диву давался, но потом понял, что у него очень быстрые ноги,— потому и с войны живым пришел...

Карманы у Якуба всегда были набиты тутовыми ягодами, знаменитыми ягодами тети Набат, которые никто больше не умел так сушить. Якуб входил к нам свободно, как свой человек в доме; он неторопливо прохаживался мимо окна, заделанного желтой бумагой, расспрашивал тетю о том о сем и все время шевелил рукой в кармане. Если у нас сидели женщины, рука так и оставалась в кармане, если никого не было, Якуб доставал горсть ягод и протягивал мне, затем — еще одну и клал ягоды перед тетей Мединой. Потом он усаживался на сундук, положив ногу на ногу, и начинал накручивать на палец шнурки своих толстых шерстяных носков, их было на нем две пары, одни поверх других. Левой рукой Якуб накручивал

шнурок, правой бросал в рот ягоды; жевал он с удовольствием, говорил тоже с удовольствием.

Тетя сидела у стены, не обращая никакого внимания на лежащие перед ней ягоды, и думала о своем; как бы громко ни говорил Якуб, я знал, что она не слышит ни слова. Мне тоже надоедало слушать Якуба: по крайней мере раз сто рассказывал он о том, как был в армии кладовщиком и как перед ним не то что солдаты — генералы на задних лапках ходили, потому что водка для русских — бог, а бог этот три года и девять месяцев был у него в руках. Насчет генералов я еще сомневался, зато у меня не было никаких сомнений в том, что на фронте Якуб из-под полы продавал землякам всякую всячину. Я верил Якубу, когда он говорил, что разыскивал на фронте моего отца и Мукуша. Разыскивал, чтобы сбыть хлеб, сапоги, сахар... Но Якубу не удалось исполнить своего намерения, и каждый раз, когда он рассказывал об этом, на его широком красном лице появлялось что-то похожее на печаль. Якуб умолкал и задумывался. И я задумывался, глядя на него. Я думал о том, зачем поверх своих красивых новых носков Якуб надевает старые. И сколько же ягод насушила прошлым летом тетя Набат, если Якуб до сих пор не может их поесть! Потом я пытался представить себе генералов, которые «ходили перед Якубом на задних лапках», и дивился тому, что на войне тоже, оказывается, бывают и кладовщики, и амбары.

После всех этих историй с водкой и генералами Якуб обязательно заводил речь о моем отце; причем стоило ему упомянуть о том, каким бравым мужчиной был покойный Наджаф, он сам на наших глазах становился таким же: спина выпрямлялась, пальцы сжимались в кулаки, глаза начинали сверкать. Но вот взгляд его падал на меня, и он молча опускал голову. Якуб от души жалел меня и, не в пример женщинам, не любил болтать о моей никчемности. Он только грохал тяжелым кулаком по сундуку и тоскливо вздыхал: «Эх! Из огня да зола получается!..» И я сразу представлял себе золу, которая получается из огня: очаг, полный остывшей золы, гору золы, только что вытрясенной из самовара, чугунную печку, из дырочек которой хлопьями сыплется в мангал зола...

Якуб говорил часами, и я ни разу не замечал, чтоб тетя взглянула на него. Зато Якуб не отрывал от нее глаз. Когда ягоды кончались, и рассказы тоже подходили к концу, и пора было уходить, тете еще труднее было вынести его

9*

молчаливый взгляд. Она по-прежнему сидела в своем углу и только дышала часто-часто, словно ей не хватало воздуха; ее прерывистое дыхание отчетливо было слышно в тишине. Якуб то ли не обращал на это внимание, то ли ему нравилось, что она так дышит. Он вытягивал шею, его толстые красные губы очень смешно приоткрывались, и в такие минуты мне казалось, что Якуб сейчас запоет. Он и правда начинал петь, но уже на улице, когда за ним с грохотом захлопывалась калитка. И пока не затихал вдали его громкий заливистый голос, тетя сидела не шелохнувшись. Потом она быстро поднималась, хватала с сундука постель и, раскладывая ее на паласе, сердито ворчала себе под нос. Она отчитывала соседок, ругала Якуба, утешала меня: «Ишь выдумали! Хотят, чтоб я мальчика в пастухи отдала! Дождетесь! Как бы не так!»

По той ярости, с какой тетя взбивала подушки, видно было, что ей очень хочется не только отругать, но и отлупить кого-нибудь. Не переставая ворчать, она приносила из коридора спички, совала их под подушку и, задув лампу, ложилась. В постели тетя сразу затихала — завтра мне рано вставать — но я знал, что она не спит, лежит и спорит с соседками, с Якубом, с тетей Набат...

С улицы слышался Якубов голос, и голос этот был ненавистен и омерзителен ей, как запах лекарства, которым санитары поливали дорогу, когда Лейла заболела тифом и ее увезли в больницу. Тетя ворочалась, вздыхала, с головой накрывалась одеялом, но от ненавистного Якубова голоса некуда было спастись, как от того вонючего лекарства. Весь день, с утра до вечера, от восхода до захода, гремел над деревней этот раскатистый хозяйский бас. По вечерам, когда у родника поднимали возню мальчишки, издалека были слышны радостные возгласы и довольное похохатывание Якуба — его сын легко клал на обе лопатки любого из своих противников. Ни у арыка, ни на мельнице, ни под чинарой — нигде не было теперь голоса громче Якубова; он проникал даже в школу через закрытые окна, и каждый раз, заслышав его, я видел сытое, довольное лицо и мне снова и снова приходило в голову, что для Якуба война, пожалуй, и правда окончилась...

Весны ли было начало или кончилась зима?.. Печку мы еще не убрали, бумажные мешки из-под серы тоже пока торчали в окне; в тусклом свете керосиновой лампы отсы-

ревшая желтая бумага похожа была на сыромятную кожу. Давно кончились дрова, заготовленные Якубом; тутовые ягоды, которых так много насушила прошлым летом тетя Набат, тоже кончились. Соседки к нам больше не приходили, и не было в нашем доме разговоров ни о пенсиях, ни о сахаре, ни о чае. Я лежал на паласе, разложив перед собой тетради. Тетя сидела в своем углу, прислонившись спиной к стене. Большие крепкие ноги Якуба, положенные одна на другую, торчали со старого сундука. В этот вечер Якуб против обыкновения молчал, и тетя, ни разу не сказавшая ему и двух слов, вдруг заговорила первой:

— Почему Садаф от тебя ушла?

— Я ее сам выгнал!

Якуб выпрямился и гордо взглянул на тетю. Будто не было ничего труднее, чем выгнать из дому тощую маленькую Садаф, и ему удалось, наконец, это сделать. Отчаяние мелькнуло в тетиных глазах. Она замолчала. А она должна была говорить, должна была высказать все, что накипело на сердце... Не смей позорить меня, должна была сказать Якубу тетя Медина, не смей к нам больше ходить! Нечего тебе делать в этом доме — все равно я никогда ни за что не выйду за тебя замуж!

Якуб ушел. Тетя виновато взглянула на меня. «Ну как его выгонишь, все-таки человек, не собака?..» И по-прежнему в ее глазах была надежда: «Может, поймет, может, не придет завтра?..»

Самым плохим был тот день, когда Якуб вставил у нас стекла. Тетя была на работе, меня тоже не оказалось дома; когда я пришел, стекла уже были вставлены в раму, а на полу валялись обрывки желтой бумаги.

Вечером вернулась с работы тетя. Вошла и замерла, не отрывая глаз от стекол. Потом поставила на пол ведро, которое каждый день брала с собой в поле, и ушла во двор. Стемнело, в домах зажглись огни, а тетя все ходила по двору. Самовар она в этот вечер не ставила, свет не зажигала, как будто стекол не видно, если сидеть в темноте...

Но стекла были видны: и в этот день, и на следующий. И был еще один очень плохой день, когда учительница Товуз, самая старшая из наших учительниц, отвела меня на перемене в сторонку и, вынув изо рта папиросу, спросила:

— Якуб взял твою тетю в жены?

Я ничего не ответил ей, но весь день до самого вечера мысленно твердил одно и то же: «Нет, Якуб не взял ее в жены! Нет, Якуб не взял ее в жены!» Ну как они не понимают: уж если Мукуш не смог ее принудить, неужели она станет спать с Якубом!

Но они не понимали. Никто этого не понимал. Наоборот, все были уверены, что мы с тетей только и мечтаем, как бы заполучить Якуба. И Садаф, которая выставляла напоказ свои синяки, и тетя Набат, которая с зимы не разговаривала с тетей и не отвечала, когда я с ней здоровался. А ведь сердилась она не потому, что я не собирал колоски и не запасал дрова, на это она давно махнула рукой — вон как она целовала меня в тот день, когда Якуб вернулся из армии!..

Весна ли тогда кончалась или настало лето? Печку мы уже убрали в подвал, и она лежала там набоку, потому что у нее было только две ноги и стоять она не могла. Лампа горела на своем обычном месте, и поскольку в окнах были теперь стекла, а не бумага, похожая на сыромятную кожу, видно было, как светит луна. Лунный свет заливал черешни; спелые красные ягоды казались сейчас белыми. Свет падал на мои учебники, давно уже отдыхавшие на подоконнике. Я, как всегда, лежал на животе перед лампой, хотя мне не надо было учить уроки. Тетя сидела в углу, прислонившись к стене. С сундука торчали две большие сильные ноги в чарыках. Якуб уговаривал тетю отпустить меня с ним в район, продать ту самую черешню, что казалась сейчас белой под лунным светом. И тетя согласилась. Как это ни удивительно, она согласилась с Якубом.

Лишь только Якуб ушел, тетя взяла с подоконника мою тетрадку, вырвала из нее листок, нацедила в засохшие чернила воды из самовара, достала ручку, заложенную в одну из книг, и, задумавшись на секунду, опустила перо в чернила. И сразу лицо ее изменилось. Господи, ну какая другая женщина может так радоваться, взяв в руки перо! Лицо у тети сразу становится счастливое, и она прямо на глазах превращается в девочку, в школьницу... Я знаю, что тетя поступила учиться, когда к нам в деревню пришла Советская власть. Учителя тогда занимались с ребятами в саду под деревьями. Это было недолго, только первое время, но тетя Медина так всегда рассказывала о своей школе, что невозможно было представить ее себе в

обычном классе, за партой. Только в саду. И не в обычном колхозном саду, в котором проходят у нас уроки ботаники. Тот сад был особенный: в нем все цвело и пахло в нем по-другому. И учителя там не писали примеров, не диктовали правил — они пели с ребятами. И дорожки, по которым дети бегали в школу, были тогда не те, что сейчас. Может быть, дорожки-то были и те, но тогда они утопали в розах: ведь это о них говорилось в тетиной песне. Азеров отец тоже пел иногда в клубе эту песню. А не будь этой песни, и этой школы в саду, и Азерова отца в белоснежной сорочке, тетя Медина, наверное, не ненавидела бы Якуба. Мне даже кажется, что именно из-за этой песни не может она делать с Якубом то, чего безуспешно требовал от нее Мукуш...

И каждый раз, едва тетя успевала положить перо, цветущий сад пропадал, дорожки, обсаженные розами, превращались в обычные тропки и в нише перед мечетью показывался Мукуш, подстерегавший тетю. Потом слышался тяжелый топот сапог. Топот черных сапог сливался с завыванием черной свадебной зурны, и в черной-пречерной темноте тетю вели к Мукушу... Потом на дороге у клуба я видел старого учителя Хашима, того самого учителя Хашима, который не здоровался с тетей за то, что она бросила школу.

На этот раз радость не сошла с тетиного лица, когда она положила ручку. Тетя поставила чернила на подоконник, сложила листок треугольником, дала мне и сказала, что я должен отнести его Мерджан. Мерджан работает в хлебной лавке возле рынка. Тетя долго растолковывала, как разыскать лавку, а потом сказала, что самое главное — не показывать письмо Якубу. И еще она строго-настрого наказала, чтоб я ни в коем случае не тащил сам черешню, пусть Якуб привяжет ведро к ослиному вьюку. Если я устану, он и меня должен посадить на ишака, только надо держаться покрепче. Как выйдем в степь, нужно остановиться и не спеша закусить, а если мне понадобится по своим делам, стесняться нечего — присел за камень, и все. И тетя первый раз в жизни сказала, что Якуб — осел и ничего этого не понимает.

Было еще темно, когда мы вышли из деревни: впереди ишак, за ним Якуб, потом я. Штаны на мне были чистые-пречистые и совершенно сухие, и когда только тетя

успела их высушить? Галоши тоже были чистые, блестящие; она вымыла их, положила внутрь газету, чтобы не так чувствовались камни. Только все равно ногам было больно. Якуб шел в чарыках — и хоть бы что, а ведь носки на нем сейчас были только одни. Ишаку тоже было не больно ступать по камням — он весело вскидывал копыта, поблескивая новыми подковами.

Ведро с черешней нес я. Якуб шел налегке. Ведро я обязательно должен был нести сам, если, конечно, вырасту таким, как отец,— он в мои годы мешки с зерном таскал по горной дороге.

Жаль, что мне раньше не пришло в голову — я не стал бы доверху насыпать ведро, а то Якуб так быстро шагает... Ишаку тоже шагалось легко, видно, не в тягость ему были два вьюка, он чувствовал себя великолепно и даже помахивал красивым черным хвостом.

Мы долго шли степью: она была серая, плоская, бесконечная. И все время, пока мы шли по этой серой, плоской равнине, Якуб рассказывал мне об отце. И мне почему-то начало казаться, что лицо у моего отца было серое и совершенно плоское, тогда как я хорошо помню — отец был горбоносый и лицо у него было красное, почти такое же красное, как у Якуба.

Острые камни нестерпимо кололи ступни. Камни тоже были серые, злые и беспощадные. Весь мир сейчас состоял из этих острых, безжалостных камней, и самое ужасное было то, что их нельзя ни растоптать, ни избить, ни заставить плакать.

До рассвета было еще далеко, небо висело тяжелое, низкое, серое. Впереди маячила гора — большая, равнодушная. Я должен был тащить ведро на самую ее вершину. Очень хотелось реветь. И не потому, что нестерпимо болели ноги и ломило от тяжести спину, а потому, что весь мир состоял из серых, острых и злых камней и их нельзя было ни растоптать, ни избить, ни заставить плакать.

Мы шли рядом от одного телеграфного столба к другому, и рядом с нами тянулся по проводам негромкий сдавленный стон... Время от времени Якуб постегивал хворостинкой по галифе в том месте, где они вздувались шаром; ишак вздрагивал и бросался вперед. Маленький черный ишак не был ни ленивым, ни упрямым, и он боялся Якубовой хворостины. Ослик добрый. Мне не раз доводилось заглядывать ему в глаза. В больших коричневых гла-

зах были печаль, боль, тоска, но я никогда не видел в них упрямства. Не будь здесь Якуба, я обязательно привязал бы ему ведро на спину, а чтобы он не обиделся, я почесал бы ему холку, погладил бы за ухом, согнал бы слепней с живота...

Понеси мое ведро, а? Тебе ведь не больно, у тебя войлочный палан на спине... А у меня руки отваливаются... и так ломит спину... Ну тогда хоть иди потише!..

Иногда ослик начинал медленно переступать копытцами, но хворостина со свистом разрезала воздух, и он, вздрогнув, снова бросался вперед. Якуб беспокоился, спешил, поминутно подгоняя ишака — дельный человек до зари должен быть на базаре, иначе попадешь к шапочному разбору.

Несколько раз Якуб принимался утешать меня — подумаешь, ведро черешни! Они с моим отцом мальчишками зерно таскали по этой дороге — мельницы у нас тогда еще не было. Вот это была тяжесть! А сколько раз они волков здесь встречали, и ничего, не трусили... Мой отец настоящий парень был. Вот и я должен вырасти таким же: бесстрашным, сильным, смекалистым...

Иногда Якуб запрокидывал голову, глядел на небо и начинал петь, в такт песни похлестывая себя по спине хворостиной. Якуб пел потому, что не мог не петь — этим летом его обязательно поставят кладовщиком. Меня он возьмет в помощники, вот уж когда я досыта наемся сыру и миндаля. Всего у нас будет вдоволь. Горох мы станем взвешивать каждую неделю, и каждую неделю будет по пуду привесу: горох влагу впитывает. Орехи другое дело, их смачивать приходится — усыхают. Но тут, конечно, мера нужна: сколько воды в орехи, сколько песку в зерно — на все свой порядок. Якуб это доподлинно знает: отец у него тоже не один год в кладовщиках ходил...

...Большой палец на правой ноге совсем занемел — я его не чувствовал. Руки тоже были не мои. Когда мы подошли к подножью горы, Якуб наконец разрешил мне поставить ведро и отдохнуть. Но ведро я не поставил. Я ощущал одно: не хочу подчиняться Якубу. Я не знал тогда, что это чувство называется ненавистью, но не хотел, чтобы оно проходило: чем больше я ненавидел Якуба, тем меньше ощущалась боль,— вершина горы уже не казалась мне такой далекой...

На горе Якуб взял у меня ведро — теперь его понесет ишак... Он улыбнулся и ласково погладил меня по голове,

как гладил своего сына, когда тот, схватившись возле родника с кем-нибудь из мальчишек, клал противника на обе лопатки. Моим противником было ведро, и я победил его. Потом Якуб приподнял на мне рубашку и погладил плечи, лопатки... Меня душили слезы, но я не плакал, мне было радостно, но я не хотел радоваться — боялся потерять то, что давало мне силы и что называется ненавистью. Когда мы сели перекусить и Якуб достал жирную белую курицу, завернутую в платок, мне стоило большого труда не выпустить из себя ненависть, потому что Якуб отдал мне большую половину курицы... Это мне удалось, но лишь потому, что склон был в тени и садов не было видно. Когда же мы пошли среди садов и росистая листва деревьев засверкала в солнечных лучах, я уже ничего не мог с собой поделать. И до самого конца пути, до самого райцентра не оставляло меня опасение, не потерял ли я также и письмо, и я все время нащупывал его в кармане.

Булочную я увидел сразу, как только мы продали черешню и мне удалось ускользнуть от Якуба: она была здесь же, наискосок от базара. Отыскать ее ничего не стоило. Во-первых, на ней было написано, что это булочная. Во-вторых, у всех, кто выходил из дверей, был в руках хлеб. И в-третьих, возле лавки толпился народ, а тетя рассказывала, что больше всего народу бывает как раз возле булочной. Тетя называла еще кучу примет, говорила, что отыскать булочную не просто, и это меня сейчас озадачило. Где, например, машины, о которых толковала тетя, страшные машины, одна за другой грохочущие по улице? Тетя настаивала, чтобы я переждал их все, а машин не видно. Пройдет одна, а пока другая покажется десять раз можно туда-сюда перейти... Может, не та улица? Да нет, здесь только одна такая длинная, покрытая асфальтом. Остальные как у нас в деревне: узкие, каменистые. И дома на них такие же деревенские...

Тетя говорила, что вдоль улицы течет арык и мне придется немного перейти вверх — там мостик. Только какой же это арык? Его ничего не стоит перепрыгнуть.

По улице перед базаром расхаживали люди, торговали зеленью, сигаретами; машины, изредка проезжавшие мимо, оглушительно гудели, будто водители находили в этом особое удовольствие. Чистильщик, пристроившись со своей скамеечкой у арыка, не переставая колотил по ней щетками: он тоже, видно, получал от этого удовольствие. Иногда он еще принимался и кричать. Мальчишки, облепившие

тутовое дерево, тоже все время орали; их было так много, что, казалось, дерево вот-вот сломится и все они попадают в арык.

Возле арыка прохаживалось несколько парней. Двое из них разулись и сидели, болтая ногами в мутной коричневатой воде. Когда мимо проходили девушки, вся компания, как по команде, поворачивала головы; если девушка была без чулок, парни не отрываясь смотрели на ее ноги, а девушка шла прямо и глядела в одну точку. Совсем как наши старшеклассницы, когда выступают на празднике в клубе. Мне всегда казалось, что девочки боятся, что забудут слова, если отведут взгляд от плаката, висевшего в конце зала. Здесь девушки все, как одна, не отрывали глаз от звезды, приделанной к башенке белого трехэтажного дома; издали звезда очень походила на кремлевскую. Звезда, башня да еще, пожалуй, радио, кричавшее что-то на всю площадь,— это и называется город. Да еще часы: на башне под звездой были часы, тоже совсем как кремлевские...

Я перешел улицу, стал у арыка. Перепрыгнуть его ничего не стоило, но я обещал тете не прыгать и поэтому побрел к мосту. Наконец я оказался перед булочной. Я не ошибся, это была та самая булочная, откуда слышался голос Мерджан. У двери караулили четыре собаки, они бежали за каждым, у кого в руках был хлеб. Я стал ждать. Когда хлеб кончился, Мерджан прогнала всех из лавки, смела с прилавка крошки, бросила их собакам и заперла дверь на три больших висячих замка. Потом она обернулась и увидела меня.

Я не помню, что она сказала, спросила о чем-нибудь или нет. Помню только, что из-под ее белого платка выпало полбуханки белого хлеба и что собаки, сразу же окружившие нас, не посмели схватить его. Мерджан подняла хлеб, поцеловала и снова спрятала под платок. И еще я запомнил, что собаки долго бежали за нами, до большого абрикосового дерева с ободранной корой. Здесь Мерджан прикрикнула на них, и собаки сразу отстали. Собак было четыре. Три — обычные бездомные псы: тощие, некрасивые, грязные... Четвертая была совсем другая — рослая, с большой головой и сильной грудью, такая, какие бывают у пастухов.

Под абрикосовым деревом я остановился и достал письмо. Мерджан взяла его, сунула за пазуху, и мы пошли дальше вдоль арыка. Мерджан шла быстро. Она ничего не

говорила, только ласково поглядывала на меня. Все встречные первыми здоровались с Мерджан. Она отвечала на приветствие, оборачивалась и с улыбкой смотрела на меня: «Ну как тебе это, Садычок?» На Мерджан было нарядное желтое платье, туфли на высоких каблуках, а в железном колечке, в которое она просунула палец, позвякивали ключи от трех замков. Мне нравилось, как они позвякивают...

Я глядел на дорогие туфли Мерджан и вспоминал, как она ходила зимой по горной дороге: одни носки внутрь, другие — поверх ботинок. И как мы с Азером раздобыли железную палку, чтобы убивать всех, кто называет Мерджан шлюхой. А ведь если бы эти ключи и тогда позвякивали у нее на пальце, если бы на ней и тогда было это красивое платье, и туфли, и шелковый белый платок, никто, наверное, не посмел бы назвать ее шлюхой, все первыми здоровались бы с ней...

Я не знал, куда мы идем, но это мне было все равно: я согласен был идти хоть весь день. Мир уже не был ни равнодушным, ни жестоким — все встречные смотрели на нас ласково и первыми здоровались с Мерджан. Я хотел, чтобы мы шли бесконечно, чтобы людей в городе было как можно больше и чтобы все они попадались нам навстречу; такие хорошие люди!..

Мне особенно запомнилась женщина в белом переднике. Она стояла в дверях какого-то дома и улыбалась нам: мне и Мерджан. У нее были белые-белые руки, и когда мы с Мерджан вошли, она погладила меня по голове своими белыми руками. Потом женщина оправила скатерть на одном из столов — их там было много,— и мы сели. На нашем столе в банке с водой стояло несколько привядших веток жасмина, на других цветов не было. Мерджан достала из-под платка хлеб, положила на стол рядом со связкой ключей; женщина своими белыми руками разломала его на куски и положила в тарелку. Потом она ушла за едой, а Мерджан стала читать письмо.

И как мне могло прийти в голову, что тетино письмо про хлеб! Правда, это не моя вина: просто муки у нас осталось не больше килограмма. Но какой уж тут хлеб, когда Садаф и тетя Набат с зимы не здороваются с нами, когда Якуб перекопал наш огород и тетя готова бросить все и бежать, только бы не видеть эту старательно перекопанную землю. Ну конечно, в тот вечер, увидев вставленные стекла, она думала, куда нам уйти, до ночи расхаживая по

двору. Все это я сообразил мгновенно, раньше чем Мерджан подняла глаза от письма. «А чего же? — сказала Мерджан.— Приходите, и все».

Она ни о чем не стала меня расспрашивать, поинтересовалась только, как дела в колхозе. «Какой уж теперь колхоз!» — сказал я, повторив чьи-то слова.

Я давно забыл, что мы там ели, в столовой, но женщину с белыми руками, ее улыбку и ласковое прикосновение ладони — она снова погладила меня, когда мы уходили,— я запомнил навсегда. Еще я запомнил улицу перед базаром, вернее, не самую улицу, а то, как она вдруг изменилась. Все звуки стихли, и в тишине громко пело радио. Парни, час назад бойко торговавшие зеленью и сигаретами, примолкнув, сидели на тротуаре, угомонились даже те, что весь день бездельничают возле арыка, будто и у них нашлось какое-то занятие. И чистильщик уже не громыхал щетками, он сидел, облокотившись о свою доску, и слушал песню, грустно покачивая головой. Я запомнил парикмахера в белом халате: старик шел к уборной с кувшином для омовения, и слышно было, как шаркают по асфальту его шлепанцы...

Потом Якуб купил для нас с тетей полкило баранины и еще что-то, не помню что. Зато я очень хорошо запомнил все, что он говорил, когда мы возвращались в деревню. Прежде всего Якуб велел мне не рассказывать тете про ведро. Мы — мужчины, и ни к чему бабам лезть в наши мужские дела, все равно ничего не соображают. Баб надо в строгости держать, у них мозги как у курицы. И лупить, обязательно лупить, иначе совсем одуреют. Это еще мой отец его учил. Якуб говорил много и почти все, что говорил, приписывал моему отцу и для убедительности указывал на какой-нибудь куст или камень. И я уже не мог без дрожи смотреть по сторонам — по Якубовым словам получалось, что чуть ли не под каждым кустом отец обучал его мучить женщин. Вот у той высокой мушмулы он сказал Якубу, что, если его жена родит девку, он эту девку тут же придушит... А когда моя мать умерла и они с Якубом наутро пошли на базар, отец бросился на землю возле того вон плоского камня и стал биться об него головой. Меня не удивляло, что мужчина, могучий, как буйвол, может заливаться слезами и биться головой о камень. Трудно было понять другое: зачем же он так огорчался, раз женщина — это что-то вроде курицы... Потом мне вдруг пришло в голову, что моя мать умерла от страха — услышала, что ре-

бенка хотят придушить, и умерла. До самой деревни я думал о своей матери, которую никогда не видал; мне было очень жаль ее и почему-то казалось, что она была похожа на ту женщину из столовой; я шел и мысленно целовал ее белые-белые руки...

Дня через три на рассвете мы с тетей потихоньку вышли из дому и повесили на дверь замок; мы взяли с собой только мои учебники и хлеб, который у нас оставался. Тетя приготовила еще самовар и одеяла с подушками; из самовара она с вечера вытряхнула золу, а узел с постелью крепко-накрепко перетянула веревкой: пусть все будет готово. Она потом придет и возьмет.

Все спали, когда мы запирали дверь. Еще не погасли звезды. Сухой корочкой висел посреди неба потускневший месяц, а на ореховом дереве, окутанном сероватым сумраком, еще дремала ворона.

И вода из источника текла просто так, без дела — Садаф еще не вставала. Скоро она придет, расставит у родника посуду, наскоблит со стены сухой глины, возьмет пучок травы и начнет изо всех сил тереть свои миски и кастрюли. Потом нальет доверху оба ведра, положит туда вымытую посуду и потащит домой; железные дужки ведер вопьются в ее тощие синеватые ладони. Завтра, послезавтра, а может быть, и теперь же, утром, расставляя у воды посуду или начищая до блеска огромный медный самовар, Садаф вдруг узнает, что мы с тетей ушли из деревни, и поймет, что Якуба мы у нее отнимать не собирались.

Сегодня, завтра, а может быть, послезавтра, когда учительница Товуз выйдет на прогулку и, полная достоинства оттого, что она учительница, и оттого, что курит «Казбек», будет не спеша прохаживаться по улице, ей сообщат, что мы с тетей ушли из деревни, и учительнице станет ясно, что Якуб не взял в жены тетю Медину.

Учительница Товуз остановится посреди дороги и большой костлявой рукой с набрякшими жилами задумчиво возьмется за морщинистый подбородок; на ее узком сухом пальце блеснет толстое золотое кольцо. Потом она поглядит на свои часы. Обязательно поглядит, хотя по часам невозможно узнать, когда мы с тетей ушли из деревни и зачем мы это сделали. Потом учительница Товуз присядет где-нибудь на ступеньку или на чистый камень и из-под ее

синего платья обязательно будет торчать белоснежная чистая юбка. Учительница закурит «Казбек» и станет рассказывать, как тетя Медина училась в школе, а уж раз об этом зашел разговор, она непременно заметит, что не брось эта девочка школу, быть бы ей сейчас в Верховном Совете. Обо мне она тоже вспомнит и скажет то, что говорит всегда: «В их роду не было ученых людей, но этот мальчик далеко пойдет».

К вечеру, когда начнет смеркаться, тетя Набат накинет новую сатиновую чадру, которую сшила после возвращения Якуба, и направится к большому ореховому дереву, под которым каждый день в эту пору собираются поболтать такие же, как она, пожилые женщины в чадрах. Выйдет и увидит замок на наших дверях; он будет висеть и сегодня, и завтра, и послезавтра... И тетя Набат поймет, что мы ушли, ушли совсем. Вот когда она пожалеет, что не разговаривала с тетей Мединой и не хотела со мной здороваться. И, сидя со старухами под орехом, она теперь каждый вечер будет расхваливать Медину. Прежде всего окажется, что моей тете уготована дорога в рай: подумать только — чужого ребенка растит, как собственное дитя. Потом выяснится, что Медина чиста и безгрешна. Об этом тетя Набат будет рассказывать долго и обстоятельно. Она, разумеется, не станет упоминать о том, что ее сын вот уже десять лет сходит с ума по Медине, наоборот, она будет решительно отрицать это. «Все это выдумки,— скажет она,— болтают от нечего делать. Подумаешь, стекло вставил! Такой уж он уродился, не может не помочь человеку». Если речь зайдет о том, что Якуб то и дело выгоняет жену из дому, тетя Набат махнет рукой. «Обойдется...— скажет она.— Якуб мужик норовистый, говорить нечего, а Садаф малость нерасторопна... Ничего... Без этого в семье не бывает...»

Но как бы ни расхваливала, как бы ни защищала старушка тетю Медину, все-таки большинство женщин решительно осудят ее. А как же иначе: тутовник необработанный бросила, черешня досталась птицам... Мало того, что мужний дом загубила,— а какой дом был! — теперь и родное гнездо разорить хочет... Долго еще под старым ореховым деревом будут соседки перемывать косточки тете Медине...

Но сейчас под орехом пусто, в примолкшем арыке плавают окурки «Памира», те, которые выдула из мундштука тетя Набат, сидя здесь вчера со своими сверстницами. Ста-

до еще не выгоняли, и иероглифы под чинарой нетронуты. То тут, то там незлобно побрехивают собаки, и среди хриплых собачьих голосов я отчетливо слышу тоненькое тявканье щенка. Сафар скоро встанет, и щенок, помахивая веселым маленьким хвостиком, побежит за ягнятами по склону горы... Потом дедушка Аслан, а может быть, и не он, а тетя Хадиджа и Якуб пройдут с заступом на плече к мельнице — пустить воду; вода с журчанием устремится в арык и унесет с собой окурки «Памира»... Потом проснется моя ворона и, усевшись на проводах, начнет громко и настойчиво каркать. А я не выйду. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. И тогда ворона поймет, что меня здесь больше нет, а это для нее очень плохо. С кем она будет разговаривать, кому кричать, что приближается дождь, с кем вместе радоваться, когда после дождя выглянет солнце и можно вылезти из гнезда? И вообще, как она сможет обойтись без меня: я столько лет охранял ее гнездо от мальчишек. Кто будет отгонять собак и кошек, когда птенцы оперятся и наступит время учить их летать, кто полезет в любую грязь, чтобы выручить заблудившегося вороненка?..

В бескрайней предрассветной сумеречной степи было нас сейчас только двое: тетя и я. Серой тенью лежал у дороги большой плоский камень, тот, возле которого рыдал мой отец... Куст мушмулы тоже казался мне зловещей тенью. Мне казалось, что он, куст, удушил когда-то маленькую-маленькую девочку...

Мне было хорошо оттого, что во всем этом бескрайнем просторе нас было только двое: тетя и я. И все-таки очень хотелось плакать, я почему-то подумал, что и Якубу захочется плакать, когда, перемахнув через ограду, он увидит на нашей двери замок. Он сядет посреди двора, между грядками, которые засадил огурцами и картошкой, и будет плакать. Очень даже просто. Уж если мой отец, «могучий, как нар», мог рыдать и биться головой о камень, чем лучше Якуб?..

Я нес узелочек с хлебом. В руках у тети были мои учебники, завязанные в старую марлю. Тетя обула сегодня красивые, легкие туфли; еще когда была война и тетя работала на фабрике, они пришли как-то вечером с Мерджан в одинаковых новых туфлях. Мерджан быстро разбила свои — каждый день по камням ненадолго хватит, а тетя спрятала туфли в сундук, словно хотела сберечь их для этого дня.

В своих новых туфлях тетя выглядела нарядной и сча-

стливой, но скорей всего это было не так. Тетя чувствовала, что я вот-вот зареву, и пыталась расшевелить меня, отвлечь от тяжелых мыслей. А может, ей и самой хотелось плакать, и, чтобы не разрыдаться, она то весело болтала, то начинала петь, то, хлопнув меня по плечу, со смехом бросалась вперед... Тетя говорила, что в городе гораздо лучше, чем в деревне: там есть заводы и всем, кто работает, каждый месяц выдают зарплату; рабочие покупают своим ребятишкам не только одежду, но даже башмаки... Скучать я в городе не буду — у Мерджан есть радио, хоть целый день песни слушай. Или можно пойти на улицу, там растет чинара, точно такая, как у нас... А во дворе у Мерджан гранатовое дерево; сейчас оно все в цветах: цветы красные-красные... А потом на нем появятся маленькие гранаты, а потом она купит мне новые учебники и я пойду в школу. В городских школах замечательные учителя!

И такой у тети был голос, когда она говорила обо всем, что казалось: она поет. Она и верно напевала, тянула что-то неровным, чуть дрожащим голосом. И я знал, о чем ее песня, хотя песня была без слов... А может, она и не пела и не меня утешала, может, это была ее сказка?.. И рассказывала она ее не мне, а степи и кусту мушмулы у дороги, и плоскому серому камню, и корочке потускневшей луны. Жил-был однажды... Жил-был однажды...

2

«Жил-был однажды двор. Двор был большой и темный. Он был обнесен высокой стеной и видел мало солнца, и земля в нем была влажная и грязная. Даже муравьи не водились в том дворе. И трава во дворе не росла, не было даже колючек. Было одно гранатовое дерево, но дерево зачахло от тоски. Оно грустило о братьях, которые привольно раскинули ветви на горных склонах и любуются высоким небом, пьют сладкую родниковую воду, наслаждаются солнечным светом...»

...Входить во двор надо было через низкую, узкую дверь. Откроешь ее и попадешь в крытую галерею, под которой глубоко-глубоко в земле течет вода. Течет и течет до самой мечети. А у мечети колодец. Там моют посуду, стирают белье, отрезают головы курам и земля там залита кровью и густо посыпана перьями.

Дом был двухэтажный, с двумя айванами вдоль всего здания. На верхний айван выходили хорошие комнаты, внизу между закопченными столбами, подпирающими верхний айван, виднелись низкие, темные каморки. Две из них пустовали, даже сняты были двери, в двух других жили люди: в одной мы — Мерджан, тетя и я, в другой, в самом конце айвана,— одинокий парень по имени Губат. У него было смуглое лицо и одна нога короче другой. Губат говорил, что он конюх и ходит за военкомовским жеребцом, а жеребец этот бешеный, никого не подпускает, кроме него и самого военкома, но Мерджан сказала, что никакой Губат не конюх, а просто дворник — двор метет в военкомате.

Как раз против нашей каморки была деревянная лестница, ведущая на верхний айван, каждый день по ней поднимались и спускались две женщины: одна тяжело и медленно, другая бегом, вприпрыжку.

Ту, что поднималась медленно, звали бабушка Байханум; у нее было раньше четверо сыновей, но ни один из них не вернулся с войны. Бабушка Байханум постоянно беседовала с богом и, чтобы не прерывать этого разговора, больше ни с кем не говорила. Бабушка Байханум разговаривала с аллахом и когда спускалась с лестницы и когда поднималась по ней; каждое утро она уносила из дому что-нибудь из вещей пожертвовать во имя аллаха. Каждое утро и каждый вечер бабушка Байханум совершала намаз на айване, а потом долго стояла, устремив глаза в небо, и шепотом разговаривала с аллахом...

Каждое утро девушка по имени Сурат весело сбегала по лестнице и уходила на работу в райком. Возвращалась она раньше всех, и сразу же на верхнем айване начинали радостно поскрипывать половицы. Сурат прохаживалась по айвану в нарядных белых туфлях, напевая песенку. Замолкала, жевала что-то, откашливалась и опять начинала мурлыкать. Пела Сурат потому, что получила письмо от жениха, и потому, что не сегодня-завтра жених ее должен был приехать с Дальнего Востока. Письмо с Дальнего Востока Сурат держала в кармашке синего жакета, и оно всегда было с ней: и утром, когда она спускалась по лестнице, и вечером, когда взбегала по ней наверх.

По вечерам в комнатах зажигались лампочки — две наверху, две внизу, а на айванах перед дверьми коптили четыре керосинки — ведь в городе нет ни дров для очага, ни угля для самовара. После ужина Сурат спускалась к

нам, и деревянная лестница весело щебетала под ее ногами. Сурат приходила поговорить о женихе и каждый вечер читала тете и Мерджан его письма и показывала фотографии. Фотографии были всегда одни и те же, и смотрел с этих фотографий один и тот же человек. Каждый вечер Сурат считала звездочки на его погонах и рассказывала, как они познакомились. Я уже знал эту историю наизусть и, как только Сурат принималась рассказывать, сразу же видел поезд, который, посвистывая, мчится в темноте по черным рельсам... Тот самый поезд, в котором она ехала в Баку на конференцию. Вместе с Сурат ехал один призывник, они сидели у окна друг против друга. За весь день он не сказал ей ни слова, даже не взглянул на нее ни разу. А когда наступил вечер, Сурат, случайно подняв голову, заметила вдруг, что парень не просто смотрит в окно, а разглядывает ее отражение. Поезд шел, останавливался, снова набирал ход, а парень по-прежнему не отрываясь глядел в окно. Наступила ночь, все спали, он не спал. Сурат тоже не спала, в чемодане у нее лежал партбилет, а у кого в чемодане партбилет, тому нельзя спать — время тогда было неспокойное. Сурат все ждала, не скажет ли чего ее сосед, не заговорит ли, но тот молчал. Наконец, когда было уже за полночь, Сурат не выдержала, усмехнулась. Парень отвел глаза от окна и несмело взглянул на нее. Они улыбнулись друг другу. Посидели и снова улыбнулись. Так парень и не сказал ничего. На рассвете в вагоне появились солдаты — проверили документы, а когда они ушли, парень взял ее паспорт. Сурат тоже посмотрела его паспорт. Парень нашел клочок бумаги, написал что-то и передал ей. «Твой образ я буду вечно хранить в своем сердце»,— было написано на бумажке.

Когда Сурат произносила эти слова, в глазах у нее сверкали слезинки, она доставала из кармана маленький платочек и вытирала глаза.

Потом была остановка, они вышли, купили конфет; на другой остановке парень раздобыл где-то платок с красными розами, подарил ей. Потом поезд остановился совсем — почему-то я не мог представить себе этот поезд стоящим,— и они провели в Баку весь день: гуляли по какой-то набережной, ходили по каким-то улицам — все это я тотчас же забыл, а вот поезд, который мчится по черным рельсам, темное окно и Сурат, отраженная в стекле,— это навсегда запало мне в душу. Парень уехал на фронт, на войну, писал Сурат из далеких городов — все это было ин-

тересно, но жило в моих мыслях, пока Сурат рассказывала об этом. Как только она замолкала, я опять видел темное окно, молодого парня, разглядывающего ее отражение, и поезд: весело посвистывая, мчится он в темноте по черным рельсам...

Говоря о своем женихе, Сурат не могла сидеть на месте; она вставала, садилась, ходила по брезенту, заменяющему Мерджан палас... Слушали только мы с тетей; что касается Мерджан, ее эти рассказы совершенно не трогали, и ей ничего не стоило в самом интересном месте встать и включить радио. Иногда она даже перебивала Сурат и начинала говорить о чем-нибудь другом или вдруг хохотала не к месту. Однако большей частью Мерджан просто сидела у стены, вытянув ноги, и, поплевывая на пальцы, спокойно подсчитывала выручку — завтра ее нужно было сдавать в банк.

Когда Сурат уходила, забрав с собой письма и фотографии, мы гасили свет. Дверь на ночь не закрывалась, в комнате и без того было душно, я лежал возле тети и во все глаза глядел на стену. Сурат ложилась не сразу, и тень от ее фигуры, освещенной электрической лампочкой, долго еще двигалась по высокой стене, окружавшей наш двор. Я смотрел, как красиво она движется, и мне начинало казаться, что женщина на стене — не Сурат, а Гюльчехра из «Аршин мал алана». Она так же, как Гюльчехра, поднимала руки, так же закидывала голову, так же напевала, а главное, она и лицом похожа была на Гюльчехру. Иногда зрелище настолько захватывало меня, что я ждал появления Аскера: сейчас, сейчас он должен появиться, веселый Аршин мал алан; перекинет во двор узелок с товарами, сядет на стене и запоет. Но веселый Аскер не появлялся, и Сурат укладывалась спать. Она медленно стягивала зеленое платье, которое носила дома, и вешала его на стул; в эти моменты я особенно напряженно разглядывал ее тень, хотя знал, что сейчас следует закрыть глаза. Очень уж мне хотелось знать, что же носит она под своими красивыми платьями. Но свет гас — «кино» кончалось. И хотя мне так и не удалось узнать, что же надето у нее под платьем, я испытывал облегчение; нехорошо, что Сурат поет — бабушка Байханум слышит. Ведь старушка даже смотреть на нее не хочет, а все потому, что Сурат так много поет и так весело сбегает по ступенькам...

Как только Сурат гасила свет и тень со стены исчезала, в противоположном конце айвана слышалось громкое по-

визгивание пружин — это Губат ворочался на своей железной койке. Иногда он вдруг вскакивал среди ночи и, припадая на короткую ногу, в одном белье бросался разгонять кошек, которые сбегались к нам со всей улицы; они пролезали под дверью и, расположившись посреди двора, дрались и орали как бешеные. Засыпал он поздно, потому что поздно вставал, чуть не до полудня валялся иногда в постели. Сначала я не знал, что, лежа в темноте на своей скрипучей койке, Губат тоже смотрит на стену, и очень удивился, когда он сказал мне об этом. Особенно поразило меня, что движущуюся на стене тень он тоже называет «кино». Я не спрашивал, какое именно кино смотрит он на нашей стене, но чувствовал, что, разглядывая девичью тень, он видит гораздо больше, чем я. Иногда после «кино» он тихонько окликал меня, но я не отзывался; мне хотелось, чтобы он думал, будто я сплю. Впрочем, утром он все равно заставлял меня признаться.

Днем мы с ним оставались одни. Поднявшись с кровати, он ставил котелок на керосинку и, прихрамывая, начинал задумчиво расхаживать по айвану. Иногда он затягивал песню Аскера, ту самую, которую Аршин мал алан поет в начале фильма, прогуливаясь по цветущему саду.

— Эй, Садык! — крикнул он, завидев меня на айване.— Чурек по-русски как будет?

— Хлеб.

— Правильно, молодец.

Некоторое время он молчал, помешивая ложкой в котелке.

— А кашик как по-русски?

— Ложка!

— Молодец.

Он опять замолкал, помешивая кашу...

— А кечи как будет?

— Кечи? Не знаю.

— Казол!

Слова, которые он знал, а я нет, Губат произносил с особой гордостью и даже переставал помешивать хашил...

Каждый раз я ждал, что он обязательно спросит, как будет по-русски хашил, но он почему-то не спрашивал, хотя каждый день варил эту кашу из муки. Иногда, проходя мимо, бабушка Байханум протягивала ему завернутый в лаваш комочек масла, в такие дни Губат ел хашил с маслом, однако большей частью хашил у него был постный.

В комнате Губат держал только большой пустой сундук, остальное его имущество — керосинка, мешок, который он стелил на пол, присаживаясь возле керосинки, и железная кровать с постелью — всегда находилось на айване. Одеяло у него было совсем новое, тюфяк тоже ничего. Свою постель он показал мне в первый же день. Как только Мерджан увела тетю устраиваться на работу, Губат подозвал меня и на моих глазах несколько раз перевернул тюфяк с одной стороны на другую. Оказывается, Мерджан назвала его вшивым, он с ней даже не разговаривает, в жизни ей больше слова не скажет. Ну, в самом деле — откуда у него вшам быть! Да если она хочет знать, даже в войну, когда эти твари, как муравьи по траве, по людям бегали, он с себя ни одной не снял! Чего-чего, а уж мыла-то у него хватает — каждую неделю по куску выдают! Не за кем-нибудь, за военкомовским конем ходит.

И словно для того, чтобы насолить Мерджан, Губат каждую неделю пробирался ночью к колодцу и стирал с себя все, даже суконный китель. А когда его сероватые подштанники висели на проволоке между столбами и с них струйками стекала вода, все знали, что Губат лежит под одеялом голый и сегодня он не будет гоняться за кошками.

Подкрепившись хашилом, Губат с чувством произносил «слава богу» и поднимался. «Ну,— говорил он, вопросительно глядя на меня,— теперь коня пойти покормить, так, что ли?» Губату жаль было бросать меня одного — он знал, что я буду скучать.

Губат уходил, я наливал себе чаю — тетя Медина оставляла его на керосинке, убавив под чайником фитиль,— брал кусок белого хлеба, который мне каждый вечер приносила Мерджан, опускал в стакан кусок сахару и принимался завтракать. Позавтракав, я включал радио и садился на айване перед дверью. Иногда я начинал листать учебники, хотя назубок знал каждую страницу — делать мне было нечего... Вот тогда-то я и стал сочинять сказку о гранатовом дереве и писать ее в прошлогоднюю тетрадку. Только чистых страничек оказалось мало, она скоро кончилась. А сказка еще продолжалась...

И вот мы с тетей Мединой вошли в этот двор; только что она поцеловалась с Мерджан в хлебной лавке, только что мы прошли по главной улице; опять, как тогда, в руках у Мерджан позвякивали ключи и все встречные приветливо здоровались с ней; только что спускались под го-

ру по узким каменистым улочкам; Мерджан и тетя Медина, перебивая друг друга, говорили о деревне, о фабрике, о солдатах, которые стояли у нас во время войны; я бежал за ними и старался внушить себе, что здесь хорошо, что здесь очень даже можно жить... Но как я ни убеждал, как ни уговаривал себя, все-таки больше всего на свете мне хотелось вернуться в деревню.

Когда же мы вошли во двор и я увидел двухметровые толстые стены, грязный двор и это гранатовое дерево,— все стало ясным: ни жить, ни учиться здесь невозможно; все это чушь, нелепая выдумка, вроде красных цветов, которые будто бы распускались на этом несчастном деревце. Мы сегодня же вернемся в деревню.

Мерджан подошла к низкой, подкрашенной бурой краской двери, открыла ее. Потом поставила чайник на керосинку. Я стоял возле двери и не хотел входить, потому что комната у Мерджан была низкая, темная, без окна, потому что двор тоже был темный и грязный, потому что тетя обманула меня,— на гранатовом дереве не было ни единого цветка.

Но тетя Медина сняла возле двери свои нарядные туфли и как ни в чем не бывало вошла в эту мрачную конуру. Она даже похвалила салфетку на самоваре — оказалось, что Мерджан купила ее совсем недавно; взглянула на фотографии, развешанные по стене, потрогала посуду в нише. Мало того, тетя Медина подошла к зеркалу и стала вертеться перед ним: поправила волосы, пригладила пальцем брови, даже повернулась спиной к нему, пытаясь через плечо оглядеть свою спину.

Потом мы пили чай на чистом сером брезенте, который Мерджан стелила вместо паласа. Я сидел и думал: когда же мы пойдем домой? Мерджан и тетя Медина толковали о том, как быстрее поступить на завод, о том, что Мерджан сегодня же поведет ее устраиваться, а я все еще не терял надежды на возвращение. Ничего меня теперь не пугало в деревне: пусть Якуб приходит хоть каждый день, пусть соседки говорят, что хотят, пусть Садаф не здоровается с нами — пусть! Зато дом наш стоит на горе, а позади него сад, а перед домом розы... И ягоды на тутовнике уже начали белеть, и черешня налилась соком. Ну вставил он нам стекла, перекопал огород, но ведь дом-то наш, и нигде на свете нет больше такого дома!..

Тетя не замечала ничего, она оживленно болтала, с удовольствием пила чай, громко дула в блюдечко, но все

равно я не верил, что мы останемся. Мне даже казалось, что тетя потому и весела, что у нас есть свой дом и нам не нужно оставаться у Мерджан, где такой темный грязный двор, такие высокие стены, а на гранатовом дереве — ни одного цветочка, только серые, запыленные листья. Мы можем сегодня же вернуться домой: снимем с двери замок, я сразу полезу за черешней, а тетя заберется на стену и нарвет себе тутовых ягод...

Напившись чаю, тетя опять немножко повертелась перед зеркалом, опять поглядела на фотографии и опять похвалила салфетку. Потом она вышла на айван и вернулась очень довольная. Я узнал, что мы остаемся, жить будем здесь, в полутемной комнате Мерджан или в любой другой каморке: прибрать немножко, и располагайся.

Но прибирать и располагаться не пришлось: Мерджан не разрешила селиться нигде, кроме как у нее. За вещами она тетю не пустила — слава богу, одеяла с подушками найдутся. Потом тетя и Мерджан ушли на консервный завод, оставив меня в комнате. Вернулись они довольно скоро и все время смеялись, потому что им удалось провести какого-то болвана из болванов и устроить тетю на работу. Мерджан сказала, что в таком деле без хитрости не обойдешься и что вообще с мужиками только так и можно. А вечером, когда погасили свет, она долго рассказывала тете Медине, как устраивалась работать продавщицей. В ее рассказе тоже был болван из болванов — заведующий райторгом. Целый месяц морочил голову — все хотел, чтоб вечерком пришла. Осточертела ей эта волынка, плюнула она, разрядилась в пух и прах, как на свадьбу, и заявилась к нему. Ну, потешила она свою душеньку, такое ему, голубчику, отчубучила — сегодняшние штучки ерунда по сравнению с тем! Я, конечно, не мог понять, какие такие штучки имела в виду Мерджан, но еще больше меня занимало другое: если заведующий райторгом обманщик и болван из болванов, зачем же она каждый день посылает ему по четыре кило белого хлеба... Мерджан рассказывала, как провела заведующего райторгом, а тетя Медина слушала и так беззаботно, так легко смеялась, словно не было ни этой отвратительной душной каморки, ни нашего светлого дома, который мы бросили...

В тот вечер тетя и Мерджан долго еще толковали о мужчинах: о тех, которые были болванами из болванов, и о тех, которые не были болванами. Мерджан рассказала тете, что ее уже несколько раз приходили сватать — при

хлебе состоит, желающие найдутся. Только все эти женихи болваны из болванов — хоть бы один был на мужчину похож. Про Губата Мерджан сказала, что и он не лучше других, хотя еще до хлеба вокруг нее увивался. О Якубе не было сказано ни слова, но я сам, нимало не колеблясь, определил его в болваны из болванов. В этот вечер я пришел к твердому выводу: у каждой женщины есть своя песня, вроде той, тетиной; песня эта с детства, со школьных лет живет в женском сердце, и, когда приходит пора выходить замуж, женщины вдруг вспоминают ее. Вспоминают и уже не хотят выходить ни за Мукуша, ни за Якуба, ни даже за Губата.

Не знаю, сколько дней томился бы я в этом темном дворе, если бы однажды вечером, вернувшись с работы, тетя не объявила, что с завтрашнего дня будет брать меня с собой. Я не знал, когда мы ушли из деревни, сколько раз с тех пор всходило и заходило солнце, но в тот вечер, когда тетя заявила, что теперь я не буду пропадать с тоски, я совершенно честно мог сказать, что давно уже не скучаю. Я больше не думал о деревне, не мечтал о том, чтобы влезть на ограду и, дождавшись, когда появится Якуб, пробить ему камнем голову. Я тихо сидел возле двери и ждал, когда возвратится с работы тетя. Ждал я и Губата: он будет рассказывать о военкомовском жеребце и о том, что сегодня случилось на базаре. Потом придет Сурат, она обязательно погладит меня по голове, легонько потянет за нос и, засмеявшись, быстро взбежит по лестнице. Бабушку Байханум тоже интересно ждать: она поднимется на верхний айван, развернет джанамаз с молитвенными принадлежностями и, обратив лицо к небу, будет долго разговаривать с богом...

Тетя Медина сказала, что с завтрашнего дня я буду весь день проводить в садике против завода; садик очень красивый, и рядом шоссе, машины идут туда-сюда, все-таки не так скучно... И неподалеку детсад, ребятишек водят гулять, с ними мне будет совсем хорошо. А в перерыв она станет приносить мне еду из столовой: там, в садике, и пообедать можно. По крайней мере, у нее теперь кусок не будет застревать в горле: ешь и знаешь, что дома ребенок голодный... Тетя была довольна, но я не больно-то обрадовался: очень уж боялся, что опять не окажется ни сада, ни ребятишек... Ведь в той сказке про гранатовое дерево, которую я написал на вырванных из тетради листочках, тетя по имени Медина один раз уже обманула

мальчика по имени Садык, сказала, будто гранатовое дерево все в цвету, и цветов не оказалось. Садык обиделся и убежал в горы. Там, в горах, гранатовые деревья и правда были все в алом цвету и Садык спрятался от тети в их цветущих ветвях. Она облазила все горы, разыскивая Садыка, да так и не нашла — гранатовые деревья не сказали ей, где он прячется, пусть поплачет: другой раз не будет обманывать.

Но сад был. И деревья были: и персиковые, и миндальные, и ореховые. Правда, на миндальном дереве все завязи были уже обобраны и ветви поломаны, но другие деревья пока еще никто не трогал — персики и орехи не станешь есть недоспелыми. Консервный завод был на краю города. Широкая асфальтированная улица, тянувшаяся от самого базара, вернее, от садика за базаром, где в окружении молодых сосенок стоит бронзовый Ленин, здесь, у завода, переходила в шоссе и спускалась вниз к вокзалу. Завод был обнесен длинным деревянным забором, и там, где он кончался, от шоссе ответвлялась дорога, по которой шли машины в нашу деревню.

Заводской забор такой высокий, что из садика мне видна была только большая черная труба. И еще одна — совсем тонкая; перед обеденным перерывом эта труба начинала громко гудеть, как гудят паровозы на вокзале, и из нее клубами валил густой белый пар. Открывались большие ворота, и улицу заполнял поток женщин в белых халатах. Вместо туфель на них были деревяшки с ремешками, и как только работницы выходили на асфальт, не было слышно ничего, кроме деревянного стука подошв. Выйдя из ворот, женщины разделялись на группы: одни шли в садик поваляться на теплой траве, другие торопились в чайхану, присаживались там за столики и, развернув узелочки с едой, принимались закусывать.

Наконец в воротах показывалась тетя. Она улыбалась мне и концом своей марлевой повязки прикрывала миску с едой. И каждый раз небольшой щупленький человечек, стоявший возле ворот, заглядывал в тетину миску; тетя сказала, что это у него такая работа. Мы усаживались где-нибудь под деревом и с удовольствием съедали суп. Потом тетя давала мне денег, чтобы я немного погодя сходил в чайхану. Самой ей никогда не удавалось попить чайку — едва мы успевали покончить с едой, длинная труба начи-

нала протяжно гудеть и тетя Медина, спрятав под платок пустую миску, торопилась к воротам. Теперь, в конце перерыва, деревянные подошвы девушек стучали еще громче, еще дробней, садик пустел, заводские ворота закрывались. В чайхане тоже становилось просторно, но пить чай я не шел — я копил деньги.

До самого вечера, до конца рабочего дня бездельничал я в садике против завода. А по другую сторону шоссе у заводских ворот томился бездельем невысокий худой человек. Он был обязан заглядывать в тетину миску, я — сидеть в садике и не трогаться с места. Да я и так никуда не уходил, только разве прятался, когда мимо проносились машины из нашей деревни. Я не хотел, чтобы меня видели: очень уж жалок был я здесь, у дороги.

Вдалеке, за вокзалом, часто пробегали поезда. Я глядел им вслед и думал о том поезде, на котором ехала в Баку Сурат; мне почему-то казалось, что, весело посвистывая, мчится где-то этот поезд по черным рельсам и уносит с собой в темноту неясное отражение Сурат... А может, Губат и правда конюх, может, правда, что, кроме него и военкома, никто не смеет подойти к жеребцу... А где, интересно, райторг и кто он, этот человек, который хотел затащить Мерджан к себе в комнату?.. И почему она каждый день посылает ему белый хлеб, по целых четыре кило?.. Интересно, черешня уже сошла или есть еще? Воронята, наверно, уже вылупились... А как там у нас в огороде? Сколько он насажал огурцов, помидоров, все уже давно созрело... Садаф скорей всего у отца, а может, и вернулась. Гоняют, гоняют ее взад-вперед: муж к отцу, отец к мужу...

Я сидел в садике и думал. За день я успевал передумать о стольких вещах, что скучать мне было некогда и я не замечал, как проходил день. Гудел гудок, и на улицу выходили женщины; теперь на них уже не было халатов, и деревяшки с ремешками оставались лишь на тех, у кого не было другой обуви. Мы проходили мимо базара, потом мимо статуи Ленина, сворачивали в узкую улочку, потом еще в одну; по утрам мы проделывали этот путь в обратном направлении.

Как-то раз, проходя утром по базарной площади, я попросил тетю оставить меня здесь, возле базара. Она согласилась, только предупредила, что по гудку я должен быть

на своем месте. И еще: если я вдруг повстречаюсь с Якубом, ни в коем случае не рассказывать, где мы живем.

Якуба я на базаре не встретил, и мне не пришлось утаивать от него наш адрес — Якуб явился к нам прямо домой.

Мы с тетей недавно пришли. Мерджан еще не возвращалась с работы. Сурат, вполголоса напевая песенку, варила, как всегда, что-то вкусное, и весь двор был наполнен ароматом, поднимавшимся из ее маленькой кастрюльки. Губат тоже готовил себе ужин. Доверху заложив картошки в тот самый котелок, в котором по утрам варился хашил, Губат поставил его на керосинку и, прихрамывая, расхаживал по айвану; впрочем, он ни на шаг не заходил дальше столба, который стал пограничным с тех пор, как поссорился с Мерджан. Тетя Медина толковала с ним о войне, о том, как нам всем довелось голодать, как променяла на хлеб полдома; Губат говорил о вещах, которые за войну продал... Тут появился Якуб. Пригнув голову, словно потолок был слишком низок для его роста, он приближался к нам; тетя, не повернув головы, продолжала рассказывать, как отдавала хлеборезу Хамзе в обмен на хлеб стропила: она, казалось, не замечала гостя, почему — Губат не понял, и повозившись еще какое-то время над керосинкой, скрылся в своей каморке.

Якуб остановился против двери, поглядывая, куда бы присесть: на айване ничего такого не было, а табуретку тетя выносить не собиралась. В руках у него был пакет с пряниками; пряники падали из прорвавшегося пакета, и он не знал, куда его деть. Тетя стояла, отвернувшись, я опустил голову, набычился и твердо решил ни слова не отвечать Якубу... Он осторожно положил пряники на пол у столба, несколько раз кашлянул... Потом сердито посмотрел на меня, на тетю, на табуретки в комнате Мерджан и очень громко сказал:

— Я пришел за вами!

Тетя молча стояла у столба.

— Я пришел за вами,— повторил Якуб.

Тетя подняла голову и взглянула ему прямо в глаза: мне показалось, что сейчас она скажет: «Убирайся». Наверное, Якуб подумал то же.

Но тетя не сказала: «Убирайся!»

— За нами? — спросила она.— Стоило ли затруднять себя?..

— Что значит «затруднять»?! Наджаф для близкого

человека никаких трудов не жалел, а если я об его сестре забочусь — затрудняю себя? Слава богу, не все еще родичи в могиле, чтоб сестра Наджафа по чужим дворам скиталась!..

Скривив толстую красную шею, Якуб поглядел на картошку, варившуюся в Губатовом котелке. Тетя тоже взглянула на картошку, потом на Якуба, и мне так захотелось, чтобы она сейчас же, немедленно выложила ему все.

— Уходи, Якуб,— сказала тетя Медина.— Уходи. А люди здесь нисколько не хуже тебя.

— Пускай не хуже! Пускай лучше! Но не могу я допустить, чтобы сестра моего друга, брата, жила бог знает где! Бросить дом — в саду чуть ветки не ломятся — и на заводе копейку добывать! Что у нас, есть нечего?! Ступай в амбар и бери что душе угодно! Слава богу, ключи в наших руках! И все спокойны бы были, знали бы, что честь Наджафову сберегли...

— А кто это тебя просил Наджафову честь сберегать? — с усмешкой спросила тетя.— Если уж такой заботливый, о жене своей позаботься — только и знаешь синяки подставлять! А насчет сада, огорода — они мне ни к чему. Сажай себе, продавай, ешь — слова не скажу. Можешь и дом взять — хоть на слом! А меня, Якуб, оставь в покое — ничего у нас с тобой не получится!

— Почему? Что я тебе сделал плохого?

— Плохого не делал. Только мне от тебя и хорошего не надо!

— Я тебя здесь не оставлю, поняла?!

— Ты?! Да я тебя знать не знаю!

— Зато я твою хозяюшку хорошо знаю!

— Знаешь? Что ж, с тобой сравнить — чистый ангел!

— Еще бы! На весь район чистотой прославилась!

— Сплетни собираешь? Или своими глазами видел?

— У меня уши есть!

Я поднял голову и взглянул на его уши: действительно есть, как это я их прежде не замечал. Тетя отошла от столба, взяла ведро, вылила из него воду в стоявший на керосинке чайник и с ведром в руке остановилась перед Якубом.

— Уши твои при тебе,— сказала Медине,— скоро и обо мне такое услышишь! А теперь убирайся! Тебя сюда не звали!

Не доходя до ступенек, она тут же, возле Якуба, спрыгнула во двор и, громко позвякивая ведром, пошла к

колодцу. Несколько секунд Якуб стоял, растерянно озираясь по сторонам, потом резко повернулся и быстро зашагал через двор. И когда тети уже не было видно, он приоткрыл дверь с улицы, сунул в нее голову и крикнул:

— А этого гада я все равно прикончу! В нашем роду никто не терпел бесчестья!

Дверь за Якубом захлопнулась. И сейчас же снова отворилась — во дворе показалась Мерджан. Когда тетя принесла воду, Сурат, свесившись через перила, спросила, что это за скотина здесь орала. Ответить тетя не успела, потому что Мерджан, снимая с головы платок, сказала, что из нашего двора только что вышел парень — сдохнуть можно! Стащить с него чарыки да нацепить галстук — почище министра будет! Сурат сказала, что загнать бы такого министра в угол да палкой по башке, чтоб знал, как с женщинами разговаривать. Они, как всегда, заспорили: Мерджан утверждала, что грубость в мужчине — не главный грех, а Сурат доказывала, что это вообще не мужчина, если не уважает женщину. Тетя в споре не участвовала, сказала только, что Якуб наш очень дальний родственник, что хуже не найдешь в деревне человека и что, если бы Мерджан видела его жену, которую он вогнал в чахотку, она заговорила бы по-другому.

Спор о Якубе был недолгим, но пряники его долго еще лежали возле столба. Губат ничего не спросил о нем, и только дня через три, когда мы остались одни, он вдруг сказал, усмехнувшись:

— А этот твой земляк — порядочная скотина! Ты заметил — даже не поздоровался, как пришел!..

Через несколько дней Якуб появился возле базара, тенью надвинулся на меня и сунул мне в руку вырванный из тетрадки листок.

— Тете отдашь! — сказал он. И сердито добавил: — Бездельничаешь, лоботряс! Семечками бы лучше торговал!

Передавать тете письмо я не стал: там говорилось, что она променяла наш род на хромого калеку; хромым калекой был, конечно, Губат, а про Губата все знали, что он любит Мерджан и тетя Медина ему ни к чему. Якуб писал, что будет содержать тетю, как шахиню, что он целых пять жен может содержать, как шахинь. Выходит, Садаф, которую он вогнал в чахотку, тоже шахиня, ведь

у нее в сундуке два десятка ненадеванных платьев и платки стопами лежат. И потом в письме говорилось, что дом и сад — это все Садыково, что свой дом она еще в войну загубила. Как я мог отдать тете такое письмо?.. Я прочитал его, разорвал на мелкие клочки, бросил в арык и с удовольствием стал наблюдать, как вода уносит бумажки...

А вот насчет семечек Якуб сказал правильно. В тот же день я взял мелочь, которую накопил, складывая в баночку то, что тетя давала мне на чайхану, добавил три новеньких рубля, что подарила мне Мерджан, и купил у чайханщика щербатый треснутый стакан. Мешка у меня не было, но на свалке позади завода я нашел большую жестяную банку.

Несколько дней я скрывал от тети свои торговые операции — по гудку я всегда был на месте, банку с семечками оставлял возле будки под присмотром сапожника дяди Селима. Но долго так продолжаться не могло — тетя узнала про семечки. Узнала и не рассердилась, сказала, это ничего — по крайней мере, ребенку есть чем заняться. Она даже сшила мне торбочку; я высыпал туда подсолнухи, а жестянку забросил на свалку, туда, где она валялась раньше.

...Брось, Садык, не надо грустить, забудь ты свою деревню!.. Смотри, как кругом хорошо: солнце только-только легло на дорогу, на него еще никто не наступал, и мусора нигде нет, и вода в арыке чистая, прозрачная...

А послушай, какая тишина... Ты ведь любишь, когда тихо. Конечно, женщина эта орет что есть силы, но ты не обращай внимания. Пусть себе разоряется: «...Руки вверх, ноги врозь... Вздохнем поглубже...» Руки вверх, ноги врозь — это тебе ни к чему, а вот вздохнуть поглубже — хорошо!.. Дыши, Садык, дыши, пока можно, видишь, асфальт тоже старается дышать поглубже...

Лавка еще на замке: «Продовольственный магазин», «Керосин», «Промтовары»... А чайхана уже открыта, водоносы таскают воду; они носят ее на крепких палках — по четыре ведра сразу; ведра раскачиваются туда-сюда, туда-сюда... Водоносы ставят их у дверей, выпрямляются и расправляют плечи, стараясь захватить побольше воздуха...

Огромный медный самовар, что стоит перед чайханой, пока еще дышит легко. Скоро появятся первые посетители, и он закипит, задыхаясь. Смотри, Садык, не проворонь свое счастье, зазеваешься — хорошие семечки разберут, оставят тебя в дураках...

А солнышко уже подбирается к будке дяди Селима. Скоро появится и он сам. Ну скажи, Садык, зачем тосковать, когда у тебя есть такой друг? Ведь если дяде Селиму удастся выручить сегодня на мясо, он будет шутить без конца. Какие истории он тебе расскажет — одна забавнее другой!.. А раз у дяди Селима будет на ужин мясо, он обязательно принесет завтра кости, завернутые в тряпицу, и отдаст их черному псу. «Так-то, псина,— скажет дядя Селим, погладив собаку,— выходит, и правда надо было лаять...»

Собаки давно уже собрались возле пекарни. Три из них — обычные уличные попрошайки; этих дядя Селим не любит, хотя, конечно, не так, как мясника Али, который выгнал на улицу черного пса. Мясник выменял эту собаку у пастуха, отдал за нее овцу, а когда в дом забрались воры и унесли ковер, пес и не подумал лаять; Али выгнал собаку...

Вот он идет, тянет за собой на веревке сытую рыжую корову. Сейчас отведет ее в дальний конец базара под ореховое дерево, свяжет ей ноги, свалит и из коровьего горла фонтаном брызнет кровь. Красная-красная... Потом Али разрубит корову на куски и будет продавать ее мясо. И если дяде Селиму повезет сегодня, он купит фунт этого мяса. И наутро черный пес будет грызть кости... А под ореховым деревом долго будет стоять лужа густой черной крови — все, что останется от рыжей коровы...

Базар постепенно оживает: несут фрукты, овощи, зелень... Их тащат в ведрах, в перекинутых через плечо хурджинах... Сейчас появится Сафтар со своей скамеечкой. Сядет, разложит щетки и будет терпеливо ждать. Один за другим к базару начнут с грохотом подъезжать грузовики, и из кабинок будут не спеша вылезать председатели колхозов. Каждый председатель обязательно подойдет к Сафтару и поставит ногу на скамеечку, и тот, постукивая щетками, станет до блеска начищать запыленные черные сапоги.

Чем больше он почистит сапог, тем больше заработает. Если утро окажется удачным, Сафтар побежит на базар,

принесет два больших лаваша, пятьдесят граммов меду, пятьдесят граммов масла и долго будет отмывать в арыке перемазанные ваксой руки. И только после этого примется за еду. Если же Сафтару не повезет и придется довольствоваться хлебом и солью, он ни за что не станет мыть руки.

Ты бы, Садык, хотел, чтоб Сафтар всегда ел на завтрак мед с маслом? И чтобы у дяди Селима каждый вечер было мясо и чтобы он каждое утро приносил черному псу кости? Это, конечно, было бы замечательно. Но ничего... Даже если сегодня Сафтару не повезет, ты все равно не огорчайся. День на день не приходится: завтра, глядишь, он опять будет мыть в арыке перепачканные ваксой руки... И дядя Селим тоже: сегодня не хватило на мясо, завтра хватит. Так что не огорчайся, Садык, не из-за чего тут огорчаться...

Собаки уже отошли от пекарни, бегут сюда, к базару. Господи боже мой, ну почему ты всегда такой грустный, псина? Скучаешь по родным горам? Или стыдишься бегать по улицам с попрошайками? А какой же ты безответный? Ведь ты должен бы ненавидеть мясника: он сманил тебя с гор, а потом выгнал на улицу! Цапнул бы его как следует, пусть знает, как пинать собаку, попрекать ее каждый раз этим проклятым ковром!

Ничего, Садык, не так уж все плохо, скоро Губат поведет в кузницу военкомовского жеребца, а может, просто так зайдет к тебе посидеть рядышком, посмотреть на хлебную лавку. Ты угостишь его семечками, но Губат не притронется к ним. «Товар для продажи»,— солидно скажет он. Зато, если подойдет покупатель, Губат с удовольствием насыплет семечки в стакан. Вот если бы все покупатели приходили за семечками, когда Губат сидит рядом! Губат протягивает тебе рубль, взяв его у покупателя, а лицо у него такое, словно он дает тебе тысячу. И тебе до смерти хочется, чтобы Мерджан выглянула из лавки, а еще лучше — прошлась бы по базару. Ты бы не возражал, если б она сто раз на день проходила мимо тебя: возьмет из мешка горсть семечек и идет себе поплевывает... На ней белый платок, желтое шелковое платье, а в руках ключи: звяк-звяк... И пусть мясник Али смотрит на нее, скалит желтые зубы и кланяется ей униженно, как кланяется тем, кто носит шляпы и галстуки. Да можно ли тосковать, когда ты то и дело видишь, как этот громила заискивает перед Мерджан?..

Не надо, Садык, не скучай. Скоро загудит гудок, ты вскинешь на плечо торбу с семечками и побежишь к заводским воротам. Вы сядете с тетей под деревом, она накрошит в суп хлеба, и ты будешь есть: и суп съешь и хлеб. Потом ты опять усядешься возле будки дяди Селима, а он будет латать башмак и рассказывать тебе и черному псу про свою молодость. А потом вы с черным псом побываете далеко-далеко в горах; там много гранатовых деревьев; они пьют родниковую воду и цветут алым цветом... Черный пес будет сражаться с огромными волками, и ты будешь кормить его свежим мясом. Дяде Селиму ты будешь каждую неделю присылать по барану, чтобы он всегда был веселый. А если поедешь в город, на тебе непременно будут высокие черные сапоги: Сафтар в этот день сможет побольше заработать. С мясником Али ты расправишься запросто: подойдешь, одним ударом опрокинешь на землю, залитую бычьей кровью, и будешь долго бить его сапогами... Бездельники, прохлаждающиеся возле арыка, тоже получат свое: наподдашь сапогом под зад и в арык, будут знать, как пялить глаза на голоногих детдомовских девчонок! А потом наступит твой самый главный день: громыхая черными сапогами, ты не спеша поднимешься по белой лестнице, откроешь ту самую дверь, в которую болван из болванов хотел затащить Мерджан, и убьешь этого болвана из болванов. Ты ведь уже понял, почему Мерджан каждый день посылает ему четыре кило хлеба...

Теперь вечера в нашем дворе проходили гораздо веселей. У меня появились свои деньги, и каждый раз, когда Мерджан садилась подсчитывать выручку, я устраивался возле нее.

Мятые грязные рубли я менял у Мерджан на новые, чистенькие. Обменивать рубли на десятки или тем более на тридцатки я не хотел, тогда у меня оказалось бы всего несколько бумажек, а так целая стопка. Каждый день к ней прибавлялось совсем немного, но я заново пересчитывал все свои деньги и делал это неторопливо, со смаком раскладывая бумажки подальше одну от другой; так их казалось больше.

Я складывал и раскладывал рубли, а тетя Медина сидела напротив у стены и не отрывала от меня глаз. То ли ей приятно было видеть, что я наконец нашел себе какое-то занятие, то ли, глядя на меня, она раздумывала о своем... Последнее время она вообще очень много думала, сядет

вот так, опершись о стену, и думает, глаза у нее усталые и счастливые...

Может быть, это потому, что Якуб наконец оставил ее в покое, хотя в это и трудно поверить. Но это так — достаточно было тете один раз пройти мимо базара без чулок, чтобы Якуб отвязался от нее. Через несколько дней он поймал меня на площади, долго ругал за то, что я допустил подобное бесстыдство, а под конец назвал бабой и плюнул мне в лицо. Он, конечно, понятия не имеет, что тете Медине просто нечего надеть, что чулки, которые дала ей Мерджан, давно уже продрались и что Мерджан обещала обязательно раздобыть чулки и себе и ей, как только их привезут на склад. Очень даже возможно, что чулки скоро привезут и тетя появится на улице в новых чулках, но ведь Якуб этого не знает. С Якубом покончено — я понял это, когда он назвал меня бабой и плюнул мне в лицо. Он потом и через людей передавал тете, что не считает себя больше нашим родственником...

А может быть, тетя вовсе и не о Якубе думает, а о русском?.. Несколько дней тому назад, погасив свет, тетя долго шепталась о нем с Мерджан. В конторе заболела уборщица, и этот русский, главный механик завода, попросил тетю прибрать у него в квартире. Тетя рассказывала об этом взахлеб; во-первых, ключи от квартиры он доверил не кому-нибудь, а ей; во-вторых, это такой порядочный человек — ни разу даже дверь не открыл, пока она убирала. Но это еще что! Вытирая пыль, тетя уронила на пол зеркало, большое, красивое зеркало в деревянной оправе; оно разбилось. И, подумать только, на следующий день, увидев тетю в конторе, этот человек ни словом не попрекнул ее, наоборот, даже улыбнулся. Уборщица давно уже вышла на работу, а он каждый день дает тете ключи. И все для того, чтобы она не подумала, будто он сердится. «Ну скажи, Мерджан, кто из наших может так поступить?..»

Мерджан сонно бормочет что-то, мне кажется, она не слушает, а думает о своем. Но я-то думаю об этом, я вспоминаю, как, наливая отцу чай, бабушка уронила стакан; стакан разбился, отец долго кричал на нее, не поднимаясь с паласа, а старенькая бабушка, у которой никогда не было башмаков, потому что она не зарабатывала на хлеб, молча смотрела на него и испуганно моргала глазами. Я и сейчас вижу ее глаза. И острый подбородок Мукуша. Как же он злился, когда тетя разбила миску! Кричать на тетю Мукуш побоялся, знал, что тогда она разобьет и вторую,

10*

и третью, и четвертую миску, он только тяжело дышал, и подбородок у него дрожал от злости. А Садаф, которая живет, «как шахиня»? Разве ей простят, если она разобьет чашку? Одну, может, и простят, но уж за другую обязательно поставят синяк... Это-то все я видел, знаю, а вот зеркало, большое красивое зеркало, которое разбила тетя, и того русского, который улыбался вместо того, чтоб ругать ее, мне очень бы хотелось увидеть. Но только не надо, чтоб тетя целыми вечерами думала о нем. Почему не надо, я не знаю. Скорей всего потому, что водка для русских — бог, ведь говорит же Якуб, что ради такой гадости они готовы ходить перед любым на задних лапках. А Губат еще говорил, что они не делают обрезания...

Губат и Мерджан помирились. Пограничный столб потерял свое прежнее значение, и после ужина Губат каждый день приходил к нам поболтать. Но это так только говорится — поболтать: при Мерджан он и рта открыть не решался. Помолчит, помолчит и уйдет, так и не сказав ни слова. Иногда перед тем, как идти к нам, Губат выпивал для храбрости и потом нарочно гремел табуреткой, громко говорил, даже закуривал, хотя терпеть не мог табака,— он считал, что Мерджан ценит в мужчинах развязность. Как-то раз, осмелев от отчаяния, он вдруг на весь двор крикнул Сурат:

— Эй, женотдел, чего своим делом не занимаешься?! Сосватала бы меня за Мерджан!

Мерджан сначала сделала вид, что не слышит, а потом повернулась к Губату и издали показала ему фигу.

— А это видал?

Губату уже нечего было терять.

— Ни черта — все равно моей будешь!

— Всю жизнь о хромом мечтала!

— Хромой — полбеды!— крикнул Губат, решив, видимо, не обижаться.— У других и ноги целы, да башка не работает! — И добавил уверенно: — Не за кого тебе идти-то, все равно мне достанешься!

Время от времени Губат затевал такие разговоры, но всегда только издали, отойдя на приличное расстояние. Стоило ему приблизиться к Мерджан, у него сразу отнимался язык. И все шло по-прежнему: Сурат рассказывала по вечерам о женихе, а мы с Губатом смотрели «кино».

Сурат теперь все чаще заговаривала о свадьбе, и мне хотелось, чтобы свадьба обязательно была в нашем дворе.

Вот только как быть с бабушкой Байханум: ведь ни один из ее сыновей не вернулся с войны. А может быть, вообще не надо свадьбы? Ни зурны, ни барабанов... Ведь тетю Медину вели к Мукушу под громкие завывания зурны, а ничего хорошего не получилось...

Однажды утром, придя на свое место возле базара, я узнал от дяди Селима, что вчера вернулся из армии один старший лейтенант. Потом появился Губат и сообщил, что этот демобилизованный не кто-нибудь, а жених нашей Сурат. Оказывается, Губат знает этого парня, знает даже, где он живет. Он показал мне красивый дом в самом центре города и, возбужденно блестя глазами, сказал, что не сегодня-завтра нашу Сурат с музыкой привезут в этот дом и тут уж муженек с ней «рассчитается». Не переставая поглядывать на дверь хлебной лавки, Губат подробно описал мне, какой красавец жених нашей Сурат: широкоплечий, ладный... Потом стал рассказывать о свадебной ночи, о том, как новобрачных отведут в спальню, а женщины в красных платьях будут стоять под дверью и ждать, когда жених «рассчитается» с невестой... Губат хлопнул меня по плечу и сказал с сожалением:

— Да брат, кончилось наше «кино»!

Мне не терпелось поглядеть на счастливое лицо Сурат, и я ушел домой, не дожидаясь закрытия базара. Однако Сурат дома не оказалось, «кино» в этот вечер мы не смотрели. На следующий день оно тоже не состоялось; я не видел Сурат ни утром, ни вечером. Четыре дня подряд она приходила домой намного позднее обычного и молча поднималась к себе.

Утром она так же молча спускалась вниз и сразу убегала куда-то. Все эти дни она никому не сказала ни слова, только громко хлопала калиткой: и когда уходила, и когда приходила домой. Наконец как-то вечером, кажется, это было на пятый день, Сурат неслышно, как тень, вошла в нашу комнату. Она долго стояла перед зеркалом, разглядывала свое лицо, словно после тяжелой болезни впервые поднялась с постели. Вытерла платочком красноватые опухшие глаза, пригладила брови, потрогала пальцем губы и только после этого взглянула на тетю.

— Задурили ему голову,— сказала Сурат совсем тихо и села на пол у стены так же, как и тетя, опершись о нее спиной.

И я вдруг увидел под ее нарядным шелковым платьем обычные голубые штаны. Такие, как носят у нас в деревне. Мне не раз приходилось их видеть, когда женщины наклонялись над арыком, споласкивая посуду. И Сурат показалась мне самой обычной, самой заурядной женщиной, ничего таинственного в ней уже не было. Поезд, который вез Сурат на женскую конференцию в Баку, остановился, и на дорогах, по которым, весело посвистывая, мчался он столько лет, стало вдруг очень тихо...

И вдруг в мертвой тишине комнаты послышалось встревоженное гудение шмеля: каким-то образом он залетел сюда и теперь никак не мог выбраться. Сурат заплакала и начала рассказывать, как мать и сестры жениха оговорили ее перед ним. Мать заявила, что порядочная девушка не пошла бы работать в райком; младшая сестра сказала, что, если бы Сурат хоть чего-нибудь стоила, ее бы уже давно засватали, а старшая сестра, эта ведьма, эта змея, эта старая морщинистая обезьяна — она кассиршей работает в бане,— наплела, будто видела, как Сурат с мужчинами в баню ходила; сама, мол, своими руками билет ей давала... А у парня еще тетка есть, ей дочку пристроить нужно, она тоже молчать не стала...

Когда же Сурат медленно, так же как спускалась, поднялась к себе наверх, Мерджан заявила, что все ее рассказы — ерунда и дело совсем не в этом. Прошлое лето Сурат купаться ездила на Севан с артистами из Дома культуры. И чего ее угораздило в такую даль ехать! Но это еще ладно, главное, говорят, пила она там с мужчинами, лишнее себе позволяла. Ее вроде даже из райкома тогда хотели выгнать, да пожалели — сирота. Жених как приехал, ему тотчас же все и доложили — приятель в райкоме работает — ну, тот сразу отбой, знать, мол, ее не знаю.

«Кино» в этот вечер состоялось, но это уже совсем не было похоже на «Аршин мал алан». И Сурат уже была не Гюльчехра, а самая обычная женщина, которая носит обычные голубые штаны... И она долго плакала, стоя у окна...

Много дней плакала Сурат у своего окна. Потом Губат сказал, что суженый нашей Сурат женится на своей двоюродной сестре, а Мерджан принесла еще одну новость — жениха Сурат назначили председателем горсовета. В ту же ночь я в своих больших черных сапогах вошел в нарядный цветник, поднялся на второй этаж кра-

сивого двухэтажного дома, который называется горсоветом, схватил болвана из болванов за ворот и вышвырнул на улицу. «Кино» кончилось, но темная тень Сурат навсегда осталась на стене.

Как-то утром, когда я торопился на базар, чтобы захватить семечки получше, Губат подозвал меня.

— Смотрел вчера? — спросил он, садясь на своей скрипучей кровати.

— Нет,— ответил я.— Я больше не смотрю.

На этот раз Губат мне поверил. Он притянул меня к себе и шепнул:

— Сегодня всю ночь не спала... Свадьба у них, девчонка чуть руки на себя не наложила. Платком удушиться хотела...

Он зевнул и снова улегся.

— Я тоже не буду смотреть! — сказал он и отвернулся, сердито натянув на голову одеяло; я знал, что Губат не врет.

3

До начала учебного года оставалось еще порядочно, когда тетя сходила в деревню, принесла справку об окончании мной пяти классов и отдала ее в школу номер один. Школа эта находилась недалеко от центра, по дороге от базара к заводу. Сразу за ней поднималась высокая белая стена, окружавшая детский дом.

За четыре дня до начала учебного года тетя запретила мне заниматься семечками. Я изнывал от скуки: слонялся по базару, бродил вокруг завода и от нечего делать несколько раз ходил смотреть на красивый богатый дом, который показал мне Губат. В этом доме жил тот самый парень, который не отрывая глаз разглядывал когда-то в окне отражение Сурат, а потом написал ей записку: «Образ твой я буду вечно хранить в сердце своем»; теперь он был «горсовет», известный всему городу товарищ Джалилов.

Я еще с первого класса считал, что первое сентября праздник, большой праздник, вроде новруз-байрама. Разница лишь в том, что к новруз-байраму готовится вся деревня: моют, чистят, стирают, а перед началом учебного года предпраздничная горячка охватывает одну тетю Ме-

дину. Во всяком случае, ни от кого, кроме нее, я не слышал выражения «сентябрьский праздник». Накануне первого сентября она всегда мыла меня, надевала чистые свежезалатанные штаны, чистую-пречистую рубаху и, посадив на большой плоский камень, старательно подстригала мне ногти на руках и ногах. Потом тетя брала длинную жердь и шла сбивать айву или персики, чтобы дать мне их завтра в школу; лазить по деревьям мне в этот день было запрещено — не дай бог запачкаюсь или порву рубаху...

Накануне первого сентября тетя отпросилась с работы пораньше. Нагрела на керосинке воды и, весело блестя глазами, принялась стирать мои штаны и рубашку. К вечеру они высохли, и тетя упросила Губата сводить меня в баню.

Утром, взглянув в зеркало, я остался доволен собой. Штаны на мне были на редкость искусно зачинены. Рубашка не просто чистая — глаженая, впервые в жизни я надел глаженую рубаху. Мерджан сунула мне в сумку четыре пряника, горсть конфет и сказала, что сегодня я очень славненький. Губат выглянул из-под одеяла и помахал мне рукой: «Желаим удач!» — по-русски крикнул он.

Двери школы, те, что выходили к базару, были открыты настежь, вся улица запружена школьниками. Черный пес сидел возле будки дяди Селима и с бесконечным удивлением разглядывал ребячью толпу. Радио на высоком доме со звездой громко рассказывало о школе, и, словно для того, чтобы поторопить ребятишек, время от времени играла веселая музыка.

Дядя Селим, зажав между коленей старый ботинок, прилаживал к нему заплату и рассказывал черному псу, что такое школа и зачем туда идут ребята. Я торопливо скормил псу два пряника, а пока пес жевал их, дядя Селим успел благословить меня и наказать, чтобы я хорошо учился. В дверях я обернулся, взглянул на дядю Селима и понял, что сейчас он рассказывает псу обо мне.

Каждое утро, как только на консервном заводе гудел гудок, к висевшему на айване школьному звонку подходил дежурный учитель с красной повязкой на рукаве; следом за нашим звонком раздавался звонок во дворе детдома. Учителя брали журналы и один за другим спускались с верхнего айвана; там оставалась лишь директор школы Фирюза-ханум. Она стояла, облокотившись о пе-

рила, и ждала, когда начнутся занятия; ее гладкие волосы блестели, розовое лицо лоснилось, как после бани, вежливая улыбка редко сходила с губ.

Если после звонка прибегал какой-нибудь запыхавшийся мальчишка, Фирюза-ханум делала ему внушение, чтобы это было в самый последний раз, и пускала опоздавшего на урок. Потом она уходила, и, пока не раздавался звонок на перемену, верхний айван оставался пустым.

В классном журнале моя фамилия стояла последней, и парту я себе выбрал тоже последнюю. Если бы я захотел, то мог бы сесть и поближе, но мне было все равно — во всем классе меня привлекала только одна парта, та, на которой сидела девочка по имени Хакикат, но место рядом с ней оказалось занятым. Хазер, сидевший рядом с Хакикат, был первым учеником, и я сразу понял, что ни по одному предмету мне не удастся его обогнать. Хазеру улыбались все учителя, и он страшно зазнавался. Я бы смирился с тем, что Хазер первый ученик, но уступить кому-нибудь улыбки учителей, которые столько лет были моей единственной и вполне заслуженной наградой, — это было выше моих сил.

Едва ли меня хватило бы надолго — сидеть на последней парте и вспоминать первую парту в старой школе, и старых учителей, и то, как они улыбались мне в школе, и на айване, и на улице. Всю осень, возвращаясь из школы, я пугал своим мрачным видом тетю Медину; могло случиться, что я просто бы забросил учебу, но однажды в наш класс пришла Фирюза-ханум. Мы только что кончили диктант. Фирюза-ханум подошла к моей парте, посмотрела в тетрадь и пошла вперед, заглядывая во все тетради. Потом снова вернулась ко мне.

— Как тебя зовут?

— Садык.

— Ну-ка, Садык, покажи мне твою тетрадь.

Она взяла тетрадь, развернула ее на том месте, где был написан сегодняшний диктант, и показала всему классу.

— Видите, ребята? Садык будет одним из лучших учеников нашей школы.

Она положила тетрадь на парту и погладила меня по голове. Как только Фирюза-ханум вышла, ребята, все как один, привстали с места и повернулись ко мне.

Прошло еще несколько дней. Сейяд-муаллим, преподаватель алгебры и наш классный руководитель, высокий сутуловатый человек, принес в класс стопку тетрадей.

— Садык! — вызвал он меня.

Я встал. Сейяд-муаллим спросил, как звали моего прежнего учителя по математике, а потом сказал, что я лучше всех выполнил домашнее задание: и задача и примеры сделаны правильно и без единой помарки. На перемене меня окружили ребята; даже кичливый Хазер признал теперь меня человеком.

То, чего я никак не хотел уступить Хазеру, я получил еще до конца первой четверти и великодушно простил ему все его остальные успехи и заносчивость. Только много позднее, зимой, я узнал, что Хазер ходит такой нарядный вовсе не потому, что его отец портной и умеет шить одежду, и важничает он вовсе не оттого, что у него по всем предметам пятерки, а оттого, что он родной брат «горсовета» Джалилова. По нескольку раз в день вызывали Хазера учителя, громко произнося эту фамилию, но лишь тогда, когда Хазер показал мне свой красивый дом, я сообразил, в чем дело.

Как-то после уроков Хазер отвел меня в сторону и предложил сходить «в одно место». Для этого, сказал он мне, нужно сначала купить на рынке орехов. Потом мы пройдем за школу к детдомовской стене. Там есть ворота, а под воротами — лазейка; Хазер свистнет, и в дыру пролезет Айша — девочка из детдома. Мы отдадим Айше орехи, а она даст пощупать ее.

Мы купили на базаре орехов, обошли вокруг детдома, Хазер свистнул, и в лазейке под воротами действительно показалась девочка. Девочка была плотная, коренастая, но лазила ловко, как кошка. Увидев меня, она замерла от неожиданности; сначала побледнела, потом вся залилась краской. Что касается Хазера, тот нисколько не растерялся, схватил девочку за руку, сунул ей орехи и стал тискать ее. Отпустив наконец Айшу, он позвал меня. Я не мог сдвинуться с места. Девочка постояла немножко, устремив на меня круглые от страха глаза, повернулась и шмыгнула в дыру под ворота.

Сначала Хазер поднял меня на смех, но, увидев, что я не в себе, спросил деловито:

— Чего струсил? Здесь же никто не ходит... Завтра придешь?

— Нет,— ответил я,— завтра я не приду.

Но завтра я снова пришел к лазейке и послезавтра тоже. Орехи мы покупали на мои деньги, но я ни разу не осмелился приблизиться к Айше.

Я сам не мог понять, как случилось, что красивые новенькие рубли, накопленные с таким трудом, я, не задумываясь, тратил на орехи. Я сидел на своей последней парте, смотрел на редкие тополя, возвышавшиеся над белой детдомовской стеной, видел перед собой испуганные глаза Айши и думал об одном: почему вместо тополей люди не посадили возле детского дома орехи? Я знал, что Хазер считает меня идиотом: и тогда, когда, потратив свои красивые новенькие рубли, я ссыпаю орехи в карман его нарядного пиджака, и тогда, когда, притаившись у детдомовской стены, с нетерпением жду, чтоб трясущаяся от страха Айша поскорей нырнула в лазейку. Хазер каждый раз потешался надо мной и называл дураком, но я не отвечал, я думал об Айше, о том, что она сидит где-нибудь в уголке и торопливо жует орехи, которые мы ей принесли.

Как мне хотелось, чтоб Айша каждый день могла есть орехи! Я хотел этого даже больше, чем того, чтоб у дяди Селима всегда была на ужин баранина и чтоб чистильщик Сафтар ежедневно покупал на базаре лепешку с медом.

Простившись с Хазером, я не сразу шел домой, а долго еще слонялся возле базара: играл с черным псом, разговаривал с дядей Селимом. Несколько раз я видел товарища Джалилова. Он не носил шапку, его густые черные волосы были аккуратно зачесаны назад. Если ему кланялись, он не спеша наклонял голову, первым он никогда не здоровался.

И еще одного человека я часто видел возле базара. Это был даже не человек, а получеловек, обрубок. Целыми днями инвалид неподвижно сидел на своей доске возле базарных ворот и оживал лишь тогда, когда на улице появлялись детсадовские ребятишки. Завидев ребят, инвалид хватал две дощечки и, перебирая ими по асфальту, весело катил за ребятами. Силы быстро оставляли его, он останавливался всегда на одном и том же месте — возле спиленного тополя — и долго сидел там, глядя на стайку ребятишек, поднимавшихся вверх по улице. Потом поворачивался и возвращался на прежнее место. И весь день, пока ребятишки снова не показывались на дороге, он все поглядывал на садик, в котором они скрылись...

Осень кончилась. Только здесь, в городе, вроде и кончаться-то было нечему. С обломанных веток тутовника упали последние листья, орех за базаром оголился, и его

редкие ветви торчали в разные стороны, за детдомовской стеной белели стволы тополей, похожие на скелеты...

Однажды на уроке арифметики, по привычке взглянув на сухие тополя, я замер — на айване маячила высокая фигура Якуба. Он подошел, прижался лбом к стеклу, заглянул в класс и, увидев меня, довольный, повернул к двери. Не дожидаясь, пока он постучит, я спросил у учителя разрешения и выскочил в коридор.

Мы молча спустились во двор; у ворот я остановился. Якуб сунул руку в карман, достал пачку денег и, ничего мне не объясняя, спросил:

— Сорок кило картошки по три рубля — это сколько будет?

— Сто двадцать рублей.

Якуб отсчитал деньги.

— Так. Двенадцать кило лука по четыре рубля?

— Сорок восемь рублей.

— Хорошо. Прибавь к ста двадцати сорок восемь.

— Сто шестьдесят восемь,— не раздумывая, ответил я, видя, что Якубу нравится быстрота, с которой я считаю.

— Так. Теперь добавь еще сто пятьдесят рублей — это за огурцы и помидоры.

— Триста восемнадцать рублей.

— Здорово считаешь! Сколько, говоришь, вышло?

— Триста восемнадцать.

— Еще что осталось?

— Не знаю.

— Так вот знай. Абрикосы ваши я продал — на стены деньги пошли. Все стены обмазал. Орехов мешок собрал — все целы, ни одного орешка не тронул. Продам, желоба поправлю, и крышу надо чинить. Груш в этом году не было. Еще что-нибудь осталось?

— Ничего,— сказал я, удивленно глядя на деньги, которые он дал мне.— Ничего не осталось.

— Убери деньги! В карман положи! — И добавил, когда я убрал деньги в карман: — Никому ни копейки не давай. Слышишь? Пиджак себе справь и штаны.

— Хорошо.

Якуб молча оглядел меня: пиджак, брюки, галоши. Потом повернулся и зашагал к базару. Но вдруг вернулся, достал из кармана горсть орехов и сушеных ягод и высыпал мне их в карман.

— Учишься, значит? — сказал он.

— Учусь.

— Ну давай учись.

Я довольный побежал в класс: в одном кармане у меня шуршали деньги, другой был набит орехами и тутовыми ягодами. Случилось это незадолго до каникул. Айшу я теперь не видел — Хазер уехал с братом в Баку.

Начались холода. Как-то утром Сурат появилась во дворе в красивом зеленом пальто. Губат втащил свою кровать в комнату. Потом выпал снег и вместе с ним на двор легла тяжелая мягкая тишина.

Площадь перед базаром постепенно пустела. Исчезла будка дяди Селима. Сафтара тоже не было больше видно. Мясник Али перебрался внутрь базара, под крышу; чурбан, на котором он рубил мясо, тоже переехал туда. Катык и папиросы продавались теперь только в чайханах, а площадь перед базаром перешла во владение ребят, целыми днями возившихся на льду.

Радио на высоком доме совсем засыпало снегом, но оно всю зиму говорило само с собой хрипловатым озябшим голосом. На стене, с четырех сторон загораживающей детский дом, лежали сугробы, я всю зиму не видел Айшу, словно и она тоже упрятана была под толстым слоем снега.

Хазер ни разу не вспомнил про Айшу. Нарядный, в теплых шерстяных варежках, в красном шарфе и блестящих черных сапогах, он целыми днями катался на льду перед базаром, а я глядел на него и думал, что забыть Айшу ему так же просто, как получать пятерки или бегать по льду...

Я не забыл Айшу, не забыл ее глаза, так похожие на глаза черного пса, который вместе со своими жалкими друзьями проводил теперь ночи за кочергой или у теплой стены пекарни. Как только запахло весной и снег на стене, окружавшей детдом, начал темнеть, я сам напомнил Хазеру про Айшу. Мы опять пошли в магазин, опять купили на мои деньги орехов и пряников и опять я поджидал Хазера у белой стены, а потом день и ночь терзался мыслью, что сам напомнил ему об Айше.

В ту весну во дворе у нас было тихо, как зимой. Губат снова за что-то обиделся на Мерджан, но теперь он уже не только с ней, но и ни с кем из нас не хотел разговаривать. Домой он возвращался поздно и сразу шел к себе; кровать он так и не вытащил на айван; утром Губат поднимался, когда все уже были на работе, и, наскоро поев, уходил к военкомовскому коню. Мерджан тоже ходила мрачная, не похожая на себя. Уже несколько дней,

вернувшись с работы, она ложилась на кровать и вставала только утром, когда пора было открывать лавку. Я чувствовал, что Мерджан и тетя скрывают что-то от меня, потому что они не разговаривали, даже ложась спать. Только один раз удалось мне услышать обрывок разговора; тетя рассказывала Мерджан об учителе Сейяде, о том, что он провожал ее до самого сквера, где стоит памятник Ленину; сначала он хвалил мои способности, а потом сказал, что хотел бы стать отцом Садыка, если, конечно, она согласна.

Согласна была тетя или нет, этого я не мог понять: говорила она об учителе хорошо, голос у нее был ласковый, но в то же время она упорно избегала встреч с ним, даже на работу ходила теперь мимо бани, хотя эта дорога была намного длиннее. Тетя Медина пристрастилась к чтению, Сурат приносила ей одну книжку за другой. А Мерджан по-прежнему все вечера лежала на кровати: спала или просто так лежала и думала, уставившись в потолок.

Но однажды вечером Мерджан вдруг рывком вскочила с кровати.

— Черт с ним! — громко сказала она.— Пойду за него, будь что будет! Пускай мясник, по крайней мере мужчина!

Она быстро надела кофту, кое-как повязала платок и, взглянув на себя в зеркало, выскочила во двор. Я смотрел ей вслед и не мог опомниться от ужаса: «Какой мясник? Неужели мясник Али?!»

Утром, когда я уходил в школу, тетя Медина шепнула мне, чтобы я возвращался сегодня попозже — придут сватать Мерджан. Почему она говорила так осторожно, словно чего-то боялась? Ведь она не знает, что я ненавижу Али. Я никогда не рассказывал ей о черном псе, которого он выгнал на улицу, и о том, что, завидев пса, мясник каждый раз попрекает его ковром, который унесли воры. Почему тетя скрывает от меня, что Мерджан собирается замуж за мясника?..

Всю дорогу я мучительно размышлял над этим и наконец пришел к выводу, что дело не в мяснике, а в Губате. Тетя знает, что больше всего я хотел бы, чтоб Мерджан вышла замуж за него. Вот она и боится, что я по глупости расскажу все Губату, тот начнет скандалить, а это ни к чему — Мерджан сама знает, как ей поступать. Но если так, зачем же она все-таки сказала? Разве я не могу

сбегать на переменке к Губату в военкомат? Нет, здесь что-то другое...

Обычно я не сразу шел из школы домой. Побывав возле лазейки, я долго еще бродил по базару или глазел на поезда, снующие между вокзалом и консервным заводом. Сегодня я сразу бросился разыскивать Губата. Я понимал, что иду на предательство, но ведь Мерджан выходит за мясника! Я обошел базар, наведался во все чайханы, заглянул во двор военкомата. Губат как сквозь землю провалился.

Увидел я его уже у нашего дома. Сидя на военкомовском бешеном жеребце, Губат направлял его к двери, пытаясь проехать во двор. Конь ржал, вставал на дыбы, подковами передних копыт бил по доскам. Что он делает? Ведь коню не пройти в дверь!

Вокруг толпились мужчины. Женщины, опасаясь строптивого жеребца, не подходили близко, зато их было полным-полно на крышах. Мальчишки облепили деревья. Все кричали.

— Он пьяный!

— Ты что! Усидит пьяный на таком коне! Гляди, словно гвоздем прибитый!

— А глазищи, глазищи-то! Конечно, пьяный, и гадать нечего!

— Ой, сейчас дверь сломает!

Но так кричали лишь женщины. Парни, те восхищались Губатом.

— Молодец! — кричали они.— Держись крепче!

— Прямо Буденный!

— Что там Буденный — Чапаев!

— Не, Кёр-оглы! Ты на коня погляди — Гырат, да и только!

— Эй, Губат, давай отсюда! Мясник идет!

— Али идет!

— Али!..

Мясник Али спокойно подошел к коню, схватил его под уздцы и подпрыгнул. Я не понял, что произошло, но в следующий момент Губат ничком лежал на земле, а жеребец с громким ржаньем несся по улице. Мясник стал бить Губата ногами. Я закричал что было силы, схватил огромный камень и бросился на мясника. Но тут из калитки вышла тетя Медина, и камень выпал из моей руки.

Мясник долго ругался, разгоняя толпу. Потом он ушел. На улице остались Губат, я и тетя. Она присела на кор-

точки и, подсунув руку Губату под голову, приподняла ее. Лицо у Губата было в крови.

Двое парней подняли Губата и понесли в дом. Мне запомнилось, как на айване кипел самовар, большой белый самовар, который всегда стоял у Мерджан на столе. Потом из ее комнаты вышли три женщины в чадрах. Мерджан высунулась, испуганно оглядела двор и снова закрылась в комнате.

Губата положили на кровать. Тетя намочила марлю горячей водой из самовара и смыла с его лица кровь. До самого вечера, пока не зажгли лампу, Губат не открывал глаз. И до самого вечера в нашем дворе все молчали.

Тетя Медина несколько раз уходила во двор плакать. Сурат тоже заплакала, когда увидела Губата. Один я не плакал. И только вечером, когда Губат открыл глаза и улыбнулся, я не выдержал. Я плакал долго, Сурат и тетя Медина никак не могли меня успокоить...

Тетя принесла вермишелевый суп и стала кормить Губата, осторожно поднося ложку к его разбитым губам. Сурат сидела тут же на старом сундуке.

— Мы нашему Губату еще не такую сосватаем!..— сказала Сурат.

Губат улыбнулся. Почему он улыбнулся? Разве она сказала что-нибудь смешное? Или ему приятно держать голову на тетиной руке? А может быть, он радуется, что остался жив?

Было уже за полночь, и мне давно пора было спать, но, как ни уговаривала тетя, идти к Мерджан я не согласился. Тогда она вслед за Сурат стала повторять, что высватает Губату чудесную девушку, умницу и красавицу. Потом сказала, что Али поступил нехорошо, но ведь и Губат неправ, надо все это забыть и помириться — что было, то прошло. С Мерджан Губат тоже помирится, и они все втроем — она, Мерджан и Сурат — найдут Губату невесту. Она сама все приготовит для свадьбы, и нажарит, и наварит!.. Я не верил, я слишком хорошо понимал, что это сказка, одна из ее красивых сказок, вроде той, про гранатовое дерево...

Нет, тетя, к Мерджан я больше не пойду. Ты сама сказала как-то, что во мне отцовская кровь и когда-нибудь она покажет себя. Да, тетя, я буду таким, как отец: таким же упрямым, таким же злым и таким же сильным. Я должен стать таким; мой отец схватил бы Али за горло, швырнул на землю и долго бил бы его черными сапогами...

К Мерджан я не пойду! Мерджан для меня больше нет. Есть мясник Али. Есть черный пес. Есть лазейка под воротами детдома. Есть Губат с окровавленным, разбитым лицом и большой камень, который мне пришлось отбросить в сторону. Иди, тетя, ложись спать! Иди и ложись рядом с Мерджан, хотя ты не меньше меня ненавидишь мясника Али.

Тете Медине пришлось принести одеяло, подушку и постелить мне возле Губата. Губат спал крепко, только один раз вдруг всхлипнул во сне. Что ему приснилось?.. Я всю ночь видел одно — камень, который я поднял с земли и которым тетя не дала мне разбить мяснику голову. Каким-то образом камень этот оказался там, возле школы, я схватил его и, размахнувшись, запустил в Хазера. Хазер тихонько вскрикнул и свалился на землю.

Я не знаю, как попал он мне в руки, камень, которым я пробил Хазеру голову. Я знаю только, что видел другой камень, видел его с утра: на всех уроках, на всех переменах.

— Деньги есть? — с ехидной улыбочкой спросил Хазер, когда мы вышли из школы. Он и сегодня хотел, чтобы я шел с ним и стоял там, возле лазейки.

— Деньги есть,— ответил я,— но девчонку ты больше не тронешь.

— Ха! А это видел? — Хазер показал мне трешку.

— Все равно не тронешь!

Он захохотал и хлопнул себя по коленям.

— Ловко! Ты что, втюрился в эту шлюху?

— Мать твоя — шлюха!

— Что-о?!

— Твоя мать шлюха! Ясно? И сестра! И бабка! Весь ваш род шлюхи!!!

Хазер метил мне в нос, но я нагнулся, и его кулак скользнул по лбу. Если бы я не нагнулся и если бы Хазер не побежал, я, возможно, и не поднял с земли этот камень.

Потом мы оказались в кабинете директора. Хазера уложили на диван. Дверь закрыли. Словно в тумане, я видел, как одна из учительниц жгла носовой платок — надо было присыпать рану пеплом. Двое учителей держали меня за руки; один из них, Сейяд-муаллим, положил мне ру-

ку на лоб. «Не бойся, мальчик, не дрожи...» — негромко сказал он.

— Подумать только: оба отличники, лучшие ученики...

Слова прозвучали глухо, словно издали...

Фирюза-ханум металась по кабинету, то и дело подходила к окну и, приподнимая гардину, выглядывала на улицу. Сейчас она совсем не казалась красивой. Лицо у нее было жесткое, как из камня, глаза сверкали холодно и остро, словно кусочки стекла.

Фирюза-ханум собственным платком вытерла Хазеру слезы. Она села рядом с ним, обняла за плечи и стала приговаривать нежно, ласково, словно баюкала:

— Хазер славный мальчик, Хазер умный мальчик...

Потом поднялась с дивана, и лицо ее опять стало жестким и холодным, как камень.

— Пошлите за его тетей! — сказала она. И добавила, обернувшись ко мне: — Я такого держать не могу. Пусть учится в своей деревне.

Я бросился к двери.

На улице было светло, а воздух был легкий-легкий — можно птицей лететь, когда такой воздух. Я побежал к реке. Там, за рекой, дорога, что ведет к нам в деревню. Прощай, черный пес! Прощай, дядя Селим! Прощай и ты, Айша!.. Я так ждал, так хотел, чтобы ты хоть раз отпихнула Хазера, хоть раз дала ему оплеуху! Ты этого не сделала и никогда не сделаешь! Мне незачем оставаться в городе! Прощай!..

Когда-нибудь я сам отыщу тебя, Айша. Ты наденешь зеленое платье из тонкой узорчатой ткани. Положишь мне на плечи белые округлые руки... Я обниму тебя, и ты задрожишь и прильнешь ко мне. И я стану целовать тебя, твой лоб, глаза, губы и все прощу тебе, Айша, все!..

Я шел в деревню. Приду и буду жить один, и днем и ночью один. Но сейчас был день и ярко светило солнце, а все-таки было очень страшно. Я плакал от страха, и эхо разносило мои всхлипывания по ущелью... А тетя сейчас у Фирюзы-ханум, и та смотрит на нее своими стеклянными глазами. Тете сказали, что Садык набросился на мальчика, пробил ему камнем голову. Она не верит. Поверь этому, тетя Медина! Я хочу, чтобы ты поверила, обиделась на меня и не стала бы меня разыскивать. Только одного я не хочу, хотя знаю, что это неизбежно: чтобы ты плакала там, у них, чтобы, спускаясь по лестнице, вытирала слезы концом платка!..

До деревни я добрался уже в темноте. На наши темные окна мне даже взглянуть было страшно, и я пошел к дому Якуба: здесь в окнах горел свет. Я присел у ограды, отдышался, потом тихонько постучал. Никто не услышал. Я постучал сильнее. Вышла Садаф и открыла калитку. Она не удивилась, увидев меня, не сказала ни слова, словно так и должно быть...

По новой цементной лестнице мы поднялись на айван. Якуба дома не было. Его толстые краснощекие сыновья сидели вокруг большой миски и уписывали катык. Садаф стала убирать посуду. Закончив вечерний намаз, из соседней комнаты вышла тетя Набат, она тоже не удивилась мне.

— Пришел, сынок? — просто сказала она.— Садаф, принеси-ка ему хлеба.

Но Садаф гремела дровами у печки — она заметила, что меня всего трясет. Тетя Набат сама принесла хлеба, положила передо мной и села в уголке на сундук.

— Как тетя, здорова?

— Спасибо, здорова.

— А чего ты пришел?

Я промолчал. Тетя Набат не стала расспрашивать.

— Ешь, сынок,— вздохнув, сказала она,— мы уже поужинали.

Потом она поднялась с сундука и, волоча за собой длинную черную юбку, подошла к окну. Постояла, поглядела в темноту... Снова села на сундук, подперла рукой голову и, покачивая головой, сказала:

— А Якуба-то забрали!.. Забрали, чтоб им пропасть, этим амбарам!..

4

Мне приснилось, что я иду из города, позади меня бежит черный пес, я все время подзываю его — мне хочется увести его с собой в деревню. Но за черным псом неотступно трусят три тощие шелудивые собаки, и пес не хочет бросать товарищей: побежит-побежит, остановится и смотрит на них... Я пробовал отогнать собак, бросал в них камнями, они отставали немножко и снова бросались догонять пса... Мне было жалко, что это только сон, но ведь, если бы я не увидел сна, я, может быть, так никогда и не понял

бы, что это невозможная вещь — разлучить черного пса с его друзьями...

Якубовы сыновья, мордастые, краснощекие мальчишки, крепко спали, лежа рядом на паласе. Тетя Набат, набросив на голову черную сатиновую чадру, совершала намаз в соседней комнате; маленькая тощая Садаф кипятила молоко на айване. Я глядел на ее огромный, с пудовый арбуз, живот и раздумывал, как это она не опрокинется, как можно таскать такой живот на таких маленьких тонких ножках.

Когда я открыл глаза, во дворе еще лежала тень, но росистая трава возле арыка уже серебрилась в лучах солнца. Дорожки, что вели от калитки к айвану, Якуб покрыл цементом, посреди двора устроил цементный водоем; чистая прохладная вода переливалась через край, свободно стекала на траву...

Я не поверил своим ушам, услышав во дворе тетин голос. Как она успела дойти? Ведь только светает...

— Садык у вас?

— У нас. Проходи в комнату, Медина...

Я сорвался с места и, сунув ноги в башмаки, бросился навстречу тете — я понял, что, если она сию же минуту не увидит меня, у нее разорвется сердце.

В руке тетя Медина держала тяжелую связку учебников. Увидев меня, она медленно опустила ее на землю. Я взял книжки, тетя немножко поговорила с Садаф, и мы пошли домой.

Тетя не сказала мне ни слова. Она ничего не спросила о Хазере, ни словом не упрекнула меня за то, что сбежал. Слишком она была счастлива. Тетя радовалась, что я нашелся, что вокруг так тихо, что воздух такой прозрачный и что возле арыка уже распустились фиалки...

Тетя вытащила щепочку, которая вместо замка была заткнута в петли калитки, мы вошли; гора, поднимавшаяся за домом, была вся красная, словно оштукатуренная солнцем.

Дорога, петляющая по склону, лежала, открытая солнцу, и, глядя на нее, я почему-то вспомнил учителя Сейяда и как он сказал тете: «Если ты согласна, Медина, пусть Садык и мне будет сыном».

Мне хотелось расспросить тетю Медину, что ей сказали в школе, выйдет ли Мерджан за мясника, поправится ли Губат. Но ничего этого я не спросил, а сказал совсем другие слова:

— Я больше в город не пойду.

Тетя сняла ржавый замок, висевший на двери дома, бросила его на мягкую землю и, толкнув дверь, вошла в прихожую.

— Я тоже не пойду,— сказала она.

В комнате было светло, удивительно светло было в нашей комнате. Стекла, которые вставил Якуб, были все целы. У стены стояла большая торба с орехами, крепко перевязанная веревкой. Тетя опустилась на колени и стала не спеша развязывать ее.

— Тетя, Якуба забрали, ты знаешь?

— Знаю.

Она развязала мешок, достала пару орехов, сжала их в кулаке, один треснул; тетя разломила его, выковырнула ядрышко, сунула в рот...

— Ты, Садык, только от школы не отставай...— сказала она.— А я лягу, устала немножко...

Тетя Медина развернула узел, в который год назад упаковала одеяла и подушки, и стала стелить постель.

ФАРМАН КЕРИМ-ЗАДЕ

(Род. в 1937 г.)

СНЕЖНЫЙ ПЕРЕВАЛ

Мороз — ювелир. На сосульках, свисающих с кустов можжевельника, тысячи замысловатых узоров. Река на дне ущелья затянута льдом. Жмутся друг к другу напоминающие белых медведей горы, холмы.

Дорога поднимается вдоль берега вверх, завязывается узлом у каждого села и затем, словно веревка альпиниста, снова опоясывает скалы, отроги гор.

Всадники, казавшиеся за снежной пеленой как за стеклом с рябоватой поверхностью, призраками, остановились за скалой. Придержали поводья.

Здесь начиналась граница. По ту сторону скалы, гребень которой, вылизанный ветрами, напоминал ястребиный клюв, зажав меж колен винтовку, дремал часовой. В таком узком проходе любого, кто решился бы проехать по дороге, можно снять одним выстрелом. Достаточно приложить палец к курку — и конь и человек скатятся в ущелье. И пока звук выстрела вернется эхом от противоположной горы, можно отправить к праотцам еще несколько людей.

Трое всадников должны были проехать по этой дороге... После наступления морозов, когда лед сковал дороги, всякий переезд или переход через горы стал вдвое опаснее.

Кербалай Исмаил, укрывшись в родном Карабагларе, селении дворов на сто, объявил, что не признает Советскую власть. Именно с этого момента Кара-гая — Черная скала — стала границей, разделившей две враждующие стороны. С той стороны не приходило никаких вестей; ни-

кто ничего не знал о судьбе только что созданных колхозов, об участи их руководителей. Примерно с неделю обе стороны не предпринимали решительных шагов. О кулацком мятеже, захватившем еще несколько ближних к Карабаглару сел, сообщили в центр. Секретарь партийного комитета уезда Шабан-заде просил направить для подавления бунта пограничников, несущих службу на берегу Аракса. Были составлены мобилизационные списки коммунистов.

Почти все мужчины в уезде умели обращаться с оружием. И без помощи пограничников они могли бы справиться с Кербалай Исмаилом. Но Шабан-заде выжидал. Как только будет получено «добро», он покажет бандитам, почем фунт лиха. Бунт следует подавить. Ведь только-только начали создавать колхозы. Скажем честно, не все идут в них охотно... Богатеи не желают отдавать свои арбы, плуги, быков беднякам, которые записались в колхозы. Распространяют провокационные слухи, занимаются саботажем, стараются перетянуть на свою сторону неустойчивых. Словом, мешают делу огромной важности. Позволить кулакам почувствовать свою силу, уверовать в безнаказанность в такое время нельзя.

Курьер с револьвером на боку привез Шабан-заде пакет. Еще не войдя в кабинет, он вытащил разносную книгу, поправил широкий ремень, постучал и, услышав привычное «Войдите!», бодро направился к секретарю. Указал, где надо расписаться. Шабан-заде разорвал пакет, запечатанный в трех местах сургучом; там было небольшое письмо. Поднявшись со стула, еще раз про себя повторил прочитанное: «Направьте трех-четырех наиболее крепких, идейных товарищей в стан мятежников для переговоров. Ждем ваших сообщений о принятых мерах. Для помощи командируем представителя».

Шабан-заде озадачило решение Центрального Комитета. Скрипя новенькими сапогами, он несколько раз задумчиво прошелся по комнате. Скрип сапог раздражал его. Он остановился у окна, глянул во двор.

Будь на то его воля, он подавил бы мятеж силой оружия. «Милосердие к врагу оправдано лишь в том случае, когда ты уверен, что он больше не сможет вредить тебе. Если не показать силу, кое-кто и в других селах поднимет голову. Кулаки решат, что раз Кербалаю ничего не сделали, то и их не тронут. Непонятно, почему центр принял такое решение? Черт знает что!»

Час спустя Шабан-заде уже все виделось в ином свете. Предписанное в письме казалось ему естественным и правильным.

«Любой может пойти по неверному пути, надо помочь ему, объяснить ошибку. Не дело сразу браться за оружие...»

Хорошо, кого же послать? Кербалай Исмаил шутить не станет. Надо найти человека, к словам которого Кербалай мог бы прислушаться. Тот, кто пойдет туда, должен быть уважаемым и в то же время волевым, не ведающим страха...

...Это было давно. Вместе со своими родственниками во время жатвы он ходил по селам и искал работу. Чаще всего они убирали пшеницу на полях Абасгулубека Шадлинского. У него поденщики получали в два раза больше, чем у любого другого хозяина. Кроме того, в этом селе никто не унижал и не оскорблял сезонников. Крестьяне с уважением говорили об Абасгулубеке.

Занятый этими воспоминаниями, Шабан-заде прошел в боковушку, где жил, налил два стакана чаю. Вернувшись в кабинет, поставил стакан перед стулом, приготовленный для Абасгулубека, другой — перед собой. Еще вчера, озабоченный развитием событий, он поручил вызвать Абасгулубека. Всегда точный, Абасгулубек вот-вот должен быть здесь.

...Когда Шабан-заде избрали секретарем, он перво-наперво ознакомился с личным делом Абасгулубека. Несколько раз перечитал протокол собрания, на котором его принимали в партию. В этом документе часто встречались слова «командир «Красного табора» [1], «храбрый», мужественный», «пользуется большим уважением», «орденоносец». Резолюцию собрания он даже прочел вслух. «За — 51 человек, против — ни одного». «Большое дело,— сказал про себя.— Приняли в партию, несмотря на прошлое. И надо сказать, верно решили».

С тех пор Шабан-заде часто встречался с Абасгулубеком. Нередко обсуждал с ним самые серьезные вопросы. Но предстоящий разговор не будет похож ни на один из прежних.

Дверь отворилась, человек в длинной распахнутой шинели, стряхнув с себя снег, вошел в кабинет. Глаза секре-

---

[1] «Красный табор» — так назывался партизанский отряд, созданный Абасгулубеком Шадлинским.

таря сразу же выхватили красную ленточку и орден на гимнастерке вошедшего. Абасгулубек был высок ростом. Широкие плечи туго натянули складку на спине шинели.

Они поздоровались.

— Холода очень мешают работе,— сказал Абасгулубек.

Быть может, впервые в жизни Шабан-заде слышал от него жалобу. На полдороге между железнодорожной станцией и уездным центром шло большое строительство. Уже поднимались корпуса цементного завода. Абасгулубек — начальник строительства — обеспечивал связь с городом, подвозил стройматериалы, вступал в споры с американскими специалистами, распределял продовольствие, посещал общежития. В течение дня он умудрялся обойти все участки стройки.

Секретарь не спросил его о положении на строительстве. По этому и еще каким-то едва уловимым признакам Абасгулубек понял, что приглашен сюда по какому-то другому вопросу.

— О морозе и не говори, Шадлинский. Выпей чаю, согреешься.

Абасгулубек присел на стул. Жалобно застонали ножки стула. Стакан исчез в его широкой ладони.

— Вероятно, ты знаешь о создавшемся положении,— сказал Шабан-заде, кивнув в сторону гор.

Абасгулубек тяжело вздохнул.

— На старости лет Кербалай решил показать свою удаль. Толкнуть его в грудь, не удержится — упадет. Неужели он всерьез собирается бороться с Советской властью?

Зашуршала бумага. Шабан-заде протянул ее Абасгулубеку:

— Из центра. На, погляди.

Абасгулубек пробежал письмо, поднял голову и посмотрел на Шабан-заде. В прищуренных глазах секретаря, в виноватой улыбке, застывшей на губах, он прочел, что вопрос, собственно, уже решен.

— Кербалай прислушается к тебе? — опережая Абасгулубека, спросил Шабан-заде.

— Раньше прислушивался, сейчас не знаю...

Кербалай Исмаил был замкнутым, сдержанным, нелюдимым человеком. Часами сидел в своей комнате, у печки, устремив глаза в какую-нибудь одну точку и задумчиво

вороша золу. Домочадцы знали: в это время лучше не входить к нему. Кербалай принимает решение, обдумывает возможные последствия. Линии, вычерченные им на остывшей золе, были письменами судьбы, горя и слез... То в одном, то в другом доме соседнего села Чимен, вотчины враждебного ему рода Усубоглу, раздавались плач и крики, женщины рвали на себе волосы, мужчины клялись отомстить.

Села были расположены по соседству. Но давняя вражда разделяла их. Никто не осмеливался переходить из одного села в другое.

Однажды условная граница меж ними была нарушена. Телка Кербалай Исмаила перешла на пастбище села Чимен. Кербалай Исмаил позвал к себе сына Ядуллу, которому за месяц до того справили обручение:

— Иди приведи телку.

— Отец, но...

— Подумай, кого я могу послать, кроме тебя?!

— Отец, ведь...

— Если не пойдешь, у меня язык не повернется назвать тебя сыном.

Ядулла взял ружье и отправился за телкой. Прошел пастбище, добрался до зарослей лоха над арыком. Спрятался за деревьями. Наклонив ствол ружья, положил руку на затвор. След животного вел вниз, в заросли гранатника. Пригнувшись, чтобы не быть замеченным, Ядулла шел, думая, куда могло запропаститься проклятое животное. Вдруг крепкие руки сзади схватили его.

Смерть сына Кербалай Исмаила была ужасной — ему отрезали нос и уши, выкололи глаза.

В эти страшные для Кербалай Исмаила дни на помощь ему пришел только Абасгулубек. После долгих переговоров, неоднократных поездок в село Чимен он наконец добился, чтобы ему выдали труп Ядуллы. После случившегося все говорили, что Кербалай Исмаил больше никогда не будет ворошить золу. «Смерть Ядуллы подкосила меня. Я один виноват в случившемся. Это — божья кара за все то, что я совершил».

Обо всем этом Абасгулубек рассказал Шабан-заде. Папироса, с которой он забыл стряхнуть пепел, все еще была зажата в его пальцах.

— Так,— сказал Шабан-заде, возвращая Абасгулубека из тревожного восемнадцатого года в сегодняшний день.— В то время ты сделал для него добро. Сделай и теперь.

Ведь он висит над пропастью. Ты не дашь ему упасть и разбиться.

— Предположим, он прислушается к голосу разума, сложит оружие. Чем все это для него кончится? Его арестуют? Я не стану лгать.

— На этот счет указаний нет. Но думаю, что, если он не тронул колхозных активистов, ему ничего не грозит. И потом, многое зависит от того, как он поведет себя в будущем.

— Мне нужно твердое слово.

— Мы гарантируем ему свободу.

— Так.

...Он станет думать, что вышел на прогулку, просто на охоту. Ведь раньше он не раз охотился в горах над Карабагларом. Однажды он сидел в засаде вместе с Кербалаем, поджидая горных козлов. В кустах мелькнула тень, и тотчас грянул выстрел пятизарядного ружья. Наутро в ущелье нашли дикую кошку, убитую точным выстрелом в голову.

— Когда мелькнула тень, я подумал, что в ваших горах появились тигры, Кербалай,— сказал он хозяину дома.

— Наши тигры двуноги,— не преминул прихвастнуть Кербалай Исмаил.— В этих горах есть такие тигры, как Гамло.

— Что ж, может быть. Но мне встретилась дикая кошка,— сдержанно ответил Абасгулубек.

...Голос Шабан-заде вновь вывел его из раздумий.

— Значит, согласен. Я считаю — кроме тебя, никто не справится с этим заданием.

Когда Шабан-заде говорил это, Абасгулубек думал о том, что должен спасти людей от беды, нависшей над ними, успокоить разыгравшиеся страсти.

«Удивительный человек Абасгулубек,— рассуждал про себя Шабан-заде.— Как он отказывался, когда его направляли на стройку. Говорил: не справлюсь, опозорю свое доброе имя. С трудом удалось уломать. У Кербалай Исмаила его подстерегает смертельная опасность. А он не колеблется. Удивительный человек».

— У меня есть предложение.— Шабан-заде поднялся над столом. Зажег папиросу, прошелся по комнате.— Я решил послать вместе с тобой Халила. Ты не против?

Абасгулубек отставил в сторону стакан.

— Ты еще просишь моего согласия?! Халил мне друг и брат. Через многое прошли вместе.

— Подготовьтесь, пойдете в горы, как только приедет товарищ из города.

— Долго ли готовиться?.. Заряжу винтовку, возьму маузер — вот и все приготовления.

Шабан-заде как бы невзначай бросил, что придется идти без оружия... Абасгулубек, не зная, что сказать, только пожал плечами.

На другой день в том же кабинете произошел следующий разговор. Шабан-заде вложил в замок сейфа ключ и, нажав кнопку позади сейфа, открыл дверцу. Повернулся лицом к Абасгулубеку. Сейф с открытой дверцей темнел за его спиной, как грот в скале.

— Товарищ Шадлинский, партийный билет...

— Что?

— Таков порядок. Когда коммунист отправляется на опасное задание, свой билет он оставляет в партийном комитете. Мы не можем нарушать Устав.

Абасгулубек растерянно глядел на секретаря.

— Мы потеряли доверие?

Шабан-заде предполагал, что предложение о сдаче билета вызовет недовольство, но что разговор примет такой оборот, он не ожидал.

— Если бы вам не доверяли, партия не поручила бы это задание. Порядок есть порядок. Вы можете попасть в трудное положение, можете потерять билет, как же тогда быть?

— Билеты могут попасть в руки врагов только через наши трупы,— сказал Халил.

— Но ведь могут? Это ты сам подтверждаешь. Поэтому мы будем хранить их здесь.

Шабан-заде протянул руку в темноту сейфа и вытащил оттуда книжицу в ярко-красной обложке.

— Это мой партийный билет. И ваши тоже будут в сохранности.

— С билетами и без билетов мы всегда останемся большевиками. Это хорошо знает и Кербалай Исмаил. Но все же это мне не нравится. Нам вы доверяете и направляете туда, а билеты...

Абасгулубек вытащил из нагрудного кармана завернутый в шелковый платок билет и положил на стол Шабан-заде.

Халил поступил точно так же. Оба они проделали это нехотя, с явной обидой...

Позади дымили пять тысяч труб домов Большого Веди. На холме желтели надгробные камни. Три всадника ехали по дороге, проходившей через кладбище. Впереди Талыбов — прибывший из города человек в кожанке. Абасгулубек не мог подавить недовольства, вызванного присутствием этого человека. Поведение приезжего, который, боясь снега, надел черные очки, раздражало его. Абасгулубеку вообще не нравилось, когда в дело, за которое он взялся, встревал кто-то другой.

Шабан-заде представил их Талыбову: «Надежные, смелые люди. На них вы можете полностью положиться. Что же касается переговоров, первое слово за вами. Рекомендую прислушаться к их советам, от этого только выиграет дело».

...Дорога спустилась в ущелье. Они переехали реку, скованную льдом; дальше дорога петляла вдоль обрыва и наконец вывела их на широкую равнину.

Всадники ехали молча. Когда человек идет навстречу опасности, он, хочет того или нет, уходит в себя.

Халил продел уздечку через луку седла. Крупный, белый в серых яблоках конь шел иноходью. На лице его хозяина была усталость. В черных пышных усах застряла рисинка — незадолго до этого они ели плов в доме Абасгулубека. К себе он забежал буквально на минуту, чтобы накормить коня и предупредить жену. Домашние приготовились спать. Они лежали полукругом, упираясь пятками в еще не остывший тендир. Когда он вошел, дочка и сын встали. Младенец, лежавший в люльке, потер кулачками глаза, зевнул и заплакал. Лицо его сделалось малиновым. Жена взяла ребенка на руки и дала ему грудь. Халил опустился на коврик рядом с ней.

— Я уезжаю.

Он попытался сказать это как можно более спокойным и бесстрастным голосом, чтобы не волновать и не испугать ее.

— Куда?

— К Кербалаю Исмаилу.

— Куда?! А сколько вас едет?

Младенец был неспокоен. Его крик заглушал их голоса, но женщина, казалось, не слышала плача.

— Трое.

Не знай она характера мужа, бросилась бы в ноги, умоляла: «Не уезжай, Халил!» Но она понимала, что это не поможет.

— Кто твои спутники?

— Абасгулубек и еще один товарищ, из города.

Абасгулубек... Она услышала только это имя. Оно вселяло в сердце веру и спокойствие, и она не расслышала конца фразы.

— Так отчего же ты тревожишься?

Он и сам не мог понять, отчего расстроен. Подобно туче, приплывшей бог весть откуда и накрывшей вершину горы, в его сердце тихо вкралась печаль.

Он отвернул борт пиджака и стал отвинчивать железный винт, на котором держался орден. Несколько раз подкинул орден в руке, словно взвешивая, затем наклонился и прикрепил его к одеяльцу новорожденного.

— Эй, мужчина, это я доверяю тебе, не потеряешь?

Женщина поднялась так резко, что ребенок снова заплакал.

— Как же это, Халил?

Чтоб успокоить жену, он провел рукой по усам и громко засмеялся; смех вышел неестественным и неуместным.

— Не вставай, простудишься. Я сейчас уйду. Так слушай же меня... Не вставай. Накройся. Не простуди ребенка. Да, чуть не забыл: мы вместе с Абасгулубеком придумали этому мужчине имя. Назовем Нариманом. Был такой школьный товарищ Абасгулубека, большой человек.

Он поднял ребенка, поглядел ему в лицо и отдал матери. Еще с минуту Халил глядел на жену и сына, затем, не оборачиваясь, прошел к двери...

Халил замыкал группу. Когда-то эти земли, по которым они проезжают, принадлежали Абасгулубеку. Теперь это колхозная земля. Халил собирается весной посеять на этих участках пшеницу. Надо будет посоветоваться с Абасгулубеком. Он даст дельный совет.

Талыбов привез с собой кипу газет. Некоторые из них были совсем желтые, подобно бумаге из-под гусениц шелкопряда, на других ясно обозначались складки. Но были и совсем свежие. В кабинете Шабан-заде, потрясая кипой газет, Талыбов говорил:

— Следует оставить оружие.

— Как? Вы разоружаете нас?

— На что нам оружие! Мы уничтожим их прогнившие идеи посредством агитации, газет.

— Так вы и убили Кербалая посредством газет!

— Убьем. Вам неведома сила, заключенная в них.

Абасгулубек махнул рукой, поднялся и скинул с плеча ремень, на котором висела кобура маузера, положил его на стол Шабан-заде.

За день до этого Талыбов знакомился с личными делами Абасгулубека и Халила.

— Не нравится мне этот бек,— сказал он.

— Не вижу причин не доверять ему,— ответил Шабан-заде.— Люди знают его. Абасгулубек — организатор отряда «Красный табор», он сражался с врагами в Нахичевани, Зангезуре, в Дералаизе. Устанавливал в этих местах власть Советов. Передал свою землю государству. А сейчас руководит строительством большого цементного завода.

Талыбов подчеркнул аккуратно отточенным карандашом слово бек.

— Факт или нет?

— Факт-то факт, но я верю не этой приставке, а своему сердцу.

Талыбов повернулся, внимательно вгляделся в глаза секретаря.

— Скажите, отчего вы выбрали для этой цели именно его?

— Абасгулубек пользуется большим авторитетом. Ни с кем иным Кербалай Исмаил не станет говорить.

— Вы можете поручиться, что он выполнит задание?

— Да.

— Хорошо. Этот разговор, я надеюсь, останется между нами.

Шабан-заде кивнул.

...А Талыбова все еще не оставляли сомнения: «Пусть это будет еще одним испытанием. Его семья и дети здесь. Мы ничего не теряем. Если он выдержит и этот экзамен, в него можно будет верить всегда».

В тот же вечер, перед отъездом, в узком темном коридоре гостевого дома его остановил невысокий человек в старой шинели.

— Вы хоть знаете, кто такой Халил? — в упор спросил человек.

Талыбов сначала испугался этой встречи и даже сунул руку в карман, за пистолетом, но, поняв, что опасности нет, решил выслушать незнакомца.

— Кто?

— Террорист. Я член партии. Я могу это сказать при всех. Не думайте, что я боюсь кого-нибудь.

Увидев, что Талыбов внимательно слушает его, он продолжал:

— Был у нас сельский староста. Халил, собрав родственников и друзей, спрятавшись за арыком у мельницы, убил его. Разве так надо вести классовую борьбу? Разве совместимы революция и террор? И можем ли мы держать в своих рядах террористов? Я это у вас спрашиваю, товарищ Талыбов.

За подготовкой к отъезду разговор этот как-то постепенно стал забываться. «Убит сельский староста. Ну и черт с ним. Мало у меня забот!» Но сейчас он почему-то снова вспомнил тот вечерний разговор. Чуть придержав коня, он дождался, чтобы Халил приблизился, спросил у него:

— Товарищ председатель, говорят, вы убили старосту?

Халил ответил не сразу. Он посмотрел на ворону, которая села шагах в двадцати от всадников, но с их приближением взлетела и удалилась на такое же примерно расстояние.

— Мне уже задавали этот вопрос.

— Значит, вы занимались террором?

— Наш Халил крупный террорист,— сказал Абасгулубек, громко рассмеявшись.— Об этом спрашивала его и комиссия по чистке. А он ответил, вы, мол, убили царя, а мы — местного царька. Зато быстрее установили Советскую власть.

— Вы прошли комиссию по чистке?

— А как же? Комиссия похожа на тот новый аппарат. Как его название, Абасгулубек?

— Рентген. Верно говоришь, Халил. В этой комиссии — как на рентгене. Просвечивают с одной стороны, а видно с другой. Он вышел чистым. И пятнышка не нашлось. А вопрос о старосте был вымышленный.

«Если прошел комиссию, значит, не опасен»,— подумал Талыбов.

Сильные кони легко несли своих всадников. Все вокруг было окрашено в белый цвет: и горы, и леса, и равнина. И посреди этой широкой снежной равнины чернели фигуры трех всадников.

Когда они подъехали к Кара-гая, Талыбов придержал коня.

Время было посоветоваться, но Абасгулубек, не сказав ни слова, пустил коня вперед. Длинная серая шинель прикрывала его колени. Одна пола шинели примерзла к уздечке, блестевшей, словно серебряная.

Халил пришпорил коня, обогнал Талыбова. Они переглянулись. Лицо Талыбова неприятно поразило Халила. Теперь это было лицо бесконечно усталого, загнанного человека. Он уже не стремился ехать впереди всех, а, наоборот, старался придержать коня. Халил не раз сталкивался с проявлением трусости, и, как всегда, оно вызывало в нем чувство брезгливости и неприязни.

В душе Талыбов не верил Абасгулубеку. «В опасную минуту, перед лицом смерти, он сможет перейти на сторону Кербалай Исмаила. Глупо погибать здесь, среди этих угрюмых скал. И могилы никто не сыщет... Надеяться можно все-таки на Халила. Как-никак, из бедняков. Советская власть сделала его человеком. И наверно, крепкий человек, раз прошел комиссию по чистке. Эта мысль несколько успокоила Талыбова.

Сейчас он нашел в своей душе оправдание тому, что тайно от спутников захватил оружие. Ощущая холодное прикосновение пистолета к телу, он чувствовал, что обретает потерянное равновесие. Талыбов сунул руку в карман, погладил отполированную гладь металла и тронул коня.

Мелкие камни, сорвавшись со скалы, с шумом скатились вниз. В ущелье раздался гром. Часовой открыл глаза. «Началось»,— подумал он. Тревожно забилось сердце. Он поднял винтовку, взялся за затвор. Пальцы, казалось, одеревенели. Он услышал близкое ржание коня, и шагах в тридцати от скалы показался всадник.

— Стой, буду стрелять!

Ему никто не ответил. Часовой, прижав приклад к животу, что есть силы тянул затвор, но ничего не получалось.

«Пропал я»,— подумал часовой, готовый заплакать от страха и сознания своей беспомощности. «Кербалай убьет меня»,— молнией пронеслось в его голове.

— Эй, Расул!

Человек, которого он звал, грелся у костра, разведенного в гроте. Он держал руки над костром так, что издали

они напоминали крылья птицы. Расул стоял, подняв воротник шубы, оттого не слышал крика товарища.

— Ой, это же Абасгулубек!

Ужас охватил часового. Словно боясь потерять равновесие и упасть, он прислонился к скале.

«Разве можно поднять руку на Абасгулубека? Говорят, что пуля не берет его».

— Стойте!

Абасгулубек дернул уздечку, остановил коня.

Абасгулубек не раз глядел в лицо смерти, терял друзей и товарищей, но смириться с этим никогда не мог. Смерть казалась ему трагической нелепостью, чем-то противоречащим человеческому естеству и сознанию. Он дорожил своим именем, никогда не поступался честью, но этот окрик заставил его осознать, что сейчас может прогреметь выстрел и все понятия чести и доброго имени развеются вместе с дымом выстрела. Если часовой и промахнется, он вспугнет коня, и тогда конь и всадник скатятся в ущелье. Но возврата нет.

Абасгулубек дал знак Халилу остановиться. Часового за скалой не было видно, и ему стало не по себе от ощущения, что обращается не к человеку, а к камню.

— Мы — гости Кербалай Исмаила. Мы едем к нему! — крикнул он, сложив руки рупором.

Казалось, он говорил со сцены огромного театрального зала, а стоустый хор за его спиной повторял: «Мы едем к нему... Едем к нему... к нему...» Будто стоявшие в отдалении друг от друга глашатаи повторяли слова Абасгулубека, и таким образом голос его катился до самого Кербалай Исмаила.

— Кербалай — гостеприимный человек, но сейчас он болен. Никого не принимает,— крикнул часовой.

Абасгулубек двинул коня вперед.

— Гостю говорят: «Добро пожаловать».

— Гость — посланец аллаха, но сейчас вы пожаловали не вовремя.

— Сообщите Кербалаю, что к нему едет Абасгулубек Шадлинский.

Эта фраза свела на нет всю решимость часового. Он помнил те дни, когда Абасгулубек привез в Карабаглар останки убитого сына Кербалая. Видел, с каким уважением, чуть ли не с шахскими почестями, встречали Абасгулубека в Карабагларе, и теперь боялся, что вызовет гнев Кербалая, если не окажет должного уважения го-

стю. Он подумал: «Кто я такой, чтоб ссориться с Абасгулубеком?»

— Вы один, бек?

— Нас трое. Кстати, кто ты такой? Никак не разгляжу.

— Вряд ли вы меня помните, бек. Меня зовут Самандар.

— Самандар?

— Я прислуживал вам в доме Кербалая в день похорон Ядуллы.

От этих поминок в памяти Абасгулубека остались лишь огромные блюда, на которых возвышались горы плова. Он не помнил лиц — печальных, изборожденных морщинами, почерневших от горя. Он зримо представлял лишь лицо Кербалая, нервно перебирающего четки. Все остальные сливались в одно — ядовитое, мстительное лицо. Как тут помнить Самандара?

— Раз ты знаешь меня, окажи услугу.

— Вас правда только трое?

— Неужели я стану обманывать?

— Хорошо, подождите немного.

Самандар надел папаху на винтовку так, чтобы она чуть виднелась из-за скалы — пусть думают, что он тут, — а сам побежал к товарищу.

Стало тихо. Ожиданье тревожило и угнетало Абасгулубека.

Он тронул поводья. Конь сделал несколько шагов. Абасгулубек увидел винтовку с насаженной на дуло папахой. Конь, подняв голову, потянулся к колючке, растущей на скале. На холке, на шее коня лежал снег. И каждый раз, когда конь закрывал глаза, с ресниц сыпался иней.

Человек в гроте стоял спиной к входу. Самандар потянул его за ворот полушубка. Расул испуганно рванулся в сторону.

— Что случилось? Ты же только что сменил меня?

Пока Расул понял, о чем ему толковал товарищ, Абасгулубек, Халил и Талыбов были у входа в грот.

Халил, глядя на Расула — высокого, огромного и неповоротливого, некстати улыбнулся: «Вот бы его в колхоз! Дать в руки лопату — работай, не ленись!»

Расула отправили в Карабаглар. А сами расселись вокруг костра в гроте. Кони стояли, опустив вниз морды. А снег все шел и шел.

В углу двора, под абрикосовым деревом, только что зарезали корову. Мясник жаловался, что корова была стельная. Два крестьянина свежевали тушу. Кони, привязанные к столбу у боковой стены, лениво жевали сено. Стройный жеребец с белыми чулками на ногах старался укусить соседей, дико бил копытами. Расул узнал коня Гамло. «Словно хозяин — норов показывает»,— подумал он. Поздоровавшись с односельчанами, направился к дому. Стоящий у порога человек опустил ружье, знал, что Расул сегодня охраняет дорогу у Кара-гая. Видимо, срочное дело, раз вернулся.

Кербалай Исмаил полулежал на мутаках — продолговатых подушках, лениво перебирая четки. В печи трещал огонь. Гамло, сидевший спиной к двери, подкладывал в огонь щепки. Его спина вздымалась буграми мускулов.

— К вам друг приехал, хозяин,— сказал Расул.

— Кто? — спросил Кербалай.

— Абасгулубек.

Гамло, словно рысь, вскочил с места, легко, будто щепку, подхватил прислоненную к стене винтовку.

— Привел отряд?

Кербалай тоже приподнялся.

— Нет, трое их.

— Где они?

— Греются в гроте.

Кербалай Исмаил, успокоившись, прошелся по комнате. Узоры его шерстяных носков слились с рисунком ковра, которым был устлан пол.

«Так обычно бывает: впереди сели несутся щепки, куски дерева. Только сильный поток может принести огромное дерево. Видимо, дают понять: приезд Абасгулубека — только цветочки. А ягодки будут потом. Что заставило их пойти на этот шаг? Может, решили уважить меня и оттого послали Абасгулубека? Пока я сидел тихо, никто не вспоминал об уважении. Унижали, подкапывались под меня и, только поняв, что я не раздавлен, решили оказать внимание».

Внезапно налетевший ветер распахнул окна и дверь. В мгновенье мороз выдул из комнаты тепло.

— Закройте,— приказал Кербалай, поеживаясь от холода.

Он поднял глаза и, увидев, что его приказание исполнено, снова присел у печи. Накинул на плечи хорасанский полушубок, стал медленно ворошить щипцами в печке.

Сквозь угли пробился зеленоватый язычок пламени. Печь затрещала так, словно на огонь кинули соль. Борода Кербалая озарилась оранжевым светом, брови его сомкнулись, лоб избороздили морщины.

«Прибыл Абасгулубек. Кто-то очень хитрый направил его сюда. Понимает, что когда-то Абасгулубек оказал мне услугу и я не смогу отплатить ему злом. Быть может, этот шаг подсказан самим Абасгулубеком? Напрасно он пришел сюда. Не должен был соглашаться. Видать, хочет играть роль старейшины. Но не желает понять, что то время прошло. Речь аксакала ценится ниже, чем слово плешивого слуги».

Гамло вернулся в комнату, волоча за собой винтовку. Он был угрюм и мрачен, как первобытный человек, возвратившийся в пещеру после неудачной охоты. Чем-то дремучим веяло от его мохнатой папахи, кустистых бровей, окладистой бороды. Вены, проступающие под кожей лица, напоминали многолетний, разросшийся во все стороны пырей.

— Я отрезал ухо этому щенку, хозяин,— сказал Гамло.

Кербалай удивленно посмотрел на него.

— Ты совсем растерялся, хозяин. Раз прибыл Абасгулубек, мы не должны сидеть сложа руки!

— Не зарывайся!

— Я говорю правду. Приезд Абасгулубека застал тебя врасплох, это заметил даже Расул. Поэтому я завел его в конюшню и отрезал ему ухо. Пусть другим неповадно будет. Мы поставили его сторожить дорогу, а он прибежал к нам, бросив пост. Может, они уже убили Самандара и ведут сюда солдат?

Гамло выглядел сейчас еще более суровым и безжалостным, чем когда-либо.

— В конце концов ты добьешься, что люди отвернутся от нас. Сто раз повторял тебе: не предпринимай ничего, не получив моего согласия!

Гамло нагнулся и завязал распутавшиеся тесемки чарыков с изогнутыми вверх носками.

— Если не держать их в узде, они перестанут слушать нас.

Кербалай осыпал его упреками, но затем, стараясь, чтобы голос звучал как можно мягче, спросил:

— Как бы там ни было, сам Абасгулубек прибыл к нам. Вероятно, у него есть какие-то предложения. Что предпримем?

Гамло слушал его молча, почти бесстрастно. То, что Кербалай говорил тихо, даже вкрадчиво, красноречиво свидетельствовало о том, что он лишился прежней силы, нуждается в опоре, в человеке, с которым мог бы посоветоваться.

— Хозяин, разреши, я разделаюсь с незваными гостями.

— Ты думаешь, что говоришь? — Зло блеснули глаза Кербалая.— Голова у тебя работает?

— Работает! Мы что, хуже Абасгулубека? Конечно, мы без роду и племени...

— Помолчи, помолчи... Абасгулубек — это не Иман.

Каждый раз, когда Кербалай ворошил золу в печи и проводил на ней линии, отдаленно напоминающие клинопись, Гамло чистил винтовку, надвигал папаху на глаза и ожидал приказа. Именно Гамло отправил на тот свет одного за другим многих врагов Кербалая, каждого, кто когда-либо вызвал его гнев. Однажды он убил человека, которого не видел ни разу, прямо в постели. Другого его пуля сразила на гумне, когда бедняга молотил хлеб. Его винтовка не знала промаха. Если бы не Гамло, Кербалай ни за что бы не решился разогнать колхозы, перекрыть дороги. Поэтому он позволял Гамло многое. Гамло сколачивал отряды, учил обращаться с оружием молодежь. День и ночь, не сходя с коня, он кружил по округе; если утром его видели в селе Келаны, то днем он уже был в Дейнезе. Часто он приезжал раньше своего же гонца.

Кербалай никогда не сможет отказаться от его услуг. Хотя и не признается в этом, он полностью зависит от Гамло. Поэтому Гамло позволяет себе порой переходить все границы.

Кербалай Исмаил снова ворошил золу, оставляя на ней замысловатые узоры. Огонь давно уже погас. Но он попрежнему сидел около печи,— видимо, не мог прийти к какому-то решению.

— Ну что, долго будем ждать? — спросил Гамло.— Сейчас они прихлопнут Самандара и приведут сюда солдат.

— Абасгулубек не сделает этого.

Гамло, конечно, предпринял кое-какие меры. Неподалеку от Кара-гая уже стоит отряд, который перекрыл дорогу и ждет его дальнейших приказаний.

— Не очень-то верь Абасгулубеку. Он — большевик и

пришел к нам не с добром. Это не прежний бек, от него можно ожидать все что угодно.

Кербалай Исмаил отложил в сторону щипцы, которыми ворошил золу.

— Главное, чтоб мы достойно встретили его. Кто бы он ни был сейчас — друг или враг, мы должны проявить свое уважение к нему. Если стрелять в каждого, кто придет к нам, у нас скоро не станет патронов.

Гамло подумал о том, что впервые в жизни хозяин ворошил золу, не приняв при этом решения убить кого-то.

— Мне не хочется встречаться с ним,— сказал Кербалай.— Скажи, чтобы привели коней, я еду в Келаны. Абасгулубека встретит Вели. Он примет его как почетного гостя, а затем отправит назад.

— А что же делать мне?

— Поедем вместе. Если останешься здесь, можешь наломать столько дров, что потом год не расхлебаешь. Вели лучше нас справится с этим делом. Он умный, деликатный парень.

Двадцать минут спустя из Карабаглара выехали четыре всадника. Двое направились в горы, в Келаны, а двое других — вниз, в сторону Кара-гая.

Около подвала, где складывали на зиму дрова, всегда было привязано несколько овец. Кербалай Исмаил издавна славился хлебосольством. Ни один именитый человек раньше не обходил его дом стороной.

Когда Абасгулубек спрыгнул с коня, в тот же миг голова зарезанного в его честь барана скатилась к пылающему тендиру. Он и в мыслях не мог допустить, что его встретят так. Хотя в последние годы он отвык от внешних проявлений почестей, сейчас это ему понравилось. То был добрый знак: дело, за которое он взялся, кончится хорошо. Он огляделся, но ни среди людей, встречавших их, ни среди тех, кто ждал на веранде, не увидел Кербалая. Это удивило Абасгулубека. Кербалай всегда сам встречал его. Почему его нет сегодня?

К ним подошел Вели — младший брат Кербалай Исмаила. Вели приветливо поздоровался с ними и сошел на край ведущей к дому тропинки, указывая гостям дорогу.

Затем Абасгулубек сидел в доме Кербалая, поджав под себя ноги. Халил и Талыбов устроились слева от него. Непривыкший сидеть на ковре, Талыбов никак не мог при-

нять удобную позу, то сгибал, то снова вытягивал ноги. На сердце у него было неспокойно. Он пришел к врагу и ради мира сидит у него дома. То, что их встретили уважительно, как дорогих гостей, удивило и озадачило его.

Халил глянул в окно. За окном виднелась часть двора, до странности напоминающая колхозный двор: сваленные на землю колеса, плуги, конюшня в глубине, а рядом — стог сена. Около — пара бычков, они особенно понравились Халилу. Вот иметь бы в колхозе с десяток таких! Разве остались бы незасеянными поля?..

В комнате стояла напряженная тишина. Напротив гостей сидели люди в черных каракулевых папахах, еще более оттенявших их сумрачные лица. Никто не осмеливался первым начать разговор.

Талыбов забыл те слова, которые он обдумывал по дороге, чтобы сказать Кербалаю. «Как втолковать этим людям, суровым и беспощадным, что они ошибаются?» Не выдержав этой гнетущей тишины, он незаметно нажал на ногу Абасгулубека. Длинные волосатые пальцы Абасгулубека прошлись по его запястью. И медленно сползли вниз. Так делают, когда хотят успокоить детей. Будто говорят: «Не волнуйся, возьми себя в руки, я здесь».

Дверь открылась. В комнату вошел Расул, на лице его была белая повязка. Он подозвал к себе Халила. Тот вопросительно взглянул на Абасгулубека. Абасгулубек еле заметно кивнул головой: «Иди». Халил поднялся. Вместе с Расулом вышел во двор. Напряженность в комнате росла: меж людьми, сидевшими в темном углу, прошел шепоток.

Талыбов кусал губы, но совсем не ощущал боли. «Вот так по одному нас выведут во двор и прикончат. Интересно, кто следующий? Я или Абасгулубек? Я успею выпустить в них четыре пули. Последнюю — в себя».

Через пару минут Халил вернулся. Наклонившись, что-то шепнул Абасгулубеку.

— Это дело хозяев,— сказал Абасгулубек, нарочно повысив голос, чтобы сбить напряженность в комнате.

Когда его позвал Расул, Халил был уверен, что у двери его ждут, и оттого приготовился к самому худшему. Но, выйдя на веранду, он успокоился. Расул провел его к дымящимся мангалам. Громко спросил:

— Какой вы предпочитаете шашлык: с кровью или без?

— Делай как знаешь.

— Я спрашиваю, чтоб знать, как пожарить.

Халил ответил, но Расул не расслышал. Халил нагнулся и сказал, почти перейдя на крик:

— Лучше с кровью. И чтоб не очень много соли.

Расул кивнул.

Гамло отрезал ножом ухо Расулу и, избив, бросил незадачливого часового в подвал. Вели, послав людей встретить гостей, освободил Расула, проследил, чтобы ему перевязали ухо, и поручил зарезать барана в тот момент, когда Абасгулубек въедет во двор.

Расул был мясником. Кербалай Исмаил уже давно держал его при себе, так как гости, посещавшие его дом, хвалили мясника за умение и расторопность.

Расул внес в комнату шампуры. Разложил на скатерти белый лаваш. Шашлыки шипели, будто пчелы жужжали вокруг ульев. Закончив свое дело, Расул вышел. Кто-то сказал: «Бисмиллах!» Это было традиционное приглашение к еде. Но Абасгулубек не протянул руку к хлебу.

— Послушайте, куда вышел Вели?

Один из людей поднялся и вскоре вернулся вместе с Вели. Брат Кербалая был высок, строен, красив. Газыри его новой белой чохи были вышиты золотом. Оружие и тонкий пояс отливали серебром.

Вели сел рядом с Абасгулубеком.

— Отведайте угощенья, бек.

— Мы пришли сюда встретиться с Кербалаем.

— Кербалай был бы рад видеть вас, но незадолго до вашего приезда уехал в Келаны. Дороги опасны, чуть выше села Азиз — снежный обвал. Видимо, поэтому он не смог вернуться.

Абасгулубек понимал людей с полуслова. Этот парень еще не научился лгать. «Значит, Кербалай спрятался».

— Кушайте, бек.

Талыбов подумал, что Абасгулубек не прикоснется к еде. Он был очень голоден, а запах шашлыка дразнил и возбуждал аппетит. Абасгулубек подал знак товарищам и первый протянул руку за лавашем. По обычаю, во время переговоров за еду не брались, пока не добьются согласия. Но здесь было не до церемоний. Только доброжелательность и приветливость могли помочь им выполнить их сложную задачу.

— Если говорить по правде, мы никогда с вами не враждовали. Вы сами все это начали,— сказал Абасгулубек, обратившись к Вели.— Правда?

Вели пожал плечами.

— И если я, даже будучи врагом, переступаю через ваш порог, ем ваш хлеб, значит, я хочу дружить с вами.

Ответить на эти слова Абасгулубека мог только Кербалай Исмаил. Никто не хотел говорить лишнего. Вели, прожевав мясо, вытер усы, повернулся лицом к Абасгулубеку:

— Бек, нынешняя вражда отличается от вражды между двумя людьми или родами. Такую вражду нелегко погасить.

— Мы сражаемся за свою честь,— сказал старик, сидевший по ту сторону скатерти. После ответа Вели все заметно осмелели.— Говорят, вы загоняете женщин в колхоз и они у вас принадлежат всем. Это правда, бек?

— Выходит, что вы один во всем крае печетесь о чести и совести, а мы — не мужчины?

Абасгулубек мог ответить и более резко, но вынужден был сдерживаться. Миссия, которая была на него возложена, совершенно изменила его. Он должен быть сдержанным, бесстрастным, как скала.

— Не гневайся, бек, правда иногда горька.

— Никогда наша честь и достоинство не брались под сомнение.

— Жители Карабаглара тоже вам известны. Мы не хотим жить колхозом. Мы жили как мужчины и, если придется, умрем мужчинами.

Вели попытался успокоить старика, но это ему не удалось.

Абасгулубек поднялся. Халил уже стоял рядом с ним. Спокойствие и уверенность были написаны на их лицах. Лишь лицо Талыбова выражало беспокойство и затаенный страх.

Вели остановился подле Абасгулубека и мягко сказал ему:

— Садитесь, бек, не годится обижать хозяев. Отведайте нашего хлеба-соли.

— Мы уже сыты, Вели.

Лицо Вели исказилось от сознания своей невольной вины.

— Не принимайте все близко к сердцу. Когда Кербалай вернется, он накажет его.

— Слуга повторяет слова хозяина. Скажите, чтобы привели наших коней.

— Если Кербалай узнает, что вы уехали, обидевшись, он набьет наши шкуры сеном!

Абасгулубек взял его под руку и отвел в сторону.

— Если ты и вправду хочешь оказать нам уважение, скажи, где находится Кербалай. Я не вернусь назад, пока не увижу его.

Вели отведя глаза повторил, что Кербалай находится в Келаны, что дорогу завалило снегом и очень трудно проехать через горы. Абасгулубек почувствовал симпатию к юноше.

Вели наконец нашел возможным спросить то, что уже давно вертелось у него на языке.

— Вы приехали без оружия?

— Вели, мы приехали как друзья, не как враги.

Тот, извинившись, прошел в соседнюю комнату и тотчас вернулся назад. В его руке была винтовка. Он протянул ее Абасгулубеку:

— Моя — пятизарядная. Возьмите, понадобится. Сейчас зима, дорога лежит через горы, леса; вокруг шныряет много всякого зверья.

Никогда Абасгулубек не был так растроган. Он дружески положил руку на плечо Вели.

Старик, который за едой спорил с Абасгулубеком, и тут не преминул поддеть:

— Ну и время! Кто бы мог представить Абасгулубека без оружия? И у него выбили из рук винтовку.

— Вы все скоро будете ходить без оружия.— Эти слова произнес молчавший все время Талыбов.— Какая польза вам от него? На что оно вам? Если ты крестьянин, то держи в руках серп, а если рабочий — молот.

— Как же, сынок, надейся! Скорее верблюд пройдет через игольное ушко, чем мы сложим оружие.

Абасгулубек погладил ствол принесенной Вели винтовки. Словно этим движением он хотел выразить Вели свою признательность и симпатию. Но через мгновенье он взял себя в руки и, осторожно отодвинув от себя оружие, повернулся и вышел из комнаты. На веранде Расул уже держал в руках его шинель. Абасгулубек оделся, застегнувшись на все пуговицы, и, спустившись вниз, вскочил на коня. В тот же миг он принял удобную позу, приосанился, взял в руки поводья — и снова превратился в знакомого всем храброго и непоколебимого Абасгулубека. Конь под ним пританцовывал, казалось, спешил унести своего седока подальше из этих опасных мест.

— До свиданья, Вели. Мы едем в Келаны.

— Счастливого пути.

Они проехали по заснеженной улице меж глинобитных домов и выехали за село. Гнедой Абасгулубека шел впереди.

Кербалай Исмаил и Гамло поехали в Келаны не по окольной удобной дороге, а напрямик, через дремучий лес Хосрова, и, перевалив гору, когда неяркое солнце уже в последний раз показалось над горой и спряталось наконец в облаках, достигли села. В пути они договорились, приехав в село, допросить арестованных и решить их судьбу.

До сих пор Кербалай откладывал это со дня на день. Гамло не понимал, почему Кербалай медлит, и оттого зло выговаривал:

— Для нас назад пути нет. Мы враги нового правительства. И что бы ни случилось, останемся врагами. Уверяю тебя: если попадемся им в руки, они сотрут нас в порошок. А почему мы медлим? Сколько можно ждать? Теперь ничего не изменить.

В душе Кербалай соглашался с этими доводами. Главное — не падать духом, делать свое дело.

В центре села, рядом с мельницей, стояло высокое здание, сложенное из речных камней. Во дворе этого дома толпились вооруженные люди. Это были его люди, и Кербалай увидел, что, прежде чем выбежать встречать их, они побросали игральные карты.

— Ну, как держитесь? — спросил он встречающих.

— А что держаться, хозяин, едят, пьют, спят,— ответил за них Гамло.— И дула ружей у них скоро заржавеют.

Зульфугар, коренастый, плотно сбитый парень, прозванный Медвежонком, смело вступив в разговор, спросил:

— Хозяин, извините, но я не понимаю, как это большевики смогли свалить Николая, который правил триста лет?

Вопрос не понравился Кербалаю. Он поднял глаза, внимательно посмотрел на Зульфугара. Под его взглядом Зульфугар словно стал еще ниже. Но все равно надо было отвечать парню.

— Николай своими руками разрушил свой трон. Еще никто не стрелял из пушек по святыне ислама — Кербале, а Николай это сделал! Я видел своими глазами. Но пушки, которые могут разрушить села, города, смогли выбить из

священного дома имама лишь три кирпича... Правда, теперь, сколько ни стараются, никак не могут вставить их обратно...

Простоватый Зульфугар не мог скрыть своей радости и воскликнул:

— Дай бог долгой жизни Советам! Хорошо отомстили этому сукину сыну Николаю. Больше никто не осмелится и близко подступиться к Кербале.

— А ну, подойди-ка ближе!

Хотя Зульфугар не понял своей вины, но испугался тона Кербалая и невольно отступил назад.

— Ты слышал о том, что крестьянина Худавера из села Азиз прирезали и бросили в колодец?

— Да.

Кербалай хотел сказать, что это приказал он, но промолчал.

— Стой ровно! — прикрикнул он на Зульфугара.

Зульфугар, подобно турачу, выставил вперед грудь.

— Знай, что и тебя я могу изрезать на куски.

— Ваша воля, хозяин,— запинаясь, сказал Зульфугар.

— Николая свалила не новая власть, а всемогущий аллах! Теперь убирайся отсюда, щенок, и приведи ко мне этих большевиков.

Поднимаясь по лестнице на веранду, Кербалай оступился, едва не упал, но вовремя схватился за перила, чертыхнулся, прошел в отведенную ему комнату.

Первым Зульфугар привел полураздетого юношу, дрожавшего от холода. У него были жгучие черные глаза. Рядом с Медвежонком Бейляр напоминал молодую стройную чинару, поднявшуюся по соседству со старым пнем.

— Подойди ближе, сынок. Еще немного. Вот так. Глаза мои стали слабы...

Зульфугар подтолкнул Бейляра:

— Пошевеливайся, сукин сын!

Тот подошел ближе. Подняв глаза, он взглянул на Кербалая. Угрюмый и ненавидящий взгляд старика потряс его. «Убьет... Знает, все знает. Он не простит, не забудет. Ни за что не простит».

У нависших над селом скал стоял дом. Говорили, что от него имеется подземный ход в горы. И родник красоты, из сказок, которые рассказывает долгими зимними вечерами старик Шахпеленг, тоже берет начало там. Именно в нем омыла лицо девушка из этого дома. И стала с тех пор несравненной красавицей.

Эту нехитрую легенду сочинил сам Бейляр. Ведь не было для него во всем селе девушки краше. Но никто не осмелился бы свататься к ней: она была обручена. Страшная судьба выпала на ее долю. Ее жених Ядулла был убит, обручальное кольцо горестным подарком осталось на ее пальце. Будущий свекор, когда еще был жив сын, посылал ей подарки на новруз-байрам, в дни других праздников. После смерти сына Кербалай вспоминал о ней лишь в траурные дни. И подарки в этих случаях накрывались черным келагаем.

Раньше Бейляр спускался из своего дома прямо в село. Но с тех пор как подрос и у него стали пробиваться усы, изменил свой маршрут. Он открыл свою тропинку. Она брала начало у их лачуги, перерезала поле, красное весной от цветущих маков, проходила мимо дома девушки и спускалась к другому концу села, к зданию сельсовета.

Бейляр хотел собрать нескольких аксакалов, пойти к Кербалаю, испросить, согласно обычаю, разрешения посвататься к этой девушке.

Но когда стали создавать колхозы и раскулачивать богачей, Бейляр отказался от прежнего решения. Он с радостью отмерял земли Кербалая и передавал их колхозу. Он больше не думал о Кербалае. Тропинка, проходящая через маковое поле, все больше белела. Ширилась. И он смело шагал по ней. Не станет же он, комсомолец, просить разрешения у классового врага. Это не достойно его. Наверное, Кербалай уже прослышал об этом. Хотя чего он боится — ведь даже та девушка ни о чем не подозревает? Откуда же знать о его любви Кербалаю?

— Значит, ты комсомолец, да? Отвечай!

Бейляр молчал.

— Ты что, глухонемой?

Гамло стоял, прислонившись к стене. Бейляр увидел его горящие зеленым пламенем, словно тигриные, глаза. Невидимые руки крепко обхватили его. Удар Гамло разбил ему нос и губы.

— Твоя мать хвалилась, что ее сын, комсомолец Бейляр, ничего не боится. Осмеливается отнимать землю у самого Кербалая. Ну что, где твоя смелость?

Голос Кербалая доносился откуда-то издали. Бейляр слизнул кровь, сжал губы.

Длинная, с черными ногтями, словно медвежья лапа, рука Гамло закрыла глаза Бейляру. Казалось, на лицо

положили горячие угли, глаза застлало черное небо и в этом небе засверкали звезды. А другая рука Гамло ребром ладони, как тупым топором, опустилась на его шею. Бейляр, качнувшись, свалился на землю. Гамло вытащил револьвер, указательный палец привычно лег на курок.

— Стой! — тихо приказал Кербалай Исмаил. Гамло грязно выругался, но, так и не облегчив сердца, направил дуло револьвера на дымоход и нажал на курок.

В подвале, где держали арестованных активистов, было темно, пахло конским потом и мочой. В щели еле пробивался свет.

Заключенные слышали выстрел.

— Убили парня,— сказал кто-то.

Голос, похожий на девичий, ответил ему:

— Нет, наверно, не в него стреляли. Попади пуля в тело, такого грохота не было бы.

— Какое у него тело? Кожа да кости.

Кто-то другой, с хрипотцой в голосе, сказал:

— Интересно, нашлась ли его мать?

— Говорят, это дело рук Гамло.

— Не может этого быть!

Кербалай приказал Зульфугару увести Бейляра. «От этой скотины пахнет навозом»,— брезгливо добавил он.

Вечер наступил внезапно. Снег заблестел в лунном свете. Казалось, землю осыпали голубой серебряной пылью. Рядом темнело здание мельницы, вдали едва проглядывались заснеженные горы.

Лежа на снегу, Бейляр понемногу приходил в себя.

— Ну, вот ты и воскрес,— сказал Зульфугар.

Бейляр с трудом поднялся и сел. Протер кулаками глаза.

— Где я?

— У дверей рая,— захохотал Зульфугар.

Через десять минут Зульфугар снова вытащил его в комнату. На сей раз Кербалай постарался придать своему голосу мягкость.

— Сынок, ты еще совсем ребенок. Тебя сбили с пути,— говорил он, перебирая четки.— Я гожусь тебе в отцы. Тебя подучили, вот ты и решил пойти против меня. Что тут поделаешь? Но я прощаю тебя. И даже предлагаю перейти на мою сторону. Ну, что скажешь?

— Я не могу стать предателем, Кербалай. И ты сам не должен предлагать этого.

— Почему предателем? Вначале ты ошибался, теперь ты осознал, а я простил тебя.

«Сейчас каждый человек на счету. В ближних селах едва набралось пятьдесят — шестьдесят мужчин, способных держать оружие. А если половина из них отвернется, с кем они останутся?» — Думал Кербалай. Имено поэтому до поры до времени никого не казнил. Все еще надеялся перетянуть на свою сторону.

— Нет, Кербалай, я не смогу пойти на это.

Гамло на этот раз стоял за спиной Бейляра. Он поднял руку и опустил кулак на голову парня. Перед глазами Бейляра пронеслись вытканные узором шерстяные носки, чарыки с загнутыми вверх носами.

— Уберите этого ублюдка, со временем он поймет, с кем имеет дело, и сам попросится к нам.

Бейляра увели. В комнату ввели крепко сбитого, среднего роста мужчину, чьи усы и борода были цвета соломы.

— Неужто это ты, Иман?

— Да, это я, Кербалай.

— Скажи мне правду, куда ты дел штамп и печать?

— Если бы дело было только в них, я сказал бы, куда их спрятал. Но ведь Советы имеют не только штамп и печать, у них есть столица, есть войска, артиллерия.

Иман был председателем сельсовета. Кербалай знал о его ораторских способностях.

— Иман, поверь мне, я на твоих глазах разрушу Советы. И над домом, где ты повесил красное знамя, вывешу свой флаг.

— Но ведь пока не разрушил, Кербалай? Когда разрушишь, я поверю.

Кербалай встал и приблизился к нему.

— Ты оказался неблагодарным, Иман. Я и на этот раз не трону тебя, и это будет продолжаться до тех пор, пока ты не поймешь свою вину и не раскаешься. Хорошо, иди. В свободное время я еще поговорю с тобой.

— Я буду ждать этого разговора. Что же касается раскаяний, то от меня их не жди.

Кербалай сделал вид, будто не расслышал последних слов.

У самой двери Иман вдруг остановился и, оттолкнув конвоиров, подошел к Кербалаю:

— У меня к тебе одна просьба.

— Говори.

— Мы враги. Ты можешь убить меня, закопать живым в землю. Поступай как знаешь — твоя воля. Но одна просьба: не трогай мою семью. Если хочешь рассчитаться со мной, убей, изрежь на куски, повесь, лишь чести не лишай...

— Я не воюю с женщинами, Иман. Иди с богом, я не трону твоей семьи.

— Только это я хотел услышать от тебя, Кербалай.

Всадники стояли в глубоком молчании, глядя на возвышающийся на вершине склеп с синим куполом, сложенным из глазурованного кирпича. Там была могила Ядуллы, сына Кербалай Исмаила. Каждый раз, в день его гибели, здесь ставили огромный котел и резали семь баранов. Крики и плач женщин разносились по всей округе.

Сейчас могила была завалена снегом. У подножья склепа виднелись волчьи следы, они, петляя, спускались в ущелье и исчезали там. В какой-то миг Абасгулубеку почудилось, что эти следы оставлены не волком, а Кербалаем. Он покинул могилу сына и пошел искать черную стаю, к которой можно было бы пристать.

Абасгулубеку захотелось быстрее уехать отсюда. Предчувствие надвигающейся беды охватило его. «Кербалай забыл сына»,— подумал он.

Он молча тронул поводья. На снегу виднелись конские следы: кто-то проезжал по дороге. Мороз шел на убыль. Временами даже показывалось солнце, затем облака, похожие на кучи хлопка, снова закрывали небо.

Халил, глядя на снег, рассыпающийся под копытами Араба, подумал, что, если днем подтает, ночью дорогу затянет льдом. И в жизни так: вначале сердце бывает мягким, а потом...

Дорога ушла от реки. У самого края ущелья что-то трепыхалось и билось в снегу. Халил соскочил с коня.

— Эй, что случилось? — крикнул Талыбов.

— Куропатка,— ответил Халил и приложил палец к губам. Проваливаясь по колени в снег, он дошел до большого камня, бросился на землю, но птица упорхнула от него. Он приподнялся на коленях и во второй раз бросился на землю. С минуту неподвижно лежал на снегу. Затем, вытянув вперед руки, поймал прижавшуюся к скале куропатку.

Все трое внимательно разглядывали птицу, будто ви-

дели впервые в жизни. Халил подумал, что, если бы Нариману, его сыну, было год-полтора, он отвез бы куропатку ему.

— Хорошее мясо у этой птицы, наверное,— не сумев скрыть своих мыслей, проговорил Талыбов.

«Птицы — несчастные существа, в особенности красивые. Все хотят иметь на столе куропаток и фазанов. Красота — источник их бед и горестей»,— думал Абасгулубек, но не сказал Халилу ни слова, хотя очень желал, чтобы тот отпустил птицу.

Халил положил куропатку за пазуху. Немного погодя птица отогрелась, наградив и его своим теплом.

Дорога пошла вниз, исчезла из виду и, снова вырвавшись из ущелья и покружив, врезалась в село. Уже виднелись невысокие плоскокрышие дома. Синий дым, ровно поднимавшийся над крышами, вонзался в небо. По столбам дыма можно было сосчитать число дворов. Из села тоже, наверное, были видны фигурки трех всадников на перевале.

Солнце садилось. Наступал синий, пронизывающе-морозный вечер.

Коротко посовещавшись, они решили провести ночь в Дейнезе. У Халила в этом селе был друг. Они переночуют здесь, поговорят с людьми, узнают новости.

Всадники проехали несколько домов. Наконец Халил подвел коня к колючей ограде.

— Самед, эй, Самед! — крикнул он.

Мужчина, держа на руках корзину с кизяком, вышел из конюшни. Над корзиной поднимался пар.

— Ты еще принимаешь гостей?

Хозяин дома, не говоря ни слова, положил на землю корзину. Толкнул сплетенную из веток ивы калитку. Халил сжался под укоризненным взглядом Абасгулубека: его друг принимал их более чем холодно. Сойдя с коня, он приблизился к хозяину:

— Так ты принимаешь гостей, Самед?

Самед пожал плечами, прошел вперед и взял у Абасгулубека поводья.

Абасгулубек привык, чтобы его всюду принимали радушно, с открытым сердцем. А этот Халилов «друг» явно не был в восторге от того, что они посетили его дом. Абасгулубек слез с коня, кивком головы предложил Талыбову последовать за ним.

— Кони голодны, Самед.

Самед нехотя посмотрел на сено, сваленное на крыше конюшни.

— Что-нибудь найду, дам.

Ответ хозяина окончательно озадачил гостей. Какая-то женщина вынесла самовар и стала разжигать его. Лицо ее было закрыто чадрой. Когда из трубы стал выбиваться огонь, она ушла.

— Кажется, твой друг не очень рад нашему приезду,— вполголоса сказал Абасгулубек, теребя пуговицу на пиджаке Халила.

Но не первый день Халил знал Самеда. Друзьями были и их отцы. Раньше они часто гостили друг у друга. И тем обиднее был для Халила нынешний прием.

Когда они вошли в дом, Самед превратился в совершенно иного человека. Он подбегал то к Халилу, то к Абасгулубеку, говорил и говорил и никак не мог остановиться.

— Ради аллаха, не обижайтесь на меня. По соседству живет человек, обо всем доносит Гамло, не к ночи будь помянут! Когда вы приехали, он стоял за оградой, подслушивал.

В комнате было холодно. Самед засуетился, затопил стенную печь. Принес поднос с горящими углями и поставил его посредине комнаты, чтобы гости согрели руки. Затем разложил на ковре подушечки и мутаки.

— Брось ты эти хлопоты, Самед, лучше расскажи, что нового в селе?

— Дело дрянь, Халил. Каждый день все село сгоняют на площадь, требуют, чтоб и мы взялись за оружие. Но мало кто слушает их.

— А где Иман? — спросил Абасгулубек.

Самед рассказал об аресте Имана, о таинственном исчезновении матери Бейляра, сообщил, что подручные Кербалая пригнали юношей из окрестных сел в Келаны, где их учат владеть оружием.

— Дело дрянь,— повторил он.— Во всем чувствуем нужду. Что такое спички — и их нет. Отдать соседу коробок — все равно что подарить коня.

— Пусть Кербалай Исмаил откроет фабрику спичек.

Самед повернулся к Талыбову, сказавшему это, и улыбнулся.

— А что думают твои соседи? — вмешался в разговор Халил, сняв с головы шапку с красной звездочкой и поло-

жив ее в огромную нишу, куда складывали постельные принадлежности.

— Кто знает! Одно ясно: добром это не кончится.

Чтобы высушить шерстяные носки, Халил прошел к печи. Когда он ловил куропатку, в сапоги набилось снегу.

Талыбов устал от долгой езды на коне. Все тело ныло от боли. Он полулежал, вытянув ноги и положив под голову ладонь.

Абасгулубек сказал Самеду:

— Погляди, можно ли будет позвать сюда соседей?

— Это нетрудно. По вечерам мы обычно собираемся у кого-нибудь. Зимняя ночь длинна, а у нас есть сосед — прекрасный сказочник. Иногда мы слушаем его до самого рассвета. Только боюсь, и тот негодяй приползет сюда.

За окном стало совсем темно. Село затихло. Только то в одном, то в другом конце лаяли собаки.

Послышался неясный шум, затем скрипнула калитка. Самед вышел. Гости поднялись, привели в порядок одежду. Талыбов сунул руку в карман: если что, он сумеет быстро выхватить револьвер. В коридоре застучали шаги, послышались голоса.

— Проходите, проходите,— сказал Самед. В комнату вошли человек пять крестьян. Впереди был белобородый невысокий старик; приложив обе руки к груди, он поклонился гостям. Абасгулубек тепло поздоровался с ним, спросил о здоровье.

Чувствовалось, что старик очень доволен таким приемом: сам Абасгулубек оказал ему честь.

Всем своим обликом сказочник напоминал пророка Хызра из древних легенд — доброго, мудрого, по первому зову несущегося на помощь людям, попавшим в беду.

— Мы услышали, что приехал Абасгулубек, и решили навестить тебя. Ты приехал вовремя, ты всегда приносил мир и спокойствие.

Абасгулубек улыбнулся и, предложив сесть, вернулся на прежнее место.

— Что слышно о Кербалае? — Вопрос Абасгулубека был обращен ко всем, но и на этот раз заговорил старик:

— Карабагларцы хвастают, что умрут, но не сложат оружия.

Самед стоял у двери, по его спокойствию можно было понять, что собрались близкие, верные люди.

— Не случайно их село называется Карабаглар —

Черные сады. Они привыкли одеваться в траур. Мы не присоединимся к ним.

Самед предупреждающе кашлянул. В комнату вошел человек, которого он остерегался. Пришедший поздоровался с гостями, удрученно сообщил о болезни коровы и сел.

Некоторое время разговор шел о падеже скота, о недостатке сена, об особенно суровой в этом году зиме.

Ближе к полуночи крестьяне ушли. А приезжие вышли во двор, чтобы подышать свежим воздухом и дать возможность жене Самеда проветрить комнату, приготовить постель.

Морозило. Снег хрустел под ногами. Халил направился к конюшне. Он приоткрыл дверь, в темноте не было видно коней. Халил тихо позвал коня: «Араб». Звякнула уздечка, конь, узнав голос хозяина, качнул головой. Халил подошел, вынул из кармана кусочек сахара, прижал ладонь к мокрым мягким губам коня.

Халил почему-то вспомнил сына. «Дай бог, чтобы он вырос сильным, смелым, верным»,— прошептал он.

Абасгулубек зашел в конюшню следом за Халилом, и они вместе вернулись назад. Абасгулубек прошел в комнату, а Халил остановился поговорить с Самедом. Дело в том, что он приметил в доме незнакомую женщину.

— Кто это, Самед? Может, ты привел вторую жену?

— Типун тебе на язык, это же жена Имана!

— Жена Имана? Разве у нее нет родственников?

— Ее ищут люди Кербалая. Никто не должен знать, что она прячется у меня.

Когда Халил вернулся в комнату, постели уже были разостланы. Талыбов стоял, расстегнув пуговицы косоворотки, и нещадно дымил папиросой. Халил снял под одеялом брюки. Вытащив из кармана гимнастерки платок, обвязал им голову. Абасгулубек лежал, сложив руки на груди, задумчиво глядя на потолок.

Талыбов не хотел раздеваться и ложиться, пока не придет Самед. Ждал, когда запрут ворота. И только когда хозяин дома вошел в комнату, он разделся, накрылся одеялом, воровато оглянувшись, вытащил из кармана брюк револьвер и незаметно сунул его под подушку. Самед задул лампу и тоже лег. Немного погодя послышался храп Абасгулубека. Халил переворачивался то на один, то на другой бок и время от времени сонно бормотал:

— Когда я не дома, никак не усну...

Талыбов тоже долго не мог уснуть. Его удивляло спокойствие товарищей. Они попали в самое логово врага. Каждую минуту их могут приставить к стенке. Но они ведут себя как ни в чем не бывало, вроде ничего и не боятся. И на что они надеются?

Село погрузилось в тишину. Даже собаки перестали лаять. Только время от времени в курятнике хлопали крыльями куры, и снова все затихало. Последним заснул Талыбов. Он долго боролся со сном, но усталость одолела и его.

Абасгулубек проснулся от резкого удара прикладом в дверь. Он разбудил Самеда:

— Вставай. Гости пришли недобрые.

Самед подошел к окну, спросил:

— Кто?

— Открой дверь!

— Это Гамло,— тихо шепнул Самед и стал одеваться. Когда он пошел открывать дверь, все уже проснулись. Абасгулубек, стоя посреди комнаты, торопливо повязывал ремень. Только сейчас он пожалел, что не взял с собой оружия.

Едва Самед откинул засов, Гамло, резко оттолкнув его, ворвался в дом. Он споткнулся о казан, выругался, ударом ноги отбросил его в сторону.

— Отвечай, где жена Имана?

Самед думал, что Гамло пришел, узнав о приезде Абасгулубека. И в душе был готов к самому худшему. Пропустив Гамло вперед, он уже искал топор, еще с вечера на всякий случай прислоненный к углу. Вопрос Гамло застал его врасплох. Что ему теперь делать? А Гамло уже рвался в комнату, где спали дети и жена.

— Я знаю, жена Имана прячется у тебя! Я отдам ее ребятам из Келаны, пусть они...

— Куда лезешь? Там же дети!

Гамло скрипнул зубами.

— Ты не проведешь меня, Самед. Я разделаюсь с тобой. Эту шлюху видели в твоем доме.

— Тебя направили по ложному следу.

Открылась дверь соседней комнаты, и на пороге, подобно изваянию, возник Абасгулубек. Чуть позади него виднелся Халил. Увидь Гамло самого господа бога, и то растерялся бы меньше. Он оторопело заморгал глазами и даже чуть отступил назад: «Да, так и есть — Абасгулубек».

— Мы и не подозревали, Гамло, что ты воюешь с женщинами. Женщинам не мстят за мужей, Гамло, это бесчестно.

Гамло был не в силах ответить, даже забыл о винтовке в руке. Казалось, его околдовали. Единственно осознанным было желание уйти, бежать из этого дома. Гамло шагнул к двери, вновь задев чугунный казан, и, больно ударившись о притолоку, вышел.

В конце села хлопнула калитка, скользнули чьи-то тени. Затем все успокоилось. Только в конюшне время от времени били копытами и фыркали кони.

Абасгулубек сидел на ковре. Худыми, костлявыми пальцами он свернул цигарку, облизал ее, зажег. Халил почувствовал, что Абасгулубек раздражен. Он тоже оделся, повязал широкий ремень, расправил складки гимнастерки.

Талыбов не мог надивиться выдержке Абасгулубека.

«Двух его фраз оказалось достаточно, чтобы бандит спасовал. Откуда у него эта уверенность и решимость? Такому не нужно оружие. Видно, Шабан-заде не случайно рекомендовал его».

— Люди пришли и ушли, а мы даже не почитали им газет,— неожиданно для самого себя произнес Талыбов.

Абасгулубек не был близок с Иманом. Встречал иногда на собраниях, слышал его выступления. Иман, казалось, был прирожденным оратором. Шабан-заде часто предоставлял ему слово, искренне гордясь этим, как он говорил, сельским вожаком.

Сейчас Гамло ищет его жену. Хочет обесчестить ее. Тот самый бандит Гамло, кто больше всех болтает о чести и мужском достоинстве.

Абасгулубек подозвал Самеда.

— Жена Имана здесь?

— Да.

— Халил, надо забрать ее и спрятать у верных людей в селе Азиз.

Никто не протестовал против этого предложения. Тяжелый груз, казалось, свалился с плеч Самеда. Гамло уже знает, что Новраста прячется у него, обмануть его трудно. Притом он видел Абасгулубека. Обязательно вернется. Поэтому безопасней перевезти жену Имана в другое место. Только так можно спасти ее.

Самед отправился предупредить Новрасту.

Жена сидела в комнате одна. Она прикрыла лицо

платком так, что виднелся лишь нос. Он всегда шутя говорил, что ей надо прятать именно нос, а она выставляет его наружу. Но сейчас ему было не до шуток. Он спросил:

— Где Новраста?

Жена показала на нишу, куда складывали одеяла и матрасы. У Самеда сжалось сердце. Его задело то, что Новраста, посчитав, что он не сможет защитить ее, спряталась в нише. И тут он снова подумал об Абасгулубеке: «Не будь его, Новрасту ничто не спасло бы».

— Побойся бога, пожалей детей,— шепнула жена Самеду.

— Перестань болтать лишнее! — прикрикнул он на нее.

— Не в добрый час пришли к нам гости.

Раньше жена гордилась бы тем, что их дом посетил Абасгулубек, хвасталась бы перед соседками. А теперь и она боится.

— Лучше встань и готовь Новрасту в дорогу, они увозят ее.

Самед вышел из комнаты. Жена скинула из ниши на пол стеганое одеяло, несколько мутак и подушек. Новраста вышла из ниши, поправила растрепанные волосы, лицо ее было красно. Конечно, она слышала весь разговор.

— Вы подвергаетесь огромной опасности. Лучше я вернусь в свое село.— Новраста готова была заплакать.

— Не расстраивайся, Новраста, Абасгулубек отвезет тебя в безопасное место. А там, глядишь, и Иман выберется из беды.

Самед вывел коней, оседлал их, Абасгулубек, подобрав полы шинели, вскочил в седло.

— Что случилось, Самед? — спросил Абасгулубек.

Самед заглядывал за скирду сена, осматривал двор.

— Вдруг Гамло оставил кого-нибудь подглядывать за нами,— шепотом ответил Самед.— От него можно ожидать чего угодно.

Из дома вышел невысокий человек в бухарской папахе, в шинели, в сапогах. За плечом его чернело дуло винтовки.

— Кто это, Самед? — тихо спросил Халил.

— Это Новраста, жена Имана. Одели в мое платье. Так ее никто не узнает.

Халил подвел Араба к Новрасте, помог ей сесть в седло и подошел к Самеду, предложившему ему своего коня. Простившись с хозяином, они тронулись в путь.

...Иман совершил ошибку, поручая жену Кербалай Исмаилу. Когда его увели, Гамло, вкрадчиво улыбнувшись, сказал:

— Нельзя упускать такой случай, Кербалай. Я говорю о жене Имана.

Кербалай поднял голову и рассеянно взглянул на Гамло.

Мстительная улыбка застыла на губах сообщника.

— Хозяин, это прекрасная возможность отомстить Иману.

— Какая возможность?

— Жену Имана...

— Замолчи, подлец! Я жесток, но не бесчестен! Понял? Протри глаза и внимательно оглядись вокруг себя.

Гамло промолчал, повернулся и вышел из комнаты. Но он не отказался от мысли отомстить Иману. Теперь Иман в его руках. В любую минуту он может стереть его в порошок. Но надо придумать такую месть, чтобы Иман сломался, приполз на коленях просить о милости. «Друг есть друг, а враг — это враг,— думал он.— Почему я должен придерживаться законов чести с врагом?»

Взяв с собой нескольких человек, он отправился в Дейнез. Меньше всего в ту ночь он ожидал встречи с Абасгулубеком. Как это случилось, что он не смог даже поднять винтовку? Никогда раньше с ним такого не бывало.

Выбежав из дома Самеда на улицу, он упал на снег, в гневе и досаде кусая руки, но вернуться назад не решился. Он никогда не простит себе этой слабости. Но он не забудет и тех, кто был свидетелем его падения. Какие оскорбления бросал ему в лицо Абасгулубек!

«Я убью Абасгулубека, убью Халила. Чем больше я уничтожу людей, тем больше прославлюсь, тем сильнее будут люди бояться меня. Я стану известней самого Абасгулубека. Только убив его, я обрету спокойствие. Все равно я не из тех, кто умирает в постели под гнусавый шепот моллы».

Он хотел вычеркнуть из памяти свой позор, беспомощность и страх, испытанные в доме Самеда...

На этот раз впереди ехал Абасгулубек. Ночное происшествие и присутствие женщины сделали его более осторожным. Он старался выбрать наиболее безопасную и удобную дорогу.

Хвост его коня плясал перед мордой коня Талыбова.

Они ехали долго. Наконец Талыбов, обессиленный ездой и холодом, сказал:

— Товарищ Шадлинский, давайте сделаем привал.

Впереди возвышались черные скалы. Абасгулубек повернул коня к ним. Здесь могли укрыться и люди и лошади.

Талыбов с трудом сполз с седла.

Новраста все еще сидела на коне. Абасгулубек направился к лесу. Халил глядел вслед ему, пока тот не скрылся за деревьями. Халил повернулся и снова увидел в седле Новрасту.

— Почему не слезаешь, сестра?

— Слезаю,— послышался шепот.

Халил отвернулся, снова посмотрел в ту сторону, куда ушел Абасгулубек. Тот уже возвращался, неся охапку хвороста.

— Брат, я не могу слезть.

Халил подошел к коню. Новраста оперлась рукой о его плечо и неумело спрыгнула на землю.

— Да продлит аллах твою жизнь,— сказала она.

Халил отвел Араба к другим лошадям, расслабил подпругу, вернувшись, взял из рук Абасгулубека хворост, разложил костер.

— А чем мы разведем огонь? У кого есть бумага? — спросил Абасгулубек.

— У Талыбова,— ответил Халил.— Теперь газеты нам долго не пригодятся.

Талыбов, колеблясь, поднялся.

Через четверть часа они уже сидели вокруг весело разгоревшегося костра. Новраста устроилась между Халилом и Талыбовым. В огромной папахе, сползшей на глаза, в непривычной мужской одежде она выглядела очень смешно. Абасгулубек подумал о том, что надо както поддержать, успокоить ее.

— Утром мы будем в Келаны,— проговорил он.— Я слышал, Иман еще там. Первым делом попрошу Кербалая отпустить его. Мне кажется, он послушается меня. Иман хороший товарищ. Кто-нибудь из вас знает его?

Халил понял, куда клонит Абасгулубек, и тотчас поддержал его:

— А как же, хорошо знаем. Советская власть не оставит его в беде. Мы вырвем Имана из рук Кербалая.

Костер понемногу угасал, покрывался белой пленкой золы.

— Подложить еще хворосту? — спросил Халил.
— Скоро рассветет, надо двигаться в путь.
Вдали послышался топот и ржанье коня. Араб хотел ответить ему, поскреб землю копытом, потряс гривой, но, почувствовав на себе руку хозяина, ограничился фырканьем. Халил погладил коня и, переглянувшись с Абасгулубеком, затоптал костер.
Уже рассвело, когда они свернули в село Азиз.

Ширали, свояк Халила, жил в этом селе. До сих пор им не часто удавалось посидеть вместе, погостить друг у друга. Халил редко заезжал в Азиз. И когда, случалось, забредал, то останавливался в доме Ширали часа на два, не больше. Выпивал пару стаканов чаю, облокачивался на мутаки, чтобы прогнать усталость. Свояк, не теряя времени, резал барана, жарил шашлык. И только когда садились за еду, перекидывались несколькими фразами:
— Как дети?
— Хорошо.
— Что нового в селе?
— Все в порядке.
Затем Халил торопился в путь.
— И поговорить не успели.
— Да, нас не назовешь болтунами.
Оба смеялись шутке, затем расставались. А после того, как стали создаваться колхозы, даже этих коротких встреч не стало.
Жена Ширали только что подоила корову и внесла кувшин с молоком в дом. Ширали, приоткрыв дверь, произнес:
— У нас гости.
Не сказал — кто, откуда. Женщина глянула в окно. В глубине двора виднелись кони, слышались мужские голоса.
— Кто же приехал, Ширали?
Ответа она не дождалась. Чья-то рука мягко опустилась на ее плечо. Движением плеча она скинула руку.
— Ты что, сдурел, Ширали? Сам говоришь — гости. Иди встречай их, а я приготовлю что-нибудь.
Она все еще глядела во двор.
Эти же руки обняли ее и привлекли к себе. Она сделала движение, чтобы вырваться, и тут, увидев, кто обнимает ее, громко вскрикнула.

Перед ней стоял незнакомый мужчина, одного с ней роста.

В страхе она отшатнулась и прикрыла рукой рот. «Кто это? Откуда он появился? Как это случилось, что он проскочил мимо Ширали? Где Ширали?»

— Да стану я твоей жертвой, брат, не трогай меня. Заклинаю именем аллаха!

Руки снова потянулись к ней.

— Я сейчас позову Ширали. Если он увидит, изрежет на куски и тебя и меня!

Мужчина снова попытался обнять ее. Страх и ужас придали женщине силы. Она резко оттолкнула незнакомца и попыталась выскочить из комнаты. Руки ее уткнулись в мягкие и высоко поднятые карманы гимнастерки. Словно обжегшись, она отняла руки и отошла на середину комнаты. Начиная что-то понимать, внимательно посмотрела на незнакомца.

Снова открылась дверь, и в комнату, давясь от смеха, вошли Халил и Ширали.

— Свояченица, что это такое? Я застаю тебя с мужчиной?!

— Конечно, это твои проделки, Халил. Только ты мог одеть женщину в мужское платье.— Она уже узнала в этом испугавшем ее незнакомце Новрасту.

Халил пошутил о женской неверности и коварстве, затем взял Ширали под руку и вышел из комнаты.

— Скажи,— спросил он, когда они оказались на веранде.— Что нового? Не обижают вас?

— Пока меня не трогали. Пропала мать комсомольца Бейляра. Ищут, ищут, нигде не могут найти.

Небо светлело, выхватывая из мрака вершины заснеженных гор. В домах гасли желтые огоньки, и сразу же темнели окна. Крестьяне выгоняли скот. В соседнем дворе рубили дрова.

— Мне надо сделать распоряжение по дому,— сказал Ширали. Халил понял, что тот хочет зарезать в их честь барана, задержал его:

— Ты никуда не пойдешь. Мы сейчас едем.

— Халил, в мой дом приехал такой человек, как Абасгулубек. Разве я могу отпустить его, пока он не отведает хлеба-соли.

— Подожди. Выслушай сначала. Мы едем к Кербалай Исмаилу. На обратном пути снова заедем к тебе.

— Почему вы туда едете? Вам что — смерти захотелось?

Халил, как мог, успокоил свояка.

— Мы оставляем у тебя жену Имана,— сказал он на прощанье.— Главное, чтобы ни одна душа не знала о том, что она прячется здесь. Учти, Гамло всюду ищет ее.

Кербалай Исмаил съел чихиртму, вытер об усы жир с пальцев. У юной служанки, которая наклонилась, убирая тарелки, в вырезе платья виднелись белые груди. Кербалай Исмаил несколько раз махнул четками и сказал про себя: «Проклятье тебе, шайтан». Но глаз от выреза отвести не мог, несмотря на то что позвал в помощь всю свою благочестивость. Не сдержавшись, он протянул руку к ней. Женщина была склонна к близости. Кербалай обнял ее, привлек к себе. Но в тот момент, когда она подняла глаза, что-то в ее лице неприятно поразило его, и он оттолкнул служанку.

— Я изрежу тебя на куски и брошу собакам, шлюха. Веди себя прилично. Еще раз ступишь сюда ногой, считай себя мертвой.

Женщина застегнула ворот платья, закрыла платком красное от стыда и испуга лицо и, собрав со стола, вышла.

«Когда у человека власть, все хотят его направить по дурному пути»,— думал Кербалай, когда служанка ушла. Он стал перебирать четки. Отшлифованные камешки выскальзывали из-под пальцев, словно рыбешки.

Удача, рассуждал Кербалай, подобна этим камням. Трудно удержать ее в руках. Но пока везет, он постарается сохранить свободу и власть.

Вошел Гамло. Глаза его были налиты кровью. Кербалай спросил о причине его гнева.

— Ты еще спрашиваешь! Мы, словно турачи, сунули головы в кусты и считаем, что нас никто не видит. Абасгулубек свободно, словно у себя дома, разъезжает по селам. Он не остановился в Карабагларе и едет сюда. В Дейнезе я повстречал их. Они ночевали в доме Самеда. Хотел свести счеты, опоздал! Сам не понимаю, как это случилось, что они выскользнули из моих рук.

Кербалай оперся рукой о ковер, поднялся. Стал прохаживаться по комнате.

— Разве я не приказал Вели, чтобы он вернул их?

— Родственники не считаются с тобой, хозяин! Не считаются! Надеешься на родного брата, а он делает так, что все оборачивается во вред тебе. Выставляет тебя круг-

лым дураком, а сам обретает славу доброго и хорошего человека.

Слова Гамло были остры, как нож. Он бил наверняка.

— А ты что предлагаешь? Что советуешь?

— Мы сверх всякой меры нянчимся с Абасгулубеком.

— Он один протянул мне руку в дни беды. Пойми, я не могу бороться с ним.

— А он? Разве он не борется с тобой? Еще как борется! Для чего же он едет? Нашелся благодетель! Когда он принесет врагам твою голову, они нацепят ему на грудь еще одну железку. Времена изменились, Кербалай. Я не знаю, кем он был раньше, но сейчас Абасгулубек — враг.

Из окна виднелась площадь, замыкавшаяся мельницей. В центре площади появились три всадника. Их лица были обращены в сторону Кербалая и Гамло. Конечно, они не видели их, а только смотрели в сторону дома.

— Я никак не разгляжу, Гамло. Посмотри, кто это?

— Кто, кто, конечно, Абасгулубек!

Гамло поднял винтовку и положил руку на затвор.

— Разве не о них я битый час толкую тебе? Видишь, куда они заявились? Нечего говорить о былой дружбе. Если ты взял винтовку и помогаешь мне, ты — друг. А если предлагаешь мне сдаться, какой же ты, к дьяволу, друг? Я убью всех троих. И всем скажу, что это сделал я. Чтоб никто, упаси бог, не винил Кербалая.

Кербалай отвел в сторону дуло его винтовки.

— Будь они трижды врагами, мы должны остаться верны обычаям нашего народа. Сначала поглядим, что они задумали, чего хотят, с какой целью пустились в путь. Выйди на балкон, встреть их.

— А может, пригласить в дом?

Кербалай понял сарказм Гамло. «Таков уж человек, только дай ему волю, так он на голову сядет, начнет лягаться в собственном святилище. Я привел и сделал этого медведя человеком, а он норовит подмять и меня».

В последнее время Кербалаю было все трудней и трудней сдерживать сообщника. Если бы Кербалай хотел, он мог быстро избавиться от него. Правда, Гамло дьявольски силен, с ним не справятся два-три человека. Но на то он и Кербалай — придумает что-нибудь. Найдет и на него управу. Но пока он не смеет отказаться от услуг Гамло. Без его жестокости, умения быстро убрать неугодного че-

ловека все побросали бы ружья и разошлись по домам. И остался бы Кербалай один-одинешенек. Через день-два с ним было бы покончено.

Да, Гамло с каждым днем становится все опасней. В один прекрасный день он совсем выйдет из подчинения. Вошел во вкус, привык убивать людей. Скольких уже отправил на тот свет, а все мало.

Кербалай выжидал. Как бы ни спешил путник, дорога не становится от этого ни короче, ни длинней. Рано или поздно на куче золы появится линия, которая решит судьбу Гамло.

— Выйди на веранду. В разговоре со мной ты в карман за словом не лезешь, попробуй ответить им.

Всадники стояли на прежнем месте. Они напоминали конников, выстроившихся на старт перед скачками.

«Какая удобная мишень,— с досадой подумал Гамло.— Выстрелить бы под ноги лошадям... Взовьются на дыбы, опрокинут всадников. А затем сделать пару выстрелов поверх голов — и тогда они насмерть растопчут этих подлецов! Кербалай не дает разрешения. Плевал бы я на разрешение, не будь его рядом!»

— Кого вам надо? — спросил он приехавших.

— Спрашивают всегда хозяина.

Гамло скрипнул зубами. Абасгулубек знал, как уколоть его.

— Он не хочет вас видеть.

Эта фраза тоже нашла свою цель. Абасгулубек отпустил поводья, конь двинулся вперед. Честно говоря, он хотел повернуть и уехать, но, увидев, что конь идет к дому, изменил свое решение. «Скажут, что я испугался, что было достаточно одного слова и Абасгулубек уехал». Он подъехал прямо к балкону.

— С хозяином всегда договоришься, не будь рядом слуг,— сказал он.

Кербалай вслушивался в перебранку. Поняв, что это добром не кончится, он показался на веранде.

— Проходи в дом, бек,— сказал он.

Абасгулубек быстро поднялся по ступенькам. Гамло прошел в другую комнату, чтобы не встречаться с ним. «С какой целью Кербалай Исмаил пригласил его в дом? Что скажет ему? Ведь он даже тени его боится. Для чего он это делает? И Абасгулубек так взбежал по лестнице, точно к себе домой».

Кербалай стоял посреди комнаты, чуть прищурив гла-

за. Чтобы не показаться старым и усталым, он подбочелился, старался держаться прямей.

На всех свадьбах, празднествах раньше он сидел ниже Абасгулубека. И всегда считал себя менее влиятельным и даже в какой-то степени зависимым от него. Но сейчас во что бы то ни стало он должен держаться гордо, ничем не выдать слабости. Поначалу он даже решил не подавать руки. Но как только Абасгулубек приблизился, Кербалай поспешно протянул ему руку.

Помолчали. Абасгулубек считал, что первым должен заговорить хозяин. Но он приехал не по приглашению, и ясно, что Кербалай не очень-то рад его приезду. В конце концов пришлось начинать Абасгулубеку.

— Кербалай, что это ты решил податься в горы? Еле нашли тебя,— улыбаясь, сказал он. Уверенность его тона, как ни странно, успокаивающе подействовала на Кербалай Исмаила.

— Вы разожгли такой пожар, что самое время убраться подальше.

Не дожидаясь приглашения, Абасгулубек сел. Кербалай тоже опустился на ковер, потупив глаза и задумчиво теребя бороду. Можно было подумать, что он рассматривает узоры ковра. Абасгулубек начал издалека:

— Слава богу, хороший снег лежит. Видать, урожайный будет год.

Гость заговорил об урожае, и Кербалай воспринял это как намек, что они могут оставить его без хлеба, обрекут на голод.

Продолжая внутренний диалог, Кербалай сказал вслух:

— Бойтесь за поля, что лежат ниже Кара-гая. Вы их орошаете водой с наших гор. А за нас не беспокойтесь: наши неполивные земли всегда дадут урожай.

— В следующем году снег может и не выпасть.

— Муравей заранее готовит свои запасы,— ответил Кербалай.— Ты не должен был, Абасгулубек, встревать в это дело. Мы всегда оказывали помощь друг другу. Делили с тобой хлеб-соль. Трудно забыть, перешагнуть через все это.

— Что тебе сделали Советы?

— Что сделали?!

О, он мог бы рассказать многое. Всего не перескажешь! Было из-за чего ненавидеть новую власть. Пришел день, и ненависть выплеснулась из берегов, снесла, смыла все плотины.

В Карабагларе был избран комитет бедноты. Те, кто раньше толкались в его дворе в надежде, что и им перепадет кусок с хозяйского стола, теперь смело стучались в ворота.

Над домом с покосившейся крышей и единственным окном висело знамя. Говорили, что это знамя сшито из ткани, которую Иман — председатель комбеда — купил для матраса. Злые языки судачили, что Новраста, жена Имана, устроила ему за это головомойку.

Знамя Имана пользовалось большим уважением. О, если бы это знамя принесли издалека! И никто бы не знал, кем оно сшито,— тогда еще куда ни шло... Верить и поклоняться можно лишь тому, что далеко, недоступно, непостижимо. Разве он склонит голову и пройдет под знаменем, которое повесил Иман?

Иман несколько раз навещал его. «Кербалай, ты должен сдать зерно,— говорил он.— Этого требует правительство».

Он приходил и прикладывал свою огромную, вырезанную из дерева, в форме звезды, печать на куче зерна. На папахе председателя тоже была пятиконечная звезда. После того как ставилась печать, Кербалаю казалось, что из кучи пшеницы выглядывает голова Имана. Печать прикладывали на случай, если Кербалай решит растаскать зерно.

Однажды он сказал Иману:

— Разве мои предки, отец и дед, задолжали горожанам? Разве вы когда-нибудь дарили мне хлеб? Вот ты пришел и требуешь, чтобы я сдал зерно. Но ведь я сам сеял и растил эту пшеницу.

— Ты говоришь, что не должен рабочим? Еще как должен! Именно они совершили революцию.

Однажды ночью Иман вместе с членами комбеда вошел в его двор. Облазил все углы, заглянул туда, где хранилось сено.

Кербалай все это время стоял на веранде в нижнем белье, накинув на плечи чоху. Он старался унять свой гнев, но это ему плохо удавалось.

Эти голодранцы посреди ночи ворвались к нему. Шарят по всем углам, всюду суют свой нос. И даже не скажут, что ищут. Слева от веранды работники Кербалая вырыли ямы и закопали в них большие глиняные кувшины. Один из членов комбеда открыл крышку сосуда. Закатав рукав, сунул в него руку и сразу же отошел.

— Что вы ищете? — не выдержав, крикнул Кербалай.— Если вора, то он в кувшин не влезет.

Иман тогда все же попытался успокоить его:

— Не принимай близко к сердцу, Кербалай. Таково требование времени. Ведь мы не говорим тебе ничего плохого.

Они вошли в дом. Голодранцы, конечно же, знали ходы и выходы, все щели в его доме. Едва войдя, Бейляр схватился за край ковра и поднял его. Кербалай сразу же встал на другой край. Медленно ступая, он надвигался на Бейляра, и с его приближением Бейляр наклонялся,— наконец рука коснулась земли, и он опустил край ковра.

— Что ты себе позволяешь? Может, этот ковер соткала твоя мать? Или я его унес из вашего дома?

— Отойдите!

Иман взял Кербалая под руку и отвел в сторону. Завел с ним какой-то разговор. Видимо, хотел отвлечь его внимание.

Бейляр скрутил и сложил в угол ковер. Затем обвел взглядом комнату.

— Ты что, золото ищешь?

— Сам знаю, что ищу.

Он взял из рук одного товарища шомпол и с силой воткнул в пол. Шомпол до половины вошел в земляной пол. С трудом выдернул его обратно. Отступил на два шага, снова воткнул в землю. Земля оказалась твердой.

— Зря тычешь, ямы тут нет,— сказал Иман.

Бейляр передал шомпол товарищу и снова постлал ковер. Подошел к Кербалаю. Чуть смутившись, сказал:

— Простите.

Искренне ли он говорил? Нет! Если бы нашли то, что искали, он разговаривал бы иначе.

Кербалай, поняв тогда, что они проиграли, перестал сдерживаться.

— Молокососы! — кричал он.— Боже, кто нами правит! Прощелыги, голодранцы!

— Где спрятано зерно? — строго спросил Иман.

— О каком зерне говоришь?

— Как будто не знаешь. Ты занимаешься саботажем.

— Что такое саботаж, Иман?

— Саботировать — значит подкапываться под здание Советов. В городе голод, Кербалай, а ты прячешь зерно!

Они ушли, ничего не найдя.

Меняле весь уклад жизни. В былые времена офицеры в

эполетах, начальник уезда, приезжая в Карабаглар, останавливались в его доме, советовались с ним, дорожили его мнением. И уезжали довольные, нагруженные подарками.

Его дом был лучшим в селе. Самые именитые люди направляли своих коней к этому дому. Потом рассказывали всюду, что Кербалай щедрый, гостеприимный, влиятельный человек. И никто не спрашивал, откуда у него богатство. А теперь из-под ног тащат ковер, ищут в его доме зерно.

Кто такой Иман? Еще вчера он выгонял в поле скот. В его хибарке даже не было тендира. Его жена, Новраста, заменила циновку ковром только после прихода новой власти.

Кербалай вспомнил и день, когда в село вступили большевики. Все мужчины, как один, собрались на площади. Жещины забрались на крыши домов. Село было взбудоражено. Кербалай думал, что люди, свалившие трехсотлетний трон, должны напоминать драконов. У идущего впереди человека, который, видимо, был большим начальником, на шапке ало горела звезда. Ремни, перекинутые через оба плеча, соединялись на спине. Китель был застегнут на все пуговицы. Мысленно Кербалай сравнил его с уездным начальником, который не раз останавливался у него в доме. Сравнишь нарядный мундир начальника с запыленным кителем этого человека? Его бритое лицо напоминало кору старого дерева. На боку в деревянной кобуре болтался маузер. Вооруженные люди рядом с ним шли, так плотно окружив его, что можно было подумать — ведут арестованного.

Они дошли до площади. Откуда-то приволокли доски, соорудили стол, накрыли его белым полотном. Но тот человек приказал, чтобы белое полотно сняли и нашли красную материю. Все переглянулись. Начальник остановил свой взгляд на Имане, который стоял, опершись на пастуший посох.

— Наше правительство на стороне бедноты. Ты тоже наш человек. Найди кусок красной материи.

Иман бросился к себе и через минуту вернулся обратно с перекинутой через руку красной материей.

До этого он стоял неподалеку от того места, где толпились Кербалай и сельские аксакалы. Теперь он перешел на сторону тех, кто представлял новую власть. В течение одного часа прибывшие, можно сказать, разворошили все село. Карабаглар разделился на два, если не враждующих, то уже противостоящих друг другу, лагеря.

Именно тогда Кербалай смутно почувствовал, что оста-

ется в одиночестве. Раньше он даже не вспоминал о тех, кто работал на его поле, пас его скот. Батраками занимался младший брат Вели, а иногда Гамло. И теперь рядом с ним остались только они.

Перепоясанный ремнями человек начал разговор именно с того куска красной материи. Он сказал Иману, что это — его кровь, кровь рабочих, скинувших царя с престола. Родная, священная кровь. И этой крови прольется еще много.

«Они станут топить людей в крови,— подумал тогда Кербалай.— Пришлый, не успев войти в село, уже толкует о крови. Да, кажется, настают трудные времена...»

Этот человек еще сказал, что они хотят, чтобы все люди на свете были равны.

Кербалай тогда бросил реплику, что пять пальцев руки и то разные, а как же быть равными людям?

— Станут,— ответил тот человек.— Земля будет разделена меж всеми поровну. Бедняки получат землю.

— Значит, все на селе станут голытьбой? — снова подал голос Кербалай.

— После того как земля будет роздана крестьянам, голытьбы не будет вовсе.

Позже красную материю прикрепили к древку, на которое опирался Иман. Знамя бедняков повесили над низеньким домом с потрескавшейся штукатуркой. И самый высокий дом в селе — дом Кербалай Исмаила — словно уменьшился в размерах, потерял значимость, вес.

Впервые прибывшие из города люди не посетили дом Кербалая, не отведали его угощений. После собрания Гамло сказал:

— Если разрешишь...

«Если разрешишь» — на языке Гамло означало, что он хочет убить человека.

— Повремени, Гамло. Жизнь длинна. Только что прибывшему на базар никогда не угодишь. Он всегда считает свой товар лучшим. Немного погодя начнет приноравливаться. Чиновники царя Николая приезжали в село раздва в год. Все поручали нам. В конце концов и этот примет нашу сторону.

— Не верится что-то. Голодранцу дай только власть, потом наплачешься!

Начальник, остановившийся в доме Имана, вечером собрал у него самых бедных крестьян села. Там же избрали новую власть. Наутро по селу бродил не угнанный на

пастбище скот. Иман надел старую гимнастерку, подпоясался ремнем, побрился, напялил на голову шапку с красной звездочкой. Взяв в помощники Бейляра, он обходил дворы, составлял списки бедняков.

В селе почти неделю искали нового пастуха.

...В один из этих полных тревоги дней Кербалай вышел в поле. Поле было совершенно зеленое, местами алели маки. Перебирая четки, он думал о будущем. То выпадал чет, то — нечет. Что случилось с этими четками? И камешки его как будто то увеличиваются, то уменьшаются...

На склоне холма дети пасли овец. Старушка, с вязаньем в руках, сидела на краю поля, охраняя посевы от скота.

Тут росла его, Кербалая, пшеница. «Всемогущий одарил нас в этом году хорошим урожаем. Но кто будет убирать пшеницу, кто станет ее жать?»

С холма, где он стоял, все вокруг было как на ладони. На площади толпился народ. Над одним из домов колыхалось красное знамя. Кербалай направился в село; знакомая тропинка привела его прямо к площади. Он двинулся туда, где стоял Иман.

— Чего будоражишь народ? Жили ведь раньше, и никто не умирал. Если не станете работать, кто вам даст хлеб? Наступит зима, снова приползете ко мне. Но тогда я выгоню вас за ворота!

Хотя при последних словах он сорвался на крик, почему-то все сказанное им прозвучало неуверенно.

Иман просунул пальцы за ремень.

— Напрасно ты считаешь нас бездельниками.

Впоследствии, когда Кербалай вспомнил этот разговор, он понял, что ошибался. Эти люди, собравшиеся на площади, были заняты делом, и притом каким!..

А теперь Абасгулубек еще спрашивает, что он не поделил с Советской властью!

— Даже врагу не пожелаю того, что сделали со мной большевики, бек!

Абасгулубек поднял голову. Его большие черные глаза печально глядели на хозяина.

— За свою жизнь мы видели многое, Кербалай. Я не говорю о том, что ты, меняя коней, за три месяца доехал до Мекки. Или о том, скольких стран коснулась твоя нога. Нет. Время наградило нас не только знанием жизни, людей, но и мудростью. Поэтому мы должны многое пересмотреть, переоценить. Должны выбрать дорогу, по которой будем идти дальше. Иначе придется худо...

Нелегкая шла меж ними беседа. И дело было не в словах, которые они говорили,— пред их глазами вставал весь жизненный путь. Их дороги сходились, расходились, перерезали одна другую, петляли, бежали рядышком. Но сейчас они проходили по склонам противоположных гор. И каждый ехал, погоняя своего коня. Казалось, они заново переживали свою жизнь. Как будто жизнь только что началась и нет еще ни добра, ни зла. Это потом они появятся, добро и зло. И еще горечь. Все забывается, но горечь остается, она оседает на сердце, иссушает и ожесточает его.

...В далеком Петербурге, который жители окрестных мест называли Фитилберк, свергли царя. Наступила вольная жизнь. После этого уже не стало ни законов, ни судов. Каждый делал все, что хотел.

Находившиеся в Иране русские войска возвращались на родину. Крестьяне, бог весть откуда достававшие оружие, шли на железную дорогу, чтобы останавливать поезда, разоружать солдат, отнимать у них продовольствие и одежды.

Однажды кто-то прострелил резервуар, стоявший на станции. Горела нефть,— черный дым поднимался в небо и, гонимый ветром, стлался над долиной.

— Вот что значит не бояться закона, Халил,— говорил тогда Абасгулубек, целый день не слезавший с коня. Он пытался предотвратить беду.

А раз на железнодорожных путях стоял вагон, груженный хлопком. Крестьяне сорвали с вагона замок и теперь растаскивали тюки. То тут, то там вспыхивал спор, дело едва не доходило до драки.

Этот хлопок был выращен и собран теми же крестьянами, которые сейчас грабили вагон. Хлопок был продан перекупщику, но сейчас, воспользовавшись тем, что хозяин удрал и была неразбериха, они считали возможным забрать это добро.

Абасгулубек направил коня к вагону.

— Остановитесь! — крикнул он.

Упали на землю тяжелые тюки, крестьяне повернулись к нему.

— Постеснялись бы! Позор! Для чего вы сюда пришли? Грабить?

— Николай свергнут, бек!

— Знаю. Вон поглядите, там едет эшелон солдат,— сказал он, показывая туда, откуда должен был появиться

паровоз.— Что они расскажут о нас, приехав на родину?

Абасгулубек, нагнувшись, что-то прошептал на ухо Халилу. Тот кивнул, снял с плеча винтовку и, подкидывая ее в руке, погнал коня вдоль железнодорожной колеи. Тюки снова погрузили в вагон. Абасгулубек закрыл дверь вагона, завязал проволокой.

— Я знаю, что вы задумали. Никто из вас не поднимет руки на солдат. Уходите подальше от железной дороги, я не позволю, чтобы пролилась кровь!

На другом конце станции уговаривал крестьян вернуться в село Халил.

В те дни было несколько случаев нападений на эшелон с солдатами, были десятки убитых, крестьяне захватили много оружия.

Абасгулубек носился на коне вдоль железнодорожной станции, заставляя людей отходить. Эшелон уже был близко. Абасгулубек успокоился, только когда его односельчане спустились в русло высохшей реки. Железнодорожное полотно осталось наверху. Снизу станция с горящей цистерной напоминала кратер пробудившегося вулкана.

Когда поезд прибыл на станцию, раздался выстрел. В ответ затарахтел пулемет. Поезд быстро прошел станцию и скрылся за поворотом. И николаевский строй точно так же пролетел перед их глазами — только рельсы еще протяжно гудели.

Говорили о свободе. Каждый понимал ее, как ему заблагорассудится. Мог, скажем, убить человека, который ему не нравился. Законов не было. Не было ни судов, ни полиции. Вместо всего этого в Большом Веди оставался один человек: Абасгулубек.

В окрестностях появились банды, они врывались в уездные села, грабили крестьян, угоняли скот. Несколько раз бандиты заскакивали и в Веди, но, наткнувшись на дозоры, выставленные предусмотрительным Абасгулубеком, поворачивали назад.

По ночам в селе все чаще слышались выстрелы. Чем все это кончится? Кто придет им на помощь? Никто, думал Абасгулубек. И он принял решение.

В ту же ночь все они тронулись в путь. Натужно скрипели тяжело груженные арбы. Абасгулубек и Халил стояли на обочине, пропуская их вперед. Когда подъехала последняя подвода, на которой сидела жена Абасгулубека,

он наклонился, о чем-то спросил ее, затем повернулся к Халилу, сказал:

— Вернемся. Мы кое-что забыли.

Они погнали коней в Веди. Двери, окна домов были заколочены, всюду царила тишина.

— Что забыли? Драгоценности, золото? — спросил Халил.

— Нет. Разве жена забудет драгоценности?

Когда они доехали, Абасгулубек сошел с коня и побежал в дом. Возвратился, неся небольшой узелок.

— Это первый номер журнала Мирзы Джалила «Молла Насреддин». Я в нем храню свой диплом. Ведь я окончил ту же семинарию, что и Мирза Джалил. Когда он работал в Улуханлы, часто встречались,— сказал Абасгулубек, садясь на коня.

До Улуханлы было верст тридцать. Халил сам раз видел Мирзу Джалила, когда тот приезжал к Абасгулубеку. Абасгулубек читал односельчанам новые номера журнала, показывал рисунки. На одном, Халил помнил, черт науськивает армянина на мусульманина, заставляет их драться, а сам стоит в стороне, смеется и довольно потирает руки. Затем армянин и мусульманин обнимаются и целуются — на этот раз черт огорчен.

— Хорошо было нарисовано в этом журнале. Я говорю о тех рисунках, помнишь, Абасгулубек, где мусульманин с армянином...

— Семинарию окончили толковые ребята. Только из меня вот ничего не вышло. Думал, открою школу, стану учить детей. Не получилось...

Халил и Талыбов все еще стояли перед домом Кербалай Исмаила, не слезая с коней, стараясь не оглядываться назад, где собиралась — они это чувствовали — возбужденная, враждебная толпа.

Конь Абасгулубека поднял голову и громко заржал. Ржанье эхом отразилось в ущелье. Араб тоже не стоял на месте, и Халилу, зажавшему в руку поводья коня Абасгулубека, приходилось нелегко.

Халил чувствовал себя так, будто находился в лодке, которую волны гонят на подводные скалы, чуть выступающие над водой. А Абасгулубек? Он сидит в доме врага, и в любую минуту может случиться все, что угодно. Отчего так беспокойны кони? Тоже чуют опасность?..

Халил глянул на Талыбова, на его посиневшее от холода лицо. Талыбов смотрел мрачно, отчужденно. Инте-

ресно, услышал ли он ржанье своего коня? И о чем Абасгулубек подумал? Вспомнил о нас? Стоим, не смея шелохнуться. Нет ничего страшней неопределенности. Сердце словно повисло в воздухе. Не знаешь, что предпринять... Господи, чем приходится заниматься... Кто сеет пшеницу, а кто — хлопок. И за всем нужен глаз да глаз. Третьего дня Халил обошел сады Оджага. В некоторых местах виноградные лозы выбились из-под снега. Может, уже подморожены и в будущем году не дадут урожая. Он сказал об этом Абасгулубеку, тот засмеялся. А ты что думал, руководить легко? Председатель должен знать каждого колхозника. Знать, к примеру, что Худаяр все делает наполовину, не хватает у него терпения довести работу до конца... «Вот, оказывается, Абасгулубек успевал проверить работу Худаяра, а я — нет... Выходит, он прав. Стать руководителем легко, труднее руководить... Абасгулубеку проще, он во всем разбирается. И с Кербалай Исмаилом говорит...»

Халил думал об Абасгулубеке. А Талыбов не без зависти глядел на Халила: удивительный человек, ничего не боится!

«Не так уж трудно призвать к ответу кулаков и их прихвостней,— думал Халил.— Перекрыть дороги, и через месяц-другой, глядишь, придут, положат на стол прошение о помиловании и просьбу принять в колхоз...»

Когда они решили создать колхоз, на собрание пришел Шабан-заде и выступил перед будущими артельщиками.

— Не думайте,— говорил он,— что колхоз, который вы сейчас строите, это что-то такое, чему нет примера в природе. Нечто похожее создали тысячи лет назад пчелы и муравьи. Смотрите, как они работают. Среди них нет ни старших, ни младших. Никто их не вынуждает, не подгоняет. Они работают для себя, чувствуют: это необходимо.

Помнится, едва Шабан-заде привел этот пример, как из толпы вышел крестьянин лет пятидесяти.

— Товарищ,— сказал он,— объясни мне, почему вы нарушаете слова Ленина?

— Что ты имеешь в виду?

— Говорил он, что земля принадлежит тому, кто ее обрабатывает?

— Да, говорил.

— Так почему же вы загоняете меня в колхоз? Если земля моя, я ею распоряжусь сам. Будем вместе, один ста-

нет настаивать, что надо сеять горох, другой — фасоль. И ничего из этого не выйдет.

— Земля принадлежит тебе. Это факт. И никто ее не отбирает. Мы создаем колхозы, объединяем землю, чтобы вы работали сообща. Если вы объединитесь, сможете купить трактор, машины, облегчите свой труд, больше будете выращивать хлеба, хлопка...

— Нет, брат, это — не про нас. Мы не муравьи. Мы — люди. Человек, он тянет в свою сторону. Лучше будем жить, как жили раньше.

— Это твоя мысль? — спросил Шабан-заде.

— Что я, мальчик?

— Видно, все-таки тебя подучили. Ты говоришь с чужого голоса...

«Шабан-заде, видимо, что-то знал. Вот он и появился, враг. Сначала Кербалай Исмаил и подобные ему не могли выступать сами, действовали через подставных лиц, подзуживали других. Теперь они действуют открыто... Сумеет ли Абасгулубек убедить этого бандита сложить оружие?»

Талыбову было не по себе. «Как живут в этих местах? Горы, скалы... Забытая богом земля! В век поездов, радио, газет жить здесь?! Да тут можно оглохнуть от тишины. Как он живет, этот Кербалай? Впрочем, много ли ему надо? Что он видел в жизни? О чем с ним сейчас толкует Абасгулубек? Отчего он не взял меня с собой? Ведь отчитываться в центре буду я. А он даже не предложил мне пойти с ним. Два бека, два помещика. Станут они думать об интересах пролетариата? Непохоже, что меж ними вспыхнет спор. Поладят тихо-мирно. Выйдет Абасгулубек и скажет, что Кербалай не согласился сложить оружие. Что сказал Кербалай, как сказал, почему не согласился — я знать не буду. Когда же возвратимся назад, спрос будет с меня. Каков, спросят, из себя Кербалай Исмаил? Что же я отвечу? Солгать-то нельзя. А если признаюсь, что я его и видел-то две секунды на веранде, спросят, зачем ездил, на прогулку? Нет, я должен что-то предпринять».

— Халил, я пойду к ним.

— Испортите все дело.

— Все же как вы его проморгали? Ведь глянешь на такого и сразу определишь — это классовый враг. Арестовали бы вовремя, и делу конец. А теперь ездим к нему на поклон, уговариваем...

— Как это случилось, что ты перешел на их сторону? — спросил Кербалай Абасгулубека.— Ведь тот, кто бо-

гат, их враг. Бек, ты всегда был дальновидным, мудрым человеком. Как ты мог связаться с этими проходимцами?

— Скажу не хвастаясь: я — один из тех, кто помогал установить эту власть. Мои люди создали отряд «Красный табор». Мы освободили Нахичевань и Шериль. Когда вернулись в Веди, то увидели, что дома наши разрушены, наши сады и леса вырублены. Но нам было легче это пережить, мы были вместе, и горе у нас было одно. Ты же оставался один, Кербалай, оторвался от народа, и тебе трудно понять, что делается вокруг.

— Народ... Складно говоришь. Но разве не народ заставил меня поднять оружие?..

...После того памятного обыска в доме Кербалай не находил себе места. Наконец он решил вызвать Гамло. «Как быть? — спросил он.— Видимо, мы не сговоримся с ними. Давай-ка...»

Он не сказал больше ни слова. Но Гамло, уже решивший, что Кербалай конченый человек и ни на что не способен, воспрянул духом.

Через день Гамло, войдя во двор, увидел Кербалая сидящим у крыльца. Опустив папаху на лоб, тот грелся на солнышке. Еще издали Гамло заметил сеть замысловатых линий на затвердевшей земле.

— К добру ли, Кербалай? — Гамло буквально расцвел в улыбке.

— Имана...— И Кербалай провел по земле энергичную черту.

Гамло приложил руку к глазам. Ночью он подкрался к дому, где помещался комитет бедноты. В окне горел свет, на стене дрожала тень человека. Гамло прицелился. Грянул выстрел, зазвенело стекло, лампа погасла.

А наутро Иман, взяв с собой Бейляра, снова гордо вышагивал по селу. За ними шли три человека. За плечом у каждого — винтовка. Несколько раз они прошли мимо дома Кербалая, видимо, чтобы досадить ему. А Иман даже постучался к нему.

— Кербалай, будьте осторожны, ночью в селе был чужой человек. Мы слышали выстрел.

«Молчит о том, что пуля лизнула ухо. Еще немного, отправился бы в ад».

— Я не слышал. Спал.

— Кербалай, вы ведь спите чутко. Не может быть, чтобы вы не проснулись.

— Я уже стар и слышу плохо.

Иман не ожидал, что Кербалай признается в своей старости. «Прибедняется, лиса, хитрит!»

— В селе, видимо, объявились враги. Нашлись люди, которые стреляют в должностных лиц.

— Зачем говоришь мне это? Иди ищи этих людей! — сказал он и направился к дому. У крыльца он заметил проведенные им вчера линии. На миг придержал шаг, затем снова продолжил путь. На этих линиях остался след его туфель. Нарочно он затоптал их или случайно? Он сам этого не знал.

На следующий день Кербалаю сообщили, что люди Имана распределяют между бедняками его участки. «Как, значит, даже не спрашивая, будут делить мою землю? Кто им дал право?»

Сев на коня, он помчался в поле. Бейляр и Иман рулеткой отмеряли землю, и почти все село заинтересованно наблюдало за этим. Издали он увидел, что Иман смеется, говоря что-то, и люди неравнодушны к его словам. Что ж, посмотрим, кто будет смеяться последним!

Подъехав ближе, он спрыгнул с коня. Быстрыми шагами направился к Иману, но зацепился за рулетку, чуть не упал. Послышался смех. Кербалай в гневе повернул лицо к народу.

— Эй, люди, совесть у вас есть? Ведь вы все кормились моим хлебом. Что вы надумали? Ведь я никому из вас не делал плохого! Что это, Иман? — Указал он на веревку.— Разве я умер? Ты что, вымеряешь мне могилу? Я тебя спрашиваю!

Иман уже давно получил указание о разделе земли, но никак не мог осмелиться пойти к Кербалай Исмаилу. Бейляр сказал ему, что советоваться незачем, пора делить ее.

— Советская власть считает, что земля принадлежит крестьянам,— ответил Иман.

— Разве твоя власть наследовала эту землю от моего отца?

Бейляр подошел к нему, перед глазами Кербалая заблестел красный значок на груди парня — Бейляр недавно вступил в комсомол.

— Думай, что говоришь, Кербалай.

— А ты откуда взялся? Голодранец! Ты что, тоже считаешь себя хозяином земли?

Бейляр потянул к себе веревку. Но Кербалай успел схватиться за другой ее конец и что есть силы потянул к себе. Потом вдруг бросил конец в сторону Имана.

— Уходите и займитесь другим делом. Вот когда поднимется трава над моей могилой, придете и поделите мою землю.

Он повернулся и, не садясь на коня, направился через все поле в село, оставляя за собой примятые колосья.

«Пусть они отбирают мою землю,— думал Кербалай, шагая по полю. Колесо судьбы не всегда движется вперед. Еще не все потеряно. Мы еще сумеем постоять за себя».

Тут же Кербалай послал человека за Гамло. Но ему сообщили, что Гамло арестован: в его доме нашли оружие.

«Что ж, посмотрим, кто кого,— решил Кербалай.— Так не может продолжаться. Иман должен умереть!»

Ночью он вытащил спрятанную под стогом сена винтовку. Крадучись, прошел через все село к дому Имана. Вот и крыша его хибарки. Он разглядел стоящую на ней тахту. Пахло жженой рутой и еще не высохшим табаком. Новраста жгла руту, отгоняя от мужа злых духов.

В темноте он разглядел силуэт Новрасты. Она повязывала голову платком. До него донеслись голоса:

— Напрасно ты обидел Кербалая.

— Э-э-э...

Это голос Имана. Он лежит на тахте. Кербалай положил винтовку на стену забора. Подождал. Кажется, Новраста ушла. Поднял голову, желая убедиться, что ее на крыше уже нет. Прицелился, нажал на курок. Звук выстрела смешался с воплем Новрасты.

Кружным путем, никого не встретив по дороге, он вернулся домой. Спрятал винтовку, закрыл дверь и, раздевшись, лег в постель. Еще долго в селе слышались встревоженные голоса и надрывно лаяли собаки.

Он проснулся, когда над селом занималось утро. Одевшись, вышел во двор. Над забором показалась чья-то голова.

Кербалай ясно увидел желтые волосы, папаху с красной звездочкой.

— Бог в помощь, кажется, готовишься к жатве? Сам будешь жать или наймешь кого?

«Это же Иман! Разве пуля снова не попала в него?!»

Кербалай, не в силах сдержать ненависти, спросил грубо:

— Чего тебе надо?

— Ничего особенного, пришел узнать о вашем здоровье.

— Отнимаешь у меня землю, а потом приходишь справиться о здоровье? Решил еще и поиздеваться?

— Не дай бог, Кербалай. Ты ведь наш аксакал. Ты всегда призывал поклоняться аллаху в небе и правительству на земле. Что бы ни было, мы все равно считаем тебя аксакалом... Я пришел посоветоваться с тобой. Ночью снова стреляли в меня. Хорошо, что я спал не на тахте, а прямо на крыше. Не знаешь, Кербалай, кто бы это мог быть?

— Откуда мне знать? — ответил он.

...Кербалай вертел в руках четки, и все пережитое им за последнее время проходило перед его глазами.

— Клянусь тебе, Абасгулубек, случись все это с тобой, ты еще раньше взялся бы за оружие. Разве можно отбирать у человека землю, раздавать ее другим? Но дело даже не в этом, можно, в конце концов, свыкнуться с потерей богатства. Но как смириться с тем, что твое имя втаптывают в грязь, что тот, кто еще вчера пас твой скот, сегодня стал господином?

— Пастух тоже человек, Кербалай.

— Бек, я прожил долгую жизнь. И было много всякого — и добра, и зла. Я потерял единственного сына. Привык переносить невзгоды. Пришла новая власть. Организовали комбеды. Конфисковали у меня половину земель. Теперь создают колхоз и хотят отнять у меня все, даже коней, волов, арбу.

Говоря, он вспоминал недавнее прошлое. Гамло вернулся из заключения. Однажды ночью он постучался к нему. Кербалай открыл засов, Гамло протиснулся в комнату.

— Что-то происходит, Кербалай. По пути в Карабаглар я слышал выстрелы. А потом чьи-то крики и стон...

Они наскоро оседлали коней и поскакали к старой разрушенной крепости, где раздваивалась река. Скоро должно было светать. На дороге послышался скрип арбы, запряженной волами. Они отвели коней в кустарники, затаились. Когда арба подъехала, увидели свисающие с арбы ноги, накрытые кое-как старым паласом, и пятерых всадников. Кербалаю почудилось, что один из голосов принадлежал Иману. Но о чем говорили, Кербалай не расслы-

шал. Арба скрылась за поворотом, и они погнали коней к крепости. Гамло сломал какую-то ветку, зажег ее и поднял, как факел. Прошел меж сваленных в беспорядке камней, осветил стены. На стене белели следы пуль. Гамло нагнулся, почему-то шепотом сказал: «Кровь».

На следующий день пронесся слух, что, возвращаясь ночью из Веди, Иман с товарищами попали у крепости в засаду, устроенную кулаками, и в завязавшейся перестрелке убили троих.

— Пора готовиться, Кербалай,— сказал Гамло.— Нашла коса на камень. Но теперь их очередь.

Прошло две недели, пока они достали оружие, перетянули к себе десятка три людей. И Кербалай Исмаил поднял бунт...

Абасгулубек видел, что невозможно переубедить Кербалай Исмаила.

— Кербалай, положи свою папаху перед собой и еще раз крепко продумай все. Ты хорошо знаешь, чем кончится то, что ты заварил. Людей у тебя нет, оружия тоже...

— Зато у меня есть честь и мужество. Как-нибудь перебьемся, бек.

— Ты много говоришь о чести. Не мешает подумать, что ты будешь делать дальше.

— Хуже, чем сейчас, не будет. А смерть, как жизнь, дается человеку лишь раз.

Хотя последние слова были сказаны твердо, Абасгулубек почувствовал в них одиночество и тоску. А может, ему просто показалось. Он поднялся. Встал и Кербалай Исмаил.

— Я постараюсь, чтобы пока не присылали солдат. Подумай, взвесь все. Через неделю я снова приеду к тебе.

— Не беспокойся и не вздумай жалеть меня! Я не так слаб и беспомощен, как тебе показалось. Можешь поехать и направить сюда солдат! — зло прокричал Кербалай.

— Если надо будет... пошлю. Это нетрудно,— спокойно произнес Абасгулубек.

Минутой раньше он хотел подать на прощанье руку, но после этих слов повернулся и вышел.

Халил, увидев Абасгулубека, наконец успокоился. Жив-здоров. Птицей взлетел на коня. Неужели вернулся с доброй вестью?

Абасгулубек дал знак трогать. На молчаливый вопрос Халила резко махнул рукой: приезжать к такому человеку было напрасной затеей. Тем более — говорить с ним.

Трое всадников выехали из села. Когда они проезжали ущелье, послышался отдаленный гул. Будь это весной, они подумали бы, что ударил гром. Или с гор несется бурный поток. Только доехав до подножия холма, они поняли, что в горах люди Кербалая упражняются в стрельбе.

Талыбов подъехал к Абасгулубеку. Тихо спросил:

— Каков был ответ?

— Напрасно ездили.

— Что ж, пусть пеняет на себя. Проучить его легко.

— Проучить легко, но сколько будет ненужных жертв!

Они проехали между высохших ив. Перед узким мостиком вытянулись гуськом.

— Мы даже не узнали, что они сделали с председателем колхоза,— сказал замыкавший группу Халил.

Абасгулубек снова только махнул рукой.

Проехали по узкой тропинке, над которой нависла скала. Абасгулубек поднял голову; в расщелинах чернели гнезда птиц. На самой вершине, куда никто не осмеливался подняться, он знал, находились ульи диких пчел. Летом, с наступлением жары, по скале сочился мед...

Абасгулубек на мгновенье прикрыл глаза, и ему почудилось, что Кербалай ради меда взобрался на скалу. Пчелы еще не знают о его приходе. Но пройдет время, они облепят его. Отбиваясь, он отступит к краю, сорвется вниз, в ущелье, упадет на острые, как лезвие ножа, камни.

И настолько зримой была эта картина, что Абасгулубек, перегнувшись в седле, посмотрел на блестевшую белой змейкой реку, на громоздившиеся друг на друга скалы, словно следил за полетом Кербалая.

Впервые за много часов на сердце Талыбова было спокойно: они возвращались обратно. Он думал о рапорте, который представит начальству. Как он аттестует Абасгулубека? Стоит ли отмечать, что с Кербалаем говорил Абасгулубек и в общем-то потрудился больше всех? Не останется ли тогда в тени он, Талыбов? Не скажут ли ему: а чем занимался ты? Ведь его послали старшим. Быть может, поговори он сам с Кербалай Исмаилом, результат был бы другой? К тому надо было идти не с предложением мира, а с ультиматумом. А как же Халил? Его надо отметить обязательно. Как руководителя одного из первых колхозов. Правда, он ничего особенного не сделал...

— Халил, они ослеплены ненавистью,— сказал Абасгулубек.— И мы не смогли помочь им прозреть. Они гово-

рят, что взялись за оружие, защищая честь. Поверь, из-за своей глупости они потеряют не только честь. Кербалай Исмаил прожил жизнь, не сегодня-завтра уйдет на тот свет. У меня создалось впечатление, что, уходя, он хочет многих потянуть с собой в могилу.

Халил не откликнулся на его слова. Его молчание удивило Абасгулубека.

— Ты чего задумался, Халил? — спросил он.

— Эх, дел у нас — непочатый край!.. На станцию должны были привезти семена. Я поручил, правда, но не знаю, привезли или нет. Обещали дать колхозу трактор, готовился всем селом выйти на станцию встречать. Но где найдешь водителя?! Словом, все идет не так, как хотелось бы.

Председательство совсем изменило Халила. Двух дней не прошло, как уехал из колхоза, а тоскует по работе. И вообще Халил всегда был таким: за что ни возьмется, делает на совесть. А работа в колхозе увлекла его.

Так думал Абасгулубек, время от времени поглядывая на Халила.

Вдали виднелось прилепившееся к подножью горы село Азиз.

Они сидели в той самой комнате, где были накануне.

Талыбов поблагодарил Ширали, который нес в каждой руке по стакану чая.

— Очень обременили мы вас, столько хлопот доставили.

— Ну что вы, какие хлопоты! Лишь бы почаще приезжали.

В то время как Ширали нагнулся, чтобы поставить стаканы, в соседней комнате послышалось чье-то всхлипывание.

Стакан выскользнул из рук, кипяток обжег Ширали; зажав обожженные пальцы под мышкой, он выбежал в другую комнату.

Немного погодя он просунул голову в дверь и позвал Халила.

Всхлипывание стало слышно еще яснее. Похоже, жена Ширали что-то говорила, о чем-то умоляла Халила. Талыбов испуганно взглянул на Абасгулубека. Тот, в свою очередь, недоуменно пожал плечами.

Халил вернулся в комнату.

— Что случилось? Кто там плачет? — спросил Абасгулубек.

— Гамло прискакал за нами,— сказал он, улыбаясь,

И тут случилось неожиданное. Талыбов подпрыгнул, словно брошенная на землю резиновая кукла. Сунул дрожащую руку в карман и с усилием вытащил пистолет.

— Я не дамся им,— сказал он.

Абасгулубек поднялся.

— Талыбов, оказывается, ты взял с собой оружие?! Так ты выполняешь уговор?!

Талыбов медленно направил пистолет в сторону Абасгулубека. Глаза его бегали, рука дрожала,— казалось, он боится всего на свете: пистолета, Гамло, Абасгулубека, Халила, а быть может, самого себя.

Халил, увидев, что он целится в Абасгулубека, шагнул было к Талыбову. Дуло пистолета тотчас метнулось к нему.

— Да, я взял оружие, бек, взял! Змея есть змея: что черная, что серая. Я не верю тебе! Ты был помещиком и остался им. Разве ты захочешь, чтобы Кербалай Исмаил сложил оружие? Как же надо потерять бдительность, чтобы позволить тебе и Халилу защищать интересы пролетарской революции! Вы отлично разыграли эту комедию. Вы хотите отдать меня в руки врагов. Ибо среди вас единственный настоящий большевик — я. Я перестреляю вас. Не подходите!

Абасгулубек и Халил стояли, не зная, что предпринять.

«И этот слизняк называет себя большевиком! Говорит о пролетарской революции! Ради своего спасения, ради своей выгоды он может спокойно поступиться жизнью других».

На крик Талыбова в комнату вошел Ширали. На этот раз дуло пистолета повернулось к нему.

— И ты в сговоре с бандитами? Ты пришел увести меня?

— Ой, что ты говоришь? Ты же мой гость. Я убью каждого, кто поднимет на тебя руку.

Лицо Талыбова посерело и стало пепельного цвета. Глаза, казалось, были готовы выскочить из орбит.

Он кричал на Ширали, забыв об Абасгулубеке и Халиле, которые уже стояли по обе стороны от него.

Рука Абасгулубека описала в воздухе дугу и схватила его за кисть. Перед глазами Талыбова замелькали разно-

цветные узоры недавно вытканного ковра. Абасгулубек скрутил ему руку, отобрал пистолет.

— Убейте меня, убейте! — кричал Талыбов.— Что вы медлите, я жил как коммунист, умру коммунистом! Вам отомстят за мою кровь!

Абасгулубек не глядел на Талыбова. На душе было муторно и гадко. «Быть может, в эту минуту он считает себя героем. Думает, что все предатели. И все потому, что мы не испугались. А если бы мы задрожали от страха, он поверил нам. Эх, Талыбов, мало читать газеты, чтобы стать революционером».

Он открыл магазин, вынул патроны и бросил разряженный пистолет на мутаку.

Талыбов направился к двери. Он решил идти наперекор судьбе. Чтобы спасти свою жизнь, он готов провести эту ночь, спрятавшись в какой-нибудь пещере. Лишь бы оставили его в покое, дали уйти.

Талыбов выехал со двора. Вскоре тронулись в путь и Абасгулубек с Халилом.

Талыбова они увидели, когда миновали село; он сознательно придерживал коня,— видно, понял: одному ему не добраться до Веди.

Они услышали за собой топот, остановились: их догонял Ширали на своем жеребце. Увидев его, Абасгулубек сказал:

— Ты думаешь, что делаешь? Оставил женщин и детей одних и увязался за нами.

— Провожу вас, вернусь.

— Не беспокойся, Гамло не осмелится остановить нас.

Ширали в ответ улыбнулся, но коня не повернул. То, что Ширали примкнул к отряду, придало Талыбову некоторую уверенность. Всадники по одному объехали Талыбова. Теперь он замыкал группу.

О, если бы случилось чудо и он снова оказался бы дома! И не было бы больше этих чудовищных гор. Он бы прожил до ста лет. Но чуда не бывает. Откроешь глаза — и перед тобой только спины трех всадников.

Как все спокойно вокруг. Белеют высокие горы, деревья на склонах кажутся точками. Как они оказались там, эти деревья? И почему оторвались от леса? А может, кто-то послал их на вершину горы и они больше не смогли вернуться...

Когда приезжие седлали коней, Новраста вручила Халилу винтовку Имана и патронташ. Но в нем было всего

пять патронов. Халил опоясался патронташем, а винтовку закинул за спину. Теперь он, как имеющий оружие, ехал впереди.

Впереди чернели угрюмые скалы и огромные глыбы камней, принесенные горным потоком. Когда подъехали к скалам, Араб навострил уши, остановился. Халил снял с плеча винтовку, дернул поводья. Конь медленно пошел по едва видимой в темноте тропинке.

«Негодяи, они перерезали дорогу»,— подумал Халил. Он поднял винтовку.

— Эй, кто там?

Звук выстрела заглушил его крик. Араб поднялся на дыбы, дико заржал и свалился на землю. В горах пронеслось эхо.

Халил смог выстрелить только раз. Пуля расплющилась о скалу и отскочила в сторону.

Абасгулубек, услышав выстрел, тотчас спрыгнул с коня. Передав поводья Ширали, он побежал вперед, наклонился, пополз между камнями. Нашел в снегу выпавшую из рук Халила винтовку.

Здесь он был очень удобной мишенью. Он отполз назад и спрятался за камнем. Левой рукой перезарядил винтовку, тщательно прицелился в темное пятно в зарослях. Сделал два выстрела. Бандиты, затаившиеся за скалой, ответили огнем. Совсем рядом просвистели пули. Воспользовавшись минутным затишьем, Абасгулубек подполз к Халилу.

На лицо Халила упала капля. «Может, идет дождь?!» — подумал Халил. Столько лет они были друзьями. Он ни разу не видел, чтобы губы Абасгулубека дрожали. Что же случилось с ним теперь? Ведь Абасгулубек остался совсем один. Отовсюду летят пули, а он безоружен. Кербалай оказался негодяем. Растоптал прежнюю дружбу. Устроил им засаду.

Абасгулубек оттащил Халила к скале, на самом краю ущелья. Пули свистели со всех сторон, плющились, дробили лед. Абасгулубек потянул затвор. Магазин был пуст. Он швырнул в сторону ставшую ненужной винтовку.

«Эти бандиты хотят посмеяться надо мной. Думают, что я дрожу за свою жизнь. Что ж, все кончено. Какая польза жаться к скале?»

Абасгулубек поднялся во весь рост, почувствовал за собой мрачную пустоту ущелья.

— Стреляйте! — крикнул он.— Бегите обрадовать Кербалай Исмаила, что убили Абасгулубека. Пусть у него успокоится сердце. Это будет его последней радостью.

Но никто не стрелял. Видимо, те, в засаде, слушали его.

— Что вы медлите? Боитесь?

Снова раздался залп. Стреляли по ногам. Когда дым рассеялся, Абасгулубека уже на площадке не было.

Ширали стоял, держа в руках поводья коней. Талыбов даже не слез с седла. Наконец он повернул коня и что есть мочи поскакал назад. Ширали остался один. Он кинулся вперед искать Халила; никто не преграждал ему дорогу, не стрелял в него. Из-за камней показались люди в больших мохнатых папахах. Ширали, не обращая на них внимания, подбежал к Халилу.

— Чтоб глаза мои ослепли, брат,— сказал он, положив голову Халила на колено. Руки Халила повисли, словно плети. Глаза его были полуоткрыты.

— Сними с него патронташ,— приказал Гамло.

— Отдай, Ширали,— прошептал Халил.

Гамло поймал патронташ в воздухе, потряс его. Затем медленно поднял ружье, намереваясь застрелить Ширали.

Щелкнул курок, но выстрел не раздался.

— Гамло, разве не достаточно? Он же наш земляк,— сказал один из его людей, закрывая собой Ширали.— Ты хочешь сделать всех врагами?

Ширали, опустив глаза, смотрел на пляшущую тень Гамло на снегу. Тень медленно отдалилась. Кто-то крикнул Гамло:

— Мы своими глазами видели, как Абасгулубек свалился в ущелье. Оттуда никто не выбирался живым.

— Абасгулубек сможет выбраться.

Халил доживал последние мгновенья. Он собрал все оставшиеся силы, попытался подняться. Казалось, хотел взлететь. А может, мечтал увидеть улыбку на еще пахнущих молоком губах сына. «Что это грохочет? Быть может, трактор, посланный в их село? Куда ушел Абасгулубек? Где Араб?»

Он слегка приподнялся, увидел Араба. При свете луны блестела отделка на сбруе коня. Блеск усилился, стал величиной с солнце, затем погас...

Гамло спустился вниз, в ущелье. Впереди он увидел небольшой холмик, покрытый снегом. «Неужели это Абасгулубек? Нет. Не мог он так скоро замерзнуть и покрыться снегом». Носком чарыка стал разрывать снег. Это была старая женщина. «Мать Бейляра»,— сплюнул Гамло и ушел, оставив два глубоких следа на снегу. Наконец он нашел то место, куда свалился Абасгулубек. Снег был примят, и то тут, то там виднелись пятна крови. Следы привели его на другой берег реки, к громадному старому дубу. Дуб этот был известен всей округе. Когда-то давно его ударила молния, начисто срезав верхушку и оставив только огромный, раздавшийся вширь ствол. Со временем в стволе дерева образовалась расщелина: там зимой чабаны прятались от холода, разводили костры. Над дубом и сейчас вился дым.

«Куда же он провалился? Куда бы ни ушел, все равно ему не спастись!»

И вдруг ему почудилось, что перед ним стоит не дерево, а сам Абасгулубек с дымящейся папиросой в губах.

Абасгулубек был подобен могучему дубу. Они срубили его. И, падая, он должен был найти такое же, как сам, могучее дерево, приникнуть к нему.

Гамло, оторопев, отступил на несколько шагов. Поднял винтовку, прищурил глаз, медленно потянул курок. Но пальцы словно одеревенели. Что это снова случилось с ним? Собрав все силы, резко дернул курок. Пуля сорвала со ствола кусок коры. И вдруг ему показалось, что дерево растет, надвигается на него. Он выстрелил снова, на снег упали куски дерева. Ему казалось, что ствол сейчас повалится, загрохочет, заставит задрожать горы и скалы, подомнет его под себя.

Гамло истратил пять пуль, а над расщелиной все еще поднимался дым. И рядом на льду расплывалось пятно алой крови.

Схватив за поводья коня, Талыбова привели к Кербалай Исмаилу. Кербалай не захотел даже допрашивать его.

— Солдаты не знают дороги в наши села,— сказал Гамло.— А этот,— он кивнул на Талыбова,— может привести их.

— Откуда ты пришел? — равнодушно спросил Кербалай.

— Из города.

— Значит, ты большой человек. Хорошо, я не убью тебя. Ты своими глазами увидел случившееся. Иди, и если

еще раз я встречу тебя в этих местах, никто и костей твоих не соберет. Ты слышал? — Он немного помолчал, а затем добавил: — Пойди скажи им, чтобы завтра пришли к Кара-гая, забрали труп Халила. А Абасгулубека они не увидят. Я сам похороню его. Он вышел из нас и должен быть с нами. За кого бы ни погиб, он все же наш. Я похороню его рядом со своим сыном. Ты слышал?

Талыбов почувствовал, что голос Кербалай Исмаила срывается, что он вот-вот заплачет.

...При свете луны меж надгробных камней, темнеющих на холме, ехал всадник. Это Талыбов возвращался в Веди. Небо было усеяно звездами. Скоро, совсем скоро взойдет солнце, которое растопит снег в горах и уберет завалы с дороги.

АНАР

(Род. в 1938 г.)

ЮБИЛЕЙ ДАНТЕ

Юсифу Самедоглу

— Вот ночь... Вот старик... Вот огонь...

— Вот ночь, вот старик, вот огонь.

— ...

— Вот ночь, вот старик, вот огонь!

— Нет, нет, нет!

В зрительном зале темно и пусто. В центре двое — режиссер и художник; художник сидит позади, вытянув шею, смотрит через плечо режиссера на сцену.

Перед режиссером, в проходе, маленький стол, неярко освещенный лампой с железным колпаком. На столе в беспорядке — листы бумаги, карандаши; тут же пепельница, черный внутренний телефон без диска, бутылка «Бадамлы», стакан.

Идет репетиция.

Режиссер вскочил с места и бросился к сцене, освещенной левым прожектором, на которой стояли два актера без грима, в обычных костюмах; в два прыжка преодолев ступеньки, поднялся на сцену, подошел к стоящему впереди пожилому смуглолицему мужчине.

— Фейзулла, милый, дорогой.— Он старался говорить спокойно, сдержанно.— Себя не жалко — пожалей нас. Я здесь с девяти утра, во рту еще не было ни крошки. Имей совесть, мы ведь тоже люди... У тебя три слова во всей пьесе, и ты их не можешь произнести правильно. Удивительно, что здесь трудного? Вот ночь. Вот старик. Вот огонь. Все!

Фейзулла достал грязный платок, начал суетливо вытирать потное лицо, шею.

— Сейчас, сейчас...— приговаривал он.— Сию минуту... Погоди... Сейчас скажу... Не волнуйся...

Режиссер постучал мундштуком папиросы по коробке «Казбека», дунул в мундштук, вложил папиросу в рот. Однако не закурил.

— Ну, говори.

— Сейчас, сейчас...

Режиссер чиркнул спичкой, прикурил и, не оборачиваясь, сказал стоящему позади актеру:

—Аликрам, реплику!

Тот спросил, обращаясь к Фейзулле:

— Так где же?

Фейзулла сделал неопределенный жест.

— Вот ночь, вот старик, вот огонь.

— Тьфу, черт! — взорвался режиссер.

Спрыгнул со сцены, вернулся на свое место. Ткнул папиросу в пепельницу, загасил ее. Вынул из нагрудного кармана склянку с таблетками, одну положил в рот, налил воды в стакан, запил. Опустился в кресло.

На лице Фейзуллы было отчаяние.

— Пожалуйста, не нервничай,— попросил он.— Подожди, сейчас скажу. Не знаю, что со мной сегодня, никак не могу сосредоточиться...

Режиссер, обернувшись к художнику, сказал вполголоса:

— Можно подумать, в другие дни он сдвигает горы.

Фейзулла спросил:

— Можно?

Режиссер ничего не сказал, лишь кивнул головой.

Фейзулла прокричал:

— Вот ночь! Вот старик! Вот огонь!

Умолкнул, устремив взгляд на режиссера.

Лицо того ничего не выразило. Он бессмысленно смотрел в сторону сцены, в одну точку, словно окаменел.

Фейзулла протянул, изменив интонацию:

— Вот ночь... вот старик... вот огонь...

Режиссер продолжал сидеть в оцепенении.

Фейзулла снова повторил:

— Вот ночь, вот старик, вот огонь...

Режиссер вскочил, как ужаленный.

— Эй, послушай!.. Как тебя?! Товарищ, гражданин,

мусульманин, армянин, огнепоклонник!.. Ты человек или нет?!. Эх!..

Он вдруг зажал рот ладонью и застонал.

Все актеры хорошо знали этот жест: зажимая рот, режиссер сдерживал ругательства.

Художник положил руку на плечо режиссера.

— Сиявуш, Сиявуш... Возьми себя в руки.

Тот схватил со столика бутылку «Бадамлы» и начал пить прямо из горлышка. Затем обернулся к художнику.

— Ну, ты видишь, ты видишь, как мне приходится?! А ты говоришь: «Брехт, Мейерхольд!..» Какой может быть Брехт вот с такими? Какой Мейерхольд вот с такими? Бьюсь с утра — не могу заставить его сказать по-человечески три слова! И я еще, глупец, мечтаю создать большое искусство с такими, как этот Фейзулла Кябирлинский! — Заметно дрожащими пальцами достал из коробки папиросу, закурил, жадно затянулся, повернул голову к Фейзулле.— Дорогой мой, запомни, из тебя выйдет хороший сапожник, чайханщик, повар... не знаю, кто еще... скажем, банщик или мюрдашир в мечети, который омывает покойников, но только не актер. Только не актер, дорогой мой! Театр — это искусство! Вы слышите, эй, люди?! Откройте свои уши! Ис-кус-ство! Творчество! Здесь нужен талант. Нужен темперамент! Температура! Жар! С температурой тридцать шесть и шесть искусства не создать. Ты должен кипеть, гореть, созидать, творить. А надрывая голос, ты ничего не сделаешь, дорогой мой. Криком образа не создашь. Если у тебя зычный голос, браво, ступай в мечеть, будь муэдзином!

Фейзулла стоял на сцене в безмолвии. Сконфуженный, красный как рак. Лицо его исходило потом. Сорок лет он работал на сцене. За сорок лет немало слышал подобных попреков, бранных выражений от разных режиссеров и актеров, но еще никто никогда, как этот Сиявуш, не говорил ему таких слов — муэдзин, мюрдешир, мечеть...

В театре все, в том числе Сиявуш и Аликрам, знали, что Фейзулла — из семьи священнослужителя. Отец его был муфтием. Этого, возможно, не знал один лишь молодой художник: он совсем недавно пришел в театр.

Художник зашептал:

— Уймись, Сиявуш. Что ты хочешь от этого бедняги? Иначе он не может.

— А что мне, дураку, делать?! — вскипел Сиявуш.— С какой стати я должен гробить свои молодые годы среди

этих людей?! В чем я провинился? Человек двух слов не может связать, а тоже — вылез на сцену!

— Постыдись, Сиявуш, он тебе в отцы годится,— перебил художник.

— В отцы...— поморщился режиссер.— Мой отец давно отправился на тот свет с приветом к ангелам. А вот такой — словно каменная глыба. Будь спокоен, похоронит и тебя и меня. Проживет сто лет. Почему ему не жить?.. Какие у него заботы? Какое у него горе?.. Орешь на него, а он, как овца, только клонит голову к земле и молчит. Да еще, наверное, посмеивается надо мной в душе: вот, мол, дурак, надрывается, нервы себе портит. Взгляни на него, даже бровью не поведет. В самом деле, о каком искусстве, о каком театре может быть речь?! Сорок лет он произносит на сцене всего три слова, получает свою зарплату, выходит из театра и идет есть свой бозбаш. И еще сорок лет будет жить точно так же. А мы, дураки, лезем вон из кожи: искусство, новаторство, прогресс!.. Кому все это нужно, а, Зейнал? Нет, нет, мир принадлежит таким, как Фейзулла!

Отведя так душу, режиссер немного успокоился. Снова закурил, сделал несколько жадных затяжек, взглянул на сцену.

Фейзулла стоял в застывшей позе — олицетворение смиренности. Он так жалобно, так покорно смотрел на режиссера, что тот не выдержал, рассмеялся, вначале лишь дрогнули губы, затем он широко улыбнулся и, наконец, совсем избавившись от внутреннего напряжения, захохотал:

— Прошу тебя, Кябирлинский, скажи нам еще раз свою реплику, так, ради хохмы.

Актерам театра был известен блажной нрав Сиявуша.

Фейзулла в ответ на его смех натужно улыбнулся, даже хохотнул, однако что делать дальше, он не знал. Как расценить предложение режиссера — всерьез или в шутку? Продолжает Сиявуш репетицию или просто балагурит? Кябирлинский не знал, как ему произнести реплику: так ли, как он произнес ее в начале репетиции, но тогда режиссеру не понравилось, он потребовал сказать по-другому, или так, как режиссер просил еще раньше, или так, как он велел после?.. Или же произнести реплику совсем в иной манере?.. Или, может быть, сказать шутливо?..

«Нет уж, пусть сам шутит... Еще пошучу на свою голову... Кто знает, как ему угодить?..»

Мобилизовав все свои духовные силы и опыт, он произнес торжественно:

— Вот ночь!.. Вот старик!.. Вот огонь!..

И вздрогнул от гомерического хохота режиссера:

— Браво, Кябирлинский! Молодец! Сказано — сделано. В итоге три часа репетиции — коту под хвост!

Сиявуш оборвал свой смех, стал серьезным, и тут все вдруг увидели, какой он усталый.

Можно подумать, недавние страстные тирады, пламенные слова, призывы, едкие замечания, несколько неестественная самоуверенность — все это держало его в напряжении, наполняло его, как тело человека наполняет собой одежду,— но вот одежда снята, отброшена в сторону и лежит скомканная, бесформенная, жалкая.

Он вяло сказал:

— Хорошо, идите, репетиция окончена.

Из театра Фейзулла и Аликрам вышли вместе.

— Как сегодня разорался наш красавец, а? — ухмыльнулся Аликрам.— Будто мы не видели до него режиссеров, а? Будто мы не спровадили из нашего театра столько таких, как этот Сиявуш. Сколько у нас волос на голове, а?..

— Можно подумать, Аликрам, ты облысел не в молодости,— пошутил Фейзулла.

Однако ни он сам, ни Аликрам не посмеялись этой шутке. Некоторое время они шагали молча. Затем Аликрам спросил:

— Ты не идешь на базар?

Фейзулла мотнул головой:

— Нет.

— Что так?..

— Дело у меня.

— Какое дело?

«Аллах всемогущий! Вот дернул меня черт за язык!..» — подумал Фейзулла.

Ему не хотелось говорить Аликраму, что сегодня у него дубляж на киностудии. Знал: Аликрам, услышав об этом, будет завидовать. Однако солгать, сочинить какую-нибудь легенду он не мог. Ему вообще всегда было трудно лгать, изворачиваться. Подводила фантазия. Старые актеры знали эту особенность Фейзуллы и мгновенно выводили его на чистую воду, разоблачали, как ребенка.

— Ну, так что у тебя за дело? — допытывался Аликрам.

— Да так,— отмахнулся Фейзулла.

Однако Аликрам пристал, как смола:

— Нет, ты скажи мне, какое дело?

— Еду на киностудию, дубляж у меня,— признался Фейзулла.

Аликрам покачал головой:

— Послушай, куда ты деваешь столько денег? Где хранишь? Наверно, ни один сундук не вместит.

— Брось шутить, Аликрам. Хорошо, пока. Вот мой автобус.

Автобус остановился так, что задняя дверца оказалась как раз перед ними. Но не открылась. Ибо из передней двери еще сыпались люди, которым водитель автобуса при выходе продавал билеты.

Автобус работал без кондуктора.

Когда пассажиры сошли, распахнулась задняя дверь и Фейзулла кое-как протиснулся в переполненный автобус.

— Лучше я буду сидеть голодным, но на дубляж не пойду! — сказал ему вслед Аликрам.— Для настоящего актера дубляж — халтура.

Однако Фейзулла не услышал его слов.

Скорее всего Аликрам говорил это для себя. Его давно уже не приглашали на дубляж.

В автобусе не было свободных мест. Ноги Фейзуллы ныли. С утра, на репетиции, он ни разу не присел. К тому же у него от рождения было плоскостопие.

Здесь царил характерный для городского транспорта запах: искусственной кожи, нагретого мотора, человеческого пота и еще чего-то неуловимого.

Запах в автобусе заставил Фейзуллу вспомнить военные годы. Его не взяли на фронт по причине вышеупомянутого плоскостопия. Многие работники театра, в том числе и он, были сокращены.

Наконец Фейзулла понял, почему этот запах пробудил в нем память о тех далеких днях. Во время войны он ровно три года проработал кондуктором трамвая. После окончания войны снова вернулся в театр.

По мере того как автобус приближался к киностудии, пассажиров становилось все меньше. Фейзулла сел. Одну остановку проехал блаженствуя.

В киностудии, войдя в лифт, Фейзулла нажал кнопку с цифрой 4. Покатил наверх. Когда миновал третий этаж, его заметил с лестницы режиссер сегодняшнего дубляжа Ага Мехти.

— Эй, Кябирлинский, Кябирлинский! — замахал он рукой.

Кябирлинский, выйдя из лифта на четвертом этаже, спустился по лестнице вниз до третьего.

Рядом с Ага Мехти стояла молодая симпатичная русская женщина, которую Фейзулла видел впервые. Он уловил запах тонких духов. Подумал: «Наверное, та самая артистка, которая приехала из Москвы...»

— Напрасно трудился, Кябирлинский,— начал Ага Мехти.— Мы перенесли дубляж на завтра. Джавад не может сегодня прийти, занят.— Обернувшись к своей миловидной спутнице, закончил по-русски: — Вот один из тех самых экземпляров, о которых мы только что говорили.

Актриса улыбнулась. У нее была прелестная улыбка, отшлифованная, усовершенствованная за время долгих репетиций.

— Очень приятно,— сказала она низким голосом, протягивая Кябирлинскому руку,— Лена.

Фейзулла растерялся. Пожав кончики ее пальцев, резко отдернул руку, сунул в карман, достал платок, утер лицо.

Ага Мехти усмехнулся.

— Не платок — музейная редкость. Надумаешь продавать его, дай мне знать.

Ага Мехти был в отличном расположении духа. Кажется, актриса поняла, о чем идет речь, скосила глазки на платок Фейзуллы, хмыкнула.

Ага Мехти подмигнул ей.

— Платок Дездемоны.

Она засмеялась.

Кябирлинский еще больше сконфузился, поспешно спрятал платок в карман, пробормотал:

— Значит, дубляж перенесен на завтра?

— Да,— подтвердил Ага Мехти,— на два часа. Сможешь?

— В два?

Фейзулла достал записную книжку, заглянул в нее.

В последние годы он не полагался на память. У него была маленькая потрепанная черная записная книжка,

куда он старыми арабскими буквами записывал, что ему предстоит сделать и в какое время.

Ага Мехти, взяв актрису под руку, повел ее вниз по лестнице. Обернулся, сказал Кябирлинскому:

— Если не сможешь прийти — ничего. Я найду кого-нибудь и запишу твой текст. Не утруждай себя.

Кябирлинский, закрыв записную книжку, крикнул вслед режиссеру:

— Нет, нет, смогу! Я свободен!

— Ну и чудесно,— бросил через плечо Ага Мехти.— Сможешь — так приходи.

Он шепнул что-то актрисе и захохотал. Та тоже засмеялась.

Фейзулла отчетливо услышал ее слова:

— А вы ищете типаж. Вот вам, пожалуйста, отличный типаж. Великолепная физиономия.

— Да, но, кроме этого, нужен еще хотя бы минимальный талант,— ответил Ага Мехти.

Кябирлинский медленно спускался по лестнице, проклиная в душе телефоны киностудии. Сюда можно звонить, сев на телефон, в течение трех дней подряд — все равно не дозвонишься. Будь иначе, он позвонил бы после репетиции из города и тогда ему не пришлось бы ехать напрасно в такую даль.

«Не везет мне сегодня,— подумал он.— Поеду на радио, посмотрим, что будет там...»

Ему надлежало быть в радиостудии в три.

Фейзулла посмотрел на часы: половина второго. Значит, домой он уже не успеет. Да и лучше, если домой он поедет после радио. Кажется, жена собиралась приготовить на обед бозбаш.

Бозбаш — пища богов! Есть ли что на свете вкуснее бозбаша?

Нет, бозбаш не годится есть в спешке, на ходу. Ты должен фундаментально устроиться за столом. Сначала не спеша крошишь в тарелку чурек, выливаешь туда бульон, затем выкладываешь на тарелку гущу, ложкой хорошенько разминаешь картофель и мясо, посыпаешь сверху толченым барбарисом и начинаешь есть вприкуску с репчатым луком... Пах-пах-пах, пальчики оближешь!..

От таких мечтаний у Фейзуллы засосало под ложечкой. Он завернул в буфет киностудии, купил бутерброд с колбасой и заморил червячка.

Сойдя с дизеля на остановке «Парковая», он поднялся вверх по улице и вошел в здание Комитета по радиовещанию и телевидению. Преодолев половину лестницы, остановился перевести дух, утер потное лицо.

Уже много лет каждую неделю, в этот день, в этот час, Фейзулла приходил в радиостудию на запись. Он был неизменным исполнителем роли лиса в воскресных передачах для детей.

Войдя в редакцию, поздоровался:

— Салам, милые девушки! Салам, джигиты!

Это было его традиционное приветствие.

Стоящий у окна Меджид, низкорослый толстый рыжий парень, ответил:

— Привет, братец Лис... А где же кот Васька?

— Придет, придет,— сказал Фейзулла.— Не волнуйся. Ведь у Джавада машина, успеет,— где бы он ни был сейчас.

Молодой актер Джавад Джаббаров, исполнитель роли кота, был звездой, недавно засверкавшей на театральном небосклоне. На сцене он играл Гамлета, Эльхана, Отелло, но на радио не гнушался незначительной роли кота, столь любимого маленькими радиослушателями. Каждую неделю аккуратно приходил на запись, нисколько не обижался, когда работники радио называли его котом Васькой, напротив, это ему даже нравилось.

Редактор передачи Сафура при виде Фейзуллы несколько смутилась.

Меджид ухмыльнулся.

— Братец Лис, Сафура-ханум хочет сказать тебе что-то, но стесняется.

— Чего стесняться? Разве я чужой?

Сафура встала из-за стола.

— Не слушайте его, Фейзулла-даи. Я сама все скажу. Дело в том, что...— Она запнулась.— Не знаю, как объяснить вам...

Сердце Фейзуллы екнуло: «Нет, сегодня мне определенно не везет. Что за напасть?!. Не везет — и все. Интересно, кому там еще не понравился мой голос?»

— В чем дело, дочь моя? Говори, не стесняйся.

— Понимаете, Фейзулла-даи, текст этой передачи писал случайный автор, который не в курсе наших дел. Он написал роль лиса для женщины, и невозможно ничего изменить, так как на этом строится весь сюжет.

Сердце Фейзуллы сжалось.

— Как же так?.. Значит, лисом теперь будет женщина? — спросил он растерянно.

— Нет-нет,-нет,— поспешила успокоить его Сафура.— Никогда этого не будет. Разве мы допустим?.. Только сегодня, единственный раз... Со следующей передачи вы опять будете в своей роли.

Меджид фыркнул:

— На сей раз лисичка оказалась женщиной, через неделю ее опять превратят в мужчину.

Сафура метнула на Меджида порицающий взгляд, покачала головой.

Фейзулла вздохнул.

— Да, ничего не поделаешь...— Опустился на стул.— Дайте хоть присесть, отдышаться. Этот подъем к вам может доконать человека.

Опять губы Меджида растянулись в ухмылке.

— Братец Лис, дорогой, хвост всегда держи трубой! — пропел он.

Сафура вернулась к своему столу. С ее плеч будто спал тяжелый груз.

Фейзулла сидел на стуле и громко дышал. Лоб и верхняя губа его были покрыты капельками пота. Он достал платок, утер лицо.

Из коридора донесся раскатистый баритон:

— Салам, мой дорогой, салам! Как дела, красавица? Рад видеть тебя, симпатяга-парень! Как ты там?.. Желаю здоровья на тысячу лет!

Глаза Сафуры заблестели.

— Пришел, пришел! — воскликнула она радостно.

Дверь распахнулась, в комнату вошел высокий, статный молодой человек.

Его волосы, сросшиеся на переносице брови и тонкие усики были цвета воронова крыла, а глаза — светло-серые. Этот контраст придавал его симпатичному лицу странное выражение: он казался одновременно и надменным и благодушным, и многоопытным и наивным. Одет был франтовато: замшевая куртка кирпичного цвета, белоснежная рубашка, модный галстук с серебряной искрой. Блестящие волосы были, как всегда, зачесаны назад. На пальце — золотой перстень с крупным камнем.

— Пламенные приветы всей компании! — бросил Джавад.— Особый — Сафуре ханум. Привет, Кябирлинский! Меджид, салют!

Меджид осклабился:

— Привет, кот Васька.

Сафура заулыбалась.

— Наконец-то!.. А мы его ждем, а мы его ждем... Терпение у всех лопнуло.

Джавад обернулся в ее сторону.

— Клянусь твоей жизнью, Сафура, я так гнал машину!.. На спидометре была сотня. Сидел в одной приятной компании, да не быть ей приятнее вашей, все бросил и поднялся. Меня начали умолять: «Не уходи», и так далее. Я ответил: «Нет, сейчас с вами сидел Джавад Джаббаров, но каждую неделю в этот день, в этот час он превращается в кота Ваську. Пусть сюда придет сам министр культуры, и тот не удержит меня. Можете запереть дверь — я выпрыгну в окно. Все равно убегу. Говорю вам, я должен мчаться на радио».

Все засмеялись.

— Кот Васька,— сказал Меджид,— тебя давно не было, и в нашей комнате завелась мышка.

Джавад изобразил неподдельное удивление.

— Вот как? Почему же ты, рыжий филин, не поймал ее и не слопал?

Все опять засмеялись.

Джавад оборвал общее веселье:

— Хорошо, Сафурочка, в моем распоряжении только полчаса. Клянусь своим сыном, у меня сегодня был дубляж на киностудии. Исключительно ради тебя я перенес его на завтра.

Кибирлинский подтвердил:

— Он правду говорит, Сафура ханум. Клянусь аллахом, я свидетель.

Джавад приветливо покосился на Кябирлинского.

— Вот видишь, Сафурочка? Как говорится, лгун всегда при свидетелях. Хорошо, друзья, давайте быстренько записываться. Мне еще мчаться в школу, я приглашен на встречу.

— Сейчас будем вас записывать,— сказала Сафура.— Через десять минут студия наша. А пока на́ вот тебе текст, познакомься.

Джавад взял текст, пробежал глазами первую страницу, перевернул, затем вторую, третью.

Сафура тихо сказала ему:

— Послушай, Джавад, тут болтают всякое...

Он поднял на нее глаза.

— Болтают?.. Что?

— Тебе лучше знать. Говорят, будто ты с Зарифой...

— О аллах всевидящий! — вздохнул Джавад, откладывая листочки в сторону.— Это черт знает что такое!.. Человек из дома своего не вылазит, а о нем распускают всякие сплетни. Клянусь тебе, всё враки. Что я, дурак — бросить жену с ребенком?.. Клянусь твоей жизнью, Сафура,— он еще больше понизил голос,— вчера вечером сижу дома, смотрю телевизор — раздается звонок. Жена подходит к телефону, и вдруг я вижу, у нее начинают трястись губы. Спрашиваю: «Милая, что с тобой?» Говорит: «Возьми трубку, послушай сам». Беру трубку, слышу женский голос. Короче говоря, какая-то особа звонит и дразнит жену: мол, имей в виду, твой муженек сейчас со мной, мы мило проводим время, кейфуем, развлекаемся, а тебя он, дурочку, оставил дома. Я сказал жене: «Ну, видишь?.. Теперь убедилась сама, как люди могут врать?.. Видишь, какую напраслину возводят на невинного человека?.. Я здесь, дома, а она что врет?.. Имей в виду,— говорю,— точно так же рождаются и другие сплетни». Но разве женщину переубедишь в чем-либо? Жена заладила одно: «Если ничего нет, люди зря не скажут». Говорит: «Нет дыма без огня. Если бы ты,— говорит,— был у меня косой, рябой, хромой, тогда бы моя душа была спокойна. Зачем,— говорит,— мне такой Жан Маре, если моя жизнь похожа на ад?..» Так-то, дорогая Сафура...— Джавад опять взял в руки листочки.— Хорошо, пошли записываться, познакомился с текстом, каждый раз одно и то же.

Сафура поднялась.

— Можно двигаться.

Когда они шли по коридору, Джавад спросил:

— А где Кябирлинский?

Сафура объяснила ему, что и как.

Он остановился:

— Нет, нехорошо получается, Сафурочка. Он и без того обижен богом, а вы еще так поступаете... Пожилой человек, проделал такую дорогу, явился сюда...

— Но что я могу поделать, Джавад? Он сегодня без роли.

Они прошли еще несколько шагов. Джавад снова остановился, обернулся, позвал:

— Кябирлинский! Кябирлинский!

Фейзулла выглянул в коридор.

— Да, в чем дело?

— Пошли с нами,— распорядился Джавад.

Кябирлинский заспешил в их сторону.

Сафура сказала обеспокоенно:

— Я же объяснила тебе, Джавад, у него нет роли.

Джавад, приложив листы с текстом к стене и придерживая их левой рукой, правой достал из кармана авторучку.

— Иди сюда, Кябирлинский, смотри! Сейчас я сделаю для тебя один фокус. Будешь не лисом, будешь шакалом, какая разница? Лишь бы шли одиннадцать рублей, а, хитрец? Какая у тебя ставка?

— Семь рублей.

— Семь? Ничего. Семь рублей — тоже деньги. Как ты смотришь на шакала?

— На какого шакала?

— Слушай, ты всегда был лисом, один день побудешь шакалом! — Джавад расхохотался.— Ну, по рукам, плутишка?

Кябирлинский тоже улыбнулся, пробормотал:

— Да, но ведь...

— Ничего, ничего, не тушуйся,— говорил Джавад, делая какие-то исправления в тексте.— Смотри, пусть в этом месте лиса говорит: «О шакал, оказывается, и ты здесь?!» Так... а шакал отвечает ей: «Да, да, лисичка-сестричка, я тоже здесь, да, да...»

Джавад издал странный звук, подражая завыванию шакала.

Сафура смотрела на него с укоризной.

— Джавад, а вдруг автор скажет что-нибудь?

— Бюрократ твой автор,— сказал Джавад.— Я беру на себя всю ответственность, пусть автор попробует пикнуть. Передайте ему, что я, Джавад Джаббаров, считаю нужным добавить в это произведение образ шакала. Все, точка! Ясно вам?.. Так... Где это место? Ага... Вот... Лиса: «Пошли». Шакал...— Джавад несколько раз встряхнул ручку, как термометр, и начал писать.— Значит, так... Шакал: «Вы уходите?.. Я тоже с вами...» Так... И вот здесь еще, в самом конце... «До свидания, до свидания». Кроме того, время от времени ты присоединяешься к нам: да, нет, угу и так далее. Главное, чтобы слышался твой голос. Ну как получилось? Хорошо? А, шельмец?.. Ой-ой, опаздываю!.. Пошли скорее. Видишь, Кябирлинский, я, можно сказать, из воздуха сделал для тебя семь рублей, а ты не ценишь меня. Тебе бы следовало на эти семь рублей уго-

стить меня как следует в «Дружбе». Ха-ха-ха!.. Ай, чертяка!

Они вошли в студию.

Сафура, улучив момент, шепнула Меджиду:

— Джавад есть Джавад... Любит пошутить, но сердце мягкое, воск. Добряк.

Меджид ухмыльнулся.

— Пойду порадую Эльдара, с него причитается. Сколько лет его отец был лисом — стал шакалом.

Эльдар работал в радиостудии помощником режиссера. В те дни, когда у Фейзуллы была запись, он не показывался на глаза. Все знали причину. Знали, что Эльдар стыдится своего отца, вернее, тех ролей, которые тот исполняет, звуков, которые отцу приходилось издавать по роли.

Эльдару было девятнадцать лет. Днем он работал, вечером занимался в театральном училище. Стройный, видный, пригожий юноша. Вот только немного прихрамывал, чуть волочил левую ногу.

Все, что зарабатывал, тратил на то, чтобы хорошо одеться. Случалось, у него не было денег пригласить знакомую девушку в кино, но одет он был всегда, как говорится, с иголочки, не отставал ни от кого.

Лицо строгое, серьезное, даже угрюмое. Это никак не вязалось с его возрастом. Те, кто знал его отца, говорили: «Можно подумать, он сын Насреддин-шаха, а не Кябирлинского. Эх, губит гонор человека!»

Однако Эльдар не был зазнайкой. Просто болезненно самолюбивый юноша. Ни с кем не сближался, ни с кем не откровенничал. На работе у него был единственный друг — Айдын. В коллективе держал себя так, словно ждал от каждого насмешек, издевок.

Конечно, главной причиной этого был отец,— его живая рана.

Те, кто знал больное место Эльдара, остряки, циники, такие, как Меджид, постоянно подкалывали его:

— Послушай, Эльдар, твой отец — Кябирлинский, почему ты — Алескеров?

— Не твое дело,— огрызался Эльдар.

— Зачем обижаешься? Спросить нельзя, что ли? — кривлялся шутник.

Вот и сейчас. Меджид, войдя в комнату, где сидел Эльдар, воскликнул:

— Эльдар, поздравляю! С тебя магарыч!

Юноша, почуяв подвох, натянулся, как струна. Спросил хмуро:

— В чем дело?

Всегда при виде рыжей физиономии Меджида у Эльдара мгновенно портилось настроение.

Меджид сказал на полном серьезе:

— Я пришел сообщить тебе приятную новость, твоего отца повысили. Человек по-настоящему растет, прогрессирует. Был лисом, стал шакалом.

Эльдар, сорвавшись с места, бросился к двери, однако Меджид оказался проворнее, успел удрать.

Девушки в комнате прыснули, но, увидев лицо Эльдара, тотчас примолкли.

Айдын сказал:

— Да плюнь ты на этого ублюдка! Что тебе его болтовня? Разве он человек?.. Видит, ты выходишь из себя, вот и старается. Не обращай внимания.

Эльдар закусил губу.

— Ничего, я с ним сочтусь.

Взял себя в руки. Успокоился.

После записи Фейзулла поставил свою подпись в явочном листе и вышел из студии в коридор.

К нему подскочил Меджид:

— Послушай, Кябирлинский, приструни своего сына!

— А что он сделал тебе?

— Терроризирует меня. Сам видишь, я парень хилый, слабый, дунешь — упаду. А твой сын, слава аллаху, тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить бы, верзила, каких мало. Верно говорят: велика фигура — да дура.

— Наверное, ты сам виноват. Распускаешь язык, а теперь жалуешься.

— Да что я сказал ему? Что я сделал? Я спрашиваю: почему у твоего отца фамилия одна, а у тебя другая? Разве за это бьют человека?

Фейзулла на миг смутился, затем начал объяснять обстоятельно, сдержанно:

— Видишь ли, сынок, у нас с Эльдаром одна фамилия — Алескеров. Кябирлинский — это мой псевдоним.

— Вот спасибо, теперь все ясно! Смотри, ты объяснил по-человечески, и я все понял. Зачем драться, зачем ругаться?

В этот момент в коридоре появился Эльдар, приблизился к ним.

Меджид поспешил спрятаться за спину Фейзуллы.

— Ну скажи ему, чтобы не приставал ко мне. Не то, смотри, пойду прямо к председателю комитета.

— Эльдар, сынок,— сказал Фейзулла,— что тебе надо от него?

Эльдар не ответил. Он с ненавистью смотрел на Меджида, однако не решался тронуть его при отце.

— Ничего, я с тобой рассчитаюсь,— процедил он сквозь зубы.

— Ну видишь! — воскликнул Меджид.— Опять угрожает. Смотри, Эльдар, я спросил у твоего отца, он объяснил мне. А ты сразу обижаешься, выходишь из себя... Фейзулла-муаллим.— В присутствии Эльдара он всегда говорил старику Фейзулла-муаллим; однако в этом обращении скрывалась ирония.— Фейзулла-муаллим, не обижайтесь, пожалуйста, но меня очень удивляет, что это за мода — артисты берут себе всякие псевдонимы: Араблинский,[1] Кябирлинский...

Он говорил абсолютно серьезно, даже на губах его не было усмешки, только в глубине глаз светился бесовский огонек.

Эльдар понимал: Меджид издевается. Как ему было ненавистно его лицо, весь его облик — эта рыжая челка, рыжие брови, круглые рыбьи глаза без ресниц, эти редкие золотистые волосики на обвислых щеках (у Меджида даже торчащие из носа волосы были рыжие), эти три золотых зуба спереди, эти просвечивающие оттопыренные уши, эти пухлые руки с короткими, толстыми пальцами. Эльдар видел грязь на его белом воротничке.

Фейзулла ответил простодушно:

— Когда-то было принято: каждый брал себе какой-нибудь псевдоним.

Бегающие глазки Меджида иногда встречались с глазами Эльдара. Каждый хорошо понимал, что думает, что чувствует другой. Эльдар кипел от негодования. Что касается Меджида, он давно не получал такого удовольствия; здорово он дурачит Кябирлинского прямо в присутствии его сына! Вернее, Кябирлинский в своем простодушии сам

---

[1] **Араблинский** Гусейн — знаменитый азербайджанский трагик; погиб от руки подосланного убийцы в 1919 году.

выставлял себя в смешном виде перед Эльдаром и его недругом.

Бессильный что-либо сделать, Эльдар от стыда готов был провалиться сквозь землю.

А Фейзулла продолжал объяснять, ни о чем не догадываясь.

— Да, каждый взял себе какой-нибудь псевдоним — Араблинский, Агдамский, Сарабский... [1]

Меджид подсказал тихо:

— Кябирлинский.

— Подлец!.. Негодяй!..— взорвался Эльдар.— Я тебе дам сейчас!

Фейзулла изумленно смотрел на сына.

— Что с тобой, Эльдар? Ты что кричишь? Что он сказал особенного?

— Как что? Или ты с Луны свалился?.. С Марса?! Неужели не понимаешь?

— Нет.

— Впрочем, лучше тебе не понимать!

Эльдар махнул рукой и пошел прочь.

Из студии вышел Джавад.

— Хорошо, будьте здоровы, я побежал.

— Джавад, дорогой, тебе в какую сторону? — спросил Кябирлинский.— Может, меня захватишь?

Джавад на миг задержался.

— Клянусь, спешу. А то бы с удовольствием...— Он сделал еще несколько шагов, повернул голову.— Хорошо, пошли, подброшу до Баксовета.

— Вот спасибо!.. Оттуда я сам поеду...

Когда они, спустившись вниз, проходили по вестибюлю, кто-то позвал:

— Кябирлинский! Кябирлинский!

Фейзулла обернулся. К ним бежал помощник режиссера из телестудии Мамед. Поздоровался с Джавадом, схватил Фейзуллу за руку.

— Сам аллах послал тебя мне, Кябирлинский! Ты свободен вечером?

— Нет, а что?

— У тебя спектакль?

— Спектакля нет, но я занят...

Мамед перебил его:

---

[1] Агдамский и Сарабский — известные азербайджанские артисты.

— Значит, так... В приказном порядке! Дело свое перенесешь на завтра. У нас вечером спектакль. Садык заболел. Надо заменить его.

— Не могу... У меня...

— Могу не могу — ничего не знаю. Пойми, мне же голову оторвут.

— Мамед, ты знаешь, как я тебя уважаю. Но у меня вечером кружок.

— Во сколько?

— В семь.

— Значит, так... В восемь я тебя отпускаю. Перенеси свой кружок на один час. Соберитесь позже. Что особенного?

Джавад был уже у выхода. Спросил:

— Кябирлинский, ты едешь? Имей в виду, ждать не буду. Я спешу.

— Еду, еду! — откликнулся Фейзулла, сказал Мамеду: — Хорошо, Мамед, не могу отказать тебе. Но ведь мне надо подготовиться. Роль большая?

— Слушай, э, какая там роль?! Одна-единственная фраза. Значит, так... Ты почтальон, входишь в квартиру, говоришь: «Принес вам письмо». Вот и все. К чему здесь готовиться? Слава аллаху, ты сорок лет в артистах. Только прошу тебя, Кябирлинский, смотри не подведи, иначе мне голову оторвут... Значит, так... В шесть ты будешь здесь.

— Хорошо, не беспокойся, Мамед. Раз дал слово — приду.

— Браво! Молодец! Живи сто лет! Ты у нас единственный. Была бы пара — запрягли бы в арбу. Ха-ха-ха! Не обижайся, Кябирлинский, это шутка. Я ведь люблю тебя, ценю. Ты моя совесть, моя честь!

— Спасибо на добром слове.

Мамед был уже на пути к лестнице, обернулся, крикнул, отдал честь по-военному, дурачась:

— Моя честь — это вот что! А ты как думал?

Он снова расхохотался и исчез.

Фейзулла кинулся бегом из здания.

Джавад успел завести мотор и разворачивал машину. Кябирлинский замахал ему рукой.

— Подожди, я еду!..

Подбежал, сел рядом с Джавадом. Тот сказал:

— Кябирлинский, да ты нарасхват. Преуспеваешь: днем — радио, вечером — телевизор.

— Ай, Джавад... Тебе ли завидовать, как мы побираемся?

Он подмигнул Джаваду, довольно улыбнулся.

Молодой человек повернул голову, посмотрел на Кябирлинского. Большие темные очки скрывали выражение его глаз.

Коротко посигналив, он обогнал троллейбус и погнал машину вниз по улице.

— Джавад,— нарушил молчание Фейзулла,— ты мне как сын... Хочу сказать тебе одну вещь.

— Говори.

— Ты близок с Сиявуш-муаллимом. Скажи ему, чтобы он лучше обращался со мной при людях. Позорит... Ведь я не мальчишка. Поседел на сцене.

— Что же он говорит тебе?

— Да всякое кричит, обзывает. К тому же при всех. Сегодня, например, в зале сидел художник. Молодой парень, у нас с ним хорошие, уважительные отношения. А Сиявуш начал прямо при нем: ты такой, ты сякой... Будь мы одни — черт с ним, пусть бы говорил что угодно. Но зачем при посторонних? Ведь я ему в отцы гожусь.

— А все-таки, что он сказал?

— Да всякую ерунду... Вспомнил мечеть, муэдзина, азан... При чем здесь я, если мой отец был муфтием?

— Кем, кем был твой отец?

— Муфтием. Разве ты не знал?

— Нет, откуда?

— А я думал, знаешь. Все знают об этом. Мой отец был муфтий. Когда я стал артистом, он выгнал меня из дому. До последних своих дней не разговаривал со мной. С той поры мы с ним ни разу не виделись. Даже в завещании распорядился, чтобы я не присутствовал на его похоронах. Очень переживал... Мать после говорила: «Это ты свел отца в могилу».

— Скажи, чего тебя понесло в артисты, а, Кябирлинский?

— Не знаю... Очень хотелось... Ты не смотри, что я сейчас такой... Было время, я играл в нашем районном театре Октая, Айдына, Шейх-Санана...

— Иди ты!

— Клянусь своей жизнью, Джавад. Я был единственный сын у отца, он мечтал сделать и меня муллой, хорошо обучил меня персидскому языку, арабскому.

— Напрасно ты не стал муллой, Кябирлинский.

Фейзулла улыбнулся, покачал головой, предаваясь каким-то воспоминаниям.

Затем сказал:

— Я до сих пор хорошо помню молитвы из Корана.

— В самом деле? Тогда почему ты не не станешь муллой?

Фейзулла удивленно посмотрел на собеседника.

— О чем ты говоришь, Джавад? Какой из меня мулла?

— Почему бы нет?

— Как у тебя язык поворачивается говорить такое? Я и вдруг мулла!

— А что?.. Отец твой был муфтием, лицо у тебя благообразное, к тому же наизусть знаешь Коран. Что еще нужно для муллы?

— Странно ты рассуждаешь...— Этот неожиданный разговор смешал мысли Фейзуллы; он призадумался, наконец сказал: — Как же я стану муллой, если не верю в аллаха?

— Чудак! Да зачем тебе верить? Или думаешь, сами муллы верят? Ты лучше послушай меня. От театра толку не будет. Стань муллой, живи себе как министр, что тебе до аллаха? Веришь — верь, не веришь — не верь. Знай я Коран, я бы дня не остался в театре. Нет более дурацкой профессии, чем наша,— драматического артиста. Запомни: надо быть или таристом, или певцом — ханэндэ, без которых не обходятся свадьбы, или ашугом, или же муллой. Знаешь, как зарабатывают на свадьбах, на поминках! Ну вот, Кябирлинский, мы приехали — Баксовет.

— Большое спасибо, Джавад. Отниму у тебя еще одну минуту, не обижайся.

— Хорошо, говори!

— Так ты скажи Сиявушу. Он тебя послушает. Скажи ему, чтобы не обижал меня.

— Скажу.

— Ты понимаешь, Сиявуш преподает в театральном училище, где мой сын. На днях пришел и говорит студентам: на земном шаре еще не рождался более бездарный артист, чем Кябирлинский. Конечно, мой парень готов был провалиться сквозь землю. В аудитории его ровесники — есть друзья, есть враги.

— Глупости болтает Сиявуш. Скажу ему.

— И еще, Джавад...

— Ну?

— Есть еще одно дело.

— Что такое?.. Говори быстрее, ты меня режешь без ножа, опаздываю!

— Честное слово, другому не сказал бы... А тебе откроюсь... Только не подумай, Джавад... Ты знаешь, я не придаю значения таким вещам... Но у каждого есть не только друзья, но и враги... Да и жена без конца пилит меня...

— Не тяни, Кябирлинский, заклинаю тебя прахом твоего отца! Выкладывай суть дела! Ну?

— Суть дела в том, что в нынешнем году мне исполнится ровно шестьдесят. Я, конечно, не Араблинский, не Аббас Мирза, тем не менее и я внес лепту, так сказать... Думаю, может, и мне там... Какое-нибудь звание или еще что... Не подумай только... Я на такие вещи не падок, сам знаешь... Но смотришь: вчерашние мальчишки становятся заслуженными артистами... Нет, ты не подумай, я ничего не говорю... Дай им бог удачи... Но ведь и мы тоже... Сколько лет трудимся не покладая рук... Так пусть хотя бы немного...

— Понимаешь, Кябирлинский,— перебил его Джавад,— звание — дело сложное. Но я поговорю с Сиявушем, добьюсь для тебя грамоты от месткома или еще что-нибудь. Ну, извини, я уже опоздал...

— Спасибо, большое спасибо, да будет твоя жизнь долгой,— говорил Фейзулла, выбираясь из машины.

Он зашагал по улице, продолжая бормотать слова благодарности. А машина Джавада была уже далеко.

Фейзулла вошел в телефонную будку, позвонил на карамельную фабрику, где он был руководителем драмкружка.

— Передай ребятам,— наказывал он кому-то,— чтобы собрались не в семь, а в восемь. Или, скажем, в пятнадцать минут девятого...

Фейзулла направился домой.

Он жил в старом доме на втором этаже. Двор — маленький, узкий, темный. Зеленый скользкий камень под краном, из которого вечно сочилась вода, походил на огромную лягушку. Во дворе, кроме крана, были еще уборная с замком на двери, большой мусорный ящик и пирамида картонных коробок — собственность продовольственного магазина.

На второй и третий этажи вела железная лестница.

Если по ее ступенькам ступали неосторожно, она громыхала так, что казалось, будто по ней шагает армия закованных в броню солдат.

Застекленные галереи второго и третьего этажей смотрели во двор.

Семья жила в квартирке, состоящей из одной комнаты и подобия прихожей, которая служила также и кухней, здесь стояла маленькая газовая плита с двумя конфорками. Дальняя часть прихожей была отгорожена занавеской. Там стояла раскладушка, на которой спал Эльдар.

Юноша прибил к стене над изголовьем две книжные полки. На них стояли книги, журналы о театре и кино. Противоположная стена была оклеена сверху донизу портретами кинозвезд, это были, главным образом, фотографии киноактрис, вырезанные из польских журналов «Фильм» и «Экран». На полу у кровати стоял магнитофон, рядом — гора кассет с лентами. Здесь было царство Эльдара, его мир в четыре квадратных метра, полный головокружительных грез и кухонного запаха.

В комнате, довольно большой, был всегда полумрак: единственное окно давало слишком мало света. Стояли впритык одна к другой две кровати, массивный угрюмый комод кофейного цвета, стол и четыре стула.

С комода углом свисал кружевной, ручной вязки, накомодник. Кровати были застланы плюшевым покрывалом с изображением двух всадников, похищающих красавицу. На столе, наискось поверх клеенки, лежала кружевная дорожка — родная сестра накомодника. Занавеска на окне и салфетка, прикрывающая крошечный экран допотопного телевизора «Луч» в углу комнаты, обшиты точно такими же кружевами.

Палас на полу был местами протерт, сквозь него то здесь, то там проглядывали красноватые половицы.

На стене висело в позолоченной рамке с десяток фотокарточек: жена Фейзуллы Хаджар-ханум в молодости, Эльдар. Эти фотокарточки были маленькие. Над ними висел большой фотопортрет мужчины. Это был покойный свояк Фейзуллы, муж жениной сестры Гамар, Искендер Мурадалиев...

Много лет назад Искендер и Гамар погибли в автомобильной катастрофе.

Когда Фейзулла появился на пороге прихожей-кухни, Хаджар беседовала с заглянувшей к ней соседкой Анаханум.

В квартире — и в прихожей, и в комнате — царил смешанный запах плесени, сырости, грязной посуды, постного масла и хозяйственного мыла.

Анаханум при виде Фейзуллы сказала:

— Удачи вам во всем.— Затем обернулась к Хаджар.— Хорошо, баджи, я пошла.

Фейзулла, пройдя в комнату, снял пиджак, аккуратно повесил его на спинку стула, вернулся в кухню, вымыл под умывальником руки и лицо.

— Я что-то не улавливаю запаха бозбаша, жена! — заметил он шутливо.

Хаджар промолчала.

Фейзулла уже не ждал, что его удостоят ответа, как жена вдруг заговорила:

— Бозбаш!.. Может, плов с цыплятами желаешь?.. Бозбаша, видите ли, ему захотелось... А мяса ты удосужился купить?.. Или я сварю тебе бозбаш из колбасы?!

— Но зачем кричать, скандалить?.. Я думал, ты купила мясо.

— На какие деньги, интересно знать? Забыл, почем на базаре мясо?! Или думаешь, тех грошей, что ты приносишь, может хватить на мясо?! Вон, осталось немного вчерашней долмы, разогрей и ешь!

— Ну, что же, долма — тоже неплохо.

Он подошел к плите, поставил на огонь кастрюльку со вчерашней долмой, точнее — с той, что была приготовлена женой третьего дня.

Тишина в квартире царила недолго. Вскоре Хаджар снова заворчала:

— Бозбаш!.. Ему нужен бозбаш!.. Говорят: по одежке протягивай ножки!.. Нет, вы полюбуйтесь на него!.. И он еще считает себя мужчиной!..

Фейзулла перестал жевать.

— Скажи, что тебе надо от меня? Дай спокойно поесть.

— Ешь, ешь! Хоть бы ты подавился... Все выходят замуж, обретают счастье, а я!.. Эх, да какой ты муж?!

Фейзулла медленно, устало поднял глаза от тарелки.

— Что произошло все-таки?

— Спрашиваешь, что произошло? Только что была Анаханум, ты видел... Говорила про мужа, про свой дом, про их житье-бытье. Муж, можно сказать, на руках ее но-

сит. Вот и выходит, что дочь Хромого Сафтара живет лучше, чем дочь Дурсунбека!

Фейзулла сделал попытку обратить разговор в шутку.

— Но я-то здесь при чем, жена? Не ты ли первая влюбилась в меня и согласилась бежать из дома?..

— Чтоб мне ногу сломать в тот день, когда я решила бежать с тобой. Чтоб мне ослепнуть в тот день, когда я впервые увидела тебя! Пепел на мою глупую голову! Ведь я была совсем ребенком... Что я понимала?.. Ты с театром приехал в деревню, и у меня, дурехи, затмило рассудок... Ведь я была в сто раз красивее моей сестры Гамар. Ей посчастливилось, вышла замуж за Искендера Мурадалиева, а вот я — за тебя...

Фейзулла унес на кухню пустую тарелку с вилкой.

Оттуда донесся его голос:

— Тебе не стыдно?.. Хоть бы не произносила имени бедной Гамар!

— Чем же она бедная?

— А разве не бедная? Погибла такой ужасной смертью... И она и ее муж. Оба они несчастные. Лет-то им сколько было? Кто умирает в такие годы?

Хаджар вздохнула, примолкла, затем, будто отвечая своим мыслям, продолжала:

— Зато она познала счастье. Умерла, зато до конца своих дней жила по-человечески. У нее не было только птичьего молока. Рано ушла из жизни, но хоть пожила в свое удовольствие. А если мне придется завтра умирать... Что я скажу? Что я видела в жизни? Только твою постную физиономию да вот эту вонючую лачугу. Больше ничего. Люди живут весело, красиво... Эх...— Она сделала короткую паузу, закончила: — Впрочем, тебе что говори, что нет... Все одно...

Фейзулла налил себе чаю в маленький, грушевидной формы стаканчик, вернулся в комнату, пил частыми глотками.

— Хаджар,— сказал он,— я вижу, ты сегодня не в духе. А тут еще пришла Анаханум, подзавела тебя.

— Меня заводить не надо. Или я слепая? Сама не вижу, как люди живут и как мы живем?

Фейзулла, напившись чаю, унес стакан, сполоснул его под рукомойником, снова вошел в комнату.

Хаджар сказала:

— Вчера Эльдар вернулся домой такой расстроенный.

У них на занятиях какой-то преподаватель смешал тебя с грязью.

— Знаю,— отозвался Фейзулла.— Айдын мне сказал, приятель Эльдара.

— Знаешь, а что с того?.. Что толку?.. Можно подумать, ты пойдешь и рассчитаешься с обидчиком!.. Ведь тебя никто в грош не ставит!..

Фейзулла спокойно внимал.

Если ты ежедневно слышишь даже очень обидные, очень оскорбительные слова, они теряют свою остроту, свою силу, делаются привычными, не обижают, не причиняют боли. Может, лишь немного утомляют, только и всего.

Но Хаджар была неутомима:

— Эльдар говорит: «Мамочка, почему мой отец такой никудышный? Из-за него на меня все смотрят свысока. Если бы у меня,— говорит,— не было отца, я бы по крайней мере знал, что я сирота, и тогда никто не посмел бы меня оскорбить. Но ведь он жив, все его видят, знают, все смеются над ним, издеваются, подшучивают, а мне остается только смотреть на это да кусать себе локти!»

— Эльдар никогда не скажет такого.

— Будь я проклята, если лгу! — Хаджар, протянув руку, взяла со стола крошку хлеба, покатала ее пальцами.— Клянусь вот этим хлебом, ребенок говорил, а мое сердце обливалось кровью. «Мама,— говорит,— чем я хуже других? Ах,— говорит,— если бы я был сыном какого-нибудь большого человека! Я,— говорит,— молод, красив, работаю над собой, учусь, ночами не сплю, приумножаю свои знания, свою культуру. Вот,— говорит,— например, представь: я где-нибудь в гостях, в компании, все девушки поглядывают на меня. И мне,— говорит,— нравится одна из девушек. Мы знакомимся, разговариваем — о книгах, о театре, о кино... О чем бы она ни заговорила, я всегда поддержу разговор, не ударю лицом в грязь. Потом,— говорит,— смотришь, приходит какой-то болван, невежда, который ничего не знает, и на внешность невзрачный, и сложен отвратительно, но он сын большого «шишки», или же у него богатый отец с машиной, с деньгами. И вот,— говорит,— он предлагает той девушке: «Садись в машину, покатаю тебя». И девушка,— говорит,— уже с ним, а не со мной...»

Фейзулла перебил жену:

— Не нужна Эльдару такая! Чего стоит девушка, которая продает свое сердце за деньги, за машину?

Хаджар, умолкнув, некоторое время недоуменно смотрела на Фейзуллу, затем протянула к нему руку с растопыренными пальцами, махнула.

— Э-э-э, пепел на твою голову! Долго ты думал, чтобы сказать такое?! Ты всю жизнь был вот таким никудышным! Неудачником! У тебя потому и нет ничего!

В конце концов Фейзулла вышел из себя:

— Вот что я скажу тебе, жена: хватит! Ты говорила — я молчал, но ты уже перешла всякие границы! Я тоже человек! У меня есть самолюбие.

Хаджар передразнила:

— Самолюбие!.. Самолюбие!.. Держи при себе свое самолюбие. Меня бесит, когда я разговариваю с тобой.

Фейзулла, сняв туфли, лег на кровать.

Хаджар вышла в кухню. Оттуда доносились стук тарелок, звон ножей, вилок.

Фейзулла закрыл глаза, задремал.

Хаджар вернулась в комнату, вытирая кухонным полотенцем мокрые руки.

— Вот Анаханум спрашивает: почему всем артистам дают звание, а твоего мужа забывают?

Фейзулла ничего не ответил. Возможно, он спал, а может, притворялся.

Хаджар ворчала:

— Ты спи, спи, тебе что?! Насытил живот коркой хлеба — и думаешь, что в раю!

Она вышла, но вскоре опять вернулась.

— Эльдар говорит: «Хоть бы раз о моем отце написали доброе слово в газете! А то,— говорит,— или совсем ничего не пишут, или пишут всего одну фразу: «Кябирлинский опять не справился со своей ролью».

Фейзулла открыл глаза, долго смотрел на жену, наконец спросил:

— Хаджар, может, скажем Эльдару правду?

С женщиной произошло мгновенное превращение: изменилась в лице, побледнела, съежилась, словно сделалась меньше ростом, разом постарела. Ответила глухо:

— С ума ты сошел!.. Подумай, что говоришь... Прошу тебя, выбрось это из головы...

На глаза ее навернулись слезы, она достала платок, утерла их, вышла в кухню.

До самого ухода мужа она не сказала ни слова.

Ровно в шесть Фейзулла был на телестудии. Постепенно подошли и другие актеры. Ждали режиссера.

В студии ярко горели прожекторы, было жарко, как в бане. Над головами артистов, словно груши на ветках, висели микрофоны.

Тщедушный, низкорослый, подвижной Мамед носился туда-сюда, выбегал из одной двери, исчезал в другой, давал указания, распоряжения. То и дело слышалось его: «Значит, так... Значит, так...»

— Значит, так,— говорил он,— ты стоишь здесь, а ты выходишь отсюда. Ага... Значит, так... Третья камера, слушай меня! Ты делаешь наезд отсюда. Крупный план! Ясно? Затем ты, вторая камера, берешь слева... Эй, Шамиль!.. Значит, так, как только я дам знак, включай музыку... Значит, так, все здесь, все на своих местах. А вот и Сиявуш-муаллим.

У Фейзуллы оборвалось сердце.

Откуда он мог знать, что сегодня на передачу приглашен их режиссер. Сиявуш нечасто бывает в телестудии. Знай Фейзулла, кто режиссер постановки, он бы непременно отказался от участия.

Сиявуш тотчас увидел его.

— Кябирлинский, дорогой, я бегу от тебя, а ты — за мной, преследуешь по пятам. Безжалостный человек. Передохнуть от себя не даешь!

Все засмеялись. Актеры и сам Сиявуш были в хорошем настроении. Сиявуш спросил у Мамеда тихо:

— Откуда он взялся?

— Значит, так... Садык звонит сегодня: болен. Думаю, что делать? Попался на глаза этот Кябирлинский. Я пригласил его. У него всего три слова.

— Выбрось.

— Что?

— Слова Кябирлинского. Что он говорит?

— Да почти ничего. Приносит письма, говорит... Постой, сейчас посмотрю, что он говорит...— Мамед полистал текст.— Значит, так, он говорит: «Вот ваши письма».

— Вычеркни. Пусть войдет, молча отдаст письма и уйдет. Все! Когда я слышу его голос, меня переворачивает.

Мамед хохотнул и вычеркнул фразу. Подошел к Кябирлинскому:

— Значит, так, Фейзулла, мы сократили твои слова, молча войдешь... Вот смотри, отсюда войдешь, отдашь письма и уйдешь. Все. Понял?

— Даже не здороваться?

— Нет, нет, ради бога!.. Значит, так, положил письма — и ушел. Понял?

— Понял, понял. Сделаю.

Мамед хлопнул в ладоши.

— Значит, так, все проходят на свои места! Через пять минут мы в эфире.

Каждый занял свое место и замер. Камеры, словно ружейные стволы, нацелились на актеров.

Сиявуш, Мамед и звукорежиссер прошли за пульт, где на экранах мониторов появилась сцена, охваченная несколькими камерами с различных точек.

Время в телестудии будто стало ощутимым, материальным. Оно как бы обрело форму, границы, русло и приближалось к семи часам с неотвратимостью текущей к морю реки. Когда до семи осталось пятнадцать секунд, Сиявуш сказал в рабочий микрофон:

— Внимание! Мы в эфире! — И нажал кнопку.

Звукорежиссер включил музыку. Первая камера давала титры. Передача началась.

Спустя сорок минут Сиявуш закурил папиросу, поднялся с места. Передача окончилась. Актеры выходили из студии.

Кябирлинский, взяв Мамеда под руку, отвел в сторону.

— Мамед, дорогой, скажи, я внесен в денежную ведомость?

— Разумеется, Кябирлинский. Неужели не веришь?.. Стыдно. Не даром же ты работаешь? Мы еще не при коммунизме. У нас пока социализм — переходная стадия к коммунизму.

— Нет, ты понимаешь, почему я спрашиваю? Говорят, кто обжегся на молоке — дует на воду. Как-то я тоже выступал у вас без слов, такая же, как сегодня, немая роль. Так в бухгалтерии вычеркнули мою фамилию.

Мамед перебил его:

— Не беспокойся, я сам прослежу.

— Спасибо большое, Мамед. А то этот бухгалтер такой тип... Старик, гораздо старше меня, и совсем слепой. Говорят, нацепит очки, сядет перед экраном и считает, загибая пальцы, сколько человек занято в передаче, кто сколько слов сказал, а затем начинает скандалить,

мол, я не могу пускать на ветер государственные деньги...

— Словом, готов сэкономить на каждой твоей копейке, а?

— Вот видишь, сам говоришь.

— Нет, Кябирлинский, будь спокоен.

— Очень тебе благодарен.

Фейзулла обеими руками пожал руку Мамеду, попрощался с остальными.

Выйдя из проходной телецентра, увидел: к остановке подходит троллейбус. Побежал, едва успел сесть.

У Азнефти он сошел с троллейбуса и пересел в автобус. В десять минут девятого добрался до карамельной фабрики.

Три года Фейзулла руководил фабричным драмкружком. В кружке было всего шесть человек, четверо мужчин и две женщины.

Одним из членов этого маленького коллектива был пожилой фабричный сторож Салман-киши. Жил он бобылем, домой его не тянуло, вот и записался в драмкружок.

Был еще в кружке Мухтар, который втянулся в самодеятельность из-за своей жены Розы.

Роза была армянка, неплохо знала азербайджанский язык, однако говорила с акцентом. Очень хотела научиться говорить правильно. В этом ей усердно помогала ее подруга Бехиджа. Именно по настоянию Бехиджи Роза записалась в драмкружок.

Бехиджа, сорокалетняя женщина, была вдовой. По мнению Кябирлинского, она обладала истинным актерским дарованием.

В течение трех лет Кябирлинский готовил к постановке пьесу Джафара Джабарлы «Октай Эль-оглы». Роль Октая Кябирлинский взял себе. Остальные мужские роли он отдал Мухтару, Салману-киши, табельщику Баширу и шоферу Давуду. Так как кружок был пока малочисленный, все, кроме Кябирлинского, имели по две-три роли. Роза исполняла и роль Нади, и роль актрисы Тамары, Бехиджа играла и Френгиз, и сестру Октая Севе́р.

Занятия кружка проводились раз в неделю в красном уголке фабрики,— комнате, стены которой были увешаны различными лозунгами, таблицами, плакатами, портретами. На красном полотнище через всю стену было напи-

сано: «Искусство принадлежит народу». Один из плакатов — сплошь разноцветные квадратики, треугольнички, кружочки, столбики и цифры, цифры, цифры — наглядно рассказывал о годовом плане фабрики, объяснял, в какие города отправляется ее продукция. На стенде с позолоченной рамкой золотыми буквами по красному плюшу было написано: «Передовики производства»; ниже — двадцать фотокарточек, в том числе фото шофера Давуда. Над стендом еще давно Кябирлинский приколол кнопочками два портрета — Джафара Джабарлы и Станиславского. Занавесок на окнах не было, их заменили пожелтевшие газетные листы. Стены комнаты попахивали известью, недавно здесь был ремонт.

Когда Кябирлинский вошел в красный уголок, все члены кружка были в сборе. Роза и Бехиджа шептались. Давуд с Баширом курили. Мухтар объяснял сторожу Салману-киши происхождение и смысл некоторых слов.

— Вот, например, слово «колбаса»,— говорил он.— Откуда оно взялось? По-тюркски «кол» — «рука», «басан» — «набитый»... То есть набитый рукой. Ведь раньше колбасу делали вручную, брали кишку и набивали мясом. Кол-басан! Кол-басан! Стало «колбаса».

Салман-киши покачал головой.

— Ты смотри!.. Ну и дела на свете!..

— Да, вот так. Или, например, ты кто? Ну, отвечай, кто ты?

Салман растерянно пожал плечами.

— Я?.. Не знаю... Охранник.

— Верно. Ты охранник, караульный. И у русских есть такое слово — «караул». Это тоже наше слово — «каракул». То есть черный раб. Или, например, что значит лошадь?

Салман заморгал глазами:

— Не знаю.

— Лошадь, то есть лешат, дохлая кляча. Понял?

Салман снова покачал головой.

— Ты смотри!..

Кябирлинский перебил их лингвистическую беседу:

— Хорошо, друзья, начнем работать. Извините, я немного запоздал. Срочно вызвали на телестудию.

— В тот раз я видела вас по телевизору,— сказала Роза.

Кябирлинский смутился немного.

— Честное слово, просто не дают покоя, ежедневно вызывают... В телестудию, на радио, в кино. Я почти всем отказываю. Говорю: нехорошо, ведь есть и другие.

Ему вдруг захотелось рассказать, что он сегодня ехал в машине вместе с Джавадом. Он знал: Джавад нравится Бехидже. Кябирлинский немного симпатизировал ей. Но как скажешь? Какой придумать повод? Мухтар обернулся к Салману-киши.

— Женщины носят каракулевые шубы. Каракуль! Что это значит? Кара-гюль!.. То есть черная роза.

Салман-киши многозначительно покачал головой.

— Ну и дела на свете...

Фейзулла спросил:

— Ну, вы приготовили мне ту сцену? Когда она будет полностью готова, я приглашу к нам Джавада Джаббарова. Пусть придет и посмотрит, как надо играть «Октая». Сегодня он долго возил меня на своей машине, сказал: «Фейзулла-муаллим, я слышал, ты создал замечательный драмкружок. Но почему скрываешь его от нас?» Я ответил: «Не спеши, дорогой, мы еще не готовы, наберись терпения. Когда подготовимся, позову тебя, придешь и посмотришь».

Бехиджа замахала рукой.

— Нет, нет, я стесняюсь! Я не смогу играть при Джаваде Джаббарове.

— Почему это не сможешь? Отлично сыграешь. Вспомни Френгиз из пьесы! Она даже в то время не испугалась выйти на сцену!

Мухтар сказал Салману-киши:

— В Москве есть улица Арбат. Знаешь, что это значит? Арба — телега, ат — лошадь.

— Хорошо, начали, начали! — оборвал его Кябирлинский.

Они репетировали место в пьесе, где Френгиз выбегает на сцену со словами: «Я родная дочь этой сцены!»

Образ юной, нежной Френгиз в трактовке Бехиджи, женщины довольно неповоротливой, толстоногой, с грубоватым лицом, всегда всклокоченной головой и в неизменно перекрученных чулках, получался более чем странным, однако Кябирлинский остался доволен ее исполнением.

— Браво, дочь моя! — похвалил ее.— Отлично! — Затем, обращаясь ко всем, добавил: — Искусство — значит гореть, кипеть, создавать! Тут требуется творчество, та-

лант. И еще температура. Жар!.. При температуре тридцать шесть и шесть искусства не создашь. Ты должен пылать, кипеть, созидать. Художник должен принести себя в жертву сцене, он должен сгореть, превратиться в пепел, чтобы зритель поверил в образ, который он создает. Известно ли вам, что сказал Константин Сергеевич Станиславский?

Сторож Салман-киши посмотрел вопросительно на Мухтара.

Роза опередила всех:

— Моя жизнь в искусстве!

Кябирлинский согласно кивнул.

— Правильно! Этим самым он хотел сказать, уважаемый Салман-киши, что если не будет искусства, театра, то ему и жизнь не нужна. Ты понял, дорогой Салман-киши?

Салман-киши часто закивал головой.

Кябирлинский продолжал:

— Искусство, сцена, актер!.. Великие слова. Жизнь проходит, искусство остается! Ты слышишь меня, Бехиджа, доченька?.. Когда ты произносишь фразу: «Я родная дочь этой сцены!» — весь зал должен содрогнуться.

Кябирлинский умолк, задумался, снова заговорил:

— Я хорошо помню то время, вы его не знаете. Покойный Джафар Джабарлы написал все точно, как было. Сейчас, слава аллаху, на каждую роль набрасываются десять артисток, а тогда мы не могли найти даже одну. Нам самим приходилось играть женские роли. Лично я сам столько раз играл Френгиз, Гюльтекин, Хумар...

Роза прыснула:

— Вы — Френгиз?!

Кябирлинский тоже улыбнулся.

— Да, да, случалось и такое. Помню, мой двоюродный брат был бандитом, скрывался в горах, так он пригрозил: «Передайте этому сводпику, если он еще раз наденет юбку и выйдет женщиной кривляться на сцену, я прикончу и его, и всех его артистов...» Нам пришлось бежать из деревни ночью, тайком, в фаэтоне. Да, были денечки!

— А вы не боялись, Фейзулла Худавердиевич? — спросила Роза.

— Ах, милая, до страха ли нам было? Мы тогда не думали ни о деньгах, ни о славе, ни о всяких там званиях. Ездили из селения в селение, играли различные

пьесы: «Шаман-бек», «Лекарь поневоле», «Из-под дождя — да под ливень», «Наш постоялец покончил с собой». Мы хотели пробудить народ, открыть людям глаза...— Он вздохнул.— Да, верно говорят: что было, то прошло.

Послышался храп. Сторож Салман-киши сидя задремал. Мухтар подтолкнул его локтем, разбудил.

Фейзулла кашлянул, прочищая горло:

— Хорошо, продолжаем репетицию.

Он поднялся со стула, напрягся, побагровел, жилы на его лбу вздулись, глаза налились кровью. Обернулся к Бехидже, воскликнул:

— О, Френгиз, это ты?! Или мне снится сон?.. Ох, змея!.. Скорпион!.. О!.. Однако... Кто привел ее ко мне?!

Бехиджа растерялась, вздрогнула. По телу ее пробежали мурашки. Втянула голову в плечи, затем неожиданно расплакалась.

* * *

Домой Фейзулла добрался только в полночь. Двор был погружен во тьму. Все уже спали. Он осторожно поднялся по железной лестнице, открыл ключом дверь, прошел в комнату.

Хаджар не спала. Спросила:

— Чего крадешься? Порхаешь, будто птица ночная.

Фейзулла удивился:

— А в чем дело?

— В чем дело, в чем дело... Нечего дурачком прикидываться! Думаешь, не знаю, почему так осторожно ходишь? Боишься, лестница греметь будет.

— Ну да. Ведь соседи спят.

— О соседях беспокоишься?! Кто тебе поверит? Ты заботишься, как бы от шума не проснулась твоя краля. Не хочешь тревожить сладкий сон своей Ягут-ханум?

Ягут-ханум была их соседка, молодая красивая женщина, жила на третьем этаже. Она совсем недавно переехала в их дом. Кябирлинский видел ее всего несколько раз. На днях она поднималась по лестнице с ведром воды и повстречалась с Фейзуллой. Он взял у нее ведро и донес до третьего этажа. Хаджар, видевшая все это, до сих пор не могла простить мужу его галантность.

— О жене, о сыне не беспокоится,— ворчала она,— а сон этой вертихвостки бережет!..

— Не болтай глупости. Ты знаешь, я всегда так поднимаюсь, когда прихожу поздно. Зачем тревожить соседей?

— Когда прихожу поздно! — передразнила Хаджар.— Интересно знать, почему ты являешься поздно? Где шляешься?

— Я работал. Не кутил, не развлекался...

Хаджар еще долго ворчала. Фейзулла лег, натянул на голову одеяло. Он сразу же заснул и почему-то увидел во сне Константина Сергеевича Станиславского.

Рано утром Фейзулла ушел в театр, на этот день был назначен общественный просмотр их нового спектакля. Эльдар тоже отправился на работу. Хаджар осталась дома одна.

Вскоре к ней заглянула Анаханум.

— Доброе утро, баджи, ты, я вижу, стираешь? Я тоже хотела взяться за стирку, да воду прозевала, опять не идет из крана, проклятая! Что у тебя хорошего? Как дела?

— Да так, понемножку.

Анаханум села на стул, начала обмахиваться.

— Ох, жарко... Вчера видела твоего по телевизору, опять он, бедняжка, не произнес ни слова, даже рта не раскрыл. Объясни мне, Хаджар-баджи, почему он все время молчит?

— Не знаю, дорогая Анаханум. Такая уж у них профессия, им не обязательно говорить. В том-то и весь секрет, чтобы создать роль, ничего не говоря,— глазами, лицом, жестами. Неопытный, какой-нибудь там мальчишка, не сыграет тебе такую роль. Тут нужен опыт, умение. Всегда, когда бывают подобные роли, приглашают моего мужа. Уверены, уж он-то справится. Знают, у него большой опыт...

— Ах, вот как?.. А то я думаю, почему он, бедняжка, всегда стоит и молчит. Ни словечком не обмолвится.

Хаджар вынула из корыта простыню, начала выжимать. Обернулась к соседке.

— Не сочти за труд, Анаханум. Помоги, возьмись за тот конец.

Женщины принялись крутить в разные стороны свернутую жгутом простыню.

Хаджар сказала:

— Его часто вызывают на телевизор. И в кино вызывают. Только он не всегда соглашается. Ведь человек должен иметь совесть. Если бы Фейзулла был таким же пройдохой, как другие, он бы уже давно получил и звание и квартиру.

— Вот и я так думаю. Сегодня утром забегала дочь, сказала: «На днях в театре дяди Фейзуллы пойдет новый спектакль; говорят, потрясающая вещь; люди из-за билетов головы пробивают друг другу. Попроси,— говорит,— дядю Фейзуллу, пусть и нам достанет билеты». Я сказала ей то же, что и ты сейчас мне. Говорю: «Дядя Фейзулла очень скромный человек, не из тех, кто будет руганью добывать билеты, если бы он мог достать — прежде всего достал бы для Хаджар-ханум, она, бедненькая, днями сидит дома, никуда не выходит».

Хаджар почувствовала, что краснеет. Нагнулась к полу, делая вид, будто ищет что-то.

— Я не очень-то люблю театр. В молодости смотрела столько спектаклей, что теперь мне хватит на всю жизнь. А захотелось бы — пошла. Он мне всегда достанет билет. Каждый вечер могла бы ходить... Дай мне тот таз, если нетрудно. Вот спасибо... Нет, я люблю телевизор. Сидишь себе и смотришь в свое удовольствие!

— Нет, не говори, театр — тоже неплохо. В телевизор ты сама смотришь, а в театре... И ты смотришь,— она подмигнула Хаджар, улыбнулась,— и на тебя смотрят... Разве не так, Хаджар-баджи? Ты наряжаешься в какое-нибудь красивое платье, надеваешь серьги, кольца и другое, что у тебя есть, и появляешься на людях. Только не подумай ничего такого, Хаджар-баджи, я не прошу билеты. Если мне будет надо, скажу племяннику, он из-под земли достанет. Я просто так сказала, к слову пришлось... Иду на базар. Если что нужно,— куплю. Вчера были отличные лущеные орехи. Взяла пять кило. А то потом, перед праздником, не найдешь. Так говори, может, что надо?

— Нет, нет, спасибо. Я ходила утром на базар.

Обсуждение спектакля проходило оживленно. Почти все выступающие хвалили постановку, давали высокую оценку, отмечали мелкие недостатки.

Кябирлинский и другие актеры, разгримированные, переодетые, сидели труппой в партере.

Под конец слово взял молодой человек в очках. Фейзулла впервые видел его. Аликрам шепнул ему, что это театральный критик, учился в Москве, недавно приехал.

Кябирлинский отозвался также шепотом:

— Молодчина какой!.. Честное слово, когда вижу таких ребят, мое сердце наполняется гордостью. Смотри, как говорит! Соловей!.. Такие юноши — надежда народа.

Молодой критик говорил:

— ...Я хотел бы коснуться еще одного вопроса — вопроса о пнях.

Он сделал в этом месте паузу.

Сидящие в зале задвигались, зашептались: «Что?.. Что он сказал?.. Кого он имеет в виду? Что такое?.. Пни?..»

Молодой критик, не без некоторого самодовольства, ждал, когда все успокоятся, нарочно затянул паузу, дабы предельно заинтриговать присутствующих. Продолжал:

— Да, да, мне хотелось бы сказать несколько слов о пнях. Я имею в виду те самые пни, которые стоят на пути нашего развития, нашего прогресса, мешая нам продвигаться вперед. Извините, я говорю немного резко, остро, но ведь нам надо рано или поздно покончить с этой проблемой.— Он налил в стакан воды из графина, сделал несколько глотков, продолжал спокойно: — Мы думаем об отдельных людях, но не думаем об искусстве. Мы проявляем заботу об отдельных лицах, но не заботимся о нашей сцене. Мы уважаем наших отдельных ветеранов.— Слово «ветеранов» он произнес с явной иронией.— Да, да, мы уважаем отдельных наших ветеранов, но не относимся с должным уважением к нашей работе, к нашей профессии.

Он опять сделал паузу, интригуя слушающих.

У некоторых задрожали поджилки: «На кого он намекает?.. Интересно, будет ли называть конкретные имена?.. Или обойдется общими фразами?» Если он говорит вообще — отвлеченно, абстрактно, то все согласятся с его разумными мыслями, все присоединятся к его точке зрения, все будут громко аплодировать.

Молодой критик снова заговорил:

— Вот, к примеру, возьмем сегодняшний спектакль. Современная, со вкусом сделанная постановка. Чувствуется благотворное влияние театра Брехта. Работа режиссера и художника достойна всяческих похвал. Джавад

Джаббаров создает запоминающийся образ. Но вот какой-то один актер своей грубой, несуразной игрой портит весь ансамбль, портит все впечатление... Я имею в виду... Э-э-э...— Он заглянул в листок, который держал в руке.— Я имею в виду Кябирлинского. Мне помнится, Сиявуш-муаллим, он произносит в пьесе всего три фразы... Э-э-э... «Вот старик, вот ночь, вот огонь...» Кажется, так?

Сиявуш устало поднял голову.

— Да.

— Так вот... Он произносит эти слова так, в такой манере, таким голосом, что зритель недоумевает: как, каким образом, откуда этот человек попал на сцену? И второй вопрос, товарищи: как и когда он и подобные ему покинут нашу сцену? Да, да, товарищи, я спрашиваю, когда они покинут сцену и уйдут на законный и давно заслуженный отдых?

В зале раздался смешок.

Критик, в свою очередь, улыбнувшись, продолжал:

— Это не пустяковый вопрос. Сегодня я разговаривал об этом с товарищем Сиявушем. Он говорит: «Жалко. Как я выброшу человека на улицу?» Товарищ Сиявуш, вам жалко одного человека, а театр, искусство, наконец, зрителя вам не жалко?.. Вы знаете, как это называется?.. Название этому — мелкий гуманизм.

Сиявуш бросил с места:

— А каков крупный?

— Да, да, мелкий гуманизм,— повторил критик.

— Вот станешь директором — и выгонишь сам,— снова подал реплику Сиявуш.

Кто-то в зале засмеялся.

Молодой критик немного смутился, однако тотчас взял себя в руки, сказал твердо:

— Нет, либерализм нам не нужен! — И сел на свое место.

Председательствующий подвел итог:

— Итак, мы принимаем спектакль. Что же касается указанных недостатков, товарищи поработают и исправят их.

Все в зале начали аплодировать, поднялись с мест.

Каждый считал своим долгом подойти и поздравить Сиявуша, Джавада, художника.

Аликрам сказал Фейзулле:

— Ну, видал?.. Вот тебе и надежда народа!

Кябирлинский попросил:

— Дай папироску.
— Ты ведь не куришь.
— Курю... иногда.
Они вышли из зала и расстались.
В фойе молодой критик, Сиявуш и художник горячо спорили о чем-то. Кябирлинский прислонился к колонне и смотрел. Он не слышал их слов, но чувствовал, разговор у них нешуточный. Он смотрел на них и невольно испытывал удовольствие: все трое были пригожи, молоды, красиво, по моде одеты, они были талантливы, умны, образованны, у каждого впереди была целая жизнь, каждого из них ждала слава.
Вдруг художник сказал что-то и все трое громко захохотали. У всех разом исправилось настроение. Критик дружески хлопнул Сиявуша по плечу и отошел, поздоровался с кем-то на ходу, кому-то помахал рукой, кому-то улыбнулся и упругими шагами начал быстро спускаться по лестнице.
Неожиданно для себя Кябирлинский последовал за молодым человеком, подошел к нему в нижнем фойе, сказал:
— Здравствуйте. Извините, мы не знакомы, но ваше выступление очень понравилось мне. Поздравляю...
Молодой критик кивнул:
— Большое спасибо.— Повернулся, чтобы уйти.
Фейзулла остановил его:
— Но мне хотелось бы сказать вам кое-что.
— Что именно?
— Вы считаете, Кябирлинского нужно прогнать из театра...
— Да. Или я не прав?
— Но что тогда будет?..
— Как что будет? Вам понравилась игра Кябирлинского?
— Кябирлинский — это я.
Молодой критик опешил:
— Вы?.. Кябирлинский?..— Быстро взяв себя в руки, сказал сухо: — Странно, я не узнал вас без грима. Рад нашему знакомству. Однако я остаюсь при своем мнении.
— Я сорок лет работаю актером.
— Это не ответ. Стаж и талант — разные вещи. Я люблю говорить откровенно. По-моему, вы не актер.
Кябирлинский смотрел, как загипнотизированный, на

уголок голубого в полоску платочка, который выглядывал из нагрудного кармана молодого человека.

— Сынок,— сказал он,— ты молод, талантлив, умен, образован. У тебя впереди большая жизнь. И рядом с тобой, слава аллаху, твой отец — как гора.

Щеки критика порозовели. Фейзулла продолжал спокойно:

— А мне уже шестьдесят, у меня семья и у меня нет никакой другой профессии. Была бы — ушел. Работал бы сапожником, или лудильщиком, или парикмахером. Но что мне делать теперь? Говорят, кто в шестьдесят учится играть на сазе, заиграет лишь в могиле. Плохой ли, хороший ли, но я актер. Если меня уволят, умру с голоду.

Чувствовалось, этот разговор тяготит критика.

— Нет, я так не ставил вопрос... Может быть, вы справитесь с другими ролями... Но эта роль, по-моему, ваша неудача. Я высказал свое личное мнение.

— Большое спасибо, сынок, да пошлет тебе аллах счастья! Мне нравится твоя смелость, твоя откровенность. Но, честное слово, ведь я тоже ни в чем не виноват. Третьего дня...

Молодой критик перебил его:

— Извините, на улице меня ждут товарищи. До свидания.— Он удалился.

Кябирлинский подошел к большому зеркалу в фойе и долго себя разглядывал.

Эльдар, поднимаясь по лестнице в радиокомитете, встретил Айдына.

— Слышал новость? — спросил тот.— Рена выходит замуж.

Эльдар изменился в лице:

— Врешь.

— Не знаю. Мне так сказали. Будто бы сегодня придут сватать ее.

Эльдар промолчал. Расставшись с Айдыном, поднялся на второй этаж, вошел в одну из пустых комнат, запер дверь на ключ. Прежде всего достал сигарету, дрожащими пальцами зажег спичку, закурил, сделал несколько жадных затяжек, затем поднял телефонную трубку, набрал номер. Услышав частые гудки, положил трубку. Тут же снова поднял ее, снова позвонил. Опять положил, опять

поднял, опять набрал номер. После четвертого или пятого раза ему ответили:

— Алло!

— Здравствуй, это я,— сказал он.

— Узнаю.

— Рена, я кое-что слышал...

Она ответила спокойно, даже равнодушно:

— То, что ты слышал, верно. Вечером к нам придут сваты.

Эльдар будто впервые увидел перекосившийся шпингалет оконной рамы, эту трещину в стекле, панораму города за окном: дома, дым, корабли...

Во дворе шофер никак не мог завести «Москвича», мотор выл, словно бормашина, затем умолкал.

Телефонная трубка молчала. В руке Эльдара был карандаш, он писал на листе бумаги, которая на столе: «Эльдар, Эльдар, Эльдар Алескеров. Алескеров. Эльдар, Эльдар, Эльдар.»

Рена сказала:

— Почему ты обижаешься на меня, Эльдар? Ты должен помнить наш разговор. Ты же сам заявил, что не собираешься жениться в течение пяти-шести лет. У тебя свои планы — поехать в Москву, учиться, снимать кино. Кто знает, что тебе еще захочется после этого? За это время ты, конечно, забудешь меня. Кто может сказать, что произойдет за шесть долгих лет? А меня сватают из хорошего дома. Парня я знаю. Неплохой человек. И мать говорит: не будь дурой. Вчера я...

Эльдар не стал слушать дальше, положил трубку, вышел из комнаты.

* * *

Сиявуша и Джавада пригласили на радио для участия в передаче о новом спектакле.

Записывать их на пленку должен был Эльдар. Он находился в аппаратной, отделенной от студии, в которой уже сидели Джавад и Сиявуш, толстой стеной с большим звуконепроницаемым окном.

Сквозь это окно было хорошо видно все, что происходит в аппаратной, но, если бы там выстрелили из пушки, в студию не проникло бы ни звука.

Сиявуш и Джавад тихо разговаривали. Они часто бывали в этой комнате, однако сейчас забыли про один ее

секрет. Дело в том, что, если студийный микрофон был включен, каждое слово, произнесенное здесь даже шепотом, передавалось в аппаратную через мощный динамик. Человек в студии думает, что говорит тихо, он не может знать, что в соседней комнате его голос превращается в подобие грома.

Сиявуш и Джавад говорили о театре, постановке, предстоящей премьере. Эльдар, не обращая внимания на их болтовню, занимался своими лентами, бобинами, аппаратом — словом, готовился к записи. Но вот он невольно стал прислушиваться к разговору, происходящему в студии.

Сиявуш сказал:

— Не может быть! Ты правду говоришь? Неужели он сын Кябирлинского?

— А ты не знал? — ответил Джавад.

— Нет, откуда?.. Ведь это мой студент — Алескеров.

— Теперь будешь знать. Недавно ты в его присутствии обругал Кябирлинского. Старик сильно обиделся на тебя.

Они рассмеялись. Сиявуш заметил:

— Кябирлинский — это уникум.

— На днях он поймал меня и начал просить: «Скажи,— говорит,— Сиявушу, пусть не обижает меня». Да, хорошо, что я вспомнил... Я ведь собирался поговорить с тобой. Все забываю. Кябирлинский мечтает о звании. В тот день он поймал меня и говорит: «Скоро мне исполнится шестьдесят лет, скажи Сиявушу, пусть похлопочет о звании для меня».

— А ты бы сказал ему: знал бы лысый средство от плеши — он бы прежде испытал его на себе.

Они расхохотались.

— Я так и сказал. Говорю, послушай: «У нас есть такие киты, такие титаны, и те ничего не имеют, а ты о звании мечтаешь!..» Однако шутки в сторону, Сиявуш, жалко его. Пожилой человек, старик... Может, мы так сделаем: соберемся узким кругом и отметим его дату? Вручим грамоту, соберем деньги, купим ему какую-нибудь вазу, вот и все.

— Что ж, это можно,— согласился Сиявуш.— Но ведь ты знаешь, аппетит приходит во время еды. Дашь ему грамоту — придет, будет просить: прибавьте зарплату. Прибавишь зарплату — потребует: дайте мне главную роль.

— Нет, он не из таких,— сказал Джавад,— безобидный старикан, не задается, знает свое место. Но ты понял, о чем он грезит?.. Хочет, чтобы мы устроили для него в театре небольшой юбилей. Мечтает созвать родичей и упиться славой.

— Неплохо! Предлагаю образец афиши: «Юбилейный вечер Фейзуллы Кябирлинского! Отрывки из «Гамлета», «Отелло», «Невесты огня». Третий солдат Фортинбраса — Кябирлинский! Четвертый стражник Отелло — Кябирлинский! Второй скелет — Кябирлинский!»

— Вот ты смеешься, Сиявуш, шутишь, а, честное слово, если повесить такую афишу, народ соберется. Кто знает Кябирлинского?.. Но у негодника громкое имя — Фейзулла Кябирлинский! Люди подумают, приехал какой-нибудь знаменитый артист.

— Да, ты прав, Джавад. Кябирлинский, Араблинский... Звучит.— Он обернулся к окну.— Однако почему этот сын Кябирлинского так тянет? Пусть поскорее записывает! Опоздаем в театр!

Эльдар стоял, прислонившись к стене, бледный, как полотно. Увидев, что Джавад за окном делает ему знаки рукой, резко повернулся и вышел из комнаты. В коридоре столкнулся с Меджидом. Тот, увидев его, ухмыльнулся, вздернулась верхняя губа, сверкнули золотые зубы. Из большой родинки на подбородке Меджида торчали рыжие волоски.

— Привет, Кябирлинский! — сказал он.

В тот же момент Эльдар залепил ему пощечину.

Айдын бросился к ним из другого конца коридора, оттащил друга в сторону.

Вечером Эльдар и Айдын сидели за маленьким столиком в ресторане «Дружба». Ели осетрину, жаренную на вертеле, зелень. Перед ними стояла бутылка из-под водки и графинчик; они дополнительно заказали триста граммов, которые пока еще находились в нем.

Музыканты играли ритмические танцы. Были и танцующие. Особенно выделялась одна пара — парень с девушкой. Они не знали усталости. Танцевали по-современному, не в обнимку, а раздельно, каждый двигался самостоятельно. Они были связаны только взглядом.

Эльдар, выпив, повеселел. Казалось, это совсем другой

человек. Куда делся угрюмый, замкнутый юноша?.. Он говорил и говорил:

— Айдын, думаешь, я не мог бы отделать как следует этого подлеца Меджида? Честное слово, я могу переломать ему ноги и ребра, превратить его в котлету. Но... Это невозможно. Почему? Потому что он побежит жаловаться и меня уволят. А я не могу уходить с этой работы. Понимаешь, Айдын? Я должен работать еще два года. А через два года...

Айдын поинтересовался:

— Что же будет через два года?

Эльдар поднял голову, задумался, устремив глаза куда-то вдаль, на лице его появилось мечтательное выражение, он затянулся сигаретой, выпустил вереницу колец.

— О-о, через два года я получу диплом и уеду в Москву — на высшие режиссерские курсы.

— Поступишь ли?

— Почему не поступлю? В кармане у меня будет диплом... Понял? Диплом! А кроме диплома — деньги... Понял? Деньги!

— Там деньги не помогут. Это у нас все может быть...

— Спокойно, не надо спешить с прогнозами. Я спрашивал и все узнал. Там надо угостить нужных людей. В приемной комиссии работают молоденькие девушки, женщины, заморочишь голову одной, другой, и дело пойдет как по маслу.

Айдын расхохотался.

— Ай, хитрец!.. Так и скажи: мол, еду котовать.

— Нет!

Эльдар крикнул это так громко, что сидящие за соседними столиками обернулись в их сторону.

Юноша продолжал твердить с пьяным упорством:

— Нет, клянусь тебе, нет! Клянусь тобой, Айдын, нет! Клянусь матерью, нет! Все только для того, чтобы поступить на курсы. А поступлю — конец!.. Тогда уже не будет ни девушек, ни ресторанов, ни ухаживаний, ничего постороннего!.. Буду день и ночь заниматься, Айдын! Не буду спать, не буду есть, не буду пить! Буду только учиться! Все постигну! А потом приеду сюда...— Он налил в стакан водки из графина, сделал большой глоток.— Ух, отрава! — Сморщился, закусил кусочком рыбы.— Да, приеду сюда... И тогда мы посмотрим... Вот тогда будет отличный

спектакль! — Он пристально посмотрел в глаза другу.— Если бы ты знал, Айдын, что я сделаю с Сиявушем!..

Айдын усмехнулся.

— Что, например?

— Сделаю его своим заместителем.

— То есть ты станешь министром?

— Еще не знаю... Но, во всяком случае, займу какую-нибудь большую должность. А Сиявуша возьму к себе заместителем.

— А вдруг он не захочет стать твоим заместителем?

Эльдар на мгновение задумался. Кажется, этот вариант не был предусмотрен в его воображении.

— Почему это не захочет? Я дам ему такой оклад, какой он пожелает. Даже больше моего. Но только он обязательно будет моим заместителем. Непременно! Я нажму кнопку звонка и вызову его к себе. Он войдет в мой кабинет, улыбнется. Но я не улыбнусь. Спрошу: «Что здесь смешного, товарищ Сиявуш? Может, и нам прикажете улыбаться?» Он скажет: «Нет, Эльдар, это я так...» Я обрежу его: «Не Эльдар, а товарищ Алескеров!.. Когда к вам домой придет гость, будете называть его Эльдаром, а здесь учреждение, здесь я для вас товарищ Алескеров. Кроме того, потрудитесь приходить на работу вовремя. Сегодня вы опоздали на пятнадцать минут...»

— Ты прелесть! — воскликнул Айдын.— Сиявуш лопнет от злости.

Эльдар радостно засмеялся.

— А ты как думал! С Джавадом, знаешь, что сделаю?

— И его — в заместители?

— Не-е-т. Джавад пусть остается на сцене, пусть играет. Но во время каждого просмотра я буду вставать и говорить: «Джавад Джаббаров опять создал примитивный образ, опять не справился со своей ролью». А Меджида...

— Да, да, Эльдар, скажи, прошу тебя! — Айдын от удовольствия потер руки.— Что ты сделаешь с Меджидом?

— Уволю с редакторской должности и сделаю актером, но таким, чтобы он исполнял одну-единственную роль — шакала!

Снова заиграла музыка. Опять на площадку вышли те самые парень и девушка. Однако на этот раз танец был медленный, они танцевали обнявшись. Она прильнула к нему, положив головку на его плечо. Он рукой гладил ее волосы.

Айдын с нескрываемой завистью смотрел на них.
Эльдар предложил:
— Давай выпьем за тебя!
Выпили.
— Увидишь, что я еще сделаю! — похвастался Эльдар.
Айдын спросил:
— А кем ты сам будешь?
— Сам я, Айдын, буду большим художником. Мастером! Все эти должности, ответственные посты,— временное явление. В сущности, я отдам всего себя режиссуре и актерству. Буду и режиссером, и актером. У меня будет свой театр... Вот говорят: театр Товстоногова. Или там театр Охлопкова. Понимаешь? Я создам такой же театр. Свой!
— Само собой, машина?
— Конечно, будет и машина. Я сам буду водить ее, но и шофер будет. Всякий раз в день премьеры моя «Волга» будет подкатывать к дому Рены. Всякий раз от меня — десять билетов: ей самой, ее мужу. Пусть берет в театр кого хочет — мать, отца, подруг.
Айдын предложил:
— Выпьем за тебя.
— Выпьем. Знаю, Айдын, ты думаешь, я пьян. Клянусь тебе, я ни капельки не пьян. Смотри, сколько ни пью — не берет меня. Знаю, ты в душе не веришь мне. Возможно, смеешься... Но, клянусь, все это будет, все будет! Имя, машина, деньги!..
— Знаю, Эльдар, верю: все это будет. Только нескоро... Нам тогда будет уже много лет. Ты понимаешь, если бы все это было сейчас, сегодня, когда мы молоды!
Музыканты не спеша укладывали свои инструменты. Зал почти опустел. Часть светильников погасла.
Ветер с моря развевал шторы на окнах.

— Он пришел пьяный в дым,— сказала Хаджар.
— Где он пил, с кем?
— Откуда я знаю? — Помолчав, добавила: — Бедняга пьет с горя. Молодой, хочет развлечься, погулять. Что он видел в жизни — твою физиономию?
В комнате было темно. Фейзулла повернулся на кровати в сторону жены.
— Знаешь, Хаджар, я все время думаю... Ты верно говоришь... Почему он должен страдать из-за меня? Почему

должен стыдиться меня? Почему мы не откроем ему правду? Почему не скажем: «Детка, ты тоже сын уважаемого человека! Твой отец был одним из самых достойных...»

Он не мог видеть в темноте лицо Хаджар. Но в тот же миг ощутил на своих губах ее ладонь. Она зажала ему рот. Шептала:

— Молчи, молчи... Слышишь?

Фейзулла и сам знал, что никогда не осмелится сказать Эльдару правду.

Это было давно. Супруги Мурадалиевы — Искендер и Гамер — с семимесячным сыном ехали на «Победе» в Шушу отдыхать. Опасаясь зноя, в дорогу двинулись под вечер. Июль выдался на редкость жарким. Смеркалось, когда в районе Хурдалана они подъехали к железнодорожному переезду. Шофер Искендера не заметил приближающегося поезда. Халатный стрелочник не удосужился опустить шлагбаум. На переезде водитель хотел переключить скорость — с третьей на вторую. Неожиданно заглох мотор, машина остановилась на пути поезда, который надвигался на них с неотвратимостью рока. Гамар, увидев набегающие огни паровоза, закричала, лишилась чувств. В последний миг Искендер, подчиняясь инстинктивному импульсу, выхватил ребенка из рук жены и выбросил из окна машины за полотно железной дороги.

Младенец остался жив. У него лишь была повреждена левая нога. Все остальные погибли.

У Хаджар и Фейзуллы детей не было. Они забрали ребенка, усыновили, вырастили, воспитали. Скрыли от него судьбу родителей.

Наутро Эльдар сидел за столом и пил кефир. Голова его раскалывалась от боли.

Фейзулла побрился, оделся и хотел уходить.

— Фейзулла,— сказала Хаджар,— завтра у вас премьера, достань и нам билеты. Два — для нас: Эльдару и мне, два — для Анаханум, они просили.

— Я не пойду,— бросил Эльдар.

Фейзулла развел руками.

— Трудно, Хаджар. Из-за билетов смертоубийство!

— Хорошенькое дело!..— сердито передернула плечами жена.— Даже не может достать билеты в театр, где

работает! Каким никчемным сотворил тебя аллах! Удивительно!

— Ну, будет, будет, опять начала. Соседке ничего не обещай. Эльдар не хочет идти, а тебе я достану.

Спускаясь по лестнице, услышал сзади голос Хаджар:

— Смотри, без билета домой не приходи! Понял?!

Кассир замотал головой.

— Нету, нету, нету! Не осталось ни одного.

— Но ведь я работаю в этом театре.

— В театре работает двести семьдесят человек.

Он отправился к администратору.

— Клянусь тебе, Фейзулла, на завтра и послезавтра не могу ничего сделать,— заверил тот.— На один из ближайших дней — пожалуйста, сколько угодно билетов.

Он приуныл. Обращаться к Сиявушу ему не хотелось, однако иного выхода не было.

В кабинет Сиявуша то и дело входили люди. Входили, выходили.

— Как это он не может прийти?! — кричал Сиявуш.— Придет, если даже околеет после этого! Завтра спектакль, а он номера откалывает!

Кто-то сказал:

— Сегодня утром умерла его теща.

— Пусть окочурится вся его родня, но завтра вечером он должен быть здесь. Кем я заменю его в этом бедламе?!

Зазвонил телефон, Сиявуш поднял трубку.

— Нет,— ответил он,— завтра вечером, послезавтра днем и вечером. Затем другой спектакль. Да.

Повесил трубку. Обернулся к стоящему у двери парню.

— Аслан, укажи в программе: вместо Салимова — Гаджиев. Сабир, а ты скажи, пусть завтра в спектакле на стол поставят не черный телефон, а белый. Тот, вчерашний.

Опять раздался звонок. Сиявуш взял трубку.

— Да... Да, это я, пожалуйста... Добрый день... Извините, сейчас нет возможности. Позвоните в понедельник.

Едва он положил трубку, телефон снова зазвонил.

— Да, да... Нет, на завтра ничего не могу сделать. Не осталось ни одного билета. Знаю, очень хорошо. Я весьма уважаю вашу газету, но завтра это невозможно. Я распоряжусь на послезавтра.

Положил трубку.

— Аслан, попроси Шарифу-ханум, пусть зайдет ко мне! — Он заметил стоящего в углу Фейзуллу.— Кябирлинский, а тебе что?

Фейзулла сделал шаг вперед.

— Сиявуш-муаллим, у меня к вам просьба... Поверьте, мне очень неудобно...

— Кябирлинский, не тяни. Говори, что надо?

— Может, вы мне... один билетик... на завтра...

Сиявуш решительно прервал его:

— Нет.

— Что?

— Я говорю — нет. Я не раздаю билеты. Напрасно ты пришел ко мне за этим.— Опять зазвонил телефон.— Да... Это я... буду... Извините, пожалуйста, сейчас буду.— Положил трубку.— У меня, Кябирлинский, и без тебя голова кругом идет.— И выбежал из комнаты.

Фейзулла медленно спустился вниз, вышел из театра, поехал в радиостудию.

Тяжело поднимался по лестнице. Что он скажет жене? С каким лицом вернется домой?

— Что с тобой, Кябирлинский? Отчего такой мрачный? Что-нибудь случилось?

Фейзулла узнал голос Меджида. Поднял голову.

— Нет, ничего, Меджид... Просто думаю...

— О чем? К добру ли?

— Думаю, какой смысл жить на земле такому человеку, как я?

— Вот это да!

— Я прожил на свете шестьдесят лет, и выходит — зря. Чего я стою? Кто уважает меня? Завтра умру — никто не заметит, никто не вспомнит. Через месяц все забудут, как меня звали.

— Что это ты ударился в самокритику?

— Понимаешь, Меджид, иногда человек кладет перед собой папаху и начинает думать о прошлом. Вся моя жизнь проходит у меня перед глазами, как кинолента. Вижу, я в самом начале не пошел по правильному пути. И вся моя жизнь полетела насмарку, а сейчас уже поздно.

— Что случилось, Кябирлинский? Это что за упадническая философия? Может, тебе что сказали? Оскорбили? Скажи, кто? Клянусь, я разделаюсь с мерзавцем. Не дам тебя в обиду!

— Эх, Меджид, Меджид!.. Сорок лет я работаю в театре, а к гардеробщику и то больше уважения. Меня за человека не считают. Никакого внимания. Даже билет на спектакль пожалели!

Они шли по коридору. Им встретился Эльдар. Увидев Фейзуллу и Меджида, отвернулся в сторону.

Это не укрылось от Меджида. В глазах его зажегся бесовский огонек, губы искривились ухмылкой.

— Не унывай, Кябирлинский,— сказал он и свернул в боковой коридор.

Фейзулла записал свою роль, перекусил в буфете булкой с кефиром. Вышел из здания. Кто-то окликнул его. Он обернулся. Меджид, высунувшись из окна второго этажа, махал ему рукой.

— Кябирлинский, вернись, пожалуйста!

Фейзулла пошел назад. Меджид встретил его на лестнице.

— Ты огорчил меня своим настроением, Кябирлинский. Я был в месткоме, поговорил там. Вот тебе пригласительный билет на два лица. Но не в ваш театр, а в академию. И не на завтра — на сегодня. Завтра, я знаю, у тебя спектакль, ты занят. Хватай под мышку жену и ступай в академию, сегодня там грандиозное торжество. Вот, смотри, здесь написано: юбилей Данте. Данте — великий итальянский поэт, жил семьсот лет тому назад. И еще смотри: я распорядился, чтобы тут написали твое имя и фамилию.

Фейзулла взял в руки пригласительный билет. Действительно, сверху было помечено: «На два лица». Дальше следовало:

«Уважаемый товарищ Фейзулла Кябирлинский!

Приглашаем вас на торжественный вечер, посвященный 700-летию со дня рождения великого итальянского поэта Данте Алигьери.

Первое отделение: доклад о жизни и творчестве Данте.

Второе отделение: большой концерт.

Начало в 20 часов».

Внизу дата — 11 мая. Как раз сегодня.

Меджид наставлял:

— Оденься получше, Фейзулла. Только непременно. Учти, там будет правительство.

У Фейзуллы задрожали губы.

— Большое спасибо, сынок, большое спасибо.

В горле его встал комок.

Фейзулла птицей взлетел по лестнице своего дома. Однако, войдя в комнату, постарался взять себя в руки, сказал степенно:

— Жена, собирайся. Сегодня мы идем на юбилей Данте.

— Куда?

— На юбилей Данте. Неужели ты не знаешь, кто такой Данте? Великий итальянский поэт!

Хаджар пожала плечами.

— Что мне там делать?!

— Разве ты не сама просила: поведи меня в театр, на концерт? Что театр и концерт в сравнении с этим? Ты знаешь, что такое юбилей? Торжество, праздник!.. Будет и доклад и концерт. Пригласительные билеты дают не каждому.

— Тебе-то как дали? Что это сегодня случилось?

— Пришел и на нашу улицу праздник. Как-никак, я сорок лет тружусь, поседел на сцене. Вот, даже имя мое указали. Приглашен персонально! Словом, жена, собирайся. Во-первых, проглadь мой черный костюм...

Фейзулла разговаривал с женой в необычном для него тоне, с новой интонацией в голосе — повелительно, властно. И что самое удивительное, Хаджар принимала этот тон без возражений, подчинялась словам мужа. Достала из сундука его черный костюм, встряхнула, почистила, сбрызнула водой, аккуратно отутюжила, сделала стрелки на брюках. Влажной тряпкой протерла его туфли, щеткой навела глянец.

К семи они были готовы.

Хаджар, улучив минутку, заглянула к Анаханум, оповестила ее о событии.

— Из Италии приехал знаменитый поэт, мы идем на его вечер. Приглашены только избранные люди Баку. Фейзулле дали персональный билет.

В этот сиреневый майский вечер на улицах было много гуляющих. Юноши и девушки шли под ручку, Фейзулла тоже взял жену под руку.

На Хаджар было черное панбархатное платье, плечи ее укрывала белая шелковая шаль: на ногах — черные лакированные туфли на высоких каблуках.

Впервые за много лет они шли по улице вот так, под ручку, впервые за много лет не пререкались, не ссорились и Хаджар не ворчала, а улыбалась.

— По всей вероятности,— говорил Фейзулла,— из нашего театра лишь мне одному прислали билет. Никто из ребят ничего не сказал. Если бы кто получил, тотчас бы начал хвастаться.

Было без пяти минут восемь, когда они подошли к зданию академии. Открыли тяжелую массивную дверь, вошли.

Странно! В вестибюле было сумрачно и безлюдно. Они направились к широкой мраморной лестнице. Вдруг остановились, услышав чей-то голос. Кто-то негромко напевал. Звук резонировал в помещении, как в пустой бане:

Фаэтонщик-армянин,
Прокати разок один!

Фейзулла обернулся и увидел того, кто пел. Это был старик сторож. Он тоже заметил их. Перестал петь, шагнул в их сторону:

— Эй, вам кого?

Фейзулла важно протянул сторожу пригласительный билет, который заранее приготовил и держал в руке.

Старик даже не взглянул. Только спросил:

— Что это?

Фейзулла объяснил:

— Мы на юбилей! — Видя, что сторож недоуменно хлопает глазами, добавил: — Разве юбилей не здесь? Юбилей Данте.

Сторож взорвался, как граната:

— Вот, вот, каждый день чей-нибудь юбилей!.. Сегодня — Давыдова, завтра — Мамедова, потому в магазинах и спичек нет!.. Вчера с рук купил. Пять коробок... по пятнадцать копеек... Это что?!

Фейзулла и Хаджар растерянно смотрели на старика армянина, который изливал им свою душу. Наконец тот сказал:

— Нет, братец, сегодня здесь нет никакого юбилея. Вы ошиблись. Наверное, завтра будет. Завтра приходите.

— Но ведь здесь написано: одиннадцатое мая.

Сторож вышел из себя:

— Слушай, что тебе надо от меня?! Какой странный человек! Сказал тебе — нет, и все! Здесь никого нет, все разошлись по домам, работа закончилась. И вы идите домой.

На мраморной лестнице послышались шаги. Сверху спускался молодой человек в очках.

— В чем дело, дядя Арестакес?

Сторож, нагнувшись, принялся наливать в банку чай из алюминиевого чайника. Он уже снова напевал что-то. Вскинул голову.

— Откуда я знаю? Говорит, пришли на юбилей... Я ему твержу: сегодня нет никакого юбилея. А он спорит со мной.

Молодой человек, подойдя к ним, поздоровался, взял из рук Фейзуллы пригласительный билет, пробежал глазами, улыбнулся.

— Кто-то подшутил над вами, отец. Юбилей Данте отмечали неделю тому назад.

— То есть как?! Но ведь здесь указано — одиннадцатое мая.

— Это кто-то написал рукой. Говорю, подшутили. Ну, всего доброго! — И он ушел.

Сторож опять затянул:

Фаэтонщик-армянин,
Прокати разок один!

Они вышли на улицу. Фейзулла не смел взглянуть на Хаджар. Знал: сейчас она разразится бранью, станет поносить его: «Бездарный человек! Глаза бы мои не видели тебя! Я всегда говорила: никто не считает тебя за человека!» Однако жена молчала. Так, молча, они дошли до станции метро.

— Метро,— сказала Хаджар.

— Да,— глухо отозвался Фейзулла.

Он был мрачнее тучи. Неожиданно Хаджар сказала ласково, мягко:

— Может, покатаемся, а, Фейзулла?

Он уже забыл, когда она разговаривала с ним так. Посмотрел на нее.

— Если хочешь... Ты еще не была в метро?

После секундной паузы Хаджар ответила:

— Нет, ни разу.

На губах Фейзуллы появилось подобие улыбки.

— О, тогда ты получишь удовольствие! Это сказка.

Они вошли в метро. Он бросил в автомат пятачок.

— Иди!

Опустив еще монетку, последовал за женой. Пояснил:

— Если бы я не бросил пятак, ты бы не прошла. Тебя бы стукнуло по ноге.

— Да что ты?!

— Да, да, смотри, Хаджар, а это движущаяся лестница.

Она засмеялась.

— Ой, Фейзулла, как интересно!

Восторг жены все больше вдохновлял его. Он, как опытный экскурсовод, показывал ей все в метро, объяснял.

А Хаджар всему удивлялась, все ей нравилось, она охала, ахала.

Завтра, наверное, Хаджар снова будет браниться, ворчать, превращая жизнь Фейзуллы в пытку, но сегодня ей не хотелось обижать его, не хотелось, чтобы он знал, что вот уже два месяца, с тех пор, как в Баку открылось метро, она каждое утро ездит на базар этой подземной дорогой.

РУСТАМ ИБРАГИМБЕКОВ

(Род. в 1939 г.)

ЗАБЫТЫЙ АВГУСТ

6 августа 1945 года

Сегодня измерил свой рост — один метр пятьдесят четыре сантиметра. За месяц не вырос ни на один сантиметр. У Рафика — один метр пятьдесят восемь сантиметров. А 14 апреля его черточка была рядом с моей... За три года он стал длиннее на восемнадцать сантиметров, я — на тринадцать...

Мама ругала за то, что дверь в спальне вся в наших черточках. Мои — синие, Рафика — красные. Она не знает, что это папа научил меня отмечать рост черточками... По-моему, Рафик жульничает. Я сказал ему, чтобы он держал линейку ровно. Он обиделся и объяснил, что наклон делает из-за моих длинных волос.

Потом побежали к его бабке. Она сидела на стуле у входа в столовую, ждала нас. Мы взяли сетку с продуктами и пошли медленно, чтобы бабка не отставала. В столовой каменный пол, поэтому бабка зимой и летом ходит в валенках. Я спросил у Рафика, почему она так тяжело дышит. Астма или плеврит? Оказывается, просто толстая.

Бабка Рафика и дома ходит в белом халате, поэтому он у нее весь в пятнах. Мы сделали вид, что уходим на улицу, а сами спрятались под кроватью.

Бабка принесла из столовой пельмени и американский яичный порошок... Пельмени разложила на его кровати

над ним, порошок — надо мной. Я съел три горстки, еще восемь набрал в кулек. Больше рука не достала.

Хорошо, что бабка глуховата, не услышала, как Рафик шуршал газетой, на которой лежали пельмени. Когда она вышла из комнаты на минутку, он кинул мне несколько штук. Очень вкусные. Жалко, сырые. Рафик шепнул мне, чтобы я поправил газету: бабка глухая, но видит хорошо. В буфете с плохим зрением долго не проработаешь.

Когда мы убегали, она нас не заметила...

Закончил «Два капитана». Очень хорошо все описано, как перед глазами все прошло: и льды, и город Энск, и Москва... Будто сам везде побывал. Интересно, как бы В. Каверин написал про наш пустырь? Он, наверное, написал бы очень хорошо, а я напишу, как умею: «...Двухэтажный каменный дом стоит на краю большого пустыря. Рядом лепится несколько одноэтажных домов. По другую сторону пустыря возвышается высокое неоштукатуренное здание (бывший госпиталь, до войны — школа), в котором сейчас живут демобилизованные военные с семьями. Дальше, за этим зданием, виднеются стена и кирпичные домики военного городка.

Посреди пустыря, завалившись набок, лежит «мессершмитт», сбитый над городом в 1942 году. Рядом кроватными сетками огорожен участок метров двадцать на двадцать. Это танцплощадка. По воскресеньям сюда приходит военный духовой оркестр и играет бальные танцы — падеграс, краковяк и другие. Мальчики танцуют с мальчиками, девочки — с девочками. Только солдаты из военного городка осмеливаются иногда приглашать дам.

Справа пустырь кончается оврагом. Перед ним стоит пожарная каланча с гаражом, общежитием, административным корпусом и бассейном, наполненным зеленой от старости водой. С весны до осени в этом бассейне купаются ребята с пустыря, хотя город, в котором они живут, расположен на берегу моря.

Место для пожарной каланчи выбрано удачное, отсюда, с пустыря, просматривается весь город до самой набережной...»

В. Каверин, конечно, лучше бы все описал, не так скучно, но мне же еще четырнадцать с половиной лет...

7 августа

Леню Любарского опять топили. Чуть не утонул. Когда мы с Рафиком принесли свою долю — пельмени и порошок,— все уже сидели в тени деревянной стены с дырками вместо окон и дверей, по которой на тренировках лазили пожарники.

Леня принес бутерброд со смальцем. Он стоял на солнце и плакал. Боялся подойти поближе.

Пахана не было. Место его оставалось незанятым. Рядом сидел Хорек и делал вид, что не видит Леню. Гусик, как всегда, был с гитарой. Остальные ребята полукругом сидели напротив Хорька. Почему-то еду делил сын одноглазого завмага с Телеграфной улицы. На нем был новенький китель с настоящими медными пуговицами, брюки-галифе, хромовые сапоги.

Рафик шепнул мне:

— Почему это он делит? Никакого права не имеет!

Сын завмага стоял на коленях перед газетой, на которой была сложена вся наша провизия, и, прежде чем отделить каждому его долю, смотрел на Хорька, чтобы получить разрешение.

Они выбрали для Пахана и Хорька самую вкусную жратву. Гусику — похуже. Остальное пододвинули нам — на десять человек столько же, сколько на них троих.

— Сыграй чего-нибудь,— сказал Хорек Гусику.

Гусик запел «Молодого жульмана». Это любимая песня Пахана. Леня отошел на несколько шагов, чтобы не мешать пению своим плачем. Когда Гусик кончил петь, Хорек сказал, что сегодня мы примем в нашу команду нового «бойца», и показал на сына завмага. Все посмотрели на него, а потом на широкий офицерский ремень и портупею, которые нацепил на себя Хорек поверх старой майки.

Рафик опять шепнул мне:

— Купился на ремень, а мы все должны терпеть.

Леня продолжал плакать. Мы старались не смотреть на него. Хорек сказал: «Пошли».

Чем ближе мы подходили к бассейну, тем громче плакал Леня. От страха. Но продолжал идти за нами. Другого выхода не было.

Хорек разделся и подал знак сыну завмага. Тот толкнул Леню в воду вместе с бутербродом.

— А вы чего стоите? — спросил нас Хорек. И мы начали топить Леню.

Когда он доплывал к какому-нибудь краю бассейна и пытался выбраться из воды, мы сталкивали его назад. Особенно старался сын завмага, чтобы его приняли в команду.

Леня плавает совсем плохо и почти сразу же начал тонуть, трех минут не прошло. Стенки бассейна покрыты зеленой слизью и очень скользкие. Вылезти из него трудно: надо подтянуться на руках, лечь на живот, а потом уже вытащить ноги.

Мы сталкивали Леню в воду сразу, чтобы он не терял напрасно силы. А Хорек давал ему вылезти до половины и потом только пихал назад. Или наступал ему на пальцы, как только Леня хватался за борт,— не давал передохнуть. Кроме того, он следил, чтобы мы все топили Леню.

Я тоже топил.

— Ну ладно, кончайте,— сказал Хорек, когда Леня, наглотавшись воды, окончательно пошел ко дну.

Мы еле вытащили его. Он лежал на земле синий и разбухший от воды... Потом, когда явился Пахан и мы загорали около бассейна, мимо прошла Неля. Первым ее увидел Гусик. Сообщил Пахану.

Она шла из ворот своего двора через пустырь в сторону города. Издали ей можно дать лет восемнадцать, а она всего на полгода старше меня. Очень выросла за лето. Поправилась. Сшила себе еще одно платье, голубое, в талию, с белой отделкой. Хорошо одевают ее родители. Еще бы! Всю войну люди ремонт в квартирах не делали. Теперь наверстывают. А ее отец — известный в городе маляр...

Пахан натянул брюки и пошел ей наперерез. Что-то сказал и схватил за руку. Она вырвалась и ушла.

Рафик шепнул мне, что у нее кто-то появился. Я не поверил. Он сказал, что она каждый день в это время куда-то уходит. В руке она держала газетный сверток.

Почему я ее так люблю?! Это моя третья любовь. Первый раз я влюбился в первом классе первого сентября (мы сидели на одной парте). Потом в четвертом. Но никого я не любил так сильно, как Нелю, и, наверное, никого больше не полюблю. Очень сильное чувство!

Если бы мне было, как Пахану, семнадцать лет и я был бы таким же сильным и высокого роста, тогда бы, наверное, и она меня полюбила. У него ничего не получается, потому что все знают его как подозрительного типа — по ночам он со своими взрослыми друзьями пьет водку, играет в карты и занимается какими-то темными делишками. И потом, он ни одной книги за свою жизнь не про-

читал, и поэтому, наверное, у него очень мало извилин в мозгу. А одной силой разве можно любовь завоевать?!

Пахан вернулся к нам, сплюнул сквозь зубы (красиво он плюется!) и сказал, чтобы Гусик спел «Жульмана».

Гусик запел.

8 августа

Вчера вечером к нам пришла тетя Сима. Вся заплаканная. Мы сидели с Рафиком перед картой и играли в города: кто-нибудь называл город, а другой отыскивал его на карте. Такой карты, как у нас, ни у кого нет — политическая карта мира во всю стену нашего коридора, над сундуком, который мама сама сколотила в прошлом году.

Я искал Аддис-Абебу, когда она пришла. Ничего нам не сказала и сразу прошла в столовую, к маме. Мы с Рафиком переглянулись.

Через минуту в комнате прекратилось жужжание машинки — там дядя Шура стриг папу — и раздались рыдания тети Симы.

Мама позвала нас в комнату. Когда она сердится, у нее стальной голос. Ее все соседи побаиваются, хотя и говорят, что она очень хороший человек, всем добро делает.

Папа, завернутый в простыню и обсыпанный волосами, сидел у окна на круглом вертящемся стуле от рояля. Дядя Шура постриг его до половины, поэтому он не мог встать. Мама и дядя Шура с машинкой и расческой в руках успокаивали тетю Симу.

— Нет, я больше так не могу! — кричала сквозь слезы тетя Сима.— Он был весь синий, как труп... Что мне делать? Что мне делать? Лейла, вы должны мне помочь. Я вам официально заявляю, как работнику райисполкома. Он молчит... Происходит что-то ужасное. Он молчит, но я чувствую... Что я скажу его отцу, когда он вернется из армии? Я теряю мальчика...— Дальше она говорить не смогла и только плакала.

Вообще тетя Сима любит пошуметь, но сегодня она была права: Леню действительно еле откачали. Ее жалко. Она бухгалтер, а сейчас работает на тарной базе, сколачивает ящики. Леня говорит, двести ящиков в день. Она, как и мой папа, сильно близорукая. Папа говорит, что это наследственная болезнь. Его отец, мой дед, тоже был близорукий. Неужели и я буду носить очки? Только этого мне не хватало при моем росте!..

— Элик, Рафик,— сердито сказала мама,— в чем дело? Кто топил Леню?

— Не знаю,— сказал я,— я не видел.

— Я у бабушки на работе весь день был,— сказал Рафик.— Откуда я мог знать?

— Не врите! — сказала мама, она сразу чувствует, когда я вру.— Вашего товарища чуть не убили, а вы, вместо того чтобы защитить его, еще нагло врете!

Бедная мама, если бы она знала, что мы сами его топили, нашего Леню, с которым я родился почти в один день, в одном роддоме — он четвертого февраля, вечером, а я пятого утром,— с которым живу в одном дворе и учусь в одном классе. Доброго, безобидного Леню. Если бы она вообще знала, что творится на нашем пустыре с некоторых пор! Если бы она знала!..

— Мы не врем,— сказал я.— Мы ничего не видали.

— Я займусь этим вопросом, Сима,— пообещала тете Симе мама.

— Эльдар! — обиженно сказал папа (он никогда на меня не сердится, только обижается иногда и называет полным именем).— Эльдар! Ты же обещал никогда больше не говорить неправду...

Я промолчал. А что я мог сказать?

9 августа

Юрка сегодня работал в первую смену и пришел домой в шесть часов. Я не согласен с мамой, что он лентяй. Раз он пошел работать и помогает своей семье, это доказывает, что он не лентяй, а просто в школе ему было неинтересно. Поэтому и оставался на второй год. А был бы лентяем, продолжал бы ходить в школу и ничего не делать. Просто он понял, что, кроме него, у матери еще двое малышей — значит, надо перейти в вечернюю школу и начать работать. И все к нему из-за этого с уважением стали относиться. Как-никак, работяга, хоть и лет мало. Даже Пахан его не обижает. А Хорек и не пытается, чтобы Юрка, как и мы, им жратву носил, сразу понял, что Пахан не поддержит его против Юрки. Поэтому Юрка не в компании, а живет сам по себе. А с нами водится, когда время есть свободное.

Мы с Рафиком ждали Юрку на скамейке под абрикосовым деревом. Рафик ворчал. Он очень недоволен Хорь-

ком и несправедливостями, которые приходится от него терпеть. Я сказал, что хорошо бы помочь Лепе, жалко его, он же слабый.

— А что придумаешь? — спросил Рафик.— Сами пострадать можем.

Я сказал, что надо попробовать поговорить с Хорьком, хотя надежды мало, он только этого и ждет. Скажет Пахану, что мы против него идем.

— Знаешь,— сказал Рафик,— я давно думаю, может, выдать их? Давай расскажем обо всем твоей маме, она живо с ними расправится — и с Хорьком, и с Паханом.

Это было бы здорово, но выдавать нельзя — предательство получится. Рафик согласился со мной, и мы решили поговорить с Гусиком. Все же Пахан любит, как он поет, может, что-нибудь и получится.

Пришел Юрка с работы и сказал, что завтра у Нели намечается какая-то танцулька, он своими ушами слышал, как Неля говорила об этом своему отцу.

Что-то зачастили у нее эти танцульки. Может, и правда у нее кто-нибудь появился?

10 августа

На Нелькиных танцах было одиннадцать человек: шесть парней, пять девочек. Мы все видели с крыши дома напротив.

Они танцевали в большой комнате. Снаружи она казалась красной из-за матерчатого абажура. Окно было открыто, и даже через улицу мы слышали музыку, смех, крики. Слова разобрать было невозможно. Пластинки у нее хорошие: «Рио-Рита», «Дождь идет», «Тайна»... Она всегда их крутит. Парни взрослые. Не меньше десятого класса. Раза два выходили на улицу покурить. Жалко, темно было. Через улицу лиц не разглядишь.

Гусик сидел между мной и Рафиком. Он предложил тем парням врезать. Я подумал, что это неплохо было бы, но потом пожалел ее. Тогда чем же я отличаюсь от Пахана? Силой любовь не завоюешь...

— Надо рассказать Пахану,— сказал Гусик,— все же это его баба.

— Откуда же она его? — возразил я.— Она с ним разговаривать не хочет.

— Захочет рано или поздно,— сказал Гусик.— Ну давайте вашего Леньку, только побыстрее.

Леня ждал нашего сигнала на другом конце крыши. Рафик свистнул ему. Гусик сказал, что он против Лени ничего не имеет, но, раз мы его топим, значит, в чем-то виноват.

Подошел Леня. Стал от нас метрах в двух. Гусик испугался, что его увидят снизу, с улицы, и сказал, чтобы он сел. Но Леня сесть не решился, он пригнулся и так стоял до конца на полусогнутых ногах. Он весь дрожал от волнения. Гусик спросил, за что его топят. Леня поклялся, что никого не продавал, и заплакал. Потом он начал объяснять. Слова выскакивали у него изо рта без очереди и сталкивались друг с другом. Оказывается, он сказал Хорьку, что в яхт-клубе записывают на греблю и на парус. И можно кататься целый день. А потом будут соревнования. Он своими глазами видел, что такие же, как мы, ребята катаются на настоящих парусниках. Там всех записывают. Он сказал Хорьку, что хорошо бы и нам записаться.

— А что тебе ответил Хорек? — спросил Гусик.

— Что я предатель.

Гусик пытался понять, что предательского сделал Леня, но не мог.

— Видишь,— сказал я ему,— никого он не продал и даже договорился там. Нас всех запишут.

— Я же не для себя,— сказал Леня сквозь слезы.— Я же плавать не могу, я для ребят...

— Я понимаю,— сказал Гусик.

— Я теперь вообще воды боюсь... Мне эти лодки не нужны.

Тут на крышу поднялся Юрка. Гусик сразу встал на ноги (не хотелось ему при лишнем свидетеле продолжать этот разговор) и обещал поговорить с Паханом. Я проводил его до столба, по которому мы спускались и поднимались на крышу, и еще раз попросил за Леню. Гусик сказал, что ему и самому жалко Леню, но, раз Хорек за него взялся, вряд ли что-нибудь получится... Он перелез с крыши на столб и съехал по нему вниз.

Когда я вернулся к Рафику с Юркой, Лени уже не было.

Я спросил Рафика, чего он молчал, мог же хоть что-нибудь сказать. Он ничего мне не ответил. Юрка наблюдал за тем, как танцевали в окне.

— Тебе тоже надо научиться танцевать,— сказал он мне.

Юрка единственный среди нас может танцевать и «западные» и бальные танцы. Правда, он никогда не танцует с девочками.

С крыши было трудно найти Нелю среди танцующих, но мне казалось, что я ее вижу.

Юрка сказал, что женщины любят решительных мужчин, а я пассивничаю. Так у меня ничего не получится, потому что победа мужчины зависит от его активности...

Юрка считается у нас специалистом по женскому вопросу: он читал много книг на эту тему. Я спросил, что бы он сделал на моем месте.

— Ха! — сказал Юрка.— Есть тысячи способов. Но вначале ты должен сделать ей признание. Устное или письменное. Надо, чтобы она узнала о твоем чувстве. Потом следует подождать, чтобы это зерно проросло у ней в душе, и начать решительные действия.

Я сказал, что лучше письменное. По Юркиному мнению, это дело вкуса. Сам он предпочитает устные признания: мимика, жесты, тембр голоса — все это может оказать решающее влияние на чувство женщины. Женщины придают этим факторам большое значение.

— Какая у меня мимика! — Махнул я рукой.— Лучше письменно.

— Ну ладно,— согласился Юрка,— но надо действовать, нельзя упускать инициативу из рук.

Там, внизу, кончился фокстрот, пары поменялись, и заиграли танго «Дождь идет». Когда совсем стемнело, они закрыли ставни...

11 августа

Все утро втроем писали у нас дома письмо (Юрка работал во вторую смену). Торопились успеть к тому времени, когда Неля (как утверждает Рафик) уходит куда-то по своим делам. Наклеили на обратную сторону цветной открытки, которую прислал из Германии Юркин отец, белую бумагу, чтобы не видно было слов. Рафик встал у окна, чтобы она не прошла, я сел писать, Юрка диктовал. Он начал так: «Любовь моя, вот уже несколько месяцев я тоскую по тебе...» Я спросил, не лучше ли на «вы», но Юрка был категорически против. «Надо подавить ее волю

уверенностью в себе,— сказал он.— «Любовь моя, вот уже несколько месяцев я тоскую по тебе»,— повторил он, закатив глаза.— Да! Это то, что нужно,— сочетание нежности и страсти...»

Он подошел к зеркалу, продолжая диктовать мне, и принялся рассматривать свое лицо. Он очень прыщавый и сильно переживает из-за этого.

— «Мое чувство растет и крепнет изо дня в день, в груди моей бушует пламя, способное согреть самое холодное сердце. Если ты хочешь, чтобы рядом с тобой по жизни шагал верный спутник, обладающий пылкой душой, холодным рассудком и крепкой рукой, скажи «да». Я буду ждать ответа в воскресенье в три часа дня у каланчи».

Я записал все, как он сказал.

Рафик посоветовал не подписываться своим именем: не дай бог письмо попадет в руки Пахана.

Юрка согласился, что своим именем подписываться необязательно, но нужен хороший псевдоним.

— Напиши «доброжелатель»,— предложил Рафик.— Мой дядька всегда так подписывается.

— Твой дядька анонимщик! — сказал ему Юрка.— А это любовное послание... Вообще не нужно подписываться. Ты же сам отдашь письмо из рук в руки, можно и без подписи. Подойдешь к ней, посмотришь прямо в глаза глубоким взглядом, вот так.— Юрка вытаращил на меня глаза.— И скажешь: «Это от меня».

Я переписал письмо, и мы пошли на улицу.

Она вышла в половине второго. Я стоял недалеко от ее ворот. Юрка и Рафик прятались за каланчой. На пустыре никого не было. Я поздоровался с ней, когда она вышла из ворот. Она удивилась — из-за Пахана у нас на пустыре мало кто с ней здоровался — и пошла дальше. Я смотрел ей вслед... Юрка из-за каланчи делал мне знаки, чтобы я догнал ее и отдал письмо. Но я не решился.

Ребята подошли ко мне. Юрка сказал, что я трус и никогда не буду иметь успеха у женщин. Он потребовал, чтобы я, пока не поздно, догнал ее.

После этого он ушел: ему пора было на работу.

— Побежали? — спросил я у Рафика.

— Слушай,— сказал он,— зачем она тебе нужна? Что, мало других девчонок? Ведь если Пахан узнает...

Я побежал. Он побежал за мной. Неля села в трамвай. Мы тоже, но в другой вагон. Она сошла у Приморского

бульвара. Рафик подталкивал меня, чтобы я отдал письмо, я даже несколько раз подходил к ней совсем близко, но так и не решился.

На бульваре ее ждала подруга. Они сели в тени и вытащили какие-то книжки. Рафик догадался, что у нее переэкзаменовка. Вот куда она каждый день ходит!

Мы следили за девочками из-за кустов. Почитав немного, они пошли попить воды. Книжки остались на скамейке. Я выскочил из кустов, положил письмо на книжку — это был учебник геометрии — и припустился по бульвару...

Рафик еле догнал меня у парашютной вышки.

— Ты что, с ума сошел? — спросил он, тяжело переводя дыхание.— Куда помчался?

Я был очень возбужден от случившегося. Не мог говорить. Шумно дышал и потел.

Потом мы долго смотрели на парусники, о которых рассказывал нам Леня. Их было штук десять, все с белыми парусами. Легкий ветер гнал их по бухте, и такие же, как мы, ребята управляли ими. Это было очень красиво. У пристани какой-то толстый мальчик барахтался в воде. На нем был пробковый пояс, и его тянули на веревке... Учили плавать...

12 августа

Сегодня воскресенье. На нашей танцплощадке были танцы. Народу собралось немного: три солдата из военгородка, нас с пустыря человек двадцать и еще человек пятьдесят пришлых. В основном все ребята, девочек было всего восемь.

Оркестр играл с большими перерывами. Мы грызли семечки. Пар десять танцевало — мальчики с мальчиками, девочки с девочками. Мы стояли так, чтобы Пахану было видно, что творится на танцплощадке. Он сидел в углу на табуретке, которую принес из пещеры Хорек. Ждал Соньку. Он послал ее к Неле пригласить на танцы.

Я с нетерпением ждал, когда наступит три часа. Рафик по моей просьбе то и дело спрашивал время у белобрысого солдата: часы были только у него.

Сонька пришла с отказом. Скорчив презрительную гримасу, передразнила Нелю: «Я на танцы не хожу». Это повторялось каждое воскресенье: Пахан посылал Соньку за Нелей, та возвращалась ни с чем.

Оркестр заиграл падеспань. Рафик еще раз спросил время. Было без пяти три. Я побежал к каланче... Она не пришла. Я ждал ее минут двадцать, потом вернулся на танцы. Играли польку. Солдат с часами приглашал всех девочек подряд, но они отказывались. Наконец одна пришлая пошла. Они танцевали в третьей паре. Девочка была симпатичная, светловолосая, с толстенькими ножками и красная от волнения. Все смотрели на них.

Хорек сказал нам, чтобы после танцев не расходились: есть разговор. Сонька попросила, чтобы кто-нибудь ее пригласил. Но желающих не нашлось. Во-первых, она страшна, как смерть, во-вторых, стесняемся. Из нас мало кто танцует, да и то друг с другом, вроде в шутку...

— Вот почему она на танцы не ходит,— сказал вдруг Пахан.

Все посмотрели в сторону Нелиного дома. Там вслед за Нелей из ворот вышли два парнишки, кажется, те, что танцевали у нее позавчера.

Она не пришла к каланче из-за того, что у нее были гости! Я считаю, что это уважительная причина. Не могла же она бросить гостей из-за записки от неизвестного.

— К ней что, уже на дом ходят? — спросил Пахан у Хорька.

— Первый раз вижу.

Гости вместе с Нелей пошли через пустырь. Пахан встал со своей табуретки...

Мы встретили их посреди пустыря. Им было лет по шестнадцать, но десять против двух — это всегда сила. Кроме того, мы были вооружены палками. А кое-кто и цепками от велосипеда, на крайний случай. До цепок дело не дошло.

Как всегда, первый удар нанес Пахан. Парень сделал несколько шагов назад, протянул руку, будто что-то хотел сказать нам, потом медленно повалился на спину. У Пахана удар был что надо.

— Он упал,— удивленно сказал Хорек.— Бедный мальчик, он упал.

Второго пока не били. Эту тактику придумал Хорек. Действует безотказно. Если надо побить троих, то мы все нападаем на одного. Тогда двое оставшихся не дерутся, а только разнимают. Потом приходит и их черед, и тогда им тоже приходится драться, но уже бывает поздно — силы оказываются раздробленными.

— Бедный мальчик,— повторил Хорек и, оторвав от земли упавшего, дал ему еще раз по голове.

— За что, ребята? — растерянно спросил второй парнишка.— Что он сделал?

«Он»!.. Так я и знал! Парнишка сказал «он», а не «мы». Будто не знает, что если они в чем-то виноваты перед нами, то только вдвоем. Ведь они вместе были у Нели, вдвоем, а он делал вид, будто не имеет к своему товарищу отношения. Ну почему люди так наивны?!

— А ну-ка объясните ему,— сказал нам Пахан.

И мы набросились на второго Нелиного гостя с палками. Он с криками помчался по пустырю.

Неля плакала. Она сразу же отошла в сторону и, плача, смотрела, как мы их бьем.

Когда первый пришел в себя, его тоже несколько раз стукнули палкой. Мы бы еще его били, но кто-то крикнул: «Атас!»,— потому что прямо на нас ехал «студебеккер», в котором сидело несколько солдат. На всякий случай мы разбежались, но машина проехала дальше и остановилась у дома военных. Мы сразу догадались в чем дело. Освободилась комната на первом этаже: тетя Феша Меняева получила письмо из Таганрога, что муж ее нашелся и ждет их там. Как раз когда приехал «студебеккер», они кончили грузить свои вещи на телегу и две ее дочки, Тося и Таня, сидели на узлах спиной к усатому вознице. Тетя Феша по списку сдавала управдому «кэчевскую» мебель. Вокруг было много соседей, потому что на танцплощадке натянули уже белую простыню и скоро должен был начаться киносеанс. Все, отложив в сторону стулья, вытирали слезы и обнимались на прощание с тетей Фешей.

Солдаты со «студебеккера» подошли к управдому. Тут только мы заметили среди них парнишку лет пятнадцати с медалью «За отвагу», комсомольским значком и солдатскими погонами.

Солдаты что-то кричали управдому, помогли парнишке занести в освободившуюся комнату чемодан, вещмешок, большую картонную коробку, перевязанную веревкой, и сели снова в машину. Она ненадолго остановилась у ворот воинской части, потом уехала.

Парнишка в военной форме, управдом и дворничиха Чимназ вошли в комнату.

Оказывается, комнату тети Феши отдали сыну полка. Настоящему сыну полка!

13 августа

Сегодня утром, как проснулись, мы все прибежали посмотреть, что он будет делать. Но дома его не оказалось. Чимназ сказала, что сын полка с самого раннего утра пошел в часть.

Часовой у ворот части подтвердил ее слова. Я сказал, что надо подождать его. Хорьку это не понравилось, он хотел что-то возразить мне, но увидел Пахана, который шел в нашу сторону, и поспешил ему навстречу. Они остановились невдалеке, о чем-то посовещались и позвали нас.

Хорек объявил, что сегодня предстоит дело, надо проучить Нелькину мать. Если бы не она, Нелька так не задавалась бы. Нужны пять добровольцев — устроить ей пугание.

Человек десять сразу же подняли руки. Пугание — веселое дело. Хорек осуждающе посмотрел на меня, Рафика и еще трех ребят, которые не хотели пугать Нелькину семью, и спросил нас, почему мы идем против решения командира. Рафик заволновался и объяснил, что мы его выполним.

— А вам уже и руку лень поднять? — усмехнулся Хорек.

Он напомнил те времена, когда любой мог побить нас на танцплощадке. А теперь кто может нас тронуть? Никто. А благодаря кому? Благодаря нашему командиру. Тут Хорек посмотрел на Пахана, тот важно кивнул головой. Да, командир у любого отобьет охоту нас обижать. Наша команда контролирует теперь танцплощадку, Телеграфную и пол-Саттаровской. И мы не должны забывать, что дали клятву выполнять приказы командира и не нарушать устав.

Тут все заволновались: ничего, мол, они не нарушают и все выполняют. Хорек посмотрел на меня и предупредил, что дисциплину он никому нарушать не позволит и будет наказывать каждого, кто пойдет против большинства. Тут он опять повернулся к Пахану, тот еще раз кивнул головой и обвел нас угрюмым взглядом.

Я взглянул на Гусика, он развел руками: мол, ничем теперь Лене не поможешь.

От имени командира Хорек похвалил ребят с соседней улицы: Расима, Вовку, Акифа и Качана, которые от радо-

сти, что их приняли в нашу компанию, везде лезли добровольцами и выполняли любые приказы.

Хорек еще долго говорил. А в конце приказал мне и Рафику пойти добровольцами на пугание...

Потом мы говорили о сыне полка. Рафик сказал, что он разведчик. Мне тоже почему-то захотелось, чтобы сын полка оказался именно разведчиком. Я сказал, что он, наверное, хороший разведчик, раз медаль имеет. Такому линию фронта перейти — ерунда. Переоденется в гражданское и пойдет мимо немцев днем. Никто его не остановит. А взрослый боец только ночью ползком пройти может. И то трудно, потому что ракетами все освещается.

— Зато он «языка» не может взять,— сказал Хорек.— Сил маловато.

— Смотря какой «язык». Если маленький, хватит.

— У немцев сыновей полка не бывает. У них все взрослые.

— Среди взрослых тоже бывают маленькие.

Тут Качан спросил, почему у немцев не бывает сыновей полка, а у нас они бывают, и я объяснил ему, что для нас война потому и называется Великая Отечественная, что весь народ воюет: и взрослые, и дети, и старики, а для них она захватническая, у них одни солдаты воюют.

Все немного помолчали, а потом Хорек заявил, что сын полка никакой не разведчик; управдом сказал, что он простой связист.

— Связист,— это тоже опасно,— сказал Рафик,— я в кино видел.

— На фронте все опасно,— поддержал я его.— И медаль там просто так не дают.

Хорек промолчал...

Мы ждали сына полка долго. Когда он вышел из ворот, Пахан демонстрировал нам свою силу. Четыре человека тащили к нему большой камень, а он кидал его двумя руками все дальше.

Мы не сразу заметили сына полка и поэтому даже растерялись. Он прошел мимо нас, держа в руках ведро с краской и короткую кисть. Все посмотрели на Пахана, ждали, что он заговорит с ним. Но Пахан почему-то молчал, тоже растерялся, наверное. Первый раз я видел, чтобы Пахан потерял уверенность в себе. Конечно, он старался не показать вида, но я сразу подметил это.

Потом он почему-то поднял с земли свой камень и окликнул наконец сына полка. Сын полка обернулся. Пахан держал над головой камень. Руки его дрожали от напряжения, и вздулись мышцы — камень все-таки был очень тяжелый.

— Смотри,— сказал Пахан и, с шумом выдохнув воздух, швырнул камень очень далеко.

Все ахнули. Камень упал на дорогу, недалеко от сына полка.

— А теперь давай ты,— сказал ему Пахан и вытер пот со лба.

Все ждали, что ответит сын полка. Я так не хотел, чтобы он согласился!

— А потом что? — спросил сын полка.

Пахан опять растерялся.

— Ничего.

— Ну тогда в следующий раз.

Сын полка улыбнулся и пошел к дому. Все посмотрели на Пахана. Тот — на Хорька. Но и Хорек не знал, что подсказать. Пахан разозлился и поступил совсем глупо.

Он обозвал сына полка маляром! Качан и еще кое-кто из наших хихикнули. Остальным стало стыдно. Сын полка не обернулся.

— Тоже мне герой,— проворчал Пахан.— Видали таких. В Саратове их навалом... А вы чего стоите?! — крикнул он на нас.— Тащите камень!

И как начал его швырять!..

Пугание состоялось поздно вечером и кончилось для меня очень неожиданно.

Сперва мы стучались к ним в окна и прятались, потом кричали женскими голосами: «Режут!», «Убивают!» и т. д. И только после этого приступили к главному пуганию. Каждый притащил с собой из дома по простыне. Расим — Хорек назначил его старшим — разбил нас на пары. Я попал не с Рафиком, а с Качаном. За лето голова у него выросла еще больше и еле держалась на тонкой шее.

Пока не было сигнала к началу, мы сидели с ним в подъезде Рафикова дома.

— Ну что, похвалили тебя сегодня? — спросил я его от нечего делать.

— Да,— просиял он.

— И ты рад?

— А чего? — насторожился он, почувствовав в моем вопросе подвох.

— А ничего,— сказал я.— Радоваться-то нечему. Ты хоть понимаешь, за что тебя хвалят?

— А почему? — обиделся он.— Я приказы выполняю.

— Разные приказы бывают...

— Это я не знаю. Мне что говорят, то я и делаю. На то и дисциплина.

Тогда я сказал, что и дисциплины бывают разные. Качан понял, что я затеял разговор, за который может не поздоровиться, и испугался. Я спросил, читал ли он «Тимура и его команду». Он не читал, только кино видел.

— Помнишь, там два отряда было? Один, которым Тимур командовал, а другим — Мишка Квакин. Помнишь?

— Ну помню...

— Так вот, если помнишь, то должен был понять, что тимуровский отряд людям пользу приносил, а отряд Мишки Квакина, наоборот, был бандой хулиганов. Понял?

— Чего ты хочешь от меня? — разозлился вдруг Качан.— «Помнишь, не помнишь»,— передразнил он.— Что ты экзамен мне устраиваешь? Что хочу, то и помню. Отстань от меня! А то расскажу все Хорьку, и плохо тебе будет.

Это он сказал правду. Действительно, если он меня выдаст, мне туго придется. Я усмехнулся:

— Ты же не знаешь, что я хотел сказать. Ты сперва дослушай, а потом делай выводы. Может, ты меня наоборот понял?

Качан немного успокоился, хотел что-то сказать, но тут раздался сигнал атаки — свист Расима,— и мы побежали к Нелькиному дому, на ходу накидывая на себя простыни...

Дверь открыла ее мама. Мы ринулись вперед, как только она повернула ключ, и ворвались в квартиру. Все были закутаны в простыни и орали как резаные. Кто-то даже в комнату заскочил, остальные носились по маленькому, тесному коридору. Только я не бегал.

Неля была в комнате одна. Я ее не видел, но Рафик сказал потом, что она очень испугалась и плакала. Тете Аиде, ее маме, стало плохо. После этого мы убежали.

И тут случилось то, чего никто из нас не ожидал. Когда мы подбежали к воротам, навстречу нам во двор

вошел дядя Христофор — отец Нели. В подворотне было темно, поэтому он не понял, кто мы такие, и остановился. Мы тоже. Назад бежать не было смысла: во дворе рано или поздно нас поймали бы.

— Что такое? — спросил дядя Христофор и попятился в сторону улицы: наши белые простыни напугали его. Стало ясно, что он боится нас больше, чем мы его, и все бросились вперед. Он выронил из рук какие-то бутылки и, зацепившись ногой за перекладину ворот, упал. Ребятам пришлось перепрыгивать через него: он загораживал проход. Кто-то впопыхах даже отдавил ему руку — он громко вскрикнул.

Все убежали, остался я один. Не мог же я перешагнуть через ее отца!

Он продолжал лежать. Я вдруг подумал, что он ударился головой, когда падал, и испугался.

— Дядя Христофор,— попросил я его,— встаньте, не надо лежать.

Он был весь мокрый от какой-то жидкости, которая вылилась из разбитых бутылок. Когда я попытался поднять его, он узнал меня.

— Вы что, с ума сошли? — спросил он сердито, все еще лежа на спине. Потом, охая и кряхтя, поднялся и дал мне по шее.— Нашли время играть.

Он еще не знал, что мы напугали его семью. Пора было смываться. Но он ведь все равно узнал меня, и что-то еще удерживало меня рядом с ним.

— Олиф разлился,— сказал он огорченно, разглядывая осколки бутылок, лужу на земле и свой костюм...

Послышались крики тети Аиды, и тут дядя Христофор обратил внимание на то, что двери его квартиры распахнуты. Как раз в этот момент тетя Аида выбежала во двор с криками: «Хулиганы, головорезы!» — ринулась на меня и схватила за шиворот. Я рванулся, но было поздно. Следом за ней выбежала Неля. Дядя Христофор держал меня за плечо.

На крики прибежали соседи. Среди них я увидел Юркину мать.

Меня вытащили на светлое место. Раздались удивленные возгласы.

— Возмутительно! — сказала тетя Аида.— Сын интеллигентных родителей! Надо сообщить в милицию. За такое хулиганство сажают... Бандитизм какой-то! Хорошо, что Христофор поймал его...

— А еще мать в райисполкоме работает!..— сказал кто-то.

Больше всего я боялся, что они поведут меня к нам домой.

— Олиф разбили,— сказал дядя Христофор.— Три бутылки.

Тетя Аида вскрикнула и всплеснула руками.

— В каком ты виде! — опять закричала она.— Что они с тобой сделали?! Ты весь в пятнах!

— Я споткнулся,— смущенно объяснил он.

И тут произошла страшная вещь: я заплакал. Никогда не прощу себе этого. Позор! Представляю, как я выглядел: жалкий, плачущий мальчишка, которого держат за шиворот, как воришку.

— Отпусти его,— сказала тетя Аида мужу.

Они думали, наверное, что я испугался, а я плакал от обиды. Зачем я согласился пугать их? Зачем не убежал вместе со всеми? Зачем плачу сейчас? И больше всего обидно было потому, что я плачу у всех на глазах, но остановиться не могу...

Они привели меня к себе. Я умылся под краном. Неля дала мне полотенце. Я старался не смотреть на нее. Наверное, пока я умывался, дядя Христофор рассказал им, что не он меня поймал, а я сам не захотел убежать, я вдруг почувствовал, что они начали ко мне лучше относиться. От этого мне стало еще противнее, и единственным моим желанием было уйти от них поскорее, но они меня не отпустили.

— Ну как тебе не стыдно? — сказала тетя Аида.— Ты же хороший мальчик, у тебя такие интеллигентные родители. Разве эти хулиганы тебе товарищи?

Я почувствовал, что могу снова расплакаться.

— Это не он виноват,— сказал дядя Христофор, он сидел за кухонным столом.— Друзья у него плохие. Ничего, завтра я поговорю с их отцами. Всех найду.

— Я не назову ни одного имени,— сказал я решительно, и это помогло мне пересилить слезы.

— Не назовешь — не надо,— сказал дядя Христофор.— Ты дашь мне что-нибудь поесть? — спросил он у жены.

— Дай папе поужинать,— сказала тетя Аида Неле.

— Я сам возьму,— сказал дядя Христофор.— Сиди, сиди, дочка. То, что ты товарищей не выдаешь, это хорошо,— сказал он мне.— Но лучше с такими товарищами не водиться.

— У тебя же хорошая голова,— сказала тетя Аида.— Ты же отличник...

Откуда она знает, какая у меня голова?

— Я не отличник,— возразил я.

— Как не отличник? Все говорят, что ты лучше всех знаешь математику.

— По математике у меня пятерка,— согласился я,— но по другим предметам есть четверки.

— Другие предметы — это ерунда,— сказала тетя Аида.— Главное — это математика... А нашей Неле математика трудно дается...

— Мама, опять начинаешь? — спросила Неля.

— Доченька, почему ты волнуешься? Я разве что-нибудь плохое говорю? Я же знаю, что можно сказать, а что нельзя. Просто уже мало дней осталось...

— Мама! — Она боялась, что мать проговорится мне про переэкзаменовку.

— Не кричи! — рассердилась тетя Аида.— Я совсем про другое говорю. Я хочу сказать, что тебе надо как следует подготовиться к новому учебному году. Восьмой класс — это не шутка...

Неля успокоилась. Но я-то знал, что у нее переэкзаменовка по геометрии.

— Особенно геометрию,— продолжала тетя Аида.— Ты должна всю ее повторить с начала до конца, как будто на экзамен идешь. Это обязательно. Вот как раз Элик тебе и поможет. Ты поможешь Неле? — спросила тетя Аида у меня.

Тут я в первый раз посмотрел на Нелю. Она ждала моего ответа, и я увидел, что она ничего не имеет против того, чтобы я позанимался с ней.

— Если Неля согласна...— сказал я, запинаясь, и умолк, потому что голос у меня вдруг пропал.

— Почему она не согласна?! Она согласна! Ты же согласна, дочка? — Тетя Аида сделала круглые глаза Неле.

— Я могу в любое время,— сказал я тете Аиде.— Я сейчас совершенно свободен.

Она молчала.

— Лучше с утра,— решила за нее тетя Аида.— Приходи в одиннадцать часов.

— Нет худа без добра,— сказал дядя Христофор.

Я попрощался и пошел к двери. Натолкнулся на стул. Неля закрыла за мной дверь и улыбнулась, когда сказала «до свидания»...

14 августа

Утром я проснулся от звуков горна в воинской части. Играли побудку. Так рано я давно не вставал. Подошел к окну и увидел, как через пустырь к воротам части бежит сын полка, на ходу застегивая ремень. Неужели он продолжает служить в армии? Тогда почему живет на квартире?

На краю пустыря, там, где начинался овраг, я увидел небольшую толпу. Оказывается, ночью на нашем пустыре оглушили милиционера. Ударили по голове молотком или чем-то другим тяжелым и вытащили из кобуры револьвер. Когда я прибежал к оврагу, его уже увезли, но на месте происшествия еще толпились люди. Тетя Сима, мать Лени, первая увидела его рано утром, по дороге на работу. Об этом сообщил мне дядя Шура, который был в курсе дела.

— Милиционер сам ее позвал.— Он торопливо рассказал мне все, что знал: — Она шла на работу, слышит, кто-то зовет ее: «Гражданка, гражданка» — и стонет. Вот здесь он лежал, прямо на этом месте. Она подумала, что ему плохо стало, а он говорит: «Нет, гражданка, меня ударили по голове сзади». И действительно, на голове вот такая шишка.— Дядя Шура соединил две свои ладони.— Почти вся голова опухла. «И револьвер мой украли, прошу вас, сообщите в милицию». Приехали за ним и забрали... Это кто-то из наших хулиганов его стукнул,— понизив голос, оглянулся дядя Шура.— Он им не давал в карты играть в овраге. А заодно и револьвер стянули...

Появился Рафик. Я рассказал ему все как было.

— Идем на свалку,— предложил Рафик.— Там не то что револьвер — гранату можно найти. Прошлый раз ребята несколько «лимонок» принесли...

— Сегодня не могу,— сказал я.— В одиннадцать часов у меня важное дело. Хорьку скажешь, что меня мать к бабушке послала.

Ровно в одиннадцать я пришел к Неле. На столе уже лежали «Геометрия», экзаменационные билеты и тетрадка в клетку. Неля была одета в широкий, длинный, до полу, халат своей матери.

— Ты пока посмотри первый билет,— сказала она,— а я сейчас приду.

Я не стал смотреть билет и, пока она что-то делала в передней (причесывалась, кажется), осмотрел комнату. Над круглым столом с бархатной скатертью низко висел

красный матерчатый абажур (поэтому с крыши комната казалась нам красной). Между шифоньером и буфетом висела занавеска, за которой были видны две кровати. На стене я увидел фотографии Нели, ее отца и матери, а на круглом столе у окна стояла в рамке еще одна фотография, на ней черноволосая молодая женщина с большими глазами мечтательно смотрела куда-то вдаль.

Я взял фотографию в руки.

— Нравится? — спросила Неля, войдя в комнату. Она поменяла прическу.

— Да... красивая.

— Это моя тетя... В Москве живет.

— Сколько ей лет?

— Здесь девятнадцать,— показала на портрет Неля,— а вообще двадцать семь. Это до войны она снялась. Мы похожи с ней?

Я посмотрел на Нелю, но сразу же отвел глаза.

— Все говорят, что мы очень похожи.— Она улыбнулась, почувствовав, что я смущаюсь.— А мне кажется, что нет. Она такая красивая...

— Сходство, несомненно, есть,— сказал я.

— У меня глаза серые,— сказала Неля.

И мне пришлось посмотреть на нее. Глаза действительно были серые.

— А я думал, голубые.

— Все так думают... У них меняется цвет... А у тебя какие?

— Не знаю.

Она заглянула мне в глаза и спросила, почему я такой маленький. Я сказал, что не знаю.

— Тебе уже исполнилось пятнадцать?

— Нет.

— А-а... Ну тогда все нормально. А я думала, тебе больше.

Я сказал, что мне в феврале будет пятнадцать.

— А сколько лет вашему Пахану?

— Семнадцать.

— Он в меня очень влюблен?

— Откуда я знаю!

— А почему вы все его боитесь?

Я не знал, что ответить ей.

— Он нахал страшный,— продолжала Неля.— Руки распускает. Вы все его боитесь. Я знаю.

— Мы не боимся,— возразил я.

— Дети вы, вот что я тебе скажу,— перебила она.— Глупостями занимаетесь. У меня есть знакомые мальчики. Они совсем по-другому себя ведут. А им столько же лет.

— Мы на яхтах будем плавать,— сказал я.— На настоящих яхтах в открытом море.

Она посмотрела на меня недоверчиво. Потом вдруг спросила:

— А ты стихи писать можешь?

Я соврал, что могу.

— Дашь мне почитать? — Она села за стол и взяла в руки «Геометрию».

Я обещал дать и тоже сел за стол.

Мы занимались два часа.

Потом я побежал на свалку. За последние дни здесь появилось еще несколько куч с гранатами «лимонками», противогазами. Среди них мы надеялись найти годные к употреблению.

На свалке шел бой. Наши гнали ребят из дома железнодорожников. Их было человек пятнадцать, наших чуть побольше.

Я подоспел вовремя. Наскочил с тыла и заорал: «Бей железнодорожников!» Они задрапали еще быстрее и попрятались. Я несколько раз врезал одному толстяку. Он задержался, чтобы мне ответить, и мы захватили его в плен. Он сильно сопротивлялся, пришлось скрутить ему руки и перевязать ремнем за спиной. А чтобы он ногами не лягался, посадили его на землю. Он обозвал нас гадами и сказал, что мы хуже фашистов.

Мне показалось, что я его откуда-то знаю.

— Сам ты фашист! — сказал я.— Чуть глаз мне не выбил.

— Замолчи лучше, а то хуже будет,— пригрозил ему Хорек.— Вам сколько раз говорили, чтобы вы сюда не ходили!

— Это не ваша свалка, городская. Сюда весь город может ходить.

— Весь город может, а вы нет,— сказал Хорек.— Мы же не лезем к вам в парк.

— Пожалуйста, лезьте,— возразил толстяк.— Там всем места хватит. Кто вас не пускает?

— Нам ваш парк не нужен, а вы не ходите на свалку.

— Это не ваша свалка,— упрямо повторил толстяк.

15*

И тут я вспомнил, что видел его на бульваре. Это он учился плавать на веревке.

— Наша не наша, но мы ее заняли,— сказал Хорек.

— Может, вы заодно весь город займете? — спросил толстяк.

— Это не твое дело. И передай своим, что в следующий раз худо будет, если поймаем вас здесь.

— Ничего вы не сможете нам сделать! Мы же вас не трогаем. Пожалуйста, приходите в наш парк, играйте, сколько хотите.

— Не нужен нам ваш парк! — твердил Хорек.— Сколько раз тебе повторять? Заладил одно и то же. Сейчас получишь как следует.

— Я же говорю: вы фашисты!

— Ну, что будем с ним делать? — спросил нас Хорек.

— Врезать ему надо, чтобы знал наших,— предложил Качан.

— Может, ноги ему завяжем? — предложил Хорек.— Пусть полежит на солнышке!

— Солнечный удар может быть,— сказал я.

— Они наши враги.— Хорек посмотрел на меня сердито.— А врагам пощады нет.

В это время «железнодорожники» появились из-за своих укрытий в разных концах свалки и начали наступление. Их стало больше, наверное, получили подкрепление. Хорек оценил обстановку и решил отпустить толстяка.

— А ты знаешь, где я был?! — спросил я у Рафика.

Он, конечно, не догадался. Я хотел поморочить ему голову, но не выдержал и признался, что был у Нели целых три часа. Он не поверил. Я поклялся мамой.

— А что вы делали?

— Разговаривали. Оказывается, у нее глаза серые, а у меня карие. Она сама сказала.

— А я три патрона нашел. Взорвать можно,— похвалился в ответ Рафик.

— Это хорошо,— сказал я,— но есть дела поважнее.

— Какие?

— Я вот что решил: что мы, дети, что ли, только глупостями занимаемся? Надо в яхт-клуб записаться.

— А Пахан?

— Разрешит. Мы же из отряда не выходим? Зато загорим, мускулы накачаем. В открытое море в поход будем ходить с ночевкой на каком-нибудь острове. Ружье с собой возьмем, костер разожжем. Ты хочешь записаться?

Рафик сказал, что очень хочет, но боится погореть, как Леня. Оказывается, его опять топили, пока я был у Нели.

Уже поздно вечером, идя домой, я увидел во дворе Пахана. Он сидел на табуретке рядом с кроватью Хорька. Меня они не видели из-за байкового одеяла, которое Хорек пришпилил к спинкам своей кровати от дождя. Я боялся пошевелиться: потом ведь не докажешь им, что оказался рядом случайно, подумают, что специально подслушиваю.

—...Цыганка гадала,— сказал Пахан,— на исполнение желаний. Надоел мне твой отряд... Мне разве жратва нужна? Время же идет, сколько ждать можно?

— Уже мало осталось,— зашептал в ответ Хорек.— Она почти совсем согласна. Это мать ее против тебя.

— Врешь ты все. Ты когда обещал?

— Ты ей нравишься, я знаю.

— А какой толк? Надо мной ребята смеются, что с малышней связался...

Они, наверное, еще долго говорили бы, если бы тетя Зарифа не крикнула, чтобы Хорек шел спать. Пахану пришлось уйти...

15 августа

Сегодня вместе с Юркой и Рафиком мы вытащили из нашего книжного шкафа все, какие у нас есть, книжки со стихами. Юрка полистал их и отобрал несколько стихотворений. Для Нели. Он прочитал вслух несколько строчек. Все они были про любовь. Я начал переписывать стихи в блокнот.

— Надо несколько ошибок сделать,— посоветовал Рафик,— а то догадается, что не ты писал.

— Напиши сверху: «Посвящаю Неле Адамовой»,— сказал Юрка.

— На всех?

— Да. И скажи ей, что это самые последние твои стихи, которые ты специально для нее написал. А про это.— Он ткнул пальцем в одно из стихотворений.— Скажи, что сегодня ночью написал. Всю ночь не спал из-за него.

— Слишком взрослые стихи и любовные какие-то...— сказал я.

— А какие ты хочешь?

— Ну, про природу, про Родину или про фронт...

— Ты же не Пушкин,— сказал Юрка.— Зачем тебе про природу?

— Она же смеяться будет.— Я прочитал несколько строчек из стихотворения, которое переписывал.— Такие стихи пишут возлюбленным.

— А она тебе кто? — спросил Юрка.— Ты же сам говоришь, что любишь ее. Правильно?

— Но она ничего не знает — и вдруг сразу такие стихи.

— Ну как хочешь,— обиделся Юрка.— А я считаю, что надо идти на абордаж, потому что наступил решающий момент.

Я прочитал вслух еще одно стихотворение, как мелькает в весеннем саду фигура любимой в прозрачной одежде.

Рафик рассмеялся. Даже Юрку это стихотворение смутило немного.

— Ты же сам наврал ей, что пишешь стихи,— сказал он.— Тебя же никто за язык не тянул.

— Тянул не тянул, но такие стихи я ей не понесу.— Я отодвинул от себя книги и блокнот.

— Ну тогда она никогда не узнает про твое отношение к ней,— махнул рукой Юрка.— Так и будете играть в прятки...

Но Юрка ошибался. Она все узнала. По тому, как она посмотрела на меня, впустив в дом, я сразу понял — что-то случилось.

Она опять была одна. На столе лежала раскрытая тетрадка, в которой я писал выводы теорем, «Геометрия» и билеты. Продолжая странно смотреть на меня прищуренными глазами, она показала на стул.

Я сел.

— Напиши что-нибудь в тетрадке,— почти приказала она.

— Что написать?

— Ну напиши. «Сегодня хорошая погода...» Дай-ка сюда,— сказала она, когда я вывел последнюю букву.— Так я и знала.

Она торжествующе посмотрела на меня, потом нахмурилась, вытащила из кармана какой-то лист бумаги.

— Это ты писал?

Она держала в руках дурацкое письмо, которое я подложил ей на бульваре. Письмо, которое начиналось слова-

ми: «Любовь моя, вот уже несколько месяцев я тоскую по тебе...»

— Отпираться нет смысла,— сказала она.— Почерки совпадают.— Она приложила письмо к тетрадке с моими словами о погоде.

— Ну, ты писал? — еще раз спросила она.

Я кивнул. (Зачем я послушался Юрку?!)

— Какая гадость! — Она бросила письмо на стол.— И тебе не стыдно?!

Я молчал, уставившись в стол.

— Ты что, сумасшедший? — спросила она вдруг совсем не строгим голосом.

— Почему?

— Откуда я знаю, почему! Очень странное письмо. Нормальные люди так не пишут. Мне разные письма писали, но такого никогда не было... Ты правда любишь меня?

Я молчал.

— Ты что, и занимаешься со мной поэтому?

— Нет,— сказал я.

— Ну теперь все равно мы уже не сможем заниматься.

— Почему?

— Как мы можем заниматься после того, что произошло?! И мама будет против, если узнает.

Я молчал.

— Может, ты хочешь, чтобы я скрыла все от мамы?

Я кивнул.

— Значит, ты хочешь, чтобы все осталось в тайне?

Я опять кивнул.

— Тогда обещай, что никогда больше не будешь об этом говорить или писать. Никогда! Обещаешь?

— Обещаю.

— Я подумаю,— сказала она.— А ты дай слово, что вечно будешь хранить эту тайну.

— Клянусь мамой.

— И не забывай, что я старше тебя на целых полгода. Тебе нужна другая девушка, помоложе. И вообще тебе еще рано думать о таких вещах.

Я наконец оторвал взгляд от стола и посмотрел на нее.

— Конечно, приятно, что ты меня любишь,— сказала она,— но между нами ничего быть не может. Это исключено.

— Почему?

— Не задавай глупых вопросов. И прекратим разгово-

ры на эту тему. А то я не приглашу тебя на свой день рождения.

Я посмотрел на нее удивленно.

— Завтра мне исполняется пятнадцать лет,— важно сказала она.— Я тебя приглашаю. Но только не опаздывай. Все соберутся в семь.

Она взяла со стола злополучное письмо, сложила его и спрятала в карман...

Сын полка весь день опять был в части. У них проходило какое-то учение. Он точно связист. С тутового дерева я видел, как он бегал по территории с полевым телефоном, разматывая на ходу кабель.

Вечером он белил стены своей комнаты. Со двора в окно было видно, как он влез на деревянную лестницу и водит короткой кистью по стене. Слышны были голоса управдома и дворничихи Чимназ. Управдом разговаривал с ним, как со взрослым.

— Это правильно,— сказал он.— Я понимаю: хороший боец трудностей не боится... А в восемь ноль-ноль прошу на собрание в мой подвал. Всех жильцов собираем.

Он что-то еще добавил негромко и рассмеялся.

— У меня дома одеяло хорошее,— сказала Чимназ,— стеганое. Я принесу вечером.

— Спасибо, тетя,— сказал сын полка.— Я всем обеспечен. Зачем же из дому нести?

— А мне не жалко,— сказала Чимназ.— Оно шерстяное, тепло хорошо держит.

Сын полка еще раз сказал ей: «Спасибо». Управдом и Чимназ вышли во двор. Увидели меня.

— Этот,— сказала Чимназ.

— Что — этот? — тихо, чтобы не слышал сын полка, спросил я, но на всякий случай отошел на несколько шагов.

Управдом начал орать:

— Я сколько раз говорил: под окнами камнями не бросайтесь!

Я попросил его не кричать, сказал, что камнями не бросался.

Тут заорала Чимназ:

— Ты разбил! Я сама видела. Садых подтвердить может.

На ее крики во двор вышел сын полка.

— Ладно, Чимназ, не кричи,— вдруг спокойным голосом сказал управдом.— Заставим родителей вставить.

Они ушли.

Сын полка посмотрел на меня и опять вошел в дом.

Как я мог заговорить с ним после этой глупой истории?

17 августа

Оказалось, что мне не в чем идти на день рождения: брюки в пятнах, на коленях вытянулись и цвет потеряли; туфли тоже ободранные, каблуки сбиты.

Туфли смазал вазелином. Брюки мама постирала и погладила. Сели немного, но на коленях перестали пузыриться. Рубашку надел папину, с длинными рукавами, запонками и отдельным воротником. Папа сказал, что к ней галстук нужен. Я не согласился.

— Как же галстук без пиджака?

Мама сказала:

— Ничего. Можно и без пиджака, а то видно, что воротничок отдельный.

Начали примерять галстуки. Папа завязывал их на себе, а потом уже я продевал в них свою голову. Сорочка в плечах мне была широкой, рукава пришлось закатать, чтобы не бросалась в глаза длина.

Еще спорили из-за подарка. Мама считала, что надо подарить Неле книгу — два томика стихов Лермонтова, а я претендовал на флакон маминых духов. Папа соглашался и со мной, и с мамой.

— Какие еще духи! — возмутилась мама.— От горшка два вершка, уже духами интересуются!

— А зачем ей Лермонтов? — спрашивал я.— Она его в школе проходила!

Папа что-то тихо шептал маме, когда она выходила в другую комнату.

Она громко отвечала.

— Духи не дам! Из чисто педагогических соображений. Я против таких подарков.

— А книжки не новые,— привел я новый довод, закатывая перед зеркалом рукава сорочки.

Тут папа взял мамину сторону.

— Ты не прав. Книжки хорошей сохранности, и совсем необязательно, чтобы они были новые.

Пришлось пойти с Лермонтовым. Завернул его в белую бумагу, перевязал ленточкой.

Мама осмотрела меня в последний раз и осталась довольной. Но я-то знал, что в сорочке и галстуке похож на пугало.

— Что-то у нас на пустыре милиционеры в штатском дежурят, из угрозыска,— сказала вдруг на дорогу мама.— Следят за кем-то.

— Откуда ты знаешь? — спросил я.

— Видела. Я же их всех знаю.

— Наверное, ищут, кто револьвер у милиционера свистнул.

— Наверное,— согласилась мама, вздохнула и поцеловала меня в лоб.— Ну иди...

И я пошел через пустырь, припрятав под сорочку книжки на тот случай, если напорюсь на кого-нибудь из наших.

У Нелиных дверей я их вытащил, заправил сорочку, пригладил волосы.

Неля была в новом платье. В руках она держала нож. Увидев меня, рассмеялась:

—Ты опаздываешь... Все уже собрались.

Я поздравил ее и сунул в руки Лермонтова.

В коридоре, кроме нее, была еще тетя Аида. Они делали бутерброды из любительской колбасы и сыра и складывали в большие тарелки. Тетя Аида спросила, как идут наши занятия. Я сказал, что хорошо. Неля подтолкнула меня к двери в комнату, за которой были слышны голоса и музыка. Я открыл дверь и вошел.

— Это наш сосед,— сказала с порога Неля.— Зовут его Эльдар.— И закрыла дверь.

Я по очереди пожал всем руки. Те двое, которых мы били на пустыре, не пришли. А может, она их не пригласила.

Поздоровавшись со всеми, я отошел к столу около окна, на котором стоял портрет Нелиной тети. Большого стола под абажуром не было, потом я увидел, что он лежит ножками вверх на кроватях на другой половине комнаты, за занавеской. Его убрали, чтобы освободить место для танцев.

Гости, видимо, друг друга знали. Двое парнишек лет по семнадцати и две девочки играли во «флирт». Одна парочка возилась с патефоном и пластинками, другая о чем-то негромко беседовала рядом с буфетом. Ребята все выглядели года на два-три старше меня. У некоторых даже усы росли. Я был ниже всех ростом и хуже всех одет.

На диване обменивались карточками и громко называли камни: топаз, аквамарин, бриллиант, рубин и т. д.

Я сел на стул, взял в руки портрет Нелиной тети и принялся разглядывать, будто увидел его впервые.

Неля и тетя Аида принесли тарелки с бутербродами, винегрет, холодец и бутылку вина. Для портрета места на столе не осталось, пришлось поставить его на буфет. Я отошел к дивану, чтобы не мешать им хозяйничать. И от нечего делать стал наблюдать за тем, как «флиртуют» четверо. Они на меня не обращали внимания и даже не предложили сыграть с ними. Я бы все равно отказался, но, если бы они были воспитанными людьми, могли бы и предложить.

Неля и тетя Аида опять ушли в коридор и закрыли за собой дверь. Я подошел к патефону, завел его и поставил какую-то пластинку. Те двое, которые уже давно перебирали пластинки, посмотрели на меня недовольно, но ничего не сказали.

Пришли еще два парня. Неля впустила их в комнату, сказала, чтобы познакомились, кто незнаком, и позвала тетю Аиду.

Оказалось, что парни незнакомы только со мной и с рыжей девчонкой, игравшей во «флирт». Одного парня звали Фуад, другого — Котик.

Вошла тетя Аида, уже без фартука, и попросила выключить музыку. Я остановил пластинку.

— Дорогие гости,— сказала тетя Аида,— вы знаете, что сегодня Нелечке исполняется пятнадцать лет. Здесь собрались ее близкие друзья. Я вам мешать не буду, но хочу предложить первый тост за Нелино здоровье, а потом веселитесь как хотите.

— Мама уходит,— объяснила Неля.

— Прошу всех к столу,— сказала тетя Аида.

Все подошли к столу, взяли по бутерброду. Тетя Аида налила в стаканы понемногу вина.

— Доченька, будь счастлива,— сказала тетя Аида, чокнулась с Нелей, поцеловала ее и ушла. И все чокнулись с Нелей.

Начались танцы. Все танцевали без передышки. А я сидел на стуле у буфета и опять рассматривал портрет Нелиной тети.

Один раз Неля, танцуя, нагнулась ко мне и спросила, почему я не танцую. Я сказал, что не хочется.

— Не умеешь, что ли?

— Нет.

— Ну это же легко. Надо научиться.

Она посмотрела на портрет и улыбнулась.

— Очень нравится?

Я не успел ответить, потому что она повернулась в танце и между нами оказался парень, с которым она танцевала...

Я съел еще два бутерброда, почитал «флирт». Он был такой же, как у нас дома, только в нашем вместо драгоценных камней стояли названия цветов.

Я вышел в коридор. На часах с гирьками, висевших в углу, было девять. Уже два часа продолжался этот день рождения. Я походил по коридору. Мое отсутствие никто не заметил. Я подождал немного, но меня так и не позвали назад.

Я тихонько отворил наружную дверь и вышел во двор. Домой идти не хотелось. Я решил посмотреть, дома ли Юрка.

Уже давно отменили затемнение в городе, но ни в одном окне не было света. В Юркином тоже. Я хотел сесть на скамейку под абрикосовым деревом и вдруг почувствовал, что на ней уже кто-то сидит. Вернее, услышал чье-то дыхание. И тут только заметил, что на другом конце скамейки, привалившись спиной к дереву и поэтому в темноте сливаясь с ним, спит человек. То, что он спит, я понял по дыханию. Он даже сопел немного.

Не знаю, почему, но я сразу подумал, что это дядя Христофор. Может быть, потому, что от него пахло краской. Это действительно был он. Пахло не только краской, но и водкой. Видно, дядя Христофор решил по случаю дня рождения Нели поддать немного, а теперь ждал во дворе, когда разойдутся ее гости.

Это было вчера.

А сегодня вдруг на пустыре раздался мотоциклетный треск. Я собирался весь день не выходить из дому, но тут не выдержал. Быстро натянул брюки, завернул в газету жареную картошку, которую оставила для меня мама на сковородке, схватил кусок хлеба, вареное яйцо и побежал.

Тетя Сима, мать Лени, развешивала белье. Я поздоровался с ней на ходу.

— Что же ты друга своего не навестишь? — спросила она.— Плохие вы товарищи...

— Я же не знал, что он болен...

— Не в этом дело, Элик. Ты сам знаешь, о чем я говорю. Так друзья не поступают...

Я молчал.

— Ну ладно,— вздохнула она,— хотя бы зайди к нему...

Леня лежал на кушетке, у него была температура.

— А-а, это ты,— через силу улыбнулся он мне.

— Я не знал, что ты больной.

— Уже два дня. Температура высокая.

— Я не знал.

Он смотрел на меня с надеждой. Ждал, что ему скажу.

— Ты понимаешь,— сказал я.— Гусик отказался поговорить за тебя с Хорьком, поэтому они опять тебя топили.

— Понимаю.

— Но я сам поговорю с Хорьком,— сказал я,— обещаю тебе... Сегодня же поговорю.

По-моему, он не поверил мне.

— Я все время лежу и думаю, почему они меня топят? — вздохнул он.— И догадался наконец... Ведь если мы пойдем в яхт-клуб, кончится власть Хорька. Там же все по-другому будет, по справедливости. Вот почему он приказал, чтобы меня топили. А я понять не мог...

— Я поговорю с ним. И еще приду к тебе.

— Если сможешь, приди,— попросил он.

— Обязательно,— пообещал я еще раз и пошел на пустырь.

Ребята кучей столпились: недалеко от каланчи (оттуда же несся мотоциклетный треск). Потом они расступились, и я увидел Пахана верхом на зеленом мотоцикле «харлей». На заднем сиденье сидел Хорек. Они промчались мимо меня и начали давать по пустырю круг за кругом. А мы все бегали за ними и орали от восторга.

— Это наш мотоцикл! — крикнул мне Рафик.— Пахан купил его по дешевке. Теперь у нас будет свой мотоцикл.

Пахан дал еще один круг и остановился. Хорек соскочил с заднего сиденья. Началась страшная толкотня. Всем хотелось занять его место. Оно досталось Гусику, и Пахан опять понесся по пустырю.

— Видал? — сказал мне Хорек.— Настоящий «харлей». Каждый даст по двести рублей, и он будет нашим. Что ты принес?

Я отдал ему сверток, и он положил его в свой мешок, где уже лежали завтраки остальных ребят.

После Гусика прокатился Расим. Потом опять началась давка, но Пахан объявил перерыв и слез с мотоцикла.

Хорек к тому времени разделил еду, и мы сели завтракать.

Хорек сказал, что на мотоцикле будут кататься только те, кто не нарушает дисциплину в отряде.

Я спросил, где мы возьмем по двести рублей.

Хорек посмотрел на меня недовольно.

— Конечно, сразу трудно достать столько денег, но собрать можно,— сказал он.— Всем дают деньги на кино, семечки. Или продать что-нибудь можно, какую-нибудь вещь ненужную.— Он опять посмотрел на меня.— Вот Элику, например, легче, чем другим: у него и отец зарабатывает, и мать. Он, правда, больше всех кричит. Другие ребята, у которых дома, может, жрать нечего, молчат, а он кричит, будто самый бедный...

Я сказал ему, что не за себя волнуюсь, хотя и мне тоже трудно будет собрать двести рублей.

— Ничего, соберешь,— сказал Пахан, продолжая жевать.— Сказали тебе, что другим еще труднее.

— И не думай, что ты уж такой умный,— продолжал Хорек.— Я договорился в керосиновой лавке: у кого нет денег, будет качать керосин из бака. Тетя Ася не обидит. Еще можно торговать очередью за хлебом или крутить карусель на Парапете.

— Я даю четыреста рублей,— сказал сын одноглазого завмага.

Хорьку не понравилось, что он сказал об этом при всех.

— Ты чего орешь?! — сказал он.— Потом поговорим.

Пахан встал, покрутил ручку мотоцикла и с силой нажал на педаль. Все сразу же забыли про еду и вскочили на ноги. Опять началась толкотня. Я тоже старался изо всех сил.

На этот раз повезло Качану. Мотоцикл помчался по пустырю, мы за ним.

— Леня заболел,— сказал я Рафику, пока Качан катался.

— Знаю.

— Надо поговорить с Хорьком.

Рафик ничего не сказал. Он следил глазами за мотоциклом.

— Я хочу сегодня вечером с ним поговорить.

Рафик опять промолчал.

— Ты пойдешь со мной? — спросил я.

Он вдруг разозлился.

— Знаешь что?! Я тут ни при чем. Зачем я из-за Лени должен страдать? И так Хорек на меня косится.

Я хотел кое-что ответить ему на это, но не успел: мотоцикл вдруг перестал тарахтеть, несколько раз чихнул и остановился посреди пустыря.

Пахан пытался завести его, но у него не получалось. И тут я увидел сына полка. Он стоял среди ребят и смотрел на то, что делает с мотоциклом Пахан. Потом он похлопал его по плечу и сказал:

— А ну-ка погоди...

Пахан сразу же послушался его и слез с мотоцикла.

— Держи вот так,— сказал ему сын полка и наклонил мотоцикл набок. Он поковырялся в моторе, что-то там прочистил проволокой, сел на сиденье и помахал рукой, чтобы дали дорогу.

Сделав на очень большой скорости один круг по пустырю, он остановился как вкопанный точно там, откуда снялся с места.

— А чего ты? — сказал Пахан.— Покатался бы еще...

— В следующий раз,— улыбнулся сын полка.

И даже Хорек улыбнулся ему в ответ.

— Он взрослых солдат связи учит,— сказал я.— Я своими глазами видел.

— Я против него ничего не имею,— сказал Пахан.— Пусть живет. Ну поехали.

Мотоцикл опять помчался по пустырю. Все побежали за ним...

Вечером я пошел к Хорьку. Его матери, тете Зарифе, очень хочется, чтобы мы с Хорьком дружили. Она часто мне об этом говорит. Мой отец преподавал ей на рабфаке географию, и она никак не может об этом забыть.

Она очень обрадовалась мне и попросила зайти в дом. Но я отказался.

Из комнаты вышел Хорек. Мы спустились во двор. Остановились у водяного крана.

— Слушай,— сказал я,— ты знаешь, что Леня заболел?

— Нет,— соврал он.

— Врешь,— сказал я.

— Это ты мне говоришь?! — угрожающе спросил Хорек.— А сможешь завтра повторить при всех?

— Врешь ты все! Никакой Леня не предатель. Это ты нарочно про него придумал. Что он такого предательского сделал? Ну скажи...

— Командир знает, что он сделал. Ты что, против командира идешь?

— Слушай, Хорек.— Я взял его за воротник рубашки.— Все это ты придумал. Леня ни в чем не виноват. Мать его целыми днями плачет...

— Отпусти рубашку,— потребовал Хорек,— а то ответишь за это завтра.

— Хорек.— Я продолжал держать его за воротник.— Ты меня знаешь. Я не Леня. Ты тоже пострадаешь вместе со мной...— Я весь трясся от злости, когда говорил ему это.

— А что ты мне сделать можешь? — спросил он.

— Все, что хочешь,— сказал я.— Могу дать тебе кирпичом по башке. Хочешь, прямо сейчас дам?

Он испугался, но не очень.

— Какое тебе дело до Лени? — сказал он.— Что ты лезешь не в свое дело? На этих яхтах железнодорожники плавают. А они наши враги... Если ты не отпустишь воротник, тебе завтра плохо будет. На этот раз я тебя не пожалею.

— Мне не нужна твоя жалость,— сказал я.— И не жалеешь ты меня, а боишься.

— А чего мне тебя бояться?

— А потому, что я все про тебя понимаю и про отряд твой тоже. От него только тебе польза. Для этого ты его и придумал, чтобы власть на пустыре захватить. Говорил, что людям будем помогать, и все тебе поверили. А Пахан только тебя слушает, потому что обещал ты ему, сам знаешь что...— Я умолк.

— Ну, что ты еще скажешь?

— Оставь Леню в покое.

— Все?

— Все!

— Ну а теперь меня послушай,— зашипел Хорек мне в лицо.— За эти слова ты завтра кровью будешь плакать. Я все расскажу Пахану. Давно надо было с тобой кончать. Ты хорошего языка не понимаешь...

И тогда я сказал ему то, чего очень не хотел говорить. Он сам заставил меня. Я не хотел этого, но он заставил меня своими угрозами.

— Если ты не оставишь Леню в покое,— сказал я,— я всем расскажу про то, что ты по ночам в постель писаешь.

Такого поворота он не ожидал.

— Ну?

Хорек молчал.

— Ты не расскажешь,— сказал он наконец.— Не сможешь, стыдно будет.

— Будет,— согласился я.— И я никогда никому не говорил. Но теперь расскажу. Ты сам меня заставляешь.

— Все равно не сможешь.— Он заискивающе заглянул мне в глаза.— Я твой характер знаю.

— Расскажу,— твердо сказал я,— если не отвяжешься от Лени. Обязательно всем расскажу.

Наконец он сдался.

— Ладно,— сказал он.— Только не болтай больше про отряд, про Пахана.

Он пошел к лестнице...

Теперь от него любой подлости надо ждать. Но Леню я, кажется, выручил...

19 августа

Мама последнее время работает и по ночам. То на строительстве, то в порту на погрузке. Общественная работа. Командует большим отрядом. Многих из наших соседей тоже мобилизовала. Домой приходит под утро, измазанная и усталая, еле на ногах держится.

Сегодня пришла в шесть утра, вся белая от муки. Пока она мылась и переодевалась, я осмотрел нашу старую, видавшую виды мебель и подошел к маме.

— Мама,— сказал я,— зачем нам канапе? Оно же совсем не в стиле нашей мебели.

— Почему же не в стиле? — устало улыбнулась она.

— И фасон другой, и цвет, и вообще...

Папа жарил на примусе баклажаны.

— Оно от дедушкиного кабинета осталось,— сообщил он.— Там еще два больших мягких кресла стояли и круглый столик.

— Вот видишь,— сказал я.— У нас ведь нет кресел. А к нашим стульям не подходит.

— Что это ты вдруг мебелью заинтересовался? — удивилась мама.

— У меня такая просьба,— сказал я.— Давай отдадим канапе сыну полка. У него «кэчевская» мебель, и ничего красивого.

— Это дедушкино канапе,— сказала мама.— Надо у папы спросить разрешения.

— Папа не против,— сказал я,— лишь бы ты согласна была.

— Так вы уже договорились обо всем? — рассмеялась мама.— Голову мне морочите?.. А что он с ним будет делать?

— Как что? Спать. Он же почти такой, как я, ростом. Свободно поместится.

— Ну ладно. Если спать, то отдай.

— Спасибо, мама... А вешалку?

— Какую вешалку?

— Старую,—успокоил ее я.

— Ладно, бери и вешалку.

— Спасибо.

— Элик, вы так и не выяснили, кто топил Леню? — спросила мама, перестав улыбаться.

Я ответил не сразу.

— Нет.

Мне было особенно стыдно врать ей после того, как она всю ночь не спала. Но разве я мог сказать?

— Ты бы привел к нам этого сына полка,— сказал папа.— Познакомились бы.

— Я сам его не знаю.

— Ну вот, заодно и сам познакомишься. Обязательно приведи.

— Хорошо,— сказал я.

Сперва я отнес вешалку. Поставил ее у двери и постучался.

— Заходите, открыто,— сказал он.

Я вошел. В коридоре, как и у Юрки, пол был асфальтовый. Стены уже высохли. На полу валялись доски, а сам сын полка прибивал к подоконнику длинную палку. Увидев меня, он перестал стучать молотком, но из рук его не выпустил.

— Я там вешалку принес,— сказал я.— Куда ее поставить?

Он не понял меня.

— Мы в соседнем доме живем,— объяснил я.— На втором этаже, зеленый такой балкон. Просим прийти к нам в гости.

Он опять ничего не понял.

— А вешалка зачем?

— А вешалка — это просто так. Это не связано. Вешалка и канапе.

— Канапе? — спросил он.

— Это диванчик такой, с круглой спинкой. На нем можно спать, он мягкий. Только его надо вдвоем принести. Вешалку я принес, а за диванчиком надо вместе сходить. Одному трудно.

— Спасибо,— сказал он, понемногу начиная понимать меня.— Только у меня все есть, что полагается.

— Это совсем другое. Канапе очень мягкое. От деда моего осталось... Он доктор был... А вешалка здесь.

Я выскочил во двор и втащил вешалку в коридор.

— Хорошая,— улыбнулся сын полка.— Только вешать на нее нечего. Все обмундирование на мне.

— А шинель?

— А шинель под голову.— Он положил молоток на подоконник, вытер руку и протянул мне ее для знакомства.— Рудаков Константин... Костя,— добавил он и крепко пожал мне руку.

— А я Элик. Эльдар Караев.

Он внимательно посмотрел на меня.

— Я тебя видел раз...

— Да,— смутился,— глупо получилось...

— Шпаны у вас здесь много,— сказал он солидно, как взрослый человек. И вообще он держался как взрослый: то ли подражал кому-то, то ли привык к такому поведению в армии.— Перегородку хочу сделать,— показал он на доски.— Чтобы кухонька была...

— У нас рубанок есть. Может, нужен?

Он обрадовался.

— Очень нужен. Я быстро верну.

— Да хоть навсегда пусть останется. Мы все равно не пользуемся. Пошли. Заодно и канапе принесем.

Он почему-то колебался. Может, название его смущало? Действительно, смешное слово «канапе».

— Неудобно как-то,— сказал он.— А родные знают?

— Конечно. Они в курсе. Отец дома, сам увидишь.

Он надел гимнастерку. Заправил ее под ремень.

— У меня отец сильно близорукий, поэтому его на фронт не взяли,— сказал я.— Близоруких не берут...

— А ты в каком классе? — спросил он.

— В восьмой перешел.

— А сколько тебе лет?

— Четырнадцать с половиной. А тебе?

— В мае пятнадцать исполнилось. Но я в пятый класс пойду. Три года потерял из-за войны.

Мы вышли на пустырь. Наших видно не было, навер-

ное, спустились в овраг. Я оглянулся и увидел Нелю в окне. Она смотрела на нас. Я хотел отвернуться, но она сделала знак, чтобы я подошел.

— Костя,— сказал я,— ты подожди минутку. Тут зовут меня.

Он тоже увидел ее.

— Ладно,— сказал он.

Я подошел к окну.

— Здравствуй,— сказала она, улыбаясь.— Ты чего же исчез?

— Здравствуй.

— Обиделся на что-нибудь?

— Нет.

— А почему не приходишь?

— Завтра приду.

— Нет уж, сегодня. Мне заниматься нужно. Это нечестно с твоей стороны. Ты же обещал со мной заниматься...

— Хорошо, приду сегодня.

— Если даже ты обижен на что-то, все равно не должен бросать занятия. Благородные люди так не поступают.

— Ладно,— сказал я.

— А что ты дуешься? — продолжала она, улыбаясь.— Я только хотела пригласить тебя танцевать, а ты исчез. И вообще мне никто из тех ребят не нравился.

— Не в этом дело,— сказал я.

— А в чем?

Не мог я ей сказать, в чем дело, и не только ей — никому не мог. Слишком длинное и запутанное объяснение получилось бы: как бы я объяснил, что дело не в ком-то, а во мне самом, в том, что я маленький и не могу танцевать, плохо одет, всего стесняюсь, а она уже взрослая девушка, и друзья у нее взрослые, и мне хочется порвать все отношения с ней сразу и навсегда, чтобы никаких надежд не было и неясных сомнений.

— Я сегодня опять твое письмо читала,— сказала она,— все-таки ты ненормальный.

— Меня ждут,— я старался на нее не смотреть.— Я приду через полчаса.

— Ты очень невежливо себя ведешь,— сказала она.— Ничего страшного, подождут.

Я оглянулся. Костя стоял на том же месте.

— Это сын полка,— сказал я.— Костя Рудаков. У него медаль есть.

— Знаю. Ну я тебя жду. Только не опаздывай. Понял?

— Да,— сказал я и побежал к Косте. Настроение мое вдруг стало очень хорошим.

Костя показал на ограду вокруг танцплощадки и спросил, что это такое.

— Танцплощадка. Сегодня будут танцы. Пойдем?

— Времени нету,— сказал Костя.— Не до танцев сейчас.

Папы уже не было дома. Я вытащил ключ из-под коврика перед дверью и сказал Косте о том, что папа очень хотел с ним познакомиться. Жалко, что ушел.

Оглядывая комнату, Костя подошел к книжным шкафам, покрутил головой.

— Сколько книг!.. Отца?

— Некоторые еще от деда остались. Отец с братьями разделили его библиотеку. У отца еще два брата есть.

— А кто твой отец?

— Географ. Преподает в университете. Слушай, приходи сегодня вечером к нам. Посидим, с родителями познакомишься. Что тебе одному дома сидеть? Я зайду за тобой. Ладно?

— Ладно,— согласился он.

— Вот канапе,— показал я ему.

— Красивая вешь.

— Тоже от деда осталась. В кабинете у него стояла. Ну, взяли?

Мы подняли канапе и понесли к двери.

Когда мы тащили его через пустырь, наши уже собрались на танцплощадке и все, конечно, видели нас. Но ничего не сказали...

Ее в окне не было...

Назад я проскочил незамеченным и ровно в два часа был у Нели.

— Опоздал на три минуты,— сказала она.

На наших было без пяти, когда я вышел. Я сказал ей об этом.

— Опоздал. Я по радио проверяла. А сказал, что придешь точно.

Тетя Аида рассердилась на нее.

— Глупости не говори! Что такое три минуты, что ты из-за них разговор ведешь?

Я успокоил тетю Аиду, что мы шутим, и прошел в комнату.

— Оказывается, ты меня ревнуешь? — улыбаясь спросила Неля.

Я растерялся.

— Как ревную?

— Очень просто. Приревновал меня и ушел со дня рождения. Папа рассказал, как ты с ним сидел на скамейке.

— Не приревновал, а скучно было.

— А почему вчера не пришел?

Я молчал.

— Я теперь все про тебя знаю,— сказала она.— По письму видно, что ты за человек: маленький, а влюбчивый.

— Давай заниматься,— сказал я и открыл «Геометрию».

Да, с письмом я влип, теперь она никогда не успокоится. Надо было другим почерком написать или печатными буквами.

— А я долго думала, кто же это мог такое письмо сочинить? Никогда бы не догадалась, что это ты. Только почерк тебя выдал. И давно ты меня любишь?

— Давно.

— Ну сколько?

— Год.

— Безнадежное дело.

— Почему?

— Маленький ты.

— Ну и что? Мы с тобой одинакового роста.

— Мужчина должен быть выше женщины.

— Я еще вырасту.

— Ну, когда вырастешь, тогда и поговорим. Где мы остановились?

— На шестом билете.

На пустыре заиграл оркестр.

— Танцы начались,— сказала она.— Сейчас Сонька придет.

Действительно, в дверь постучались. Тетя Аида почему-то сказала, что Неля занимается.

— Встань туда, чтобы она тебя не видела,— показала мне Неля на занавеску между буфетом и шифоньером и высунула голову в коридор.— Ничего, мама, пусти ее на минутку.

— Покоя от вас нет,— сердито сказала тетя Аида.— Заниматься девочке не даете.

Я не видел Соньку, но сразу узнал ее по голосу.

— Неля, тебе не надоело дома сидеть? — сказала она как ни в чем не бывало, будто не ее гнала тетя Аида.— Не хочешь на танцы пойти?

— Ты что, как дурочка, одно и то же повторяешь каждое воскресенье? —спросила Неля.— Я тебе уже сто раз говорила, что на танцы не хожу.

Сонька понизила голос, чтобы не услышала тетя Аида.

— Он умирает по тебе. Говорит: «Я для нее все сделаю, только пусть один раз выйдет на свидание!» Ты его мотоцикл видела?

— Видела.

— Знаешь, как он быстро ездит? Ветер в ушах свистит. Майка умоляет, чтобы он ее покатал, но он только по тебе умирает. Или она, говорит, или никто.

— Надоел он со своим мотоциклом. Целый день под окнами тарахтит.

Сонька хихикнула.

— Специально. Чтобы ты на него внимание обратила.

— Не хватает еще, чтобы я на хулиганов обращала внимание! — фыркнула Неля.— Он проходу никому не дает.

— Его все боятся,— согласилась Сонька.— Какая везучая! Если бы меня такой парень полюбил, я самая счастливая была бы.

— Тоже мне силач! Посильнее его люди есть,— сказала Неля.— И скажи ему, пусть руки не распускает, а то у меня тоже может терпение кончиться.

— Хорошо, скажу. Но это он из-за тебя такой нервный, покоя найти не может.

Тетя Аида заглянула в комнату.

— Иду, иду! — вскочила со стула Сонька.— До свидания, Нелечка. Не буду тебе мешать,— сказала она фальшивым голосом,— потом зайду, поговорим.

— До свидания.

— Выходи,— позвала меня Неля после Сонькиного ухода.— Надоела! Неужели никто не может этого Пахана проучить? Такой нахал! Пристает все время. Почему все его боятся?

— Не все,— возразил я.

— А кто?

— Сын полка его не боится.

— Откуда ты знаешь?

— Сам видел. Он с ним даже разговаривать не стал.

Повернулся и ушел. А Пахан не знал, что сказать, растерялся даже.

— Когда это было?

— На днях. А хочешь, я тебя с сыном полка познакомлю? — спросил я.— Сегодня вечером он придет к нам.

— Хочу.

Мы договорились, что я зайду за ней вечером.

— А ты почему стихи мне не принес? Обещал же.

— Принесу. Только отберу хорошие.

— Я люблю, когда мальчики стихи пишут,— сказала Неля,— и напиши сверху: «Посвящаю Неле Адамовой».

— Хорошо.

— Молодец! А теперь давай заниматься.

Мы принялись за геометрию.

Потом я пошел на танцы. Первым, кого я там увидел, был Леня. Он стоял вместе с ребятами, которые, как всегда, окружали стул Пахана, и сиял от радости, хотя и выглядел больным. Он посмотрел на меня благодарно, но ничего не сказал из осторожности. Я поздоровался со всеми, кроме Рафика.

— Леню простили,— шепнул мне Юрка.

Рафик почему-то обиженно отворачивался от меня.

— Ты что «шестеришь» на этого солдата? — спросил меня Пахан.— Офицером хочешь стать?

— Я не «шестерю»,— спокойно объяснил я.— Это подарок.

— Это твой диван, что ли?

— Да, наш.

— А где пропадаешь?

— Дома дел много. Я же не виноват, что меня дома работать заставляют.

— Наше дело предупредить,— сказал Пахан.— Одного простили.— Он строго посмотрел на Леню.— Но других жалеть не будем. А почему жратву не носишь?

Я посмотрел на Хорька. Он сделал вид, что не имеет к этому разговору никакого отношения.

— Жратва будет,— сказал я.— Баклажаны жареные и колбаса. Могу сейчас принести.

— Давай валяй!

Я побежал за едой...

Когда я вернулся, за забором воинской части вдруг заиграл духовой оркестр. Мы все побежали к тутовому дереву.

Весь личный состав части был выстроен на плацу, командир и несколько офицеров стояли рядом с развернутым знаменем. Голоса мы не слышали из-за расстояния, но было ясно, что командир называет фамилии, потому что из строя выходил какой-нибудь боец и шел, печатая шаг, к знамени. Там незнакомый нам офицер читал что-то по бумажке и прикалывал на грудь бойцу медаль. Потом играл оркестр.

Сына полка тоже наградили.

— Это вручают медали за победу над Германией,— сказал сын одноглазого завмага.

Командир части поцеловал сына полка.

...К вечеру мама напекла хворосту, и мы пили чай вчетвером: я, мама, папа и Костя. Он немного стеснялся, но все равно вел себя солидно и рассудительно, как взрослый человек. Мама и папа разговаривали с ним так, будто он не мой ровесник, а их. Тем более, что на груди его висела вторая медаль.

— Спасибо, мне достаточно,— сказал он, когда мама хотела положить ему еще хворосту, и ответил на вопрос папы, как он попал в наш город.

— В июле нашу часть перевели в одно место — сто километров отсюда...

— Я знаю,— сказал папа.

— А тут как раз вышел приказ о демобилизации. Вызвал меня к себе командир части и говорит: «Спасибо тебе, Рудаков, за службу, но война закончена уже, и надо тебе учиться. Не имеем права держать тебя в части». Вот я и приехал сюда жить, чтобы далеко от наших не уезжать. Сто километров — это не так далеко.

— А как сестры? — спросила мама.— Их же надо найти.

— Разыскиваем. В Днепропетровске их нет. Командир туда писал и ездил туда. Нет их там. И дома нет. А куда эвакуировались, никто толком не знает. Через Баку на Красноводск, а дальше неизвестно...

Я спросил у Кости, почему он каждый день в часть ходит. Будто служит там.

— Это я сам, добровольно,— немного смутился он.— Меня ведь на полное довольствие взяли.

— А сколько лет твоим сестрам сейчас? — спросила мама.

— Взрослые они: одной семнадцать будет, другой — девятнадцать...

— Бедные...— вздохнула мама.

— Я их разыщу,— успокоил ее Костя.— Лишь бы живы-здоровы были.

— Учиться тебе надо,— сказал папа.

— Я в детдом не хочу,— сказал Костя.— Ребята мне так и сказали: «Никаких, Костя, детдомов. Получишь квартиру, пойдешь в школу, а за остальное не волнуйся, будешь на полном нашем обеспечении. Мы тебя одного не оставим».

— Наша мама два года была директором детдома: с сорок первого по сорок третий,— сказал папа.

— Я не против детдома,— объяснил Костя, чтобы не обидеть маму,— может, там и хорошо. Но после армии в детдом идти как-то неудобно...

— Ты ничего не ешь, Костя,— сказала мама.— Дай я тебе еще чаю налью.

— Чаю можно,— согласился Костя.

Я воспользовался паузой и встал из-за стола.

— Ты куда? — спросила мама.

— Я на минутку. Сейчас приду.

Через минуту я был у Нелиных дверей. Постучался, наверное, очень громко, потому что тетя Аида испуганным голосом спросила: «Кто там?» — и дверь не открыла.

— Это я, Элик. Скажите Неле, что я пришел.

— А Нели нет.

— Как нет?.. — удивился я.— Мы же договорились с ней, что вечером приду.

— Не знаю. Неожиданно ушла к подруге. Я не пускала, а она все равно ушла. Не хочет дома сидеть.

— И ничего не просила передать мне?

— Нет, ничего.— Тете Аиде даже неудобно стало передо мной.— Забыла, наверное. Она совсем рассеянная стала. Все забывает. А что сказать ей, когда придет?

— Скажите, что я приходил. До свидания.

Она что-то еще сказала мне успокаивающее, но я, не дослушав ее, потащился домой.

Куда она могла уйти? Мы же договорились с ней.

Когда я вернулся домой, у нас сидел дядя Шура. Он показывал Косте раны.

— Это под Курском. Сюда вошла, отсюда вышла. А это Армавир. Видишь, рука не сгибается?

Увидев меня, дядя Шура радостно объявил мне:

— Он, оказывается, тоже связист. Я же смотрю — родное в нем что-то чувствуется.

— А сейчас где вы работаете? — спросил Костя.

— Монтером в педагогическом институте. И еще я личный парикмахер семьи Караевах. Я их всех стригу.

— Кроме меня,— сказала мама.

— Я мужской мастер,— гордо сказал дядя Шура.

— У дяди Шуры хорошие пластинки,— сказал я.— Ты любишь музыку? У него арии из всех опер.

— Двести восемьдесят четыре,— уточнил дядя Шура.

— А всего сколько штук? — спросила мама.

— Всего пятьсот тридцать шесть.

— Что-нибудь случилось? —тихо спросила у меня мама.— Ты чем-то расстроен?

— Ничего не случилось,— успокоил я ее,— тебе показалось.

Она посмотрела на меня недоверчиво.

— Элик, сыграй что-нибудь,— попросил папа.

Я сел за пианино.

20 августа

Утром за мной прислали Леню.

— Скажи, что меня нет,— попросил я.

— Хорошо,— покорно согласился он, но по глазам было видно, что он боится.— Рафик сегодня ударил меня.

— Я поговорю с ним.

— Не надо. Я не для этого сказал,— еще больше испугался Леня.— Просто жалко его. Он же хороший человек был. Ну я побегу, а то они ждут.

— Беги, беги, Леня.

— Хорек все время с Рафиком шепчется.

— Ничего, беги, Леня.

Он убежал. Я еле дождался одиннадцати часов. Но они носились по пустырю на мотоцикле, и выйти из дому было невозможно.

Я перелез с балкона на крышу, соскочил на кровлю ее дома и спустился во двор по дереву. На этот раз она была дома.

— Где ты была вчера? — спросил я сразу же.

Она удивленно посмотрела на меня.

— Когда?

— Вечером.

— К подруге ходила. А что? — спросила она.

— Но ты же обещала прийти к нам. Я прибегал за тобой.

— Ты что, думаешь, у меня других дел нет?

— Но ты же обещала?!

— Обещала, а потом передумала. Успокойся, пожалуйста. Ты так со мной разговариваешь, как будто мы с тобой встречаемся. Ты не имеешь на меня никаких прав. Садись.

Я сел.

— Все почему-то считают, что могут мной командовать.

— Я не командую.

— А если ты такой храбрый, ты бы лучше сказал Пахану, чтобы он не приставал ко мне. Ты знаешь, что он вчера сделал? Побил брата моей подружки за то, что тот провожать меня пошел. Тот так испугался, что даже ответить не смог. Вы все его боитесь, а строите из себя героев!

Я молчал.

— Смотри, что утром Сонька принесла.— Она вытащила из кармана записку. Я узнал почерк Хорька. Там было написано: «Так будет с каждым, кто подойдет к тебе. А если согласишься со мной дружить, то сделаю для тебя все, что хочешь, и сможешь всем приказывать. Будешь королевой пустыря. Даю три дня на размышление. Аркадий».

— Я и не знала, что его Аркадием зовут... Мама видела записку,— сказала она шепотом.— Боюсь, папе скажет. А этого Пахана я не боюсь. Ничего он мне не сделает. Когда я на него вот так смотрю,— она вскинула брови,— он как шелковый становится.

После этого разговора я понял, что должен заступиться за Нелю.

Я пошел на бульвар и просидел у моря целый день, чтобы никого не видеть и не отвечать на вопросы, почему я грустный и о чем думаю. Сел на теплый, согретый солнцем камень и смотрел на парусники. Сделав круг, они проходили совсем близко от меня. Я думал совсем о другом, но было приятно смотреть на них. Как бы я хотел оказаться на одном из них вместе с ней!

Когда стемнело, я вернулся на пустырь. Зашел к Косте. У него был дядя Шура со своим патефоном и пластинками. Краска на полу высохла, и они сидели в комнате.

— Мне письмо пришло из части,— сказал Костя, после того как кончилась ария герцога из оперы «Риголетто»,— и посылка.— Он показал на ящик из-под консервов, который лежал в углу.— На машине привезли.

Дядя Шура был слегка выпивший.

— Я тоже сиротой рос,— сказал он, заводя патефон,— но у меня старший брат был. Он меня каждый день в школу водил с собой, чтобы я один не оставался. Мне было четыре года, а ему четырнадцать.

— Я тоже сестер найду,— сказал Костя.— Ребята из части пишут, что наш командир в газету «Правда» письмо послал, чтобы помогли.

— Вот я грузин по национальности,— сказал дядя Шура,— а всю жизнь здесь прожил. Послушайте грузинскую песню.

— Я нашел тебе все учебники для пятого класса,— сказал я Косте тихо, когда пластинка заиграла.

— Молодец! — обрадовался Костя.

— Они, оказывается, в ящике лежали, на балконе.

— Слушайте музыку,— сказал дядя Шура.— Разговаривать потом будете.

Мы замолчали...

Дядя Шура ушел, прокрутив пластинок десять.

Мы помогли ему донести пластинки. Патефон он тащил сам и напевал себе под нос арию Каварадосси из оперы «Тоска». Уже совсем стемнело. Он шел впереди нас, слегка покачиваясь, и Костя боялся, что он уронит из рук патефон.

Ее окна были закрыты ставнями.

Когда мы возвращались с Костей, я сказал ему:

— Вот видишь эти окна, там живет моя девушка.

— Как ее зовут? — спросил Костя.

— Неля. Она старше меня на полгода.

— Бывает,— сказал Костя.

— А у тебя была когда-нибудь девушка?

— Разве до этого было? Война же...

— А я ее очень люблю,— сказал я.— По ночам все время о ней думаю.

— С нами служили девушки,— сказал Костя,— но они все взрослые были.

— Ничего, Костя,— успокоил я его,— война уже кончилась, началась мирная жизнь, так что у тебя тоже будет девушка.

— Да не в этом дело. Рано еще об этом думать,— ска-

зал Костя.— Мне сестер надо найти, учебу закончить, а дальше посмотрим...

— Насчет школы не волнуйся, я тебе помогать буду. За год два класса пройдем.

— Спасибо.

— Спать не хочется,— сказал я.— Может, погуляем еще?

— Поздно уже...

— Ты же обещал рассказать, как воевал.

— Долго рассказывать, за ночь не успею,— улыбнулся Костя.— Как-нибудь я тебе все расскажу.

— Костя, скажи, если она моя девушка — значит, я должен ее защищать?

— Не знаю,— улыбнулся Костя,— я в этих делах не очень понимаю.

— Но ведь он силу применяет.

— Кто?

— Пахан. Она не хочет с ним дружить, а он всех бьет. И пугает ее все время. Она мне сама жаловалась.

— Это тот, с мотоциклом, что ли?

— Да.

— А если он тебе товарищ, то почему же твою девушку обижает? — спросил Костя.

— Он еще не знает, что она моя. Об этом никто не знает. Только ты...

Мы подошли к дому.

— Совсем запутанная история,— улыбнулся Костя. Он замолчал, потому что в его окне горел свет.

Мы заглянули в окно. На столе лежала большая белая коробка, рядом консервные банки и несколько буханок хлеба. На канапе сидели два солдата.

— Ребята приехали.— Костя торопливо пожал мне руку.— Завтра поговорим.

— До свидания, Костя,— произнес я, наверное, очень грустным голосом, потому что он сказал:

— Да не вешай носа! В конце концов разберетесь в обстановке. Все же свои.

— До свидания,— сказал я.— Иди, Костя, ждут тебя.

Он пошел к воротам. Я тоже зашагал через пустырь.

— Элик,— он вдруг окликнул меня. Я оглянулся. Он стоял в воротах.— Элик,— сказал он,— ерунда все это. Выбрось из головы.

Я подошел к нему.

— Как же выбросить? — спросил я.— Я же люблю ее.

Он не знал, что сказать мне.

— Кто же должен ее защитить? — продолжал я.— Он же проходу ей не дает. А мне перед ней стыдно.

— Да,— сказал Костя.

Мы разошлись...

21 августа

Сегодня я проснулся очень поздно. Как будто чувствовал, что нужно накопить сил побольше. Наших я нашел на пляже.

Пахана среди них не было. Мотоцикла тоже. Хорек с Рафиком лежали рядом.

— Ты почему не пришел вчера, когда тебя звали? — спросил Хорек и почему-то усмехнулся.

— Я у бабушки был. А что случилось?

— Пахану не нравится твое поведение. Нарушаешь дисциплину. Жратву не приносишь. Сегодня опять не принес?

— Забыл...— Я действительно забыл про еду.— Завтра принесу сразу за три дня: и за вчера, и за сегодня, и за завтра.

— Принести надо,— согласился Хорек.— Но все равно будем решать твой вопрос.

— Решайте,— сказал я.— А где Пахан? Мне с ним поговорить надо.

— Он скоро придет.— Хорек усмехнулся.— Но очень занят будет.

— А чего ты улыбаешься все время? — спросил я.

— Настроение у меня хорошее.— Хорек опять усмехнулся и пошел купаться.

Рафик пошел за ним.

Юрка тоже был в воде. Я сел на песок и почувствовал, что у меня дрожат ноги. Я прямо видел, как они трясутся. Юрка заметил меня и вылез из воды.

— Понравились стихи? — спросил он после того, как мы поздоровались.

— Какие стихи?

— Я вчера стихи на столе у вас оставил. Зашел после работы, а тебя не было дома. Отец не сказал тебе?

— Я очень поздно пришел. Не видел его.

— Хорошие стихи,— сказал Юрка,— то, что нужно. Ей обязательно понравятся.

— А где ты их взял?

Юрка замялся.

— Сам написал,— признался он.— Я давно их пишу.

— Про любовь?

— И про любовь тоже есть, но мало.

— А про что?

— Про людей, про природу, труд. Ну, такие, как ты хотел. Хочешь, я тебе прочту?

— Сейчас не надо,— попросил я его.— А потом обязательно прочтешь... Я хочу с Паханом поговорить про Нелю.— Юрка вытаращил на меня глаза.— Чтобы он не приставал к ней. Она сама попросила меня об этом. Пусть, говорит, оставит меня в покое.

Юрка удивился еще больше.

— А она знает уже про тебя?

— Да, она все знает. Я ей сказал.

— Ты молодец! — обрадовался Юрка.— Я же говорил — надо брать на абордаж... А как это получилось? Ты прямо так и сказал ей про все?

— Она по почерку узнала. Письмо же у нее было.

— А-а? — Юрка даже подскочил от восторга.— Здорово получилось?

— Слушай, только ты пока не говори никому,— попросил я его.— Пока я с Паханом не поговорю.

— А ты обязательно хочешь с ним поговорить? — спросил Юрка.— Может, не надо? Он же... Сам понимаешь...

— Обязательно,— сказал я твердо.— Иначе я себя уважать не буду.

К нам подошел Рафик.

— А ты знаешь, где вчера была твоя Нелька? — спросил он у меня.

— Не твое это дело,— сказал я.— И отойди отсюда, я не хочу с тобой разговаривать.

— Она к Пахану на свидание ходила,— сказал Рафик.

— Врешь!

— А ты почитай, что на стенке рядом с каланчой написано.

Я посмотрел на Юрку.

— Я ничего не видел,— сказал Юрка.— Честное слово!

— Никто не видел,— сказал Рафик,— мне Хорек сказал. Они у каланчи сидели весь вечер. Гусик пел для них, а Хорек на «атанде» стоял.

— Врешь ты все! — сказал я.

— Сейчас сам увидишь... Он за ней поехал.

— Отойди отсюда,— сказал я, стараясь не заплакать.— Я же сказал тебе, отойди!

— Ты не слышишь, что ли? — спросил его Юрка.— Тебе же говорят.

Он отвел Рафика в сторону, что-то шепнул на ухо и вернулся ко мне.

— Все женщины склонны к измене,— сказал он, чтобы успокоить меня.— Ты знаешь, я не хотел тебе говорить, но сейчас скажу,— продолжал Юрка.— Я же тоже ее любил, но потом понял, что она не для меня. У них денег полно.

— При чем тут деньги? — сказал я.

Послышался треск мотоцикла. Потом он появился из-за горки и понесся к пляжу. Сперва мне показалось, что Пахан сидит на нем один и на заднем сиденье никого нет. Потом я увидел руки, которые держались за его рубашку, и начал молить сам не знаю кого, чтобы это была не она, а какая-нибудь другая девушка.

Но это была она. Они промчались мимо нас и остановились метрах в двадцати. Сперва слезла она, потом он. К ним подошел Хорек.

— Элик,— услышал я Юркин голос,— не обращай внимания. Она тебя не стоит.

— Юрка, но ведь она сама мне сказала,— прошептал я,— чтобы я защитил ее от Пахана.

— Пойдем домой,— попросил Юрка.— Что нам здесь сидеть?

— Нет,— сказал я,— я хочу, чтобы она меня увидела.

Я встал на ноги.

— Не надо,— умоляюще сказал Юрка.

Я оттолкнул его и пошел к мотоциклу. Юрка догнал меня и обхватил за плечи.

— Пусти! — крикнул я.— Я хочу с ней поговорить!

Я рванулся из его рук и оказался рядом с ними.

— Неля,— сказал я,— можно тебя на минуту?

Она не знала, что мне ответить. О Пахане я вспомнил только, когда она бросила на него испуганный взгляд.

— Отойди,— сказал он мне так, будто я мешаю ему пройти в дверь.

— Почему? — спросил я.— Я хочу поговорить с Нелей.

— А она не хочет с тобой говорить,— спокойно ответил Пахан.— Иди отсюда.

Я посмотрел на них. Все зависело от нее. Если бы она сказала, что согласна со мной поговорить, все могло бы

кончиться по-другому. А она смотрела в землю, разглядывала полосу, которую оставило на песке колесо мотоцикла.

— Неля,— спросил я,— ты не хочешь со мной поговорить?

Она бросила взгляд на меня, потом на него, а потом снова уставилась в эту полоску на песке.

Тогда он ударил меня. Я замахал руками в ответ, забыв даже сжать их в кулаки, но бил изо всех сил, надеясь хоть раз попасть ему по роже. Потом я упал. И он бил меня ногами. Я был в полном сознании, но почему-то не мог подняться; лежал на боку, прикрыв одной рукой голову, и понимал, что он бьет меня ногами, но боли не чувствовал. И ничего не слышал. Ни ее крика (Юрка сказал мне, что она кричала), ни ругани Пахана, ни звука ударов...

Потом они сели на мотоцикл и уехали.

Ребята подошли ко мне. Даже Хорек хотел помочь мне подняться с земли. Но я оттолкнул всех и пошел с пляжа...

На деревянной стене у каланчи я прочитал: «Аркадий — Неля. 20.8.45 г.» Это означало, что они действительно вчера сидели здесь, а Гусик пел им песни...

Дома никого не было. Я лег на свою кровать и заплакал.

Разбудила меня мама.

— Элик, что случилось? — спросила она.— Кто тебя побил?

Я увидел, что вся моя подушка, майка и даже брюки в крови...

Мама обняла меня.

— Мальчик мой, скажи мне, что у тебя стряслось? Кто тебя побил?

Я лежал, уткнувшись ей в колени, и молчал.

— Ты не знаешь этих людей,— сказал я наконец.— Они чужие.

— Как чужие? А где это произошло?

— На пляже.

— С кем ты был?

— Один.

— Элик, ты врешь! Ты что, не хочешь мне сказать правду?

— Нет,— сказал я.

Мама встала с кровати и вышла из комнаты. Я был

настолько без сил, что снова уснул. Наверное, у меня поднялась температура, раз я так легко засыпал.

Проснулся я от голоса за дверью и жужжания машинки. Это были папа и дядя Шура.

— Я так считаю,— говорил дядя Шура,— если я один и он один, то лучше нам стать одной семьей. Я пришел к вам за советом. Вы знаете меня двадцать лет и должны мне дать совет.

— Понимаешь, Шакро.— Папа иногда называл дядю Шуру его грузинским именем.— Это такое дело, что тут советом не поможешь. Надо поступать так, как велит сердце.

— Еще неизвестно, он согласится или нет,— сказал дядя Шура.

— Надо вам познакомиться поближе,— сказала мама.

— Это обязательно,— сказал дядя Шура.— Я вчера весь вечер был у него с вашим Эликом.

— Дети очень сложное дело, Шура,— сказала мама, тяжело вздохнув.— Ты берешь на себя большую ответственность.

— А где я еще найду такого мальчика? — спросил дядя Шура.— Потом всю жизнь буду жалеть. Если он согласится, то я счастлив буду.

— Да, мальчик хороший,— согласилась мама.

— Второго такого нету,— с гордостью сказал дядя Шура.

— Шуре нужен сын,— сказал папа маме.— Сколько он может жить один?..

— Конечно, нужен,— согласилась мама.— Но не так это все просто, как может показаться...

Она подошла к двери и плотно прикрыла ее. Их стало плохо слышно. Голова сильно болела и кружилась. Я закрыл глаза...

Когда я открыл их снова, рядом сидел Леня Любарский.

— Который час? — спросил я.

— Одиннадцать... Очень больно?

Я покачал головой.

— Они будут топить тебя,— сказал Леня, и по щекам его потекли слезы.— Хорек сказал всем, что тебя выгнали из отряда, и с завтрашнего дня все будут тебя топить.

— А чего ты плачешь? — сказал я.— Мне теперь все равно. Пусть топят.

Леня продолжал плакать.

— Не надо плакать,— попросил я и почувствовал, что у самого навертываются слезы.— Что ты плачешь?

Он обнял меня.

— Я тебя всегда буду помнить, Элик,— сказал он.— Всю жизнь... Ты настоящий человек...— Больше он ничего сказать не мог, только всхлипывал.

— А мне действительно все равно,— сказал я.— Я не вру... Я больше не боюсь их... пусть топят...

22 августа (записано 29 августа)

А ночью мне приснился сон, что мы катались все на яхтах. И даже Пахан с нами. И она тоже... Мы с ней сидели на отдельной яхте...

Я опять встал поздно, чтобы успели уйти на работу родители. Папа подходил к моей кровати утром, но я сделал вид, что сплю. Когда они ушли, я, не умываясь, подошел к окну.

Все были в сборе, делили еду у каланчи. Бедный Леня тоже был с ними.

Из ворот части вышел Костя. Он перешел пустырь и зашел в ворота своего двора.

Я посмотрел на себя в зеркало нашего трельяжа: лицо опухло от слез и ударов, верхняя губа была сильно разбита, на подбородке и на правом ухе осталась засохшая кровь. Когда я полотенцем вытирал ее, то увидел в зеркале, что рука моя движется спокойно и даже замедленно. Это мне понравилось. Я уже знал, как буду вести себя в дальнейшем, и поэтому мне нравилось, что я могу спокойно вытирать кровь со своего лица и не жалеть себя при этом. Мне нравилось, что моя рука в зеркале не дрожит от страха. Значит, я действительно не боюсь их больше...

Потом я вышел на пустырь. Они уже купались, вернее, сидели у бассейна и ждали меня. Сперва я подошел к деревянной стене у каланчи. Там прибавилась новая надпись: «Аркадий — Неля. 21.8.45 г.».

Я подошел к бассейну и начал раздеваться. Пахан подошел ко мне.

— Ты... гнида,— сказал он,— обманывал весь отряд и ходил к ней каждый день.

Я молчал.

— Получай,— сказал Пахан и ударил меня.

Я опять бросился на него.

Они столкнули меня в бассейн и начали топить. Я барахтался сколько мог, цепляясь за все, чего касалась моя рука, глотал то воздух, то воду и постепенно начал терять силы. Я не различал их лица и видел только ноги, которые толкали меня назад, в воду... Я старался ухватиться за них, чтобы не утонуть, но вдруг наступила такая усталость, что я не мог уже сделать ни одного движения и ничего не видел и не понимал.

Когда я пришел в себя, все почему-то сгрудились кучей рядом с бассейном, а я лежал почти совсем вытащенный из воды, раскинув руки и прижавшись лицом к земле; мои колени скользили в воде по мокрой стенке бассейна, пытаясь от чего-нибудь оттолкнуться. Я не мог понять, почему они больше не топят меня.

Вдруг они раздались в стороны и я увидел человека в военной форме, который дрался с кем-то. Я не мог разглядеть их лица, настолько все вокруг было мутным и расплывчатым, но сразу понял, что это Костя и Пахан.

Это действительно были они, хотя я и сейчас не могу поверить в то, что Пахан посмел поднять на него руку. «Это же сын полка! Он же воевал на фронте». Мне казалось, что я кричу эти слова Пахану, но на самом деле я лежал беззвучно и неподвижно, а Пахан бил Костю, потому что был сильнее и старше его. Костя сопротивлялся как мог, но я понимал, что это безнадежное сопротивление.

Я с трудом встал и, шатаясь, пошел в их сторону.

Пахан уже свалил Костю на землю. Он сам тоже упал и придавил Костю своим телом. Они продолжали наносить друг другу удары... Пахан бил сильно, обеими руками, откидываясь всем телом. Я видел его лицо. Оно стало совсем звериным. Костя лежал под ним и старался скинуть его с себя.

Я упал на них сверху. Не помню, что я делал: бил, кусал, царапался? Но я мог бы сделать все с Паханом за то, что он поднял руку на Костю. Он превратился для меня в фашиста, который бьет нашего бойца.

Я отлетал в сторону, падал, хватался за руки, висел на его ногах, снова падал...

Хорек попытался оттянуть меня в сторону, но я ударил его ногой, и он испугался. Остальные не вмешивались.

Мы повалили Пахана и придавили к земле.

Он изворачивался как мог, чтобы сбросить нас с себя.

А мы лежали на нем, тяжело дыша, не зная, что делать дальше.

— Лежи тихо,— сказал ему Костя,— а то свяжем тебя...

Пахан продолжал вырываться. Он, как и мы, сильно устал, но дергался не переставая.

— Пусти его,— вдруг сказал мне Костя.

Мы поднялись на ноги. Пахан тоже. Мы стояли в двух метрах, покачиваясь от усталости и готовые снова броситься друг на друга.

— Может, хватит?! — сказал Костя.

Пахан смотрел на нас с ненавистью. Меня тошнило. Я еле держался на ногах. Если бы он напал на нас еще раз, я бы не смог даже рукой пошевелить.

— Пошли,— сказал мне Костя.— Нечего тебе тут делать.— Он повернулся и пошел к своему дому.

Я пошел за ним. Через несколько шагов я оглянулся. Пахан стоял на том же месте, сжав кулаки. Остальные смотрели на него, ждали, что же он сделает. Они, как и я, знали, что он обязательно что-то сделает. Никогда он не потерпит, чтобы на глазах ребят все так кончилось. Я был уверен, когда шел за Костей, что Пахан опять нападет на нас. Но топота сзади не было, и это немного успокоило меня.

Я шел вслед за Костей, пока не услышал крика Лени. Мы обернулись одновременно — Костя и я — и увидели, что Пахан стоит на том же месте. Я ничего не мог понять.

— Элик,— услышал я крик Лени,— у него револьвер!

И только тогда я увидел, что Пахан что-то держит в руке.

— Негодный, наверное,— сказал я.

И тут же раздался выстрел. Упал Костя. Они бросились врассыпную. Пахан побежал к оврагу.

Я щупал тело Кости и не мог понять, куда попала пуля. На мокрой от пота гимнастерке кровь проступила не сразу. И только после того как проступила кровь, я увидел, что пуля попала ему в грудь.

Костя открыл глаза.

— Это револьвер милиционера,— сказал я, как будто сейчас имело значение, из какого револьвера его ранили.

Нас окружили люди. Подняли Костю на руки. Понесли. Я пошел вслед за ними.

Его увезли в больницу. Меня в машину не взяли...

Через час меня допрашивал следователь. Он сидел за столом управдома в его подвале.

— Ты знал, что у Аркадия Резчикова есть револьвер?

— Нет.

— За что они тебя топили?

— Пахан приказал.

— За что?

Я молчал.

— Бандит тяжело ранил твоего товарища, а ты молчишь,— сказал следователь.— Ты что, не понимаешь, что этот Пахан бандит. Он же связан со взрослыми уголовниками. Ты знаешь, что мотоцикл, на котором вы все катались, краденый?

— Нет.

— Краденый... А револьвер, из которого он стрелял,— личное оружие старшины милиции. Преступники совершили на него покушение на вашем пустыре и украли револьвер. А теперь, оказывается, это сделал Пахан или его взрослые дружки... Так за что он приказал тебя топить?

— Из-за одной девочки.

— Какой девочки?

— Нели Адамовой.

— А какое она к тебе имеет отношение?

— Никакого.

— А к Резчикову?

— Она ему нравится.

— А тебе?

— Тоже.

— Понятно,— сказал следователь.— Ну ладно, иди. Только будь дома, можешь еще понадобиться.

Я вышел в коридор. На скамейке вдоль стены сидели все члены нашего отряда. Они вскочили на ноги и окружили меня.

— Ты сказал ему, что мы не дрались с вами? — спросил Гусик.

Хорек и остальные испуганно ждали моего ответа.

Я молчал. Тогда они заговорили все сразу, перебивая друг друга:

— Откуда мы знали, что у него револьвер?

— Мы не дрались! Он один с вами дрался.

— Нам что говорили, мы то и делали.

— Он нас тоже бил.

— Мы боялись Пахана.

Они пытались доказать мне, что ни в чем не виноваты. Один Леня сидел спокойно.

— Не бойтесь,— сказал я.— Ничего вам не будет... Дайте пройти...

У двери меня догнал Хорек. Он боялся больше всех.

— Элик,— сказал он,— ты сказал следователю, что я вместе с тобой помог Лене. Помнишь, ты приходил ко мне...

Я ничего не ответил ему и вышел на улицу...

В больницу меня не пустили.

— Нельзя, мальчик,— сказала мне дежурная.— Потом придешь, когда полегче ему станет...

А через неделю его из больницы перевезли в военный госпиталь, а оттуда повезли в часть, к боевым друзьям. Я так и не увидел его больше.

29 августа

Сегодня за Костиными вещами приехала машина из части. Управдом открыл дверь, и усатый сержант, фотография которого висела у Кости на стене, собрал в вещмешок его пожитки и отнес в машину. Вокруг стояли наши соседи, все, кто был дома, и взрослые и дети. Я хотел помочь сержанту, но он оттолкнул меня.

— Полвойны прошел человек, ни одной царапины не получил, а вы тут чуть не загубили его...

Он положил мешок на заднее сиденье, сел рядом с водителем, и машина, рванув с места, уехала, оставив меня посреди пустыря.

Я пошел домой. Наверное, я шел очень медленно, потому что, когда услышал свое имя и обернулся, взрослых на пустыре уже не было, за мной, растянувшись в цепочку, плелась вся наша бывшая компания...

г. Баку

ЭЛЬЧИН

(Род. в 1942 г.)

СЕРЕБРИСТЫЙ ФУРГОН

(История одной встречи)

— Надо, чтобы повезло!.. Бывает, парень и девчонка и живут-то в разных районах, и встретятся бог весть где, а вдруг оказывается, будто они как нарочно друг для друга рождены...

(Из высказываний Баладжаханум, жены мясника Аганаджафа, когда она, лузгая семечки, беседовала с молоденькими девчатами у ворот.)

— А мне только одно и нужно, чтобы Мамедага был счастлив!

(Эти слова Али сказал Самедулле в тот вечер, когда была свадьба Ядуллы и Фатьмы и кларнет Алекпера заливался так, что ноги сами пускались в пляс.)

— У меня не получилось, пусть же хоть Месмеханум будет счастлива!!

(Так подумала Гюльдесте, глядя на белевший в ночи снег из окна поезда, мчавшегося в Воронеж.)

Это был странный вечер. Нет, на Апшероне таких вечеров сколько угодно было и еще будет, но когда из-за алюминиевого фургона вдруг вышло ярко-красное кучевое облако, Мамедага подумал, что вечер сегодня какой-то удивительный, хотя и сам не понял, чему тут удивляться. И тогда он удивился своей мысли, прищурил глаза и некоторое время смотрел снизу вверх на ярко-красное облако, потом, задумчиво проведя ладонью по голове, взглянул на

море, но все равно ничего не понял — ни в себе, ни в этом облаке.

А удивительный летний вечер только еще начинался, еще должно было пройти какое-то время, прежде чем окончательно закатится солнце, ярко-красным раскрасившее облако за алюминиевым фургоном, взойдет луна, зажгутся звезды, заквакают лягушки и застрекочут во всю мочь кузнечики, погаснут огни во всем селе — только не в пансионате и санатории, расположившихся выше, среди загульбинских скал, пролетит и исчезнет сигнал электрички, идущей в Баку и обратно,— словом, кончится этот удивительный вечер и начнется на морском берегу Загульбы обычная летняя ночь.

А пока что луна, уже успевшая появиться, выкрасила море, ставшее теперь сине-красным, и оно сверкало, переливалось от самого горизонта до берега. Но Мамедага повидал таких летних вечеров на Апшероне немало, и в самом одновременном явлении луны и солнца на небе для него не было ровно ничего непривычного или странного.

Если бы Мамедага захотел, он мог бы устроиться в любом тире в центре Баку. В управлении его все знали и уважали: ведь каждую неделю он, как у них говорится, «привозил план» и не имел не только что выговора — даже замечания; он мог ходить с высоко поднятой головой. Однако Мамедага не хотел работать в столичном тире, ибо был он влюблен в свой фургон, в свою бродячую жизнь. Раз в неделю он отправлялся в Баку, сдавал выручку, выходной проводил дома, а потом снова в путь. Не было села на Апшероне, где бы он не побывал. В каждом селе он останавливался на день, самое большее на два; он не любил задерживаться дольше, потому что хотел, чтобы появление его фургона воспринималось как праздник.

На этой неделе он из Баку выехал в Хурдалан, оттуда — в Дукях, в Мамедли, потом в Фатмаи, из Фатмаи приехал сюда, в Загульбу, в этот удивительный вечер, а завтра рано утром он должен возвращаться в Баку.

После восьми или половины девятого вечера в тир уже никто из села не приходил, потому что в это время показывали фильмы и Мамедага тоже, закрыв тир, шел в кино, но чаще по вечерам он занимался своим фургоном: мыл, чистил, осматривал мотор, а потом ходил купаться в море.

Он любил смотреть с моря на стоявший на берегу фур-

гон. Каждый раз, глядя на чистую алюминиевую поверхность фургона и выведенные на нем большими разноцветными буквами призывы, он испытывал желание похвастаться своим тиром перед всем миром. Но море смывало хвастовство, оставляя одну только чистую радость; так оно промывает раковину, доводя ее до зеркального блеска, и в этой радости Мамедага купался как в море. Конечно, он понимал, что иметь в наше время такой фургон и разукрашивать его — не слишком большое дело, но почему-то каждый раз, глядя на него и перечитывая надписи, он поддавался чувству безмерного восторга. На боках фургона были выведены два одинаковых призыва: «Учись искусству метко стрелять!» и «Юноши и девушки! Овладевайте техническими видами спорта!»

А перед входом в фургон под надписью «Пневматический тир» было выведено тоже разноцветными буквами: «Можно ли одним выстрелом убить двух зайцев? — Можно!»

Текст Мамедага придумал и написал сам, но это не было лишь красивой фразой для завлечения клиентов. Мамедага вообще никогда и никого не обманывал. Он сделал забавный механизм: на груди у деревянного зайца была красная точка, и, когда пуля попадала в эту точку, заяц падал направо, а прикрепленный сзади него второй заяц — налево.

Но случилось так, что, плавая в море в эту удивительную летнюю ночь, Мамедага вовсе не испытал того постоянного чувства радости, которое обычно вызывал в нем фургон, стоящий на берегу.

Позже, осматривая одну за другой бумажные мишени, деревянных зайцев, лису, медведя, льва и еще какого-то неведомого зверя, а также и сложенную из банок пирамиду, Мамедага почувствовал, как тоска подступила к горлу; за время работы в тире это происходило с ним впервые, и сразу же фургон показался ему тесным и скучным; он никак не мог понять, отчего это произошло и почему эта тоска нахлынула так внезапно. Зарядив одну из винтовок, он поднял приклад и, прищурив глаз, выстрелил; как всегда, он попал в десятку; потом с удивившим его самого безразличием (да что же это такое с ним?) перемахнул через стойку, взял щипцы и вытянул из резины железную пулю с щеточкой, затем, снова перешагнув через стойку, подошел к дверям фургона.

Он смотрел на огни села, и вдруг одна очень простая

мысль потрясла его: если сейчас здесь с ним что-нибудь случится, то никто об этом не узнает, пройдет время — этот фургон пригонит сюда кто-нибудь другой и люди снова придут сюда поразвлечься, но никто из них и не вспомнит, что был на свете такой парень по имени Мамедага, который очень любил и этот фургон, и этот песок, и это море. Мамедага посмотрел на свет, идущий от села, и ему показалось, что, хотя целый день с утра до вечера он с людьми, на самом же деле он совершенно одинок,— с этими своими деревянными зайцами, лисой, медведем, львом и неведомым зверем. Мамедага никогда не задумывался над такими вещами и не знал, что придет время — подобные мысли появятся...

Послышались чьи-то шаги, и по глухому кашлю человека Мамедага понял, что идет милиционер Сафар. Войдя в фургон, Сафар сказал:

— Добрый вечер, гага.— И, вытащив платок, вытер свое худое, с выступающими скулами, потное лицо.

— Добрый вечер, Сафар,— ответил Мамедага, еще не пришедший в себя от своих недавних мыслей. Снова перемахнув через стойку, он сел на деревянную скамейку, покрытую маленькой подушечкой, верх которой был искусно сшит из лоскутков Сакиной-хала,— это подушечка была для Мамедаги самой дорогой вещицей во всем фургоне.

— Да какой же я Сафар[1], а?.. Зовут-то меня Сафар, а я только раз в жизни совершил путешествие, спустился вон с тех гор сюда, и все! — Сафар поднял руку над головой, как бы показывая те самые горы, которые можно увидеть, выйдя из фургона.

Прошло уже тридцать лет с тех пор, как милиционер Сафар расстался с горами Лачина. Но тоска по этим местам ни во сне, ни наяву не покидала его; каждый год собирался он поехать туда, но каждый раз что-нибудь да мешало. Конечно, если бы его жене Зибейде захотелось, то он бы сейчас гулял не здесь, а там!

В квартале, где жил Мамедага, тоже были такие «путешественники». Это были люди, приехавшие в Баку из районов; одни из них получали от государства освободившиеся квартиры, другие покупали себе дома. Приезжие ни с кем не сближались и, как правило, чувствовали себя чужими в квартале, а квартал не забывал тех, кто жил в

[1] Сафар — путешественник.

этих домах прежде. Старые жители получали квартиры в новых домах, они переезжали, но какое-то время поддерживали связь с кварталом, и, хотя постепенно все связи прерывались, все-таки квартал держал их в своей памяти. Это было похоже на историю со старыми и новыми деньгами: в обиход уже вошли новые, но если нужно было подсчитать особенно тщательно, люди невольно переходили на старые.

Приезжих называли по местности, из которой они прибыли: карабахские, гянджинские, шемаханские; любопытно, что приезжие между собой тоже не очень-то сближались, словно между ними проходили невидимые границы их районов.

Агабаджи поселилась в квартале с незапамятных времен, а после того как Абдул бросил ее с детьми, она работала кассиршей в Желтой бане. Теперь Агабаджи возмущалась:

— Видели вы этих карабахских? Везери они не едят... Говорят, эта трава не для людей... Тоже мне, умники нашлись!

Жена ювелира Алашрафа Зиба вторила ей:

— Конечно, нашла о чем говорить, цену золота знает только ювелир! Правду говорят: откуда ишаку знать, что такое плов с шафраном?..

— Э-э, ей-богу, ну не понимаю я этих бакинских!.. Каждый день с утра до вечера варят кюфта-бозбаш. Утром, только проснешься, уже слышишь тук-тук,— это они на доске рубят мясо, ночью ложишься спать — и опять тук-тук, опять мясо рубят!

Это уже рассуждает Аллахверди, который продал дом в Барде, переселился со всей семьей в Баку и теперь учится на курсах водителей трамвая.

А окончивший еще до революции Харьковский университет преподаватель русского языка Алхасбек, глядя поверх очков со стеклами плюс восемь, говорил:

— Сынок, что это за слова такие: «карабахские», «бакинские»? Что за «чушки» и «хамшари»? Как не стыдно? Зачем вы друг другу ярлыки приклеиваете, зачем относитесь друг к другу с таким неуважением?..

Конечно, милиционер Сафар не знал, о чем сейчас вспомнил Мамедага, но, вытерев пот с лица и обмахиваясь уже мокрым платком, он сказал, обращаясь к Мамедаге:

— Гага, у одного человека спросили: «Откуда ты?» Он ответил: «Я еще не женат». Это верно, но проклятые горы

никак не выходят из головы! Не выходят из головы, и все тут!.. Попасть бы туда сейчас, гага, клянусь тобой! Надо только надеть шерстяной джемпер, а пиджак застегнуть, не то зуб на зуб не попадет от холода, да еще крепкого чая выпить цвета петушиного гребешка, чтобы сразу и тело согрелось, и душа насладилась.

Когда разговор дошел до чая, милиционер Сафар совсем расстроился:

— Здешний чай — разве чай?.. Сколько ни сыпь заварки, каким способом его ни заваривай, все равно того вкуса не получится... А знаешь, отчего это, гага? От воды! Вода, которая из-под скал,— это совсем другое дело, гага!

Милиционер Сафар снял фуражку и вытер свою давно полысевшую голову. Солнце до черноты опалило его лицо, но часть головы, постоянно закрытая фуражкой, осталась белой; она была похожа на белую кясу, которую перевернули вверх дном и надели ему на голову.

— Клянусь тобой, гага, этого чая я бы выпил сейчас стаканов двадцать, и не скажу, чтобы напился... Хорошо бы самовар поставить и чтобы на нем чайник мурлыкал!..

Милиционер Сафар, очевидно, страдал оттого, что не может сию же минуту выпить чая цвета петушиного гребешка, настоянного на горной воде. Мамедагу же чай в данный момент интересовал меньше всего на свете; он все еще находился во власти своих тоскливых мыслей и не мог понять, что с ним происходит, откуда эти мысли: быть может, он уже начинает чувствовать бремя своих лет? Неужели возраст дает о себе знать?.. Он перевел взгляд с белой головы милиционера Сафара на деревянного зайца, лису, медведя, неведомого зверя и почувствовал, как в нем просыпается прежнее желание, мечта, которую он носил в своем сердце уже два года, с которой колесил по дорогам Апшерона.

Два года назад в Баку на бульваре открылась выставка американских аттракционов, и с того самого дня, как Мамедага побывал на выставке, одна мечта не оставляла его: захотелось ему ездить по селам не с одним своим алюминиевым фургоном, но и возить с собой такой вот аттракцион, нечто вроде передвижного цирка. Пусть американским миллионерам все эти разноцветные игрушки и машины нужны лишь для того, чтобы убить время, для детей и подростков Апшерона это было бы праздником; каждую неделю в очередное село приезжал бы этот праздник; так думал Мамедага, и вдруг именно теперь ему показалось,

что, если бы у него был такой аттракцион, он не только не затосковал бы, у него не было бы времени и в затылке почесать!

Милиционер Сафар наконец надел на голову фуражку.

— Вот так-то, гага,— сказал он,— зовут меня Сафар, а путешествовал я лишь раз в жизни...

И тут же он вспомнил, что сегодня утром, когда он во дворе зубным порошком доводил до блеска свои форменные пуговицы, его жена Зибейда на что-то разозлилась и сказала, что он не Сафар, а сафех. Почему Зибейда разозлилась, этого милиционер Сафар вспомнить не мог и улыбнулся: он привык к выходкам Зибейды и уже давно на нее не сердился. Потом Сафар вспомнил, что Зибейда вышла из себя, кажется, из-за Начальника. И тут милиционер Сафар явно расстроился; шлепнув севшего ему на плечо комара и почистив рубашку, он сказал:

— Правильно говорят: где твоя цель, туда и путь твой.— Посмотрел на Мамедагу и улыбнулся.— Ты еще молод, чтобы понимать такие вещи.

Конечно, Мамедага не знал, о чем подумал милиционер Сафар, но зато он хорошо знал, что этот худой долговязый человек никогда больше не увидит своих гор и никогда больше не выпьет чая цвета петушиного гребешка, заваренного в горной воде. Неизвестно, почему Мамедага так решил, должно быть, весь вид милиционера Сафара говорил сам за себя.

Мамедага не знал и того, что у милиционера Сафара два начальника: один, естественно, в отделении, а другой — дома. Дело в том, что у милиционера Сафара было шесть дочерей и один сын; сын был последним ребенком в семье, и, когда он родился, Сафар и Зибейда впервые в жизни договорились: назвали ребенка Начальником. Дети, конечно, смеялись потом над именем их сына, и тот приходил домой в слезах: зачем только его так назвали! Зибейда обвиняла теперь во всем милиционера Сафара, хотя когда-то и сама была довольна. Вот отчего и поселилась грусть в сердце милиционера Сафара: он понял, что Зибейда хотела назвать своего мальчика этим именем, потому что знала — муж ее никогда не будет начальником.

Милиционер Сафар не переживал и теперь, что дал ребенку такое имя, во-первых, потому, что не имя красит человека, а человек красит имя; во-вторых, ведь это не какое-нибудь ругательное слово! Чтобы оправдать свое имя, Начальник должен был бы постараться хорошо учиться,

но все было наоборот — вот это действительно расстраивало милиционера Сафара и, кстати, было причиной его прихода в этот вечерний час к фургону.

Милиционер Сафар снова снял фуражку, вытер мокрым платком белую голову, потом длинными черными пальцами вытащил из старого портсигара папиросу «Памир», зажег ее, глубоко затянулся и сказал:

— На свет летят, э, гага, эти сукины дети комары на свет летят. Я сейчас ухожу, а ты погаси свет.

Мамедага посмотрел на электрическую лампу, висевшую в салоне фургона. Двухсотваттная лампа, которую Мамедага протирал чуть ли не ежедневно, так ярко освещала фургон, что казалось, будто свет не вмещается в небольшое помещение тира. Мамедага вдруг ощутил всю тесноту своего фургона, сердце его сжалось, и он принял категорическое решение завтра же поднять вопрос в управлении об аттракционе. Если понадобится, он пойдет к Наджафу и вообще начнет действовать!

Раньше Наджаф жил в одном квартале с Мамедагой, он был старше его всего на четыре года, но работал теперь заместителем министра. Кто бы из квартала ни приходил к Наджафу с просьбой, он делал все, что было в его силах. Воспоминание о Наджафе немного рассеяло Мамедагу, он заметил пустую кобуру милиционера Сафара,— милиционер Сафар каждый день перед выходом из дома на работу заворачивал в газету свой завтрак, хлеб с сыром, и клал в кобуру. Мамедага пододвинул ему по стойке ружье и предложил:

— Если хочешь — стреляй.

Милиционер Сафар шлепнул комара, севшего теперь уже на шею, обтерся мокрым платком, сказал:

— Нет, гага, большое спасибо. Я не люблю бить и стрелять. Мое правило — решать все вопросы мирно, спокойно... Знаешь, гага, зачем я к тебе пришел? — Милиционер Сафар наконец решился перейти к самой сути.— Не пускай ты сюда моего сына! Как придет — гони его!

— Он что, тайком брал у тебя деньги на тир?

— Да нет, скажешь тоже... Разве станет мой сын воровать? Неужели ты его не знаешь?

— Нет.

— Вот потому и говоришь так... Дело в другом, гага. Позавчера я спрашиваю его: «Ты уже взрослый парень, перешел в восьмой класс, должен знать, кем хочешь стать». А он отвечает: «Я знаю».— «Так кем же ты бу-

дешь?» Он и говорит: «У меня будет фургон, и я буду по селам возить тир...»

Мамедага посмотрел на горестное лицо Сафара, на его промокшую от пота рубашку со сверкающими металлическими пуговицами, встал, перемахнул через стойку и, подойдя к двери фургона, взглянул на огни села. Ему показалось странным, что рано утром он уже уедет отсюда и не скоро еще приедет снова, а какой-то совершенно другой человек завтра же, купаясь в море, будет представлять в своем воображении сверкающий под солнцем алюминиевый фургон и в мечтах будет считать его своим, будет гордиться им... Огни села вдруг показались ему близкими, они согревали душу, и он подумал, что в каждом селе Апшерона, когда гаснут огни, кто-то еще не спит и у кого-то перед глазами стоит серебристый фургон, тот самый, который принадлежит ему, Мамедаге. Он поднял голову и посмотрел на небо. Красное облако растаяло, нигде уже не было видно его отсвета, ни в море, ни на горизонте.

Взошла луна, зажглись звезды, слабый норд выплескивал на берег волны, их гребешки отливали в лунном свете молочной белизной, той молочной белизной, которая словно бы воплощала в себе всю чистоту этой удивительной летней ночи. Мамедага совсем уже не мог теперь понять, отчего это минут десять назад ему было так тоскливо? Если есть на свете вот такая молочная белизна, то о чем можно тосковать и о чем может болеть сердце?!

Милиционер Сафар никогда никого не обижал. Но теперь, глядя со спины на темные волосы парня, на его широкие плечи, мускулистые руки, он подумал, что сказал что-то не совсем то, чем-то задел этого парня. Но ведь и парень, со своей стороны, должен его понять! Милиционер Сафар аккуратно сложил свой мокрый платок, положил его в карман, достал из старого портсигара своими длинными черными пальцами еще одну папиросу «Памир», зажег ее, глубоко затянулся и сказал:

— Знаешь, гага, ты зря обижаешься. Что я сказал? Ничего плохого... Я просто хочу, чтобы мой единственный сын хорошо учился, вырос, стал большим человеком.

...Приезжая в Баку, Мамедага ставил фургон у своего дома колесами на тротуар, и тут же со всего квартала сбегались к нему ребятишки. И никто из них не подозревал, что в свое время и Мамедага так же вот прыгал перед машинами, останавливающимися в квартале, хотя машины

эти, полуторки и «виллисы», по сравнению с его алюминиевым фургоном были все равно что старый барабан рядом с новой нагарой. Первым делом Мамедага шел в Желтую баню, где начинал с терщика Джабара. Натеревшись как следует, он двигался в парную, там парился в свое удовольствие, а выйдя из бани, выпивал кружку холодного пива в будке Асадуллы. Дома надевал чистую рубашку, новый костюм, повязывал галстук и шел на улицу к тутовому дереву, что растет в начале тупика. Там к нему подходили товарищи, соседи по кварталу, здоровались, спрашивали, как дела, рассказывали Мамедаге все новости: кто обручен, какую девушку согласились выдать замуж, кто поменял работу, кто поругался с соседями, кто с кем помирился и кто на кого обиделся. Но о главных новостях он узнавал еще дома. Когда его приглашали на свадьбу, то пригласительный билет вручали Сакине-хала. Мамедага всегда старался так распределить свое рабочее время, чтобы суметь прийти на свадьбу, иначе тут же начинались пересуды, чего Мамедага крайне не любил. Когда же все-таки прийти не было совсем никакой возможности, он заранее приносил свой подарок и поздравления. Оставаясь в Баку каждое воскресенье, он то ходил на поминки и выражал соболезнование, то приносил извинения. В квартале все любили Мамедагу, а молодые его уважали. Мнение квартала было единодушным: «Мамедага — настоящий мужчина!»

Сакина-хала тоже была довольна своим сыном. В прошлом году Мамедага по-шахски выдал замуж свою сестру. Теперь у Солмаз был хороший дом, семья, да и в мужья хороший человек попался. И все-таки Мамедага вызывал постоянное беспокойство у Сакины-хала. Во-первых, Сакина-хала волновалась за сына, когда он бывал в отъезде, а во-вторых, время шло, а Мамедага никак не женился. Сакина-хала прочила ему лучших девушек квартала, но Мамедага не только думать, но и разговаривать об этом не хотел. Сакина-хала знала, что, если сын скажет «да», она приведет ему в жены самую достойную девушку квартала из самой почитаемой семьи. Даже их сосед, управдом Керим, несколько раз намекал, что зря, дескать, Мамедага ходит холостым. А у управдома Керима дочка — украшение всего квартала; днем она работает в библиотеке, вечером учится в институте...

В эту удивительную летнюю ночь Мамедага вдруг вспомнил свой квартал, дом, тутовое дерево перед Узким

тупиком, и почему-то ему показалось, что его отделяют от дома не два часа езды, а долгие дни дороги; ему показалось, что квартал его и снежные горы милиционера Сафара очень-очень далеки от песчаного морского берега Загульбы. И, обращаясь к Сафару, который давно уже раскаивался в сказанном и, прислонившись к стойке, стоял, смущенно обмахиваясь фуражкой, Мамедага спросил:

— Так ты говоришь, хорошо сейчас в горах?

Лицо Сафара просияло: так просто и легко было исчерпано это тягостное недоразумение между ними. Он с радостью воскликнул:

— Клянусь тобой, гага, там сейчас такая красотища! Ну просто слов нет!..

Помолчав немного, он сказал совсем иным, будничным и служебным голосом:

— Кажется, к тебе клиенты идут.

И привычным движением руки надел фуражку на голову. Всматриваясь через дверь в людей, подходивших к фургону, милиционер Сафар явно помрачнел.

— Паршивец такой, опять, кажется, напился...

И тотчас в фургон поднялись двое — толстый и худой, распространяя вокруг себя резкий запах спиртного.

Увидев перед собой толстого парня, Мамедага сразу же узнал его. А Мирзоппа, косо взглянув в сторону милиционера Сафара, равнодушно посмотрел на Мамедагу, на деревянного зайца, лису, медведя, льва, неведомого зверя и вдруг рассмеялся:

— Шикарно живете!

Он вытащил из кармана мятую пятерку и шлепнул ею по стойке.

— Пятьдесят пуль! Стреляем до утра!

Приятель толстого, худой парень, проголосовал обеими руками за это предложение:

— Постреляем!

Мамедаге стало ясно, что Мирзоппа его не узнал, но не это было важно сейчас, а то, что Мирзоппа пьян; поскольку речь шла о ружьях с пулями, хотя это пули для тира, со щеточкой, то будь на месте Мирзоппы родной брат Мамедаги, он и ему не позволил бы стрелять в пьяном виде.

Прищурив набухшие веки, Мирзоппа посмотрел на деревянного зайца и громко рассмеялся.

— Да здесь и вправду шикарно! И чего мы до сих пор сюда не заходили?

Мирзоппа взглянул на худого, и худой снова поднял обе руки вверх и снова ответил кратко:

— Постреляем!

— Дай-ка нам, брат, ружье, но чтоб оно стреляло без обмана! — сказал Мамедаге Мирзоппа.

Конечно, в другое время сказавший такие слова Мамедаге вылетел бы из тира, как пуля со щеточкой вылетает из ружья. Но Мамедага умел держать себя в руках, когда надо пропустить мимо ушей обидное слово. И сейчас, глядя прямо в жирные глазки Мирзоппы, он спокойно ответил:

— Постреляете в другой раз. Я уже закрыл тир.

— Что это он сказал? — Мирзоппа взглянул на худого, мол, что за глупости нам говорят! — Давай живее ружья и пули!

Худой был в состоянии только еще раз поднять руки и крикнуть:

— Постреляем!

— Не постреляете! — сказал милиционер Сафар.

— А ты заткнись! — бросил Мирзоппа милиционеру Сафару и провел рукой по горлу.— Я тобой сыт во как! Куда ни пойду, всюду прешься за мной. Отвяжись!

Милиционер Сафар фуражкой отмахивался от запаха водки, заполнившего фургон.

— Эх, Мирзоппа, не желаешь ты быть человеком! — сказал он.— На ногах ведь не стоишь, где уж тебе стрелять.

Мирзоппа достал из кармана еще одну мятую пятирублевку и шваркнул ею о стойку.

— Деньги плачу! Сто пуль давай!

Худой снова промитинговал руками и выкрикнул свой лозунг:

— Постреляем!

— Не постреляете,— повторил милиционер Сафар.

Мирзоппа почесал свою жирную волосатую грудь, выпиравшую из расстегнутой рубашки, и хмуро пробурчал:

— Разве я не сказал тебе — отвяжись? Чего тебе надо, а? Денег не хватает — могу дать!

Удивительный характер у Мирзоппы — сказать самое обидное для человека. От злости милиционер Сафар даже охрип.

— Я за всю свою жизнь не съел и крошки хлеба, добытого нечестным путем! За всю жизнь я ни разу даже

краешком глаза не заглядывал в чужой карман. Я всегда был честным, жил по правде и буду так жить всегда.

Мирзоппа с ненавистью смерил милиционера Сафара с ног до головы.

— То-то ты так и живешь!

Милиционер Сафар, надев фуражку, подошел к Мирзоппе вплотную.

— Как я живу, ну? Как живу?!

Мирзоппа, не отвечая ему, обернулся к Мамедаге.

— Быстро! Каждому ружье и сто пуль!

Мамедага никогда не предполагал, что однажды, да еще в такую удивительную летнюю ночь, он снова встретится с Мирзоппой. Сейчас ему казалось, что он совершенно забыл о Мирзоппе и, если бы не увидел его теперь, может быть, никогда бы и не вспомнил. Мамедага молча глядел на толстого парня.

— Ну, в чем дело, а? — Прищурив один глаз, Мирзоппа внимательно осмотрел Мамедагу и узнал его.— Ты не Мамедага?

— Мамедага...

...Отец Мирзоппы Алиаббас-киши был кирщик, и всю их семью называли кирщиками. Большой котел для варки кира стоял на улице перед домом, где жил Мирзоппа, и до наступления осени котел медленно передвигался от дома к дому вдоль квартала: Алиаббас-киши заливал крыши всех домов киром. И если почему-либо большого котла нигде не было видно, то всем казалось, будто в квартале чего-то не хватало, что-то было явно не так.

Мирзоппа вечно был окружен ребятишками младше его на несколько лет, и они, конечно, ему повиновались. Никто, впрочем, не знал точно, сколько Мирзоппе лет, и ребят дома иногда стращали:

— Видишь, Мирзоппа курит папиросы, потому и не растет. Кто курит, тот обязательно будет таким же толстым, как Мирзоппа, и не будет расти. Таким он останется до самой смерти!

Никто из ребят не хотел быть похожим на Мирзоппу: многие его боялись, но не было таких, которым бы он нравился. Он первым среди ребят закурил и первым заговорил о женщинах.

Семья Мирзоппы жила в нижней части квартала, рядом с маленьким летним кинотеатром. Как-то летом в этом кинотеатре три месяца подряд ежедневно крутили фильм о Тарзане. Проснувшись утром, ребята тут же бежали в

очередь за билетами. Перед кинотеатром появилась толпа спекулянтов. И в то лето некоторые, особо энергичные из них, спекулируя билетами, набрали денег на «Победу». А у ребят не всегда хватало на билет, и они лезли на крышу дома Мирзоппы, чтобы смотреть кино оттуда, и за это Мирзоппа собирал с них по двадцать копеек с каждого.

Мирзоппа разговаривал высокомерно, заставлял ребят работать на себя, а сам прислуживал взрослым. Мамедагу он не любил, потому что хотел, да не мог послать его ни за папиросами, ни за дровами для разжигания огня под котлом. Пару раз в укромном месте Мирзоппа дрался с ним; ни тот, ни другой по-настоящему не победили, только Мирзоппа все равно ходил как победитель и вел себя как победитель.

Но однажды все переменилось.

В тот день Мирзоппа, сидя на тротуаре перед своим домом, ел селедку с черным хлебом и тихонько напевал про себя:

И «Победе» я не рад:
У Тарзана горе,
Джейн обрезала канат,
Я с ней в ссоре.

Мамедага, купив в керосиновой лавке керосину, нес его домой и, проходя мимо Мирзоппы, не удержавшись, остановился.

В те годы в доме Мамедаги часто бывала шекербура, пахлава, шекерчурек. Сакина-хала работала на кондитерской фабрике, где раз в два-три дня им выделяли сладкий паек, зато других продуктов в доме почти не было, а селедкой вообще никогда и не пахло — Сакина-хала не любила запаха селедки.

Конечно, Мирзоппа сразу смекнул, что у Мамедаги слюнки потекут при виде селедки,— Мирзоппа потому и был Мирзоппой, что знал, чем и в какой момент раздразнить человека.

— Мировая селедка! — Мирзоппа, причмокивая, сосал рыбий хвост.— Хочешь?

Мамедага понимал, что Мирзоппа так просто никогда не угощает, но не удержался и сказал:

— Да, хочу.

— Деньги с собой есть?

Когда Мамедага покупал керосин, ему дали сдачу, и эта мелочь лежала сейчас в нагрудном кармане трикотаж-

ной рубашки Мамедаги, но в то время каждая копейка в их доме была на счету, и он не решился отдать эту мелочь Мирзоппе.

— Ну, есть деньги?

— Нет.

— Тогда держи! — Мирзоппа просунул вымазанный жирной селедкой палец между двумя другими пальцами и показал Мамедаге кукиш, продолжая причмокивать и сосать хвост. Однако тотчас он придумал иное: — Принеси из дому шекербуру, поменяемся. Только чтобы хорошую, а сверху миндаль. И побольше!

Конфеты, шоколад, шекербура, пахлава, шекерчурек считались в квартале самым большим лакомством, но, ясное дело, в те годы эти сладости были редкостью. У кого бывала возможность, пекли к новруз-байраму шекербуру и пахлаву. Понятно, что домашние шекербура и пахлава получались вкуснее фабричных, но в те времена никто не обращал внимания, дома они готовились или на фабрике.

Мамедага вынес из дому шекербуру, а Мирзоппа, который ждал его перед Узким тупиком, взяв шекербуру в руки, оглядел ее со всех сторон, как ювелир Алашраф разглядывает золото, и Мамедага подумал, что Мирзоппа сейчас что-нибудь выдумает, но шекербура все-таки соблазнила Мирзоппу, и он ограничился тем, что сделал вид, будто это с его стороны большое одолжение:

— Ну ладно, для тебя разве... Держи!

Мамедага взял селедку и кусок черного хлеба и тут же все съел, а Мирзоппа между тем ушел домой.

Прошло два дня, и на третий вечером Мирзоппа сам пришел в Узкий тупик и показал Мамедаге зажатый в руке кусок черного хлеба с селедкой:

— Шекербуру принесешь?

— Нет, не хочу.

— Не хочешь? Селедки не хочешь? — Глаза у Мирзоппы чуть не вылезли из орбит.— Ах, так, значит!

В тот же вечер Мирзоппа собрал вокруг себя под тутовым деревом ребят со всего квартала и начал:

— Ей-богу, не вру, здорово я тут поразвлекался — надул этого маменького сынка. Он мне приносил шикарную шекербуру, притом сверху миндаль, а я совал ему старую селедку с черным хлебом, хлеб я приносил из хлева в Ясамалах[1], где его бросают баранам Гаджибалы. А шекербуру я поел в свое удовольствие!

[1] Ясамалы — отдаленный район Баку.

Мирзоппа выразительно рассказывал, ребята охотно смеялись, а Мамедага в жизни еще так не краснел: ясное дело, Мирзоппа приносил хлеб вовсе не из сарая в Ясамалах и селедка была свежая, он все выдумал, но рассказывал эту ложь с удовольствием, и Мамедагу выставил растяпой.

Прошло несколько дней.

Однажды, когда Мамедага возвращался из школы, Мирзоппа вновь стоял перед Узким тупиком, и Мамедаге показалось, что Мирзоппа давно здесь стоит, чтобы не пропустить его. На мясистом лице Мирзоппы было то самое выражение, с каким он стоял перед теми, кто старше и сильнее его, если бывал виноват. Едва завидя Мамедагу, он, вроде бы смущаясь, сказал:

— А, кореш, из школы идешь? — И тут же перешел на свой обычный тон свысока.— Ну ладно, подумаешь, что случилось, а? Ну, пошутил я, ты что, совсем наивный, шуток не понимаешь? Брось...— Мирзоппа слегка запнулся и добавил, снова вроде бы немного смущаясь: — Послушай... Мировая селедка есть, клянусь жизнью, высший класс! Хочешь?

— На, держи! — На этот раз Мамедага соорудил ему кукиш из пальцев, вымазанных чернилами, и ткнул им Мирзоппе прямо в лицо.

Мирзоппа страшно рассвирепел:

— Ей-богу, жалко, отец мой дома, а то бы я тебе врезал! — сказал он и ушел.

Был полдень, и Сакина-хала, придя с работы на перерыв, чистенько вымела двор мокрым веником. Во дворе, как всегда после этого, стало прохладнее. Мамедага, сидя на большом камне у дверей, наматывал на катушку только что изготовленного воздушного змея нитки десятого номера. И тут из переулка раздался погрубевший, уже совсем как мужчины, голос Мирзоппы:

— Мамедага!

Мамедага кинул катушку за ворот бумазеевой рубашки и вышел к воротам.

— Ну чего? — спросил он и снова увидел на лице Мирзоппы то же выражение — просительное, которое появлялось у Мирзоппы, если ему приходилось держать ответ перед теми, кто старше и сильнее.

— Выйди на минуту.

— Зачем?

— Дело есть к тебе...

Мирзоппа отвел его в укромное место в тупике за мусорными ящиками и, перед тем как перейти к делу, вежливо осведомился:

— Как твои дела?

— А тебе что? Тебе чего надо?

И Мирзоппе стало ясно, что наладить отношения с Мамедагой ему будет трудно. Скривившись, он озадаченно почесал голову и посмотрел своими выпуклыми глазами на воробьев, сидевших на высоко протянутых электрических проводах. Мамедага понял, что Мирзоппа не знает, с чего и начать. Наконец Мирзоппа решительно сказал:

— Слушай, Мамедага, клянусь жизнью, отец привез шикарную кильку, на банке написано «экстра», а купил он ее в продмаге перед музеем Низами. Принеси только шекербуру, можно и без миндаля. Принесешь?

Не отвечая ни слова, Мамедага ушел домой. Взяв одну шекербуру, он вернулся к Мирзоппе, а тот, отрезав ломоть черного хлеба и положив кильки, тоже вышел из своих ворот. Взяв шекербуру, он снова, как ювелир Алашраф, оглядел ее со всех сторон и только после этой процедуры протянул Мамедаге хлеб с кильками.

— Бери, клянусь, ни с кем другим бы не поменялся. Мировая вещь! Кореш ты мой, что поделаешь...

И тут Мирзоппа рассмеялся, и жалкое выражение с его толстого лица слетело, вмиг Мирзоппа стал прежним Мирзоппой. Он круто повернулся и вошел в свой двор, закрыв за собой ворота. И в этот момент Мамедаге показалось странным, что Мирзоппа опять не стал есть шекербуру тут же, на месте.

Мамедага бросил кильки смотревшей на него серой кошке, мяукавшей у электрического столба, хлеб сунул в решетку уличного окна Мирзоппы и, взобравшись по столбу, попал на крышу одноэтажного здания. Спрятавшись за кирпичную трубу, он глянул в сторону двора Мирзоппы.

Около крана во дворе на перевернутом ведре сидел Дуду, и Мамедага удивился про себя, как это ведро выдерживает тяжесть такой туши. А перед Дуду стоял Мирзоппа и подносил шекербуру прямо ко рту юродивого брата. Дуду, откусив кусочек, пережевывал и проглатывал его так медленно и величественно, как огромная грузовая машина идет на первой скорости по асфальту, и пусть другие машины одна за другой обгоняют ее, она не обращает на них внимания и движется, словно черепаха.

Никто из ребят в квартале не знал настоящего имени Дуду; все называли Дуду просто Дуду. Он был чрезмерно толст, голова была непомерно большой. Ему всегда надевали очень широкие сатиновые шаровары, чтобы он не растер до крови ляжки, к тому же брюк на его размер просто не было. Дуду не умел разговаривать, и когда он хотел сказать слово, то издавал какие-то странные звуки. Он никогда не подходил к ребятам, а, изредка появляясь на улице, останавливался у дворовых ворот и смеялся сам с собой, издавая те самые звуки. Дуду было тринадцать лет, он был всего на полтора года младше Мамедаги, но в школе не учился.

Отец Дуду приходился Мирзоппе дядей; он погиб на войне, а мать его за дурные дела (говорили, что среди ночи приходили мужчины из других кварталов целоваться с ней под тутовым деревом) отец Мирзоппы, Алиаббас-киши, выгнал из дому. Дуду остался в их семье.

Вкладывая шекербуру прямо в рот Дуду, Мирзоппа говорил брату:

— Ешь, ешь! Завтра опять принесу. И сверху миндаль будет. И конфеты куплю. Завтра кино мировое, ребята придут на крышу, будут кино смотреть, а я с них деньги соберу и конфеты тебе куплю.

...А через некоторое время кирщики и вовсе уехали из города. Алиаббас-киши говорил аксакалам квартала:

— Лет через шесть-семь в Баку не останется домов, где надо заливать крыши киром. Старые сносят, а новые строят в пять — семь этажей, через некоторое время в девять — десять будут строить. И все с кровлей. Лучше мне уже сейчас переселиться в одно из сел. На Апшероне у всех домов крыши кировые, в какое село ни поеду, без дела не останусь.

И с тех пор большой котел для варки кира не показывался в квартале, где жил Мамедага, и все постепенно к этому привыкли, никому уже не казалось странным, что нет котла или чего-то не хватает на улице...

А было это лет пятнадцать — шестнадцать тому назад. И вспомнил Мамедага свое детство сегодня благодаря этому непонятно удивительному вечеру да еще и из-за Мирзоппы. Разглядывая в ярком свете фургона располневшее лицо Мирзоппы, он вдруг почувствовал в себе какую-то виноватость перед ним, и в этом чувстве вины ощущалось тепло детских воспоминаний; тепло и печаль вошли в

сердце Мамедаги, что никак не вязалось с самодовольным смехом нагло смотревшего на него Мирзоппы.

Худой парень, снова подняв руки, выдал свой лозунг:

— Постреляем!

Милиционер Сафар, поглядев на худого парня, подумал, что в голове этого болвана кроме слова «постреляем» нет ничего, он жаждет ружья, жаждет пули. Такие вот и проливают понапрасну кровь свою и чужую, и хотя их собственная особа копейки не стоит, но детей они оставляют сиротами, а женщин — безутешными.

Мирзоппа, все так же самодовольно улыбаясь, оглядел Мамедагу с ног до головы.

— Неплохо выглядишь,— сказал он.— Ну ладно, неужели своему старому другу по кварталу ты не дашь пострелять?

Самодовольная, самоуверенная повадка Мирзоппы была отвратительна, но Мамедага не подал виду, а про себя даже искренне пожалел, что Мирзоппа так много выпил в этот вечер. Если бы он не был пьян, конечно, Мамедага хоть до утра разрешил бы ему стрелять. И денег бы с него не взял. Правда, Мамедага всегда считал, что надо быть щедрым за свой счет, а не за счет государства, но сейчас вообще об этом не стоило и думать, потому что Мирзоппа с трудом держался на ногах, а парень рядом с ним был ни на что не способен, кроме как поднимать руки и твердить одно и то же слово. Дело было не в том, что пуля Мирзоппы могла попасть в кого-нибудь, хотя в тирах такие случаи бывали (у работающего в Баку в тире на улице Самеда Вургуна одноглазого Исрафила глаз выбила пуля такого вот пьяного), нет, дело было в том, что в инструкции черным по белому запрещалось стрелять в тире людям в нетрезвом состоянии, а Мамедага не хотел отступать от инструкции.

— В другой раз,— ответил Мамедага.

— Слушай, чего это ты со мной всю жизнь не ладишь?! — вроде бы спросил Мирзоппа, но в его грубом голосе была откровенная угроза.

— Постреляем!

— Ну, это, ясное дело,— сказал худой парень и поднял руки вверх.

— Не постреляете! — сказал милиционер Сафар, снова доставший из кармана мокрый платок и вытиравший им потное лицо.

— А ты не лай! — Мирзоппа вытаращил на милиционера Сафара свои пьяные глаза.

И милиционер Сафар вздрогнул — в нем словно что-то говорило: о сын гор, до чего же ты дошел, что какой-то щенок говорит с тобой на собачьем языке! Сунув в карман мокрый платок, он схватил Мирзоппу за руку.

— Пошли в отделение!

Мирзоппа выдернул руку:

— Отстань от меня!

— Пойдем!

— Сказал тебе, отстань!

— Пошли, и все!

Милиционер Сафар снова попытался схватить Мирзоппу за руку, но тут зазвенела пощечина и на худом смуглом лице милиционера Сафара остались белые следы толстых пальцев Мирзоппы.

Это было совершенно неожиданно. Первым пришел в себя худой парень,— с удивлением взглянув на Мирзоппу и милиционера Сафара, он ударил себя рукой по кепке «аэродром» и, в мгновение ока выскочив из фургона, исчез в темноте ночи.

— Ах ты... на представителя власти руку поднимаешь?!

Звук пощечины и торопливое бегство киномеханика Агагюля (того самого худого парня) отрезвили Мирзоппу, и, взглянув на поднимающийся и опускающийся большой кадык задыхающегося от ярости милиционера Сафара, он понял, что дела его плохи.

Милиционер Сафар схватил его за грудки.

— Иди впереди меня!

И Мирзоппа уже не вырывался из рук милиционера Сафара, только язык свой сдержать он не мог.

— Ну, идем, идем! Куда хочешь, идем. Тебя никто не боится. Один раз звякну Наджафу, он твои погоны снимет! Увидишь!

— Меньше болтай, иди! — Милиционер Сафар сказал эти слова так грозно, что Мирзоппе стало ясно: если он еще подаст хоть звук, этот крестьянский сын подомнет его под себя, как медведь; поняв это, он замолчал и пошел вниз по лестнице из фургона.

Мамедага вышел вместе с ними, но милиционер Сафар, повернув к Мамедаге свое словно бы еще больше потемневшее лицо, сказал:

— Ты не ходи, гага! Сафар его из рук не выпустит. Таких много перевидал Сафар!

Мирзоппа, громко прочистив горло, резко сплюнул на песок, но сказал без прежней наглости:

— Ладно, из отделения позвоню Наджафу, тогда увидишь!

Мамедага постоял перед фургоном, глядя на удаляющихся в лунном свете милиционера Сафара и Мирзоппу, а потом, взрыхляя носами туфель мелкий береговой песок Загульбы, медленно побрел в сторону моря.

Весь берег был совершенно пуст, и казалось, будто в этих местах никогда и не было никого, будто море здесь всегда было одиноко и берег всегда был один на один с морем. Эта пустота делала море еще более огромным и бескрайним, но таким же огромным и бескрайним казалось теперь одиночество моря. Море не гудело глухо, как обычно, море журчало, журчало, как будто река или даже ручеек. Текущие с гор на родине милиционера реки, наверное, тоже журчат, и им невдомек, что оставивший им свое сердце милиционер Сафар этой ночью на краю села под названием Загульба на Апшероне, на берегу моря, в тире парня по имени Мамедага получил незаслуженную пощечину!

Может быть, низость этой пощечины и сделала эту ночь грустной, а море таким одиноким? Мамедага посмотрел на начинающиеся сразу за песчаным берегом загульбинские скалы, и монолитные скалы в лунном свете показались ему более внушительными, чем обычно. Мамедага подумал, что придет время, эта пощечина забудется, дурное эхо ее звона в этих местах совершенно изгладится, придет и такое время, когда на свете не станет ни Мамедаги, ни милиционера Сафара, ни Мирзоппы, но эти скалы будут все так же мерцать в лунном свете. Мамедага понимал, что это не очень-то и глубокая мысль, все ясно и так — на свет приходили мамедаги, уходили мамедаги, и всегда так будет, но вот в чем дело: раз уж на свете есть такие монолитные скалы и они так внушительны, есть такие огромные моря, луна и звезды, которые вечны, а жизнь, данная тебе, коротка, то ее надо прожить правильно, прожить чисто, соблюдая свое мужское достоинство, чтобы ночью, когда ты, ложась в постель и засыпая, вспоминаешь свой день, нечего было стыдиться. Если уж на свете есть милиционер Сафар, у которого есть сын, названный Начальником, и который в жизни своей не съел кус-

ка, добытого нечестным путем, и помнит горы, с которых он пришел, потому что оставил там свое сердце, то на этом морском берегу, рядом с этими скалами и в этом лунном свете он не должен получать несправедливую пощечину!

Издалека послышался шум электрички, идущей в Баку: железные колеса со стуком двигались по рельсам, и этот стук сейчас стал пульсом загульбинской ночи, этой безлюдной ночи,— он бился в ней, и, вслушиваясь в этот ночной пульс, Мамедага подумал, что и жизнь — тоже нечто вроде поезда, который довозит тебя до остановки, выпускает, берет взамен другого и возвращается обратно и, ссадив другого в другой точке, берет нового, едет — возвращается, едет — возвращается, и раз у этого пути есть начало и есть конец, раз поезд не сойдет с рельсов и не нарушит расписания, то положи перед собой папаху и подумай, будь на этом пути человеком, живи как мужчина и как мужчина умри.

Потихоньку дул норд и потихоньку приносил в эту ночь прохладу; комары исчезали, и Мамедага подумал, что и комары относятся к природе, и ветер относится к природе, но ветер — враг комаров, и вообще этот мир так устроен, что у каждого зла, у каждой подлости есть свой враг; конечно, и эта мысль не была столь уж глубокой мыслью, но за ней пришла догадка, что, может быть, эту ночь сделало удивительной как раз то, что Мамедаге впервые захотелось пофилософствовать?

Появился какой-то новый звук, и около своего алюминиевого фургона, отсвечивавшего серебром в лунном свете, Мамедага увидел чью-то тень. Кто-то ходил туда-сюда вокруг фургона и звал его:

— Э-эй!.. Э-эй!..

Кричала женщина, но Мамедага не мог понять, почему это среди ночи женщина должна бродить около фургона? Он, не отвечая, пошел ей навстречу.

— Эй!.. Э-эй!..

Когда Мамедага подошел к фургону, девушка лет восемнадцати — девятнадцати буквально набросилась на него целым набором бранных слов:

— Людей в тюрьму сажаешь, а сам гуляешь по берегу моря?.. Отдыхаешь, да? Дышишь свежим воздухом? Люди для тебя не люди? Чего ты лезешь к людям? Рысью прискакал сюда, чтобы людей сажать?

Разглядывая в электрическом свете, падающем из открытой двери фургона, округлое смуглое лицо, сверкающие

черные глаза, ладную небольшую фигурку в желтой трикотажной кофте и синей юбке, Мамедага никак не мог понять, чего хочет от него эта разгневанная девушка и что она здесь делает.

— Погоди, ай баджи, что случилось? В чем дело?

— Какая я тебе сестра? Никакая я тебе не сестра! Посмотрите на него! Братец нашелся, а мы и не знали!.. Человека посадил — не был ему братом, а меня увидел — сразу ай баджи, сестрица!.. Хорош гусь!

Удивительная летняя ночь продолжалась, и поднятый этой смуглянкой шум показался Мамедаге смешным; он подумал, что, если так пойдет и дальше, эта девушка кинется на него и расцарапает ему лицо. Мамедага еще не понимал, что, в сущности, эту летнюю ночь сделал такой удивительной внезапный приход этой смуглой девушки, а все, что было до этого, было лишь предчувствием ее прихода — иногда и такое случается в жизни, но Мамедага не знал об этом, он действительно растерялся:

— Какие люди, кого я посадил?

— Люди — мой муж!.. Понял? Идем сейчас же, ты посадил его, ты и освободи!

— Ты говоришь о Мирзоппе?!

Имя Мирзоппы как будто несколько остудило пыл разгневанной смуглянки, и она, все еще не отводя глаз от Мамедаги, сказала, словно извиняясь:

— Да. О ком же еще?

Мамедага понял, эта девушка — жена Мирзоппы, но почему-то и это, как многое в ту ночь, показалось ему неожиданным и непонятным. Пройдя мимо так внезапно среди ночи появившейся девушки, он решительно поднялся в фургон.

— Я тут ни при чем,— сказал он.

И снова эта девушка, начавшая бурно и было сникшая, услышав его ответ и проводив его взглядом, уперла руки в бока и снизу вверх начала кидать в Мамедагу слова как пули.

— Как то есть... «ни при чем»? Сначала сажаешь, потом говоришь: «я ни при чем»? Ну и гусь! Ты за кого нас считаешь? Мы тебе чушки какие-нибудь? Идем сейчас же, выпусти его! — Девушка тоже поднялась по ступеням и вошла в фургон.

Яркий свет фургона, выстроенные вдоль стены ружья, призы, бутылка шампанского, настольное зеркало, кукла-невеста, фотоаппарат, висящие на стене деревянные зай-

цы, лиса, медведь, лев и никому неведомый зверь — все это как бы несколько смутило девушку, и она, бегло оглядев все это, молча устремила на Мамедагу свои черные глаза: мол, идешь или нет?

— Я твоего мужа не сажал, баджи. Он и его товарищ пришли сюда пьяные...

Девушка быстро прервала его:

— Пусть провалится этот товарищ! Разве не товарищи сбили его с пути? — крикнула она, а потом, чуть поостыв, добавила: — Ну и что ж, что выпил? В Советском государстве нет такого закона, чтобы за выпивку людей сажать!

— За выпивку не сажают, а вот за то, что дают пощечину милиционеру, сажают!

Тут девушка, как петух, снова бросилась в бой:

— Милиционер Сафар план выполняет, потому и посадил его!

— Что?! План выполняет?! — У Мамедаги просто не было слов, чтобы отвечать — так он был изумлен.— Ай баджи, прямо при мне ударил его, ни за что...

Немного помолчав, девушка сердито сказала:

— Бесстыжий он, да...— И Мамедаге не было ясно, к кому относится это слово, к Мирзоппе или милиционеру Сафару.

Девушка снова искоса оглядела деревянных зверюшек и подумала, что, если бы этот тир не приехал и не остановился здесь на ночь, Мирзоппа сюда бы не пришел, не встретился с милиционером Сафаром и ничего бы тогда не произошло из того, что теперь произошло.

— Ну и тир!

Конечно, Мамедага не знал, о чем думала сейчас девушка, и ее откровенная ненависть к его тиру показалась ему опять-таки смешной; да и вообще в шуме, крике, поднятом ею, ему виделось чистое ребячество, чуть ли не розыгрыш, как и ее решительное утверждение, будто она чья-то жена. Мамедаге казалось все это забавной шуткой и хотелось, чтобы это на самом деле было шуткой.

Мамедага огляделся по сторонам и, оставшись довольным порядком в фургоне и своей аккуратностью, улыбнулся:

— Тебе не нравится мой тир?

Эта безоблачно-самодовольная улыбка Мамедаги вновь взбесила девушку:

— Твой? А почему это он твой? Это наш, государственный тир! Или, может быть, твой отец его тебе подарил?

Если вы помните, Мамедага по известным причинам с детства не переносил малейшего неуважения к памяти отца. А сейчас от этой задиристой ночной гостьи тем более — ведь она могла решиться на все, вплоть до брани с упоминанием его отца, и потому Мамедага сразу же стал серьезен.

— Отец не мог подарить,— отвечал он и, чтобы прекратить разговор об отце, добавил, словно бы мимоходом, а прозвучало это скорее как признание пятнадцатилетнего мальчика, чем тридцатилетнего мужчины: — Отец погиб на фронте.

Девушка уже готовилась снова что-то там проорать, но, услыхав не слова его, а этот странный, словно из детства дошедший голос, умолкла.

Мамедага никогда не откровенничал с незнакомыми людьми (да и со знакомыми тоже) и почувствовал себя неловко оттого, что он что-то важное сказал о себе этой девушке, которую увидел впервые, а ее понимание важности сказанного им смутило его.

— Как тебя зовут? — спросил он, чтобы хоть чем-то нарушить неожиданное и неловкое молчание.

— Зачем тебе?

— Когда человек разговаривает с человеком, он должен знать, кто есть кто.

— Месмеханум.

Ответ не принес облегчения. Ни ему, ни ей.

Мамедага и не догадывался, какой заветной струны в душе Месмеханум он коснулся; он не знал, что в сердце девушки появилась сейчас тихая ноющая боль.

Ей казалось, что это было много-много лет назад, когда она была маленькой девочкой и у этой девочки не было никаких забот. Не было и отца, но мать всегда говорила ей: твой папа погиб на войне. Мать часто бывала в поездках, и Месмеханум привыкла целыми днями оставаться одна, и в такие дни она беседовала с отцом; во время этих бесед, продолжавшихся и в школе-интернате, гремели пушки, взрывались снаряды; Месмеханум перевязывала отцу раны, а отец гладил ее по черным волосам своей крупной мужской рукой и улыбался. Тепло и ласка его больших мужских рук разливались по всему ее телу и пробуждали в ее сердце такую ответную любовь, что от умиления у нее иногда появлялись слезы. Но однажды, в

один из самых обычных дней, Месмеханум поняла, что отец ее никак не мог погибнуть на фронте, потому что она родилась через три года после окончания войны. После такого открытия Месмеханум прекратила всякие разговоры с матерью об отце. Молчала и мать. Может быть, Гюльдесте постепенно забыла вовсе о прежних разговорах с дочерью или, как знать, не забыла, но, как и дочка, затаилась?

Все же ласку больших отцовских рук долгое время еще помнила Месмеханум, да, по сути дела, и теперь они согревали ее — пусть изредка, пусть совсем немного.

А Мамедага смотрел на высокую грудь стоявшей перед ним сердитой девушки, на ее красивые коленки, круглые лодыжки, пальцы ног в сандалиях — и сердце его тревожно заколотилось. Давно он уже не знал этой тревоги, и порой ему казалось, что она навсегда прошла для него вместе с юностью. Но сейчас тревога росла, окатывая своими волнами, поднимая и опуская так, что дух захватывало, и начисто смывая, погребая под собой все первые впечатления Мамедаги; и смешное перестало быть смешным, забавное — забавным, от задиристости не осталось даже следа: в резком свете фургона перед Мамедагой стояла Она.

Дни и ночи колеся по дорогам Апшерона, Мамедага, конечно, навидался всякого и смотрел на жизнь трезво,— вот почему теперь это забытое волнение, возвращавшее его к юношеской поре, он воспринял как еще одну частицу этой удивительной ночи в Загульбе; только на этот раз он ощутил ее загадочную прелесть не одной душой, но и всем своим существом.

Заметив наконец, что глаза Мамедаги беспокойно бегают по ее желтой кофте, синей юбке и босым ногам, Месмеханум по-своему истолковала волнение этого высокого широкоплечего парня и с испугом покосилась через открытую дверь фургона на море с белеющими гребешками волн, ощутила безлюдность берега и поэтому скорее для собственного успокоения, чем для Мамедаги, быстренько сказала:

— Я не из тех, не думай!

— А кто они — те, о которых я думаю? — Мамедага сел на перила и обхватил колено руками.— А?

— Я не знаю кто...— Взглянув в голубые глаза парня, девушка поняла, что встревожилась зря, и еще она поняла, что в его взгляде есть что-то очень родное, будто она

много раз видела этот взгляд. Почему ей так показалось? Она с удивлением посмотрела на Мамедагу.

— Что сказали в милиции?

— Сказали, что на этот раз дела его плохи... Пятнадцатью сутками не отделается...

— А Наджафу он позвонил?

Месмеханум снова удивилась этому парню — нет ничего на свете, чего бы он не знал. Нет, как раз про это он, видно, не знает, и она сказала ему, чтобы знал и это:

— Наджаф в прошлом году выгнал его из своего кабинета...

Сказала — и сама изумилась, как будто не она, а совсем другой человек произнес эти слова. Уж сколько лет Месмеханум привыкла молчать при посторонних,— никто не знал, каково ей приходится с мужем, их домашние разговоры оставались дома, и Месмеханум считала, что так будет всегда, до самой смерти. Умрет она, и люди будут говорить, что жила, мол, на свете такая Месмеханум и у этой Месмеханум был муж по имени Мирзоппа, они жили вместе... Но как они жили — этого никто не будет знать, и какая была она, эта Месмеханум, и что бывало у нее на сердце — тоже никто не будет знать. Ладно, пусть так. Но если никто ничего не должен узнать, тогда что же ей нужно сейчас здесь, в этом фургоне, рядом с этими деревянными зайцами, лисой, медведем, львом и неведомым зверем, рядом с этим чужим мужчиной? Отчего она не уходит? Разгневанная, ты пришла сюда, а теперь видишь, что парень ни в чем не виноват и от него ничего не зависит, все произошло из-за твоего непутевого мужа, так чего же ты не уходишь и чего еще ждешь?

Месмеханум подумала об этом, и ей вспомнился ее дом, вспомнилась ее кровать, вспомнилось, что она снова одна-одинешенька в этом доме; утром встанет, пойдет на работу, продаст помидоры, огурцы, виноград — что придется, а вечером снова одна-одинешенька будет, сидя в комнате, смотреть из окна на большое инжировое дерево перед их домом и с тоской думать о том, что нет ничего хуже, чем вот так одиноко сидеть перед окном, лучше уж ссориться, ругаться, драться с Мирзоппой.

Однажды, как всегда, в комнате запахло водочным перегаром, вошел Мирзоппа и, громко плача, как будто сообщая самую горестную весть (после выпивки такой плач частенько начинался у Мирзоппы), сказал, что Наджаф выгнал его из кабинета.

— В одном квартале выросли, в одном месте в альчики играли, строгали палочки шимагадер на одном асфальте, а теперь он меня выгоняет из кабинета!..

Так, страдая и переживая, он поплакал немного, пожаловался на неверность мира, а потом, как обычно, излил свою злость на Месмеханум: выдумав причину, пустил в ход руки, ноги, а Месмеханум расцарапала до крови его жирную физиономию. Но до всего этого никому не было дела. И этому сидящему на перилах, разглядывающему ее в ярком свете фургона голубоглазому парню тоже не было до нее дела, и Месмеханум сейчас же, выйдя отсюда, пойдет сначала в отделение милиции и снова подымает там крик-шум, и снова из этого крика-шума ничего не выйдет, после чего, наконец, одна-одинешенька она вернется домой, и пройдет еще одна тоскливая ночь, только и всего.

— Сколько тебе лет? — спросил Мамедага.

— Двадцать четыре.— Месмеханум снова удивилась сама себе: с чего это она отвечает этому чужому парню на такие вопросы?

— Тебе больше девятнадцати не дашь.

— Да, все так говорят...— Месмеханум улыбнулась и, сама не ожидая того, спросила: — А тебе сколько?

— Как по-твоему?

— Тридцать... два!

— Два года прибавила...

— Тридцать?

Как будто вчера это было, счет возраста Мамедаги оканчивался на «надцать» — пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать... И тридцать казалось тогда ему чем-то очень далеким, он не мог себе представить себя в тридцать лет. Но он верил: когда придет это время, мир станет совсем другим. Солнце — солнцем, луна — луной, звезды — звездами, но Мамедага уже мальчишкой понял, что под одним солнцем, луной и звездами у каждого есть свой мир; об этом он думал по ночам, особенно в летние ночи, когда спал на крыше: Сакина-хала с вечера стелила на крыше палас, на палас клала толстый шерстяной тюфяк, большую подушку, простыню, и постель Мамедаге готова. Ложась в полночь, Мамедага смотрел на луну, на звезды, ощущая прохладу выметенной мокрым веником Сакины-хала крыши, и думал о том, что через много-много лет ему исполнится тридцать и мир станет другим; в чем будет состоять эта перемена, он не знал, но верил, что

совершенно иным станет мир. Закрывая глаза, он вел по улицам Баку новенькую «Победу» — такси. Самой большой мальчишеской мечтой Мамедаги было стать шофером такси, и он каждую ночь, перед тем как заснуть, накачивал насосом шины своей «Победы», проверял мотор, осматривал аккумулятор, вытирал смоченными в бензине концами мазут со своих рук, а потом вел такси по улицам города.

Но казавшиеся такими далекими тридцать пришли, по существу, мгновенно — так думал Мамедага сейчас. Он мотался по улицам Баку шофером такси, а потом перешел в этот тир. О, если бы в те летние ночи, когда он спал на крыше, ему пришло в голову, что когда-то у него будет серебристый тир-фургон, он не смог бы уснуть от нетерпения! Да, прошли годы, и теперь ему ясно, что мир каждого человека изменяется, как и он сам, но суть его неизменна — новые люди приходят в этот мир, другие уходят из него и забываются, но сам этот мир человека, как и большой мир людей, не становится совершенно другим: как постоянны солнце, луна, звезды, так всегда есть желание добра и зла, мужество и подлость, жадность и мечта — есть все, только у каждого это по-своему.

— А как тебя зовут? — спросила Месмеханум, и у нее уже просто опустились руки: что за вопросы она задает? Зачем ей знать, как зовут этого голубоглазого парня? Почему она так унижает себя?

— Мамедага.— Он улыбнулся.— В детстве меня дразнили так:

Мамедага,
в носу серьга,
ходил на бега,
выиграл рога!

— Меня тоже дразнили. Когда я не знала урока, очень боялась, что учитель вызовет, у меня руки-ноги дрожали. А ребята смеялись:

От страха Месме
не ханум, а ...«ммее!».

Месмеханум рассмеялась громко, с удовольствием, вспомнив ту маленькую беззаботную девочку, которая очень боялась, что учитель вызовет ее к доске. Но вдруг перед ее глазами появилась жирная физиономия Мирзоппы, она словно почувствовала запах спиртного, она подумала о том, что Мирзоппа сидит сейчас в отделении милиции и

получит самое меньшее пятнадцать суток, а она... Она изумилась своему бесстыдству, но наконец поняла: будь что будет, но она не желает уходить из этого ярко освещенного фургона.

— Вот уж не сказал бы, что ты пугливая овечка!

— Теперь я не такая!

— Да, теперь ты бедовая! — Мамедага тоже громко и с удовольствием рассмеялся.

Месмеханум посмотрела в глаза парня, подумала: странный парень, такие большие голубые глаза, а брови, ресницы, волосы черные; правда, голова уже начала седеть, но ведь ему только тридцать...

— О чем ты думаешь?

— Ни о чем,— соврала Месмеханум и почувствовала, что краснеет.

Месмеханум разучилась краснеть с тех пор, как вошла в дом Мирзоппы, и теперь, когда она почувствовала, что краснеет, ей показалось, что на свете нет никакого Мирзоппы, она никогда не выходила замуж, все это неправда, и она снова прежняя Месмеханум, плачущая на индийских фильмах, и горечь всех этих лет — просто сон; на один только миг ей так показалось, но она поняла, что пора уходить отсюда — от голубых глаз этого парня, о существовании которого еще час назад она просто не знала.

— Ну ладно, я пошла...

Мамедага не отвечал. Что ж, это совершенно естественно: уходит девушка, случайно здесь появившаяся. Так он подумал, но сердце его охватило какое-то беспокойство. Он еще не знал, но уже почувствовал: уйдет она — и вся таинственная красота вечера окажется напрасной, а внушительные скалы всю ночь будут шептать ему о бессмысленности его жизни. Мамедага молчал, не понимая самого себя.

Месмеханум не сошла по приставной лестнице, а спрыгнула прямо из открытой двери фургона на песок и посмотрела в сторону Загульбы: в селе все еще мерцали огни. Месмеханум знала там многих и могла сейчас представить каждого из этих знакомых ей людей, а вот из них никто не знал, что продающая с восьми утра до шести вечера в овощном киоске помидоры, огурцы, виноград и дыни Месмеханум в это время ночи смотрит на льющийся из их окон свет, стоя на берегу моря; никто из них не знает, что в сердце глядящей сейчас на свет из их окон Месмеханум горечь одиночества; никто не знает и того,

что Месмеханум, чей муж сидит в отделении милиции и ждет наказания — самое меньшее пятнадцать суток! — вернется домой уже не одна: с ней будет память о голубых глазах парня, которого она знает только по имени. Да, этого никто не знает и не узнает, хотя, в сущности, и сама Месмеханум знает только то, что скоро этого серебрящегося в лунном свете фургона здесь не будет и ей останется вспоминать эти голубые глаза, думать об этих голубых глазах, сидя по вечерам у окна и глядя на инжировое дерево. Она будет видеть эти голубые глаза, но почему и зачем так будет? Сердцем она вдруг почувствовала сходство или даже родство между взглядом этих голубых глаз и теплом, лаской больших отцовских рук, которые когда-то гладили ее по голове в ее мечтах — и дома, и в школе-интернате. Давно уже Месмеханум не чувствовала в себе столько доброты и нежности...

Мамедага, спустившись по лестнице, пошел было за девушкой, но повернул к морю и сказал:

— Ветер стих...

Месмеханум остановилась и, потрогав воздух ладонью, сказала:

— Да, стих... Вечером дула хорошая моряна.

Мамедага сказал:

— Моряна — теплый ветер... А ветер должен быть прохладным...

Месмеханум сказала:

— Я люблю моряну... Моряна дует в сторону моря, и можно с морем разговаривать...

Невероятное изумление охватило Мамедагу:

— Ты приходишь на берег и разговариваешь с морем?!

— Почему, разве нельзя говорить из дома? Моряна относит слова к морю...

Месмеханум сказала — и на этот раз здорово на себя рассердилась: да кто такой этот парень, с чего это она раскрывает перед ним тайны своего сердца? И для чего? Месмеханум задала себе этот вопрос и, остановившись, обернулась.

Мамедага посмотрел в глаза стоящей перед ним девушки. В лунном свете эти глаза почернели и сверкали ярче, чем в фургоне. В этом мире есть село под названием Загульба, а там — красивая девушка по имени Месмеханум, и она любит моряну за то, что, когда дует моряна, можно беседовать с морем,— ведь сказанные человеком слова моряна передаст морю. Этого не знал не только Мамедага,

на всей земле вообще никто не знал, что эта шумливая, крикливая, скандальная девушка, когда дует моряна, садится у окна и разговаривает с морем...

Месмеханум уже ясно понимала, что отсюда надо поскорее уходить. Приблизившись к девушке, Мамедага некоторое время постоял лицом к лицу с нею, потом нерешительно спросил:

— О чем ты думаешь?

Глядя прямо в его голубые глаза, Месмеханум сказала:

— А тебе какое дело, о чем я думаю? Кто ты такой? — Она сказала это и сама себе ответила, что эти глаза совершенно не виноваты в том, что она все им выкладывает.

— Я — Мамедага.

Месмеханум усмехнулась:

Мамедага,
в носу серьга,
ходил на бега,
а выиграл рога!

Мамедага усмехнулся:

От страха Месме
не ханум, а «ммее!».

Месмеханум рассмеялась — снова перед ее глазами появилась та беззаботная девочка.

— Да, меня дразнили ужасно!

И Мамедага рассмеялся — ему вспомнился мальчишка, который бегал за всеми проезжавшими по кварталу машинами.

И вдруг у Месмеханум пропала вся злость на этого высокого голубоглазого парня, внезапно он стал ей чуть ли не родным человеком; как будто они познакомились не час назад, а очень давно, еще в детстве, и тогда этот голубоглазый парень — он еще не стал таким представительным! — много раз видел Месмеханум, идущую в школу в красном пионерском галстуке и с перепачканными чернилами пальцами из школы домой.

Мамедага пошел к морю, остановился и обернулся, глядя на скалы. Норд уже не бросал на них волны, и монолитные скалы теперь не казались суровыми, неприступными башнями, они стали легкими, как лодки, вот-вот поплывут, осторожно разрезая воду.

И Месмеханум глядела на скалы и, махнув в их сторону рукой, сказала, улыбаясь:

— В детстве я боялась этих скал, особенно вечером. Когда я не слушалась, мама говорила: «Смотри, эти скалы по ночам приходят и забирают непослушных детей!» И я начинала дрожать... Я даже не спрашивала, куда они забирают? А тебя пугали в детстве?

— Нет...

— И ты ни разу не дрожал от страха?

— Однажды было.

Пристально посмотрела Месмеханум на Мамедагу, так пристально, что Мамедаге показалось, что эта разговаривающая с морем, когда дует моряна, смуглая девушка сейчас прочтет все его мысли, узнает все, что у него на сердце. Все то поймет, в чем Мамедага, честно говоря, сам пока не мог разобраться, он только чувствовал какое-то нежное тепло в сердце, как будто и там дует легкая моряна. Давно уже, очень давно, с тех летних ночей, когда он спал на кировой крыше их дома, в сердце Мамедаги не было такого тепла, то есть, конечно, за все эти годы у него было немало причин для радости и веселья, но вот такого нежного тепла не было в его сердце, и теперь он понял, что все эти годы тосковал по такому теплу.

Помолчав, Месмеханум спросила:

— Чего же ты испугался?

— Да так...

В последнее время, колеся по дорогам Апшерона, он почему-то вспоминал эту старую историю и порой снова, как и двадцать лет назад, видел Китабуллу улыбающимся, а когда Китабулла улыбался, то в уголке рта у него поблескивал золотой зуб, и вот сейчас, в эту удивительную летнюю ночь на песчаном морском берегу Загульбы, снова улыбнулся Китабулла и сверкнул его золотой зуб.

— Ну, а все-таки?

— Так... Ветер улетел. Это старая история, просто к слову пришлось. Хочешь, я тебе что-нибудь другое расскажу, смешное?

— Не хочу, расскажи, чего ты испугался.

— Жили-были три брата: Самедулла, Ядулла и Китабулла. Самедулла, самый старший, носил закрученные кверху усы и работал в море. Когда в праздник он надевал свои медали и шел на демонстрацию, ребята с нашей улицы бежали за ним, глаз не отрывая от его груди. Средний брат, Ядулла, был сапожником. Его будка стояла на бульваре, рядом с нынешним кукольным театром. Ребята из квартала часто забегали к Ядулле, потому что их бо-

тинки он чинил бесплатно. Младшему — Китабулле — было двадцать пять; работал он шофером на полуторке, и, когда грузовик Китабуллы останавливался в Узком тупике, ребята гурьбой залезали в кузов, а один, самый достойный, садился в кабину рядом с шофером; покатав ребят, Китабулла привозил их снова к Узкому тупику.

А кабина у Китабуллы всегда выглядела нарядно и образцово. За стеклом торчали две открытки, надписи на которых ребята знали наизусть. На одной открытке был изображен Сталин: с трубкой в руке, он улыбаясь смотрел на карту СССР. На краю карты был нарисован рейхстаг с развевающимся над ним красным флагом. Сталин говорил: «Победили врага, победим и засуху!» На второй, в обрамлении красного сердечка, улыбалась девушка, склонив голову на плечо парня и прижав к своей груди букет фиолетовых, красных и желтых цветов. А над головами влюбленных порхали два целующихся голубка, и надпись на открытке гласила:

Пусть наша дружба будет вечной,
Как дружба этих голубей.

Многие девушки квартала были без ума от Китабуллы, и ребята об этом знали (разве могло быть такое, чего не знали бы мальчишки!). Конечно, у нас было немало молодых, симпатичных парней, но Китабулла был среди них звездой. Баладжаханум, жена мясника Аганаджафа, сидя перед своим окном с железной решеткой на маленькой деревянной табуретке, грызла семечки и говорила, подмигивая в сторону Узкого тупика, собравшимся вокруг нее девушкам: «У этого чертова парня лицо, как у Юсифа Прекрасного; если режешь лук, на него не засматривайся, а то и охнуть не успеешь, как вместо лука палец порежешь!..»

Ребята, и Мамедага среди них, не раз слышали подобные беседы; они сразу смекали, что речь идет о Китабулле. Как только полуторка Китабуллы останавливалась перед Узким тупиком, девушки квартала начинали тайком поглядывать из окон в сторону машины и под каким-нибудь предлогом выходили на улицу; но и ребята, и девушки — все знали, что Китабулла влюблен в девушку из другого квартала; она любит его, но вот родители почему-то противятся их браку. И сколько бы ни обсуждалась эта тема, никто не мог понять: как это можно не доверить девушку такому парню, как Китабулла?

И вот однажды вечером по всему кварталу разнеслась весть, что возлюбленная Китабуллы сбежала из дома; сейчас она у Самедуллы, а послезавтра состоится свадьба.

Китабулла с братьями жил в конце Узкого тупика. В их дворике было три дома. В квартале их называли «Мансур шушабенди» — терраса Мансура; Мансур был дедом Китабуллы, и все эти три одноэтажных дома он выстроил собственными руками. У каждого дома имелась терраса, украшенная деревянными решетками — шебеке, и фотографии этих шебеке висели в музее. В одном из домов жил Самедулла с семьей, в другом — Ядулла, а в третьем должна была жить семья Китабуллы.

В тот вечер Мамедага с ребятами разожгли перед Узким тупиком костер, а девушки их квартала, прогуливаясь по двое, по трое мимо Узкого тупика, старались просверлить взглядом ворота Китабуллы.

Утром Самедулла с праздничными медалями на груди, словно в день демонстрации, обходил всех соседей, зашел он и во двор, где жила семья Мамедаги, и Сакине-хала была вручена маленькая фотооткрытка-приглашение. На ней был изображен голубь, держащий в клюве письмо, а на письме было написано: «Приглашаем Вас на бракосочетание нашего дорогого Китабуллы с дорогой Тамиллой. Торжество состоится 17 сентября 1951 года в доме старшего брата жениха Самедуллы». А пониже шли две строчки:

Любовь и в наши дни, как встарь,
суть жизни и ее алтарь.

— Сакина-баджи,— сказал Самедулла,— Али нет, но есть ты. Что значит для меня Али, ты знаешь. Он был для меня всем, но что делать, его не вернешь. Прошу тебя, приходи завтра к нам, у Китабуллы свадьба.

Отец Мамедаги и Самедулла были друзьями с детства, вместе пошли они и воевать, но Самедулла вернулся.

Сакина-хала ответила:

— Пусть будут счастливы молодые! Пусть у них будет много сыновей и дочерей, пусть они вместе встретят старость! Большое спасибо за приглашение.

В тот день весь квартал доставал из нафталина наряды, гладил костюмы, стирал рубашки. Говорили лишь о том, как Китабулла любит Тамиллу и как Тамилла любит Китабуллу. Теперь уже все знали, что девушка, по которой столько времени страдал Китабулла, то есть Тамилла,

учится в институте и родители хотели выдать ее за преподавателя истории, но Тамилла любила только Китабуллу и однажды вечером собрала чемодан и ушла из дома. Почти все сведения были получены от жены Ядуллы — Фатьмы. В зеленом шелковом платье, сшитом ею за одну ночь, Фатьма ходила из дома в дом, занимала казаны, тарелки, стаканы, блюдца и всем повторяла одно и то же:

— До чего умная девушка и какая красивая, в жизни такой красивой девушки не видела, не девушка, а лунный серп. Она достойна Китабуллы. Они без ума друг от друга. Зато отец у нее — настоящий тиран. Утром Самедулла-гадеш пошел к ним мириться, хотел пригласить на свадьбу их и всех их знакомых — пусть будут нашими дорогими гостями! — но его даже в дом не пустили. Это Самедуллу-гадеша, а?! Самедуллу, старшего брата, не впустили в дом!

Мамедага вместе со всеми ребятами прямо-таки застывал от изумления: у человека столько медалей, а его не пустили в дом?!

Фатьма рассказывала:

— Большой человек отец Тамиллы! Каждое утро за ним машина приходит с работы,— «эм-один». Ну и что? Говорят, он сказал: «Тамилла втоптала мою папаху в грязь, нет у меня больше дочери, до конца жизни нету, не показывайся мне на глаза!» А был бы умный, спасибо сказал: разве можно найти для дочери лучшего жениха, чем Китабулла? Да, но дочка его — что за девушка! Ум — при ней, воспитание — при ней. Девушка, достойная Китабуллы! Оба — как лепестки розы, тьфу-тьфу, не сглазить бы!

Всем в квартале было известно, что Фатьма очень привязана к своему младшему деверю Китабулле, но ей верили, когда она расхваливала и Тамиллу — умна да красива, почему — потому что девушка, которую такой парень, как Китабулла ждал четыре года, девушка, которая отказалась выйти замуж за имеющего диплом учителя истории, потому что не любила его,— такая девушка просто не могла быть ни чем иным, как лепестком розы.

Живший в нижней части квартала кларнетист Алекпер, прочистив свой кларнет с серебряными клавишами, сказал:

— Давненько уже в квартале не было свадеб — и вот, пожалуйста, да еще свадьба Китабуллы! Завтра я так зальюсь, чтобы даже у моллы Сулеймана косточки сами по себе в пляс пошли! Афлатуну я велел принести нагару, а

Сиявуш возьмет зурну — все будет достойно имени Китабуллы! Пусть знает девушка, за какого молодца она выходит!

В тот день Солмаз то и дело спрашивала у брата:

— Ты принесешь мне конфетные обертки?

Мамедага важно отвечал:

— Сколько раз можно говорить об одном и том же?

— Много-много?

— Да, очень много!

Завтра на свадьбе будут, по обычаю, осыпать ребят самыми разными конфетами, и они, конечно, их съедят, но красивые обертки разгладят и соберут.

Сакина-хала, открыв давно не открывавшийся сундук, достала из него давно не надевавшееся желтое шелковое платье и, вывесив его на террасе, чтобы ушел запах нафталина, сказала:

— Не могу обидеть Самедуллу, да и дух Али будет недоволен, если я не пойду на свадьбу. Али, пусть земля ему будет пухом, очень любил Китабуллу и всегда говорил: хорошим парнем станет Китабулла!

В тот день у ворот Китабуллы блеяли два барана с красными ленточками вокруг шеи, а ребята, взобравшись на тутовое дерево перед Узким тупиком, срывали листья и насыпали их перед этими баранами с красными лентами. Скоро на туте листьев совсем не осталось: мясо баранов должно быть вкусным, ведь всему кварталу известно замечательное высказывание Алхасбека: «Эх, вкус у баранины исчез!.. А баран чем виноват?.. Если баран сидит в городе и ест вместе с человеком борщ, слушает радио, гуляет по асфальту, то какой же вкус будет иметь его мясо?» Но эти бараны с красными лентами в ночь перед свадьбой съели столько тутовых листьев, что завтра даже Алхасбек будет восторгаться вкусом их мяса!

В эту же ночь, лежа в постели, Мамедага думал о завтрашней свадебной суете, видел радостную улыбку Китабуллы и замечал, как сверкает в уголке его рта золотой зуб; видел свою мать, надевшую желтое шелковое платье, и радовался, что наконец-то мама смеется; видел, как его мама вместе с другими сидит в комнате для женщин, хлопает в ладоши и наслаждается игрой гармонистки Нисы, приговаривая: «Ай джан! Ай джан!» Потом Мамедага задумался о двух строчках, которые прочел на фотооткрытке-приглашении, и попытался понять смысл этих стихов; но, как ни старался, понять не смог, хотя он по-

нял твердо: если в честь любви баранам на шеи повязывают красные ленточки, а его мама, достав из сундука желтое шелковое платье, вешает его проветриться, значит, любовь полезна живущим на земле людям, значит, придет день и такое вот фото-приглашение от его имени пойдет гулять по рукам людей в квартале и все люди прочтут на нем две строчки:

Любовь и в наши дни, как встарь,
суть жизни и ее алтарь.

И только Мамедага, думая обо всем этом, заснул, как в Узком тупике поднялся плач. В квартале, где жил Мамедага, много происходило событий, но такого плача он не слышал ни разу в жизни. Среди ночи, внезапно, крики, вопли и рыдания женщин в Узком тупике зазвучали так, будто весь тупик взвыл от неожиданного и страшного горя. В одну минуту волосы на голове Мамедаги встали дыбом. Раздался крик вскочившей с постели и выбежавшей во двор Сакины-хала, и у Мамедаги задрожало все тело.

Весь квартал поднялся на ноги, от детей до взрослых, все бежали на улицу, и в ту ночь перед Узким тупиком было столько народу и все эти люди подняли такой плач, что прошли дни, месяцы, даже годы, но эта ночная толпа, этот ночной ужас врезался навсегда в память людей, звучал у них в ушах.

«Китабулла попал в аварию и погиб!» Эта весть в ту ночь поразила всех в квартале, от детей до взрослых.

Вечером, доставляя груз из Локбатана, Китабулла неподалеку от Шихова столкнулся с пустым автобусом. Руль придавил грудь Китабуллы и воткнулся ему в живот. Он тут же скончался. С пьяным водителем автобуса ничего не случилось.

Когда тело Китабуллы сняли с машины и понесли в Узкий тупик, распахнулись ворота дальнего двора и, вырвавшись из рук женщин, к гробу кинулась простоволосая босая девушка. Она ухватилась обеими руками за гроб, и у мужчин, несших гроб на плечах, задрожали руки; они остановились, пораженные ее безумным взглядом; девушка дернула гроб так, что тело чуть не выпало из него, и мужчины, быстро сняв гроб с плеч, положили его на землю; в тот же момент девушка кинулась на труп, и вырвавшийся из ее груди вопль слился с общим стоном этой ночной толпы.

Вот такой впервые увидели Тамиллу жители квартала.

А утром Фатьма, разодравшая себе лицо, кричала сорванным голосом так, что у нее чуть не лопались вены на шее:

— Приготовленных для твоей свадьбы баранов режут тебе на поминки, ай Китабулла, ва-а-ай!..

И гости, приглашенные на свадьбу, пошли хоронить Китабуллу — весь квартал пошел. Десятикилометровый путь от квартала до кладбища катафалк пронесли на плечах, и никто не сел в машину.

Друзья Китабуллы, шоферы, приехали на своих машинах и запрудили ими квартал. Всю дорогу до кладбища сигналили их машины.

На кладбище Алекпер вытер рукой слезы. И, рыдая, вынул трясущимися руками кларнет из футляра, собрал его и сыграл над катафалком Китабуллы сейгях. Кларнет Алекпера прощался с Китабуллой от имени всего квартала. В тот сентябрьский день кларнет звучал так, словно звуки мугама рассказывали о всех горестях мира,— сгорая в пальцах Алекпера, кларнет воды просил...

Голова Китабуллы тоже была повреждена, поэтому лицо ему не открыли, и Мамедага никак не мог поверить, что этот длинный, завернутый с ног до головы в саван предмет — Китабулла. Мамедага впервые в жизни попал на кладбище, и теперь он никак не мог осознать, что сейчас не что-нибудь, а тело Китабуллы в этой длинной белой оболочке снимут с катафалка и положат в свежевырытую могилу, насыплют сверху земли и польют водой, после чего все вернутся в квартал, а эта могила останется здесь, и будет лить дождь, и дуть ветер, а эта могила не сможет никуда уйти, и черви набросятся на нее. Все тело Мамедаги содрогнулось, ему показалось, что черви поползли по его собственному телу; в этот сентябрьский день он понял, что когда-то придет время и его самого положат в такую же могилу, укроют сверху землей, а мир останется прежним; в кинотеатрах, как и прежде, будут показывать кинофильмы; в театрах, как и прежде, будут ставить спектакли; люди, как и прежде, будут беседовать друг с другом; дети, как и прежде, будут готовить уроки; Мамедагу объял ужас, вылезающими из орбит глазами он смотрел на длинный белый кокон, он задыхался, перед глазами его вместо Китабуллы, чей рот и нос были замотаны саваном, поднялся белый туман, и вдруг Китабулла улыбнулся, и в белом-пребелом тумане сверкнул его золотой зуб; Мамедага помнил только, что громко вскрик-

нул, а что было потом, он не знал,— он пришел в себя уже дома, на своей кровати, спустя двое суток после похорон.

В тот год зимой в Баку шел сильный снег, уроки были отменены, не шли машины, трамваи. Старики квартала говорили, что не помнят в Баку такой снежной, такой морозной зимы.

Однажды распространилась весть о том, что в одном из верхних кварталов появился волк. Согнувшийся за три месяца Самедулла, услыхав об этом, произнес трясущимися губами:

— В наш дом волк пришел в сентябре...

А Алхасбек повторял слова Деде Коркута:

О бренный, бренный, бренный мир,
где смертен человек и сир...

...Они медленно брели по мокрому песку берегом моря. Месмеханум, помолчав, спросила:

— А что стало с девушкой?

— Тамиллой?

— Да.

— У Фатьмы было двое детей, но когда прошло сорок дней со дня смерти Китабуллы, она взяла обоих детей и ушла к отцу, развелась с Ядуллой и записала кебин Тамиллы с Ядуллой. Фатьма говорила: Тамилла — моя сестра, и Ядулла будет теперь моим братом. Все знали, что Фатьма сделала это в память Китабуллы...

— А почему Тамилла не вернулась в отцовский дом?

— Откуда мне знать?.. Наверное, не могла вернуться, да...

Все знали, что Фатьма заставила Ядуллу, потому что Ядулла и Фатьма очень любили друг друга.

Луна поднялась совсем высоко, и теперь линия горизонта, где соединялось полное бесчисленных звезд небо с морем, стала невидимой в далекой мгле; вместо горизонта была черная-черная пустота, а далеко-далеко, там, где проходила электричка, огни станции Бузовны отражались в море, и эти огни казались сейчас звездами моря; звезды моря и небесные звезды смешались между собой, но и среди этого множества выделялась утренняя звезда — большая, светлая, одинокая...

— А разве Тамилла любила Ядуллу? — спросила Месмеханум.

— Откуда мне знать...— сказал Мамедага и подумал:

почему же этот простой вопрос до сих пор не приходил ему в голову, почему он не задумывался, любила Тамилла Ядуллу или нет?

Мамедага посмотрел на Месмеханум, не отрывавшую глаз от моря, и вдруг ему показалось, что эта смуглая девушка, неожиданно возникшая среди ночи на морском берегу Загульбы,— самый дорогой и родной для него человек.

— Бедные...— сказала Месмеханум.

— Китабулла?

— И Китабулла, и Тамилла, и Ядулла, и Фатьма, и ты...

— А я почему?

— Потому что мальчишкой увидел такое... До сих пор не забылось — и не забудется...

Конечно, откуда было Мамедаге знать, что и Месмеханум в бессонные длинные ночи много думала о жизни и смерти? В те самые ночи, когда, с трудом дотащив Мирзоппу до кровати, свалила она его на постель, и Мирзоппа, издавая ртом, носом и животом разнообразные звуки, впадал в пьяный сон. В такие ночи у Месмеханум щемило сердце и она думала о своей жизни и о своей смерти, но почему-то ее думы заканчивались всегда тем, что Месмеханум попадала в какой-то сказочный мир и бродила среди волшебников, которые ее любят и лелеют. Но где-то в середине ночи Мирзоппу начинало мутить, частенько он бывал не в состоянии встать и дойти до туалета, поэтому, вытянув шею, он прямо с кровати блевал на пол. Однако, если Месмеханум с вечера ставила у кровати таз, Мирзоппа, являясь пьяным и замечая таз, выходил из себя:

— Ты за кого меня считаешь? Пьяница я, что ли?!

И начинался скандал, пускались в ход руки-ноги, царапалось лицо, извергались ругательства; после чего таз уже больше не появлялся с вечера рядом с кроватью Мирзоппы, а он снова блевал с кровати на пол, но Месмеханум больше ни запаха не чувствовала, ни мычания Мирзоппы не слышала — она уходила в свой сказочный мир, пребывала там, среди добрых волшебников, на их ласку отзывалась вся ее душа...

И сейчас, в эту странную ночь, Месмеханум показалось, что она наяву попала в придуманную ею сказку и поняла, почему ей не хотелось уходить из фургона, где на стенах висели деревянные зайцы, лиса, медведь, лев и неведомый зверь, который сверкал серебром в лунном све-

те, будто вышел из мира ее бессонных ночей для того, чтобы этой ночью появиться здесь, на морском берегу Загульбы; и большие голубые глаза высокого симпатичного парня так похожи на добрые, ласковые глаза ее волшебников...

— У тебя есть на небе твоя звезда? — спросила Месмеханум.

— Моя звезда?..— Мамедага посмотрел на небо.— Нет, у меня нет своей звезды.

На дорогах Апшерона у Мамедаги было много знакомых автоинспекторов, но в небе Апшерона своей звезды у него не было. Мамедага и забыл, что человек выбирает себе на небе звезду и всегда может найти ее среди других; для Мамедаги все это осталось в детстве, как и другие игры.

— А у меня есть звезда!..— Месмеханум посмотрела на Мамедагу с такой гордостью, словно ей принадлежал весь мир.— Взгляни.— Протянув руку, она показала на еле различимую звездочку под утренней звездой.

— Как ты ее разыскала? — Мамедага отвел глаза от этой едва различимой звездочки и, улыбаясь, посмотрел на Месмеханум.

А Месмеханум спросила:

— Твоя улыбка похожа на улыбку Китабуллы?

Месмеханум спросила, но тут же испугалась, что этот голубоглазый парень, улыбающийся ей в лунном свете, сидя за рулем своего фургона, тоже может встретиться с машиной пьяного и превратиться в длинный белый предмет; она испуганно посмотрела на свою звезду, чей свет с трудом пробивался на морской берег Загульбы.

Месмеханум не случайно выбрала себе такую далекую, едва различимую звезду. Глядя порою по вечерам на большое инжировое дерево перед их окном, она думала о том, что и счастье ее так же недостижимо, как эта звезда. А потом, когда у Месмеханум появился волшебный сказочный мир, расстояние до той звезды перестало быть непреодолимым, оно просто стало расстоянием до этого волшебного мира.

Вопрос Месмеханум озадачил и Мамедагу — словно он снова увидел улыбающееся лицо Китабуллы и его золотой зуб сверкнул в лунном свете.

— Не знаю...

Месмаханум сказала:

— Знаешь, о чем говорит мне моя звезда?

Мамедага молчал.

— Моя звезда говорит мне: Месмеханум, ты никогда не умрешь! Месмеханум, ты всегда будешь жить! Месмеханум, черная земля тебя не увидит!..

Месмеханум захотелось, махая руками, громко закричать в эту странную летнюю ночь прямо своей звезде: «Э-ге-ге-гей!», но она сдержалась, потому что и без того уже вывернула всю свою душу.

Мамедага спросил:

— А больше тебе ни о чем не говорит звезда?

Месмеханум отвела глаза от своей далекой звезды и, услышав в голосе Мамедаги смех, сама рассмеялась:

— А больше ни о чем не говорит!

— Разве не говорит она тебе, Месмеханум, что, в сущности, ты не Месмеханум, а Месмебебе?..

— А-а-а... Это я-то ребенок? — Месмеханум ответила ему усмехаясь, но ей все же понравились его слова. В устах Мамедаги «Месмебебе» прозвучало как-то очень ласково, по-родному, и теплота этого слова разлилась по сердцу Месмеханум. Но тут же ей вспомнилось, как три-четыре месяца назад она поругалась с милиционером Сафаром.

Милиционер Сафар в очередной раз задержал пьяного Мирзоппу и повел его в отделение милиции. Узнав об этом, Месмеханум как всегда чуть не выцарапала милиционеру Сафару глаза. Милиционер Сафар, вытирая мокрым платком лицо, сказал:

— Дочка, ты еще ребенок, просто ребенок! Жалко мне тебя!..

Тогда эти слова сильно задели Месмеханум, ей показалось, что милиционер Сафар своими маленькими глазками, в сущности, многое видит и читает в другой душе. У нее даже опустились руки, и она подумала: почему из-за безобразных поступков Мирзоппы она прибегает в милицию и проявляет такое неуважение к пожилому мужчине? Ведь каков бы он ни был, этот мужчина, он в десять раз лучше Мирзоппы! Месмеханум хорошо понимала и хорошо знала, что о своем муже нельзя такие слова говорить и даже думать такое. Говорить-то, конечно, Месмеханум никому ничего и не говорила, а мысли эти с тех пор то и дело приходили к ней. Правда, и после, каждый раз, когда Мирзоппа, напившись, устраивал дебош и попадал в отделение милиции, Месмеханум отправлялась за ним и поднимала там скандал: мол, выпустите моего

мужа,— ведь Мирзоппа был ее мужем, и она должна была вести себя так, но все это она проделывала уже механически, а душа ее была далеко...

Месмеханум захотелось забыть обо всем этом. Сейчас она не хотела думать ни о чем плохом на свете, и она шепотом сообщила Мамедаге нечто очень важное:

— Знаешь, моя звезда шутить не любит!

— Правда? — ответил ей тоже шепотом Мамедага.

— Да,— совсем уж тихо прошептала Месмеханум.— Давай и тебе выберем звезду?

Мамедага шепнул:

— Давай выберем...

Месмеханум прошептала:

— Выбирай какую хочешь...

— Вон ту...— Протянув руку, Мамедага пальцем показал на еще одну еле различимую зведочку рядом со звездой Месмеханум.

— Пусть навсегда будет твоей...

— Хорошо...

И опять в Месмеханум родилось предчувствие, что весь этот разговор о звездах на безлюдном морском берегу Загульбы ничего хорошего не предвещает; конечно, ничего плохого не произойдет, горечь останется, и больше ничего...

— Нет, эту нельзя! — громко сказала Месмеханум.

— А какую можно? — Мамедага понял, что в душу Месмеханум вошла какая-то тревога.— Столько звезд, какую же мне выбрать?

— Какую хочешь, только мне не показывай.

— Почему?

Месмеханум не хотела объяснять. Она хотела бы скрыть и от себя самой то, что казалось ей неизбежным: пройдут дни, месяцы, кто знает, годы, и ветер, дождь, снег унесут след серебристого фургона из этих мест, и тогда, подняв голову, она увидит звезду некогда случайно встретившегося ей голубоглазого парня; теперь она будет каждую ночь видеть эту звезду, и ей будет тяжело, а голубоглазый парень быстро забудет звезду, которую он выбрал себе в одну из ночей в небе Загульбы, и горечь человеческого одиночества почувствует тогда Месмеханум...

— Свою звезду никому нельзя показывать.

— А ты почему показала?

Месмеханум снова посмотрела на свою звезду и ра-

стерянно повела круглыми плечами, туго обтянутыми желтой трикотажной корфточкой.

Снова подул норд. Он понемногу крепчал; если и дальше так пойдет, ветер за ночь хорошенько похозяйничает в этих местах. Мамедага хорошо знал, что апшеронская погода непостоянна — в течение часа может разыграться такой ураган, только берегись. Ему нравился ветер, а многие терпеть не могут его, особенно приезжие; они никак привыкнуть не могут к этим ветрам. А он много колесил по дорогам Апшерона, разрывая ветер своей тяжелой машиной, но в эту удивительную летнюю ночь на этом морском берегу Загульбы не надо бы ему дуть так сильно, чтобы песок забивался в нос и уши; в эту ночь ветру надо бы дуть так, чтобы эти скалы, превратившись в легкие лодки, хотели уплыть в море.

Мамедага сказал:

— Норд крепчает, кажется...

А Месмеханум посмотрела на него и сказала:

— Хочешь, остановлю ветер?

Мамедага пошутил:

— Ты колдунья?

— Да, я ужасная колдунья...— И Месмеханум оглянулась по сторонам.

— Что ты ищешь?

— Надо с деревом поговорить. Сказать дереву, чтобы оно остановило ветер.

Мамедага посмеялся над мудрой Месмебебе, но продолжил игру:

— А какое дерево тебе нужно?

— Любое.

Кто-кто, а Мамедага знал, что на песчаном морском берегу Апшерона найти растущее дерево — трудная задача; остов сгнившей лодки можно найти, водочные, пивные бутылки, засыпанные песком с довоенного времени, вымазанное мазутом весло, выброшенных на берег рыб, даже тюленя можно найти, но найти зеленое дерево, чтобы остановить ветер,— почти безнадежное дело.

— Вон на том холме растут маслины, пойдем туда...— И она, не дожидаясь ответа Мамедаги, сняла с ног сандалии и по еще не остывшему после полуденной жары песку быстрыми шагами пошла к темнеющему вдалеке холму.

Мамедага, наполняя свои туфли мелким песком, шел за колдуньей и чувствовал, что за этой быстро идущей

босой девушкой с сандалиями в руках он шел бы вот так хоть на край света.

Месмеханум, обернувшись к нему, сказала, смеясь над горожанином:

— Сразу видно, что ты человек с асфальта. Снимай туфли, иди быстрее.

Сняв туфли и носки, Мамедага взял их в руки и подбежал к ожидавшей его в лунном свете колдунье.

— Ты не веришь, что я остановлю ветер?

— Верю!

— Крепко веришь? Сейчас увидишь!

Мамедага шел за ней по остывающему песку, плотному под ступней, но рассыпающемуся при ходьбе, и ему казалось, что он не касается земли, а парит в облаках, проникнутых смирением и печалью; это смирение и печаль возникали обычно по ночам, а поутру пропадали; днем начинались заботы, беготня, днем ночной человек менялся, становился другим,— почему же сейчас в сердце Мамедаги проникли уже признаки утреннего беспокойства?

Апшеронский ветер надул на морском берегу большой холм из песка, и, как только они дошли до песчаного холма, Месмеханум побежала вперед и начала взбираться, оглядываясь. Девушка насмешливо говорила:

— Осторожнее, а то вдруг упадешь...

Мамедага, при каждом шаге проваливаясь в песок чуть ли не по колено, отвечал ей в тон:

— Не бойся! Я иду за тобой!

Песок на холме был очень теплый, и это тепло согревало ноги Мамедаги.

Месмеханум сверху кричала:

— Какой чудный горячий песок!

Мамедага знал, что в летний зной этот песок чудесным образом приносит разгоряченному телу прохладу.

А Месмеханум снова кричала:

— Жалко, что в будущем году сюда уже нельзя будет взобраться!

— Почему?

— Санаторий здесь построят! Со всех концов мира люди съедутся сюда. Во всем мире станет знаменитой Загульба. Во всех уголках мира узнают, что на Апшероне, на берегу Каспия, есть место, называемое Загульбой. Но жаль, что тогда уже этого песчаного холма не будет... Тогда я буду приходить, смотреть на этот санаторий, и

мне будет вспоминаться, что в свое время здесь был песчаный холм...

С вершины холма в сторону загульбинского пансионата белела тропинка, и справа от этой тропинки сплошь росли маслиновые деревья.

— Здесь много змей, не наступи!

— В такой ветер какие могут быть змеи?..

— С ветром я сейчас справлюсь!

В ночное время змеи часто выползали на дорогу, и Мамедага на дорогах Апшерона летом, можно сказать, каждую ночь встречал ползущих прямо по асфальту самых различных змей. Большинство их оставалось под колесами машин, но по ночам другие снова выползали на асфальт. Асфальт хорошо сохранял дневное тепло, и, наверное, поэтому апшеронские дороги по ночам влекли к себе змей.

А норд незаметно набрал силу.

Месмеханум, быстро обойдя мелкие деревца, остановилась в полных стрекотания кузнечиков зарослях маслин, перед раскидистым оливковым деревом. Мамедага, задыхаясь, наконец догнал ее. Ему показалось, что Месмеханум очень хорошо знает это ветвистое дерево. В одной руке она держала свои сандалии, а в другой сжимала мелкие листочки маслинового дерева. Повернув голову, снизу вверх посмотрела она Мамедаге прямо в глаза, улыбнулась, а потом, снова обернувшись к дереву, потрясла его за ветку и сказала:

Я у мамы первенец,
Я лиса с черной пастью.
Норд, уйди,
Моряна, приди!..

И обернулась к Мамедаге:

— Ты у мамы какой по счету?

— Первый.

— Правда? — Месмеханум обрадовалась, как ребенок.— Тогда и ты скажи.

И Месмеханум снова, тряся ветку маслинового дерева, стала медленно и тихо повторять свое заклинание, а Мамедага так же медленно и тихо повторял ее слова:

Я у мамы первенец,
Я лиса с черной пастью.
Норд, уйди,
Моряна, приди!..

Некоторое время они стояли молча. В зарослях маслиновых деревьев было тихо; густая листва заслонила лунный свет, и в темноте Мамедага чувствовал дыхание стоящей рядом с ним колдуньи, слышал, казалось, стук ее сердца, словно все это происходило во сне, когда он, как обычно в разъездах, спал в своей кабине на мягком кожаном сиденье. Только сон на этот раз какой-то необычный.

И вдруг — в эту удивительную летнюю ночь было все возможно — произошло в самом деле чудо: усиливавшийся норд внезапно прекратился, и кузнечики, почувствовав это, стали стрекотать громче.

— Видишь? — Черные глаза Месмеханум светились в темноте.

— Вижу! — отвечал застывший в изумлении Мамедага.

Так же ловко, как вошла, Месмеханум вышла из зарослей и быстро полезла на песчаный холм. Ступая босыми ногами на колючки и щепочки, Мамедага торопливо пошел за ней.

Ноги их проваливались, и тепло глубокого песка снова согревало их, и оба думали сейчас об одном: какая хорошая ночь! Конечно, они не знали, что думают об одном и том же, но, посмотрев друг на друга, поняли: эта ночь была хорошей, потому что рядом с морем, с этим песчаным холмом под звездами, в лунном свете серебрится стоящий невдалеке алюминиевый фургон; эта ночь еще потому хороша, что в самом центре ее, между морем, звездами и песчаным холмом стояла девушка, которая умела разговаривать с морем и дружила с деревьями, а рядом с ней стоял парень, чьи голубые глаза светились добротой, напоминая об отце, которого она в свое время выдумала, но забыть не могла.

А шум моря, прежде усиливавшийся под ветром, теперь вместе с ветром слабел, и пенные гребешки волн белели все реже, и море в лунном свете постепенно темнело; с вершины песчаного холма море казалось еще более огромным, просто гигантским.

Месмеханум вздохнула.

— Завтра будет жарко.

Мамедага ответил словно нехотя:

— Да, жарко будет...

И оба они вдруг почувствовали, что думать о завтра им не хочется; ночи, которая есть, одинокого фургона,

что серебрится в ночи, маслинового дерева, что может остановить ветер, им вполне достаточно; они снова думали об одном — и их одновременно коснулась тревога.

Среди звезд показались зеленая и красная, послышался гул самолета; красная и зеленая звезда, пролетев над их головами, направились к аэродрому в Бина; огоньки исчезли, но гул еще некоторое время слышался, и Месмеханум, прислушиваясь к уходящему гулу, спросила:

— А ты откуда сюда приехал?

— Из Фатмаи.

Месмеханум громко рассмеялась:

— А-а-а... Мне казалось, ты с небес спустился, а ты говоришь — из Фатмаи... Ты в самом деле приехал из Фатмаи?

Мамедага тоже рассмеялся.

— Да, я приехал из Фатмаи,— сказал он и, отметив про себя, что гул самолета вовсе прекратился, подумал, что вчера, проведя самую обыкновенную ночь в Фатмаи, он даже представить себе не мог, что завтра в Загульбе его ждет такая ночь; Мамедага подумал и о том, что человек находится в дороге не только тогда, когда садится в машину, поезд, самолет или на пароход,— человек находится в пути с момента своего появления на свет, в дороге из сегодня в завтра, и эта дорога отличается от обычной лишь тем, что сегодня ты не знаешь, где выйдешь завтра — на станции Радость или на станции Печаль? Вроде бы и эта мысль опять не очень-то нова, но вот в чем дело: прежде о таких вещах Мамедага вовсе не задумывался и подобное направление своих мыслей он ощущал как частицу этой удивительной летней ночи, как нечто совершенно новое для себя.

Но сказал он вслух самое простое:

— Вчера ночью в Фатмаи шел дождь... А здесь?

— Нет.

— Совсем не было?

— Нет,— подтвердила Месмеханум, и вдруг ей показалось странным, что вчерашней ночью один из них попал под дождь, а другой нет.

— Ты была в Фатмаи?

— Нет, не была.

— Хорошее село.

— Правда? — Месмеханум совершенно искренне удивилась, как будто место, где жил Агададаш, не могло быть хорошим: ей сразу вспомнился Агададаш, а этот че-

ловек, по мнению Месмеханум, был самым подлым человеком на свете, и каждый раз, когда он появлялся хотя бы только в памяти, у нее начинало все дрожать так, будто к ее телу прикасалась лягушка...

...Агададаш приходился Месмеханум дальним родственником, и мать Месмеханум, Гюльдесте, при знакомых, приятелях и соседях, к месту и не к месту, часто упоминала его и рассказывала о нем — пусть, мол, все знают, какие у них родственники! Агададаш был заведующим цехом чемоданов, имел в Фатмаи большой двухэтажный особняк, и прозвище у него было подходящее — все его звали «Золотой Агададаш». Однажды Гюльдесте и Месмеханум, возвращаясь с базара домой, встретились с Агададашем, едущим на своей белоснежной «Волге», и Агададаш, остановив машину, посадил их и отвез прямо к ним во двор.

Это было время, когда Месмеханум только что перешла в десятый класс и все свои деньги, собранные по гривеннику, отдавала фотографу Николаю за открытки, на которых были кадры из индийских и арабских фильмов.

Месмеханум много раз слышала имя Агададаша, но в лицо его не видела, и, когда белоснежная «Волга» остановилась во дворе их дома, девушке показалось, что она стала героиней одного из своих любимых фильмов. Соседи, увидев белую «Волгу», высовывались из окон, удивленно таращa глаза и многозначительно покачивая головами. Гюльдесте, выйдя из машины, победоносно посмотрела на соседские окна и быстренько, не дожидаясь, когда выйдет Месмеханум, сказала:

— Хлеб-то мы купить забыли!..

Когда они шли на базар, мать и не собиралась покупать хлеб. Гюльдесте для того сказала о хлебе, чтобы некоторые из их соседей, глядя и слушая из окон, от зависти сгорели.

Агададаш, посмотрев в переднее зеркальце машины на Месмеханум, сказал:

— Забыли? Ну и что, мы сейчас съездим, купим и привезем.

Месмеханум тоже посмотрела на Агададаша в зеркальце и улыбнулась.

Гюльдесте, глядя скорее на соседей, чем на Агададаша, сказала опять-таки для тех же завистливых соседей:

— Мы тебя замучили совсем...

А Агададаш, улыбаясь Месмеханум в зеркальце, возразил:

— Помочь вам — для меня удовольствие.— И белая «Волга» тронулась с места.

Гюльдесте, подняв с земли тяжелую плетеную корзину, нагруженную картофелем и луком, пошла к дому, с удовлетворением приговаривая:

— Вот такой он, сын моей тети — Агададаш!..

Прежде она всегда говорила «наш близкий родственник Агададаш», но история с белой «Волгой» привела ее в такой восторг, что Агададаш сразу стал сыном тети.

Кое-кто из соседей усомнился, конечно, в этой новости, но кое-кто, глядя вслед белой «Волге», подумал: гляди-ка, а Гюльдесте правду говорила, шикарный у нее родственник!

Выехав со двора, Агададаш остановил машину и, на этот раз обойдясь без помощи зеркала, обернулся к Месмеханум.

— Пересаживайся вперед.

Месмеханум пришла в совершенное умиление от этого предложения Агададаша и, смущаясь, сказала:

— Большое спасибо... Здесь тоже хорошо...

Агададаш крепко потянул Месмеханум за руку:

— Иди, иди! Что ты, хуже других?

Конечно, раз такой родственник, как Агададаш, хотел, чтобы Месмеханум пересела вперед и чувствовала себя более удобно, нельзя было ему отказать; Месмеханум молча вышла из машины и села впереди, рядом с Агададашем.

Агададаш сказал:

— Ты мне понравилась, хорошая девочка! — Потом спросил: — Сколько тебе лет?

Похвала Агададаша по сердцу пришлась девушке, и Месмеханум, краснея, сказала:

— Шестнадцать исполнилось, пошел семнадцатый...

Держа левой рукой руль, Агададаш правой рукой коснулся голых коленок Месмеханум, выступавших из-под ее черной юбки:

— Э-э, да ты просто табака!..

Месмеханум в жизни не была в ресторане и не знала, что, когда цыпленка распластывают, как лягушку, и поджаривают до красноты, его называют табака, и это очень вкусная штука — цыпленок табака; Месмеханум не поняла слов Агададаша и, глядя на эту дорогу, которую всегда проходила пешком, подумала о том, как хорошо иметь такого родственника, как Агададаш; одно только тревожило

Месмеханум и очень мешало получать полное удовлетворение от этой прекрасной прогулки, заставляя все сильнее биться ее сердце: ее тревожила правая рука Агададаша, поскольку эта рука все еще лежала на голой коленке Месмеханум.

Внезапно у Месмеханум сердце ушло в пятки — она почувствовала, что рука Агададаша потихоньку поднимается вверх, к ее бедру; она не знала, что делать, она так растерялась, что не издавала ни звука; рука Агададаша под черной юбкой постепенно поднималась выше, и Месмеханум, не в силах больше сдерживаться, хотела сказать, что дома у них есть хлеб и не надо покупать никакого хлеба, что она хочет только быстрее вернуться домой...

— Дядя Агададаш...

— Дядя? Не ожидал от тебя такого!..— Агададаш, отведя глаза от дороги, с упреком посмотрел на Месмеханум, потом сжал бедро девушки.— Говори мне просто Агададаш, хочешь — называй Ага или Дадаш, как тебе захочется... Как для других, так и для тебя! Ты не ниже других, как тебе захочется, так и зови меня! Ты будешь у меня как сыр в масле кататься. Раз в месяц я буду покупать тебе роскошный наряд и шубу куплю, клянусь здоровьем! Клянусь всеми святыми!

Месмеханум ничего не понимала из слов Агададаша, только чувствовала, что рука на бедре поднималась все выше.

— Останови! Я выхожу! Мама!..

Словно ужаленный змеей Агададаш в мгновенье отдернул руку и нажал на тормоз — он никак не ожидал скандала. А Месмеханум пришла в себя только тогда, когда поняла, что бежит по улице к дому.

Их квартира находилась на втором этаже большого двухэтажного дома, и Гюльдесте, выйдя на балкон, ждала белую «Волгу». Увидев возбужденную Месмеханум, бегом проскочившую двор, некоторые соседи покачивали головой, некоторые удивились, а некоторые подумали, что такие вот дела: дерево, по которому взобралась мать, дочь проходит по веткам...

Гюльдесте бросилась открывать дочери дверь.

— Что с тобой? Что произошло? Где Агададаш?

Гюльдесте придумала замечательный план: она задержит Агададаша, заварит чай, поставит перед ним варенье, которое хранила для особо важных гостей, а белая «Волга» часа два постоит во дворе, и... Увидев дочь в таком воз-

бужденном состоянии, Гюльдесте было решила, что белая «Волга» попала в аварию или задавила человека.

Но Месмеханум, всхлипывая, кинулась на старый пружинный диван.

— Убежала я, убежала! Убежала!

У Гюльдесте был немалый жизненный опыт, и тут уже она, кажется, догадалась о чем-то, но потребовала от дочери точного отчета:

— Почему убежала?

— Он залез рукой мне под юбку!..

Догадка Гюльдесте подтвердилась и, она, хлопнув ладонью о ладонь, крикнула:

— Вай, сукин сын! Пепел на голову такого мужчины! Да какой это мужчина — мартышка, мартышка!

Месмеханум обычно сердилась, когда мать ругалась, но на этот раз, всхлипывая, только повторяла:

— А ты всегда говорила, что он наш родственник... родственник... и бог знает кто...

Гюльдесте эти упреки еще больше растравляли.

— Родственник? Да провались он! Родственник нашелся! Проходя по мосту, мы с ним случайно столкнулись, вот и все! Оставил дома жену в сто килограмм, а сам ребенку под юбку лезет! — Потом, будто Агададаш стоял рядом, она растопырила пальцы и обеими руками отвесила ему пощечины: — Вот тебе! Вот! Чтоб ты провалился!

После случившегося разговоры об Агададаше в доме совершенно прекратились, Гюльдесте ни разу не упоминала его имени при дочери, но, когда Месмеханум не было рядом, при знакомых и соседях она порою все же не могла удержаться, чтобы не похвастать:

— Золотой Агададаш — наш родственник!..

...Мамедага смотрел на задумчивую Месмеханум, и ему очень хотелось, чтобы в эту удивительную летнюю ночь он обрел способность читать в сердце этой девушки.

— О чем ты думаешь?

Легко ступая босыми ногами, Месмеханум спускалась с песчаного холма.

— Думаю о том, что есть на свете дурные люди и поступки у этих людей дурные.

— К чему это?

— Есть один в Фатмаи... Вроде бы наш родственник...

Фатмаи было маленькое село, и Мамедага знал большинство живущих там.

— Как его зовут?

— Агададаш.

— Какой Агададаш? Золотой Агададаш?

— Да, Золотой Агададаш.— Месмеханум с новым удивлением посмотрела на этого всеведущего парня, спускавшегося к ней с холма в лунном свете, и почувстовала, что сейчас она услышит от него что-то неожиданное.

— Так его же арестовали...

— Правда? — У Месмеханум, казалось, вспыхнули глаза, и по этой искре, мелькнувшей в глазах девушки, останавливающей ветер, Мамедага понял, что Агададаш был, видно, очень плохой человек.

— Да. Государственный чемоданный цех он превратил в свою лавку... И все собранное им золото отобрали — нечестное ведь!

— Да буду я жертвой Советской власти! — Месмеханум сказала эти слова так, будто они годами накапливались у нее в душе и теперь вдруг вышли, дождавшись случая.

— А ты как думала? Теперь жуликам стало туго. Паника у них, собачьих детей.

— Да если их будут вешать у меня на глазах — не охну! — Месмеханум явно не могла сдержаться.

— Он что тебе — много плохого сделал?

— Агададаш? Давно это было... Я была еще робкой овечкой...— Месмеханум улыбнулась, но Мамедага заметил горечь в улыбке ее. Сердце его дрогнуло — он понял, что эта смуглая девушка, говорящая с морем по ночам, когда дует моряна, совсем беззащитна и одинока.

А Месмеханум, забыв о Мамедаге, ушла в себя, ею овладела грусть по детству, по прежней Месмеханум. Если бы теперь Агададаш сунул руку под юбку Месмеханум, она выцарапала бы ему глаза. Остались позади те времена, когда Месмеханум терялась от страха перед любым негодяем, теперь она чувствовала себя совсем другой, она знала все обо всем на свете, и если кто-нибудь скажет ей слово, то получит пять в ответ, как получил недавно Нерсес Вартанович.

Помидорный киоск Месмеханум работал от большого районного магазина «Фрукты — овощи», где заведующим был лет сорок крутившийся в торговой системе Нерсес Вартанович Гюльбекян. Позади киоска Месмеханум рос-

ло большое тутовое дерево, и Нерсес Вартанович на своем выигранном в лотерее желтом «Москвиче» (все, правда, говорили, что Нерсес Вартанович вовсе не выиграл машину по лотерее, а купил у кого-то счастливый билет за большую сумму, поскольку Нерсес Вартанович был хитрец и не хотел, чтобы однажды ему задали такой вопрос: «У тебя зарплата всего сто рублей в месяц, у тебя жена и дети, откуда же у тебя столько денег, чтобы машину купить?»), поднимая пыль, часто приезжал сюда и говорил:

— Вах!..— Потом, сдвинув соломенную шляпу на жирный затылок, смотрел вверх.— Душа горит, ахчи, полезай, нарви немного тута, поедим!

Месмеханум не отказывала этому пожилому человеку в его просьбе; скинув белую ситцевую куртку, она в один миг взбиралась на дерево и наполняла тарелку спелыми ягодами, поскольку нельзя было трясти дерево — везде вокруг был песок. Минут десять — пятнадцать восседала Месмеханум на дереве и однажды заметила, что храбрец Нерсес Вартанович тайком подглядывает за ней снизу вверх, из окна ее киоска.

Месмеханум чуть не кинула прямо с дерева на голову Нерсесу Вартановичу тарелку с нарванным тутом, так она рассердилась.

— Ах ты, старая перечница! Меня на дерево заставляешь лезть, а сам снизу подсматриваешь! Негодяй! Ну, погоди!

Нерсес Вартанович покраснел, как выкрашенное к новруз-байраму яйцо:

— Ахчи, я старый человек!..

— Ах, лиса, ты в Мекку едешь? [1] Подожди, я спущусь сейчас!..

Ясное дело, что Нерсес Вартанович, не дождавшись, пока Месмеханум спустится с дерева, бросился к своему желтому «Москвичу», и, когда Месмеханум спрыгнула с нижней ветки на землю, машина тронулась с места, поднимая пыль. Нерсес Вартанович спасся в тот день от гнева Месмеханум, но и после этого старался не попадаться ей на глаза...

Месмеханум вспоминала... Но в эту странную летнюю ночь на песчаном морском берегу Загульбы даже эта ли-

---

[1] Есть такая азербайджанская притча: лиса обманывает кур, говоря, что стала верующей, едет якобы в Мекку на паломничество. Куры верят ей и становятся ее добычей.

хая победа над трусливым заведующим не доставила удовольствия, сердце ее сжималось от сознания, что годы отняли у нее и унесли чистую кротость, невинность, девичий трепет и жажду огромного счастья. Прожитые годы были как болото, они поглотили все — наивность и доверчивость, и на поверхности этого болота даже следа не осталось от того, что ушло, а если и осталось что, так это или еле слышимый детский голосок, едва различаемый аромат юности, чуть видная тень некоей девочки, и от этих неуловимых воспоминаний начинает щекотать в носу и сердце переполняет печаль.

Вот о чем думала Месмеханум, пока Мамедага, сидя на песке и завязывая шнурки туфель, наблюдал за ней. Эта красивая смуглая девушка, думал он, считает себя бывалой женщиной, смеется над своей робостью в детстве и думает, будто детские годы давно засыпаны песками жизненного опыта. А на самом деле она и теперь та же самая девочка, робкая, хотя и драчливая, и у нее длинный язык и острые когти. Да, робкая овечка, и вся ее бойкость была необходима для того, чтобы прикрыть свою робость и скрыть ото всех то, что она умеет беседовать с морем и повелевать ветром.

Тем временем море успокоилось и монолитные скалы, превратившись в легкие лодки, казалось, вот-вот уплывут. Море журчало как река, и Месмеханум, подойдя к самой воде, стояла босыми ногами на влажном песке; она посмотрела вдаль, потом взглянула на касающуюся ее голых пальцев теплую воду, потом, нагнувшись, зачерпнула горсть воды, разжала пальцы, и вода сквозь ее пальцы снова ушла в море; Месмеханум побрела вдоль берега, и ей пришло в голову, что иногда ночью в доме капает вода из крана, и человек до утра не может заснуть, а вот такое бесконечное журчание воды не только не раздражает, а успокаивает, и человек, как вот эти монолитные скалы, хочет стать лодкой и плыть; идя вдоль берега, Месмеханум не забывала о том, что сейчас за нею следит пара голубых глаз...

— Ты много видела плохого тогда?

— Когда?

— Ну, когда была робкой овечкой...

Мамедага хотел пошутить, но слова с трудом пролезли через внезапно пересохшее горло.

— А... Ты о том времени говоришь...— Месмеханум легко улыбнулась.— Нет. Один-два раза...

— А потом как? Потом чаще встречалось плохое?
— А что ты называешь плохим?
— Что называю? Не знаю... Плохое, и все...
Конечно, если бы Мамедага, положив перед собой папаху, подумал, он мог бы ответить, что такое плохое, то есть он ответил бы, что плохое — это неблагодарность, эгоизм, нечестность, неуважительность, безжалостность, скупость и все такое подобное, но сейчас Мамедага подумал иначе: плохо не только то, что может сделать один человек другому; человек одинок — ему не на кого опереться, нечему порадоваться — вот это плохо. И он вдруг решил, что, в сущности, человеку плохо и тогда, когда ночью дует моряна и ему приходится под шум ветра разговаривать с морем,— не человек плох, а что-то в его жизни плохо.
— Бить человека — плохо?
— Плохо, конечно...
— Вот, посмотри! — Месмеханум оттянула ворот своей желтой кофты и показала на полном гладком плече синяк; Месмеханум никогда бы не подумала, что вдруг в лунном свете, оголив плечо, покажет синяк чужому парню, а этот чужой парень, стоя перед нею, потрясенно будет смотреть на нее, потом, подняв руку, будет водить ладонью по плечу, задержит руку на больном месте, и по всему телу Месмеханум разольется никогда ею не испытанное тепло; она поймет, что это происходит не в ее сказочном мире, а на самом деле, и ей покажется, что эта рука — рука самого родного для нее человека в мире, ей покажется, что рука эта — рука ее отца, которого она никогда не видела...

Гюльдесте работала проводником в поезде «Баку — Воронеж» и три дня жила дома, а пять — в поезде. Месмеханум с первого класса училась в школе-интернате, и к отлучкам матери она привыкла: раз или два в неделю она приходила домой и думала, что так и должно быть. Но прошли годы, Месмеханум окончила седьмой класс, и Гюльдесте решила, что дочь уже выросла, сможет сама все сделать по дому и не побоится остаться одна. Мать забрала дочку из интерната, и Месмеханум стала жить дома, как все дети, готовила дома уроки, как все дети, а по ночам, как все дети, спала,— впрочем, нет, не всегда она спала, потому что сердечко ее теперь сжималось каждый раз, когда мать уезжала.

Гюльдесте взяла Месмеханум домой не только потому, что очень любила дочь, хотя, конечно, она очень ее любила и думала о том, что пора уже присматривать за ней: Месмеханум становилась девушкой и нельзя было предоставлять ее самой себе. Но была и другая причина: ей хотелось, возвращаясь из поездки, знать, что ее дома ждут, ей кто-то радуется, а когда она отправляется в поездку, плеснет ей вслед воды...

Конечно, со временем Месмеханум свыклась с тем, что матери по пять дней подряд не бывает дома, иногда ей даже казалось странным, что другие матери безотлучно живут со своими детьми. Словом, тоска незаметно ушла из ее сердца, уступая место чему-то новому, прекрасному, волшебному. Это был ее внутренний мир, в который погружалась она вся без остатка.

Она жила теперь сразу в двух мирах: в первом — учила уроки, ходила в школу, готовила себе еду, перешивала из старья материнского для себя платья, вечерами смотрела в клубе кинофильмы, ждала мать и вместе с нею ездила в Баку, бродила там по магазинам и занималась разными другими подобными делами, то есть такими, какими занимаются все; второй же мир Месмеханум был только ее миром, в нем по ее желанию шел дождь, падал снег, всходило солнце, в любое время можно было стать ребенком, или, наоборот, взрослой и иметь своего ребенка...

Кроме того, она постоянно жила в ожидании чего-то необычного.

Произошло это весной, когда внутренний мир ее приобретал все краски внешнего — весенних деревьев, цветов, кустов и ее солнце изливало на ее мир беспричинную радость. В один из таких весенних дней, придя домой, Месмеханум увидела в комнате незнакомого ей мужчину, который сидел за их круглым столом, покрытым белой скатертью, и беседовал с матерью. Белая скатерть иногда стелилась на стол, чтобы подчеркнуть особое уважение к гостю, и Месмеханум поняла, что этот гость — уважаемый гость.

Месмеханум второй раз видела у себя дома чужого мужчину. В первый раз это случилось, когда она только перешла из интерната домой. Тогда она училась в восьмом классе. Был ветреный осенний день, и преподаватель географии Азизов, заболев, не пришел на урок. Месмеханум раньше обычного ушла из школы, открыла дверь

своим ключом, вошла и увидела в комнате чужого мужчину в одних голубых трусах, а Гюльдесте лежала в постели. На деревянной табуретке у кровати валялись ее лифчик, комбинация, трусы, и Месмеханум поняла, что мать раздета. Чужой мужчина, торопливо надев брюки, смылся, а Гюльдесте залезла с головой под одеяло.

На этот раз чужой мужчина был не в трусах, на нем был чесучовый костюм, и, увидев Месмеханум, ни мать, ни он нисколько не растерялись,— сидя друг против друга, они продолжали пить чай. Наливая в блюдце, мужчина с шумом втягивал в себя чай, и по его толстому лицу катились ручейки пота. Когда он, попрощавшись, ушел, Гюльдесте многозначительно сказала:

— Хороший парень!..

Потом этот толстый мужчина зачастил к ним, и Месмеханум поняла, что мать собирается за него замуж. Теперь, приходя домой, девушка не открывала дверь своим ключом, а нажимала кнопку звонка — она боялась увидеть и этого мужчину без брюк. Он был значительно моложе первого, к тому же первый был длинный и худой, немного похож на милиционера Сафара, и голова у него была тоже лысая, а этот парень был полный.

Месмеханум молча ждала, когда это произойдет. Она думала об этом чаще всего ночью, перед тем как заснуть, и в такие ночи в ее втором мире лютовали ураганы, ей было сиро и холодно. Но вдруг появлялся юноша, похожий на сказочного принца, и спасал ее от этого ужасного холода. Все это было в душе, а в обычном мире к ним приходил толстый молодой мужчина, садился за накрытый белой скатертью стол, наливал себе чай в блюдце, с шумом выпивал, и по его жирному лицу катились капли пота.

Конечно, Месмеханум была уж взрослой девушкой и понимала, что ее мать несчастна, потому что у всех знакомых соседей был мужчина в доме, у кого муж, у кого отец, у кого брат, а у них никого,— все это Месмеханум понимала, одного понять не могла: что нашла мать в этом толстом малопривлекательном мужчине, который и говорить-то толком не умеет!

Так все и шло до поры до времени, пока не произошло самое неожиданное событие на свете: Месмеханум узнала, что этот толстый мужчина ходит к ним не ради матери, а ради нее!

18*

— Дочка, неужели ты еще не догадалась? Твои сверстницы такое вытворяют!.. Ради тебя приходит Мирзоппа, из-за кого же еще?.. Ради тебя. Неплохой парень и зарабатывает неплохо, водит городской автобус, и дом у него есть отдельный. Надо по одежке протягивать ножки. Он нам ровня...

Вот что сказала Гюльдесте дочери, уставившейся на нее в изумлении, вот такими словами ее благословила.

После того как семья Мирзоппы переехала из Баку в Загульбу, котел Алиаббаса-киши подолгу простаивал: в этих местах домов, крытых киром, становилось все меньше и меньше. Здесь тоже строились государственные дома, как в городе,— трехэтажные, а потом и пятиэтажные. Старые дома рушились, сносились, а новые дома с кировой крышей не строились. Алиаббас-киши был мастером своего дела, и если он однажды заливал крышу киром, то она начинала протекать лет через семь-восемь. В общем, заказчиков становилось все меньше.

Однажды Мирзоппа сказал отцу:

— А ты заливай крыши так, чтобы на следующий год тебя снова вызвали, понял?

Алиаббас-киши не любил читать мораль, он только посмотрел на сына, посмотрел и понял, что Мирзоппа сделан из другого теста, чем он.

Через одиннадцать лет после переселения в Загульбу Алиаббас-киши умер прямо на работе, разогревая котел, и тогда Мирзоппа прицепил отцовский котел к своему автобусу, оттащил его в металлолом (найти охотника на котел уже было невозможно) и, продав за десять рублей семьдесят копеек, купил три бутылки водки и вечером вместе с киномехаником Агагюлем крепко выпил.

Но, само собой, обо всем этом ни Гюльдесте, ни Месмеханум понятия не имели. Мирзоппа увидел Месмеханум в кино, и она ему понравилась. Месмеханум часто ходила в кино, а Мирзоппа часто навещал Агагюля. Киномеханик, увидев, что Мирзоппа из окна его будки разглядывает Месмеханум, подмигнул:

— Дочка Гюльдесте... Хороша штучка, не хуже своей матери!..

Мирзоппа не поддержал такой поворот разговора, а в один прекрасный день вошел в дом Гюльдесте и сам себя

просватал — вот после этого он и стал часто захаживать к ним.

У Гюльдесте было три причины, по которым она не хотела отказывать Мирзоппе. Во-первых, по мнению Гюльдесте, чем раньше Месмеханум выйдет замуж, тем лучше, потому что, как говорится, с кем это случилось, тот уже умный. Теперь Гюльдесте не хотела, чтобы взрослая дочь целыми днями бывала одна дома, боялась, как бы дочка не пошла по дурной дорожке. Во-вторых, Мирзоппа не спрашивал Гюльдесте, кто отец Месмеханум и вообще не заводил об этом разговора. Наконец, была и третья причина, в которой Гюльдесте сама себе не хотела признаваться: за долгие годы она так привыкла жить одна и делать все, что ей хочется, что с тех пор, как дочь вернулась из интерната, Гюльдесте словно заперли в клетке, и она была вынуждена играть с дочерью в прятки; порой она изнывала от тоски по утерянной свободе и воле прежних дней.

Естественно, Месмеханум не догадывалась обо всем этом, она не поняла, как случилось, что этот толстый парень, который с шумом, потея, пил из блюдечка чай, вдруг показался ей совсем другим. Тот день был для Месмеханум днем откровений. Месмеханум обнаружила удивительные вещи. Она вдруг поняла, что в течение всего этого времени, в сущности, жила в доме как чужой человек и эти комнаты всегда были для нее чужими и холодными. А самое главное, Месмеханум поняла, что у человека должно быть не два мира, а один мир и надо жить так, чтобы одного мира хватало.

Так исчезли девушка-сиротка и юноша-принц, и теперь по ночам, перед тем как Месмеханум засыпала, ей виделся автобус, возвращавшийся с дальней дороги, усталый Мирзоппа, который, вымыв руки, измазанные мазутом, ел приготовленный для него кюфта-бозбаш; в сон Месмеханум проникал запах бензина, исчез волшебный сказочный мир, она спустилась с седьмого неба на асфальт, и по этому асфальту покатился из Баку в Загульбу и обратно автобус...

Тогда мать и дочь не знали, что Мирзоппа — пьяница, представить не могли, что через два месяца после женитьбы Мирзоппа, напившись до чертиков, среди ночи устроит дома скандал и, вытаращив свои красные глаза, скажет ужасные слова:

— Люди женятся на дочерях замминистров, а я нашел себе бидж...

Да, поначалу еще многое не было известно; кто бы, например, мог предполагать, что вновь воскреснет волшебный сказочный мир в Месмеханум...

...Синяк на плече Месмеханум будто жег ладонь Мамедаги, и у него заныло сердце: сердцу было так больно, будто умирает самый родной человек или на его долю выпало самое горькое испытание,— Мамедага чувствовал, что пройдет много лет, но он по-прежнему будет ощущать в своей ладони этот жар.

Месмеханум поняла, что сейчас заплачет, но если бы она сейчас заплакала, она бы всю жизнь себе этого не простила, и потому, глядя в глаза Мамедаги, она быстро сказала:

— Когда он бьет, то всегда по телу, чтобы другим не видно.

Мамедага молчал.

Месмеханум добавила:

— И рука у него ужасно тяжелая...

Мамедага молчал.

Месмеханум тихо сказала:

— Как будто кирпич...

Слова, которые она сейчас говорила, падали на Мамедагу, словно удары. Месмеханум почувствовала, что сердце этого голубоглазого парня — а рука его все еще лежала на ее плече — пылает. Но вдруг мелькнуло в голове: а что, если он просто жалеет ее? У нее засверкали глаза.

— Я тоже не остаюсь в долгу,— сказала Месмеханум.

И Мамедага, увидев смеющиеся черные глаза девушки, улыбку на ее полных губах, успокоился. Он ласково провел ладонью по ее плечу, по руке, погладил черные волосы. Месмеханум всем своим существом отдалась этой ласке. Обладатель этой ласковой руки может сделать с ней сейчас все, что захочет, и она не станет сопротивляться, не издаст ни звука, потому что эта ласковая ладонь перенесла Месмеханум в волшебный сказочный мир наяву.

В квартале, где жил Мамедага, царил неписаный закон: нельзя заглядываться на жену человека, с кем си-

дел, ел за одним столом, его жена для тебя сестра, и все. Мамедага никогда не нарушал этого закона, и не потому, что закон нельзя нарушать, а потому, что этот неписаный закон был у него в крови.

Но в эту удивительную летнюю ночь на морском берегу Загульбы Мамедага совсем позабыл, что на свете есть человек по имени Мирзоппа, что эта беспомощная, разговаривающая с морем девушка — жена Мирзоппы, да и вообще чья бы то ни было жена. Он знал одно: синяк на плече этой девушки, только что с трудом удержавшейся от слез,— самое подлое дело и самая большая несправедливость, с какой он до сих пор сталкивался в жизни, и Мирзоппа не достоин называться мужчиной.

— Где работает Мирзоппа?

— Раньше он водил автобус в Баку, а потом за пьянство его сняли, и теперь он продает билеты в том же автобусе...

— А Дуду жив?

— Дуду? Ты и его знал? — Месмеханум, нагнувшись, надела на ноги сандалии.— Давно умер... Я совсем его не видела. Говорят, хороший был парень, умный, воспитанный...— Немного помолчав, Месмеханум нерешительно добавила: — Говорят, после его смерти Мирзоппа начал пить...

Месмеханум нарочно подчеркнула «говорят»,— ведь обо всем этом, кроме Мирзоппы, никто ничего ей не рассказывал. Вообще-то Месмеханум не верила словам Мирзоппы, но рассказу о Дуду поверила: поверила и в красоту Дуду, и в его ум. Пьяный Мирзоппа частенько вспоминал брата и говорил о нем искренне.

— Если бы Дуду был жив, разве бы я дошел до этого? Разве бы меня лишили прав вождения и поставили бы, как женщину, продавать в автобусе билеты? Почему я пью? С горя! Он был цветок, единственный в этом мире, и аллах взял его, ибо мы были недостойны его!..

И каждый раз Мирзоппа, вспомнив Дуду, плакал. Эти слезы не были просто пьяными слезами, Месмеханум это чувствовала, на глаза его ложилась тень настоящего страдания, и в такие минуты Месмеханум казалось, что Мирзоппа тоже человек и в груди у него тоже есть сердце. Месмеханум с горечью думала о том, что преждевременная смерть умных и красивых людей, таких, как Дуду,— самое большое несчастье на свете. От этой мысли у нее самой глаза наполнялись слезами. Мирзоппа рассказывал,

что в свое время они переехали в Загульбу из Баку из-за преследований девушек. Они не давали покоя Дуду, забрасывали письмами, бегали за ним; и в один прекрасный день у них в квартале семнадцатилетняя красавица из-за любви к Дуду покончила с собой, а после их переселения в Загульбу еще одна бакинская красавица восемнадцати лет облила себе лицо кислотой...

Мирзоппа говорил вдохновенно:

— Он был настоящий ученый. Не уснет, если за день не прочтет три толстые книги. Институты спорили между собой, в каком из них ему учиться. Если бы он был жив, то быть бы ему сейчас замминистра! Вот тогда все поняли бы, кто такой я — Мирзоппа!

Во все это поверила Месмеханум, как поверила она и тому, что, если бы Дуду был жив, может быть, Мирзоппа и в самом деле не был таким, каков теперь.

— Ты знал Дуду, да? — жадно спросила Месмеханум.— Скажи, девушка, которая покончила с собой из-за него, была из нашего квартала?

Конечно, Мамедага знал, что такие дети, как Дуду, долго не живут на свете, но все же, услышав о его смерти, расстроился, живо представив себе лицо Дуду и его ничего не выражающий взгляд. Мамедага давно знал, что Мирзоппа искренне любил Дуду, а теперь он, возможно, и сам верит в то, что сочиняет для Месмеханум.

— Бедный Дуду...— Вот и все, что ответил ей Мамедага.

Месмеханум посмотрела на него.

— У тебя много желаний? — вдруг спросила она, обернувшись.

— Не считал.— Мамедага улыбнулся.

Но Месмеханум было, видимо, не до шуток — она спрашивала его как самая строгая учительница математики:

— Как это — не считал? Свои желания не знаешь?

— Мало ли какие бывают желания!

— Желания не бывают какие-то. Желание — это желание, да! Если ты хочешь, чтобы всю ночь шел дождь и стучал в окна,— это желание. Если ты хочешь, чтобы на свете никому не делал плохого,— это желание. Желание — это желание, большое или малое, все равно! Вот сейчас чего ты хочешь?

— Я?! — Мамедага изумился, но девушка была попрежнему серьезна.

— Да, ты, и сейчас.
— Сейчас я хочу есть.
— Что? — Теперь изумилась Месмеханум.
— Есть!
— А-а-а...— Месмеханум в лунном свете внимательно посмотрела в голубые глаза парня и громко рассмеялась.— Проголодался?
— Помираю с голоду...— Мамедаге показалось, что смех девушки, как весенний дождик, принес чистоту и прохладу. Словно внезапно разрешилась ливнем черная туча, в минуту омыла и песчаный берег Загульбы, и море, и апшеронское небо с луной и звездами,— и всю эту засверкавшую свежестью красоту заново увидел Мамедага и изумился. Вдруг он почувствовал себя так, словно вернулись времена, когда он пускал воздушного змея с крыши, на сердце нет забот, а на всей земле под этим апшеронским небом с луной и звездами, рядом с морем, на песчаном берегу Загульбы есть только они двое, всего два человека на всей земле, и одного зовут Мамедагой, а другую — Месмеханум.
— Знаешь, я тоже проголодалась.
Еще утром, по дороге в Загульбу, в Бильгя Мамедага купил тендырный хлеб, который в Бильгя бывал особенно хорош. Сейчас в фургоне осталось всего понемногу: хлеба, винограда и сыра. С собой в дорогу Мамедага никогда не брал ни колбасы, ни сосисок, ни консервов, только натуральную еду: масло, сыр, зелень, овощи, фрукты. В горах милиционера Сафара на каждом шагу попадались родники, а на дорогах Апшерона — шашлычные, и иногда, если хотелось, Мамедага останавливал машину возле какой-нибудь шашлычной и, хорошенько вымыв руки, усаживался — летом на открытой веранде, а осенью или зимой — перед окном, чтобы съесть два-три шампура шашлыка из грудинки с тендырным хлебом — чуреком. Мамедага за рулем не пил ничего, кроме воды или чая, а в другое время это зависело от места и настроения. Например, в воскресные дни, выйдя из Желтой бани, приятно выпить одну-две кружки пива с соленым горохом перед пивным киоском Асадуллы в верхней части квартала. Сакина-хала беспокоилась: «Выйдя из бани, холодное не пьют, сынок, ангиной заболеешь». На что Мамедага отвечал: «Не бойся, мама, ничего не случится». Но в следующий раз после Желтой бани кружку «гвардейского» пива Асадуллы сменял бархатистый чай Сакины-хала.

...Мамедага сказал:

— Виноград, сыр, хлеб — устраивают?

Месмеханум сказала:

— Виноград, сыр, хлеб — устраивают!

Она посмотрела на алюминиевый фургон, одиноко сверкавший серебром в лунном свете, и издалека почувствовала все его белое одиночество в этом мире. Месмеханум понимала, что уже за полночь и ей надо уходить домой, потому что у нее есть свой дом, муж и посреди ночи ей здесь делать нечего,— все это она понимала, конечно, но все это сейчас не имело значения, потому что сейчас на земле их было всего двое — она, по имени Месмеханум, и он — Мамедага, обладатель больших теплых рук и голубых глаз.

Когда Мамедага и Месмеханум вошли в фургон, свет двухсотваттной электрической лампы ослепил их, и Месмеханум показалось, что развешанные на стене деревянные зайцы, деревянная лиса, медведь, лев и неведомый зверь весело смеются. Над чем же они смеялись? Над Месмеханум? Над Мамедагой? Или над этой ночью? Может быть, над тем, что они оба вдруг почувствовали голод? Они словно говорили: «Эй, Месмеханум, Мамедага, вы — дети земли, вы испытываете голод, пора вам спуститься с седьмого неба на землю!»

Мамедага, перемахнув через стойку тира, открыл дверцу маленькой тумбочки, над которой стоял радиоприемник «Араз», и вытащил завернутые в газету хлеб, сыр, виноград.

Глядя на склонившегося перед маленькой тумбочкой Мамедагу, Месмеханум подумала, что она готова была бы всю жизнь раскатывать тесто и готовить для этого парня дюшбере и кутабы, а этот парень, с удовольствием поедая ее дюшбере и кутабы, считал бы себя самым счастливым человеком на свете! Давно, уже очень давно Месмеханум не хотелось приготовить что-нибудь для кого-нибудь, давно уже ей было безразлично, что ест она сама, но иногда по ночам, перед тем как заснуть, в ее волшебном сказочном мире совершенно другая девушка, по имени Месмеханум, из мяса молочного барашка, только что зарезанного мясником Мирзой, готовила для кого-то плов с говурмой, каштанами и альбухарой, поджаривала из верблюжьего мяса кутабы с гранатами, варила халву с кунжутом...

Мамедага поставил все, что было, на стойку, перенес

на противоположную сторону стойки деревянный табурет с лоскутной подушечкой и сказал:

— Садись. Есть такая поговорка: «Кто отдает все, что есть, тому не стыдно».

— Я знаю другую: «Незваный гость ест из своего мешка».

— А ты разве гость? — Мамедага совершенно искренне удивился, и он был прав: разве Месмеханум — гость в этом фургоне?

Мамедага, развернув газету, аккуратно расстелил ее на стойке, разложил виноград, сыр, хотел разрезать хлеб пополам, и тут обнаружилось, что тонкий тендырный хлеб, весь день пролежавший в тумбочке, засох.

— Твердым стал хлеб.

— Ничего.

— Хочешь, подогреем?

— Да, подогреем! — У Месмеханум тотчас заблестели глаза.— Пусть появится аромат хлеба!..

Раньше, отправляясь в путь, Мамедага брал с собой маленькую электрическую плитку, от аккумулятора он сделал внутри фургона проводку и иногда заваривал себе чай или жарил яичницу. Но однажды он с этим покончил раз и навсегда, потому что решил: тир — не кухня, в тире не должно пахнуть плиткой, маслом, чаем. Правда, аромат хорошо заваренного чая порою очень приятен, особенно безлюдной ночью в каком-нибудь апшеронском селе, в этом аромате были уют и теплота, но что делать, тир — не дом, тир — это тир.

— Ты посиди, а я на берегу разожгу костер, подогрею хлеб и принесу.

— Да, разведи костер! Пусть смешается аромат хлеба с запахом костра! Я пойду с тобой, зачем мне сидеть здесь.

— Ладно, пошли.— Мамедага улыбнулся.

— Знаешь, хорошо разводить костер, слушать его треск, глядеть в его пламя... Он и в море отразится, и там, в воде, запылает... Только потом грустно заливать угли водой, правда?

— Да, это верно...— Мамедага вспомнил, что в детстве, разведя костер прямо перед Узким тупиком, они прыгали через него и тоже считали, что на свете нет ничего лучше, но им тоже было не по себе, когда после приходилось заливать водой угли, которые шипят, как живые.

— Ты Янаргая знаешь? — спросила Месмеханум с новым блеском в глазах.
— Янаргая? Нет...
— Даже не слыхал?
— Нет.
— Пошли! — И в мгновение ока Месмеханум отобрала у Мамедаги приготовленный им сверток с виноградом, сыром, хлебом.
— Куда?
Месмеханум сунула под мышку сверток и сказала:
— Иди за мной.
И Мамедага понял, что девушка, останавливающая ветер, и на этот раз зовет его не в простое место, потому что — и это само собой разумеется — эта девушка сама была не простым человеком... Он шел за Месмеханум, когда она внезапно остановилась в дверях фургона, обернулась и, глядя на деревянного зайца, сказала:
— В него стрелять нельзя.
— Почему? — Мамедага тоже посмотрел на деревянного зайца.
— Такой красивый, смешной зайчик... Зачем же в него пулей?..
— А его пуля не берет! К тому же, если выстрелить хорошо, из него другой заяц вылезает.
— Ну да? — Месмеханум, недоверчиво улыбнувшись, смотрела то на Мамедагу, то на зайца.
— Хочешь, выстрели и посмотри.
— Я? Я в жизни не стреляла...
— Не стреляла, а теперь выстрелишь. Иди сюда.
Месмеханум положила сверток на табуретку, а Мамедага взял с маленького четырехугольного столика перед стойкой одну из разложенных там винтовок; он одинаково следил за всеми винтовками, и все они — старые и новые — были в полном порядке. Засунув в ствол железную пулю с щеточкой, Мамедага объяснил:
— Видишь красную точку? Целься в нее.
— Я не умею целиться...
— А сейчас ты отлично выстрелишь.
Месмеханум взяла винтовку; прищурив один глаз, посмотрела на деревянного зайца, и заяц начал плясать под ее взглядом туда-сюда...
— Нет, не могу...
Левой рукой ухватив приклад ружья, Мамедага правую протянул вперед поверх ее плеча, положил палец на

ее палец на курке и, прижавшись щекой к волосам Месмеханум, прицелился. От черных волос Месмеханум шел удивительный запах. Мамедага ощущал очень близко ее плечи, шею; в нем родилось желание своими руками, своей грудью защитить ее, таким беззащитным ребенком казалась она ему. Его правое запястье коснулось груди девушки, Мамедага ощутил округлость, твердость ее груди, в замешательстве вместе с пальцем Месмеханум нажал на курок.

Увидев, как деревянный заяц упал направо, а появившийся из-за него второй заяц упал налево, Месмеханум обрадованно закричала:

— Ура-а! — И, обернувшись, посмотрела снизу вверх в эти голубые глаза. Она впервые видела их так близко, дыхание этого парня опалило ей лицо, и девушка захотела поцеловать его — захотела и поцеловала, вот такая была Месмеханум...

...Чтобы не скучать одной в квартире, Бикебаджи иногда сдавала комнату, чаще всего молодым девушкам, приезжавшим в Загульбу работать. Но девушки снимали комнату на один-два месяца, а потом убегали обратно в Баку или получали от государства квартиру. Когда Месмеханум училась в девятом классе, у Бикебаджи на квартире жила девушка по имени Гюльзар,— она окончила в Баку библиотечный техникум и получила назначение в загульбинскую библиотеку.

Однажды в полночь Месмеханум мыла на кухне посуду. Все давно спали, только окно Месмеханум светилось. В этот день Месмеханум, посмотрев двухсерийный арабский фильм, вернулась поздно. Фильм произвел такое впечатление, что и после возвращения домой Месмеханум долго не могла прийти в себя.

Моя грязные тарелки, Месмеханум продолжала думать о героях картины со слезами на глазах. Все влюбленные должны любить друг друга, как они, думала Месмеханум. В этот момент за окном послышался шорох, она высунула голову — у подъезда целовались парень с девушкой. Это была Гюльзар.

Месмеханум впервые в жизни видела, как парень и девушка обнимаются и целуются не в шутку, а всерьез, не подозревая, что кто-то видит в этот поздний час.

Каждую ночь Гюльзар целовалась с этим парнем, прислонившись к косяку двери, и каждую ночь Месмеханум, спрятавшись перед окном кухни, поджидала их. Месме-

ханум не знала этого парня, он, видимо, тоже был приезжий. Она слышала его мягкий голос, идущий, казалось, прямо из сердца; Месмеханум не разбирала слов, но видела, что сначала парень что-то ласково говорит Гюльзар, а потом они целуются. Гюльзар первой целовала парня, она не ждала, когда он кончит говорить, прерывала его на полуслове. Напоследок Гюльзар целовала его, крепко прижимая к своей груди, после чего поднималась домой, а парень еще некоторое время стоял во дворе и смотрел на окно Бикебаджи.

Месмеханум каждую ночь подглядывала за ними, а потом, засыпая, представляла себя у дверного косяка, и тот парень говорил ей тем же мягким голосом, идущим прямо из сердца, какие-то ласковые слова. И опять Месмеханум не понимала значения этих слов, но все равно они теплом разливались по всему ее телу — и она засыпала.

Но однажды ночью Месмеханум напрасно ждала их, сидя перед своим кухонным столом. Они не пришли. В следующую ночь Месмеханум увидела этого парня, но он одиноко стоял у входа во двор и смотрел на окно Бикебаджи. На третью ночь парень не пришел, и в четвертую ночь дверь никому не понадобилась. Месмеханум решила было, что теперь эта дверь обречена навеки стоять всю ночь без возлюбленных, но на пятую Месмеханум вновь услышала знакомые голоса и тайком из кухонного окна посмотрела вниз: в темноте она тотчас узнала Гюльзар, но сразу же поняла, что парень, с которым в этот раз обнималась и целовалась Гюльзар,— другой.

Правда, Гюльзар и этого парня целовала, как того; у Месмеханум вдруг сжалось сердце, она ушла от окна и села на свою кровать, уставившись глазами в пол: в мире существовала неверность!

Дни прошли, и месяцы пролетели, но известно, что каждой девушке предназначен свой парень, и на долю Месмеханум выпал Мирзоппа. А потом снова прошли годы, и Месмеханум теперь уже не могла бы припомнить, когда она последний раз целовала Мирзоппу и когда Мирзоппа в последний раз целовал ее. Водка делала свое дело: Мирзоппа не подходил к своей жене, но, чтобы скрыть свою слабость, нападал на нее:

— Ты бесплодна! Не рожаешь!

Иногда, дыша алкоголем, он лез к Месмеханум, но тут уже не было речи ни о поцелуях, ни о ласках.

А детей по-прежнему не было, и однажды Месмеханум пошла к врачу, которого все хвалили. Месропян, осмотрев ее, попросил, чтобы и муж пришел на обследование. Вечером Месмеханум сказала Мирзоппе:

— Сходи завтра к Месропяну.

Мирзоппа подумал было, что Месропян этот из милиции, и, значит, опять его вызывают туда. Вытаращив покрасневшие от водки глаза, он спросил:

— Это какой Месропян?

— Доктора Месропяна знаешь?

— А какого черта мне делать у доктора?!

— Пусть посмотрит тебя — надо же узнать, почему у нас нет детей!..

Мирзоппа не поверил своим ушам.

— Что?! Я пойду, разденусь перед Месропяном и скажу ему: осмотри меня — где?! Свой стыд на меня валишь?

И в тот день у них в доме снова был скандал, но соседи уже привыкли к их семейной жизни.

...Месмеханум со свертком под мышкой вышла из фургона.

Все еще ощущая на своем подбородке прохладные, сухие, полные губы Месмеханум, Мамедага вышел из фургона вслед за девушкой.

Месмеханум, подняв руку, показала на скалы.

— Туда пойдем.

Месмеханум быстро шла по камням, ни разу не оступившись, не споткнувшись, точно зная здесь каждую яму, каждую расщелину. Она спешила, как будто боялась наступления утра.

На Апшероне не было такой асфальтированной дороги, которую бы Мамедага не знал, но по таким рытвинам и ухабам он давно не шел. Он не знал, куда они идут, ибо мысли его были заняты другим: Мамедага с трудом удерживался от того, чтобы, подобно юноше, у которого еще не наметились усы, не погладить рукой то место на подбородке, которого коснулись прохладные, сухие, полные губы Месмеханум.

Обернувшись назад, Месмеханум улыбнулась и сказала:

— Уже скоро, потерпи.

Впадины между камнями заполняла теплая вода, и все было покрыто мхом.

— Здесь скользко, иди осторожно...

— Не бойся...

Когда они снова, спустившись со скал, вышли на песок, море уже было далеко от них. А вокруг все было совершенно голо, все казалось серым в лунном свете, не было ни куста, ни деревца. Они прошли мимо совсем маленького озерца, но в эту удивительную летнюю ночь Большая Медведица и все остальные звезды апшеронского неба легко уместились на поверхности этого маленького озерца.

Остановившись, Месмеханум, словно опытный гид, сказала:

— Это соленое озеро.

— Почему?

— Во время войны жители добывали здесь соль. Говорят, хорошую.

Казалось, будто от серебряного в лунном свете фургона они ушли не на какие-нибудь три-четыре километра, а на другой конец земли и если кто и знал об этом месте, то это Месмеханум. И вдруг родной Баку и их квартал показались Мамедаге такими далекими, теперь он и представить не мог, что всего через несколько часов он вернется к своей прежней жизни и, сидя дома, будет пить чай, приготовленный мамой, а выйдя к Узкому тупику, будет беседовать с парнями,— неужели обычное войдет в свои права, а эта удивительная летняя ночь и водившая его по побережью Месмеханум уйдут в мир призрачных воспоминаний?

— Слышишь, как лягушки квакают? — спросила Месмеханум.

Лягушки квакали очень громко, и это наглое кваканье лягушек под тихий далекий гул моря заставило сердце Мамедаги сжаться в предчувствии одиночества. Схватив девушку за руку, он сказал:

— Месме...— И сам удивился своему голосу. Он удивился тому, что его голос прозвучал на берегу этого соленого озера сквозь нестройное кваканье лягушек и далекое дыхание моря. Впрочем, самым удивительным было то, что девушку, беседующую с морем и останавливающую ветер, он назвал просто: Месме...

Месмеханум отняла у него свою руку, приложила палец к губам и сказала:

— Тс-с-с...— И прошептала:— Здесь шуметь нельзя...

Конечно, на берегу озера можно было шуметь и даже петь можно было, только Месмеханум — и понять это было не так уж трудно — не хотела слушать того, что он скажет. Правда, и сам Мамедага не знал, какие слова он

произнесет под аккомпанемент лягушачьего кваканья и рокота далекого моря на берегу этого соленого озерца.

Мамедага не понял, что Месмеханум сейчас боялась всего, что может нарушить очарование этой удивительной летней ночи и волшебную сказку превратить в быль.

Только сейчас, спускаясь со скал на серый песок, Месмеханум почувствовала, что до утра остается мало. Ночь заканчивается, а утром снова, надев белую бязевую куртку, она встанет за весы в помидорном киоске. Она вспомнила, что Мирзоппа сейчас спит в отделении милиции и его опять посадят минимум на пятнадцать суток, а может, еще больше, если на этот раз милиционер Сафар обозлился всерьез.

В этот момент, когда она думала о Мирзоппе, ей казалось что Мирзоппа — чужой, из чужого, далекого мира, он не имеет ничего общего с ней и неправда, будто она столько лет прожила с Мирзоппой, столько лет была женой Мирзоппы, а он ее мужем и они клали головы на одну подушку. Пьянство Мирзоппы, его скандалы, всю его мужскую грубость она увидела теперь в свете этой удивительной летней ночи как нечто мелкое, ничтожное, бессмысленное и, главное, недостойное мужчины. Она сердцем поняла, что за одну эту ночь перестала быть прежней Месмеханум, хотя имя ее не изменилось, как и лицо, и это было хорошо, потому что и лицо, и имя, как ни странно, больше соответствовали этой новой Месмеханум, чем прежней. Когда Мамедага взял ее за руку и назвал просто Месме, Месмеханум охватил страх, что весь ее новый и только что родившийся, хрупкий мир, которым она так наслаждалась, рассыплется в прах, обернется чужим и далеким — а зачем, ведь утро еще не наступило, еще оставалось какое-то время до беспощадного утра.

И Месмеханум прошептала:

— Ты устал?

И Мамедага ответил ей шепотом:

— Нет...

— Иди, уже скоро...

После соленого озера, увязая по щиколотку в песке, они преодолели подъем и снова взобрались на скалы. Это были те же самые скалы, но с другой судьбой. Те скалы, что остались позади, на морском берегу, мечтали, превратившись в легкие лодки, уплыть в море, лизавшее им ноги. Но эти скалы никогда не смогут уплыть в море, которое так далеко отступило от них. Эти скалы останутся на

своем месте до тех пор, пока они — скалы, пока ветер и дождь не превратили их в пыль, в ничто. А когда-то, наверное, и здесь тоже плескалось море, и они тоже могли мечтать о том, чтобы, превратившись в легкие лодки, куда-нибудь уплыть.

Мамедага знал, что Каспий мелеет. Алхасбек из их квартала, сидя на деревянном табурете и глядя в газеты сквозь толстые стекла очков, говорил, что ученые сейчас занимаются этим вопросом. Каспий мелел, а это означало, что через тысячу лет море так далеко уйдет от нижних скал, что они тоже не смогут никуда уплыть. Но все это если и будет, то через тысячу лет, а тысяча лет дышит на человека вечностью, в сравнении с которой человеческая жизнь совершенно ничтожна. Так подумал Мамедага и испугался: а вдруг и Месмеханум сейчас почувствует ничтожность нашей жизни и это хрупкое существо не выдержит испытания бездной?

Его туфли были полны песка. Прислонившись к скале, он снял их и вытряхнул. Месмеханум, обернувшись, рассмеялась.

— Уже совсем скоро, потерпи...

В этом месте камни лежат на близком расстоянии друг от друга, и Месмеханум перескакивала, как горная козочка, с одного камня на другой, убегая вперед.

И вдруг Мамедаге показалось, будто прямо перед ними, у подножия песчаного холма, восходит солнце,— словно не на всем Апшероне, а только здесь, у подножия этого песчаного холма.

И Месмеханум сказала:

— Пришли.

Мамедага сразу заметил большую монолитную скалу, словно испещренную норами ящериц, из этих нор выглядывали язычки синеватого пламени, как если бы в скале провели газовые трубы и спичкой зажгли конфорки, и этот свет показался Мамедаге светом восходящего солнца. Глядя на огромную монолитную скалу, горевшую множеством синеватых язычков, Мамедага снова почувствовал себя не в четырех-пяти километрах от фургона с привычной надписью «Пневматический тир», а в каком-то неправдоподобном мире, где хозяйка этого полного чудес мира Месмеханум в синеватом свете Янаргая стоит, задумавшись о чем-то.

Но Мамедага некстати вспомнил, что на плече хозяйки этого волшебного мира синяк, что подбородок ему холодит

след от ее прохладных, сухих, полных губ, и ему показалось, будто он в самолете, а самолет падает, и сердце Мамедаги вот-вот вырвется из груди.

— Ты слышишь эти звуки? — спросила Месмеханум.

Мамедага услышал странные звуки, как только увидел «солнце» у подножия песчаного холма.

— А знаешь, что это такое?

— Нет...

— Летучая мышь. Пугается света Янаргая и поднимает крик...

Некоторое время они помолчали, стоя перед Янаргаем,— неизвестно, что видела Месмеханум, а Мамедага видел теперь только Месмеханум.

— За всю жизнь не привыкла к Янаргаю?

— К Янаргаю нельзя привыкнуть...

Опять помолчали.

Мамедага спросил:

— Ты часто сюда приходишь?

Месмеханум ответила:

— Иногда.

Мамедага спросил:

— Одна?

Месмеханум обернулась, удивленная, и Мамедага поразился своему идиотскому вопросу: конечно же, Месмеханум приходила сюда одна, это был ее мир, и никого не было у Месмеханум, с кем бы она могла прийти сюда.

— Уедем в Баку!

Эти слова прозвучали так, будто их произнес не Мамедага, а скала Янаргай, их повторили тут же со всех сторон, и все, что было вокруг, заговорило: уезжай, Месмеханум, уезжай, нечего тебе здесь делать одной!

Но Месмеханум молча смотрела на Мамедагу.

— Ты слышишь меня? Поедем со мной в Баку!

Голос Мамедаги прозвучал теперь слишком громко для этих мест. Месмеханум отвернулась и, глядя в огни Янаргая, резко ответила:

— Из меня Тамиллы не выйдет...

Летучие мыши, услыхав человеческие голоса, расшумелись, а Мамедага слышал тревожный стук собственного сердца. Он растерялся.

Иногда человек не знает, что надо сказать и что сделать, потому что ему кажется, что любое его слово и дви-

жение — лишние да и сам он лишний на этом свете, ненужное и бесполезное существо; и тогда человек становится сам себе противен,— так чувствовал себя сейчас Мамедага, стоя перед Янаргаем и не понимая, зачем он вообще родился на этот свет.

А Месмеханум рассмеялась:

— И ты тоже немного бебе... Иди сюда, сядь на этот камень, а я разогрею хлеб! Увидишь, какой будет запах!.. Садись.

На маленьком камне Месмеханум развернула газету, аккуратно разложив сыр и виноград, а хлеб положила на край поближе к Янаргаю, и в эту странную летнюю ночь вокруг Янаргая разнесся аромат подогреваемого на огне хлеба. И этот распространившийся вокруг них запах хлеба изменил настроение Мамедаги. Он посмотрел на Месмеханум, присевшую на корточки около Янаргая и переворачивающую на огне тендырный чурек, взглянул в бесчисленные огненные глаза Янаргая, поднял лицо к небу Апшерона, где светло сияли луна и звезды, и подумал, что мир велик и прекрасен, и почему бы человеку не радоваться этому прекрасному миру, почему не быть всегда в отличном расположении духа? А если в мире есть еще и девушка по имени Месмеханум, чьи прохладные, сухие и полные губы касаются твоего подбородка, тогда почему бы не считать себя первым счастливцем на земле? И если ты честный человек, который никому не причинил зла, а в руках у тебя сила и ты крепко стоишь на земле, то все у тебя в жизни должно быть просто и ясно и все, чего ты желаешь, должно исполниться,— почему бы и нет?

И Мамедага взглядом нашел едва различимую среди всех звезд звезду Месмеханум, и Месмеханум, перекидывая с руки на руку нагретый Янаргаем хлеб, тоже посмотрела на свою звезду. Мамедага спросил:

— Твоя звезда ничего не говорит тебе?

— Говорит.

В синеватом свете Янаргая голубые глаза Мамедаги казались еще больше, и Месмеханум сказала:

— Сказать тебе, о чем она говорит?

— Да, скажи.

— Она говорит: Месмеханум, в эту ночь на тебя упала тень царственной птицы, пролетевшей над твоей головой...

Сколько раз аромат поджаренного хлеба распространялся во все стороны от Янаргая, свидетелем скольких

таких ночей был Янаргай — этого не знали и не могли знать ни Мамедага, ни Месмеханум. А может быть, не только хлеб жарили здесь,— могло быть и так, что тысячу лет назад, в то время, когда здесь было море, а человек еще был рабом, а не победителем природы, он жарил на огнях этой скалы мясо, добытое на охоте.

...Понемногу светало. Отсюда, конечно, не увидеть, как солнце поднимается из моря, но, когда оно поднимется, его лучи рассеют тьму и вокруг Янаргая, и всюду.

Сидя на обломке скалы, Месмеханум всматривалась в загоревшее и даже почерневшее на дорогах Апшерона лицо Мамедаги, жующего теплый хлеб с сыром и виноградом, как будто старалась запомнить навсегда черты его лица, его улыбку, выражение глаз. Янаргай — это ее костер, и в эту странную летнюю ночь она разожгла его для Мамедаги. Ей казалось, что и хлеб она сама замесила и испекла, и виноград сама вырастила и собрала, и сыр сама заквасила, и все это она сделала для того, чтобы в один прекрасный день этот голубоглазый парень, присев на этот камень, со вкусом поел этот виноград, сыр и хлеб; а вернее, в ту ночь, когда царственная птица, пролетев, накрыла Месмеханум своей тенью. Жаль только, что век тени очень короток. Сейчас в свете Янаргая на песок падали тени Месмеханум и Мамедаги. Скоро наступит утро, и тень царственной птицы исчезнет, как и обе их тени. Печаль проникла в самую глубину ее сердца, даже аромат подогретого на Янаргае хлеба не в силах был отвлечь ее; ведь до утра оставалось совсем немного. Теперь Месмеханум знала, с этой печалью ей не справиться навеки.

Она представила, как сейчас на морском берегу Загульбы стоит алюминиевый фургон, и все еще серебрится в рассветных сумерках, и чувствует себя таким одиноким на пустынном берегу, и не понимает, что на свете есть девушка по имени Месмеханум, а у этой Месмеханум есть на небе звезда, и эта звезда смотрит с неба на этот фургон и отныне будет всегда смотреть на него — и ночью, и днем, всегда и везде, где бы ни оказался этот алюминиевый фургон.

От огней Янаргая было жарко, у Мамедаги на лбу и на носу выступили капельки пота.

— Жарко тебе? — спросила Месмеханум.

— Да, немного.

— Хорошо бы сейчас дождь пошел, правда? Хочешь, я вызову дождь?

— Нет.

— Испугался, что не смогу? — Месмеханум резко рассмеялась, и этот смех сделал еще темней ее и без того черные глаза.— Не веришь...

...Чайчи Газанфар, как обычно придя в чайхану рано утром, разжег огонь в большом самоваре и теперь, усевшись по-турецки на паласе, постеленном на деревянном полу, колол топориком головку сахара. Изредка поднимая голову, он посматривал на асфальтовое шоссе, ведущее в Баку, и когда увидел на этой дороге алюминиевый фургон-тир, сверкавший в солнечном свете, то с удовлетворением подумал, что сегодня все его постоянные клиенты вернутся к нему.

...Старший сын тетушки Ханум, Абульфаз, работал садовником в Бина, там же был и его дом. И тетушка Ханум, нарвав в своем дворе в Бузовнах инжира, винограда, гранатов и айвы, везет все это в Бина. Абульфаз говорил ей: «Зачем ты везла такую тяжесть? Видишь, сколько у меня инжира-винограда?» А Ханум-гары отвечала: «Эти плоды с деревьев, посаженных твоим отцом и дедом. Вкус их должен быть особым для тебя. И для тебя, и для твоих детей».

Ханум-гары отправлялась в Бина рано утром, чтобы застать сына дома. Стоя в Бузовнах у шоссе, она дождалась автобуса, едущего в Баку. Известно, что на апшеронских дорогах водители проявляют уважение к старым людям, и маршрутные автобусы останавливались перед Ханум-гары, она садилась, а потом просила остановить там, где удобно выйти. Когда на этот раз рядом с ней остановилась большая машина, старуха удивилась:

— А-а-а... Это что за машина? Холодильник?

Но это был не рефрижератор, это был алюминиевый фургон Мамедаги, и на бортах его разноцветные буквы складывались в слова «Пневматический тир».

Открыв дверцу кабинки, Мамедага сказал:

— Это не холодильник, ай хала, а куда тебе надо?

— Я еду в Бина. Показалось, что автобус, вот и махнула рукой.

— Садись.

Все-таки Ханум-гары сначала внимательно оглядела фургон, потом, видимо, решила, что в такой большой машине можно ехать спокойно, и, подняв плетеную корзинку, полную инжира, попыталась взобраться в кабину, но ступенька была слишком высока для нее, и попытка Ханум-гары оказалась безуспешной. Тогда Мамедага, спустившись на дорогу, помог ей. Когда фургон тронулся в путь, Ханум-гары, втягивая щеки и приводя в порядок искусственные зубы во рту, сказала:

— Молодость моя прошла в этих местах, как ястреб, отсюда влетела, оттуда вылетела. А теперь в божью машину сесть не могу... Правильно сказано, валлахи, что, хотя все смотрят на время, время ни на кого не смотрит.

В переднем зеркале Мамедага разглядывал выцветшие маленькие глаза этой старухи, ее сморщенное лицо, выбивающиеся из-под черного келагая и красные от хны седые волосы — и вдруг подумал, что, может быть, было время, когда и эта старуха беседовала с морем и, может быть, тоже разогревала для кого-то хлеб на Янаргае. Мамедага подумал об этом с болью в сердце: годы пролетят, как птицы, и эта удивительная летняя ночь на пустынном берегу Загульбы станет засохшим, как цветок, воспоминанием.

Но неужели все действительно так и будет?!

Сын Самедуллы Фазиль учился в университете на физическом факультете. Раньше большинство детей в квартале, где жил Мамедага, мечтали стать шоферами и, вырастая, осуществляли свою мечту. Помимо шоферов в моде были специальности зубного техника и сапожника. Но теперь времена изменились, ребята, окончив школы, поступали в институт, становились кто врачом, кто инженером, а сын продавца бензина Мейрангулу — Алигулу — стал поэтом и писал стихи, как Маяковский, «лестницей»... Алхасбек, поставив деревянный табурет на тротуар возле своего дома, садился и, нацепив очки с толстыми стеклами, читал в газетах стихи Алигулу и приговаривал: «Молодец! Берекаллах!»

Так вот, Фазиль этим летом закончил третий курс и говорил иногда такие странные вещи, что ни у кого в квартале не оставалось сомнений в том, что он в будущем станет великим ученым. Фазиль рассказывал: на ровном месте перед куском железа устраивают разные преграды, вроде лабиринта, а за ним устанавливают маг-

нит, и кусок железа начинает двигаться к магниту, но, задевая преграды, останавливается; и так повторяется и раз, и два раза, и три, и четыре, но на пятый кусок железа, как бы прозрев, находит путь между преградами и добирается до магнита.

Мамедага вспомнил этот разговор с Фазилем и подумал, что кусок железа — это всего лишь кусок железа, но и он находит путь к своему магниту. Подумав так, он прибавил газу и пожелал, чтобы в ближайшие дни в Загульбе дула только моряна.

А Ханум-гары все еще ворчала по поводу своего возраста, глядя на убегающую под колеса асфальтированную дорогу, и думала, что эта машина, пожалуй, идет мягче автобуса...

* * *

...В овощной ларек с утра прибыли свежие помидоры, и перед киоском собралось много народу. Надевшая белую бязевую куртку продавщица набирала помидоры в пластмассовую миску, ставила ее на весы, высыпала овощи в сумки покупателей.

Милиционер Сафар, медленными шагами приблизившись к киоску, посмотрел на поставленные друг на друга помидорные ящики и подумал, что в этом году отличный урожай овощей и фруктов. Милиционер Сафар подумал и о том, что никакие помидоры на свете не сравнятся с апшеронскими, что бы ни говорили, даже помидоры из его родных мест.

Милиционер Сафар, по обыкновению, начистил свои форменные металлические пуговицы зубным порошком, и теперь на кителе и на фуражке пуговицы сверкали, посылая лучи во все стороны.

Милиционер Сафар подошел к весам и, протянув руку, взял из ящика помидор, оглядел его со всех сторон и, как бы разговаривая с самим собою, тихо сказал:

— Жаль мне тебя, и я не стал оформлять рапорт... Минимум два года получил бы. Но пятнадцать суток опять просидит...

Милиционер Сафар, снова повертев помидор в разные стороны, сказал:

— Не считай это одолжением.— И, немного смущаясь, добавил: — Пока молодая, подумай о себе, потом будет поздно... Не человек он... Нет!

«Собака он, собака!» — но эти слова милиционер Сафар произнес не вслух, а про себя. И, положив наконец помидор обратно в ящик, пошел от овощного ларька.

Продавщица, накладывая помидоры в пластмассовую миску, ставила ее на весы.

Покупатели требовали помидоры получше, протягивали деньги, получали сдачу, и никто из них не знал, что в эту ночь, когда они сладко спали, в небе Загульбы летала царственная птица и тень этой царственной птицы упала на девушку в белой бязевой куртке, которая сейчас, как всегда, продавала помидоры.

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

Айван — крыльцо, веранда.
Ай джан — душа моя.
Альчики — бабки.
Ата — отец.
Ахчи — девушка (а р м.).
Ашуг — здесь: влюбленный.

Бабá — дед.
Баджи — букв.: сестра, почтительное обращение к девушке, женщине.
Бебé — дитя, младенец.
Берекаллах — молодец.
Бидж — букв.: хитрый, здесь: незаконнорожденный, приблудный.
Бисмиллах — хвала аллаху.
Бозбаш — азербайджанское национальное блюдо, суп из баранины с горохом.

Валлахи — клянусь богом.
Везери — кресс-салат, сочная душистая трава, используемая как приправа к различным блюдам.

Гагаш, гадеш — букв.: брат, ласковое, свойское обращение к сверстнику.
Гары — старуха.
Говурма — жаркое по-азербайджански из баранины с каштанами, сушеными абрикосами и изюмом.
Гурут — высушенные, твердые шарики из процеженного кислого молока.

Гырат — имя легендарного коня Кероглы, народного заступника, главного героя одноименного азербайджанского народного героического эпоса.

Деде — отец.

Деде Коркут — главный персонаж азербайджанского народного эпоса «Китаби Деде Коркут» («Книга моего деда Коркута»).

Джейран — газель, степной сайгак.

Довга — азербайджанское национальное блюдо, суп с рисом и зеленью на кислом молоке.

Дюшпере — азербайджанская разновидность пельменей с бульоном.

Зурна — восточный духовой инструмент.

Казан — кастрюля, котел.

Кара-су — букв.: черная вода, многочисленные ручьи в лесных низинах.

Катык — кислое молоко.

Кебин — брачный договор.

Келагай — головной платок у восточных женщин.

Кир — разновидность асфальта, используется для заливки плоских крыш.

Коран — священная книга мусульман.

Курбан — жертва, жертвоприношение.

Кутабы — азербайджанское национальное блюдо типа пирожков с мясом, чебуреков.

Кюфта-бозбаш — суп из крупных мясных шариков (тефтелей) с горохом.

Кяманча — восточный струнно-смычковый музыкальный инструмент.

Кяса — посуда для первых блюд типа пиалы.

Лаваш — хлеб из тонко раскатанного теста.

Мангал — жаровня.

Муаллим — букв.: учитель, почтительное обращение к старшим и к уважаемым людям.

Мубарек — поздравляю.

Мугам — форма азербайджанской народной классической музыки.

Муфтий — глава мусульманского суннитского духовенства в округе.

Муэдзин — служитель мечети, призывающий с минарета к молитве мусульман.

Мюрдашир — служитель мечети, занимающийся омовением трупов.

Нагара — барабан.

Намаз — обряд молитвы у мусульман, совершаемый пять раз в сутки.

Новруз-байрам — древний национальный праздник азербайджанцев, встреча первого дня весны. По мусульманскому солнечному календарю — первый день нового года.

Палан — вьючное седло.

Пахлава — восточная сладость, выпекаемая из слоеного теста с орехами.

Сафех — непутевый.

Сейгях — народная музыкальная мелодия, один из ладов мугама.

Сумах — пряность, специя типа барбариса.

Тар — струнный музыкальный инструмент, широко распространенный у восточных народов.

Тендир — глубокая глинобитная печь для выпечки хлеба.

Турач — степная птица.

Тут, тутовое дерево — шелковица.

Хала — букв.: тетя, почтительное обращение к пожилой женщине.

Хамшари — искаж. от «хамшахарли», букв.: земляк; пренебрежительное обращение старожилов данного района к недавно переехавшим.

Ханум — букв.: госпожа, почтительное обращение к женщине.

Хашил — жидкая каша, приготовленная из муки на масле или на воде.

Хурджин — переметная сума.

Чайчи — чайханщик.

Чарыки — лапти из сыромятной кожи.

Чихиртма — восточное блюдо, приготовленное из курицы, сбитых яиц и помидор.

Чола — куст, кустарник.

Чоха — верхняя мужская одежда.

Шабаш — традиционный восточный обычай, когда на свадьбах, пиршествах зрители преподносят танцующим деньги, которые собираются в пользу музыкантов.

Шекербура — восточная сладость, выпеченная в форме узорчатых пирожков, начиненных орехами.

Шекерчурек — рассыпчатое печенье.

СОДЕРЖАНИЕ

С. Асадуллаев. Человек и жизнь 3

ПОВЕСТИ

Иса Гусейнов
Телеграмма. *Перевод Ю. Суровцева* 15

Чингиз Гусейнов
* Не назвался. *Перевод автора* 73

Иси Мелик-заде
Мужчина в доме. *Перевод Т. Калякиной* 147

Максуд Ибрагимбеков
За все хорошее — смерть 189

Акрам Айлисли
Сказка о гранатовом дереве. *Перевод Т. Калякиной* 247

Фарман Керим-заде
* Снежный перевал. *Перевод А. Мустафа-заде* . . . 310

Анар
Юбилей Данте. *Перевод И. Печенева* 376

Рустам Ибрагимбеков
Забытый август 429

Эльчин
* Серебристый фургон. *Перевод Г. Митина* 489

Пояснительный словарь 570

З-53 **Земля гранатового дерева.** Современные азербайджанские повести. Пер. с азерб. /Сост. А. Мустафа-заде; Вступ. статья С. Асадуллаева. — М.: Худож. лит., 1980. 574 с.

В настоящем сборнике представлены наиболее значительные повести последних двух десятилетий, отображающие жизнь современного Азербайджана. Их объединяет общая нравственно-философская проблематика, глубокий реализм и психологизм в раскрытии характеров героев.

З $\frac{70303\text{-}302}{028(01)\text{-}80}$ 117-80 С(Аз)2

ЗЕМЛЯ ГРАНАТОВОГО ДЕРЕВА

СОВРЕМЕННЫЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ПОВЕСТИ

Редакторы
А. Макинцян, И. Бадалбейли
Художественный редактор
С. Данилов
Технический редактор
Л. Витушкина
Корректоры
Л. Лобанова, Е Павлова

ИБ № 1708
Сдано в набор 26.02.80. Подписано в печать 28.05.80. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. 30,24 усл. печ. л. 32,185 уч.-изд. л. Тираж 75 000 экз. Заказ 883. Цена 2 р. 30 к. Издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19. Отпечатано с матриц ордена Ленина типографии «Красный пролетарий» на Киевской книжной фабрике республиканского производственного объединения «Полиграфкнига» Госкомиздата УССР, Киев, Воровского, 24.

ЗЕМЛЯ ГРАНАТОВОГО ДЕРЕВА